ПИСАРЕВ

3

ПИСАРЕВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1956

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ 3

СТАТЬИ

1864-1865



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1956

*Подготовка текста
и примечания*
Ю. С. СОРОКИНА

СТАТЬИ

1864-1865



РЕАЛИСТЫ

*(Посвящается моему лучшему другу —
моей матери В. Д. Писаревой)*

I

Мне кажется, что в русском обществе начинает вырабатываться в настоящее время совершенно самостоятельное направление мысли. Я не думаю, чтобы это направление было совершенно ново и вполне оригинально; оно непременно обусловливается тем, что было до него, и тем, что его окружает; оно непременно заимствует с различных сторон то, что соответствует его потребностям; в этом отношении оно, разумеется, подходит вполне под тот общий естественный закон, что в природе ничто не возникает из ничего. Но самостоятельность этого возникающего направления заключается в том, что оно находится в самой неразрывной связи с действительными потребностями нашего общества. Это направление создано этими потребностями и только благодаря им существует и понемногу развивается. Когда наши дедушки забавлялись мартинизмом,[1] масонством или вольтерьянством, когда наши папеньки утешались романтизмом, байронизмом или гегелизмом, тогда они были похожи на очень юных гимназистов, которые во что бы то ни стало стараются себя уверить, что чувствуют неодолимую потребность затянуться после обеда крепкою папироскою. У юных гимназистов существует на самом деле потребность казаться взрослыми людьми, и эта потребность вполне естественна и законна, но все-таки самый процесс курения не имеет ни малейшей связи с действительными требованиями их организма. Так было и с нашими ближайшими предками. Им было очень скучно, и у них существовала действительная потребность занять мозги какими-нибудь размышлениями, но почему выписывался из-за границы мартинизм, или байронизм, или гегелизм — на этот вопрос не ищите ответа в органических потребностях русских людей. Все эти *измы*

выписывались единственно потому, что они были в ходу у европейцев, и все они не имели ни малейшего отношения к тому, что происходило в нашем обществе. Теперь, повидимому, дело пошло иначе. Мы теперь выписываем больше, чем когда бы то ни было; мы переводим столько книг, сколько не переводили никогда; но мы теперь знаем, что делаем, и можем дать себе отчет, почему мы берем именно это, а не другое.

После окончания Крымской войны родилась и быстро выросла наша обличительная литература. Она была очень слаба и ничтожна, и даже очень близорука, но ее рождение было явлением совершенно естественным и вполне органическим. Удар вызвал ощущение боли, и вслед за тем явилось желание отделаться от этой боли. Обличение направилось, конечно, на те стороны нашей жизни, которые всем мозолили глаза, и между прочим наше негодование обрушилось на мелкое чиновничество; но такие обличительные подвиги, конечно, не могли нас удовлетворить, и мы скоро поняли, что они, во-первых, бесплодны, а во-вторых, несправедливы и даже бессмысленны. Прежде всего явилось в отпор обличительному бешенству то простое соображение, что мелкому чиновнику хочется есть и что за это естественное желание не совсем основательно считать его извергом рода человеческого. — Это точно. Пускай едят мелкие чиновники. Значит, надо увеличить оклады жалованья, заговорили те мыслители, которые любят находить в одну минуту универсальное лекарство для всяких неудобств частной и общественной жизни. — Это само собою, отвечали другие; но этого мало. Когда чиновник будет обеспечен, тогда он потянется за роскошью. Надо сделать так, чтобы он не тянулся. — Ну да, конечно, заговорили опять любители универсальных лекарств. Дать чиновнику твердые нравственные убеждения. Дать ему солидное образование. Пускай кандидаты университета идут в квартальные и в становые. — И это хорошо, заметили другие. Образование дело превосходное, но у каждого чиновника есть семейство или кружок близких знакомых. Каждый чиновник, получивший солидное образование, прямо с университетской скамейки входит в один из таких кружков и проводит всю свою жизнь в одном кружке или в нескольких кружках, которые, впрочем, все похожи друг на друга. Предания университетской скамейки говорят ему одно, а влияние жены, сестер, матери, отца и тот бесконечный гул и говор, который все-таки, как ни вертись, составляет общественное мнение, — говорят совершенно другое. Предания и воспоминания всегда бывают слабее живых впечатлений, повторяющихся каждый день, и выходит из этого тот результат, что чиновник начинает тянуться за роскошью, хотя и знает, что тянуться за нею дозволенными средствами невозможно, а недозволенными не годится. Значит, как же? — Ах, черт побери, думают любители универсальных лекарств, подобные гг. Каткову, Павлову, Громеке и К°. В самом деле: как же? Шутка сказать. Ведь это надо реформировать среду.—

Впрочем, раздумье этих мыслителей продолжается недолго, и они непременно что-нибудь придумывают или по крайней мере о чем-нибудь начинают говорить: ну да, реформировать! ну да, обновить! Ну да, распространить грамотность, устроить сельские школы, завести женские гимназии, проложить железные дороги, открыть земские банки и т. д. — Но мы видели и до сих пор видим перед собою два громадные факта, из которых вытекают все наши отдельные неприятности и огорчения. Во-первых, мы бедны, а во-вторых, глупы. Эти слова нуждаются, конечно, в дальнейших пояснениях. *Мы бедны* — это значит, что у нас, сравнительно с общим числом жителей, мало хлеба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья, человеческих жилищ, удобной мебели, хороших земледельческих и ремесленных орудий, словом, всех продуктов труда, необходимых для поддержания жизни и для продолжения производительной деятельности. *Мы глупы* — это значит, что огромное большинство наших мозгов находится почти в полном бездействии и что, может быть, одна десятитысячная часть наличных мозгов работает кое-как и вырабатывает в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем сколько она могла бы выработать при нормальной и нисколько не изнурительной деятельности. Обижаться тут, конечно, нечем; когда человек спит, он не может работать умом; когда Иван Сидорович ремизит Степана Парамоновича за зеленым сукном, он не может работать умом. Словом, только те и не работают, кто, по своему теперешнему положению, не в состоянии работать. Кто может, тот работает, но кое-как, потому что потребность на эту работу слаба, и потому самый страстный актер будет холоден и вял, когда ему придется играть перед пустым партером. Само собою разумеется, что наша умственная бедность не составляет неизлечимой болезни. Мы — не идиоты и не обезьяны по телосложению, но мы — люди кавказской расы, сидевшие сиднем, подобно нашему милому Илье Муромцу, и, наконец, ослабившие свой мозг этим продолжительным и вредным бездействием. Надо его зашевелить, и он очень быстро войдет в свою настоящую силу. Оно, конечно, надо, но ведь вот в чем беда: мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны. Змея кусает свой хвост и изображает собою эмблему вечности, из которой нет выхода. Шарль Фурье говорит совершенно справедливо, что главная сила всех бедствий современной цивилизации заключается в этом проклятом cercle vicieux. * Чтобы разбогатеть, надо хоть немного улучшить допотопные способы нашего земледельческого, фабричного и ремесленного производства, то есть надо поумнеть; а поумнеть некогда, потому что окружающая бедность не дает вздохнуть. Вот тут и вертись, как знаешь. Есть, однако, возможность пробить этот заколдованный круг в двух местах. *Во-первых,* известно, что значительная часть продуктов

* Заколдованный круг *(франц.)*. — *Ред.*

труда переходит из рук рабочего населения в руки непроизводящих потребителей. Увеличить количество продуктов, остающихся в руках производителя, — значит уменьшить его нищету и дать ему средства к дальнейшему развитию. К этой цели были направлены законодательные распоряжения правительства по крестьянскому вопросу. В этом месте заколдованный круг может быть пробит только действием законодательной власти, и поэтому мы об этой стороне дела распространяться не будем.[2] — *Во-вторых,* можно действовать на непроизводящих потребителей, но, конечно, надо действовать на них не моральною болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только к тем потребителям, которые желают взяться за полезный и увлекательный труд, но не знают, как приступить к делу и к чему приспособить свои силы. Те люди, которые, по своему положению, могут и, по своему личному характеру, желают работать умом, должны расходовать свои силы с крайнею осмотрительностию и расчетливостию; то есть они должны браться только за те работы, которые могут принести обществу действительную пользу. — Такая экономия умственных сил необходима везде и всегда, потому что человечество еще нигде и никогда не было настолько богато деятельными умственными силами, чтобы позволять себе в расходовании этих сил малейшую расточительность. Между тем расточительность всегда и везде была страшная, и оттого результаты до сих пор получались самые жалкие. У нас расточительность также очень велика, хотя и расточать-то нам нечего. У нас до сих пор всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему известному молодечеству, и этот несчастный двугривенный ставим ребром и расходуем безобразно. Нам строгая экономия еще необходимее, чем другим, действительно образованным народам, потому что мы, в сравнении с ними, нищие. Но чтобы соблюдать такую экономию, надо прежде всего уяснить себе до последней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Вот тут-то, над этим уяснением и должна работать литература. Мне кажется, что мы начинаем чувствовать необходимость умственной экономии и стремимся уяснить себе понятие настоящей выгоды или пользы. В этом и заключается то самостоятельное направление мысли, которое, по моему мнению, вырабатывается в современном русском обществе. Если это направление разовьется, то заколдованный круг будет пробит. Экономия умственных сил увеличит наш умственный капитал, а этот увеличенный капитал, приложенный к полезному производству, увеличит количество хлеба, мяса, одежды, обуви, орудий и всех остальных вещественных продуктов труда. Обязанность развивать это направление и пробивать с этой стороны заколдованный круг лежит целиком на нашей литературе, потому что в этой сфере литература может действовать самостоятельно.

II

Экономия умственных сил есть не что иное, как строгий и последовательный реализм. «Природа — не храм, а мастерская, — говорит Базаров, — и человек в ней работник». Рахметов видится только с теми людьми, с которыми ему «нужно» видеться, он читает только те книги, которые ему «нужно» прочесть, он даже ест только ту пищу, которую ему «нужно» есть для того, чтобы поддерживать в себе физическую силу; а поддерживает он эту силу также потому, что это кажется ему «нужным», то есть потому, что это находится в связи с общею целью его жизни. Особенность Рахметова состоит исключительно в том, что он менее других честных и умных людей нуждается в отдыхе; можно сказать, что он отдыхает только тогда, когда спит. Вся остальная часть его жизни проходит за работой, и вся эта работа клонится только к одной цели: уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений. К этой цели клонились всегда, сознательно и бессознательно, прямо или косвенно, все усилия всех умных и честных людей, всех мыслителей и изобретателей. Чем сознательнее и прямее деятельность человека направлялась к этой цели, тем значительнее была масса принесенной им пользы; но, к сожалению, нервная система человека так устроена, что она не может долго сосредоточивать свои силы на одной точке. Если мы захотим долго держать руку или ногу в одном и том же положении, то мы почувствуем в этой ноге или руке утомление и, наконец, настоящую боль. Если мы будем долго смотреть на один предмет, то у нас зарябит в глазах. Если мы будем долго вдумываться в одну и ту же мысль, то ум наш на несколько времени откажется работать. Если мы будем проводить эту мысль во все наши поступки, то, наконец, эта мысль начнет нас тяготить, и мы почувствуем непреодолимую потребность отложить ее на время в сторону и пожить хоть несколько часов бесцельною жизнью. У Рахметова эта потребность возникает очень редко, и поэтому он стоит выше обыкновенных людей, то есть может в течение своей жизни сделать больше работы; а всякий согласится, что мы можем мерить умственные силы людей только количеством сделанной ими полезной работы. Рахметов может обходиться без того, что называется личным счастьем; ему нет надобности освежать свои силы любовью женщины, или хорошею музыкою, или смотрением шекспировской драмы, или просто веселым обедом с добрыми друзьями. У него есть только одна слабость: хорошая сигара, без которой он не может вполне успешно размышлять. Но и это наслаждение служит ему только средством: он курит не потому, что это доставляет ему удовольствие, а потому, что курение возбуждает его мозговую деятельность. Если бы он не замечал в этом курении осязательной пользы, он бы от него отказался, не ради идеального совершенства, а ради того, что не следует ничем отвлекаться от настоящей цели. Ставить

такого титана в пример читателю совершенно бесполезно. Это все равно, что советовать читателю связать железную кочергу в узел или открыть какой-нибудь мировой закон, вроде ньютоновского тяготения или дарвиновской теории естественного выбора. Мы — люди обыкновенные, и если бы мы захотели выбросить из нашей жизни отдых и чисто личное наслаждение, то мы сделали бы себя мучениками и, кроме того, повредили бы даже общему делу; мы бы надорвались, мы бы отняли у себя возможность принести ту малую долю пользы, которая соответствует размерам наших сил; поэтому нам не следует надуваться, потому что до вола мы все-таки не дорастем, а если лопнем, то вместо экономии окажется чистый убыток. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имеет права посылать вас на работу; общее дело человечества подвигается вперед не барщинною работою, и сгонять на этот труд ленивых или утомленных людей — значит изображать суетливую муху, помогавшую лошадям вытаскивать в гору тяжелый рыдван. [3] Но когда вы, отдохнувши и насладившись вдоволь, сами, по собственной охоте, принимаетесь за работу, тогда общество, в лице каждого из своих членов, тотчас получает над вами право контроля и критики; оно произносит свой приговор над вашею деятельностью, и оно имеет полное право выражать свое желание, чтобы те силы, которые добровольно отдаются на общеполезное дело, действительно тратились там, где они необходимы. Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себе; когда вы работаете, вы принадлежите обществу. Если же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имеет никакого значения для него, тогда вы можете быть вполне уверены, что вы совсем никогда не работаете и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему с цветка на цветок. Мартышкин труд не есть работа. Если такой мартышкин труд производится вполне сознательно, то есть если трудящаяся личность сама понимает свою бесполезность и сама говорит себе и другим: я трутень и хочу быть трутнем, потому что это мне приятно, тогда, разумеется, не о чем и толковать, потому что неизлечимые больные не нуждаются ни в дружеских советах, ни в медицинской помощи. Но можно сказать наверное, что большая часть мартышкина труда производится в каждом человеческом обществе по чистому недоразумению. Трудящаяся личность, в большей части случаев, добросовестно и искренно убеждена в том, что она трудится для человечества и для общества; это обаятельное убеждение придает ей бодрость и вдохновляет ее во время труда; если вы поколеблете в ней это убеждение, у нее опустятся руки, и для нее настанет очень тяжелая минута разочарования и уныния; но за этою минутою явится сильное стремление к настоящей пользе и крутой поворот к какой-нибудь другой деятельности, достойной мыслящего человека и добросовестного гражданина. В результате получится, таким образом, экономия умственных сил, и эта экономия будет гораздо более значительна,

чем это может показаться читателю с первого взгляда. Каждая личность действует более или менее на все, что ее окружает; поворот к реализму, происшедший в одной личности, дает себя чувствовать многим другим, и та же самая особа, которая до своего обращения могла своим примером и своими советами сбить с толку двух или трех молодых людей, будет, после своего обращения, действовать на этих же молодых людей самым благотворным образом, как покаявшийся грешник может действовать на человека, порывающегося согрешить и, главное, убежденного в похвальности греха. Поэтому я думаю, что наша литература могла бы принести очень много пользы, если бы она тщательно подметила и основательно разоблачила различные проявления мартышкина труда, свирепствующего в нашем обществе и отравляющего нашу умственную жизнь. Кое-что в этом направлении уже сделано; но вся задача, во всей своей целости, чрезвычайно обширна, многие ее стороны совсем не затронуты, и, вероятно, пройдет еще много лет и потратится много усиленного труда, прежде чем общество начнет ясно сознавать свою собственную пользу. Пока не наступит это блаженное время русского благоразумия, литература должна постоянно держать ухо востро и выводить на свежую воду мартышкин труд, надевающий на себя самые разнообразные личины и ежедневно сбивающий с толку самых добросовестных людей, очень неглупых и вполне способных горячо полюбить полезную работу.

III

Наших реалистов упрекают давно, и часто и сильно, в том, что они не понимают и не уважают искусства. Упрек в непонимании несправедлив; а что они не уважают искусства — это верно. Наши реалисты, как люди молодые и не вполне установившиеся, до сих пор еще не определили с достаточною ясностью свои отношения к искусству. Реальное направление нашей литературы вообще находится теперь в переходной поре: оно перестало быть смутным инстинктом, но не сделалось еще строгим и отчетливо сознательным убеждением. Многие упреки противной стороны застают наших реалистов врасплох. Когда противники представляют им крайние выводы, составляющие естественный и логический результат их собственных положений, тогда наши реалисты часто конфузятся, делают шаг назад и стараются оправдаться. Само собою разумеется, что такие колебания вредят реальному направлению литературы, ободряют его противников и дают им повод говорить поучительным и покровительственным тоном разные «жалкие слова» на ту печальную тему, что «молодо-зелено» и что все нападки мальчишек [4] на искусство и на науку происходят только от нежелания учиться и от ребяческой наклонности ко всякому озорству. Все уступки реалистов обращаются таким образом

не только против их общего дела, но даже против их отдельных личностей. Эти уступки и колебания безусловно вредны; но они в то же время могут служить нам превосходным доказательством той истины, что наш теперешний литературный реализм не выписан из-за границы в готовом виде, а формируется у нас дома. У нас нет готовой системы, из которой мы могли бы брать для нашей защиты сильные аргументы, придуманные каким-нибудь заграничным учителем; мы в этом отношении не похожи на гегелистов прошлого поколения; нам приходится приготовлять каждый аргумент своими домашними средствами; оттого дело идет у нас не очень прытко, оттого мы иногда пятимся и провираемся, но это еще ничего не значит. Но конфузиться все-таки не годится, а уже сделанные ошибки в подобном роде следует исправлять для того, чтобы на будущее время обнаруживать при столкновениях с литературными противниками больше достоинства, стойкости и сознательности. Года два тому назад наши литературные реалисты сильно опростоволосились, и этот случай так интересен и поучителен, что о нем стоит поговорить подробно, для того чтобы определить разумные отношения настоящего литературного реализма к вопросу об искусстве.

Действие происходит в 1862 году. В февральской книжке «Русского вестника» появляется роман Тургенева «Отцы и дети». Роман этот, очевидно, составляет вопрос и вызов, обращенный к молодому поколению старшею частью общества. Один из лучших людей старшего поколения, Тургенев, писатель честный, написавший и напечатавший «Записки охотника» задолго до уничтожения крепостного права, Тургенев, говорю я, обращается к молодому поколению и громко предлагает ему вопрос: «Что вы за люди? Я вас не понимаю, я вам не могу и не умею сочувствовать. Вот что я успел подметить. Объясните мне это явление». Таков настоящий смысл романа. Этот откровенный и честный вопрос пришелся как нельзя более во-время. Его предлагала вместе с Тургеневым вся старшая половина читающей России. Этот вызов на объяснение невозможно было отвергнуть. Отвечать на него литературе было необходимо. — Это было бы превосходно, если бы каждая идея, проводимая мыслящими людьми, проникала в общество, перерабатывалась в нем и потом возвращалась бы назад к литераторам в отраженном виде для поверки и поправки. Тогда умственная работа закипела бы очень быстро, и всякие недоразумения между литературою и обществом оканчивались бы вполне удовлетворительными объяснениями. Дурна или хороша была тенденция тургеневского романа — это все равно; для литературных реалистов этот роман был во всяком случае драгоценным известием о судьбе их идеи и еще более драгоценным поводом к обстоятельному объяснению с читающею публикою. Но надо было именно говорить со всем русским обществом, а не с личностью Тургенева и уж, во всяком случае, не с литературною партиею «Русского вестника». [5]

Надо было совершенно отодвинуть в сторону оценку романа и сосредоточиться на разборе базаровских идей даже в том случае, если бы сам Базаров был карикатурою. Но «Современник» поступил как раз наоборот. Совершенно изменяя добролюбовским преданиям, он дал своим читателям чисто эстетическую рецензию.[6] Г. Антонович употребил все силы своей диалектики на то, чтобы доказать, что роман Тургенева плох, хотя публике не было никакого дела ни до Тургенева, ни до его романа. Она хотела знать, что такое Базаров, и этот вопрос имел для нее самое жизненное значение, потому что большая часть матерей, отцов и сестер видели в своих детях и братьях частицы или зародыши тех типических особенностей, которые сосредоточились и воплотились с полною силою в фигуре тургеневского нигилиста. «Если Базаров — карикатура, — рассуждала публика, — то объясните и представьте нам в настоящем свете то явление жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите нам еще раз ту идею, которая породила это явление. Если Базаров — живой человек, то растолкуйте нам его, мы не понимаем, он нас пугает, и пугает именно потому, что мы видим что-то непонятное и базаровское в чертах характера многих из тех людей, которых мы любим, от которых нам больно отрываться и с которыми мы не умеем свыкнуться». Но этот животрепещущий вопрос, поставленный жизнью, не дошел до слуха критика, углубившегося в проведение остроумной параллели между г. Тургеневым и Виктором Ипатьевичем Аскоченским. Критик «Современника» не захотел объяснить публике и даже самому молодому поколению, какой смысл заключается для него в Базарове, из какой общей идеи выходят тенденции его. Задача действительно была очень обширная, и для удовлетворительного ее разрешения требовалось очень много осторожности, хладнокровия и технической ловкости; надо было отказаться от всяких стремлений к пафосу и к полемической декламации. Надо было уяснить себе свою собственную мысль во всех ее мельчайших подробностях и затем изложить ее в полной ясности самыми холодными, бесстрастными и, пожалуй, даже бесцветными словами. Но критик написал статью чрезвычайно резкую, напал на Тургенева с неслыханным ожесточением, уличил его в таких мыслях и стремлениях, о которых Тургенев никогда и не думал, выдержал самую упорную борьбу с несуществующими заблуждениями автора и затем, наполнив этим воинственным шумом пятьдесят страниц, оставил существенный вопрос совершенно нетронутым. С Тургеневым критик расправляется очень бойко, но при встрече с теми людьми, которые считают Базарова уродом и злодеем, он совершенно умолкает. Эти люди говорят, что Базаров действительно существует и что он — лютое животное, подобное тем эгоистам, для которых г. Станицкий рекомендует железные кольца, продетые в ноздри.[7] А критик Тургенева говорит, что Базаров — карикатура, что Базаров не существует, но что если бы он существовал, то, конечно,

его надо было бы признать лютым животным. Это значит, что дама просто приятная говорит о лапках да о глазках: «ах, пестро!», а дама приятная во всех отношениях возражает: «ах, не пестро!», но в сущности обе дамы вполне согласны между собою в том, что пестрое платье унижает достоинство благовоспитанной губернской аристократки. Они спорят о факте, и только об одном факте, и при этом критик тщательно скрывает то обстоятельство, что он совершенно расходится с гг. Дудышкиным, Зариным и Катковым в самом принципе, на основании которого произносится суждение о достоинстве факта. И он даже не останавливается на одном молчании; он робко и неясно произносит такие слова, которые совершенно не вяжутся с основными идеями «Современника»; словом, он конфузится, теряется и доходит в своей скромности или в тонкости своей литературной дипломатии до очевидного молчалинства, но все это благополучно сходит с рук по милости воинственного экстаза, который составляет декорацию и направляется против личности Тургенева как мыслителя, художника и гражданина. Базарова критик выдает головой, и при этом он даже не осмеливается отстаивать то живое явление, по поводу которого был создан Базаров. Причина, которою он оправдывает свою робость, в высшей степени любопытна. «Пожалуй, — говорит он, — обличат в пристрастии к молодому поколению, а что еще хуже — станут укорять в недостатке самообличения. Поэтому пускай кто хочет защищает молодое поколение, только не мы» (стр. 93). Вот это очаровательно! Ведь защищать молодое поколение — значит, по-настоящему, защищать те идеи, которые составляют содержание его умственной жизни и которые управляют его поступками. Одно из двух: или критик сам проникнут этими идеями, или он их отрицает. В первом случае защищать молодое поколение — значит защищать свои собственные убеждения. Во втором случае защищать его невозможно, потому что человек не может поддерживать ту идею, которую он отрицает. Но критик, видите ли, и рад бы защитить, да боится, что «его обличат в пристрастии». — К чему? — К собственным убеждениям. Удивительное обличение! Умен должен быть тот господин, который выступит с подобным обличением, да и тот тоже недурен, кто боится таких обличителей. И зачем приводить такие неестественные резоны? Просто не хватило уменья, и ничего тут нет постыдного в этом недостатке наличных сил. Мы люди молодые: поживем, поучимся, подумаем и через несколько лет решим те вопросы, которые теперь, быть может, заставляют нас становиться втупик. Но валить с больной головы на здоровую все-таки не годится: Тургенев и Базаров во всяком случае не виноваты в том, что критик не умеет защищать молодое поколение и что роль первого критика в «Современнике» не соответствует теперешним размерам его сил. А между тем за все, про все отдуваются именно Тургенев да Базаров. Чтобы доказать, что Базаров — гнусная карикатура и что Тургенев написал презрен-

ный пасквиль, критик «Современника» рассуждает так неестественно и пускает в ход такие удивительные натяжки, что читателю, знакомому с романом «Отцы и дети», приходится на каждом шагу обвинять и уличать критика или в непонятливости, или в нежелании понимать. Как объяснить себе, например, такой пассаж: «Главный герой романа с гордостью и заносчивостью говорит о своем искусстве в картежной игре» (стр. 68). Это Базаров-то! С гордостью и заносчивостью! О преферансе и ералаше! Мне даже совестно становится за критика. «Потом г. Тургенев старается выставить главного героя обжорой, который только и думает о том, как бы поесть и попить» (стр. 69). Подумаешь, право, что этот г. Тургенев есть нечто вроде г. Бориса Федорова, пишущего для каких-то воображаемых детей поучительные рассказы о жадном Васеньке и о воздержной Параше. «Даже смотреть глупо», как говорит г. Щедрин в своем рассказе «Развеселое житье». Но еще глупее смотреть на то, как критик «Современника», умышленно или нечаянно, уродует сцену, происходящую перед смертью Базарова. Вот это изумительное место: «Герой как медик очень хорошо знает, что ему остается до смерти несколько часов; он призывает к себе женщину, к которой он питал не любовь, а что-то другое, непохожее на настоящую возвышенную любовь. Она пришла, герой и говорит ей: «Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и фюить! Ну, что ж мне вам сказать... Что я любил вас? Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая»... (Читатель дальше яснее увидит, какой гадкий смысл заключается в этих словах.) Она подошла к нему поближе, и он опять заговорил: «Ах, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!»... (стр. 657). От этого резкого и дикого диссонанса теряет всякое поэтическое значение эффектно написанная картина смерти героя». Читатель, конечно, недоумевает и начинает думать, что критик «Современника» — прекраснейший критик, но только «уж очень строг насчет манер», подобно Матрене Марковне, супруге Егора Капитоныча из повести Тургенева — «Затишье». Читатель никак не может понять, где же тут «гадкий смысл» и в чем именно чуткое ухо эстетика уловило «резкий и дикий диссонанс»? Оказывается дальше, что критик оскорблен не как эстетик, а как моралист. «И у автора, — восклицает он на стр. 73, — поворачивается язык говорить о всепримиряющей любви, о бесконечной жизни после того, как его самого эта любовь и мысль о бесконечной жизни не могли удержать от бесчеловечного обращения с своим умирающим героем, который, лежа на смертном одре, призывает свою возлюбленную для того, чтобы видом ее прелестей в последний раз пощекотать свою потухающую страсть. Очень мило!» Да, уж так мило, что милее этого места не выдумал бы ни г. Зарин, ни

г. Щеглов. Всякий обыкновенный читатель видит ясно, что Базаров хочет в последний раз взглянуть на любимую женщину и в последний раз сказать ей какое-нибудь ласковое слово. Может быть, со стороны Базарова очень не похвально занимать свои мысли перед самою смертью такими суетными привязанностями. Что ж, думает он, пускай посмотрит. Пусть она ему улыбнется, пусть он увидит в этой улыбке тень тихой грусти, пусть он выскажет ей словами или взглядами хоть что-нибудь из той горячей любви, которою переполнена была его молодая душа.

Так подумает самый обыкновенный и самый бесхитростный читатель, тот самый читатель, который, быть может, на здорового Базарова смотрел как на злобного и опасного разрушителя. Так подумали, наверное, даже многие из мудреных русских писателей, подобных гг. Каткову, Павлову, Скарятину и другим блюстителям литературного благочиния. Но критик «Современника» так переполнен воинственным жаром, что он ни на одну минуту не желает сделаться обыкновенным и бесхитростным читателем. Он надевает на себя неестественную маску; он старается быть неумолимо строгим. Он проникает в мысли Базарова и усматривает в них греховную нечистоту. Прежде всего он впускает в свой рассказ некоторые неверности, которые я, из вежливости, назову ошибками. Во-первых, Базаров не призывает Одинцову, а только посылает ей сказать, что он умирает. Одинцова приезжает к нему без всякого зова. Базаров не ожидал ее, он едва мог надеяться на то, что она приедет, и вследствие этого он, увидя ее перед собою, чувствует такой избыток радости и благодарности, что не находит даже, как и о чем говорить с нею. Сверх того, он уже так плох, что в присутствии Одинцовой начинает бредить и вообще с трудом может связывать мысли. Он, как больной ребенок, смотрит на нее и видит, что она хорошая, и бормочет: «Славная, красивая, молодая, свежая, чистая, в гадкой комнате». При этом он только с мучительною ясностью чувствует поразительный контраст между ее цветущею жизнью и своим собственным разложением. И тут, при всей его слабости, в нем не видно ни зависти, ни боязни. Как только Одинцова переступает через порог его комнаты, он говорит ей: «Не подходите; моя болезнь может быть заразительна»; но Одинцова тотчас, по естественному движению нежности и неустрашимости, подходит к самой его постели. Тогда он и говорит: «Ах, как близко!» Этими словами он хочет сказать: я — кусок гнилого мяса. Мне больно за вас. Зачем вы, молодая, свежая, чистая, дышите зараженным воздухом этой гадкой комнаты. И в то же время ему, конечно, в высшей степени приятно, что она его не боится, что она смотрит на него ласково и без отвращения, что она не бежит вон из гадкой комнаты, а особенно приятно для него то, что она в самом деле хорошая и милая женщина, а не только «вдова души возвышенной, благородной и аристократической», как называет ее критик. Базаров мучительно счастлив ее присутствием

и с грустным удовольствием наслаждается ее простою и естественною гуманностью, потому что в нем шевелятся до самой последней минуты высокочеловечные и строго-разумные мысли. И по поводу этого-то человека критик говорит о каком-то щекотании. Я даже не понимаю хорошенько, что именно он называет этим карательным термином. Во всяком случае я нахожу, что мне давно пора прекратить разговор об этом предмете. Да, опростоволосились наши реалисты, опростоволосились до такой степени, что сочли нужным поддерживать свое дело крючкотворною аргументациею.

IV

Наши умственные силы расходуются нерасчетливо — это не подлежит сомнению, и в признании этого факта сходятся между собою все наши литературные органы самых разнообразных оттенков. Где причина нерасчетливости? Когда приходится отвечать на этот вопрос, тогда все органы бросаются врассыпную и друг друга побивают величием своей ерунды. Все это очевидно доказывает, что ясных и неопровержимых аргументов не представляет никто, что в корень дела не заглядывает ни один писатель и что настоящая причина нашей умственной суеты остается неизвестною всем ее искателям и обличителям. Если бы кто-нибудь растолковал публике, как дважды два — четыре, в чем состоят важные интересы ее умственной жизни, то противники этого «кто-нибудь» были бы радикально побеждены, потому что публика себе не враг и, стало быть, не будет обольщаться тем, что она раз навсегда признала для себя вредным и невыгодным. Поэтому указать на эти интересы и доказать, что они действительно существенные, — это, разумеется, самая важная задача современной литературы. Пока эта задача не будет решена вполне, до тех пор и писателям придется работать ощупью и публике выбирать себе кусочки из груды их произведений — также ощупью. Ни один писатель не решится сказать, что он работает для нанесения вреда читающему обществу; ни один не решится также сказать, что он своею работою не приносит обществу ни малейшей пользы; стало быть, все стремятся принести своим читателям пользу; между тем одни из них действуют прямо наперекор другим. Если бы читатели «одних» были моллюсками, а читатели «других» тараканами, то, разумеется, можно было бы думать, что и «одни» и «другие» говорят дело, потому что организация таракана не похожа на организацию моллюска, и, следовательно, умственные интересы этих двух пород могут быть диаметрально противоположными. Но, к сожалению, и одних и других читают все-таки несчастные люди, стало быть, очевидно, или одни, или другие врут и вредят, а легко может быть и то, что врут и вредят как одни, так и другие, потому что способы вранья неисчислимы, между тем как истина двоиться не может. Стало

быть, есть писатели, приносящие чистый вред или по медвежьей услужливости, или по узкой корыстности; * первые ошибаются, вторые лицемерят. Первых надо урезонить, вторых надо разоблачить для того, чтобы они сделались безвредными и неопасными. Чтобы произвести эти две операции, то есть чтобы радикально вычистить литературу, надо именно указать существенную пользу. Вполне последовательное стремление к пользе называется реализмом и непременно обусловливает собою строгую экономию умственных сил, то есть постоянное отрицание всех умственных занятий, не приносящих никому пользы. Реалист постоянно стремится к пользе и постоянно отрицает в себе и других такую деятельность, которая не дает полезных результатов. Стало быть, строгий реалист соблюдает в самом себе и уважает в других людях строгую экономию умственных сил. Стало быть, разъяснить вполне значение реализма в литературе — значит решить самую важную задачу современной идеи и радикально очистить эту идею от ненужного сора и от бесплодных полемических волнений. — Но различные недоразумения могут укрыться в самом слове «*польза*», и поэтому прежде всего необходимо разъяснить эти недоразумения. — Человек одарен чувством самосохранения. Он невольно и бессознательно любит свою жизнь и старается сохранить ее в себе как можно дольше. Такие крайности, как мотовство и скряжничество, одинаково нерасчетливы, потому что при обоих способах действия жизнь дает меньше наслаждений, чем сколько она могла бы дать при рациональном пользовании. Дети так радикально предпочитают приятное полезному, то есть непосредственное наслаждение отсроченному, что если посыпать сахаром их молочную кашу и не размешать ее начальственною рукою, они непременно истребят сначала элемент *приятного*, то есть чистый сахар, а потом уже, по необходимости и с тяжелым вздохом, примутся за голую *пользу*, то есть за кашу, которая, однако, была бы гораздо вкуснее в соединении с *приятностью*. Взрослые называют этих юных эпикурейцев глупыми ребятами и сами делают глупости гораздо более крупные. Например, далеко не всякий чиновник умеет так распорядиться с своим третным жалованьем, чтобы в начале трети не задавать неестественного форсу и в конце трети не созерцать свои зубы, положенные на полку. Это значит — сначала облизал весь сахар, а потом лишил себя даже молочной каши. У кого хватает предусмотрительности на четыре месяца, у того может не хватить ее на два года. Сколько бывало примеров, что на литературное поприще выступает вдруг блестящее молодое дарование; два-три успеха быстро следуют один за другим; опытные люди смотрят на него и радуются, но в то же время советуют ему потихоньку: почитайте книжку; поучитесь, голубчик. Ей-богу, лучше будет. — Еще успею, говорит он, еще успею. — Успею да успею, как вдруг

* В конце концов и то и другое сводится к тупоумию.

неожиданное фиаско постигает юное дарование, которое, как падающая звезда, мгновенно скатывается с неба и скрывается на заднем дворе какого-нибудь «Сына отечества» или «Развлечения»,[8] куда, впрочем, настоящие падающие звезды, сколько мне известно, не заглядывают...

V

Базаров с первой минуты своего появления приковал к себе все мои симпатии, и он продолжает быть моим любимцем даже теперь. Я долго не мог себе объяснить причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполне понимаю. Ни один из подобных ему героев не находится в таком трагическом положении, в каком мы видим Базарова. Трагизм базаровского положения заключается в его полном уединении среди всех живых людей, которые его окружают. Он везде производит своею особою резкий диссонанс, он всех заставляет страдать своим присутствием и существованием, он сам это видит и понимает; и понимает, кроме того, с мучительною ясностью роковые причины и абсолютную неизбежность этих страданий. Люди, окружающие Базарова, страдают не от того, что он поступает с ними дурно, и не от того, что они сами дурные люди; напротив того, он не делает в отношении к ним ни одного дурного поступка, и они, с своей стороны, также очень добродушные и честные люди. И тем хуже, тем мучительнее и безвыходнее их положение. Нет причин для разрыва и нет возможности сблизиться. Нет возможности потому, что нет ни одного общего интереса, ни одного такого предмета, который с одинаковою силою затронул бы умственные способности Базарова и его собеседников. Ему приходится слушать их, как пятилетних детей, рассказывающих, что вот они гулять ходили и вдруг видят большую такую корову, и вдруг эта корова подошла туда, знаете, к реке, и вдруг начала пить. — Ну, так что же? спрашиваете вы. — Ну, вот напилась и пошла. — А потом? — Потом мы домой вернулись. — Вот вам и весь анекдот. И, выслушивая его, вы из чувства естественной гуманности должны тщательно наблюдать за вашею физиономиею, чтобы на ней не выразилось изумление, чтобы ваши губы не сложились невольно в улыбку сострадательного недоумения и чтобы, кроме того, черты вашего лица изображали хоть малейшее участие к тому, что вам рассказывается с чисто детским увлечением. Чуть только какой-нибудь мускул вашей физиономии утомился от этого неестественного напряжения и подернулся не в такт этой усыпительной музыке, и вся гармония нарушена, и весь плод ваших долговременных усилий пропал безвозвратно, и рассказчик, человек добрый и честный, искренно желающий вас утешить и развлечь, оказывается глубоко и смиренно опечаленным своею немощностью и своею неспособностью дать вам то, чего бы вы желали. Если бы

он вас обругал в эту минуту, вы бы этому обрадовались; но он тихо опечалится и замолчит; в его душе будет только грусть, без малейшей горечи, но эту грусть вы в нем видите совершенно ясно и совершенно независимо от его воли, и его усилия скрыть от вас эту грусть, то есть не огорчить вас, человека, огорчившего его, — эти усилия, говорю я, делают его еще более трогательным в ваших глазах; и вам больно было, и ему больно, и обоим грустно, что разверeдили друг друга, и все-таки ничем, да ведь решительно ничем, нельзя этому делу помочь. Вот оно, дьявольское-то положение; вот что может душу вытянуть из каждого человека, способного мыслить и чувствовать. Я советую читателям, получавшим «Русское слово» за прошлый, 1863 год, перечитать в нем повесть «Женитьба от скуки». [9] Там именно такой разлад между мужем и женою приводит к сумасшествию и к самоубийству. Результат вовсе не преувеличен, и развитие трагической дисгармонии прослежено там очень удовлетворительно. Но молодой муж и молодая жена по крайней мере имеют хоть какую-нибудь возможность разойтись; конечно, этот образ действий тягостен и сопряжен со многими неудобствами; конечно, трудно предположить, чтобы обоим разошедшимся супругам удалось устроить себе новое счастье; но все-таки есть выход, и во всяком случае лучше одинокое и бесцветное существование, чем мучительное сожитие. Но когда между родственниками и детьми появился такой разлад, какой мы видим между старыми Базаровыми и их сыном, тогда и выхода-то никакого нельзя придумать. Евгений Базаров, разумеется, может отшатнуться от своих родителей, и его жизнь все-таки будет полна, потому что ее наполняет умственный труд; но их жизнь? И какой же настоящий Базаров, какой мыслящий человек решится оттолкнуть от себя своих стариков, которые только им живут и дышат и которые сделали все, что могли, для его образования. Эти старики буквально подсадили его на своих плечах, чтобы он мог ухватиться своими отроческими руками за нижнюю ветку древа познания; он ухватился и полез, и залез высоко, и ходу нет назад, и спуститься невозможно, а им также невозможно подняться кверху, потому что они слабы и дряхлы, и приходится им аукаться издали, и приходится им страдать от того, что нет возможности расслышать и понять друг друга; а между тем старики и тому рады, что слышат по крайней мере неясные звуки родного голоса. Скажите, бога ради, кто же решится, находясь в положении Базарова, замолчать совершенно и не отвечать ни одним звуком на кроткие и ласковые речи, поднимающиеся к нему из-под дерева? И Базаров откликается. — И странно и мучительно волнуются и борются в широкой груди Базарова ненависть и любовь, беспощадный, стальной и холодный, судорожно улыбающийся, демонический скептицизм и горячее, тоскливое, порою радостное и ликующее романтическое стремление вдаль, вдаль, но не прочь от земли, а вперед, в манящую, ласкающую, глубокую синеву необозри-

мого лучезарного будущего. Почитайте Гейне, и вы поймете, вы увидите в образах эту ужасную смесь мучительных ощущений, которыми наградило всех мыслящих людей Европы наше общее историческое прошедшее. А покуда прочтите этот небольшой разговор Базарова с Аркадием.

— Нет, — говорил он на следующий день Аркадию, — уеду отсюда завтра. Скучно, работать хочется, а здесь нельзя. Отправляюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А здесь отец мне все твердит: «Мой кабинет к твоим услугам, никто тебе мешать не будет», а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну, и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, — промолвил Аркадий, — да и он тоже.

— Я к ним еще вернусь.

— Когда?

— Да вот как в Петербург поеду.

— Мне твою мать особенно жалко.

— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

Так тебе и надо поступать, Аркашенька. Больше ты, друг мой разлюбезный, ничего и делать не умеешь, как только глазки опускать. Заговорил было с тобою Базаров сначала как с путным человеком, а ты только, как старушка божия, охами да вздохами отвечать ухитрился. В самом деле, вглядитесь в этот разговор. Базарову тяжело и душно; он видит, что и работать нельзя, да и для стариков-то удовольствия мало, потому что «выйдешь к ней — и сказать ей нечего». Так ему приходится скверно, что он чувствует потребность высказаться хоть кому-нибудь, хоть младенчествующему кандидату Аркадию. И начинает он высказываться отрывочными предложениями, так, как всегда высказываются люди сильные и сильно измученные. «Совестно как-то», «ну, и мать тоже», «вздыхает за стеной», «сказать ей нечего». Кажется, не хитро понять из этих слов, что не гаерствует он над своими стариками, что не весело ему смотреть на них сверху вниз и что сам он видит с поразительною ясностью, как мало дает им его присутствие и как мучительна будет для них необходимая разлука. Я думаю, умный человек, будучи на месте Аркадия, понял бы, что Базаров особенно заслуживает в эту минуту сочувствия, потому что быть мучителем, и мучителем роковым, для каждого разумного существа гораздо тяжелее, чем быть жертвою. Умный человек хоть одним добрым словом дал бы заметить огорченному другу, что он понимает его положение, и что в самом деле ничем нельзя помочь беде, и что, стало быть, действительно следует залить тяжелое впечатление свежими волнами живительного труда. А Аркадий? Он ничего не нашел лучшего, как ухватить Базарова за самое больное место: «Очень она огорчится». Точно будто Базаров этого не знает. И точно будто эта мысль дает какое-нибудь средство поправить дело. На это старушечье размышление Базаров мог отвечать сокрушительным вопросом: — Ну, а что же мне делать, чтобы она

не огорчалась? И тут Аркадий, как настоящая старуха, повторил бы опять ту же минорную гамму с легкою перестановкою нот: «Она очень огорчится». И так как из трех слов можно сделать шесть перестановок, то юный мудрец, повторив ту же фразу шесть раз, замолчал бы, находя, что он подал своему другу шесть практических советов, или шесть целительных бальзамов. К счастью, Базарову было не до диспутов с этим пискливым цыпленком. Он тотчас спохватился, вспомнил, что юный друг его не создан для понимания трагических положений, и стал продолжать разговор без всяких излияний, в самом лаконическом тоне. Но это плоское животное, Аркадий, не утерпел и произвел новое визжание и опять, еще грубее ухватил Базарова за больное место. «Мне твою мать особенно жалко». В сущности, это изречение есть не что иное, как одна из шести возможных перестановок. Но так как Аркадий взялся за перестановки очень хитро, то есть стал выражать ту же мысль *другими* словами, то надо было опасаться, что перестановок будет не шесть, а даже гораздо больше. Базарову предстояло утонуть в волнах целительного бальзама, и, очевидно, было необходимо сразу заморозить потоки кандидатского сердоболия. Ну, а Базаров на эти дела мастер. Как сказал об ягодах, так и закрылись хляби сердечные. Аркадий опустил глаза, что ему необходимо было сделать в самом начале разговора. — А наша критика?! А наша глубокая и проницательная критика?! — Она сумела только за этот разговор укорить Базарова в жестокости характера и в непочтительности к родителям. — Ах ты, Коробочка доброжелательная! — Ах ты, обличительница копеечная! Ах ты, лукошко российского глубокомыслия! [10]

VI

Взгляд Базарова на отца Аркадия, Николая Петровича, доказывает самым неопровержимым образом, что Базаров желает и старается сблизиться с теми людьми старшего поколения, которые еще способны подвинуться вперед. Но как сблизиться? Так ли, чтобы Базаров сделал несколько шагов в их сторону, или так, чтобы люди старшего поколения сами подошли к Базарову и к его идеям? То есть, другими словами, готов ли Базаров сделать ряд уступок, или, напротив того, он желает переубедить других? Я думаю, достаточно поставить этот вопрос, для того чтобы считать его решенным. Человек, действительно имеющий какие-нибудь убеждения, только оттого и держится этих убеждений, что считает их истинными. Он, быть может, ошибается; быть может, он заметит со временем свою ошибку и тогда, разумеется, тотчас переменит в своих убеждениях то, что окажется несогласным с истиною; но покуда он не увидит ясно несостоятельности своих мнений, пока эти мнения не разбиты ни фактами действительной жизни, ни оче-

видными доказательствами противников, до тех пор он думает по-своему, считает свои идеи верными, держится за них твердо и, из чистой любви к своим ближним, чувствует желание избавить их от того, что он, справедливо или несправедливо, считает заблуждением. Когда сходятся между собою два человека различных убеждений, оба искренно преданные своим идеям, оба добросовестно стремящиеся к истине и оба настолько просвещенные, чтобы понимать возмутительную пошлость нетерпимости, тогда каждый из них, видя в своем собеседнике честного человека и не имея причины ненавидеть его, желает открыть своему ближнему ту истину, которою он сам обладает. Одна из этих истин непременно оказывается заблуждением; но тот, кто обладал этим заблуждением, старался доставить ему победу, потому что видел в нем несомненную истину. Может быть — мало ли что бывает на свете? — может быть, говорю я, Базарову и пришлось бы в чем-нибудь сделать искреннюю уступку идеям старшего поколения, но все-таки Базаров не мог подходить к старшему поколению с желанием сделать ему эту уступку и с тою мыслью, что такая уступка возможна. Подобная мысль и подобное желание составляют уже действительную уступку и могут возникнуть в человеке искренно убежденном только вследствие фактических доказательств, а никак не вследствие мягкости характера. Когда у человека есть действительно какие-нибудь убеждения, тогда ни сострадание, ни уважение, ни дружба, ни любовь, ничто, кроме осязательных доказательств, не может поколебать или изменить в этих убеждениях ни одной мельчайшей подробности.

VII

Если бы отцом Базарова был Николай Петрович, крепкий и довольно образованный сорокачетырехлетний мужчина, то Базаров, может быть, увлек бы своего отца в область реалистического труда, и представители двух поколений с любовью и с взаимным доверием стали бы поддерживать и ободрять друг друга. Молодой работал бы больше пожилого, но пожилой понимал бы его вполне и совершенно сознательно радовался бы каждому отдельному успеху своего младшего товарища, на которого это сочувствие действовало бы самым живительным образом. О разладе не могло бы быть и речи, потому что, вполне понимая друг друга, эти люди видели бы, что между их интересами нет и не может быть ни малейшей противоположности. Один ищет истины, и другой также ищет истины, и эта истина для обоих одна и та же, и эта истина не такое благо, которое, доставшись одному, не могло бы в то же время принадлежать и другому. Стало быть, и дуться друг на друга незачем, и надо только договориться до взаимного понимания. Базаров очень хорошо знает, что в некоторых случаях всякая попытка договориться до какого-нибудь удо-

влетворительного результата совершенно бесплодна. Он никогда не пробует серьезно разговаривать с Ситниковым или с Кукшиною, потому что эти господа, очевидно, изображают своими особами бездонную бочку Данаид.[11] Сколько в них ни вали дельных мыслей, хоть весь британский музеум опрокинь в их головы, все будет пусто, и все будет проходить насквозь с величайшею легкостью. Базаров не пробует также вступать в серьезные разговоры с своими родителями, хотя эти родители вовсе не глупы от природы. Но договориться и с ними невозможно: отец Базарова — славный и добрый старик, еще бодрящийся, но уже начинающий впадать в детство; а мать его даже никогда не переставала быть ребенком, хотя и была постоянно примерною супругою, отличною хозяйкою и до самозабвения нежною матерью. Такие личности, обладающие здоровым и нормальным мозгом, но живущие и умирающие без пособия этого органа, встречаются у нас на каждом шагу и доказывают своим существованием ту несомненную истину, что время полного господства головного мозга над явлениями человеческой жизни наступит еще очень не скоро. Такие личности живут так называемым чувством, то есть каждое впечатление, не задерживаясь и не перерабатываясь в их мозгу ни одной минуты, немедленно переходит в какой-нибудь поступок, в котором эта поступающая личность никогда не спрашивает у себя и никогда не может дать себе ни малейшего отчета. Такие личности приходятся по душе нашему обществу и нашим художникам, которые действительно имеют с ними довольно много точек соприкосновения; но я сильно сомневаюсь в том, чтобы такие личности могли иметь особенно живительное влияние на медленное, страшно медленное движение человечества к светлому будущему. Личности, подобные старушке Базаровой, — это ходячие пуховики, часто очень привлекательные и всегда приглашающие своей симпатичностью полезных работников опочить до конца жизни от несоделанных подвигов и разумного труда. С этим милым, добродушным, трогательно любящим и уже состарившимся пуховиком Базаров, конечно, ни о чем не рассуждает, потому что «и сказать ей нечего». Таким образом Базаров разговаривает только с Аркадием, с Николаем и Павлом Петровичами и с Одинцовою. Самое серьезное значение для Базарова и самый серьезный результат во всех отношениях могли иметь разговоры с Одинцовою; они могли доставить Базарову счастье взаимной любви, и они же могли дать обществу мыслящую женщину. Наслаждаясь разумным счастием, Базаров удесятерил бы свои рабочие силы, и это приращение пошло бы целиком на пользу общему умственному капиталу всего человечества. Одинцова, с своей стороны, развернула бы все силы своего здорового ума. Но такие счастливые результаты получаются очень редко. Почти всегда какая-нибудь ничтожная оплошность нарушает процесс развития в самом его начале, подобно тому как самое легкое движение воздуха расстраивает все расчеты химика и искажает весь

процесс медленной и нормальной кристаллизации. Так случилось и в истории Одинцовой. Ее испугала страстность Базарова, но если бы та же страстность проявилась с такою же силою двумя или тремя месяцами позднее, то Одинцова увлеклась бы ею сама до полнейшего самозабвения. Впрочем, об отношениях реалистов к женщинам я буду говорить впоследствии очень подробно.

Аркадий, мне кажется, во всех отношениях похож на кусок очень чистого и очень мягкого воска. Вы можете сделать из него все, что хотите, но зато после вас всякий другой точно так же может сделать с ним все, что этому другому будет угодно. Вы можете натереть им мебель и паркетный пол: Аркадий исполнит это назначение в совершенстве! Вы можете превратить его в свечку: Аркадий будет таять и уничтожаться в порывах самопожертвования, и может уничтожиться без остатка, если никто не догадается дунуть на светильню; но этот процесс самоистребления будет постоянно совершаться только в непосредственной близости самого огня, и во время этого процесса вся свеча будет совершенно холодна и равнодушна. Как только погаснет светильня, не имеющая по своему составу ничего общего с воском, так в ту же минуту прекратится всякое таяние и изнывание. Если вы — искусный скульптор, вы можете сделать из этого воскового Аркадия изящнейшую статуэтку и даже можете вложить в складки его чела выражение глубокой задумчивости и мировой печали; но эту художественную безделку вы непременно должны держать под стеклянным колпаком, чтобы ее не засидели мухи, кроме того, вы должны тщательно наблюдать, чтобы она не подвергалась влияниям изменчивой температуры; попробуйте оставить ее на полчаса под лучами летнего солнца, и она расплывется так удивительно, что ее творец, искусный скульптор, не будет в состоянии узнать свое любимое произведение. Не только глубокая задумчивость, не только мировая печаль изгладятся без следа, но даже обыкновенные черты человеческого образа стушуются до полного безличия. Но это ничего не значит. Если скульптор терпелив, он может немедленно взять свою отекшую креатуру в свои искусные руки и снова может восстановить утраченное достоинство ее выражения. Впрочем, надо сказать правду, что такой терпеливый скульптор окажется чистым художником, то есть человеком, работающим из любви к искусству, без малейшего стремления к практической пользе, потому что такая восковая статуэтка может быть только очень бесполезным и очень непрочным украшением дамского будуара. В конце концов мухи засидят ее непременно до полного помрачения, и воск утратит всю свою первобытную чистоту, так что статуэтку все-таки придется отдать в распоряжение полотеров для украшения паркета. Говоря проще, под старость Аркадий все-таки сделается бесполезнейшим, а может быть, и дряннейшим тунеядцем. А старость, то есть житье в брюхо, для этих восковых господ начинается ровно через год после выхода из университета. Базаров разговаривает с Аркадием именно в то

время, когда последний находится в переходном состоянии из отрочества в старость. Базаров видит своего так называемого друга насквозь и нисколько его не уважает. Но иногда, как мыслящий человек и как страстный скульптор, он увлекается тем разумным выражением, которое его же собственное влияние накладывает порою на мягкие черты его воскового друга. Если бы вы спросили у Базарова: «Выйдет ли что-нибудь путное из вашего друга?» — Базаров отвечал бы вам с полным убеждением: «Ничего путного не выйдет; будет рафинированным Маниловым, и больше ничего». Но на практике Базаров не всегда последовательно выдерживает эту идею; он иногда обращается к Аркадию так, как будто бы он видел в нем какие-нибудь задатки сильного ума и твердого характера.

Это понятно и извинительно. Базаров так одинок, все окружающие его люди смотрят на него такими изумленными глазами, что поневоле одолевает его иногда потребность хоть кому-нибудь сказать человеческое слово, хоть кому-нибудь помочь добрым советом. Николай Петрович положительно умнее своего сына, и с ним Базаров мог бы сблизиться, если бы была какая-нибудь возможность завязать это сближение, то есть сделать первый шаг. Но ведь неловко же, неудобно подойти к постороннему человеку пожилых лет и, без малейшего вызова с его стороны, подарить ему несколько непрошенных советов касательно направления его умственной деятельности. Аркадий мог бы явиться посредником между отцом и Базаровым, но Аркадий не умеет сделать ни одного активного шага, а, как неоперившийся птенец, производит ежеминутно разные плоскости и бестактности. Брат Николая Петровича Павел положительно мешает всякому сближению, постоянно вызывает Базарова на бесплоднейшие диалектические поединки, жестоко надоедает ему и, наконец, завершает все свои подвиги глупейшею дуэлью уже не на словах, а на пистолетах.

Павел Петрович — человек очень неглупый, и его фигура чрезвычайно любопытна и поучительна, как отживающая тень печоринского типа. Эта тень не хочет и не может признать себя тенью, и, встречаясь с тем типом, который живет в настоящем, она, эта представительница прошедшего, отрицает его всеми силами своего ума и ненавидит его так, как скупой рыцарь ненавидит своих наследников. Печоринский и базаровский типы ненавидят и отталкивают друг друга. Печорины и Базаровы решительно не могут существовать вместе в одном обществе, потому что и Печорины и Базаровы выделываются из одного материала: стало быть, чем больше Печориных, тем меньше Базаровых, и наоборот. Вторая четверть XIX столетия особенно благоприятствовала производству Печориных; новых Печориных жизнь уже не отчеканивает, а старые, потускнелые и поблекшие, никак не желают понять, что их время прошло. Прошло ли оно невозвратно, этого никто не решится сказать, но что Печорины в настоящую минуту не стоят на первом плане — это несомненно. Печорины и Базаровы совершенно

не похожи друг на друга по характеру своей деятельности; но они совершенно сходны между собою по типическим особенностям натуры: и те и другие — очень умные и вполне последовательные эгоисты; и те и другие выбирают себе из жизни все, что в данную минуту можно выбрать самого лучшего, и, набравши себе столько наслаждений, сколько возможно добыть и сколько способен вместить человеческий организм, оба остаются неудовлетворенными, потому что жадность их непомерна, а также и потому, что современная жизнь вообще не очень богата наслаждениями.

Очень умный человек может наслаждаться мыслью только тогда, когда деятельность мысли клонится к какой-нибудь великой и немечтательной цели. Великие цели бывают бесконечно разнообразны в своих внешних проявлениях; но все они в сущности могут заключаться только в том, чтобы улучшить, так или иначе, положение той или другой группы человеческих существ. Переберите все сферы человеческой деятельности, и вы увидите, что все они порождены и поддерживаются исключительно стремлением людей к нравственному или материальному благосостоянию. Не все эти сферы, далеко не все, удовлетворяют своему назначению; многие, очень многие из них бесполезны для людей и, следовательно, вредят уже тем, что поглощают силы; многие вредят даже положительно, не только отвлекая силы, но и парализируя или извращая другие полезные проявления человеческой деятельности; но все-таки все эти сферы существуют для блага человечества. Таким образом, можно сказать решительно, что для человеческой мысли главная цель есть стремление к человеческому благополучию. Но в истории бывают такие эпохи, когда враждебные обстоятельства мешают людям стремиться к благополучию и решать задачи, вытекающие из этого стремления.

Мысль, работающая для блага человечества, действует обыкновенно по одному из двух главных путей: или она прилагает к современной жизни людей те результаты, которые уже добыты передовыми деятелями посредством теоретических исследований и научных наблюдений, или же она добывает для будущего времени новые результаты, то есть производит исследования, наблюдения и опыты. Те науки, которые, подобно истории и политической экономии, живут только беспристрастным анализом междучеловеческих отношений, в эпохи застоя теряют значительную долю своей занимательности. Этим наукам предаются в такое время люди двух сортов: одни пишут казенные учебники, другие честно и добросовестно убеждены в том, что людям следует вечно спать, но спать облагороженным сном, то есть видеть во сне великие идеи. Они восхищают своих слушателей одушевленными беседами, от которых, однако, никогда, ни при каких условиях, ничего, кроме испаряющегося восхищения, не может произойти.

В эту категорию я включаю всех честных и умных людей, подобных Грановскому и Кудрявцеву.[12] Эти имена пользуются у нас

уважением, и я называю их для того, чтобы не оставить в моей мысли ни малейшей неясности. Эти два профессора жили и умерли вполне честными людьми, но надо сказать правду, что им в этом отношении сильно посчастливилось: их выручила своевременная смерть, которую их почитатели совершенно неосновательно называют преждевременною. Между таким историком, как Грановский, и таким, как г. Костомаров, лежит дистанция огромного размера, а известно, что даже г. Костомарова застают иногда врасплох и ставят втупик запросы пробуждающейся жизни.[13] Любопытно заметить, как тонко и верно Тургенев выразил свое мнение о деятельности Грановского. Пусть читатели припомнят личность Берсенева в романе «Накануне» и пусть подумают, мог ли Грановский сформировать что-нибудь выше и лучше Берсенева. Если бы семя всех сеятелей всегда падало на такую добрую почву, как душа Берсенева, то и желать ничего более не оставалось бы. Берсенев в высокой степени честен и настолько умен, чтобы быть очень полезным работником. Если же общий результат берсеневской деятельности оказывается совершенно ничтожным, то виновато исключительно плохое качество того семени, которое было принято и взлелеяно этим честным и искренним человеком, с полнейшим благоговением и с бескорыстнейшею любовью. А, кажется, Тургеневу в этом отношении можно поверить, во-первых, потому, что он знал вполне все задушевные стремления московских кружков, а во-вторых, потому, что его можно заподозрить скорее в пристрастии к симпатичному Грановскому, чем в преувеличенной нежности к угловатым реалистам нашего времени.

Мне возразят, что на поприще Грановского никто бы не мог действовать лучше и плодотворнее. Я знаю, что не мог. Но это доказывает только, что не надо ему было становиться на такое поприще. На это скажут, что лучше что-нибудь, чем совсем ничего. С этим я опять-таки совершенно согласен, но только надо условиться в понимании термина — «что-нибудь». Если мне очень хочется есть, то я прошу: дайте мне, ради бога, хоть что-нибудь! То есть дайте мне хоть сухую корку хлеба. Но если мне дадут палисандровую дощечку или атласный лоскуток, то я никак не скажу, что это — «что-нибудь», а скажу, что это — совсем ничего. При совершенно рациональном преподавании история есть «что-нибудь» и может служить обществу очень питательною пищею. Но при художественной манере преподавания история превращается в галерею рембрандтовских портретов. И хорошо, и весело, и глаза разбегаются, а в результате выходит все-таки совсем ничего. Ведь как хотите толкуйте: Грановскому до Маколея очень далеко, а между тем я бы покорнейше попросил кого-нибудь из многочисленных обожателей великого Маколея доказать мне ясно и вразумительно, что вся деятельность этого великого человека принесла Англии или человечеству хоть одну крупинку действительной пользы. А что деятельность всех ученых и писателей, подобных

Маколею, принесла чрезвычайно много вреда, это вовсе нетрудно доказать. Все эти господа, сознательно или бессознательно, постоянно морочили грациозностью.

Молодые люди, подобные Берсеневу, входят в храм науки и прежде всего попадают в преддверие, из которого расходятся в две противоположные стороны — в два коридора. Пойдешь налево — тебе покажут тысячи палисандровых дощечек и атласных лоскутков, которые тебе придется жевать для утоления умственного голода. А пойдешь направо — тебя накормят, оденут, обуют, обмоют и покажут, кроме того, как кормить, одевать, обувать и обмывать других людей. В левом, атласно-палисандровом отделении храма наук господствуют: историография Маколея и его бесчисленных, даровитых и бездарных последователей, политическая экономия не менее бесчисленных учеников Мальтуса и Рикардо и сверх того пестрейшая толпа различных «прав»: римское, гражданское, государственное, уголовное и множество других. И все атласно-палисандровые подобия наук тщательно приведены, посредством усечений и пришиваний, в строгую гармонию как между собою, так в особенности и с общими современными требованиями. В правом отделении, напротив того, помещается изучение природы.

Если бы молодым людям, вступающим в храм науки, ставили вопрос о двух коридорах так откровенно, как он поставлен здесь, то, разумеется, кому же была бы охота идти налево и жевать атлас? Но, к несчастью, к большому несчастью для молодых людей и для всего человечества, — все левое отделение битком набито сладкогласными сиренами вроде Маколея и Грановского, которые только тем и занимаются, что очаровывают и завлекают своим мелодическим пением неопытных посетителей великого храма. В правом отделении совсем нет сирен: во-первых, потому, что там вообще до сих пор мало обитателей, а во-вторых, и потому, что наличным обитателям решительно некогда заниматься песнопениями: один добывает какую-нибудь кислоту, другой анатомирует пузырчатую глисту, третий исследует химические свойства гуано, четвертый возится с коренным зубом какого-нибудь Elephas meridionalis, * пятый прилаживает отрезанную лапку лягушки к гальванической батарее, шестой анализирует мочу помешанных людей, и так далее, и так далее, всё в том же прозаическом направлении. Ну, скажите, бога ради, такие ли это занятия, чтобы можно было запеть по поводу их мелодическую серенаду, способную очаровать и привлечь молодых посетителей, только что поступивших в храм науки и не умеющих ясно отличать область чистой фантазии от области строгого знания?

Неудивительно, что почти вся масса свежих умственных сил, не находивших себе никакого приложения к жизни, тратилась

* Латинское наименование одного из видов ископаемого слона, обитавшего в южной Европе. — *Ред.*

прежде или на строго научное ведение правильных атак против женских сердец, или на писание и чтение сочинений и статей в маколеевском роде, только гораздо пожиже. Грановские и их ученики Берсеневы почти совершенно удовлетворялись этою последнею деятельностью и были глубоко убеждены в том, что они делают дело и что Россия только по своей крайней неразвитости не считает их великими гражданами; но люди более умные, люди, подобные Лермонтову и его герою Печорину, решительно отвертывались от русского маколейства и искали себе наслаждений в любви, страдали исключительно от любовных неудач, порхали с цветка на цветок, довели русское донжуанство до замечательной виртуозности и все-таки скучали, как ни были разнообразны и очаровательны отдельные эпизоды этой многотрудной деятельности.

Выбрать себе донжуанство, когда общество живет или начинает жить полною жизнью, значит, во-первых, обнаружить замечательное скудоумие, а во-вторых, обнять мечту вместо действительности, потому что в живущем или пробуждающемся обществе субъект, не имеющий за собою никаких достоинств, кроме стремления к любви, одержит весьма слабое количество очень неблестящих побед. В таком обществе женщины всегда требуют от своих поклонников хотя каких-нибудь внешних признаков дельности и умственной энергии; тут уж невозможно колотить себя в грудь и божиться, что в этой груди заключены исполинские силы, которые тщетно стремятся найти себе исход; тут самая простодушная женщина скажет этому колотителю: «Что ж вы не проявляете ваших сил? Ведь вот M и N проявляют. И вы проявите». — И останется на это сказать только: «Слушаюсь, сударыня; завтра же проявлять начну». Но в цветущее время печоринства постоянная праздность, хроническое скучание и полный разгул страстей действительно составляют неизбежную и естественную принадлежность самых умных людей. Конечно, маску вечной скуки надевали на себя такие люди, которые просто были глупы, которые во всякое время были бы праздными и которые старались только прострелить женское сердце разочарованными взорами. Грушницкие носили тогда обноски Печориных так точно, как теперь Ситниковы носят обноски Базаровых. Конечно, и настоящие Печорины часто интересничали своим скучанием, когда это интересничание могло остаться незамеченным, сойти за чистую монету и ускорить желанную развязку любовной интриги. Но, несмотря на то, скука настоящих Печориных вовсе не была маскою; она их действительно тяготила, и если бы какой-нибудь благодетельный гений предложил им снять с них эту проклятую обузу, то они с большим удовольствием дали бы клятвенное обязательство никогда не надевать на себя личину этой скуки «для пущего трагизма», как выражается г. Зайцев.[14] Печорины были во всех отношениях умнее Берсеневых, и поэтому-то именно им и не оставалось никакого выхода из скуки и из мира любовных похождений. Конечно, их силы могли бы

найти себе удовлетворение в глубоком изучении природы, но ведь надо же помнить, что в нашем любезном отечестве только что на этих днях сделано то великое открытие, что естественные науки действительно существуют, что они способны принести людям некоторую пользу и что не мешало бы, вместо «роз Феокрита», [15] возрастить на российских снегах нечто вроде химии, физиологии и анатомии. Для Печориных естествознание было тем, чем будет, вероятно, во всякое время интегральное исчисление для огромного большинства людей. Стало быть, Печориным не было никакого выбора, и постоянная их праздность нисколько не может служить доказательством их умственной хилости. Даже напротив того.

VIII

Германия, классическая страна «здорового растительного сна», настоящая родина чистейшего филистерства, совершенно недоступного в своей полной чистоте для всех остальных частей нашей планеты, — Германия, говорю я, сумела, однако, устроить так, что ее многолетний сон не пропал даром ни для нее самой, ни для человечества. Первые шестьдесят четыре года XIX столетия останутся навсегда незабвенною эпохою, как колыбель новейшего естествознания. Либих, Леман, Мульдер, Молешотт, Дюбуа-Реймон, Пфлюгер, Фирхов, Фирордт, Фалентин, Гельмгольц, братья Веберы, Карл Фохт, Гиртль, Бронн, Келликер, Фульрот, Шахт, Александр Гумбольдт, Шванн, Функе, Эренберг, Зибольд и другие более или менее замечательные натуралисты сделали из этой эпохи незыблемый фундамент для будущего развития естествознания. «Химические письма» Либиха, «Круговорот жизни» Молешотта, «Исследования о животном электричестве» Дюбуа-Реймона, «Целлюлярная патология» Фирхова, «Анатомия» Гиртля, «Гистология» Келликера, «Дерево» Шахта, «Космос» Гумбольдта навсегда останутся драгоценнейшим достоянием всех веков и всех народов. Эти труды не только кладут фундамент будущего благосостояния, но, кроме того, даже в настоящем увеличивают богатство масс; подобные люди счастливы, глубоко и бесконечно счастливы в двух отношениях: во-первых, они прежде других созерцают те великие тайны природы, с которых они срывают завесу; и, во-вторых, они видят счастье тех людей, которые им одним обязаны своим благосостоянием. Конечно, многие тайны остаются для них недоступными; но я и не говорю, что истинные ученые естествоиспытатели наслаждаются безоблачным блаженством. Они часто и страдают и волнуются, но они не отдадут этих великих минут страдания и волнения за миллионы невозмутимых филистерских благополучий. Вы любите женщину, вас волнует и терзает и ее присутствие, и ее отсутствие, и ее слова, и ее взгляды, и ее холодность, и ее страстность; в самые счастливые минуты вы не знаете сами, весело ли вам

или больно; а между тем все эти мучительные ощущения бесконечно дороги для вас, и дороги даже тогда, когда весь ваш роман целиком ушел в прошедшее и когда у вас не осталось для настоящего ровно ничего, кроме грустно-радужных воспоминаний; как только прошедшее выступает ярко перед вашею памятью, так вам становится положительно больно, и никакого из этой боли не может выйти толку; а между тем вы любите даже эти томительные минуты, и вы ни за что не согласились бы взять себе забвение,[16] если бы даже оно было возможно.

Если вы когда-нибудь любили, то вы найдете эти замечания верными, и вы получите тогда легкое понятие о том, каким образом знающие естествоиспытатели относятся ко всем трудам, неприятностям и страданиям той деятельности, которая наполняет всю их жизнь. Когда тип скучающих Печориных процветал в нашем отечестве, тогда все-таки никакие обстоятельства не мешали и не хотели мешать развитию физических, химических и физиологических исследований. Конечно, идеи Фейербаха и Бюхнера считались и тогда очень предосудительными. Но совсем не в этих идеях и заключается сила современного естествознания. Если до сих пор мы относимся к этим идеям с особенною нежностью и накидываемся на них с особенною жадностью, то это доказывает только, что мы стоим еще на самом пороге настоящей науки и что мы до сих пор никак не можем отказаться от ребяческой замашки строить системы мира из двух десятков собранных кирпичей. Кроме того, запрещенный плод всегда привлекателен. Но настоящие натуралисты, те, которым нет причины нежничать с запрещенными плодами, и те, которые находят скучным полемизировать с подобными созданиями человеческой глупости, те, говорю я, относятся с глубочайшим равнодушием к таким системам, начиная с необузданного идеализма Платона и кончая простым материализмом Бюхнера. Они даже перестали удивляться тому, что люди спорят о таких предметах. Мы желаем работать, говорят естествоиспытатели, а не фантазировать. Работа же наша состоит в изучении тех сторон природы, которые можно видеть, измерять и вычислять. Так рассуждают величайшие из современных натуралистов, и простота и разумность таких рассуждений так очевидны, так неотразимо действуют на все человеческие умы, даже на самые неразвитые, что перед трудами натуралиста преклоняются с невольным уважением люди всех политических партий.

На основании всех предыдущих соображений я решаюсь высказать ту мысль, что наши Печорины могли проникнуть в область труда, недоступную атмосферическим влияниям,[17] и проникли бы в нее непременно, если бы они только имели ясное понятие о ее существовании. Мне кажется, что им всего более мешали открыть эту область три вещи: во-первых, наше общее невежество, во-вторых — поэзия и эстетика, и в-третьих — ученое фразерство наших добродетельных и недобродетельных Маколеев. Последние две

причины мешали преимущественно тем, что возбуждали в сильных и естественно-скептических умах наших Печориных презрение к умственной деятельности вообще. Они думали, по своей необразованности, что видят перед собой образчики всей человеческой науки, и, замечая тотчас дряблость и практическое убожество тех занятий, которым с коленопреклонениями и с священным ужасом предавались наши Берсеневы, они, Печорины, решали сразу, что все это чепуха и что надо жить, пока живется, и что скука составляет неизбежную неприятность в жизни каждого умного человека. Я уверен, что, читая даже статьи Белинского, многие Печорины рассуждали про себя: «Да. Славно пишет. И умно и честно. Но к чему все это?» И если они рассуждали таким образом, то нельзя сказать, чтобы они были совершенно неправы. Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полною откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте. Читатели «Русского слова» знают уже, как радикально мы разошлись с Добролюбовым во взгляде на Катерину,[18] то есть — в таком основном вопросе, как оценка светлых явлений в нашей народной жизни. Следовательно, самые идеи Белинского уже не годятся для нашего времени. В свое время они были очень полезны, но неосновательно было бы утверждать, что в его время невозможны были такие другие идеи, которые принесли бы вдесятеро больше пользы.

Мне кажется, что такие идеи были возможны даже тогда. Белинский, усвоивший себе полулитературное, полуфилософское образование, не мог сделаться проводником этих других идей; но тот же Белинский, получивший математическое и строго реальное образование, тот же Белинский, с тем же сильным умом, с тем же блестящим талантом, с теми же честными убеждениями, но только Белинский натуралист, а не эстетик и не гегельянец, принес бы в десять раз больше пользы, и после деятельности такого атлета мне, конечно, не было бы ни надобности, ни даже возможности писать в 1864 году настоящие строки. Но немногие уцелевшие и состарившиеся Печорины никак не хотят и не могут поверить тому, что они при всем своем уме были круглыми невеждами и в течение всей своей жизни скучали не по возвышенности своей натуры, а только потому, что не знали, как взяться за дело. Поэтому, при встрече с молодыми Печориными, они стараются их разразить аргументами, как разражали, в былые годы, гегелистов и Маколеев российской фабрикации. Но тут коса находит на камень, и старые Печорины замечают в молодых ту же холодную ясность взгляда, ту же умственную требовательность, ту же беспощадность иронии, словом, все те же свойства, которыми они сами наводили трепет на Максима Максимовича и благоговейную любовь на княжну Мери. И ко всему этому присоединяется знание, которого у пятигорского демона не было. Да еще вдобавок не скучают, канальи,

и даже отрицают скуку, то есть ухитряются, таким образом, перещеголять демона даже в отрицании, которое, как известно, составляет его нарочитую специальность. Разумеется, все это неимоверно бесит поседевших Печориных, и им, чтобы не видеть молодых чертенят, которые оказываются шустрее старых, — остается только взять пример с Павла Петровича Кирсанова, то есть уехать в Дрезден и показывать себя публике на Брюлевской террасе.

IX

Базаров говорит Аркадию: «Твой отец добрый малый; но он человек отставной, его песенка спета. Он читает Пушкина. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. Дай ему что-нибудь дельное, хоть Бюхнерово „Stoff und Kraft“ * на первый случай».

Выписав эти слова, г. Антонович прибавляет от себя замечание: «Сын вполне согласился с словами друга и почувствовал к отцу сожаление и презрение».

Но, во-первых, это неправда; ни сожаления, ни презрения Аркадий не чувствовал к своему отцу ни *до* этого разговора, ни *после*. А во-вторых, если бы даже глупость Аркадия дошла до таких колоссальных размеров, то, разумеется, *сожаление и презрение* родилось бы в нем не оттого, что он *согласился с словами друга*, а оттого, что он понял эти слова совсем навыворот. Базаров нисколько не желает разъединять сына с отцом; напротив того, Базаров своим советом указывает на тот единственный путь, по которому Аркадий может приблизиться к Николаю Петровичу, не изменяя идеям своего поколения. Но прежде всего необходимо правильно понимать Базарова; он выражается всегда очень сильно и довольно небрежно; поэтому, если мы захотим придираться к отдельным словам, нам будет вовсе не трудно извратить их смысл, обвинить Базарова в различных намерениях и даже отыскать в каждой его фразе по нескольку противоречий. Например, он говорит, что Николай Петрович — человек отставной, и в то же время советует дать ему что-нибудь дельное. Явное противоречие! Если отставной, так и пускай читает Пушкина; незачем его и отрывать от этого безвредного занятия. Далее: против чтения Пушкина приводится тот аргумент, что «ведь он (т. е. Николай Петрович) не мальчик». Это опять похоже на бессмыслицу. Значит, если бы Базаров увидал сочинения Пушкина в руках семнадцатилетнего мальчика, то он этого мальчика похвалил бы за прилежание и нашел бы, что этому мальчику действительно следует тратить время на чтение «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Уличивши, таким образом, Базарова в противоречиях, дока-

* «Материя и сила». (У Бюхнера: «Сила и материя».). — *Ред.*

завши ему, что он сам не понимает своих собственных слов, мы, конечно, без малейшего труда придем к тому заключению, что Базарову, как самолюбивому мальчишке, хочется только поумничать над почтенным отцом семейства и что вся тирада против Пушкина должна быть приписана этому мелкому предосудительному побуждению. Это заключение чрезвычайно печально, потому что оно доказывает нам удивительную непрочность той гармонии, которая господствует в самых лучших и просвещенных русских семействах.

Когда Базаров говорит с Аркадием о Николае Петровиче, то слова могут подать повод к ложным истолкованиям: в этих словах можно отыскать бессвязность и нелепость; но стоит только взглянуть на эти слова без предубеждения, чтобы увидать и понять немедленно честные, чистые и вполне сознательные стремления Базарова. — Зачем он говорит Аркадию, что его отец — человек отставной? — Очень понятно, зачем. — Аркадий — юноша впечатлительный. Приехав в деревню, он подчиняется влиянию разнеживающей обстановки и увлекается симпатичною личностью своего доброго отца. Любить отца очень похвально, но всякий читатель, вероятно, согласится со мною в том, что двадцатилетнему юноше не следует относиться к требованиям современной действительности так, как относится к ним сорокачетырехлетний мужчина. Если пожилой человек отдыхает и благодушествует, если он занимается полезным трудом от нечего делать, если этот труд составляет для него не цель и смысл всего существования, а только приятное развлечение, вроде прогулки для моциона, если, говорю я, все это делается пожилым человеком, то мы от всей души говорим ему спасибо за то, что он не мешает работе других людей, и еще за то, что он способен находить удовольствие в таких занятиях, которые не могут быть названы совершенно бесполезными. Мы всегда должны помнить, что человек зрелых лет провел всю свою молодость в печоринском периоде и что вынужденная неподвижность действует на человеческие силы гораздо разрушительнее, чем самый тяжелый и изнурительный труд. Поэтому реалисты никогда не потребуют от Николая Петровича, чтобы он с юношескою энергиею и с горячим усердием принялся за работу нашего времени. Но по этой же самой причине реалисты отнесутся с полным и совершенно справедливым презрением к тому двадцатилетнему празднолюбцу, который вздумает отдыхать, благодушествовать и дилетантствовать, подобно Николаю Петровичу. Или работай серьезно, или совсем не принимайся за работу, — они скажут каждому из своих сверстников, потому что от них, от наших сверстников, мы имеем полное право настоятельно требовать непреклонной энергии, железного терпения и неутомимого трудолюбия. У кого нет этих свойств и кто, будучи двадцатилетним здоровым парнем, не в состоянии выработать в себе эти свойства, тот не может пользоваться уважением нашим, того ошикают и осмеют, если он осмелится пуститься в добродетельные фразы о своем пламенном

сочувствии общему делу отечественного прогресса. Нам нужна полезная работа, и нет никакого дела до пламенных сочувствий. Сочувствие же мы с полною признательностью принимаем только от тех людей, которые уже не в силах быть деятельными работниками.

Теперь понятно, что значат слова Базарова: «твой отец — человек отставной». Это значит: помни, о друг мой, Аркадий Николаевич, что с твоей стороны будет совершенно неприлично вести тот образ жизни, который делает твоему пожилому отцу большую честь. Он поступает хорошо, потому что он отставной, но тебе рано выходить в отставку. Смотри же, держи ухо востро, если не желаешь к двадцати пяти годам сделаться Афанасием Ивановичем. Когда Аркадий женился на Катерине Сергеевне, он действительно превратился в Афанасия Ивановича, и можно было сказать заранее, что все предостережения Базарова пропадут даром, потому что воск ни при каких условиях не перестанет быть воском и не сделается ни сталью, ни алмазом. Но ведь Базаров не виноват в том, что его разумные слова попадали в ослиное ухо. Слова все-таки разумны, намерение все-таки честно, а если успех невелик, так что же с этим делать? Нам пришлось бы наложить на себя пифагорейский обет молчания,[19] если бы мы стали высказывать наши мысли только в тех случаях, когда они наверное должны попасть в цель и произвести осязательный практический результат.

Это напоминает мне, что фельетонист «Современника» называет Базарова болтуном.[20] О, господи! Уж не нашим бы литераторам высказывать этот упрек. Нам, пишущим людям, приходится болтать десятки лет, прежде чем наша болтовня дойдет по назначению. Или, может быть, г. Щедрин думает, что каждое его слово творит чудеса и извлекает из камня нашей закоснелости живую воду плодотворных идей и высоких стремлений? Ну, и пускай думает! Блажен, кто верует, тепло тому на свете! — Но Базаров даже и говорит-то совсем немного и выражает свои мысли так коротко и отрывисто, что почти каждое его слово требует дополнительных и пояснительных комментариев. Так не говорят болтуны, то есть люди, наслаждающиеся звуком собственных речей. Так говорят только деловые люди, чувствующие непримиримую ненависть ко всякому риторству. Сказавши Аркадию, что его отец — отставной человек, Базаров на этом не останавливается. Он не хочет махнуть рукой на отставного человека и отвернуться от него. Он говорит Аркадию: «Растолкуй ему, что это никуда не годится»... «Дай ему что-нибудь дельное». — Зачем он это говорит? Конечно, не затем, чтобы сделать Николая Петровича великим естествоиспытателем. И, конечно, не затем, чтобы покуражиться над этим добродушным и смирным человеком. Если бы он хотел куражиться, то он сам полез бы с советами к Николаю Петровичу, вместо того чтобы разговаривать с его сыном. Базаров просто желает поделиться тем, что он считает высшими человеческими наслаждениями, со всяким, кто только способен воспринять и почувствовать эти наслаждения.

Если вы любите есть устрицы, то очень естественно, что вы при случае будете угощать устрицами каждого из ваших знакомых; и вы даже с особенным удовольствием будете вовлекать в любовь к устрицам тех людей, которые никогда не брали их в рот и смотрят на них с непозволительным ужасом. Ваше удовольствие будет совершенно бескорыстно, и оно будет вытекать из самого чистого источника. Вам хочется, чтобы вместе с вами наслаждались и другие. На этом желании основано убийственное хлебосольство гоголевского Петуха, и хлебосольство это, проявляющееся в самых скотских размерах, все-таки остается очень симпатичным именно потому, что в нем нет ни малейшего тщеславия, а только одно добродушие: пользуйся, мол, всякая душа человеческая! — Петух кормит своих гостей на убой, а Базаров хочет усадить Николая Петровича за книгу, которую он считает дельною; оба действуют по одинаковому побуждению. «Мне хорошо; хочу, чтоб и другому было хорошо», — это размышление так просто, так естественно, так неистребимо в каждом здоровом человеческом организме, что и Петух способен размышлять таким образом. А между тем все величайшие подвиги чистейшего человеческого героизма совершались и будут совершаться всегда именно на основании этого простого размышления. — А критика наша, по обыкновению, смотрит в книгу и видит фигу и на основании этой фиги изобличает Базарова в непочтительности, в жестокости и во всяком озорстве. Долго придется г. Антоновичу раскаиваться в его статье об «Асмодее нашего времени». Много вреда наделала эта статья. Сильно перепутала она понятия нашего общества о молодом поколении. Так напакостить мог именно только один «Современник».

А что же значат слова Базарова: «Ведь он не мальчик»? — Это значит: «Когда твой отец был мальчиком, тогда позволительно было читать Пушкина, потому что лучше наслаждаться четырехстопными ямбами, чем «ромом и араком» или вороными рысаками. Теперь он не мальчик, и теперь настали другие времена, и теперь люди выучились создавать себе более прочные, более разумные и более сильные наслаждения. Пусть твой отец отведает этих наслаждений, и он, как человек неглупый, наверное полюбит их и бросит ямбы и хореи. Помоги твоему отцу; тебе самому будет чрезвычайно приятно сознавать, что ты принес ему пользу и что ты открыл ему доступ к великим наслаждениям мысли. И еще приятнее будет для тебя то обстоятельство, что отец сделается твоим другом и помощником во всех твоих дальнейших работах». Вот мысль Базарова, развитая во всех подробностях. Если смотреть на его слова без предвзятой идеи, без недоброжелательного предубеждения, то невозможно даже предположить, чтобы эти слова были произнесены вследствие какого-нибудь другого процесса мысли.

Я обращаюсь теперь к каждому беспристрастному читателю с вопросом: есть ли малейшая возможность заподозрить Базарова в желании поглумиться над Николаем Петровичем и унизить в его

лице лучшую часть старшего поколения? Я убежден в том, что каждый беспристрастный читатель, вглядевшись в мои доводы, совершенно очистит Базарова от тех нелепых обвинений, которые взведены на него близорукою критикою. Слова Базарова вместо большой пользы принесли крошечный вред, то есть огорчили на несколько дней Николая Петровича и поселили между отцом и сыном легкое неудовольствие, которое, однако, скоро исчезло. Случилось же это, во-первых, потому, что Николай Петрович нечаянно подслушал эти слова, которых ему вовсе не следовало слышать; а во-вторых, потому, что Аркадий оказался набитым дураком и превзошел в этом отношении все ожидания или опасения Базарова. Однажды, когда Николай Петрович читал Пушкина (а читал он его, повидимому, часто и усердно), Аркадий подошел к нему, с ласковою улыбкою взял у него из рук книгу и вместо Пушкина положил перед ним «Kraft und Stoff». Ну, и оправдалась пословица: услужливый дурак и т. д. Базаров сказал: «дай ему на первый случай хоть Бюхнерово «Kraft und Stoff» — Аркадий буквально исполнил этот совет. Но Базаров сказал, кроме того: «*растолкуй* ему, что это (т. е. Пушкин) никуда не годится», а сообразительный Аркадий пропустил эти слова мимо ушей и не понял, что в них заключается весь смысл дела. Само собою разумеется, что школьническая, нелепая и дерзкая выходка Аркадия, смягченная и украшенная ласковою улыбкою, не могла разъяснить Николаю Петровичу значение естествознания для исторической жизни масс и для миросозерцания отдельного человека. Читатель имеет полное право назвать Аркадия самонадеянным пошляком, и Николаю Петровичу остается только вздохнуть, пожать плечами и пожалеть о том, что сын его так плох в умственном отношении. Но зачем же валить с больной головы на здоровую? В чем тут виноват Базаров? И что общего имеет глупость Аркадия с идеями, которыми проникнуты наши реалисты? Шекспир — очень замечательный писатель, но и шекспировскую драму можно так искусно перевести и так восхитительно разыграть на сцене, что она покажется гораздо хуже драмы Нестора Кукольника или Николая Полевого. Если бы Аркадий был действительно проникнут сознательною любовью к науке, если бы он разумно и убедительно заговорил с своим отцом об умственных интересах естествоиспытателей нашего времени, если бы он возбудил и направил любознательность Николая Петровича, если бы он, таким образом, доставил ему много чистых наслаждений и если бы он посредством этих наслаждений сблизился с своим отцом теснее, чем когда-либо, — то, наверное, никому из читателей не пришло бы в голову обвинять Аркадия в непочтительности к родителям или в недостатке сыновней любви. А поступая таким образом, Аркадий исполнил бы с самою добросовестною точностью дружеский совет Базарова — тот самый совет, который он, по своей глупости, совершенно изуродовал. Из всего, что было говорено выше, я вывожу то заключение, что вза-

имному пониманию этих двух поколений, старшего и молодого, мешают, с одной стороны, старые Печорины, подобные Павлу Петровичу, а с другой стороны, глупые юноши, подобные Ситникову и Аркадию. То есть, другими словами, мешают непонимание и тупоумие.

X

«Базаров — циник; взгляд Базарова на женщину проникнут самым грубым цинизмом». Такое суждение вы услышите от каждого русского человека, прочитавшего роман Тургенева и умеющего произнести слова «циник» и «цинизм». В устах русского человека эти слова имеют, конечно, ругательное значение; так как мы сами до сих пор не были причастны ни к одной философской школе, то мы ухитрились все дошедшие до нас философские термины осмыслить по-своему, сообразно с уровнем наших умственных отправлений. Вследствие этого получились самые неожиданные результаты: — кто ел, пил и спал за четырех, тот был произведен в материалисты; а набитые дураки, не умеющие приняться ни за одно практическое дело, получили титул романтиков или идеалистов. В этом всеобщем маскараде, в котором наши пошлости прикрылись иностранными словами, циническая хламида старика Диогена досталась тем людям, которые в дамском обществе произносят непечатные слова и украшают свою вседневную жизнь разными неприличными поступками. Таких людей у нас немало; понятия о том, что прилично и что неприлично, очень изменчивы и растяжимы; вследствие этого и слово «цинизм» стало прикладываться, без дальнейшего разбора, к таким вещам, которые сами по себе очень хороши, и к таким, которые во всех отношениях отвратительны. Циником называют у нас, с одной стороны, человека прямодушного и откровенного, презирающего всякое фразерство и беспощадно разоблачающего гадости, которые мы любим облекать в грациозные формы и смягчать благозвучными словами. С другой стороны, я напомню читателю Иону-циника, выведенного в последнем романе Писемского.[21] Кто говорит резкую правду, тот, по-нашему, циник; и кто оскорбляет или тиранит беззащитного человека, тот, по-нашему, также циник. Понятно, что последние черты цинического образа бросают грязную тень на первые, и получается в общей сумме неопределенное представление о чем-то диком, неумолимом и звероподобном. Если какой-нибудь ловелас стремится насильно поцеловать женщину, путешествующую с ним в мальпосте, мы называем его любезности циническими; если какой-нибудь тупоумный господин глумится и куражится над своею женою, мы называем его обращение циническим. И то же самое, загрязненное слово мы прикладываем не только к характеру людей совершенно другого закала, но даже к умственной деятельности тех великих мыслителей, которые спокойно и рассудительно

анализируют, с физиологической точки зрения, чувство чистой девственной любви, и процесс поэтического творчества, и порывы возвышенного героизма. Все это, по нашей терминологии, — циники, и все их рассуждения вытекают из гнусного желания унизить человеческую личность и измять грубыми руками нежные чувства и розовые надежды доверчивого читателя.

Принимая слово «цинизм» в таком широком и разнохарактерном значении, я, пожалуй, готов допустить, что Базаров действительно циник; но, в таком случае, я надеюсь доказать моим читателям, что в базаровском цинизме нет решительно ничего дурного, то есть ничего оскорбительного для человеческого достоинства и несовместного с разумным уважением к женщине. Я намерен разобрать довольно подробно все отношения Базарова к Одинцовой, и я имею причины думать, что этот этюд в настоящее время будет не совсем бесполезен; он до некоторой степени облегчит нам понимание того сфинкса, который называется молодым поколением и который, под этим названием, наводит недоумение и ужас на очень многих добрых людей обоего пола.

Увидавши Одинцову на бале у губернатора, Базаров прежде всего обращает внимание на ее наружность. «Кто бы она ни была, — говорит он Аркадию, — просто ли губернская львица или «эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно. — Аркадия покоробило от цинизма Базарова» («Отцы и дети», стр. 112). — Вот и чудесно! Слово «цинизм» сразу вырвалось у самого Тургенева. Это дает самый удобный случай проанализировать, какого рода штука этот цинизм. Что молодой человек неравнодушен к красоте молодой женщины, — в этом, кажется, самый строгий моралист и самый восторженный поэт, каждый с своей точки зрения, не найдут ровно ничего предосудительного. Уж на том свет стоит, что молодые люди нравятся друг другу и что любовь начинается преимущественно с того приятного впечатления, которое производит привлекательная наружность. Когда человек почувствовал это приятное впечатление, то почему же его и не высказать третьему лицу, которому это сообщение нисколько не может быть оскорбительно? — Да, конечно, — скажет мой изящный читатель, — но *как* высказать? — О, я знаю; в этом *как* и заключается настоящая загвоздка. Молодому человеку позволяется говорить о красоте женщины, даже о ее бюсте, даже о ее роскошных формах, но при этом он, во-первых, должен выражаться отборными словами, специально обточенными для подобных живописаний, а во-вторых, он должен во время такого разговора млеть и благоговеть, прищуривать глаза и изображать на своих губах блаженную улыбку небесного созерцания. Тогда никому в голову не придет произнести слово «цинизм»; тогда скажут, напротив того, что молодой человек — художник, способный увлекаться высшими идеалами, и что он в конечной форме усматривает бесконечную идею прекрасного. — Но так как Базаров говорит

спокойно и называет плечи — плечами, а не формами и о бесконечной идее прекрасного не заикается, то сейчас является на сцену «цинизм» и начинает коробить благонравного Аркадия, который, однако, способен, подобно большей части юных птенцов, выслушивать с величайшим наслаждением самые нескромные описания, если только эти описания производятся по всем правилам эстетики. Куда ни кинь, везде на эстетику натыкаешься.

Любопытно заметить, что сам Добролюбов с этой стороны заплатил дань эстетике. Защищая какой-то характер, кажется характер Катерины, он говорит, что его могут извратить и опошлить в своем понимании только те грязные люди, которые всё марают своим прикосновением, которые даже на какую-нибудь Венеру Милосскую смотрят с приапическою улыбкою и с низкими чувственными помышлениями. [22] Я совершенно согласен с Добролюбовым, что скалить зубы перед мраморною статуею — занятие очень глупое, бесплодное и неблагодарное; но, наперекор всем художникам и эстетикам в мире, я осмелюсь утверждать, что все экстазы самых просвещенных и рафинированных поклонников древней скульптуры в сущности ничем не отличаются от приапических улыбок и чувственных поползновений. Последние только проще, непосредственнее и откровеннее, вследствие чего и нелепость последних обрисовывается гораздо резче. Именно эта очевидная нелепость делает их менее вредными, сравнительно с утонченными восторгами. Человек нехитрый взглянет на статую, осклабится своею неизящною улыбкою, постоит минуты две-три перед чудом искусства, да и пройдет мимо. А люди, посвященные в таинства экстазов, поступают совершенно иначе: они часто все свои силы и всю свою жизнь ухлопывают на то, чтобы доставлять эти экстазы себе и другим; два класса людей, эстетики и художники, только этим и занимаются, и при этом они находят, что делают дело. Такую трату свежих умственных сил и драгоценного времени следует назвать по меньшей мере непроизводительною и убыточною. Смотреть с приапическою улыбкою на живую женщину не только глупо, но даже дерзко и совершенно непозволительно по той простой причине, что такая улыбка может оскорбить или по крайней мере привести в замешательство ту личность, к которой она адресуется. Но Базаров говорит с посторонним лицом, так что об оскорблении тут не может быть и речи. Стало быть, остается только разрешить вопрос, каким языком лучше говорить о красоте женщины: высоким и восторженным или простым и естественным. Можно было бы сказать, что уж это дело личного вкуса, но я намерен пойти далее и осмелюсь выразить то мнение, что говорить в этих случаях простым базаровским языком гораздо благоразумнее и достойнее мыслящего человека.

В другом месте того же романа Базаров умоляет своего друга, Аркадия Николаевича, «не говорить красиво», но, по своему обыкновению, Базаров не пускается в дальнейшие диалектические

тонкости и не объясняет причины, почему красивые речи возбуждают в нем непобедимое отвращение. Между тем такая причина действительно существует, и ее никак нельзя назвать неосновательною. Люди, пробудившие в себе способность размышлять, ежедневно и ежечасно играют сами с собою в очень странную и смешную игру. Придет ли ему в голову какая-нибудь мысль, шевельнется ли в его нервной системе какое-нибудь ощущение, человек тотчас ухватывается за это душевное движение и начинает его осматривать с различных сторон: что, мол, это за штука? И как ее сформулировать? И под какую категорию подвести? И из каких основных свойств моей личности она вытекает? Конечно, процесс анализа почти никогда не поднимается до настоящих физиологических причин данного явления; останавливаясь на половине или, еще чаще, в самом начале пути, этот процесс обыкновенно заканчивается тем, что данная мысль или данное ощущение получает себе то или другое название. Если нашему аналитику удастся подобрать название красивое, то он немедленно почувствует удовольствие и даже проникнется некоторым уважением к своей особе: — однако, подумает, я молодец. Вот какие тонкие мысли и высокие ощущения я способен в себе вынашивать. Но ведь приискивать красивые названия и пригонять к этим названиям психические анализы — дело совсем немудреное; если только приобрести в этом занятии некоторый навык, то можно действовать без промаха и в каждой плоской выдумке своего *я*, в каждом естественном отправлении своего организма усматривать бездну грации, изящества, мягкости, великодушия и всяких других благоухающих атрибутов. Тут, конечно, удовольствию и самоуважению не будет конца. Когда человек покупает себе самоуважение дорогою ценою полезного и неустрашимого труда, когда он поддерживает в себе это чувство ежедневными усилиями ума и воли, направленных к великим, общечеловеческим целям, тогда самоуважение облагораживает его, то есть постоянно укрепляет его на новые подвиги труда и борьбы. Но когда человек платит себе за самоуважение фальшивою монетою красивых выражений и плоских софизмов, когда он, таким образом, бессознательно выучивается шулерничать с самим собою, тогда он быстро пошлеет и опускается, продолжая попрежнему воскуривать себе свой затхлый фимиам. Чем мельче становятся мысли и чувства, тем вычурнее и красивее подбираются для них названия, потому что навык с каждым днем усиливается в этом ремесле, как и во всех остальных. Таким-то именно путем и вырабатываются отъявленные тунеядцы, считающие себя русскими лириками. Таким же точно путем многие великие умы парализировали и оскопили свою деятельность. Гете, а вместе с ним и добряк Шиллер совершенно чистосердечно убедили сами себя и друг друга, что им стоит только потоньше ощущать, да повозвышеннее мыслить, да помудренее выражаться, и что они тогда окажут всему человечеству неизмеримые благодеяния. Утвердившись

на этой позиции, великие светила немецкой поэзии вскоре сделали открытие, что ощущения их достаточно тонки, мысли достаточно возвышенны и выражения достаточно замысловаты. Тогда осталось только любоваться своими совершенствами и продовольствовать простое человечество не грубыми плодами полезного умственного труда, а тонким изяществом просветленных личностей. Восхищайтесь, мол, нами и благодарите бога за то, что мы живем среди вас и что вы можете созерцать такую невиданную красоту души и ума. А уверив себя в этом, Гете сам себя считал великим. Как мог он, при своем громадном уме, предпочитать узкий мир своих личных ощущений широкому миру волнующейся жизни человечества? Как мог он ставить субъективную мечту, отправление единичного организма, выше той действительной драмы, которая ежеминутно, на каждом шагу, с учреждения первых человеческих обществ, разыгрывается перед глазами каждого мыслящего наблюдателя? Филистерская трусость Гете не разъяснит нам этой загадки. Если бы тут была одна трусость, Гете не мог бы так чистосердечно уважать и обожать себя. Нет; мир личных ощущений был для него не убежищем, а храмом, в котором он поселился с полным убеждением, что прекраснее и священнее этого места нет ничего на свете. Чтобы увидать в самом себе светлый храм, а в окружающей жизни грязную базарную площадь, чтобы забыть, таким образом, естественную солидарность своего *я* с окружающими глупостями и страданиями остальных людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критический смысл красотою отборных выражений. Мелкие мысли и мелкие чувства надо было возвести в перл создания; Гете выполнил этот фокус, и подобные фокусы считаются до сих пор величайшим торжеством искусства; но производятся такие штуки не только в сфере искусства, а также и во всех остальных сферах человеческой жизни.

Маленький, но поучительный пример такого фокуса представляется нам в романе Тургенева, в лице Павла Петровича. «Я очень хорошо знаю, например, — говорит этот perfect gentleman,* — что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека» (стр. 74).

Я сомневаюсь в том, чтобы магическая сила красивых слов могла обрисоваться когда-нибудь и где-нибудь ярче и нагляднее, чем она обрисована в этом месте. Циник, подобный Базарову, скажет: я умываю лицо и руки, стригу ногти, причесываю волосы, хожу в баню, меняю белье — и только. И эти простые слова не возбудят в говорящей личности никакого приятного чувства удовлетворенной гордости. А эстетик, подобный Павлу Петровичу, скажет: — я повинуюсь чувству долга и поддерживаю свое

---

* Безупречный джентльмен *(англ.)*. — *Ред.*

достоинство, я уважаю в себе человека, — значит, я развитая личность, значит, я себя по голове поглажу, значит, я дело делаю, значит, я могу с спокойною совестью почивать на лаврах. И мужик ходит в баню, но он ходит по грубой животной потребности, а я хожу с размышлением, я одухотворяю процесс физического омовения высшим процессом мыслительной деятельности. Таким образом будет постоянно возрастать дешевое самоуважение, и с каждым днем неизлечимее и безнадежнее будут становиться пустота, пошлость и праздность фразерствующей личности. Если человек не сумасшедший может ставить себе в заслугу то, что он умывается душистым мылом и носит туго накрахмаленные воротнички, и если даже эта незамысловатая вещь может уложиться в опрятную и красивую фразу, то понятно, какой неистощимый материал самовосхваления могут доставить такому человеку самые простые отношения к женщине. Полюбоваться красотою женщины, кажется, не велика мудрость и не важный подвиг; но эстетик сам себе представит свои ощущения в таком эфирно облагороженном виде, что, при сем удобном случае, непременно умилится над нежностью, мягкостью, чуткостью, восприимчивостью и утонченною страстностью своей натуры. Результат известен: циники, подобные Базарову, уважают себя только за то, что крепко трудятся; а эстетики уважают себя за то, что красиво едят, красиво пьют, красиво умываются и красиво глядят на красивых женщин. Вследствие этого реалисты, чтобы сохранить себе свое собственное уважение, продолжают крепко трудиться; а эстетики для достижения той же самой цели продолжают красиво есть, красиво пить, красиво умываться и красиво глядеть на красивых женщин. Что лучше и что общеполезнее — об этом я предоставляю судить благосклонному читателю. — Кажется мне только, что плечи следует называть плечами и что, любуясь красотою живой женщины или мраморной Венеры, мы не оказываем особенно великого одолжения ни отечеству, ни человечеству. Ощущение очень обыкновенное; стало быть, и выражение должно быть просто и положительно. Энтузиазм не мешает приберегать на другие случаи, более торжественные, о которых травоядные эстетики не имеют понятия.

XI

В жизни Базарова труд стоит на первом плане, но Базаров совсем не ригорист и вовсе не прочь от того, чтобы доставлять своей особе удовольствия. Одинцова понравилась ему с первого взгляда, и ему пришло в голову приволокнуться за нею. Мысль безнравственная, но как вы убережетесь от подобных мыслей при настоящих условиях воспитания, жизни и общественных отношений?

Уверять женщину в любви, когда любви этой на самом деле не имеется, — значит лгать, а лгать во всяком случае скверно,

тем более тогда, когда ложь так близко затрогивает личные интересы того человека, с которым мы имеем дело. Если бы Базаров разыграл с Одинцовой систематическую и хладнокровно рассчитанную комедию любви, то поступок этот был бы очень предосудителен, и вся личность Базарова явилась бы перед нами в сомнительном свете. Но мне кажется, что Базаров ни в каком случае не стал бы актерствовать; если бы даже он принялся за это утомительное занятие, то у него не хватило бы терпения дотянуть дело до развязки, и он, после первых двух-трех приступов, убедился бы в том, что игра не стоит свечей. С молодыми людьми случается часто, что они строят в уме своем какой-нибудь отчаянно-макиавеллевский план; все так хорошо обдумано, и ложь и притворство поставлены на свое место, расчет произведен блистательно, и теоретическая сторона дела оказывается безукоризненною; это значит, что мысль работает исправно и отличается надлежащею смелостью полета; но так, на одном смелом полете мысли, дело и останавливается, потому что, при первой встрече с практическою стороною задуманной дьявольщины, юный макиавеллист оказывается добродушным и чистосердечным человеком, который немедленно махнет рукой и скажет про себя: — а ну их к черту! С какой стати я их надувать буду! — Так могло случиться, и до некоторой степени так случилось и с самим Базаровым. Он оказался гораздо моложе и нежнее, чем он воображает себя. С кабинетными работниками, у которых теоретический ум далеко обгоняет опыт жизни, сплошь и рядом случаются такие иллюзии. Справляясь с идеями, мы думаем, что нам так же легко справляться и с живыми явлениями, а вдруг оказывается, что живое явление затрогивает нас с такой стороны, которую мы и не подозревали в своей особе, когда производили наши теоретические комбинации.

Я думаю однако, что Базаров даже в чистой теории не задавал себе задачи актерствовать и лицемерить пред красивою обладательницею «богатого тела». Он просто думал, что Одинцова — нечто вроде Евдокии Кукшиной, а в таком случае комедия была бы излишнею роскошью. Стоило только сказать несколько красивых любезностей насчет наружности да наговорить побольше вздору о Либихе и Жорж Занд, о Мишле и Прудоне, о Бунзене и о женском вопросе — и дело было бы улажено к обоюдному удовольствию. Тут дело с самого начала велось бы начистоту, без всяких хитростей, и женщина даже не требовала бы от мужчины серьезного чувства, потому что не была бы даже способна насладиться таким чувством и отплатить за него тою же монетою. Тут не было бы ничего, кроме болтовни и объятий, и, разумеется, Базарову очень скоро приелось бы такое препровождение времени. Но Базаров с первого разговора своего с Одинцовою заметил, что эта женщина умеет уважать свое достоинство и смотрит на жизнь серьезными глазами мыслящего человека. Шутить с такою

женщиною было невозможно; обманывать ее было трудно и опасно; можно было попасть впросак и поставить самого себя в самое глупое и безвыходно-позорное положение; наконец, если бы, паче чаяния, обман удался, то он оказался бы капитальною подлостью, потому что возбудить в такой женщине чувство и потом, рано или поздно, обнаружить свою полную неискренность значило бы оскорбить и огорчить эту женщину самым жестоким, незаслуженным и мошенническим образом. Все это Базаров сообразил или, вернее, почувствовал почти мгновенно, и все его поведение с Одинцовою проникнуто с начала до конца самою глубокою, искреннею и серьезною почтительностью. «Какой я смирненький стал», — думал он про себя в первые минуты своего пребывания в деревне Одинцовой (стр. 122), и потом он сделался еще более «смирненьким», потому что он *полюбил* Одинцову; а когда такой «циник» любит женщину, тогда он ее уважает действительно, то есть тогда ему становится невозможно схитрить перед нею словом, взглядом или движением. Искренность Базарова доходит до крайних пределов, и мне кажется, что именно эта искренность, эта полнейшая честность, неподдельность приводят за собою его неудачу и разрыв только что зарождавшихся отношений. Эта неподдельность показалась некрасивою, а женщины наши, повидимому, очень крепко держатся за эстетику и в смысл психических явлений не заглядывают почти никогда.

XII

Самые искренние люди бывают часто самыми сдержанными людьми, и самые сильные чувства этих людей никогда не выражаются ими, а вырываются из них только тогда, когда уже не хватает сил их задерживать. В строгом смысле, только такие вырвавшиеся чувства и могут быть названы совершенно неподкрашенными. Когда же человек сознательно выпускает из себя чувство, то есть говорит о нем и описывает его, то мы уже тут имеем дело не с сырым материалом, а с умственным трудом, построенным на основании этого материала. Чем изящнее и грациознее эта постройка, тем больше на нее положено искусства, то есть, другими словами, тем спокойнее и сознательнее произведена обработка первобытного материала. Чем красивее выражение, тем слабее чувство, а так как женщины дорожат преимущественно красотою, в чем бы она ни проявлялась, то и оказывается в результате, что они обыкновенно отвертываются от искренних людей и бросаются на шею фразерам или красивым куклам. Чем сильнее человек любит, тем невыгоднее его положение и тем вернее он может рассчитывать на полную неудачу.

Истину этого неутешительного изречения в совершенстве испытал на себе Базаров. Он полюбил Одинцову очень скоро;

серьезная любовь началась в нем, вероятно, после первой ботанической экскурсии, которую они предприняли вдвоем после завтрака и которая продолжалась до обеда. Это было на другой день после приезда молодых людей в деревню Одинцовой. Что любовь возникла так быстро, этому удивляться нечего. Физическая красота бросается в глаза с первого взгляда; ум обнаруживается в первом же разговоре; а когда, таким образом, вся фигура женщины и каждое слово производят на человека стройное и приятное впечатление, то чего же вам больше? И кровь волнуется, и мозг раздражается, и все это так обаятельно — ну вот, и любовь готова. Чем больше таких приятных впечатлений ляжет без перерыва одно на другое, тем сильнее будет становиться любовь; но фундамент, незаметный зародыш этого чувства, заложен уже самым первым впечатлением.

Полюбивши Одинцову, Базаров проводит вместе с нею, под одною кровлею и в постоянных дружеских разговорах, больше двух недель. Во все это время он говорит с нею, как с умным мужчиною, о предметах, имеющих действительный интерес: о химии, о ботанике, о новейших открытиях натуралистов, о различных взглядах передовых умов на жизнь природы, на личность человека и на потребности общества. Если уважать женщину — значит обращаться с нею как с мыслящим существом, то с этой стороны поведение «циника» Базарова надо признать совершенно безукоризненным: он старался удовлетворять умственным требованиям своей собеседницы и не проронил ни одного слова о том, что мучило и волновало его самого. Ни слова не было сказано о том, что могло возвысить в глазах любимой женщины личность самого Базарова; ни о своем прошедшем, ни о своих стремлениях и планах в будущем Базаров не заикнулся; а между тем в его прошедшем было много упорного труда и непобедимого терпения, а в его взгляде на будущее широко и обаятельно развертывались светлое могущество его мысли и неудержимая страстность его сознательной любви к людям. И он все-таки молчал об этом, потому что ему было отвратительно подумать, что он способен рисоваться, интересничать и говорить красивые слова перед любимою женщиною. Это честное и глубокое отвращение к ложной эффектности постоянно обливало его холодною водою, когда он начинал увлекаться и когда в этом увлечении начинали проблескивать высшие и симпатичные стороны его ума, его характера и его деятельности. Он не хотел становиться на ходули и поэтому оставался постоянно ниже своего настоящего роста. Что делать? Человек почти всегда пересаливает в ту или в другую сторону; но кто пересолит подобно Базарову, тот по крайней мере не продаст гнилого товара за свежий и не залезет обманом ни в кошелек, ни в душу своих собеседников. — Дельные разговоры Базарова занимают Одинцову как женщину умную и любознательную; но именно как умная женщина она понимает, что, говоря обо всем, Базаров не высказывает

безделицы — самого себя; а как женщина любознательная и даже любопытная, она желает вырвать у Базарова эту тайну, она хочет объяснить себе настоящий смысл этой сильной и замечательной личности. Она старается перевести разговор с общего поля великих умственных интересов на более интимный тон личных признаний и излияний. Базарову, как влюбленному человеку, такой поворот разговора был бы чрезвычайно выгоден, а между тем Базаров упирается и выдерживает свое упорство до самого конца. Одинцова все к чему-то подходит; ей, повидимому, хотелось бы, чтобы оба они понемногу разнежились и чтобы слово любви было произнесено как-то незаметно для обоих, во время нежного и мечтательного разговора; она бы желала увлечься нечувствительно, без страстных порывов и без резких ощущений. Базарову все эти тонкости непонятны. Как это, думает он, подготовлять и настраивать себя к любви? Когда человек действительно любит, разве он может грациозничать и думать о мелочах внешнего изящества? Разве настоящая любовь колеблется? Разве она нуждается в каких-нибудь внешних пособиях места, времени и минутного расположения, вызванного разговором? Базаров меряет на свой аршин психические отправления других людей, и поэтому он относится сурово и враждебно ко всем попыткам Одинцовой придать их отношениям ласкающий и нежный колорит. Ему все эти попытки кажутся искусственными маневрами кокетки или по меньшей мере невольными капризами избалованной аристократки. Если бы она меня любила, думает он, она бы давно поняла, как сильно я ее люблю, и тогда все между нами было бы ясно, просто и разумно, и тогда к чему все ухищрения? Но ведь она меня не любит, и, в таком случае, как же она смеет забавляться со мною задушевными разговорами? Дикарь этот Базаров! Первобытный человек! Он упускает из виду то обстоятельство, что ее любовь может явиться как результат многих мелких причин, многих внешних, случайных и неважных впечатлений. Он совсем не заботится о том, чтобы доставить ей эти впечатления и потом эксплуатировать их в свою пользу. Он хочет, чтобы ее любовь была сильна, естественна и самородна, чтоб эта любовь свалилась на нее как снег на голову, так, как его любовь обрушилась на него, Базарова. А любовь высиженная, вымученная, тепличная, воспитанная нежными словами, эффектными взглядами, пустотою деревенской жизни, тишиною и полумраком летнего вечера, — такая любовь очень понравилась бы Базарову, если бы он хотел завести интригу с красивою барынею, но притворною и отвратительною показалась бы она ему тогда, когда он сам полюбил серьезно. Дикарь этот Базаров! Его уважение к женщине выражается в том, что он ничем не хочет и, по натуре своей, ничем не способен насиловать чувство этой женщины. Выше этого уважения ничего нельзя себе представить, но для наших дрессированных, обессиленных и обесцвеченных женщин такое уважение оказы-

вается совершенно неуместным и непонятным. Женщина сама, всем направлением своих поступков и речей, упрашивает, чтобы ее *заставили* полюбить, чтобы ее «увлекли», чтобы ей «вскружили» голову, то есть, короче, чтобы ее лишили воли и сознания и чтобы тогда делали с нею что хотят. Тогда, думает она, пожалуй, я полюблю и потом спасибо скажу тому доброму человеку, который отнял у меня способность и печальную необходимость обдумывать мои поступки. А иначе как же? Как же бы я сама? как бы я, находясь в здравом уме, сама распорядилась своею особою? Никогда и ни за что бы я сама не распорядилась. Я бы постоянно стремилась и постоянно робела бы. На то я и женщина! А дикарь стоит себе, сложа руки, и говорит: решайся сама. Думай за себя. Люби самостоятельно. Ни увлекать, ни убеждать, ни умолять тебя я не намерен, да и не умею. Я равный тебе человек. Я не опекун тебе. И хоть бы у меня аневризм сделался и хоть бы у меня сердце лопнуло от любовного волнения, все-таки я не сумею и не захочу кружить тебе голову и опаивать тебя дурманом грациозных нежностей и эффектной жестикуляции. Я говорю с тобою как с разумным существом и не умею говорить иначе ни с кем из тех людей, которые раз навсегда заслужили мое уважение. Если бы я не уважал тебя, то я бы тебя и не любил; а так как я тебя люблю, то я и не могу, абсолютно не могу, посягать словами или поступками на твою умственную самостоятельность. — Какой дикарь; но какой хороший дикарь! Жаль только, что не в коня корм.

XIII

Читателю может показаться, что я сам сочинил себе Базарова и Одинцову, вовсе непохожих на героев тургеневского романа, — до такой степени мои размышления и заключения резко противоречат тому понятию, которое, по милости нашей образцовой тупости, установилось в читающем обществе насчет базаровского типа и преимущественно насчет его *цинических* отношений к женщинам. Мне теперь надо доказать, что я не сочиняю и что каждое мое слово основывается исключительно на правильном понимании тех материалов, которые дает Тургенев и которые, мне кажется, сам Тургенев не всегда рассматривает с надлежащей точки зрения, хотя фактические подробности всегда поразительно верны.

Я приведу длинный ряд доказательств из двух решительных сцен Базарова с Одинцовой («Отцы и дети», стр. 141—276). Базаров сказал, что он скоро уезжает к своему отцу; это было сказано без всякого дипломатического умысла, и Тургенев при этом замечает, что Базаров «никогда не сочинял» (стр. 139). Одинцова по поводу этого близкого отъезда находится в полугрустном, полунежном настроении. Сидят они вдвоем, поздно вечером, в комнате

Одинцовой. — Одинцова два раза подряд говорит ему: «Мне будет скучно». — На первый раз он отвечает: «Аркадий останется», а на второй: «Во всяком случае долго вы скучать не будете». Вслед за тем он говорит ей, что она непогрешительно-правильно устроила свою жизнь, так что в ней не может быть места никаким тяжелым чувствам. «Через несколько минут, — прибавляет он, — пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы меня прогоните». — «Нет, не прогоню, Евгений Васильевич, — отвечает она, — вы можете остаться». — Он остается. «Расскажите мне что-нибудь о самом себе, — говорит она, — вы никогда о себе не говорите». — *«Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна»*. — Она настаивает с особенною ласковостью. — Базаров думает про себя: «Зачем она говорит такие слова?» (стр. 143) и отвечает ей: *«Мы люди темные»*. — «А я, по-вашему, аристократка?» — «*Да*, — промолвил он *преувеличенно резко*». — Одинцова защищается: «Я, — говорит она, — вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажите свою». — Базаров это третье приглашение пропускает мимо ушей и переводит разговор на личность Одинцовой. «Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?» — «Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова. — С моей... красотой?» — Бедная женщина! Как она обрадовалась! Должно быть, Базаров не избаловал ее комплиментами. А Базаров-то! О дикарь! О бурлак! Вот он затушевывает свою нечаянную любезность: «*Базаров нахмурился*. «*Это все равно*, — пробормотал он. — Я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне». — Его, очевидно, покоробило и смутило то, что он сказал. Говорить с любимою и уважаемою женщиною о ее красоте кажется ему плоскостью и, следовательно, дерзостью. И это тот самый Базаров, который говорил с Аркадием о плечах и о богатом теле этой самой Одинцовой? И тут нет никакого противоречия. Тогда он ее не знал, и, стало быть, для него существовали только линии и краски ее фигуры; по этим известным ему данным он и высказывал о ней свое суждение. Кроме того, он говорил с третьим лицом, и тогда эти слова имели свой смысл, как всякое другое суждение о каком-нибудь предмете, остановившем на себе внимание человека. Но говорить самой женщине, что она хороша собой, — это бессмыслица, годная только на то, чтобы наскучить ей, если она умна, или польстить ей, если она глупа. К сожалению, надо заметить, что очень многим женщинам такие разговоры не надоедают, и — увы! — кажется, даже Одинцова не прочь послушать такие речи изредка. Что делать? Сильна наша глупость, и бесчисленны ее убежища; и у самых умных людей еще отведены для нее уютные уголки, и нет, быть может, того мыслителя, который подчас не оказывался бы простофилею. Но Базаров, по своей дикой суровости, не хочет принимать в соображение слабости своей собеседницы. Потворствовать этим слабостям

и пользоваться ими он, очевидно, считает не только пошлым, но и бесчестным делом. — Через несколько минут Базаров встает. «Куда вы?» — медленно проговорила она. — Он ничего не отвечал и опустился на стул». Разговор, несмотря на бесконечную свирепость Базарова, становится конфиденциальным и почти нежным. «Кажется, — говорит она, — если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...» — «Вам хочется полюбить, — перебил ее Базаров, — а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие». — «Разве я не могу полюбить?» — «Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается». — «Случается, что́?» — «Полюбить». — «А вы почем это знаете?» — «*Понаслышке*», — *сердито* отвечал Базаров. «*Ты кокетничаешь*, — подумал он, — *ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...*» Сердце у него действительно так и рвалось» (стр. 147). «По-моему, — продолжает Одинцова, — или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.» — «*Что ж*, — заметил Базаров, — *это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали*» (стр. 147). — «Но вы бы сумели отдаться?» — спрашивает она. «*Не знаю, хвастаться не хочу*» (стр. 148). Базаров опять встает; она еще раз его удерживает: «Погодите; куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово». — «Какое?» — «Погодите», — шепнула Одинцова. — Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала. — Он прошел по комнате, потом вдруг приблизился к ней и торопливо сказал: «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон» (стр. 148).

На другой день Одинцова сама зовет его к себе в кабинет и, пришедши туда, прямо говорит ему, что хочет возобновить вчерашний разговор. Опять начинаются с ее стороны вызовы на откровенность, а со стороны Базарова упорное отнекиванье. Он говорит: «*между вами и мною такое расстояние*». Она говорит на это: «Какое расстояние? Полноте, Евгений Васильевич; *я вам, кажется, доказала*». «Или, может быть, — продолжает она, — вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? *Ведь вы нас всех презираете?*» — «*Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете*». — «*Нет, я ничего не знаю*», — отвечает она и затем требует, чтобы Базаров сказал ей, что в нем происходит и какая причина его сдержанности и напряженности. Что же остается делать этому несчастному Базарову? Ведь, наконец, всякие человеческие силы должны истощиться и всякое ослиное терпение должно лопнуть, когда любимая женщина два дня подряд умоляет об одном и том же, когда она вас упрекает в том, что вы ее презираете, и когда все ее просьбы, все ее ласковые слова клонятся исключительно к той самой цели, к которой вы сами стремитесь всеми силами своего существа. Поневоле надо

было высказать самую глубокую тайну, и Базаров ее высказал, только совершенно по-базаровски. «Так знайте же, — говорит он, — что я вас люблю глупо, безумно... *Вот чего вы добились*». И эти сердитые слова он произносит, не глядя на Одинцову, отошедши от нее к окну и стоя к ней спиною. «Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая, — *страсть, похожая на злобу, и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его...* «Евгений Васильевич, — проговорила она, и *невольная нежность зазвенела в ее голосе*» (стр. 154—155).

Ну, тут, разумеется, он бросился к ней и обнял ее. Еще бы он не бросился! Еще бы он не обнял! Эта *невольная нежность в голосе* была для него последним и решительным ударом, перед которым уже не могла устоять никакая сдержанность, никакая напряженность, никакая искусственная суровость. Он ее обнял, — где же тут дерзость, где оскорбление? Разве, обнимая *любящую* женщину, любящий мужчина наносит ей оскорбление? И разве Базаров мог и разве он смел сомневаться в том, что Одинцова его любит? Все было высказано, высказано просто, грубо и угрюмо, высказано с глубоким, тяжело выстраданным упреком: «*вот чего вы добились*», и после этого «*нежность в голосе*»! Какое же тут может быть сомнение? И выразить подобное сомнение, колебаться после этой проклятой «*нежности*» еще одну секунду — ведь это значило бы глубоко огорчить и оскорбить любящую женщину, значило бы требовать от нее, чтобы она вымаливала вашу любовь подобно тому, как она уже вымолила ваше признание. И вдруг она от него отскакивает, и вдруг она говорит ему: «Вы меня не поняли!» А что же делает Базаров? Ничего. Он закусывает губы и выходит из комнаты. А потом, вечером, он извиняется перед Одинцовой: «Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня». А она ему отвечает: «Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильевич, но я огорчена».

О, Анна Сергеевна, замечу я от себя, как вы безмерно великодушны! Неужели вы можете не сердиться на этого ужасного преступника, которого неслыханное преступление состоит в том, что вы поджаривали его на медленном огне в продолжение двух дней? Преклоняюсь перед вашею женственною кротостью и говорю вам без всякой иронии, что вы в этом отношении стоите выше многих очаровательных, умных и безукоризненных женщин. Те также терзают людей, мажут их по губам, разбивают их счастье, говорят им: «вы меня не поняли» — и, сверх всего этого, ненавидят их самою упорною и холодною ненавистью. Бывают, конечно, и мужчины в таком же роде, потому что, когда дело зайдет о глупостях, тогда ни один пол не уступит другому. Но история База-

рова поучительна; он измучен, он же извиняется, он же получает великодушное полупрощение, он сам, во все время своего знакомства с Одинцовою, не говорит ей ни одного неприятного или непочтительного слова, он обходится с нею как с святынею, и при всем том его же вся читающая публика обвиняет в нахальстве, в дерзости, в цинизме, в неуважении к достоинству женщины и черт знает еще в каких неправдоподобных гадостях.

Но вот о чем не мешает подумать нашей добрейшей и почтеннейшей публике: — дали ей в руки печатную книгу; в этой книге была написана ясным русским языком история Базарова и Одинцовой; прочитали эту историю и опытные критики и простые, непредубежденные читатели; и из всего этого прилежного чтения, из всех критических рассуждений произошло, по неисповедимым законам судеб, самое удивительное понимание навыворот, или, еще вернее, совершенное непонимание. Я спрашиваю у каждого беспристрастного читателя моей статьи, есть ли какая-нибудь возможность понять и объяснить факты, собранные мною в этой главе, по какому-нибудь другому способу, несходному с моим объяснением? Я уверен, что каждый читатель скажет: «нет, невозможно», и даже назовет мое объяснение ненужною болтовнею, потому что факты ясны, как день, и сами за себя говорят. Ну да, ясны, как день, а ведь, однако, ухитрились же люди их не понять и исказить, и для многих легковерных господ судьба Базарова, как литературного типа, решена безапелляционно. Их теперь и не вытащить из заколдованного круга их затверженных суждений.

И это случилось с печатною книгою, которую стоит только раскрыть и прочитать внимательно для того, чтобы уничтожить всякое заблуждение и восстановить настоящее значение рассказанных событий. Поставьте же теперь на место книги живое явление, которое никогда не бывает так ясно и так удобно для изучения, как литературное произведение. Подумайте, какая тут произойдет катавасия! Если наша публика ни с того, ни с сего совершенно несправедливо оплевала тургеневского Базарова, то каково же поступает она с живыми Базаровыми, которых понять гораздо труднее и которым, однако, больно и досадно, когда на них сыпятся незаслуженные оскорбления от отцов, матерей, сестер и особенно от любимых женщин? Подумайте, сударыня-публика, не пора ли вам заподозрить непогрешимость ваших рассуждений о таких явлениях, которых вы не сумели понять даже по печатной книге? Я нарочно выбрал для примера «любовную» историю Базарова, потому что это именно такой предмет, в котором каждый человек считает себя компетентным судьею. Ну и что же, компетентные судьи, много вы рассудили?

Нравоучение из этого извлекается только то, что обругать человека недолго, но что и пользы из этого выходит немного.

XIV

Вам, может быть, угодно знать теперь, почему Одинцова не полюбила Базарова или, точнее, почему ее зарождавшаяся любовь к этому человеку не повела за собою никаких счастливых последствий. А по тому же самому, почему король Лир оттолкнул от себя ту единственную дочь, которая действительно была к нему привязана; потому что чувство Базарова, подобно чувству Корделии, выразилось некрасиво, то есть несогласно с эстетическими требованиями того лица, к которому это чувство адресовалось. Я говорю это без всяких предположений, основываясь на словах самого Тургенева. «Она задумывалась и краснела, *вспоминая почти зверское лицо* Базарова, когда он бросился к ней» (стр. 155). Она даже не решила хорошенько, как ей поступить, то есть отдаться ли Базарову или разойтись с ним. «*Или?* — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями» (стр. 156).

Неподражаемым комментарием к этому забубенному *или* может служить следующая цитата из того же романа: «Ямщик ему попался лихой, он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?», но зато, *чкнувши*, не жалел лошадей» (стр. 211). К сожалению, Одинцова в деле лихости далеко уступала ямщику, и на первый раз она решила, что лучше не надо «*или*». Но это решение никак нельзя считать окончательным; нельзя по той простой причине, что она его несколько раз подтверждала впоследствии, а это значит, что перед каждым подтверждением в ее уме шевелился более или менее явственно обозначенный вопрос: «аль чкнуть?». И подтверждение являлось постоянно по случаю неэстетичности. «Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «нет... нет... нет» (стр. 157). — «Ведь вы, извините мою откровенность, — говорит ей Базаров вечером того же дня, — не любите меня и не полюбите никогда?» — Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей. Анна Сергеевна не отвечала ему; «я боюсь этого человека», — мелькнуло у ней в голове» (стр. 158).

Одинцова приезжает к умирающему Базарову, и вот первое ее ощущение при взгляде на больного: «Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове» (стр. 294). Вот видите: до самой последней минуты вопросы: «любила ли она его» и «точно ли любила» оставались для нее вопросами. А полюбила ли бы она его, если бы он не умер, и могла ли она вообще полюбить его — это такие вопросы, которые навсегда остались для нее неразрешимыми. Базаров поставил вопрос слишком ясно: или отдаться, или разойтись. Одинцовой еще не хотелось решиться ни в ту, ни в другую

сторону; ей хотелось еще поговорить, и она не раз выражала это желание, и у нее были на то очень законные причины. Для того, чтобы стать в уровень с Базаровым, чтобы понять его и взглянуть на его личность светлым взглядом мыслящего человека, сбросившего с своего ума оковы эстетической рутины, для этого Одинцовой действительно необходимо было поумнеть, а она, как даровитая женщина, умнела довольно быстро под живительным влиянием дельных разговоров с Базаровым. Но Базаров, при всей своей «сатанинской» гордости, не сознавал, что он в умственном отношении стоит выше ее; он не замечал, что его влияние производит в ней перемену; поэтому он и думал, что если она не любит его теперь, то и не полюбит никогда. Значит, он уважал ее слишком много, и было бы гораздо — о, гораздо — лучше, если бы он уважал ее поменьше. Но замечательно, что ведь Базарова-то принято упрекать как раз в противоположной погрешности. Желание Одинцовой «еще поговорить» выражается в двух случаях самым очевидным образом. Во-первых, тотчас после неудавшегося поцелуя Базаров присылает ей записку следующего содержания: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» Она ему отвечает: «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли». Вывод ясен: «Поговорим еще и, может быть, договоримся до взаимного понимания». Во-вторых, когда Базаров, спустя несколько недель, заезжает в последний раз на короткое время в деревню Одинцовой, она упрашивает его остаться и еще наивнее выражает свое желание «поговорить». «Разве, — говорит она, — вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь... с вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь» (стр. 271). Тут опять ясно сквозит такая мысль: «Дайте мне понабраться смелости, и тогда я, чего доброго, брошусь в самую пропасть, которая перестанет меня пугать»... Но Базаров не видит этой сквозящей мысли, или же у него не хватает сил дожидаться, пока Одинцова поумнеет и перестанет робеть. «Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, — отвечает он ей, — и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я и так слишком долго вращался в чужой для меня сфере».

Нелюбезно и почти дерзко отвечает он на ее приглашение, но ее этот ответ не оскорбляет. Взглянувши на его бледное лицо, подернутое горькою усмешкою, она подумала: «этот меня любит!» и с участием протянула ему руку. Но он не взял эту руку и оттолкнул прочь ее непрошенное участие, потому что люди, подобные Базарову, берут себе любовь женщины или ровно ничего не берут. «Нет, — сказал он и отступил на шаг назад. — Человек я бедный, но милостыни до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы». — Она опять рванулась к нему. «Я убеждена, что мы не в последний раз видимся», — произнесла Анна Сергеевна с *невольным движением*». (Это опять то же самое, что «невольная

нежность в голосе» и знаменательный вопрос «*или?*».) Но Базаров неприступен и опять осаживает ее назад. «Чего на свете не бывает!» — отвечал Базаров, поклонился и вышел» (стр. 271). Женщина сама всего лучше может судить о том, оскорблена ли она или нет; а Одинцова, тотчас после базаровского объятия, не чувствовала себя оскорбленною: «Она скорее чувствовала себя виноватою» (стр. 156). Она никогда, ни прежде, ни после решительной сцены, не смотрела на Базарова как на нахального циника. Ей, в самый день поцелуя, «хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово; но она не знала, как заговорить с ним» (стр. 158). «Вы знаете, — говорит она ему во время их предпоследнего свидания, — что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры» (стр. 268).

Что за удивительная смесь различных чувств! И боязнь, и доверие, и уважение, и желание дружбы, и неудовлетворенное любопытство. Боязнь тут не что иное, как неполное понимание, потому что мы всегда боимся того, что кажется нам странным, незнакомым или необъяснимым. Но отчего же из всей этой смеси чувств не составляется та своеобразная кристаллизация, которая называется любовью? Все составные элементы любви даны, и даже нет того *физического* отвращения, которое иногда бывает в таком деле необходимым препятствием; отчего же не образуется любовь? Оттого, что эстетика мешает; оттого, что в чувстве Базарова нет той внешней миловидности, joli à voir, * которые Одинцова совершенно бессознательно считает необходимыми атрибутами всякого любовного пафоса. Читатель подумает вероятно, что эстетика — мой кошмар, и читатель в этом случае не ошибется. Эстетика и реализм действительно находятся в непримиримой вражде между собою, и реализм должен радикально истребить эстетику, которая в настоящее время отравляет и обессмысливает все отрасли нашей научной деятельности, начиная от высших сфер научного труда и кончая самыми обыкновенными отношениями между мужчиною и женщиною. Я немедленно постараюсь доказать читателю, что эстетика есть самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса.

XV

В том-то и состоит пошлость всяких эстетических приговоров, что они произносятся не вследствие размышления, а по вдохновению, по внушению того, что называется голосом инстинкта или чувства. Взглянул, понравилось — ну, значит, хорошо, прекрасно, изящно. Взглянул, не понравилось — кончено дело: скверно, отвратительно, безобразно. А почему понравилось или не понра-

---

* Красивое по внешности, миловидное *(франц.)*. — *Ред.*

вилось — этого вам не объяснит ни один эстетик. Все объяснение ограничится только ссылкою на внутренний голос непосредственного чувства. Эстетик выставит вам, конечно, целую систему второстепенных правил, но чтобы поставить весь этот затейливый эшафодаж [23] на какой-нибудь фундамент, он все-таки сошлется под конец на непосредственное чувство. Но эти ссылки непременно должны иметь определенный физиологический смысл, или же, в противном случае, они не имеют ровно никакого смысла. Например, некоторые люди не могут есть никакой рыбы и занемогают, как только в их пищеварительный канал попадет малейший кусочек этого нестерпимого для них вещества, которое у большей части людей считается, однако, лакомою и здоровою пищею. В этом случае отвращение совершенно законно. Значит, в устройстве желудка или кишечного канала есть какая-нибудь индивидуальная особенность, отрицающая рыбу. Всякий дельный физиолог скажет, подобно Льюису, что надо повиноваться голосу желудка, потому что урезонить его невозможно, апеллировать на него некуда, а бороться с ним значит только вызывать тошноту и разные другие болезненные явления. Другой пример: резкий свист локомотива абсолютно неприятен, или, выражаясь другими словами, неизящен, отвратителен, безобразен, потому что от этого пронзительного звука страдает слуховой нерв. Физиологическая причина существует, и, стало быть, дело опять-таки решается окончательно. Третий пример: женщина А чувствует непобедимое физическое отвращение к мужчине Б. Ей противно прикоснуться к его руке, а поцеловать этого человека было бы для нее настоящею пыткою. Такие явления действительно существуют в природе и, разумеется, имеют какое-нибудь физиологическое основание, хотя, может быть, современная наука и не в состоянии в точности определить их причину. И в этом случае не следует насиловать природу. И госпожа А поступит очень неблагоразумно, если, вопреки этому физическому отвращению, рассудочными доводами заставит себя выйти замуж за господина Б.

Наш организм имеет свои бесспорные права и предъявляет их, и не терпит их нарушения. Но скажите, пожалуйста, какие права своего организма заявляла, например, французская публика времен Вольтера, когда она систематически освистывала всякую трагедию, в которой не было un amoureux et une amoureuse? * Или какие права организма выражались в том, что нашим уездным барышням тридцатых и сороковых годов нравились почти исключительно блестящие мундиры и разочарованные герои? Согласитесь, что тут не может быть допущено даже легкое предположение об особенном устройстве каких-нибудь зрительных, слуховых, желудочных или других нервов. И барышни и французская публика очень горячо ссылались на голос непосредствен-

* Возлюбленный и возлюбленная (*франц.*). — *Ред.*

ного чувства и были готовы божиться в том, что уж так устроила их природа, что они иначе не могут чувствовать и рассуждать, что у них есть врожденное стремление к одним предметам и такое же врожденное отвращение к другим. Странное дело! Уездные барышни считаются тысячами, и во французские театры ходили, при Вольтере, также тысячи людей. Эти тысячи отдельных организмов представляли самое пестрое индивидуальное разнообразие; тут были умные и глупые, полнокровные и худосочные, раздражительные и апатичные, и так далее, до бесконечности. И у всех этих различных организмов оказывается вдруг одна общая черта, самая тонкая и неуловимая, — та, вследствие которой французам нравились только любовные трагедии, а барышням — только разочарованные воины. Воля ваша, такое предположение еще более неправдоподобно, чем если бы мы предположили, что все наши барышни родились с крошечным темным пятном над левым глазом. Само по себе такое пятно вовсе неудивительно, и оно так же удобно может поместиться над левым глазом, как и во всяком другом месте, но чтобы оно появилось разом у всех новорожденных девочек целой обширной местности — это невозможно. Чтобы такое *врожденное* свойство держалось постоянно в течение двух десятилетий и потом исчезло бы без следа, заменяясь для следующих поколений другим *врожденным* свойством, — это уже ни с чем не сообразно.

Ясно, стало быть, что природа тут ни при чем и что внутренний голос непосредственного чувства повторяет только, как попугай, то, что нажужжали нам в уши с самой ранней молодости. Француз XVIII века видел постоянно трагедии с любовным пламенем и слышал постоянно, что такие трагедии считаются превосходными, — он и требует себе таких трагедий и действительно чувствует к ним особенную симпатию. Барышня с трех лет до пятнадцати видит постоянно, что старшие родственницы ее любезничают с офицерами печоринского типа, и слышит постоянно, что взрослые девицы находят таких офицеров очаровательными; очень естественно, что, надевши длинное платье, эта барышня сама стремится любезничать с такими же офицерами и в самом деле чувствует какое-то особенное замирание сердца при одном взгляде на восхитительный мундир. Пассивная привычка — считать какой-нибудь предмет хорошим и желательным — становится до такой степени сильною, что превращается, наконец, в действительное чувство и в активное желание.

Такие превращения происходят в нашем внутреннем мире на каждом шагу. В этом последнем случае, конечно, привычка — дело очень хорошее, но не потому, что она — привычка, а потому, что она ведет за собою общеполезные последствия, необходимые для благосостояния человечества. Допуская и поощряя результаты привычки, когда они приносят нам пользу, мы не имеем в то же время никакого основания преклоняться перед нашими

привычками вообще и считать их неприкосновенными даже в том случае, когда они вредны, безрассудны, стеснительны или неудобны. Поэтому, когда внутренний голос непосредственного чувства начинает нам что-нибудь докладывать, мы можем его выслушать, но вовсе не обязаны принимать его советы на веру, без дальнейших критических исследований. Верить этому чревовещанию на слово — значит обрекать себя на вечную умственную неподвижность.

Наши инстинкты, наши бессознательные влечения, наши беспричинные симпатии и антипатии, словом, все движения нашего внутреннего мира, в которых мы не можем дать себе ясного и строгого отчета и которые мы не можем свести к нашим потребностям или к понятиям вреда и пользы, — все эти движения, говорю я, захвачены нами из прошедшего, из той почвы, которая нас выкормила, из понятий того общества, среди которого мы развились и жили. Это наследство и составляет силу и основание всех наших эстетических понятий. Что нравится нам безотчетно, то нравится нам только потому, что мы к нему привыкли. Если эта безотчетная симпатия не оправдывается суждением нашей критической мысли, то, очевидно, эта симпатия тормозит наше умственное развитие. Если в этом столкновении победит трезвый ум, — мы подвинемся вперед, к более здравому, то есть к более общеполезному взгляду на вещи, если победит эстетическое чувство, — мы сделаем шаг назад, к царству рутины, умственного бессилия, вреда и мрака.

Эстетика, безотчетность, рутина, привычка — это все совершенно равносильные понятия. Реализм, сознательность, анализ, критика и умственный прогресс — это также равносильные понятия, диаметрально противоположные первым. Чем больше мы даем простора нашим безотчетным влечениям, чем сильнее разыгрывается наше эстетическое чувство, тем пассивнее становятся наши отношения к окружающим условиям жизни, тем окончательнее и безвозвратнее наша умственная самостоятельность поглощается и порабощается бессмысленными влияниями нашей обстановки. Люди, обожающие красоту и эстетику, рассуждают обыкновенно так: мне это нравится, следовательно, это хорошо. Утвердившись на той позиции, что *это* хорошо, они начинают подбирать второстепенные условия, при которых может и должна развиться полная красота данного предмета, и этим подбиранием ограничивается то скромное шевеление мозгов, которое называется эстетическим анализом. Мысль при этом вертится в пределах того крошечного кружка, который очерчен вокруг нее заранее. Повертится, передвинет с места на место кое-какие пылинки, да на том и успокоится. Современники Вольтера убедили себя раз навсегда в том, что прекрасная трагедия непременно должна заключать в себе любовную интригу. Такая трагедия прекрасна, потому что она нам нравится, — это была их основная аксиома. От этой аксиомы отправлялся их анализ и клонился к тому, чтобы

разъяснить, при каких условиях *такая* трагедия может быть особенно прекрасна. Этот робкий и жалкий анализ, разумеется, оканчивался шлифованием мельчайших подробностей, составлявших бесполезный, хотя и логический вывод из совершенно пустой и ложной основной идеи. Вольтер осмеивает рутинную узкость этих ходячих эстетических теорий, и при этом сам также вертится в совершенно замкнутом кругу, который только чуть-чуть пошире первого. Вольтер приходит в эстетический ужас, когда один из его современников, Ламот-Удар (La Motte-Houdart), начинает доказывать, что трагедии могут быть прекрасны даже в том случае, если в них не соблюдены три единства (времени, места и действия) и если даже они написаны прозою. Вольтер допускает, что трагедия может быть прекрасна без любви, но ереси Ламота он допустить не может, и драматические произведения Шекспира все-таки ужасают его своими варварскими неправильностями. Но и Ламот-Удар, при всей своей смелости, пришел бы в ужас, если бы Белинский стал ему доказывать, что трагедии Корнеля и Расина никуда не годятся и что их даже смешно сравнивать с Шекспиром. Но и Белинский, при всей своей гениальности, пришел бы в ужас, если бы Базаров сказал ему, что «Рафаэль гроша медного не стоит» и что, следовательно, люди очень удобно могут жить на свете даже совсем без трагедии.

И французы, обожавшие любовную трагедию, и Вольтер, и Ламот, и Белинский, при всем различии своих взглядов, были все-таки эстетиками, и это обстоятельство проводит ясную и неизгладимую границу между этими людьми и представителями чистого реализма. Существенная разница заключается не в том, что одни признают, а другие отрицают искусство; это только второстепенные выводы. Можно быть эстетиком, не выходя из сферы чисто практических интересов; и можно быть реалистом, с любовью изучая Шекспира и Гейне, как гениальных и великих людей. Существенная разница лежит гораздо глубже; эстетики всегда останавливаются на аргументе: «*потому что это мне нравится*», и чаще всего даже не доходят до этого последнего аргумента. Реалисты, напротив того, и этот последний аргумент подвергают анализу. «Это мне нравится, — думает реалист. — Хорошо. Но, чтобы узнать цену моих симпатий, не мешает сначала узнать, что за штука это *я*, так отважно произносящее свои решительные приговоры. Между *моими* сверстниками было много дураков и негодяев; *мои* наставники пороли *меня* по вдохновению и заставляли *меня* лгать и подличать; *мои* родственники жили и живут безгрешными доходами; *мои* родственницы смешивают Гоголя с Поль де Коком и говорят, что писателя, как вредного сплетника, опасно пустить на порог порядочного дома. Посреди всех этих и многих других подобных влияний слагалась и развивалась *моя* личность. Были, конечно, и другие впечатления, совсем другого сорта, впечатления, по милости которых мне удалось бросить кри-

тический взгляд на разнообразный сор моей родной избы. Были разговоры немногих умных людей и чтение многих умных книг. Не дерзко ли и не глупо ли было бы принять за непреложную истину, что благотворное влияние этих людей и книг совершенно очистило мою личность от всяких грязных ингредиентов, вошедших в нее из почвы?» Ясно теперь, что именно существование этой высшей руководящей идеи у последовательного реалиста и отсутствие такой идеи у эстетика составляет основное различие между этими двумя группами людей. Какая же это идея? Это — идея общей пользы или общечеловеческой солидарности. Как все люди, и даже все животные вообще, эстетик и реалист — оба вполне эгоисты. Но эгоизм эстетика похож на бессмысленный эгоизм ребенка, готового ежеминутно облопаться сквернейшими леденцами и коврижками. А эгоизм реалиста есть сознательный и глубоко-расчетливый эгоизм зрелого человека, заготовляющего себе на целую жизнь неистощимые запасы свежего наслаждения.

Идея общечеловеческой солидарности известна очень многим эстетикам, но они относятся к ней как, например, к какому-нибудь мексиканскому вопросу. [24] — Да, мол, хорошая идея, и интересные вещи об ней пишутся. Отчего не почитать насчет этой идеи? Отчего даже, при удобном случае, не заявить печатно, что homo sum et nihil humani..? * Словом, отчего же нам, эстетикам, не побаловать себя и этою идеею, как мы балуем себя всеми цветочками этого лучшего из возможных миров? — Таким образом эстетики, нисколько не содействуя выяснению и практическому торжеству этой идеи, овладевают ею, утешаются ею, по своему обыкновению, весьма миловидно, искусно и тонко вводят ее в замкнутый кружок своих неподвижных симпатий и безусловно подчиняют ее своему высшему, хотя и затаенному принципу, великому аргументу: *потому что мне нравится.* При такой обстановке великая идея, господствовавшая деспотически над умами мировых гениев, становится милою безделкою, которую приятно поставить на письменный стол, в виде легкого presse-papier, ** для того чтобы она напоминала пишущему барину, что и он тоже работает для человечества. Да и как же не для человечества? Какую бы глупость он ни написал, все-таки его будут читать не лошади, а люди.

Все мои насмешки могут относиться вполне только к эстетикам *нашего* времени. У эстетиков *прежних* времен, у людей, подобных Вольтеру или Белинскому, идея общечеловеческой солидарности медленно созревала под эстетическою скорлупкою. Теперь эта идея созрела и проявляется в самых разнообразных формах,

---

* Я — человек, и ничто человеческое...

Часть латинского изречения (из комедии Теренция): «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». — *Ред.*

** Пресспапье *(франц.)*. — *Ред.*

по всем отраслям человеческой деятельности. Стало быть, кто теперь отворачивается от этой идеи и самодовольно возится с ее разбитою скорлупою, тот или слеп, или умышленно зажмуривает глаза. А смеяться над умственною слепотою людей, считающих себя квинтэссенциею человечности, это не только позволительно, но даже необходимо для выяснения и очищения великой идеи, превращенной в будуарное украшение.

XVI

Для реалиста идея общечеловеческой солидарности есть просто один из основных законов человеческой природы, один из тех законов, которые ежеминутно нарушаются нашим неведением и которые своим нарушением порождают почти все хронические страдания нашей породы. Человеческий организм, рассуждает реалист, устроен так, что он может развиваться по-человечески и удовлетворять всем своим потребностям только в том случае, если он находится в постоянных и разнообразных сношениях с другими подобными себе организмами. Выражаясь короче и проще, человеку для его собственного благосостояния необходимо общество других людей. На земном шаре существует множество отдельных человеческих обществ; между этими обществами могут существовать или дружеские, или враждебные отношения. Первые несравненно выгоднее последних. Чем больше дружеских отношений и чем меньше вражды, тем лучше для каждого из отдельных обществ; а чем успешнее развивается общество, тем приятнее живется каждому из его членов, то есть каждому отдельному человеческому организму. Таким образом и выходит, что участь одного зависит от участи всех. И наоборот, когда отдельная личность вполне расчетливо пользуется своими собственными способностями, тогда она неизбежно, сама того не сознавая, увеличивает сумму общечеловеческого благосостояния. Если бы эта личность сознавала значение своей деятельности для общего блага, то ей все-таки не было бы надобности изменять в своей деятельности какую бы то ни было мелочную подробность. Вполне расчетливый эгоизм совершенно совпадает с результатами самого сознательного человеколюбия. Но, сознавая важное и высокое значение своего личного труда, видя в этом труде свою неразрывную связь с миллионами других мыслящих существ, трудящаяся личность еще сильнее привязывается к своей деятельности, еще смелее развертывает свои способности и, ясно понимая законность своих стремлений, становится более счастливою, то есть более независимою от тех тяжелых ощущений, которые порождаются мелкими неудачами. Я не ошибаюсь в общем направлении моей жизни, думает такая личность; я повинуюсь основному закону природы. Если мне приходится пережить

кое-какие неприятности, то я все-таки знаю, что я из многих зол выбираю меньшее. Если я пойду вразрез с естественным законом, если я уклонюсь от него в сторону, то, в общем результате, жизнь моя пойдет еще хуже.

Эстетики вообще восторгаются, умиляются и человеколюбствуют гораздо чаще и шумнее, чем реалисты, которые обыкновенно обнаруживают упорную антипатию ко всякому порывистому энтузиазму. Но эстетики считают совершенно невозможным делом провести идею деятельной любви во все мельчайшие поступки собственной жизни. Для них эта идея — блестящий мундир, который можно и даже следует надевать по табельным дням, но который, при всей своей красоте, превратится в орудие пытки, если вы станете таскать его каждый день, с раннего утра до поздней ночи. Когда им говорят, что это даже не мундир, а очень просторное домашнее пальто, то они этому решительно не верят и людей, высказывающих подобные мысли, называют или фантазерами, или лицемерами. Помилуйте, вопиют эстетики, эти сухие, черствые люди, эти угловатые фигуры, толкующие постоянно о выгоде и убытке, хотят уверить нас, что им удалось решить такую задачу общечеловеческой любви, которая оказалась не по силам даже нам, людям мягким, нежным и высоко развитым в деле понимания самых изящных сторон природы и человеческой души. Не есть ли это с их стороны дерзкая и возмутительная ложь?

Конечно, если бы реалисты к каждому своему шагу приплетали высокие рассуждения о человеколюбии и глубокие вздохи о человеческих страданиях, то это было бы и глупо, и скучно, и, наконец, сделалось бы невыносимым как для самого реалиста, так и для всех его знакомых. Но идея любви проводится в жизнь гораздо проще и гораздо действительнее. К этой высшей идее реалист обращается чрезвычайно редко. Обыкновенно он имеет дело только с ее практическими выводами и частными приложениями. Доживши до тех лет, когда приходится выбирать себе определенный род занятий, молодой человек, не испорченный богатством и барственною ленью, начинает всматриваться в свои способности и делает попытки по разным направлениям до тех пор, пока не отыщет себе такой труд, который ему приятен и который притом может его прокормить. Рассматривая различные сферы занятий, молодой человек, сколько-нибудь способный размышлять, непременно ставит себе некоторые вопросы, на которые ему необходимо получить от себя ответы. Не бесчестно ли это занятие, то есть не вредит ли оно естественным интересам большинства? Не подействует ли оно подавляющим образом на мои умственные способности? Обеспечит ли оно мою нравственную самостоятельность, то есть буду ли я моим трудом удовлетворять действительным потребностям общества? Чтобы поставить и решить в ту или в другую сторону несколько подобных вопросов, не надо быть

ни гениальным мыслителем, ни героем или фанатиком человеколюбия. Надо просто быть неглупым человеком и получить в каком-нибудь университете довольно ясное понятие о том, чтó такое общество и чтó такое умственный труд.

Конечно, выбирая то или другое поприще, надо взглянуть на дело широко и серьезно, надо обратиться к высшей руководящей идее и ей надо безусловно подчинить разные второстепенные соображения, которые обыкновенно называются практическими, а на самом деле всегда оказываются ложными и близорукими. Если, например, лет пять тому назад молодому человеку, вышедшему из университета, предложили бы *выгодное* место по откупам, то, разумеется, он, во имя идеи, обязан был безусловно отказаться от этого места, несмотря ни на какие выгоды. Идея требует от него этой жертвы; но нам стоит только взглянуть внимательно на дело, чтобы немедленно убедиться в том, что тут жертва чисто внешняя и что требования высшей идеи здесь, как и везде, совпадают вполне с внушениями эгоистического расчета. Молодой человек стоит на распутье: направо — дорога в откуп, налево — грошовые уроки и неизвестное будущее. Если бы какой-нибудь волшебник мог показать ему его самого, каким он будет лет через пятнадцать, пошедши направо, и потом опять-таки его самого, пошедшего налево и пережившего такой же промежуток времени, то, конечно, молодому человеку захотелось бы выбрать тот путь, который приводит к наиболее благообразному результату. Я не думаю, чтобы молодому человеку понравилась та личность, которую он увидел бы в первом случае. Жизнь в брюхо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушие ко всяким высшим интересам, извращение умственных способностей, тупая и боязливая ненависть ко всему, что может нарушить выгодное спокойствие мутного болота, резкий разрыв с честными университетскими товарищами, словом, все признаки безнадежного падения — результат непривлекательный! — К этому результату *приходят* тем или другим путем многие пламенные юноши, но *идут* они не к этому результату, и если бы они могли видеть его заранее, то из этих многих почти все повернули бы куда-нибудь в другую сторону. Значит, тут происходит ошибка в расчете, и от таких ошибок, неизбежных при нашей юношеской неопытности и самонадеянности, нас всего лучше может предохранить та кажущаяся жертва, которую мы приносим требованиям высшей идеи.

Очень многие отрасли труда находятся в полном согласии с самыми строгими требованиями идеи. Которую же из этих отраслей должен выбрать себе молодой человек? И здесь интересы общества сходятся с интересами личности. Пусть молодой человек выбирает себе то, что ему всего приятнее. Тогда, и именно только тогда, он, наслаждаясь процессом своего труда, принесет обществу такое количество пользы, которое вполне соответствует размерам его личных способностей.

Положим теперь, что требования идеи соблюдены, деятельность молодого человека вошла в свою ровную колею и, удовлетворяя его умственным потребностям, с каждым годом становится более драгоценною и необходимою частью его существования. Каждый неглупый человек может найти себе такую деятельность; а как только жизнь наполнена осмысленным трудом, так задача может считаться решенною: идея общечеловеческой любви проведена во все поступки жизни. Ваш труд полезен, вы его любите, вы посвящаете ему все ваши силы, вы ни за что не согласитесь делать его кое-как, вы готовы бороться с затруднениями и переносить неприятности, чтобы довести его до возможной степени совершенства, вы понимаете и стараетесь расширить практическое значение вашей работы — кажется, этого довольно, и, кажется, вы, поступая таким образом, ни на одну минуту не забываете вашей солидарности с остальными людьми и ни одним вашим движением не уклоняетесь в сторону от самых неумолимых требований высшей идеи.

Итоги всех этих рассуждений можно подвести так: эстетик — великодушный барин, способный в минуту героического порыва бросить бедному человечеству даже трехрублевую бумажку, которая немного позднее, вместе со всеми остальными деньгами и симпатиями этого барина, непременно полетела бы в руки поющей цыганки; а реалист — расчетливый акционер, пустивший в оборот все свое состояние и всеми силами служащий делу компании, для увеличения собственного дивиденда. Иной акционер, ради собственной поживы, вздумает, пожалуй, обокрасть компанию, но ведь это расчет не столько верный, сколько отважный. На таких изобретательных акционеров есть уголовный суд, а на мошенников в общем деле человечества — презрение честных людей, над которым не во всякое время можно смеяться безнаказанно. Поверхностному наблюдателю эстетик может показаться симпатичнее реалиста, потому что реалист понятен только тому, кто разглядит общее направление его поступков и разгадает высшее значение идеи, составляющей внутренний смысл его существования. А эстетик весь как на ладони, и внутреннего смысла в его жизни вы не найдете.

XVII

Реалист — мыслящий работник, с любовью занимающийся трудом. Из этого определения читатель видит ясно, что реалистами могут быть в настоящее время только представители умственного труда. Конечно, труд тех людей, которые кормят и одевают нас, в высшей степени полезен, но эти люди совсем не реалисты. При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных

и железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод и боль. В настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидят свой труд и совсем не занимаются размышлениями. Они составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало и не принимает до сих пор никакой определенной формы. Это — туманное пятно, из которого выработаются новые миры, но о котором до сих пор решительно нечего говорить. Заниматься с любовью материальным трудом — это в настоящее время почти немыслимо, а в России, при наших допотопных приемах и орудиях работы, еще более немыслимо, чем во всяком другом цивилизованном обществе. Таким образом, самый реальный труд, приносящий самую осязательную и неоспоримую пользу, остается вне области реализма, вне области практического разума, в тех подвалах общественного здания, куда не проникает ни один луч общечеловеческой мысли. Что ж нам делать с этими подвалами? Покуда приходится оставить их в покое и обратиться к явлениям умственного труда, который только в том случае может считаться позволительным и полезным, когда, прямо или косвенно, клонится к созиданию новых миров из первобытного тумана, наполняющего грязные подвалы.

Из всех реалистов только одни естествоиспытатели, раздвигающие пределы науки новыми открытиями, работают для человечества *вообще*, без отношения к отдельным национальностям и к различным условиям места и времени. Остальные реалисты работают также для человечества, но задачи и приемы их деятельности должны изменяться сообразно с обстоятельствами и приспособляться к потребностям отдельных человеческих обществ. Местные и временные условия нашей русской жизни заявляют свои определенные требования, и русский реалист не может оставлять их без внимания. Этим требованиям он непременно должен подчинить свою деятельность, если только он не посвятил себя исключительно изучению природы.

Мне кажется, влияние наших местных обстоятельств выражается преимущественно в том, что отдельные направления реалистического труда до сих пор не выяснились и не определились. Наша мысль только что пробуждается в немногих головах; в деле умственного труда одному и тому же человеку приходится сплошь и рядом и землю пахать, и сапоги шить, и пироги печь, и дрова колоть. Рациональное разделение труда до сих пор еще невозможно; взяться основательно за специальную задачу — значит уйти далеко вперед от понимания общества, сузить, без малейшей пользы, сферу своего влияния и не встретить в соотечественниках ничего, кроме равнодушия и недоумения. За какое бы общеполезное предприятие вы ни взялись, вам во всяком случае придется вить веревку из песку, то есть собирать и склеивать искусственными средствами такие рассыпающиеся частицы, которые

не имеют, не хотят и не могут иметь ни малейшей связи ни между собою, ни с вашею идеею. Каждого соотечественника придется уговаривать поодиночке и каждого придется, при этом удобном случае, обучать тем элементарным истинам, которые человек непременно должен знать для того, чтобы иметь какое-нибудь мнение о вашем предприятии. Это значит, вам нужен строевой лес, а под руками у вас мера желудей; конечно, если положить эти желуди в землю, то лес вырастет, но, рассчитывая на этот лес, подряжать плотников — это было бы с вашей стороны опрометчиво. А кстати подряжать-то некого, потому что плотники, подобно строевому лесу, также находятся в зачаточном состоянии. Как же тут прикажете поступить мыслящему реалисту? Если он придет в уныние и опустит руки, то он очень скоро сделается жирным филистером, и его уныние перейдет в хроническую улыбку тупого самодовольства. Если он будет суетиться и метаться из угла в угол, не требуя от своих усилий осязательного результата и не задавая себе даже вопроса о том, возможен ли такой результат, то он окажется Репетиловым или трудящеюся мартышкою. В том и в другом случае он перестанет быть реалистом; горизонт его мысли быстро сузится, и вся личность его завянет и сморщится, потому что и бездействие и бессмысленная суетня действуют на человека самым опошляющим образом.

Чтобы подкреплять и возвышать человеческую личность, умственный труд непременно должен быть полезным, то есть он не только должен быть направлен к известной разумной цели, но он, кроме того, должен достигать этой цели. Реалист не может успокоить себя тою отговоркою, что я, мол, исполнил свой долг, старался, говорил, убеждал, а если не послушали, так, стало быть, и нечего делать. Такие отговорки полезны только для эстетика, для дилетанта умственной работы, для человека, которому надо во что бы то ни стало получить от самого себя квитанцию в исправном платеже какого-то невещественного долга. А в глазах реалиста такая квитанция не имеет никакого смысла; для него труд есть необходимое орудие самосохранения, необходимое лекарство против заразительной пошлости; он ищет себе полезного труда с тем неутомимым упорством, с каким голодное животное ищет себе добычи; он ищет и находит, потому что нет таких условий жизни, при которых полезный умственный труд был бы решительно невозможным. Реалист убеждается в том, что нам прежде всего необходимы знания. Это — великая истина, превратившаяся даже в избитую фразу благодаря тем мудрецам, которые, произнося всевозможные слова, не поняли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реалист не останавливается на голой фразе и немедленно выводит из основной идеи все ее практические последствия. Общество нуждается в знаниях, но оно само почти совсем не сознает и не чувствует, до какой степени оно бедно в умственном отношении и до какой степени эта умственная бедность мучительно

отзывается во всех подробностях его вседневной жизни. Завалите такое общество превосходнейшими учебниками, переведите для него все лучшие научные сочинения величайших европейских мыслителей— и все это принесет ему очень мало пользы. Обставьте больного всевозможными микстурами и декоктами — и он все-таки не выздоровеет, если не будет принимать ваших лекарств и не захочет исполнять ваши гигиенические предписания. Когда больной считает себя здоровым, тогда ему прежде всего необходимо доказать, что он жестоко ошибается. Именно таким образом следует поступить и с нашим обществом. Оно не только мало размышляет, но оно даже не имеет никакого понятия о том, что такое деятельность мысли. Лексикон мудреных слов, целые сборники готовых изречений, целые библиотеки игрушечных произведений праздной фантазии — вот весь умственный капитал, обращающийся в нашем обществе, и обладание такими сокровищами во всех отношениях должно считаться более тягостным бедствием, чем самая голая умственная нищета. Мы из каждой дельной мысли выхватываем только ее формальное выражение и к обширному сборнику наших затверженных изречений прибавляем, таким образом, еще новую фразу, из которой улетучивается весь ее жизненный смысл.

Имеем ли мы какое-нибудь понятие о животных и растениях, о физических и химических законах, о свойствах воды, воздуха, металлов и различных составных частей почвы? — Ровно никакого. — Знаем ли мы что-нибудь о жизни европейских обществ? — Совсем ничего. — Понимаем ли мы их историю? — Нисколько. — Известно ли нам положение России? — Решительно неизвестно. — И в то же время, при этом круглом невежестве, мы всё знаем, мы знаем ужасно много, мы всё читаем и обо всем пишем. — Мы знаем, что есть телескоп, микроскоп, химический анализ, жирафа, Александр Гумбольдт, хлебное дерево, анатомия, кокосовые орехи, эмбриология, коралловые рифы и многие другие естественные произведения, интересные с той или с другой стороны для исследователей природы. Познания наши по части европейской политики еще более обширны и разнообразны. Мы знаем, что в английском парламенте сидит мистер Геннеси; что Гарибальди сначала подстрелили при Аспромонте, а потом вылечили и простили; [25] что Виктор Гюго живет в Брюсселе и написал новый роман: «Les Misérables»; * что черногорцы — наши братья и дерутся с турками; [23] что фабриканты, машинисты и работники совокупными силами создали чудеса новейшей промышленности, но что, к сожалению, тут поднялся антагонизм сословий, породился пауперизм, а потом явились коммунисты и социалисты, которые еще более перепутали дело; всего же основательнее мы знаем, по рассказам наших путешествовавших соотечественников, что

---

* «Отверженные». — *Ред.*

поезды и дебаркадеры железных дорог устроены удобно, что лоретки — женщины пикантные и рулетка — препровождение времени очаровательное, но во многих отношениях изнурительное.

Мы, как видите, знаем чрезвычайно много; всякие собственные имена, всякие специальные слова и технические выражения, все это нам доподлинно известно. Не знаем мы только безделицы, — не знаем тех живых явлений, которые обозначаются этими словами, и не знаем, кроме того, каким образом эти неизвестные нам явления связываются одно с другим. Мы скажем вам, например, что пауперизм — значит бедность, но каковы размеры этого явления, в каких формах оно выражается, откуда оно произошло, почему оно в одной стороне развилось сильнее, чем в другой, — этого мы не знаем, и мы бы даже очень удивились, если бы кто-нибудь заподозрил нас в способности когда-нибудь задать себе такие вопросы и узнать такие запутанные истории. — Что такое Литва? — спрашивает один из обывателей города Калинова в драме «Гроза». — А эта Литва к нам с неба свалилась, — отвечает другой, и любознательность первого гражданина немедленно удовлетворяется этим ответом. — Литва — это народ такой, — ответит себе образованный человек, и также удовлетворится. А ведь в сущности узнать, что неизвестный мне народ называется Литвою, а не Капустою и не Самоваром, это значит только прибавить к своему лексикону новое двусложное слово.

И точно такое же значение имеет каждый голый факт, вырванный из общей картины жизни и поднесенный невзыскательному читателю затейливым составителем журнального или газетного обозрения. А так как наша публика, кроме таких голых реляций, не получает от своих обыкновенных просветителей решительно ничего и так как она даже не знает, чего бы она могла от них потребовать, так как она читает от нечего делать и даже не обращает внимания на свою полную умственную пассивность, то реалист, пристально вглядевшись в эти специально-российские отношения между писателями и читателями, говорит решительно и просто, что общество не знает ровно ничего и не умеет даже отличить живую деятельность мысли от бессознательной игры слов и оборотов. Но реалист должен не только высказать такое суждение, а еще, кроме того, доказать его строгую верность и сделать так, чтобы общество увидело и почувствовало справедливость его слов.

На чем же спят наши соотечественники, или, выражаясь яснее, что их утешает и успокоивает, что маскирует пустоту их жизни и избавляет их от необходимости умирать со скуки или заниматься полезною работою? Водка, табак, карты, рысаки, донжуанство, гончие собаки — все это предметы, играющие самые почетные роли в жизни нашего общества, и против них, конечно, современный реализм бессилен. Эти тюфяки будут отодвинуты

в сторону только тогда, когда реализм войдет в действительную жизнь, то есть когда реалистов будет уже очень много и когда общество вследствие их влияния начнет в самом деле проникаться тем сознанием, что трудиться гораздо полезнее и приятнее, чем искать сильных ощущений в игре, в пьянстве или в псовой охоте. Эти времена лежат еще далеко впереди, и поэтому реалист не должен в настоящее время тратить свою энергию на бесплодные проповеди. Реалист должен думать только о тех людях, которые могут проснуться и превратиться в реалистов. Такие люди в нашем обществе существуют. Чтение составляет для них действительную потребность, и они читают много, и, несмотря на то, все-таки спят. Эти любители умеют читать даже серьезные статьи и понимают в них каждое слово (например, пауперизм — бедность, ботаника — наука о растениях, Либих — немецкий химик). Но так как настоящие задушевные симпатии этих людей влекут к беллетристике и к поэзии, то они и серьезные статьи и книги читают как повести и как поэмы. Они говорят для собственного назидания, что серьезные вещи читать полезно, и они даже всякий раз, одолевши что-нибудь серьезное, утешают себя тем приятным размышлением, что они исполнили священный долг и что теперь, успокоив свою требовательную совесть, можно побаловать свою грешную душу романчиком или стишками. Но при всем том, даже исполняя священный долг, они ищут во всяком серьезном чтении все той же, любезной им, беллетристической занимательности. Когда же они этого сладкого ингредиента не находят, тогда они стараются только как можно скорее прожевать и проглотить сухую материю, для того чтобы умиротворить свою совесть. Надо отдать им справедливость, что совесть их очень требовательна; она все шепчет им самым озлобленным шепотом: «Следи же за веком! Читай же дельные книги! Будь же мыслящим существом!»

И, повинуясь этому повелительному голосу, спящие читатели совершают действительно чудеса храбрости. Читать серьезные сочинения без общего плана, узнавать отдельные подробности, не видя в них общего смысла, проводить через свою голову чужие мысли, не имея понятия о живых явлениях, породивших эти идеи, напрягать свое внимание, не отыскивая никакого ответа на вопросы и сомнения своей собственной жизни и мысли, — это занятие умственно-скучное. Это все равно, что читать лексикон или приходо-расходную книгу совершенно неизвестного вам человека. И что выходит из этого чтения? Запоминаются слова и факты, но в тех мыслях, которые управляют жизнью самого читателя, не происходит ни малейшего передвижения. Наши русские читатели даже твердо убеждены в том, что между книгою и жизнью не может быть никакого взаимного действия. И все это оттого, что они выучились читать и полюбили чтение исключительно по романам и поэмам. У них установился взгляд на чтение как на препровождение времени, то есть как на средство *убить время*,

потому что время, это драгоценнейшее достояние мыслящего человека, есть смертный враг наших соотечественников, враг, которого следует гнать и истреблять всеми возможными орудиями, начиная от желудочной водки и кончая статьями «Русского вестника».

Чтение наших соотечественников не имеет цели; русский человек ничего не ищет в книге, ни о чем не спрашивает, ни к чему не желает прийти. Он просто хочет, чтобы писатель повеселил его душу. Если писатель веселит его утонченными ощущениями и если увеселяемый читатель понимает все утонченности, то он считает себя развитым человеком и, любуясь на свою развитость, называет тонкого увеселителя великим гением, и, вменяя себе в заслугу то, что он их понимает, русский читатель вносит и во всякое дельное чтение те приемы мышления, которые он приобрел в обществе тонких увеселителей. Хоть русский читатель и уверяет себя, что он читает серьезную книгу *для пользы*, но ведь это только так говорится. О настоящей пользе он и понятия не имеет. Слово *польза* не вызывает в его уме никакого определенного представления, и в общем результате всякое чтение все-таки приводит за собою только истребление времени; а запоминается из прочитанной книги и нравится в ней исключительно то, что повеселило душу.

Если бы безобразие и пошлость такого занятия выступили перед пониманием читателя во всей своей отвратительной наготе, то ему сделалось бы очень совестно. Он встревожился бы и стал бы искать чего-нибудь менее нелепого. Он именно попал бы с постели на пол и открыл бы свои отяжелевшие очи. К этой цели и направляются усилия наших реалистов; сделать так, чтобы русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки резкого смеха, сделать так, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями, — это одна из самых важных задач современного реализма. — Вам нравится Пушкин? — Извольте, полюбуйтесь на вашего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демоном» Лермонтова? — Посмотрите, что это за бессмыслица. — Вы благоговеете перед Гегелем? — Попробуйте сначала понять его изречения. — Вам хочется уснуть под сенью «общих авторитетов поэзии и философии»? — Докажите сначала, что эти авторитеты существуют и на что-нибудь годятся. — Вот как надо поступать с русским человеком. Не давайте ему уснуть, как бы он ни закутывал себе голову теплыми иллюзиями и темными фразами.

Реалисты наши так и делают: они смеются, и их звонкий смех прорезывает такие туманы, которые не поддаются серьезной аргументации. Русские писатели смеются уже давно, но смех сатириков наших, от Капниста до г. Щедрина, тратился постоянно на такие явления, которые на сатиру не обращают никакого внимания. Искоренять сатирою взяточничество — что может быть

невиннее и бесплоднее этого занятия? Реалисты, конечно, неспособны тратить свой смех на такие упражнения. Они очень хорошо понимают, что взятка никогда не будет казаться смешною тому человеку, которого она кормит и одевает. Если идеи и чувства лириков, эстетиков, романтиков, педантов, фразеров сделаются смешными для общества, то общество перестанет ими увлекаться и направит свои симпатии в другую сторону. Результат получится осязательный, и я смею думать, что таким образом решится очень серьезная задача, потому что в настоящее время всего необходимее превращать чувствительных тунеядцев в мыслящих работников.

XVIII

Начал я с общечеловеческой солидарности, а кончил тем практическим заключением, что нам, русским реалистам, можно только осмеивать потихоньку наши мелкие глупости и медленно учиться, вместе с нашею ленивою публикою, самым элементарным истинам строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конец! Гора мышь родила, подумает читатель, и я никак не осмелюсь ему противоречить. Я уже говорил в первой части этой статьи, что мы бедны и глупы; теперь нам пришлось убедиться в том, что наша бедность и наша глупость доходят действительно до самых почтенных размеров, — до таких размеров, что глупость мешает нам понимать пользу необходимого лекарства, а бедность мешает нам приобрести себе зараз достаточную дозу этого лекарства. Вследствие этого и приходится употреблять это лекарство самым поверхностным образом и в самых микроскопических приемах. Великая и плодотворная идея должна пристроиться к самому мелкому практическому применению, и только при этом условии она может с грехом пополам проникнуть в сознание лучшего меньшинства нашей читающей публики.

В этом печальном обстоятельстве не виноваты, разумеется, ни основные особенности реалистической идеи, ни личные свойства наших реалистов. Представьте себе, что вы превосходно изучили рациональную агрономию и что вам приходится прикладывать ваши знания к обыкновенному мужицкому хозяйству, и всего оборотного капитала у вас рублей сорок или пятьдесят. Если вы — не пустой фантазер, то вы, разумеется, оставите покуда в стороне всякие помыслы о паровых плугах, о молотилках, об искусственном травосеянии и о химическом анализе почвы. Вы ограничитесь тем, что на первый год купите, например, железную борону и для удобрения — корову. Значит, и здесь гора мышь родила, но ведь это обстоятельство нисколько не доказывает, что приложение химии к земледелию — чепуха или что вы сами ничему не выучились. Ничуть не бывало. Если вы одарены ясным практическим умом и твердым характером, если вы способны ров-

ным шагом идти к далекой цели, не спуская с нее глаз ни на одну минуту и постоянно соразмеряя ваши собственные силы с тем расстоянием, которое вы должны пройти, то вы непременно докажете на деле вашим деревенским соседям, что рациональная агрономия — не пустяки и что вы сами недаром потратили время на ее изучение. За бороною и коровою будут следовать ежегодно новые улучшения, которые, постоянно увеличивая ваш доход, постоянно будут расширять круг вашей преобразовательной деятельности. Каждое новое улучшение будет вытекать из прошлогоднего, и, таким образом, корова и борона сделаются фундаментом всего вашего последующего благосостояния. Если бы корова и борона остались без дальнейших последствий, тогда, конечно, можно было бы сказать, что гора родила мышь; но ведь тут дело идет, как говорят французы, de fil en aiguille; * стало быть, гора родит целую цепь явлений, которые могут вылезти из горы не иначе, как одно за другим.

Я хотел говорить о русском реализме, и свел разговор на отрицательное направление в русской литературе. Читатель может подумать, что я делал это по цеховому самолюбию, по пристрастию к моему муравейнику и к моим собственным муравьиным занятиям. В этом случае читатель решительно ошибется. Я с самым напряженным вниманием отыскивал в общественных явлениях нашей вседневной жизни каких-нибудь признаков здорового реализма, и не нашел в них ничего похожего не только на реализм, но даже на какое-нибудь сознательное движение мысли. Ведь в самом деле только в одной литературе и проявлялось до сих пор хоть что-нибудь самостоятельное и деятельное. Гоголь, Белинский, Добролюбов — вот вам в трех именах полный отчет о всей нашей умственной жизни за целое тридцатилетие; к этим именам можно было бы прибавить еще два-три имени, но и эти последние также принадлежат к литературе и, по направлению своей деятельности, примыкают или к Белинскому, или к Добролюбову.

А где же наши исследователи, где наши практические работники? Были, есть и будут и те и другие. Г. Соловьев, г. Срезневский, г. Бодянский, г. Буслаев — вот какие громкие имена мы можем выдвинуть в параллель немецким именам: Либих, Дюбуа-Реймон, Фохт, Гельмгольц, или французским: Клод Бернар, Декандоль, Эли де Бомон, Мильн-Эдвардс, или английским: Дарвин, Ляйель, Форбес, Бокль. Что же касается до практических работников, то их незачем и пересчитывать.

Некоторые *настоящие* исследователи, приносящие *действительную* пользу общечеловеческой науке, живут, правда, в русских городах и даже иногда носят русские фамилии, но их труды остаются для нашего общества мертвым и даже неизвестным капиталом. Наш академик Карл-Эрнст фон Бэр считается во всей

---

* Мало-помалу; по порядку *(франц.)*. — *Ред.*

Европе одним из величайших эмбриологов нашего времени. Дарвин, Карл Фохт, Гексли всегда цитируют его мнения с особенным уважением. Льюис в своей «Физиологии обыденной жизни» ссылается на исследование Овсянникова о спинном мозге и Якубовича — о нервных клеточках. Французский ученый Беклар упоминает в своей физиологии о некоторых экспериментальных работах Боткина и Сеченова. Ну, а мы? Мы, я чай, и понятия не имеем о том, что у нас могут существовать такие люди, которые в самом деле не шутя занимаются эмбриологиею, нервными клеточками и физиологическими опытами. Мы узнаем об этих людях из иностранных книг и чувствуем себя польщенными, точно будто мы сами не спим, а занимаемся делом. И вдруг, узнавши таким случайным образом о подвигах русских людей, какой-нибудь мыслитель из «Сына отечества» или из «Северной пчелы» [27] вламывается в амбицию и заявляет жалобным голосом свою патриотическую претензию: «На что же, мол, это похоже? В России есть умные люди, а я, русский мыслитель и образованный человек, об этом ничего не знаю. Как же вам не грех так поступать, родимые специалисты? Зачем же вы пишете по-латыни или по-немецки? Вы должны писать по-русски, тогда бы я вас знал и мне было бы приятно, а русское общество получило бы от вас назидание и пользу. Смотрите же, родимые специалисты, непременно пишите по-русски».

Такие жалобы и такие увещания слышатся очень часто, и читатель им обыкновенно сочувствует тем дряблым и ни на что не годным сочувствием, которым мы вообще чрезвычайно богаты и которое никогда не может повести нас дальше каких-нибудь обедов по подписке или спектаклей с благотворительными предлогами. Но эти жалобы и увещания так же пусты и праздны, как и бóльшая часть тех мыслей, с которыми сочувственно соглашаются русские читатели. Какая бы в самом деле вышла польза, если бы Овсянников написал свое исследование по-русски? Пользы никакой, а вред очевидный; ведь Льюис не стал бы учиться русскому языку ради одной диссертации о спинном мозге; ну, стало быть, у Льюиса одним полезным пособием было бы меньше, а мыслитель «Сына отечества» или «Северной пчелы» все-таки не прочел бы диссертации родимого специалиста; а если бы и прочел, то ничего бы из нее не понял и не извлек, потому что выучиться немецкому или латинскому языку гораздо легче, чем понять специально ученый труд, написанный даже по-русски. Если бы мыслитель был способен заниматься серьезным делом, то немецкий или латинский язык не составил бы для него непреодолимого препятствия. А если он, от лица публики, жалуется на трудность иностранного языка, то он еще пуще того будет жаловаться на непонятность научного изложения. Ему что надо? Ему надо, чтобы Бэр явился перед русскою публикою и сказал ей с подобающею любезностью: «Честь имею рекомендоваться: я — Карл-Эрнст фон Бэр. Я зани-

маюсь эмбриологиею. Эмбриология есть наука о развитии живых существ. Эта наука составляет часть естествознания, а естествознание — вещь очень полезная, вот почему и вот почему. Я сделал несколько новых открытий и объясню вам значение этих открытий, применяясь к вашему убогому пониманию и стараясь растолковать вам самые элементарные истины, известные каждому немецкому школьнику, но совершенно новые для мыслителей наших газет и журналов».

Ах, как бы это было хорошо и благоразумно! На это галантерейное расшаркивание Бэра перед русскою публикою ушло бы очень много времени, а время Бэра очень дорого, потому что великий натуралист мог бы употребить его на новые исследования. Бэр — превосходный специалист, раздвигающий пределы науки, а мы, по нашей глупости, хотим, кроме того, чтобы он сделался для нас школьным учителем; и если бы наше глупое желание исполнилось, то одним великим исследователем сделалось бы меньше и одним плохим писателем больше.

И такие же требования вместе с такими же нелепыми упреками сыпятся на наших остальных дельных специалистов. Эти требования и упреки очень поучительны, потому что в них выражается, самым наивным образом, изумительная пассивность наших умственных привычек. Чуть только появится у нас какой-нибудь дельный человек, мы сейчас норовим пристроиться к нему под крылышко. Мы уже ждем от него какой-то манны небесной, и нам даже в голову не приходит та мысль, что нам следует быть деятельными помощниками, а не убогими приживалками этого полезного человека. Мы говорим дельному человеку: благодетель, отец родной! Просвети нас, научи нас, наставь на путь истины. Мы тебя будем слушать и век за тебя будем бога молить.

Написано, например, дельное научное сочинение, открывающее какие-нибудь новые истины. Значит, нашелся в обществе мыслящий человек, который сделал свое дело как следует. Если общество живет полною и здоровою жизнью, то этот утешительный факт никак не останется одиноким и случайным явлением; немедленно найдется другой дельный человек, который объяснит открытие первого; потом какой-нибудь третий человек придумает для этих открытий практическое применение, — словом, дело исследователя будет проведено в сознание и в жизнь общества разными популяризаторами и техниками. А у нас, напротив того, десятки людей будут жаловаться на то, что исследователь пишет неясно, и ни один из этих ноющих десятков не потрудится разъяснить и переработать собственными силами то, что он находит неудовлетворительным. Да он и не находит ничего неудовлетворительным; он просто хочет сидеть на одном месте, сибаритствовать, заниматься приятным чтением и, отдавшись безусловно в руки специалиста, приобретать от него знания без малейшего напряжения мысли.

При такой полной пассивности нашего общества русские специалисты поставлены в необходимость писать свои исследования на иностранных языках. Это даже выгодно для нашего общества, не говоря уже об интересах общечеловеческой науки. Положим, например, что доктор Боткин произвел какие-нибудь новые исследования над лечением нервных болезней. Напечатай он эти исследования на русском языке, они точно в воду канут. Но как только они попадутся в руки европейских ученых, так тотчас сотни деятельных умов дополнят и переработают их своими собственными наблюдениями, и открытие нашего доктора вернется к нам в Россию в усовершенствованном виде, и больные наши испытают на собственном теле благодетельные последствия того факта, что русский ученый написал свое исследование на немецком языке. Если бы умственная жизнь нашего общества отличалась силою и энергиею, тогда специалисты наши писали бы по-русски, тогда у нас было бы много специалистов, и тогда европейские ученые находили бы для себя полезным учиться русскому языку, подобно тому как они в настоящее время учатся английскому, французскому и немецкому. Специалиста с непобедимою силою притягивает та сфера, в которой его специальный труд будет всего лучше понят и оценен и в которой он, следовательно, произведет самое плодотворное и живительное впечатление. И специалист поступает совершенно благоразумно и добросовестно, подчиняясь безусловно действию этой притягательной силы.

Мы даже не имеем никакого права говорить, что русские ученые не думают о потребностях русского общества. Какие русские ученые? Русские ученые не существуют. Разве же те ученые, которых мы называем русскими, порождены умственным движением и умственными потребностями нашего общества? Ничуть не бывало. Мы даже до сих пор не имеем понятия о том, что такое умственное движение или умственная потребность. Все это я говорю не для того, чтобы обидеть таких специалистов, как Бэр, Овсянников, Якубович и другие, а только для того, чтобы доказать, что специалисты, перевезенные из Европы в Россию или, точнее, порожденные общеевропейским движением мысли, всегда будут и должны тянуться к своей умственной родине. Они в нашем обществе так же одиноки, как если бы они находились в аравийской пустыне. Они не могут создать в обществе умственное движение. Не специалисты создают то или другое общественное настроение, а, наоборот, общество, настроившись так или иначе действием общих причин, испытывает те или другие потребности и выдвигает, для удовлетворения этим потребностям, теоретических исследователей или практических деятелей. Общество должно само работать над своим образованием, и только оно одно, совокупными усилиями всех своих членов, может выполнить над собою это дело умственного перерождения. А пока оно будет сидеть сложа руки и ждать себе манны небесной от отдельных личностей,

до тех пор манна к нему не сойдет, хотя бы эти личности и были европейскими знаменитостями, подобными Бэру.

Что европейская наука насаждена и поддерживается у нас искусственными средствами, это очень хорошо, потому что без искусственных средств она бы не поддержалась; но если общество думает, что оно имеет какое-нибудь право контроля над такою наукою, которая возникла и держится помимо его содействия, то общество сильно ошибается. Пусть оно сначала поработает, пусть выделит из себя научных деятелей, и тогда ему не на что будет жаловаться: эти новые деятели, обязанные ему своим происхождением, будут безусловно преданы его умственным интересам. До сих пор наше общество создало своими собственными силами только одну журналистику, которая действительно возникла, развилась и держится независимо от всяких посторонних влияний. И в самом деле, журналистика, в лице своих даровитейших представителей, всегда служила самым добросовестным образом умственным потребностям общества. Такая предварительная деятельность совершенно необходима. Базаров замечает совершенно справедливо, что все наши акционерные компании лопаются от недостатка честных и дельных людей. Стало быть, надо сначала сформировать честных и дельных людей, а потом уже приниматься за составление акционерных компаний или за какие-нибудь другие столь же общественные предприятия. К этой цели и направляются наши реалисты, отчасти осмеивая мешающие глупости, отчасти распространяя научные сведения. — Деятельность очень скромная, но мы за блеском и не гонимся. Нам нужна польза для себя и для всех.

XIX

Труд современных реалистов так же доступен самой слабой женщине, как и самому сильному мужчине. В этом труде нет ничего грубого, резкого и воинственного. Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильные понятия об этой пользе, надо уничтожать смешные и вредные заблуждения и вообще надо вести всю свою жизнь так, чтобы личное благосостояние не было устроено в ущерб естественным интересам большинства. Надо смотреть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбою каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: *надо думать*.

В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Эти слова

могут показаться фразою, но что же с этим делать? Нет того слова, которое мы не сумели бы обессмыслить и превратить в пустой звук теми бесцельными и бессознательными повторениями, которые наводняют нашу литературу. А между тем действительно нам надо думать, и нет другого слова, которое яснее и проще выражало бы то, в чем мы нуждаемся в настоящую минуту. Есть такие люди, есть такие книги, которые выучивают нас думать. Надо, чтоб таких людей и книг у нас было как можно больше; тогда всякая пробуждающаяся мысль будет находить себе поддержку и здоровую пищу. Надо думать и надо размножать те предметы, которые пробуждают человеческую мысль и содействуют успеху ее работы.

Женщина может думать и может делиться своими мыслями с другими людьми; поэтому я и говорю, что труд современных реалистов совершенно доступен женщине. В *природе* женщины нет ничего такого, что отстраняло бы женщину от деятельного участия в решении насущных задач нашего времени; но в воспитании женщины, в ее общественном положении, словом, в тех условиях, которые составляют *искусственную* сторону ее теперешней жизни, в этих условиях, говорю я, есть очень много препятствий, которые в настоящее время преодолеваются только самыми умными женщинами, при содействии исключительно счастливых обстоятельств. Под именем «счастливых обстоятельств» я, разумеется, понимаю не то, что понимает большинство нашего общества. Счастливою называют у нас обыкновенно ту женщину, которая богата, хороша собою, выходит замуж по любви, веселится и блестит в свете, потом пристроивает благополучно своих детей и, наконец, умирает, окруженная внучатами, приживалками и домашними животными. По моему мнению, такая счастливая жизнь, проведенная в полном спокойствии, то есть в полном подчинении господствующей рутине, оставляет мысль женщины совершенно непробужденною. Может быть, такая умственная дремота чрезвычайно приятна, но я знаю наверное, что ни один человек, пробудившийся от подобного усыпления, не захочет ни за какие блага в мире возвратиться к этому состоянию первобытной невинности. Поэтому я называю счастливыми те обстоятельства, которые, даже причиняя женщине тяжелые страдания, насильно заставляют ее браться за ум и задумываться над теми нелепостями, которые она видит и слышит вокруг себя. За размышлением следует отвращение, а так как природа не терпит пустоты, то женщина старается заменить в своем уме выброшенные нелепости каким-нибудь живым и осмысленным содержанием. Если женщина в эту критическую минуту своей жизни встретит умного человека или умную книгу, тогда она устроит у себя в голове порядок и чистоту, и тогда она будет совершенно застрахована против тех бесплодных восторгов, которыми увлеклась, например, госпожа Свечина.[28] Именно такие обстоятельства я и называю вполне счастливыми; какой-

нибудь резкий толчок должен пробудить мысль, а встреча с умным руководителем должна направить эту мысль туда, где она может найти себе удовлетворение, то есть реальные знания и полезный труд.

Так случилось с Верою Павловною Лопуховою, но так случается редко, и огромное большинство наших и даже европейских женщин проводит свою жизнь без размышления, без знаний и без труда. Они живут вне общих интересов человечества. Они задавлены мелочами кухни, спальни и модного магазина, подобно тому как масса чернорабочих задавлена физическим утомлением и голодною нищетою. Им некогда думать; жизнь ежеминутно задает им множество мельчайших вопросов, которые волнуют и раздражают их, но которые все могут быть разрешены без помощи размышления; у них нет ни спокойствия, ни деятельности, а есть только бесконечная суета, которая утомляет человека и мешает его мысли сосредоточиться на каком-нибудь отдельном и важном вопросе жизни. Это суетливое движение начинается у наших женщин с самого раннего детства.

— Ты, друг мой, должна быть образованною девицею, — говорят опытные воспитательницы маленькому существу, одетому в короткое платье, и маленькое существо по их команде суетливо кидается от географии к фортепьяно, от фортепьяно к Пуническим войнам, от подвигов Аннибала и Сципиона к шассе вправо, шассе назад, потом к «Естественной истории» Горизонтова, [29] потом к рисованию цветов и носов, и разные лохмотья знаний, разные упражнения по части приятных искусств проходят, как китайские тени, через несчастный мозг ошеломленного маленького существа. И чуть только в девочке шевельнется любознательность, чуть только она пожелает посмотреть повнимательнее на одну из промелькнувших теней, ее тотчас останавливают, потому что такое неестественное желание нарушает заведенный порядок систематической суеты. В день надо непременно проделать семь или восемь различных штук по части наук и искусств, стало быть, если одна штука разрастется в ущерб остальным, то из этого произойдет беспорядок, который в благоустроенном педагогическом хозяйстве не может быть допущен. Кроме того, известно всем и каждому, что девушка прежде всего должна быть приятною в обществе, а приятность эта заключается, между прочим, в разнообразии ее талантов и знаний; поэтому любознательность может быть терпима в девочке настолько, насколько она содействует исправному изучению обязательных уроков; когда же любознательность стремится выйти из этих естественных границ, тогда она может повредить будущей приятности; следовательно, она идет тогда наперекор основным тенденциям воспитания, и ее необходимо подавлять и искоренять мерами кротости и, в случае упорства, мерами строгости.

Впрочем, любознательность девочки очень редко вызывает против себя отпор со стороны воспитательниц. Вся система препо-

давания, все объяснения учителей и весь комплект учебников тщательно подобраны таким образом, что любознательность решительно не может возникнуть, и мысли девочки постоянно стремятся вон из классной комнаты, прочь от книг и уроков, к миру действительной жизни, то есть к балу, к театру, к модному магазину и к другим очаровательным предметам, в которых каждая благовоспитанная девочка видит весь смысл и весь интерес жизни и действительности. За суетою уроков в жизни девушки следует суета светских удовольствий, которая, в большей части случаев, усложняется кислою суетою домашней бедности. Поехать на бал необходимо, но и пообедать тоже не мешает; нанять карету необходимо, но и купить сажень дров следует; надо заказать новое платье — и надо в то же время заплатить долг в овощную лавку; нельзя же быть одетою хуже какой-нибудь Сидоровой или Антоновой, — но как же распорядиться, когда папенька бранится за излишние расходы «на тряпки»? Не поехать на бал, — но на бале будет *он*. При таких непримиримых требованиях действительной жизни драма следует за драмою; каждая грошовая ленточка смачивается горькими слезами; каждое пошлое слово дурака или негодяя, встреченного на бале и поставившего себе задачею жизни ухаживать за всеми красивыми барышнями, — вызывает живые надежды, за которыми следуют быстро и непременно мучительные разочарования.

Все это — бури в стакане воды, все это смешно и глупо, но ведь тут льются человеческие слезы, тут проводятся бессонные ночи, и то существо, которое мечется по постели и обливает слезами свою подушку, это существо, говорю я, страдает действительно, страдает так, как будто бы причина страдания была велика и серьезна. И это же самое существо, с тем же телосложением, с тем же темпераментом и устройством черепа, могло бы при других условиях развития и жизни стать на ту нормальную высоту человеческого понимания, на которую никогда не забираются грязные и мучительные волнения о новом платье Сидоровой или о пятой кадрили, протанцованной вероломным Ивановым с легкомысленною Антоновою. Для большинства наших теперешних женщин эта нормальная высота недостижима, и препятствия, отрезывающие им путь к человеческому благоразумию, вытекают естественным образом из того основного принципа, которому подчинены воспитание и вся жизнь женщины.

XX

Реалисты, построившие всю свою жизнь на идее общей пользы и разумного труда, относятся презрительно и враждебно ко всему, что разъединяет человеческие интересы, и ко всему, что отвлекает человека от общеполезной деятельности. Поэтому они строго осу-

ждают ту мелкость понятий и узкость симпатий, которые прививаются к женщинам всем направлением их воспитания. Это враждебное отношение реалистов к искусственной ограниченности женщин послужило поводом к бессмысленной клевете. Добрые люди пустили слух, что реалисты отрицают семейство, осмеивают брак и стараются поставить разврат на степень общественной добродетели.

Эта выдумка столько же остроумна, сколько доброжелательна. Она могла показаться правдоподобною только нашему невинному обществу, совершенно не привыкшему контролировать распускаемые слухи самостоятельным наблюдением действительных фактов. Общество знает наших реалистов по роману «Отцы и дети». Какие же факты сообщаются в этом романе? — А вот какие. Базаров разговаривает с Одинцовою. Она говорит ему: «По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо». — Он отвечает ей: «Что ж? это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали». — Эти слова нельзя принять иначе, как за самое искреннее выражение его взгляда на отношения между мужчиною и женщиною. Базарова нельзя заподозрить в желании соблазнить Одинцову этим косвенным обещанием верности, потому что, когда она вслед за тем спрашивает у него прямо: «Но вы бы сумели отдаться?» — тогда он отвечает ей: «Не знаю, хвастаться не хочу». Заметьте слово «хвастаться». В этом слове Базаров опять невольно проговаривается: значит, он считает способность отдаться на всю жизнь великим достоинством. И он понимает в то же время, что не всякий обладает этою способностью, и не всякому представляется в жизни счастливый случай приложить эту способность к делу, и не всякий умеет воспользоваться счастливым случаем, когда он ему представляется.

Где же, в ком же из настоящих реалистов добрые люди подметили наклонность к разврату? Каждый настоящий реалист прежде всего — работник. Хороша ли, дурна ли его работа, об этом он сам знает, и об этом он не будет давать отчета тем добрым людям, которые изобретают и распускают ложные слухи. Хороша ли, дурна ли его работа, но во всяком случае он трудится как вол, а кто не трудится, тот и не может называться реалистом, как бы красноречиво он ни рассуждал о человечестве и об общей пользе. Кто не трудится, а только рассуждает, тот или пустой болтун, или вредный шарлатан, но уж ни в каком случае не реалист. Стало быть, настоящим реалистам нет никакой надобности ратовать против целомудрия и против супружеской верности. У реалиста труд стоит на первом плане. Что помогает успеху его труда, то он любит. Что мешает его труду, то он ненавидит. Когда женщина является мыслящим существом, способным помогать его работе и ободрять его своим сочувствием, тогда он любит и уважает женщину. Когда женщина является капризным ребенком,

требующим себе не участия в полезной работе, а пестрых игрушек, тогда он отворачивается от нее, чтобы она не мешала ему трудиться и не надоедала ему бессмысленною болтовнею. Такой брак, который увеличивает силу и энергию работника, называется, на языке реалиста, полезным, благоразумным и счастливым. Такой брак, который уменьшает или извращает рабочую силу, называется вредным, безрассудным и несчастным. Для прочной связи между мужчиною и женщиною необходим, по мнению реалиста, общий труд. Мужчина должен трудиться, и женщина также должна трудиться. Если они трудятся в одинаковом направлении, если они оба любят свою работу, если оба способны понять ее цель, то они начинают чувствовать друг к другу симпатию и уважение, и, наконец, мужчина и женщина объявляют свое решение перед обществом и призывают на свой союз благословение любви.

Все это, по мнению реалиста, очень естественно и благоразумно. Если брак заключен при таких условиях, то, по мнению реалиста, счастие обоих супругов с каждым годом должно увеличиваться, и вместе с их счастием должна постоянно увеличиваться их взаимная привязанность. Реалист улыбнется самою презрительною улыбкою, если вы попробуете сказать ему, что за обладанием должно следовать охлаждение.

— Да, — ответит он вам на это, — так всегда бывает с теми людьми, которые, от нечего делать, раздражают свою чувственность и горячат свое воображение в то время, когда они начинают сближаться с красивою женщиною, и обладание представляется их праздному уму высшею целью жизни. Когда эта цель достигнута, является разочарование, является чувство внутренней пустоты; а чтобы наполнить эту пустоту, они ставят себе новую цель в таком же роде, то есть они направляют все усилия к тому, чтобы соблазнить другую женщину. И потом опять пустота, и опять стремление к новым победам. Все это в порядке вещей, но у меня, — продолжает реалист, — такие переходы от безумной любви к безумному разочарованию совершенно невозможны. Цель моя в жизни была всегда одна и та же, и эта цель поставлена так далеко и так высоко, что сотни поколений будут к ней стремиться, и сотни поколений умрут прежде, чем она будет достигнута, несмотря на то, что каждое новое поколение будет стоять к ней ближе всех предыдущих. С этою настоящею целью моей жизни обладание любимою женщиною никогда не имело ничего общего. Я всегда видел в счастливой любви очень большое наслаждение, помогающее нам переносить трудности и неприятности утомительной работы и упорной борьбы с человеческими глупостями. Я всегда смотрел на любовь не как на самостоятельную цель, а как на превосходное и незаменимое вспомогательное средство. Поэтому я никогда не составлял себе преувеличенного понятия о наслаждениях любви, и, следовательно, я был совершенно застрахован против всяких разочарований и охлаждений. Мне нравится наружность моей

жены, но я бы никогда не решился сделаться ее мужем, если б я не был вполне убежден в том, что она во всех отношениях способна быть для меня самым лучшим другом. Я знал всю ее жизнь и все ее наклонности, прежде чем я решился сделать ей предложение. Она знала всю мою жизнь и все мои наклонности, прежде чем она решилась принять мое предложение. С тех пор как мы сошлись, мы ведем труд наш общими силами. Она понимает, чего я хочу, и я тоже понимаю, чего она хочет, потому что мы оба хотим одного и того же, хотим того, чего хотят и будут хотеть все честные люди на свете. Она знает, каким образом моя работа связывается с общею целью; она знает, зачем я читаю ту или другую книгу, зачем я пишу ту или другую статью, зачем я принимаю одно занятие и отказываюсь от другого; и она тоже читает, пишет, занимается теми или другими работами; и я также знаю, как нельзя лучше, почему она поступает так, а не иначе. Мы часто читаем вместе, часто читаем врозь, часто спорим об отдельных подробностях и часто изменяем эти подробности, когда спор кончается торжеством противоположных аргументов. Все силы ее ума и ее начитанности постоянно находятся в моем распоряжении, когда я нуждаюсь в ее содействии; все силы моего ума и моей начитанности постоянно подоспевают к ней на помощь, когда она чем-нибудь затрудняется. Этот ежеминутный обмен услуг превращает самую сухую работу в живое наслаждение и оставляет за собою неизгладимый ряд самых обаятельных воспоминаний. Чем больше таких воспоминаний, чем больше взаимных услуг, чем больше работ, улаженных общими силами, тем теснее наша дружба, тем полнее наше взаимное доверие, тем непоколебимее наше взаимное уважение. А тут еще присоединяется ощущение любви, в тесном смысле этого слова, тут еще дети, как новая живая связь между мною и ею; а тут еще ее неизбежные страдания, которые делают женщину священною в глазах каждого мыслящего человека. Я этих страданий не могу разделить с нею, поневоле же я должен вознаградить ее за них удвоенною нежностью и безграничным уважением; а тут еще воспитание детей, как новый вид общей работы, которую мы оба сумеем вести сообразно с далекою и высокою целью всего нашего существования. Одна и та же личность является, таким образом, для меня товарищем по работе, другом, женою, страдалицею, матерью и воспитательницею моих детей, — и вдруг выдумывают, что я не способен любить эту личность! И вдруг произносят тут слова: охлаждение, разочарование, супружеская ревность или супружеская неверность. Черт знает, что за чепуха! Охладеть к другу потому, что он десять лет был другом. Разочароваться в этом друге потому, что мы вместе с ним постарели на десять лет. Подозревать этого друга в том, что он будет со мною лицемерить. Искать себе новой привязанности, когда старый друг живет со мною в одном доме. Скажите, пожалуйста, есть ли человеческий смысл в подобных предположениях?

А ведь для эстетиков и романтиков эти самые предположения оказываются непреложными истинами. Почему? Очень просто. Потому что жена никогда не бывает для них другом. И мужчины и женщины, одержимые эстетическими стремлениями, постоянно, в течение всей своей жизни, играют в игрушки. У них и муж — игрушка и жена — игрушка. Пока игрушка блестит, пока она имеет прелесть новизны, до тех пор ею потешаются. А чуть только блеск и новизна пропали, является горькое сожаление о том, что игрушку нельзя бросить в помойную яму.

Соотечественники! Кто сложил поговорку: жена не башмак, с ноги не сбросишь? Кажется мне, что эта поговорка была в полном ходу в то время, когда еще прадеды современных реалистов не рождались на белый свет. И кто или что мешает вам сбросить жену, как башмак, не заботясь о том, куда она упадет? Неужели вам мешает ваша собственная добросовестность? Нет, друзья мои, вам мешает только закон, а то бы тысячи утонченных эстетиков, повторяющих наивную поговорку с тяжелым вздохом, пустили бы на все четыре стороны своих жен, вместе с малолетними детьми и без копейки денег. И эти же самые резвые ребятишки, обожающие всякие новые игрушки, смеют распускать бессмысленные слухи о развратных стремлениях таких людей, которые всю свою жизнь проводят в рабочих кабинетах, за книгами или за письменным столом! Только наша русская бестолковость и способна переваривать такие вопиющие нелепости.

XXI

Во всех двадцати главах, которые я до сих пор написал о наших реалистах, я старался доказать, что наше общество не поняло и оклеветало этих людей с чужого голоса. Чтобы сделать доказательства мои как можно более убедительными, я взял за представителя нашего реализма Базарова, того самого Базарова, которого одна часть нашей критики считала карикатурою, а другая — правдивым, но строжайшим обличением, направленным против тенденций молодого поколения. Вы находите, господа, сказал я, что это — карикатура или обличение. Положим, что это действительно так. Карикатура или обличение, как вам угодно. Во всяком случае вы согласитесь, что этот образ написан без малейшего желания польстить нашим реалистам. Этот образ написан человеком правдивым, но уже вовсе не способным увлекаться юношескими стремлениями к новым идеям и к новым людям. Хорошо. Я беру именно этот образ, именно то, что вы считаете карикатурою или обличением. Я анализирую каждую черту этого образа, я принимаю каждое слово Тургенева за наличную монету, я выслушиваю, таким образом, сильнейшего и умнейшего врага современного реализма, такого врага, который «все-таки неспособен лгать»,

и из всех показаний этого врага я не могу извлечь ни одной черты, которая действительно превращала бы реалистов в людей глупых, бесчестных, безнравственных и вредных для общества и для благосостояния отдельных личностей.

Говорят, что реалисты непочтительны к своим родителям, — неправда! Они только разрознены с ними роковым влиянием общих исторических причин. Реалисты восстановляют детей против родителей — неправда! Они стараются сблизить старшее поколение с младшим. Реалисты не уважают женщин — неправда! Они уважают их гораздо сильнее, чем их уважали поэты и эстетики. Реалисты отрицают брак — и это неправда! Они хотят только, чтобы благосостояние отдельных семейств было в строгом согласии с великими интересами общества.

Откуда же вы, милые русские журналисты, взяли все ваши обвинения против реалистов? Из романа Тургенева? Нет, врете, там нет этих обвинений. Там даются голые факты, которые надо только понять. А если вы извратили эти факты, сообразно с вашими закулисными выгодами, то вы напрасно прикрываетесь именем честного, хотя и отсталого русского писателя. Имя Тургенева наделало, быть может, много путаницы, но Тургенев не виноват в том, что его именем пользуются хлестаковы и держиморды нашей журналистики. И все идеи Базарова остаются верными и честными идеями, несмотря на тот толстый слой грязи, которым завалили их. Конечно, Тургенев мог бы быть менее пассивным в то время, когда его имя марали гг. Катковы и Скарятины, [30] но ведь известное дело, старость не радость, и шум журнальной полемики ему уже не по летам. Отношения реалистов к живым людям таким образом очерчены, хотя и не вполне выяснены. Теперь мне остается поговорить об отношениях их к искусству и к науке.

XXII

Лет двадцать тому назад известный мыслитель и фантазер, Пьер Леру, написал одну очень странную книгу «О человечестве» («De l'humanité»). В этой странной книге имеется достаточное количество самой вопиющей галиматьи; до того человек завирается, что горячо и серьезно доказывает и объясняет, каким манером человеческие души переселяются из одного тела в другое. По его метафизическим выкладкам выходит, что у нас нет предков и что у нас не будет потомков, а что мы со времен Адама всегда жили и всегда будем жить постоянно обновляющеюся жизнью в том громадном организме, который называется на языке Леру «человек-человечество» («l'homme-humanité»). Читаете вы эту книгу и только плечами пожимаете. «Ах, как врет! — думаете вы. — Боже мой, как неистово врет!» А между тем — странное дело! — вы все-таки дочитываете сумасбродную книгу до конца; и потом,

дочитавши ее, вы сохраняете об ее авторе очень светлое воспоминание; вы невольно относитесь к Пьеру Леру с любовью и даже с уважением. У Пьера Леру были последователи и горячие поклонники. Жорж Занд подчинялась чарующему влиянию его фантазий и написала два превосходных романа: «Consuelo» и «La Comtesse de Rudolfstadt» * под господством обаятельно-мистической идеи о переселении человеческих душ.

И все это очень понятно. Пьер Леру принадлежит к числу тех страстно-честных людей, которые много возлюбили и которым за это многое прощается, даже вся неисчерпаемая бессмыслица их беспредельного вранья. Тем это вранье и обаятельно, что все в нем совершенно искренно; нет в нем ни малейшей декламации. Леру страстно влюблен в человечество, страстно верит в его бесконечное совершенствование, страстно стремится к далекому будущему, и всех этих страстностей оказывается чересчур достаточно, чтобы совершенно заглушить в его уме голос простого здравого смысла, который потихоньку нашептывает ему очень печальные истины. — Ты, брат Леру, — говорит ему здравый смысл, — не очень восхищайся. Ты все-таки умрешь лет через тридцать или через сорок, и обо всяких грядущих великолепиях человеческого прогресса ты не получишь никогда ни малейшего понятия. — Вздор! — отвечает Леру в порыве прогрессивного восторга. — Я люблю человечество, я живу с ним одною жизнью и буду вечно жить, любить и мыслить на той самой земле, на которой совершается беспредельное историческое развитие громадного организма homme-humanité.

Любовь к людям и к жизни доходит, очевидно, до галлюцинации; мы ясно видим все признаки бреда, но мы понимаем также причины этого явления и никогда не решимся оскорбить насмешкою или презрением такую личность, у которой любовь к человечеству развилась до пожирающей страсти, до фанатизма и, наконец, до сумасшествия. Эта любовь, доводящая все умственные силы Леру до неестественного и, следовательно, болезненного напряжения, все-таки облагороживает, очищает его личность и возводит ее на такую высоту, с которой он окидывает широким и проницательным взглядом всю историю человеческой мысли. Он понимает и эпикуреизм, и стоицизм, и Платона, и Аристотеля, и мистиков, и рационалистов, и скептиков, и аскетов. Отдавая всем им должную справедливость, отмечая яркими и верными чертами их историческое значение, он понимает и глубоко чувствует, что человечество вырастает из своих пеленок и что в его сильном коллективном уме медленно созревает что-то новое и громадное, что-то такое, в чем совместятся все истины отживших и отживающих философских систем. Когда Леру слезает с своего любимого конька, то есть когда он перестает городить чепуху о переселении

---

* «Консуэло» и «Графиня Рудольфштадт». — *Ред.*

душ, тогда у него почти на каждой странице сыпятся, как крупные искры, светлые и превосходные мысли, выраженные тем ярким и могучим языком, которым владеют Гюго, Кине, Мишле, Прудон, Жорж Занд. Одна из подобных мыслей особенно сильно пришлась мне по душе, так что я решился положить ее в основание моих реалистических размышлений о науке и искусстве. Чтобы эта мысль сделалась вполне понятною моим читателям и чтобы она осветилась для них со всех сторон, я счел не лишним сказать несколько слов о том источнике, из которого она заимствована. «À un point de vue élevé, — говорит Леру, — les poètes sont ceux, qui, d'époque en époque, signalent les maux de l'humanité, de même que les philosophes sont ceux, qui s'occupent de sa guérison et de son salut». * Мне кажется, тому человеку, который так высоко и так просто понимает и определяет призвание истинного поэта и истинного мыслителя, тому человеку, говорю я, можно простить даже печальную наклонность к переселению человеческих душ.

XXIII

Люди издавна стремились создать вокруг себя искусственную атмосферу тепла, аромата и роскоши. Они удовлетворяли всем естественным потребностям своего организма, но этого было мало; они придумывали себе новые потребности, создавали себе новые, чисто искусственные страсти, нежили, лелеяли, воспитывали и доводили их до высокой степени чуткости, впечатлительности и утонченности. Человек развивал в своей личности чувства и страсти для того, чтобы извлекать себе из жизни как можно больше разнообразного и безмятежного наслаждения. Но расчет оказался не совсем верен. Те самые страсти и чувства, которые должны были служить приправою утонченного обеда или очаровательного любовного свидания, сделались, напротив того, злейшими врагами этой тепличной жизни. Постоянно есть, постоянно пить, постоянно любезничать, проводить жизнь между столом и постелью — это показалось невыносимым наказанием именно для тех тонко развитых и страстных эпикурейцев, которые лучше всех других людей умели разнообразить свои наслаждения. Никакие соусы из соловьиных язычков, никакие неестественные проявления сластолюбия не могли заглушить в них неукротимого стремления действовать, мыслить, пожалуй даже страдать, но только, во что бы то ни стало, вырваться из одуряющего воздуха теплицы в суровую, холодную, но естественную среду действительной жизни.

* «С высшей точки зрения, поэтами можно назвать тех людей, которые, из эпохи в эпоху, раскрывают перед нами страдания человечества, а мыслителями — тех людей, которые отыскивают средства облегчить и исцелить эти болезни».

Действовать? — Каким образом? — Мыслить? — О чем и зачем?— Страдать и бороться? — С чем и за что? — Каким образом действовать? Ну, конечно, прежде всего воевать. Эта отрасль деятельности первая бросается в глаза страстному эпикурейцу, воспитанному в тепличной атмосфере и утомленному бесконечными оргиями. Так и решается вопрос в действительности. Алкивиад бросается с войском в Сицилию, Цезарь — в Галлию, Александр — в Персию. А потом? Потом и война надоедает. Сильный ум ищет себе новой пищи. Начинаются серьезные размышления о сделанных завоеваниях. Отставной завоеватель становится рачительным хозяином.

Не все, далеко не все блестящие деятели всемирной истории прошли через указанные мною фазы развития. Очень многие споткнулись и погибли в начале или на половине пути, но, несмотря на то, можно сказать наверное, что каждый действительно замечательный ум утомляется рано или поздно теми наслаждениями, которые достаются ему на долю без труда и без борьбы; утомившись и пресытившись, он тревожно начинает искать выхода своим силам и, наконец, или погибает во время безуспешных поисков, или успокаивается на такой деятельности, которая самым тесным образом связана с интересами страждущего большинства. А между тем ведь и у частных людей бывают и сильные страсти, и тонкие чувства, и светлые умы. Им-то чем же забавляться? Каким образом они-то могут вырваться из теплицы?

Одни из этих страстных и даровитых тунеядцев начинают искать вокруг себя сильных ощущений; другие задумываются над различными явлениями из жизни природы, ставят себе на каждом шагу мудреные вопросы и ломают себе голову над сотнями и тысячами вечных загадок. Первые делаются поэтами или художниками; вторые — учеными или мыслителями. Но где же поэт или художник, человек действительно восприимчивый, умный и страстный до гениальности, где же, спрашиваю я, он найдет себе те сильные ощущения, которые удовлетворят вполне его ищущую, жаждущую и томящуюся природу? — Каким образом он ухитрится во время своих поисков миновать тот громадный мир неподдельного человеческого страдания, который со всех сторон окружает нас сплошною, темною стеною? — Разве есть возможность не заметить того, что на каждом шагу режет глаз самому невнимательному наблюдателю? Можно, конечно, приглядеться к этим будничным картинам, можно притупить в себе ум и чувство, можно довести себя совершенно незаметным образом до самого невозмутимого равнодушия к чужому голоду и холоду. С этим я согласен, и мы встречаемся в жизни ежеминутно с великолепнейшими экземплярами такой философской невозмутимости. Но вы не забывайте, что ведь мы ведем здесь речь о поэте, о художнике, о человеке, в высшей степени впечатлительном, страстном и отзывчивом. Какой же истинный поэт может довести себя до чурбанного равно-

душия? Если человеческие страдания не производят на него впечатления, то где же его впечатлительность? Если он, отворачиваясь с самодовольным презрением от картин грязной нищеты и невольного порока, отзывается певучими нотами на трепетание влюбленного соловья, и на благоухание расцветающей розы, и на каждый грошовый вздох смазливой барышни, то ведь эта отзывчивость так же приторна и отвратительна, как нежная привязанность старой девки к кошкам, попугаям и моськам. — В таком человеке нет ни ума, ни впечатлительности, ни страсти, ни отзывчивости. Что это за художник? Это простой мышиный жеребчик, одержимый самым мельчайшим тщеславием, самым копеечным желанием порисоваться перед почтеннейшею публикою и заработать себе от разных глупых тунеядцев несколько лестных комплиментов и несколько еще более лестных рублей.

Мне возразят, быть может, что художник может увлечься поклонением чистой красоте и что в таком случае он посвятит все свои силы на воплощение своего идеала в художественном создании, в статуе, в картине, в романе или в какой-нибудь другой форме творчества. Скульптура целиком основана на этом поклонении физической красоте. Знаю. Но это возражение устраняется само собою. Я предположил выше, что самым умным и даровитым людям становится непременно душно в искусственной атмосфере эпикурейской теплицы. Мне кажется, что предположение верно в психологическом отношении и может быть доказано сотнями примеров из всех эпох всемирной истории. Кому сделалось душно в теплице, тот, разумеется, выходит на открытый воздух, то есть, так или иначе, вмешивается в жизнь большинства. Кому приелись разные сладости, вино и поцелуи, тот ищет себе труда и борьбы, тот лечится от пресыщения суровыми столкновениями с неподкрашенною действительностью. Гейне превосходно выразил это настроение в своей песне о Тангейзере. Венера угощает Тангейзера сладким вином, хочет надеть ему на голову венок из свежих роз, наконец зовет его к себе в спальню; но Тангейзер даже смотреть на нее не хочет; его уже просто тошнит от всех этих миндальностей; ему хочется труда, горечи тернового венка; он говорит ласковой любовнице своей крупные дерзости и уходит от нее черт знает куда и черт знает зачем. Понятно, что человек, находящийся в настроении свирепого Тангейзера, решительно не способен заниматься поклонением чистой или идеальной красоте. Не за тем же, в самом деле, он так сурово отвернулся от живой красавицы, чтобы писать к ней пламенные сонеты или падать на колени перед ее изображением, вырезанным из белого мрамора или написанным масляными красками на холсте. Пигмалион молил богов, чтобы они превратили его мраморную Галатею в живую женщину, и это понятно; но променять живую, любящую женщину на кусок полотна или мрамора — это такая нелепость, на которую не покушался до сих пор ни один из самых необузданных идеалистов.

Очень многие пламенные любовники пробавляются чистым платонизмом, но они всегда делают это только вследствие печальной необходимости; когда же они имеют возможность сделать выбор, тогда они с нарочитым удовольствием променивают свои отвлеченные восторги на более существенные и менее невинные наслаждения.

Что же из всего этого следует? Да очевидно то, что поклонники чистой красоты никогда не испытывали мучений Тангейзера; напротив того, они чрезвычайно довольны тепличною жизнью и, в наивности души, принимают свой крошечный теплый уголок за великий, богатый и разнообразный мир, в котором все высшие человеческие потребности находят и должны находить себе полное и всестороннее удовлетворение. Эти пигмеи, занимающиеся скульптурою, живописью, эротическим стиходеланием или томными руладами, эти пигмеи, говорю я, или не знают великих вопросов широкой, действительной, мировой жизни, или же не хотят их знать, прикидываются глухими и слепыми, чтобы оправдывать в своем собственном мнении свою канареечную жизнь и деятельность. В первом случае — если не знают — мы имеем несомненное право заподозрить их в тупоумии или в полной неразвитости. Во втором случае — если напускают на себя поддельную глухоту и слепоту — мы имеем право назвать их бесчестными и трусливыми людьми, которые стараются обмануть даже собственную совесть. — В том и в другом случае было бы странно и нелепо требовать от нас, чтобы мы признали в этих мелких сибаритах передовых представителей человечества; деятельность таких людей не дает нам ровно ничего, и, следовательно, встречаясь с их произведениями, нам остается только посмеяться над доверчивостью того общества, которое видит в них лучшее свое украшение.

XXIV

Последовательный реализм безусловно презирает все, что не приносит существенной пользы; но слово «польза» мы принимаем совсем не в том узком смысле, в каком его навязывают нам наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говорим поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки кулебяки», но мы требуем непременно, чтобы поэт, как поэт, и историк, как историк, приносили, каждый в своей специальности, *действительную* пользу. Мы хотим, чтобы создания поэта ясно и ярко рисовали перед нами те стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и действовать. Мы хотим, чтобы исследование историка раскрывало нам настоящие причины процветания и упадка отживших цивилизаций. Мы читаем книги единственно для того, чтобы посредством чтения расширить пределы нашего личного опыта. Если книга в этом отношении не дает

нам ровно ничего, ни одного нового факта, ни одного оригинального взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничем не шевелит и не оживляет нашей мысли, то мы называем такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая внимания на то, писана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, с искренним доброжелательством, готовы посоветовать, чтобы он принялся шить сапоги или печь кулебяки.

Постараемся же теперь обсудить вопрос: каким образом поэт, не переставая быть поэтом, может принести обществу и человечеству действительную и несомненную пользу? Само собою разумеется, что название «поэт» прилагается здесь не к одним стихотворцам, а вообще ко всем художникам, создающим образы посредством слова. Прежде всего скажу откровенно: я решительно не признаю так называемого бессознательного и бесцельного творчества. Я подозреваю, что это — просто миф, созданный эстетическою критикою для пущей таинственности. В древности, когда поэт был певцом и импровизатором, тогда, пожалуй, еще можно было допустить, что его осеняло вдохновение и что он сам не отдавал себе ясного отчета в том, как и зачем слагалась его песня. Но теперь, когда поэт носит не хламиду и лавровый венок, а сюртук и круглую шляпу, теперь, когда он не поет, а пишет и печатает, теперь, говорю я, уже поздно видеть в поэте близкого родственника исступленной дельфийской пифии. Поэт прежде всего такой же член гражданского общества, как и каждый из нас. Встречаясь с поэтом в гостиной, мы имеем полное право требовать от него, чтобы он не клал ноги на стол и не плевал в потолок; вступая с поэтом в разговор, мы имеем полное право требовать, чтобы он рассуждал дельно и логично; если он не исполнит этого требования, мы заметим про себя, что он несет чепуху, быть может и вдохновенную, но все-таки невыносимую. Чтобы пользоваться любовью и уважением своих знакомых, поэт непременно должен обладать теми же самыми качествами, которые упрочивают любовь и уважение окружающих людей за каждым из простых смертных. Для этого необходима известная доза ума, добродушия, честности и т. д. Такса, по которой покупаются в обществе любовь и уважение, повышается и понижается вместе с общим уровнем умственного и нравственного развития. Кто в Англии считается дураком, тот в Турции мог бы прослыть за очень порядочного человека. Когда общество доходит до известной высоты развития, тогда оно начинает требовать от своих членов, чтобы у них были определенные и сознательные убеждения и чтобы они держались за свои убеждения. Кроме обыкновенной честности, является тогда еще высшая честность, честность политическая. Воспитавши в самом себе великое чувство политической честности, общество начинает вменять его в обязанность каждому из своих членов, и тем более таким людям, которые, опираясь на свои умственные дарования, присвоивают себе право действовать словом или пером

на развитие общественных убеждений. Но эта спасительная зрелость и строгость требований даются обществу не вдруг. Нравственная чуткость вырабатывается туго и медленно. Байрон прямо называет Роберта Соути ренегатом,[31] а Роберт Соути в свое время считался знаменитым поэтом, и англичане даже до сих пор читают и издают его произведения. Но настоящие поэты не могут быть продажными мазуриками; сам Байрон, заклеймивший Роберта Соути, ни разу не покривил душою именно потому, что его ум и талант стояли неизмеримо выше всяких искушений. Такие умы и таланты творят чудеса, но творческая сила тотчас изменяет им, как только они осмеливаются пустить ее в продажу.

Но одной голой честности и великого самородного таланта еще недостаточно, чтобы быть мировым поэтом. Самородки, подобные Бёрнсу или Кольцову, остаются навсегда блестящими, но бесплодными явлениями. Истинный, «полезный» поэт должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа. Понимая вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, поэт, как человек страстный и впечатлительный, непременно должен всеми силами своего существа любить то, что кажется ему добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в плоть и кровь и превратиться в живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная с этою ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священнейший смысл всего его существования и всей его деятельности. «Я пишу не чернилами, как другие, — говорит Бёрне, — я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов». Так, и только так, должен писать каждый писатель. Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки.

Поэт, самый страстный и впечатлительный из всех писателей, конечно, не может составлять исключение из этого правила. А чтобы действительно писать кровью сердца и соком нервов, необходимо беспредельно и глубоко-сознательно любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненавидеть и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь между отдельными явлениями, когда он понял, чтó надо и чтó можно сделать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на умы читающих людей, тогда бессознательное и бесцельное творчество делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его к себе; он счастлив,

когда видит ее перед собою яснее и как будто ближе; он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его пожирающую страсть и сами, с трепетом томительной надежды, смотрят вдаль, на ту же великую цель; он страдает и злится, когда цель исчезает в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят ощупью, сбивая друг друга с прямого пути.

И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человек, принимаясь за перо, превращался в болтливого младенца, который сам не ведает, что и зачем лепечут его розовые губы! Вы хотите, чтобы он бесцельно тешился пестрыми картинками своей фантазии именно в те великие и священные минуты, когда его могучий ум, развертываясь в процессе творчества, льет в умы простых и темных людей целые потоки света и теплоты! Никогда этого не бывает и быть не может. Человек, прикоснувшийся рукою к древу познания добра и зла, никогда не сумеет и, что всего важнее, никогда не захочет возвратиться в растительное состояние первобытной невинности. Кто понял и прочувствовал до самой глубины взволнованной души различие между истиною и заблуждением, тот, волею и неволею, в каждое из своих созданий будет вкладывать идеи, чувства и стремления вечной борьбы за правду.

Итак, по моему мнению, истинный поэт, принимаясь за перо, отдает себе строгий и ясный отчет в том, к какой общей цели будет направлено его новое создание, какое впечатление оно должно будет произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажет им своими яркими картинами, какое вредное заблуждение оно подроет под самый корень. Поэт — или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», как говорит Генрих Гейне, или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли. И это не фраза. Это строгая психологическая истина. Действительно, каждый эстетик, конечно, согласится со мною, что искренность есть необходимейшее качество поэта. Драма, роман, поэма, лирическое стихотворение, в которых хоть сколько-нибудь проглядывают натянутые и обязательные отношения автора к его предмету, — ни под каким видом не могут быть названы поэтическими произведениями. Это — риторические упражнения на заданные темы, а ритор и поэт, разумеется, не имеют между собою ничего общего. Припомните, например, оды Ломоносова, «Парашу-Сибирячку» Полевого, роман г. Клюшникова «Марево» и тому подобные прелести.

Искренность необходима; но поэт может быть искренним или в полном величии разумного миросозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором случае он — г. Фет. — В первом случае он носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором — он поет тоненькою фисту-

лою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатно на работника Семена.[32] Вы не думайте, господа, что свистящая журналистика ухватилась так крепко за работника Семена по ребяческому пристрастию к бесплодному зубоскальству. Работник Семен — лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской литературы, потому что ему назначено было провидением показать нам обратную сторону медали в самом яром представителе томной лирики. Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois * и мелкого человека. Тогда мы задумались над этим фактом и быстро убедились в том, что тут нет ничего случайного. Такова должна быть непременно изнанка каждого поэта, воспевающего «шепот, робкое дыханье, трели соловья».[33]

Кто способен вполне удовлетворяться микроскопическими пылинками мысли и чувства, кто умеет составить себе громкую известность собиранием этих пылинок, тот должен быть мелок насквозь в каждой отдельной черте своей частной и общественной жизни. Заглядывать в область частной жизни мы не имеем никакого права и никакой возможности; но если самому поэту угодно было прогуляться перед публикою в домашнем халате, то мы должны сказать за это большое спасибо, во-первых, разыгравшемуся поэту, а во-вторых, великому Семену, ухитрившемуся привести своего хозяина в такой пафос лирического негодования. Мы всматриваемся в интересный халат и выводим то плодотворное заключение, что подобные халаты носят и должны носить все поэты, не имеющие понятия о великих, истинных и серьезных сторонах общечеловеческой жизни. Как были они детьми, так и останутся навсегда детьми, мелочными, капризными и сварливыми существами, утратившими только детскую грацию и лишившимися уже всякой надежды сделаться со временем сильными, здоровыми, добродушными и мыслящими людьми. Отвернемся от этих явлений плюгавой старости и посмотрим в другую сторону, на вечноюных титанов умственного мира.

XXV

В числе титанов я назвал Гете и Гейне. Легко может случиться, что наши литературные противники ухватятся за эти два имени и докажут мне, как дважды два — четыре, что Гете в течение всей своей жизни был самым неискренним человеком и что Гейне очень часто является в своих произведениях пустейшим балагуром или беспечнейшим певцом луны, девы, любви и вздохов. — Вот видите, скажут они мне, значит, вам надо или вычеркнуть имена

* Буржуа, собственника *(франц.)*. — *Ред.*

Гете и Гейне из списка мировых поэтов, или же радикально изменить ваш взгляд на поэзию и вообще на искусство.

А вот посмотрим на дело поближе. Что Гете обладал в высшей степени способностью извиваться и блюдолизничать, это, конечно, не может подлежать сомнению. Что он стряпал разные стихотворные миндальности и салонные оперетки, это также составляет неопровержимую истину. Ну, а как вы думаете, стали бы мы теперь рассужать с вами о Гете, если бы полное собрание его сочинений состояло целиком из сотни чистеньких опереток и из нескольких тысяч миндально-лакейственных мадригалов? И как вы думаете, посвятил ли бы такому Гете гордый и безукоризненный Байрон своего «Сарданапала»? Да еще как посвятил-то! С трепетом робости и благоговения. Вот подлинные слова этого посвящения: «Знаменитому Гете иностранец осмеливается предложить дань литературного вассала своему сюзерену, первому из существующих писателей, создавшему литературу своей родины и прославившему литературу Европы. Недостойное произведение, которое автор дерзает посвятить ему, носит заглавие: «Сарданапал».

Ясное дело, что в глазах Байрона умственное величие Гете с избытком заглаживает или выкупает те низкие слабости его характера, которые, конечно, были хорошо известны Байрону, как современнику Гете, и которым Байрон, как человек в высшей степени независимый, разумеется, не мог сочувствовать. Но когда Гете спускался в мир живых людей, в мир золоченого немецкого мещанства, когда он превращал свой талант в дойную корову и начинал гоняться за благосклонными взглядами и покровительственными улыбками, тогда он сразу делался мельче всякой козявки, ниже, гаже и бессильнее самого ничтожного из наших современных лириков, потому что эти поют от избытка своей ограниченности, а тот должен был насильно ежиться и прикидываться невинною канарейкою.

Пример Гете доказывает как нельзя очевиднее, что всякая умственная деятельность велика и плодотворна только до тех пор, пока она остается неразлучною с искренностью и твердостью глубокого убеждения. Гете велик именно только в той сфере, в которой он действовал с полным и естественным воодушевлением, не стесняясь никакими житейскими расчетами, и этот Гете, великий Гете, совершенно подходит под мое определение поэта и с полною справедливостью может быть назван «полезным» поэтом, хотя, конечно, не в том смысле, в каком могут быть названы полезными поэтами Барбье, Беранже, Леопарди, Джусти, Шелли, Томас Гуд и другие двигатели общественного сознания. Эти люди были поэтами текущей минуты; они будили в людях ощущение и сознание настоятельных потребностей современной гражданской жизни; они любили живых людей и возились постоянно с их действительными глупостями и страданиями. А Гете никого не любил, кроме самого себя и своих собственных идей; он нисколько не заботился об интересах человеческих обществ, и, несмотря на то,

он все-таки принес и еще долго будет приносить своими произведениями много пользы тем самым человеческим обществам, к которым он был совершенно равнодушен. Только пустые и мелкие люди могут оставаться бесполезными, а великие умственные силы непременно приносят пользу, даже своими ошибками. Гете никогда не был и не будет любимым поэтом читающих масс; вследствие этого он никогда не будет действовать прямо и непосредственно на умственную жизнь массы, потому что на эту жизнь действует только тот, кто любит массу. Но эти наставники и руководители масс, люди различные между собою по своим дарованиям, но тесно связанные друг с другом единством святой любви и честных стремлений, эти люди, питающие других своими идеями, часто нуждаются сами в умственном подкреплении и обновлении. Эти люди — мыслящие и просвещенные работники, но совсем не мировые гении. Они, по своему уму и развитию, способны понимать Гете, но у них, разумеется, недостало бы сил произвести то, что он произвел. Для них-то его сочинения составляют огромную гальваническую батарею, которая постоянно снабжает их утомляющиеся мозги новыми электрическими силами. Они читают Гете и глубоко задумываются над его страницами, и ум их растет и крепнет в этой живительной работе. А приобретенный таким образом запас свежей энергии и новых умственных сил отправляется все-таки вниз по течению, в то живое море, которое называется массою и в которое тем или другим путем рано или поздно вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления. И холодный тайный советник и кавалер фон Гете действует таким образом, и сильно действует, на пользу бедных и простых ближних посредством тех идей и ощущений, которые он возбуждает своими произведениями в тесном кругу своих избранных и высокоразвитых читателей.

Приведу один очень любопытный и оригинальный пример. Бёрне ненавидит Гете, отчасти за дело, по своему горячему демократическому чувству, отчасти несправедливо. Эту ненависть Бёрне высказывает не раз в своих «Парижских письмах» и в некоторых критических статьях. Высказывает он ее всегда с необыкновенным воодушевлением, и из-под его пера выливаются по этому поводу превосходнейшие страницы, сверкающие изумительным остроумием и пылающие самым чистым огнем любви к людям и уважения к человеческому достоинству. И эти страницы прочтет с увлечением, поймет и запомнит чуть не наизусть решительно каждый человек, стоящий по своему развитию немного выше чичиковского Петрушки. Эти страницы, писанные с лишком тридцать лет тому назад, до сих пор так свежи и горячи, как будто они только сегодня вышли из-под типографского станка. А кому же мы обязаны этими страницами, как не тому самому Гете, который на них осыпается справедливыми насмешками и громовыми проклятиями критика? Чтобы возбудить в таком умном человеке, как

Бёрне, такую пылкую и упорную ненависть, чтобы взволновать всю его желчь, когда он только вспомнит ненавистное имя или взглянет на проклятые строки, и, наконец, чтобы каждый раз заставлять своего разъяренного антагониста облекаться во всеоружие саркастического ума и страстной диалектики, для всего этого, говорю я, необходимо быть таким титаном умственного мира, каким и был на самом деле тайный советник и кавалер фон Гете. Да и сам Бёрне всегда признает его титаном и за то именно бесится на него, что этот титан с таким удовольствием зарывал свой талант в землю. С этой стороны Бёрне, разумеется, прав: если бы у Гете, кроме колоссальных сил, было еще стремление прилагать эти силы как следует, то, без сомнения, он сделал бы в своей жизни неизмеримо больше прочного и существенного добра. Но дело теперь не в том. Важно и любопытно для всего хода моей аргументации то обстоятельство, что Гете электризует своею деятельностью даже такого человека, который, по своему чисто фанатическому складу ума, решительно неспособен отнестись с любовью к тому, что действительно превосходно в произведениях «великого язычника». Это и значит, что великое явление никогда не может остаться бесплодным; оно освежает и обновляет жизнь и тем, что в нем хорошо, и тем, что в нем дурно. Оно приносит людям пользу и тою любовью и тою ненавистью, которую оно в них возбуждает. Скверно только бессилие, губительна только апатия; а столкновение и борьба враждебных сил в области мысли всегда приводят за собою со временем плодотворное примирение в высшей сфере более широкого синтеза. Поэтому давай нам бог побольше великих умов, и пусть они куролесят в области мысли, как душе их будет угодно. Мы, простые люди, вследствие этого во всяком случае останемся в чистых барышах. По геометрии выходит, конечно, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Но многовековой опыт действительной жизни доказывает неопровержимо, что люди в исторической практике не признают этой математической истины и умеют подвигаться вперед не иначе, как зигзагами, то есть кидаясь из одной крайности в другую. *Ндраву* всего человечества препятствовать невозможно, и поэтому приходится махнуть рукою на неизбежные зигзаги и только радоваться тому, когда крайности начинают быстро и порывисто сменяться одна другою. Значит, пульс хорош, и человеческая мысль не порастает плесенью.

XXVI

А теперь потолкуем о Гейне. Мне кажется, этого писателя каждый истинный сын XIX века должен любить совсем особенною, нежною, исключительною, почти болезненною любовью. Мне кажется, все умственное развитие человека можно сразу измерить

и обсудить, смотря по тому, как и насколько он понимает поэтическую деятельность Генриха Гейне. Этот писатель — самый новейший из мировых поэтов; он всех ближе к нам по времени и по всему складу своих чувств и понятий. Он целиком принадлежит нашему веку; он воплотил в себе даже все его слабости и смешные стороны; даже расстроенные и разбитые нервы Гейне указывают ясно на его кровное родство с тем великим и просвещенным веком, в котором средневековые костры и плахи сменились пенсильванскими общеполезными учреждениями [34] для производства умалишенных и в котором феодальные права уступили место мануфактурному пауперизму. Гейне — поэт капризного, раздражительного, нетерпеливого и непоследовательного века. Он сам — весь состоит из противоречий и сам себя дразнит этими противоречиями, и даже не пробует помирить их между собою, и сам то плачет, то смеется над своими ощущениями, то вдруг кидается в борьбу жизни и, с полною силою юношеской горячности и мужественного убеждения, объясняет людям различие между остатками прошедшего и живыми проблесками будущего. И этою последнею, живительною стороною своей деятельности Гейне также целиком принадлежит к нашему веку, который все-таки лучше всех прошедших веков и в котором все-таки, несмотря ни на какие глупости и подлости, химия и физиология подняли человеческий ум на беспримерную и, для наших предшественников, непостижимую высоту самостоятельного знания.

Вот и соображайте, какого рода результат должен получиться, когда человеку приходится жить при ежеминутном столкновении таких несовместимых крайностей. Разумеется, должно получиться нечто вроде горячего льда и сухой воды; и в человеческом характере действительно встречаются ежеминутно такие вопиющие внутренние противоречия, которые сильно смахивают на сухую воду и горячий лед. Нам эти противоречия, порожденные всем складом европейской жизни, должны быть особенно дороги и интересны; нам необходимо внимательно изучать эту патологию нашего ума и характера, потому что только внимательное изучение болезни дает нам возможность отыскать лекарство. Вот тут-то именно никто не может заменить обществу великого поэта. Никакое научное исследование не определит вам душевную болезнь целой эпохи с такою ясностью, с какою нарисует ее великий художник. Тут вполне оправдывается глубокая мысль Пьера Леру о том, что поэты из века в век возвещают человечеству его страдания. Потом, когда поэт собрал в один фокус, в одну ярко освещенную картину все разрозненные симптомы господствующей болезни века, — тогда начинается работа мыслителей, которые анализируют вопрос во всех его отдельных подробностях и выводят явления настоящей минуты из отдаленных и глубоко затаившихся исторических, бытовых и экономических причин. Лирика Гейне есть не что иное, как неподражаемо полная и правдивая картина

тех чувств и мыслей, тех тревог и огорчений, тех чередующихся припадков энергии и апатии, среди которых тратят свою жизнь лучшие люди XIX века. Гейне не захотел или не мог наблюдать и изображать своих современников со стороны; с естественною самонадеянностью истинного гения он понял, что носит в самом себе все заветные чувства и мысли своей эпохи; он принял самого себя за чистейший тип современного человека и посвятил всю свою жизнь на то, чтобы высказаться со всех сторон, со всею искренностью и непосредственностью, какая только доступна человеку XIX столетия. Поэтому все двадцать томов сочинений Гейне составляют одно неразрывное целое. И проза, и стихи, и любовь, и политика, и дурачества, и серьезные рассуждения— все это только в общей связи получает свой полный смысл и свое настоящее значение. Если вы развинтите Гейне на части и будете рассматривать каждый кусочек отдельно, то, разумеется, вы получите много великолепных алмазов и большую кучу негоднейших черепков, перемешанных с глиною и с грязью. Тогда вы скажете, что алмазы надо сохранить и оправить в золото, а всю кучу примеси спустить в помойную яму. И таким приговором вы докажете несомненно, что, читая Гейне, вы смотрели в книгу и видели фигу. Гейне именно тем и неоценим, что он дает мыслителям нашего времени целые рудники материалов для самых глубоких психологических наблюдений и исследований. Читая Гейне, вдумывайтесь именно в то, каким образом грязь перемешана в человеке с алмазами, старайтесь понять, почему один и тот же гениальный ум волновался высшими сомнениями, порывами и страстями, доступными человеческой личности, и в то же время тратился на то, чтобы воспевать с искренним воодушевлением голубые или черные глазенки вертлявых парижских лореток. Посмотрите, например, письма Гейне с Гельголанда, помещенные в его книге о Бёрне и написанные после июльских событий 1830 г., и потом вдруг прочтите в его же книге «Neue Gedichte» * стихотворения под рубриками: «Анжелика», «Серафима», «Катарина». На Гейне очень часто находит блажь; он вдруг воображает себе, что он может забыть все, что мешает мыслящему человеку предаваться телячьим восторгам; начинается бегание и прыгание на одной ножке; — ах, боже мой, какое благополучие! воздух тепел, птички поют, роза цветет, барышня улыбается; давайте бегать, давайте любезничать, давайте делать венки и букеты из васильков и ландышей. — Да вдруг ему самому сделается уже чересчур смешно, глядя на собственную прыткость и веселость; а потом досадно; а потом опять смешно; а потом и смешно и досадно в одно и то же время. Оплюет он вдруг и барышню, и цветы, и природу. Все скверно, все никуда не годится. И желать нечего и плакать не о чем, потому что все это пустяки и ни на что не следует обращать внимания. К выде-

---

* «Новые стихотворения». — *Ред.*

лыванию таких рулад неизбежно должен прийти гениальный ум, не имеющий возможности найти себе такое дело, которое соответствовало бы его силам. А что люди, одаренные силами Гейне, остаются вне практической деятельности, — это, конечно, составляет одну из самых крупных болячек нашего времени и одно из самых капитальных препятствий к выздоровлению. Рисовать картину страданий — это, без сомнения, тоже деятельность, и даже, при данных условиях места и времени, деятельность очень полезная. Но, вероятно, самый заклятый эстетик согласится со мною, что было бы не в пример лучше, если бы такая деятельность была совершенно не нужна и даже невозможна. Если бы Гейне был вполне удовлетворен жизнью, если бы он чувствовал себя счастливым, то, по всей вероятности, он не сделался бы поэтом, потому что его поэзия была бы странною аномалиею в такой среде, в которой люди, подобные ему, могли бы устраивать свою жизнь сообразно с требованиями своего чувства и своего рассудка. Разве может возникнуть и развиться патология там, где не бывает болезней? А вернейшим симптомом такого отсутствия болезней было бы то обстоятельство, что умные люди, подобные Гейне, не состояли бы в разряде людей лишних, непрактичных, беспокойных и вредных.

Если таким образом мы примем всю литературную деятельность Гейне за цельное выражение того невольного и неизбежного разлада, полутрагического, полукомического, который существует между нашими заветными желаниями и нашими вседневными поступками, если мы взглянем на Генриха Гейне как на гениального человека, который в течение всей своей жизни стучится головою в толстую стену человеческих глупостей и, наконец, по временам сам глупеет от этого невыносимого занятия, — то, разумеется, все балагурства Гейне, все его фривольности и тривиальности примут в наших глазах значение драгоценнейших фактов из психологической истории современного человека. Да, подумаем мы, вот как круто приходится иногда умным людям. Вот какими минутами пошлости и пустоты общая бессмысленность исторической жизни награждает иногда первоклассных гениев! Подобные размышления никак нельзя назвать бесплодными, и мы должны будем сказать большое спасибо Генриху Гейне за то, что он не утаил от нас тех печально-комических минут своей жизни, когда он, отчаиваясь в торжестве разума, пробовал сделаться шаловливым ребенком и начинал то изнывать у ног какой-нибудь Анжелики, то, с простодушием пансионерки, умиляться над зеленою травою и над голубыми фиалками.

Гейне вызвал целые легионы подражателей, и этот факт служит еще новым подтверждением той ужасно старой и печальной истины, что глупых людей очень много. Гейне можно и должно изучать, но подражать ему нет, во-первых, никакой надобности, а во-вторых, никакой возможности. Когда очень замечательный человек расска-

зывает нам откровенно о своих заблуждениях, о глупостях и проступках своей жизни, о позорных минутах уныния, праздности, апатии и беспечности, тогда мы слушаем этот рассказ с жадным вниманием и с глубоким уважением. Ошибки и страдания великого ума всегда поучительны, потому что в них всегда чувствуется влияние общих причин, повертывающих в ту или в другую сторону жизнь целой исторической эпохи. На этом основании мы читаем и признаем полезными книгами и лирику Гейне и «Confessions» * Жан-Жака Руссо. Но когда какой-нибудь Лягушкин или Козявкин начинает повествовать нам стихами или прозою о том, как он кутил и опять желает кутить, как он любил и как ему рога наставили, как он проигрался в карты и желает получить реваншик, а подлец Михрюшкин забастовал не во-время, — тогда мы говорим ему: уймись, любезный! помажь свои душевные нарывы деревянным маслом и прикрой их тряпочкой! у нас этого добра и без тебя достаточно.

Любопытно заметить, до какого полного извращения естественных понятий дошла эстетика, то есть та критика, которая предпочитает форму содержанию. Эстетик скажет вам не задумываясь, что у такого-то поэта хватает сил на лирическое стихотворение, но что он непременно опростоволосится, если примется писать роман или драму. Вы, мой читатель, наверное так привыкли к таким суждениям, что в недоумении спросите у меня: «А что же в этом мнении эстетика есть такого уродливого и бессмысленного? Это чистая правда. Вот, например, г. Полонский. Кропает он лирические стишки — и ничего: концы с концами сводит. А попробовал написать роман «Свежее предание» — вышло убийственно. Сунулся соорудить драму «Разлад» — вышло еще того хуже, так что Нестор Васильевич Кукольник может сказать, потирая руки: «Нашего полку прибыло!» [35] — Справедливо изволите рассуждать, господин читатель. Но вы подумайте все-таки, что такое лирика? Ведь это просто публичная исповедь человека? Прекрасно. А на что же нам нужна публичная исповедь такого человека, который решительно ничем, кроме своего желания исповедываться, не может привлечь к себе наше внимание? Чем его огорчения или радости интереснее моих или ваших? Тем, что он умеет укладывать их в рифмованные ямбы и хореи? Кажется мне, что эта причина неудовлетворительна. Лирика, по самой сущности своей, гораздо искреннее и непосредственнее эпической и драматической поэзии. Драму или роман надо долго обдумывать; при этом надо изучать жизнь; плоды этого изучения могут быть интересны и поучительны даже в том случае, если автору не удастся придать характерам ту яркость, которая создается только силою таланта. Лирический поэт, напротив того, только ловит и фиксирует мимолетные настроения своей собственной особы, и достоинство лирического

* «Исповедь». — *Ред.*

произведения заключается именно в том, чтоб оно было как можно безыскусственнее, чтобы чувство или мысль поэта были схвачены и показаны читателю во всей своей непосредственности и неподкрашенности. Но ведь показываться в такой первобытной наготе имеет право только то, что замечательно само по себе и что вследствие этого пробудит в других людях деятельность чувства и мысли. Поэтому ясно, что лирика есть самое высокое и самое трудное проявление искусства. Лириками имеют право быть только первоклассные гении, потому что только колоссальная личность может приносить обществу пользу, обращая его внимание на свою собственную частную и психическую жизнь.

Отчего же у нас лирики плодятся, как дождевые грибы? Да просто оттого, что журналисты привыкли наполнять стишками те белые страницы, или, выражаясь типографским языком, белые полосы, которые случайно остаются между отдельными статьями. И до сих пор не могут сообразить почтенные журналисты, что белая полоса гораздо лучше лирического стихотворения, во-первых, потому, что читатель не тратит на белую полосу ни одной минуты времени, во-вторых, потому, что редакция за белую полосу не платит ни копейки денег, в-третьих, потому, что существование белых полос не поощряет ни одной отрасли предосудительного тунеядства. К крайнему моему огорчению, даже «Русское слово» не возвысилось еще до понимания этих высоких и мудрых истин.

XXVII

Литературные противники нашего реализма простодушно убеждены в том, что мы затвердили несколько филантропических фраз и во имя этих афоризмов отрицаем сплошь все то, из чего нельзя изготовить обед, сшить платье или выстроить жилище голодным и прозябшим людям. Понимая нас таким образом, они, конечно, должны были ожидать, что мои размышления о науке и искусстве будут заключать в себе бесконечные упреки Шекспиру, Гете, Гейне и другим подобным негодяям за трату драгоценного времени на непроизводительные занятия. Они ожидали, вероятно, что я так и пойду косить без разбору: Шекспир — не Шекспир, Гете — не Гете, черт мне не брат, все дураки и знать никого не хочу. Такому направлению моих умозрений они были бы несказанно рады, потому что, разумеется, подобная премудрость не поколебала бы в умах читателей ни одной буквы из старого эстетического кодекса. Теперь, когда они увидят, что я взялся за дело совсем не таким косолапым манером, — им сделается очень досадно, и они начнут звонить в своих журналах, что реалисты доврались до чертиков и теперь поневоле поворачивают оглобли назад.

И все это будет с их стороны голая выдумка. Все мысли, высказанные мною в этой статье, совершенно последовательно

вытекают из того, что я говорил во всех моих предыдущих статьях. Ни малейшего поворота назад не случилось, и мне не приходится раскаиваться ни в одном слове, сказанном мною прежде. Я советовал г. Щедрину заняться компиляциями по естественным наукам и говорил по этому поводу, что меня радует увядание нашей беллетристики, как симптом возрастающей зрелости нашего ума. [36] Я и теперь повторяю то же самое, и из этого суждения о наших домашних делах все-таки никак не вытекает для меня обязанность ругать Шекспира, Гете, Гейне и других подобных негодяев. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я, и теперь, и прежде, и всегда, был глубоко убежден в том, что мысль, и только мысль, может переделать и обновить весь строй человеческой жизни. Все то безусловно полезно, что заставляет нас задумываться и что помогает нам мыслить. Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопрос этот и сам по себе так громаден и так сложен, что на его разрешение требуется вся наличная сила и зрелость человеческой мысли, все напряжение человеческой энергии и любви и весь запас собранных человеческих знаний; излишку оказаться не может, а, напротив, оказывается до сих пор громадный недочет, который поневоле будут пополнять рабочие силы следующих столетий.

Стало быть, мы вовсе не расположены откидывать годный материал из любви к процессу откидывания. Это был бы с нашей стороны нелепейший ригоризм и формализм, если бы мы вздумали браковать гениальную мысль на том основании, что она проведена в поэме или в романе, а не в теоретическом рассуждении. Если бы мы рассуждали таким образом, то нам пришлось бы поставить критические статьи г. Эдельсона выше романа «Отцы и дети». Но мы рассуждаем совершенно иначе. Мы твердо убеждены в том, что каждому человеку, желающему сделаться полезным работником мысли, необходимо широкое и всестороннее образование, в котором Гейне, Гете, Шекспир должны занять свое место наряду с Либихом, Дарвином и Ляйелем. — Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, как близкое знакомство с величайшими умами человечества, к какой бы отдельной области знания или творчества ни относилась деятельность этих первоклассных представителей нашей породы. Но, во-первых, знакомясь с этими титанами, надо непременно сохранять в отношении к ним полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что составляет грязное пятно в произведении титана. Во-вторых, и это главное, надо знакомиться только с настоящими титанами и преспокойно проходить, не кивая головою,

мимо многих и премногих кумиров, выставляемых на поклонение толпы усердными историками различных литератур. Посоветуйтесь, например, с каким-нибудь записным гуманистом: он вам будет доказывать, что не прочитать Горация, Овидия, Виргилия, Цицерона — значит остаться круглым невеждою. Заговорите с французом: он вам поклянется честью, что вам совершенно необходимо прочитать все трагедии Корнеля, все трагедии Расина, все сатиры Буало, все сладости Фенелона и все проповеди Боссюэта, которого французы до сих пор считают великим гением и даже глубоким, хотя и односторонним, историком. Обратитесь к г. Лонгинову, и он вам, как русскому человеку, поставит в непременную обязанность прочитать целиком Ломоносова, Державина, Карамзина и Жуковского. Счастлив ваш бог, если он еще позволит вам не читать Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова, Аблесимова, Хераскова, Озерова и князя Шаликова. Да нет. Вряд ли он окажет вам эту великую милость. Нельзя, скажет. Эти писатели имеют историческое значение. А что же вы, в самом деле, будете за человек, если не будете знать истории нашей великой и прекрасной литературы?

Если вы одарены от природы чувством благоразумного самосохранения, то вы, разумеется, не послушаете ни г. Лонгинова, ни гуманиста, ни француза. Вы прочитаете Шекспира, Байрона, Гете, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногих других поэтов, замечательных не тем, что они когда-то жили и что-то написали, а тем, что они действительно высказали людям несколько дельных и умных мыслей. Из наших же писателей вы возьмете Грибоедова, Крылова, Пушкина, Гоголя, отнесетесь к ним с самою строгою критикою и увидите тогда, что ваше чисто литературное образование совершенно окончено. Я не говорю о новейших писателях, например о Жорж Занде, Викторе Гюго, Диккенсе, Теккерее и о лучших представителях нашей собственной беллетристики. Этих писателей вы уже непременно прочтете, даже не для литературного образования, а просто для того, чтобы следить за современным развитием европейской мысли. Тут, разумеется, вам придется прочитать много пустяков, например: «Фанни» Фейдо, «Саламбо» Флобера и такие повести Тургенева, как «Первая любовь» и «Призраки». [37] Против этого не поможет уж никакой последовательный реализм. Чтобы приносить людям пользу, надо знать, что́ их интересует и о чем они в данную минуту толкуют, а для этого приходится очень часто просматривать ничтожнейшие романы, пробегать пустейшие номера журналов и газет и выслушивать от разных добродушных личностей еще более пустые рассуждения. Кто хочет заниматься психиатриею, тот поневоле должен выслушивать рассказы всяких Поприщиных о шишке алжирского дея. [38] Но и психиатру нет особенной надобности читать в пыльных архивах и библиотеках умозрения всех тех Поприщиных, которые жили раньше нас и которых бредни, на беду нашу, не затерялись.

Из всего, что я говорил с самого начала этой статьи, читатель видит ясно, что я отношусь с глубоким и совершенно искренним уважением к первоклассным поэтам всех веков и народов. Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию, и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, постараюсь все-таки, со временем, подвинуть это дело вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека.

В этой статье я, разумеется, могу только указать на эту задачу и ограничиться неопределенным обещанием. — Но у реалистической критики есть и другая задача, может быть еще более серьезная. Делая строгую оценку литературным трудам прошедшего, она должна еще внимательнее и строже следить за развитием литературы в настоящем. Здесь на ней лежит обязанность быть несравненно более разборчивою и требовательною. Когда мы говорим, например, о Шекспире, мы просто берем у него то, что находим в наличности. Что есть — за то спасибо; чего нет — не взыщите; на нет и суда нет. Наряжать над Шекспиром следствие по тому вопросу, был ли он прогрессистом или ретроградом, — смешно, нелепо и несправедливо по той простой причине, что люди XVI века еще не имели понятия о таком прогрессе, который охватывает все отправления общественной жизни и все отрасли человеческого мышления. Но если бы в наше время появился поэт с громадным талантом и если бы он, подобно Шекспиру, посвятил лучшие силы своего таланта на создавание исторических драм, то реалистическая критика имела бы полное право отнестись очень сурово к тому обстоятельству, что колоссальный талант отвертывается от интересов живой действительности и уходит в область «беспечального созерцания», изобретенного «Отечественными записками» или «Петербургскими ведомостями». [39]

Я твердо убежден в том, что настоящий поэт, родившийся в XIX веке и получивший здоровое человеческое образование, не может быть ни ретроградом, ни индиферентистом. Стало быть, если в произведениях даровитого человека будут проглядывать допотопные тенденции или холодное равнодушие к живым потребностям современности, — реалистическая критика обязана внимательно разобрать причины такого ненормального и вредного явления. При ближайшем рассмотрении дела непременно окажется или полное невежество данного субъекта, или односторонность развития, или слабоумие, или молчалинство, или вообще что-нибудь способное испортить и сбить с пути самые лучшие задатки литературного дарования. Эти результаты ближайшего

исследования реалистическая критика должна выставить напоказ в самых ярких красках, для того чтобы публика перестала обольщаться таким оракулом, который говорит ей вредную галиматью или по крайней мере отвлекает ее внимание от полезного дела. В наше время можно быть реалистом и, следовательно, полезным работником, не будучи поэтом; но быть поэтом и в то же время не быть глубоким и сознательным реалистом — это совершенно невозможно. Кто не реалист, тот не поэт, а просто даровитый неуч, или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка. От всей этой назойливой твари реалистическая критика должна тщательно оберегать умы и карманы читающей публики.

XXVIII

Если вы предложите мне вопрос: есть ли у нас в России замечательные поэты? — то я вам отвечу без всяких обиняков, что у нас их нет, никогда не было, никогда не могло быть — и, по всей вероятности, очень долго еще не будет. У нас были или зародыши поэтов, или пародии на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова; а к числу пародий я отношу Пушкина и Жуковского. Первые остались на всю жизнь в положении зародышей, потому что им нечем было питаться и некуда было развиться. Силы-то у них были, но не было ни впечатлений, ни простора. Поэтому ничего и не вышло, кроме односторонних попыток и недодуманных зачатков разумного миросозерцания.

В самом деле, что такое «Мертвые души»? Изображал человек «бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни», [40] и все шло хорошо и умно; а потом вдруг, в самом конце, пустил бессмысленнейшее воззвание к России, которая будто бы куда-то мчится, как бешеная тройка, да так шибко мчится, что остальные народы только рот разевают и диву даются. И кто тянул из него эту дифирамбическую тираду? Решительно никто. Так, сама собою вылилась, от полноты невежества и от непривычки к широкому обобщению фактов. И вышла чепуха: с одной стороны — «бедность», а с другой — такая быстрота развития, что любо-дорого. Ничего цельного и не оказалось. И уже в этом лирическом порыве сидят зачатки второй части «Мертвых душ» и знаменитой «Переписки с друзьями».

А что такое басни Крылова? Робкие намеки на сильный ум, который никогда не может и не осмелится развернуться во всю свою ширину.

Но эти зародыши все-таки заслуживают наше уважение, заслуживают именно тем, что не могли развернуться. Значит, при благоприятных обстоятельствах из этих элементов могло выработаться что-нибудь порядочное. Но о людях второй категории,

о пародиях на поэта, нам приходится высказать совершенно противоположное мнение. Эти люди процветали «яко крин», щебетали, как птицы певчие, и совершили «в пределе земном все земное», [41] то есть все, что они были способны совершить. В произведениях этих людей нет никаких признаков болезненности или изуродованности. Им было весело, легко и хорошо жить на свете, и это обстоятельство, конечно, останется вечным пятном на их прославленных именах. Впрочем, нет, — не *вечным*. Так как эти господа уже теперь ничем не связаны с современным развитием нашей умственной жизни, то мы можем надеяться, что их прославленные имена скоро забудутся или по крайней мере превратятся для русских людей в такие же пустые звуки, в какие уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всяких других бардов прошлого столетия. С именем Жуковского уже совершилось это превращение, но Пушкина мы все еще не решаемся забыть, или, вернее, мы боимся признаться самим себе, что мы его почти совсем забыли. О Пушкине до сих пор бродят в обществе разные нелепые слухи, пущенные в ход эстетическими критиками; общество не сличает этих слухов с существующими фактами, но повторяет их с чужого голоса и, по старой привычке к этим слухам, считает их за непреложную истину, не требующую никаких доказательств. Говорят, например, что Пушкин — великий поэт, и все этому верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист — и больше ничего. Говорят далее, что Пушкин основал нашу новейшую литературу, и этому тоже верят. И это тоже вздор. Новейшую литературу основал не Пушкин, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками, а под влиянием Гоголя сформировались Тургенев, Писемский, Некрасов, Островский, Достоевский; да, кроме того, произведения Гоголя дали решительный толчок нашей реальной критике.

Многим читателям мои размышления о Пушкине покажутся возмутительно-дерзкими. Я сам, с своей стороны, признаю за читателем полное право требовать от меня серьезных и подробных фактических доказательств, но теперь, в этой статье, я все-таки не буду распространяться о литературной деятельности великого Пушкина. Об этом мы поговорим впоследствии. Тогда я представлю моим читателям ряд статей под заглавием «Пушкин и Белинский». В этих будущих статьях я разберу деятельность прославленного поэта и постараюсь, с точки зрения последовательного реализма, перерешить те вопросы, которые Белинский решал на основании эстетических догматов, потерявших для нас всю свою обязательную силу.

В настоящее время у нас также нет поэтов; наше общество все еще слишком неподвижно, чтобы содействовать развитию тех высших сил ума и чувства, которыми должен обладать гениальный поэт. Но между нашими литераторами есть несколько умных и добросовестных работников, помещающих в различных журналах

романы, повести и драматические произведения. Деятельность этих людей никак нельзя назвать бесплодною. Они заставляют своих читателей задумываться над различными вопросами вседневной жизни; они дают реальной критике удобный случай разъяснить эти вопросы. Публика прислушивается к этим разъяснениям, и мысль понемногу начинает шевелиться, медленно просачиваясь в такие темные углы, которые спокон веку были совершенно незнакомы с подобною роскошью.

При самом беглом взгляде на современные литературы всех цивилизованных народов вы тотчас заметите тот общий факт, что над всеми отраслями поэтического творчества далеко преобладает так называемый *гражданский эпос*, или, проще, романы, повести и рассказы. Роман втянул в себя всю область поэзии, а для лирики и для драмы остались только кое-какие крошечные уголки. Если, например, в год будет напечатано *сто* листов драматических произведений и лирических стихов, то можно сказать наверное, что в тот же промежуток времени появится по крайней мере *тысяча* листов романов, повестей и рассказов. А если бы мы могли сравнить цифры читателей, то перевес *гражданского эпоса*, без сомнения, оказался бы еще поразительнее. Далее, не мешает заметить, что романы в стихах или эпические поэмы в наше время сделались невозможными и что эту невозможность признали, наконец, сами эстетики.

Это решительное преобладание романа, и притом романа в прозе, показывает очевидно, что в отношениях читающего общества к поэзии совершился глубокий и радикальный переворот. В былое время на первом плане стояла *форма;* читатели восхищались совершенством внешней техники и вследствие этого безусловно предпочитали стихи прозе. Еще во второй половине прошлого столетия Вольтер, превознося Фенелонова «Телемака», говорит в то же время, что все-таки «Телемака» невозможно сравнивать с эпическими поэмами, потому что самая посредственная поэма, написанная стихами, стоит неизмеримо выше превосходнейшего романа в прозе. Теперь, напротив того, внимание читателей безраздельно направляется на *содержание*, то есть на мысль. От *формы* требуют только, чтобы она не мешала содержанию, то есть чтобы тяжелые и запутанные обороты речи не затрудняли собою развитие мысли. По нашим теперешним понятиям, красота языка заключается единственно в его ясности и выразительности, то есть исключительно в тех качествах, которые ускоряют и облегчают переход мысли из головы писателя в голову читателя. Достоинство телеграфа заключается в том, чтобы он передавал известия быстро и верно, а никак не в том, чтобы телеграфная проволока изображала собою разные извилины и арабески. Эту простую истину наш практический век понемногу, сам того не замечая, приложил к области поэтического творчества. Язык сделался тем, чем он должен быть, именно средством для передачи мысли. Форма

подчинилась содержанию, и с этого времени укладывание мысли в размеренные и рифмованные строчки стало казаться всем здравомыслящим людям ребяческою забавою и напрасною тратою времени. По привычке к старине, мы еще не решаемся громко сознаться в том, что мы действительно так смотрим на это дело, но живые факты сами говорят за себя. Общее число писателей и читателей увеличивается, и в то же время число стихотворцев и стихолюбителей уменьшается. Стихотворцы отходят на второй план. Кто, например, стоит во главе современной английской литературы? Уж, конечно, не Теннисон, а Диккенс, Теккерей, Троллоп, Эллиот, Бульвер, то есть всё прозаики и всё романисты. Какие сочинения Виктора Гюго известны всей читающей Европе? Не лирика и не трагедии, а «Notre Dame de Paris» * и «Les Misérables» — два романа, написанные прозою.

Роман настолько же удобнее всех остальных видов поэтического творчества, насколько современный сюртук и прическа удобнее костюмов и париков, бывших в моде при Людовике XIV. Романист распоряжается своим материалом как ему угодно; описания, размышления, психологические анализы, исторические, бытовые и экономические подробности — все это с величайшим удобством входит в роман и все это почти совсем не может войти в драму. О лирике уж и говорить нечего. Кроме того, роман оказывается самою *полезною* формою поэтического творчества. Когда писатель хочет предложить на обсуждение общества какую-нибудь психологическую задачу, тогда роман оказывается необходимым и незаменимым средством. В обществе и в семействе ежеминутно случаются, между различными типами и характерами, более или менее резкие и болезненные столкновения. При подобных столкновениях обе стороны очень часто считают себя правыми. Когда дело идет о денежном интересе, тогда начинается разорительный судебный процесс. Когда же затронут вопрос, входящий в область чувства или мысли, тогда свод законов, разумеется, молчит и дело может быть решено только приговором или, вернее, влиянием общественного мнения. Но в неразвитом обществе общественное мнение чрезвычайно слабо; это мнение слагается из толков соседей и знакомых, которые произносят свои суждения ощупью, на авось, под влиянием своих мельчайших симпатий и антипатий. При каждом огласившемся столкновении между отцом и сыном, братом и сестрою, мужем и женою обе воюющие стороны непременно находят себе между соседями и знакомыми усердных утешителей и красноречивых защитников. Эти господа своим участием всегда растравляют ссору и увеличивают упорство враждующих личностей. Иной добродушный человек, обдумавши на досуге свой поступок, мог бы почувствовать, что он в самом деле ошибся и обидел ни за грош своего

* «Собор Парижской богоматери». — *Ред.*

ближнего, но когда этот человек встречает в своих знакомых полное сочувствие, когда посторонние люди совершенно искренно доказывают ему, что он-то сам и есть угнетенная невинность, тогда, очевидно, беспристрастное обсуждение собственных ошибок становится чрезвычайно затруднительным, и глупейшая ссора отравляет вследствие этого две человеческие жизни, которые могли бы протекать рядом в вожделенном согласии. Множество неприятностей и мелких страданий, истощающих человеческие силы и опошляющих человеческую личность, происходит таким образом от слепоты или неразвитости общественного мнения, от поголовного неумения определять те границы, внутри которых отдельная личность может развертывать свои силы, не посягая на свободу и на человеческое достоинство других личностей.

Самым могущественным средством для правильного развития общественного мнения является, конечно, общественная жизнь. Когда общество заботится о собственных интересах, тогда оно быстро выучивается контролировать поступки и убеждения своих отдельных членов. Но так как развитие общественной жизни зависит не от литературы, а от исторических обстоятельств, то мне незачем и распространяться об этом щекотливом предмете.

Вторым средством, гораздо менее могущественным, но все-таки не совсем ничтожным, является влияние литературы. Задавать обществу психологические задачи, показывать ему столкновения между различными страстями, характерами и положениями, наводить его на размышления о причинах этих столкновений и о средствах устранить подобные неприятности, заставлять его сочувствовать в книге тому лицу или поступку, против которого оно (общество) вооружилось бы в действительной жизни вследствие своих закоренелых предубеждений, — все это значит — формировать общественное мнение, значит — говорить обществу: вглядывайся, вдумывайся в свою собственную жизнь, выметай из нее, хоть понемногу, тот мусор ложных понятий, на котором живые люди, твои же собственные члены, спотыкаются и ломают себе ноги!

В решении чисто психологических вопросов роман незаменим; напротив того, в решении чисто социальных вопросов роман должен уступить первое место серьезному исследованию. Но так как чисто социальный интерес почти всегда сплетается с интересом чисто психологическим, то роман может принести очень много пользы даже для разъяснения социального вопроса. Представьте себе, например, что вас поразили вседневные явления вопиющей человеческой бедности. Если вы, с своей стороны, хотите сделать вашим умственным трудом что-нибудь для облегчения этого зла, то вы, разумеется, должны изучить причины и видоизменения бедности, собрать как можно больше сырых фактов и достоверных статистических цифр, привести все эти материалы в порядок и вывести ваши посильные практические заключения. Труд ваш

окажется, таким образом, серьезным исследованием и деловым проектом. Его прочитают и обдумают те люди, которые имеют возможность и желание осуществлять в действительной жизни общеполезные идеи кабинетных мыслителей. Так, например, в 1860 году Эмиль Лоран издал очень дельную книгу о французском пауперизме и об обществах взаимного вспомоществования. Эту книгу прочитали, наверное, все президенты подобных обществ, и некоторыми из советов Лорана воспользовались, быть может, те префекты и мэры, которых мысли не сосредоточены исключительно на приискивании средств для получения ордена Почетного легиона. Для таких читателей, разумеется, необходимы факты и цифры, а не картины трудовой жизни и душевной борьбы. — Но бедность порождает разврат и преступление, а общество обрушивается всею тяжестью своего гнева и презрения на тех людей, которые споткнулись на трудном пути и которые могли бы снова подняться на ноги, если бы их не давило в грязь все, что их окружает, и все, что, благодаря более благоприятным случайностям, успело сохранить наружный вид чистоты и безукоризненности.

Если вас поразила эта чисто психологическая сторона бедности, то вы напишете роман, и созданные вами картины заставят многих из ваших читателей задуматься над тою кровавою несправедливостью или, проще, над тою поразительною тупостью, которую мы, люди добродетельные, обнаруживаем ежедневно в наших отношениях к умственным и нравственным болезням голодного и раздетого человека. Романы Диккенса и Виктора Гюго направляются вовсе не к тому, чтобы разжалобить толстых филистеров и выпросить у них копеечку на пропитание вдов и сирот; эти романы доказывают нам, с разных сторон, полную логическую несостоятельность всех наших обиходных понятий о пороке и преступлении. Капля долбит камень non vi, sed saepe cadendo (не силою, но часто повторяющимся падением), и романы незаметно произведут в нравах общества и в убеждениях каждого отдельного лица такой радикальный переворот, какого не произвели бы без их содействия никакие философские трактаты и никакие ученые исследования. — Поэтому каждый последовательный реалист видит в Диккенсе, Теккерее, Троллопе, Жорж Занде, Гюго — замечательных поэтов и чрезвычайно полезных работников нашего века. Эти писатели составляют своими произведениями живую связь между передовыми мыслителями и полуобразованною толпою всякого пола, возраста и состояния. Они — популяризаторы разумных идей по части психологии и физиологии общества, а в настоящую минуту добросовестные и даровитые популяризаторы по крайней мере так же необходимы, как оригинальные мыслители и самостоятельные исследователи.

Мы вовсе не требуем от романистов, чтобы все они непременно описывали страдания бедняков или показывали нам человека в преступнике. По нашему мнению, каждый романист,

разрешающий какую-нибудь психологическую задачу, поставленную естественным течением действительной жизни, приносит обществу существенную пользу и, по мере сил своих, исполняет обязанность честного гражданина и развитого человека. Частная жизнь и семейный быт, наравне с экономическими и общественными условиями нашей жизни, должны обращать на себя постоянное внимание мыслящих людей и даровитых писателей. Чтобы упрочить за собою глубочайшее уважение реалистов, романист или поэт должен только постоянно, так или иначе, служить живому делу действительной, современной жизни. Он не должен только превращать свою деятельность в бесцельную забаву праздной фантазии. Я надеюсь, что даже эстетики не станут заступаться за Дюма, за Феваля, за Поль де Кока. Но очень правдоподобно, что они уважают Вальтер-Скотта и Купера. А мы их нисколько не уважаем и вообще считаем исторический роман за одно из самых бесполезных проявлений поэтического творчества. Вальтер-Скотт и Купер — усыпители человечества. Что они люди очень даровитые — против этого я не спорю. Но тем хуже. Тем-то они и вредны, что их произведения читаются с удовольствием и создают целые школы подражателей. А что выносит читатель из этих романов? Ничего, ни одной новой идеи. Ряд картин и арабесков. То же самое, что ребенок выносит из волшебной сказки. В наше время, когда надо смотреть в оба глаза и работать обеими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью в мертвое прошедшее, с которым всем порядочным людям давно пора разорвать всякие связи.

XXIX

С самого начала этой статьи я все говорил только о поэзии. Обо всех других искусствах, пластических, тонических и мимических, я выскажусь очень коротко и совершенно ясно. Я чувствую к ним глубочайшее равнодушие. Я решительно не верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества. Вкусы человеческие бесконечно разнообразны: одному желательно выпить перед обедом рюмку очищенной водки; другому — выкурить после обеда трубку махорки; третьему — побаловаться вечером на скрипке или на флейте; четвертому — прийти в восторг и в ужас от взвизгиваний Ольриджа в роли Отелло. Ну, и бесподобно. Пускай утешаются. Все это я понимаю. Понимаю я также, что двум любителям очищенной водки, или Ольриджа, или виолончели приятно побеседовать между собою о совершенствах любимого предмета и о тех средствах, которые следует употребить для того, чтобы придать любимому предмету еще более высокие совершенства. Из таких специальных бесед могут образоваться специальные общества. Например, «общество

любителей водки», «общество любителей псовой охоты», «общество театралов», «общество любителей слоеных пирожков», «общество любителей музыки» и так далее, впредь до бесконечности. У таких обществ могут быть свои уставы, свои выборы, свои парламентские дебаты, свои убеждения, свои журналы. Такие общества могут раздавать патенты на гениальность. Вследствие этого могут появиться на свете великие люди самых различных сортов: великий Бетховен, великий Рафаэль, великий Канова, великий шахматный игрок Морфи, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря. Мы можем только радоваться этому обилию человеческой гениальности и осторожно проходить мимо всех этих «обществ любителей», тщательно скрывая улыбку, которая невольно напрашивается на наши губы и которая может раздразнить очень многих гусей. Впрочем, отрицать совершенно практическую пользу живописи мы, конечно, не решимся. Черчение планов необходимо для архитектуры. Почти во всех сочинениях по естественным наукам требуются рисунки. В настоящую минуту передо мною лежит великолепная книга Брема «Illustrirtes Thierleben» («Иллюстрированная жизнь животных»), и эта книга показывает мне самым наглядным образом, до какой степени даровитый и образованный художник может своим карандашом помогать натуралисту в распространении полезных знаний. Но ведь ни Рембрандт, ни Тициан не стали бы рисовать картинки для популярного сочинения по зоологии или по ботанике. А уж каким образом Моцарт и Фанни Эльслер, Тальма и Рубини ухитрились бы пристроить свои великие дарования к какому-нибудь разумному делу, этого я даже и представить себе не умею. Пусть помогут мне в этом затруднительном обстоятельстве эстетики «Эпохи» и «Библиотеки для чтения». [42]

Любители всяческих искусств не должны гневаться на меня за легкомысленный тон этой главы. Свобода и терпимость прежде всего! Им нравится дуть в флейту, или изображать своею особою Гамлета, принца датского, или пестрить полотно масляными красками, а мне нравится доказывать насмешливым тоном, что они никому не приносят пользы и что их не за что ставить на пьедесталы. А забавам их никто мешать не намерен. За шиворот их никто не тянет на полезную работу. Весело вам — ну, и веселитесь, милые дети!

XXX

Припомните вместе со мною, мой читатель, каким образом вас воспитывали и учили. Предположим на первый случай, что вы — сын богатого помещика и живете вместе с вашими родителями в какой-нибудь тамбовской или рязанской деревне. Вам лет десять, вы безжалостно рвете и пачкаете ваши рубашечки, курточки и панталоны; вы лазаете по горам и по деревьям и сокру-

шаете каждый день вашу мамашу новыми синяками и царапинами, которые она постоянно усматривает на вашем лице и на ваших руках. Наконец мамаша говорит папаше, что мальчик шибко балуется и что давно пора выписать для него строгого гувернера, который серьезно присадил бы его за умные книжки. Папаша отвечает: хорошо! Вот продам обоз пшеницы, съезжу недели на три в Москву и отыщу там подходящего немца или француза. Как сказано, так и сделано. Получаются деньги за пшеницу, и часть этих денег употребляется на приобретение того неизвестного господина, которым уже давно стращала вас ваша мамаша. Неизвестный господин объявляет папаше, что надо выписать такую-то арифметику, такую-то грамматику, такую-то географию и так далее.

Папаша отпирает ту шкатулку, в которой у него ссыпана пшеница, превращенная в кредитные билеты, и выдает рублей 20 или 30 на покупку учебных книг. Каждый год продаются обозы пшеницы, и каждый год часть вырученных денег вручается вашему ментору, а другая часть превращается в книги, глобусы, ландкарты, аспидные доски, писчую бумагу, стальные перья. Все это вы, как ненасытная пучина, поглощаете с тою же быстротою, с какою вы в былое время истребляли штаны и куртки. Положим, что все это идет вам впрок. Ваша любознательность пробуждается; ваш ум растет и укрепляется; вы всею душою привязываетесь к вашему воспитателю; он рассказывает вам о своем студенчестве; и вас самих начинает тянуть в университет, в обетованную землю труда и знания. Родители ваши с удовольствием уступают вашему желанию; несмотря на вашу юношескую робость, вы превосходно выдерживаете вступительный экзамен и с замиранием сердца входите в обетованную землю. С этой минуты часть пшеницы, превращенная в деньги, поступает в ваше собственное распоряжение; вы сами заботитесь о своем костюме, сами покупаете себе книги, сами дозволяете себе удовольствия. Допустим, что все это вы делаете вполне благоразумно; в одежде нет роскоши, в чтении вашем господствует строгая последовательность, удовольствия выбираются такие, которые действительно освежают ваши силы для нового труда; все это превосходно; но ведь все это до сих пор было только поглощением пшеницы, превращенной в сукно, в голландское полотно, в дельные книги, в театральные и концертные билеты, в профессорские лекции, в умные мысли и в высокие стремления. Всякий человек, собирающийся работать, должен непременно поглотить сначала известное количество продукта, уже выработанного другими людьми; он может поглотить его глупо, то есть расстроить себе желудок этим поглощением; может поглотить умно, то есть действительно подкрепить свои силы; но за то, что человек подкрепил свои силы, мы еще ничуть не обязаны говорить ему спасибо; надо посмотреть, что будет дальше. Дальше вы оказываетесь кандидатом, и перед вами раскрывается жизнь. У вас есть все, что нужно человеку для счастья: здоровая моло-

дость, развитой ум, приличная наружность, обеспеченное состояние; вам хочется жить, любить, мыслить и действовать. Чем захочу, думаете вы, тем и займусь; куда захочу, туда и поеду; что захочу, то и сделаю. Я сам себе барин и никому не намерен отдавать отчет в своем образе жизни. Мое образование изощрило во мне способность наслаждаться всем, что затрогивает мысль и ласкает чувство; поэтому я намерен извлекать себе наслаждения из любви, из науки, из искусства, из живой природы; все мое, а сам я не принадлежу решительно никому.

Такой взрыв юношеской самостоятельности составляет очень обыкновенное, быть может даже неизбежное явление в жизни каждой мыслящей и развивающейся личности. Но первый трезвый взгляд на экономическую прозу жизни кладет конец этому взрыву. Вы начинаете соображать, что вы поглотили целые сотни четвертей видоизмененной пшеницы и что каждая четверть соответствует известному количеству рабочих дней, конных и пеших, мужских и женских. А я-то, думаете вы, так радовался обилию моих знаний; а я-то так гордился силою моего ума и тонкостью моего эстетического вкуса! Ведь смешно даже подумать, к чему приводится эта радость и эта гордость. Какой я в самом деле молодец! Какую гору пшеницы я съел и переварил! А что же я теперь собираюсь делать? Наслаждаться прелестями молодой жизни, то есть опять есть и опять переваривать? Ведь надо же и честь знать. А если не честь, то надо же знать по крайней мере простые правила арифметики. Если постоянно вычитать из общественного капитала, то, наконец, весь капитал уничтожится и общество придет к банкротству. Я взял взаймы чужой труд; теперь надо же уплачивать этот долг. А чем его уплачивать? Деньгами, что ли? Очевидная нелепость. Это значит занимать у Ивана, чтобы отдавать Петру. За труд можно платить только трудом. Сначала другие люди работали для меня, а теперь я должен работать для других людей. Я весь принадлежу тому обществу, которое меня сформировало; все силы моего ума составляют результат чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на разные приятные глупости, то я окажусь несостоятельным должником и злостным банкротом, хотя может быть, никто не назовет меня этим позорным именем и даже не заметит, что я поступаю бесчестно, то есть становлюсь врагом того самого общества, которому я обязан решительно всем.

Когда вы придете к таким серьезным заключениям, тогда бесцельное наслаждение жизнью, наукою, искусством скажется для вас невозможным. Останется только одно наслаждение, то, которое выходит из ясного сознания, что вы приносите людям действительную пользу, что вы уплачиваете понемногу накопившуюся массу ваших долгов и что вы твердыми шагами, не сворачивая ни вправо, ни влево, идете вперед, к общей цели всей вашей жизни. Да, жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-человечески, кто смотрит на нее с этой

точки зрения. И любовь к женщине, и искусство, и наука — все это или вспомогательные средства в общем механизме жизненного труда, или минуты отдыха в антрактах между оконченною работою и началом нового дела. О любви к женщине и об искусстве я уже говорил выше. Теперь будем говорить о науке. Но сначала надо сделать еще несколько общих замечаний.

Для большей простоты анализа я предположил в первых строках этой главы, что вы, мой читатель, — сын богатого помещика и что вы воспитывались на деньги ваших родителей. При этом условии отношения вашего воспитания к пшенице и к рабочим дням обрисовываются так ясно, что о них больше незачем и распространяться. Но если бы я предположил, что вы — плебей и пролетарий и что вы сами тяжелым трудом завоевали себе каждую отдельную частицу вашего широкого образования, то, даже и в этом случае, настоящая сущность дела осталась бы неизменною. Все-таки окажется при внимательном рассмотрении, что вы всем обязаны обществу и что все силы вашего развитого и укрепленного ума должны быть употреблены на постоянное служение действительным интересам этого общества. Природа дала вам живой ум и сильную любознательность. Но самые превосходные дары природы остаются мертвым капиталом, если вы живете в таком обществе, в котором еще не зародилась умственная деятельность. Те вопросы, которые на каждом шагу задает себе ваш пытливый ум, остаются без ответа; энергия ваша истрачивается на множество мелких и бесплодных попыток проникнуть в затворенную область знания; вы понемногу слабеете, тупеете, мельчаете и, наконец, миритесь с вашим невежеством, как с неизбежным злом, которое, наконец, перестает даже тяготить вас. В нашем обширном отечестве было очень много гениальных самородков, проживших жизнь без труда и без знания по той простой причине, что негде, не у кого и некогда было выучиться уму-разуму. Вероятно, такие печальные случаи повторяются довольно часто и в наше время, потому что Россия велика, а светильников в ней немного. Стало быть, если вы — пролетарий и если вам посчастливилось наткнуться или удалось отыскать такой светильник, который уяснил вам смысл и цель человеческого существования, то вы должны задать себе вопрос: какими средствами зажжен этот спасительный светильник? и какими материалами поддерживается его горение? — Каков бы ни был этот светильник — университет, академия, образованный человек, хороший журнал, умная книга, — все равно; во всяком случае он стоит денег, а мы уже знаем, что деньги — не что иное, как пшеница, рожь, овес, лен, пенька, или, еще проще, рабочие дни, конные и пешие, мужские и женские. Все богатство общества без исключения заключается в его труде. Часть этого труда, теми или другими средствами, отделяется на то, чтобы создавать в обществе умственный капитал. Ясное дело, что этот умственный капитал должен

приносить обществу хорошие проценты, иначе общество будет постоянно терпеть убытки и постоянно приближаться к окончательному разорению. Примеры таких разорений уже бывали в истории. Такое разорение называется падением цивилизации, и каждый ученик уездного училища должен знать, что уже несколько цивилизаций, повидимому сильных и цветущих, упало и уничтожилось без остатка.

XXXI

Человеческий труд весь целиком основан на науке. Мужик *знает*, когда надо сеять хлеб, когда жать или косить, на какой земле может родиться хлеб и какого снадобья надо подбавить в землю, чтобы урожай был обильнее. Все это он знает очень смутно и в самых общих чертах, но тем не менее это — зародыши науки, первые попытки человека уловить тайны живой природы. В свое время эти простые наблюдения человека над особенностями земли, воздуха и растений были великими и чрезвычайно важными открытиями; именно по своей важности они сделались общим достоянием трудящейся массы; они навсегда слились с жизнью, и в этом отношении они оставили далеко за собою все последующие открытия, более замысловатые и до сих пор еще не успевшие пробить себе дорогу в трудовую жизнь простого и бедного человека. В настоящее время физический труд и наука, на всем пространстве земного шара, находятся между собою в полном разрыве. Физический труд пробавляется до сих пор теми жалкими начатками науки, которые выработаны человеческим умом в доисторические времена; а наука в это время накопляет груды великих истин, которые остаются почти бесплодными, потому что масса не умеет ни понимать их, ни пользоваться ими.

Читатель мой, вероятно, привык читать и слышать, что девятнадцатый век есть век промышленных чудес; вследствие этого читателю покажутся странными мои слова о разрыве между физическим трудом и наукою. Да, точно. Люди понемногу начинают браться за ум, но они берутся за него так вяло и так плохо, что мои слова о разрыве никак не могут считаться анахронизмом. Промышленными чудесами решительно не следует обольщаться. Паровоз, пароход, телеграф — все это штуки очень хорошие и очень полезные, но существование этих штук доказывает только, что есть на свете правительства и акционерные компании, которые понимают пользу и важное значение подобных открытий. Русский мужик едет по железной дороге; купец телеграфирует другому купцу о какой-нибудь перемене цен. Мужик размышляет, что славная эта штука чугунка; купец тоже философствует, что оченно хитро устроена эта проволока. Но скажите на милость: пробуждают ли эти промышленные чудеса самодеятельность мысли в головах мужика и купца? Проехал мужик по чугунке, воротился

в свою курную избу и попрежнему ведет дружбу с тараканами, попрежнему лечится нашептываниями знахарки и попрежнему обрабатывает допотопными орудиями свою землю, которая попрежнему остается разделенною на три клина — озимый, яровой и пар. А купец, отправив телеграфическую депешу, попрежнему отбирает силою у своих детей всякие книги и попрежнему твердо убежден в том, что торговать без обмана — значит быть сумасшедшим человеком и стремиться к неизбежному разорению. Паровоз и телеграф пришиты снаружи к жизни мужика и купца, но они нисколько не срослись с их полудикою жизнью.

Когда простой человек, оставаясь простым и темным человеком, входит в близкие и ежедневные сношения с промышленными чудесами, тогда его положение становится уже из рук вон плохо. Посмотрите, в каких отношениях находятся между собою фабричная машина и фабричный работник. Чем сложнее и великолепнее машина, тем тупее и беднее работник. На фабрике являются два совершенно различные вида человеческой породы: один вид господствует над природою и силою своего ума подчиняет себе стихии; другой вид находится в услужении у машины, не умеет понять ее сложное устройство и даже не задает себе никаких вопросов о ее пользе, о ее цели, о ее влиянии на экономическую жизнь общества. До вопросов ли тут, когда надо подкладывать уголь под котел или ежеминутно открывать и закрывать какой-нибудь клапан? И таким образом машина, изобретенная знающим человеком, подавляет незнающего человека, подавляет потому, что между наукою, с одной стороны, и трудящеюся массою, с другой стороны, лежит широкая бездна, которую долго еще не ухитрятся завалить самые великие и самые человеколюбивые мыслители. Если работник так мало развит, что у него нет сознательного чувства самосохранения, то машина закабалит этого работника в самое безвыходное рабство, в то рабство, которое основано на умственной и вещественной бедности порабощаемой личности. Машины должны составлять для человечества источник довольства и счастья, а на поверку выходит совсем другая история: машины родят пауперизм, то есть хроническую и неизлечимую бедность. А почему это происходит? Потому что машины, как снег на голову, сваливаются из высших сфер умственного труда в такую темную и жалкую среду, которая решительно ничем не приготовлена к их принятию. Простой работник слишком необразован, чтобы сделаться сознательным повелителем машины; поэтому он немедленно становится ее рабом. Видите таким образом, что промышленные чудеса превосходно уживаются с тем печальным и страшным разрывом, который существует между наукою и физическим трудом.

Век машин требует непременно добровольных ассоциаций между работниками, а такие разумные ассоциации возможны только тогда, когда работники находятся уже на довольно высокой степени умственного развития. Если же работники, сталки-

ваясь с машинами, продолжают действовать врассыпную, то в рабочем населении развиваются немедленно, с изумительною силою и быстротою, бедность, тупость и деморализация. Представьте себе, что в каком-нибудь округе пятьсот семейств добывают себе насущный хлеб производством полотен. Заработки их не очень богаты, но все они по крайней мере сыты, одеты и даже откладывают кое-какие гроши про черный день. Вдруг какой-нибудь механик придумывает превосходный ткацкий станок, который приводится в движение силою пара и производит в один день столько полотна, сколько простой работник сделает в месяц. Дай бог здоровья механику за его превосходное изобретение, но для наших пятисот семейств новый ткацкий станок равняется страшному неурожаю, громадному пожару, наводнению или вообще какому-нибудь жестокому естественному бедствию. Новая машина так дорога, что ни одно семейство не в силах купить ее на свои собственные сбереженные деньги, а работать по-старому уже невозможно, потому что изобретение механика произвело очень сильное понижение цен на полотно, и ручной труд уже не окупается. Если бы двадцать или тридцать семейств сложили вместе свои крошечные капиталы, то они могли бы купить машину, устроить небольшую фабрику и потом делить между собою барыши соразмерно с внесенными суммами. Но можно сказать наверное, что они этого не сделают; во-первых, никому из них эта простая мысль не придет в голову; во-вторых, если бы даже она пришла в голову одному из этих работников, то она не нашла бы себе сочувствия в других работниках; сейчас явилось бы на сцену то тупое и беспричинное недоверие, которым обыкновенно страдают люди, не привыкшие думать, и которое так превосходно воплощено Гоголем в личности помещицы Коробочки; в-третьих, если бы даже компания действительно составилась, то она через два-три месяца расползлась бы врозь, потому что акционеры, непривычные к коллективной деятельности, перессорились бы между собою, завели бы кляузы и процессы или погубили бы свое общее дело небрежностью. На основании всех этих и многих других причин компания не составляется, и ткачи, задавленные превосходством новой машины, прекращают свое производство, отправляются на соседнюю фабрику и поступают туда в поденщики. Таким образом кладется краеугольный камень того прочного здания, которое называется пауперизмом. Как вам это нравится? Практическое приложение научного открытия увеличивает массу человеческих страданий!

И такие трагические недоразумения между наукою и жизнью будут повторяться до тех пор, пока не прекратится гибельный разрыв между трудом мозга и трудом мускулов. Пока наука не перестанет быть барскою роскошью, пока она не сделается насущным хлебом каждого здорового человека, пока она не проникнет в голову ремесленника, фабричного работника и простого мужика, до тех пор бедность и безнравственность трудящейся массы будут

постоянно усиливаться, несмотря ни на проповеди моралистов, ни на подаяния филантропов, ни на выкладки экономистов, ни на теории социалистов. Есть в человечестве только одно зло — невежество; против этого зла есть только одно лекарство — наука; но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками. Слабый прием этого лекарства увеличивает страдания больного организма. Сильный прием ведет за собою радикальное исцеление. Но трусость человеческая так велика, что спасительное лекарство считается ядовитым.

XXXII

Надо распространять знания — это ясно и несомненно. Но *как* распространять? — вот вопрос, который, заключая в себе всю сущность дела, никак не может считаться окончательно решенным. Взять в руку азбуку и пойти учить грамоте мещан и мужиков — это, конечно, дело доброе; но не думаю я, чтобы эта филантропическая деятельность могла привести за собою то слияние науки с жизнью, которое может и должно спасти людей от бедности, от предрассудков и от пороков. Во-первых, все труды частных лиц по делу народного образования до сих пор носят на себе или чисто филантропический, или нагло-спекулятивный характер. Во-вторых, всякая школа, а народная тем более, имеет замечательную способность превращать самую живую науку в самый мертвый учебник или в самую приторную хрестоматию. Чистая филантропия проявлялась у нас в тех школах, в которых преподаватели занимались своим делом бесплатно. Наглая спекуляция свирепствует до сих пор в тех книжках для народа, которые продаются по пятачку и по три копейки. Об этом последнем явлении распространяться не стоит, потому что каждая из подобных книжек собственною наружностью кричит достаточно громко о своей непозволительной гнусности. Но о филантропии поговорить не мешает, потому что филантропическая деятельность притягивает к себе силы очень хороших людей, которые могли бы принести общему делу гораздо больше пользы, если бы принимались за работу иначе.

Нет того доброго дела, за которое, в разных местах и в разные времена, не ухватывалась бы филантропия; и нет того предприятия, в котором филантропия не потерпела бы самого полного поражения. Характеристический признак филантропии заключается в том, что, встречаясь с каким-нибудь видом страдания, она старается поскорей укротить боль, вместо того чтобы действовать против причины болезни. Мать слышит, например, плач своего ребенка, у которого болит живот. — На, батюшка, на, говорит она ему, пососи конфетку. — Приятное ощущение во рту действительно перевешивает на минуту боль в желудке, которая еще не успела развиться до слишком больших размеров. Ребенок зати-

хает, но болезнь, не остановленная во-время, усиливается, и тогда уже не помогает никакое сосание конфеток. Такая любящая, но недальновидная мать представляет собою чистейший тип искреннего филантропа. Что филантропия русского купечества плодит нищих, которых содержание лежит тяжелым бременем на трудящейся массе, это всем известно. А что бросить грош нищему гораздо легче, чем задумываться над причинами нищенства, это тоже не подлежит сомнению.

Люди, посвящавшие свои силы и свое время преподаванию в народных школах, по чистоте стремлений и по высоте умственного развития стояли, конечно, неизмеримо выше нищелюбивых купцов. Но, надо сказать правду, они были так же недальновидны, как и все остальные филантропы. Они видели зло — невежество. Не вглядываясь в глубокие причины этого зла, они сейчас, при первой возможности, схватились за лекарство. Народ ничего не знает; ну, значит, надо учить народ. Рассуждение, повидимому, так верно и так просто, что оно должно прийти в голову всякому ребенку и что с ним должен согласиться всякий мыслитель. А между тем рассуждение это поверхностно и ошибочно. Почему народ ничего не знает? Во-первых, потому, что ему неудобно было учиться; мешало крепостное право. Допустим, что в настоящее время обстоятельства изменились; явилась *возможность* учиться. Но одной возможности еще недостаточно. Учение есть все-таки труд, а человек никогда не принимается за труд без внешней или внутренней побудительной причины. Если нет побудительной причины, то и филантропическое преподавание останется бесплодным; а если есть побудительная причина, то народ сам выучится всему, что ему действительно необходимо знать, то есть всему, что может доставить ему в жизни какие-нибудь осязательные выгоды. Он выучится урывками, самоучкою, помимо школ, и такое знание, взлелеянное каждым отдельным учеником с страстною и сознательною любовью, будет, разумеется, неизмеримо прочнее, живучее и способнее к дальнейшему развитию, чем то знание, которое методически и систематически вливается учителем в пассивные головы равнодушных школьников. Как вы думаете: кто богаче, тот ли человек, который сам выработал тысячу рублей, или тот, которому вы подарили две тысячи? Что касается до меня, то я, в обиду всем правилам арифметики, скажу смело, что первый гораздо богаче второго. — Стало быть, чтобы дать простым людям те выгоды, которые доставляются образованием, надо создать ту побудительную причину, о которой я говорил выше. То есть надо сделать так, чтобы во всей русской жизни усилился запрос на умственную деятельность. Другими словами, надо увеличить число мыслящих людей в тех классах общества, которые называются образованными. В этом вся задача. В этом альфа и омега общественного прогресса. Если вы хотите образовать народ, возвышайте уровень образования в цивилизованном обществе.

Итак, повторяю вопрос, поставленный в начале этой главы: каким же образом надо распространять знания? А вот ответ на этот вопрос: пусть каждый человек, способный мыслить и желающий служить обществу, действует собственным примером и своим непосредственным влиянием в том самом кружке, в котором он живет постоянно, и на тех самых людей, с которыми он находится в ежедневных сношениях. Учитесь сами и вовлекайте в сферу ваших умственных занятий ваших братьев, сестер, родственников, товарищей, всех тех людей, которых вы знаете лично и которые питают к вашей особе доверие, сочувствие и уважение. Если умеете писать — пишите о предмете ваших занятий; если не чувствуете расположения к литературной деятельности, говорите о нем с теми людьми, у которых уже пробудилась любознательность и на которых вы можете иметь прочное влияние. Эта деятельность внутри собственного кружка многим нетерпеливым людям покажется чрезвычайно скромною и даже мизерною; я согласен с тем, что в такой деятельности нет ничего эффектного и блестящего. Но именно поэтому-то она и хороша. Всякий рассудительный читатель, вдумавшись в настоящую сущность дела придет к тому заключению, что только деятельность, лишенная всякого блеска и эффекта может повести за собою прочные результаты. Такая деятельность по своей наружной мизерности, не возбуждает против себя филистерских стенаний, а под конец и окажется, что младшие братья и дети самых заклятых филистеров сделались реалистами и прогрессистами.

Весь ход исторических событий всегда и везде определялся до сих пор количеством и качеством умственных сил, заключающихся в тех классах общества, которые не задавлены нищетою и физическим трудом. Когда общественное мнение пробудилось, тогда уже очень крупные эксцентричности в исторической жизни становятся крайне неудобными и даже невозможными, хотя бы общественное мнение и не имело еще никакого определенного органа для заявления своих требований. Общественное мнение, если оно действительно сильно и разумно, просачивается даже в те закрытые лаборатории, в которых приготовляются исторические события. Искусные химики, работающие в этих лабораториях, сами живут все-таки в обществе и незаметно для самих себя пропитываются теми идеями, которые носятся в воздухе. Нет той личности и той замкнутой корпорации, которые могли бы считать себя вполне застрахованными против незаметного и нечувствительного влияния общественного мнения. Иногда общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем. Но, кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или другое направление мыслям самих руководителей. Таким образом, даже исторические события подчиняются до некоторой степени общественному мнению. А внутренняя сторона истории, то есть экономическая деятельность, почти вся целиком

находится в руках общества. Оживить народный труд, дать ему здоровое и разумное направление, внести в него необходимое разнообразие, увеличить его производительность применением дознанных научных истин — все это дело образованных и достаточных классов общества, и никто, кроме этих классов, не может ни взяться за это дело, ни привести его в исполнение. К какой бы экономической или социальной доктрине ни примыкал тот или другой писатель, во всяком случае осязательные исторические и бытовые факты для всех писателей остаются неизменными. И что же говорят нам эти факты? То, что до сих пор, всегда и везде, в той или другой форме, физический труд был управляем капиталом. А накопление капитала всегда основано на физическом или умственном превосходстве того лица, которое накопляет. Кто сильнее или умнее других, тот и богаче. Впоследствии, разумеется, капитал сам получает притягательную силу: деньга деньгу родит, как говорит русская поговорка. Но первое начало этой «деньги» заключается в физическом или умственном неравенстве между людьми. А это неравенство, как явление живой природы, не подлежит, конечно, реформирующему влиянию человека.

Переворотов в истории было очень много; падали и политические и религиозные формы; но господство капитала над трудом вышло из всех переворотов в полнейшей неприкосновенности. Исторический опыт и простая логика говорят нам с одинаковою убедительностью, что умные и сильные люди всегда будут одерживать перевес над слабыми и тупыми или притупленными. Поэтому возмущаться против того факта, что образованные и достаточные классы преобладают над трудящеюся массою, значило бы стучаться головою в несокрушимую и непоколебимую стену естественного закона. Один класс может сменяться другим классом, как, например, во Франции родовая аристократия сменилась богатою буржуазиею, но закон остается ненарушимым. Значит, при встрече с таким неотразимым проявлением естественного закона надо не возмущаться против него, а, напротив того, действовать так, чтобы этот неизбежный факт обратился на пользу самого народа. У капиталиста есть ум и богатство. Эти два преимущества упрочивают за ним господство над трудом. Но господство это, смотря по обстоятельствам, может быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полуобразование, — он сделается пиявкою. А дайте ему полное, прочное, чисто человеческое образование — и тот же самый капиталист сделается — не благодетельным филантропом, а мыслящим и расчетливым руководителем народного труда, то есть таким человеком, который во сто раз полезнее всякого филантропа. Откройте умному человеку доступ к тем сильнейшим наслаждениям, которые мы находим в умственном труде и в полезной деятельности, и этот человек, кто бы он ни был, миллионер или пролетарий, непременно пристрастится к этим наслажде-

ниям и непременно поймет, что быть превосходным общественным деятелем приятнее, чем извлекать из своего капитала какие бы то ни было жидовские проценты. Разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда — значит открыть трудящемуся большинству дорогу к широкому и плодотворному умственному развитию. А чтобы выполнить эти две задачи, от разрешения которых зависит вся будущность народа, надо действовать исключительно на образованные классы общества. Судьба народа решается не в народных школах, а в университетах. Распространение грамотности, конечно, ничему не мешает, но жаль, если на этот труд употребляются такие силы, которые могли бы действовать в высших сферах мысли и в более обширном кругу.—У нас таких сил еще очень немного, и люди, одаренные ими, должны, из любви к делу своей жизни, расходовать их с величайшею осмотрительностью. Филантропическими вспышками увлекаться не следует. Надо делать то, что целесообразно, а не то, что красиво, трогательно и похвально с точки зрения сердечной мягкости.

Вот меня опять обвинят в пристрастии к парадоксам за мое откровенное мнение о распространении грамотности. Но я долго и упорно размышлял об этом предмете и старался высказать свою мысль как можно проще, серьезнее и скромнее. Поэтому я бы желал, чтобы мне возражали на эту мысль основательными доводами, а не восклицаниями о моем неисправимом чудачестве. Мне кажется, оно и для дела было бы полезнее.

XXXIII

В науке, и только в ней одной, заключается та сила, которая, независимо от исторических событий, может разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда. Если наука, в лице своих лучших представителей, примется за решение этих двух задач и сосредоточит на них все свои силы, то губительный разрыв между наукою и физическим трудом прекратится очень скоро, и наука в течение каких-нибудь десяти или пятнадцати лет подчинит все отрасли физического труда своему прочному, разумному и благодетельному влиянию. Но я уже заметил в предыдущей главе, что всякая школа обыкновенно превращает живую науку в мертвый учебник. Ученик является в школе пассивным лицом. Научные истины лежат в его голове без движения, в том самом виде, в котором они положены туда преподавателем или руководством. Если в голове ученика состоялось до начала учения какое-нибудь ошибочное понятие, то это понятие очень часто продолжает жить самым дружелюбным образом рядом с такою научною истиною, которая находится с ним в очевидном и непримиримом противоречии. Урок сам по себе, а жизнь сама по себе. Может быть, это происходит от молодости лет, а может

быть, и от общепринятой манеры преподавания. Последнее предположение кажется мне более правдоподобным. У детей нет недостатка в живости и логичности мышления, но у них нет той умственной настойчивости, которая необходима для того, чтобы процесс мышления дошел до какого-нибудь окончательного результата. Дети по поводу своих уроков часто предлагают учителю очень меткие и остроумные вопросы; иногда эти вопросы приводят учителя в немалое смущение своим неожиданным и непозволительным радикализмом; но учитель — человек ловкий и политичный; он быстро производит искусную диверсию, принимает на себя внушительную осанку или произносит с важным видом глубокомысленную чепуху, и умственная самодеятельность, только что зашевелившаяся в живой голове ученика, опять усыпляется надолго, а может быть, и навсегда.

Был у меня в университете один товарищ, человек неглупый, студент работящий и дельный. Он ухитрился дойти до третьего курса безо всякого серьезного миросозерцания. Даже вопросов и сомнений никаких не являлось. Но однажды ему пришлось переводить по заказу какую-то астрономическую статью Бабине или Араго или какого-то другого французского ученого. Эта статья поставила в его голове все вверх дном, и началась та умственная перестройка, которую непременно приходится переживать каждому человеку, прикоснувшемуся к живому знанию. В этом простом случае любопытно следующее обстоятельство: статья французского астронома не заключала в себе никаких полемических тенденций; она излагала ясным и живым языком те самые старые научные истины, которые мой товарищ уже два раза усвоивал себе в гимназии, во-первых, по введению в географию Ободовского, а во-вторых — по математической географии Талызина. Но таковы уже специальные достоинства учебников и школьного преподавания: книга, не тронутая школьным педантизмом, вызывает живую деятельность мысли и прохватывает насквозь все убеждения читателя теми самыми истинами, которые, красуясь на страницах учебника, не возбуждают в мальчике или в юноше ничего, кроме истерической зевоты и ленивого отвращения.

Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий. Университет только в том отношении и лучше других школ, что он предоставляет учащемуся гораздо больше самостоятельности. Но если вы, окончивши курс в университете, отложите всякое попечение о вашем дальнейшем образовании, то вы по гроб жизни останетесь очень необразованным человеком. Кто раз полюбил науку, тот любит ее на всю жизнь и никогда не расстается с нею добровольно. А кто знает науку так мало, что еще не успел привязаться к ней всеми силами своего

существа, тот не имеет ни малейшей причины считать себя образованным человеком. Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по выходе из школы, и это второе учение, по своим последствиям, по своему влиянию на человека и на общество, неизмеримо важнее первого. Стало быть, кто хочет содействовать успехам образования, тот должен прежде всего обращать внимание на то учение, которое производится после школы, вне школы и помимо школы. Чтó читает общество и как оно относится к своему чтению, то есть видит ли оно в нем препровождение времени или живое и серьезное дело, — вот вопросы, которые прежде всего должен себе поставить человек, желающий внести науку в жизнь. Господствующий вкус общества и его взгляд на чтение зависят отчасти от общих исторических причин; но отчасти, и притом в очень значительной степени, они зависят также от личных свойств тех людей, которые пишут для общества. Слабые, дряхлые, бесцветные и бездарные писатели подчиняют свою деятельность прихотям общественного вкуса и капризам умственной моды. Но писатели, сильные талантом, знанием и любовью к идее, идут своею дорогою, не обращая никакого внимания на мимолетные фантазии общества. Умственная энергия таких писателей сама по себе делается иногда таким событием, которое обращает на себя внимание общества и даже создает новую моду. Яркость таланта и сила убеждения могут сделать то, что в обществе, всегда смотревшем на книгу как на некоторую игру облагороженного вкуса, зародится серьезный взгляд на чтение и возникнет законная потребность прикидывать мерку чистой и светлой идеи к сделкам и проделкам действительной жизни. Общество начнет понемногу понимать, что умные мысли кладутся на бумагу не для того, чтобы оставаться в хороших книжках. — Умиляешься, друг любезный, над хорошею книжкою, так не слишком пакости же и в жизни!

Благодаря Гоголю, Белинскому, Некрасову, Тургеневу, Достоевскому, Добролюбову и немногим другим, очень замечательным и добросовестным писателям наше общество уже додумалось до этого умозаключения. Стена между книжною мыслью и действительною жизнью пробита навсегда. Мысль писателя смотрит на действительную жизнь, а жизнь понемногу всасывает в себя питательные элементы теоретической мысли. То, что сделано на этом пути нашими предшественниками, значительно облегчает собою задачу современных писателей. Дайте обществу, что хотите, — научный трактат, газетный очерк каких-нибудь новейших событий, критическую статью по литературе, роман, стихотворение, — все равно: вам уж не будет надобности пробивать ледяную кору равнодушия, невнимания и непонимания; если есть в вашем труде что-нибудь полезное, общество посмотрит, и поймет, и подумает; и мысль ваша западет в ту глубину, в которой вырабатываются и созревают общественные убеждения. При таких условиях и жить стоит и работать можно. Есть уже точка опоры, с которой можно

начать дело сближения между теоретическим знанием и вседневною жизнью. Общество уже не прочь от того, чтобы видеть в чтении путь к самообразованию, а в самообразовании — путь к практическому благоразумию и совершеннолетию. Давайте обществу материалы — оно их возьмет, и воспользуется ими, и скажет вам спасибо; но *давайте* непременно. Само собою, без содействия литературных посредников, общество не в силах пойти за материалами, разрыть их громаду, выбрать и усвоить себе именно то, что ему необходимо. Общество уже любит и уважает науку; но эту науку все-таки надобно *популяризировать*, и популяризировать с очень большим уменьем. Можно сказать без малейшего преувеличения, что популяризирование науки составляет самую важную, всемирную задачу нашего века. Хороший популяризатор, особенно у нас в России, может принести обществу гораздо больше пользы, чем даровитый исследователь. Исследований и открытий в европейской науке набралось уже очень много. В высших сферах умственной аристократии лежит огромная масса идей; надо теперь все эти идеи сдвинуть с места, надо разменять их на мелкую монету и пустить их в общее обращение. Тогда только и можно будет оценить в полном объеме, с одной стороны, глубину, красоту и практическую силу научных идей, а с другой стороны, гибкость и плодовитость человеческого ума, который тогда впервые отдаст себе отчет в своих собственных подвигах. Это сближение мыслителей с обществом непременно поведет за собою сближение общества с народом, то сближение, которое при всяком другом образе действия, конечно, останется навсегда маниловскою фантазиею «Эпохи» и «Дня». [43]

Необходимость популяризировать науку до такой степени очевидна, что, кажется, и распространяться об этом не следует. Не значит ли это унижать великую истину риторическими декламациями? Нет, совсем не значит. У нас и великие истины еще требуют доказательств.—У нас один писатель, и притом из молодых и притом бывший студент естественного факультета, доказывал недавно очень горячо и даже с некоторым озлоблением, что науку незачем популяризировать и что таким делом могут заниматься только шарлатаны и верхогляды. Этого писателя зовут г. Аверкиев, а горячится он в «Эпохе», во второй части своей статьи «Университетские отцы и дети.» [44] Этот г. Аверкиев, пламенный поклонник и неудавшийся подражатель покойного Аполлона Григорьева, очень сердится за что-то на Карла Фохта, повидимому за то, что Фохт не похож на Григорьева. Рассердившись на Фохта собственно с этой специальной стороны, г. Аверкиев утверждает, что популярные сочинения этого ученого по естественным наукам никуда не годятся; а вслед за тем, разгуливаясь все шире да шире, г. Аверкиев возвещает нам, что популяризировать науку даже очень глупо. А доказательства предлагаются вот какие: во-первых, всякая научная истина сама по себе совершенно ясна,

потому что она истина; во-вторых, философские сочинения Канта гораздо удобопонятнее, чем популярные статьи о философии г. Лаврова. В-третьих, Льюис написал свою «Физиологию обыденной жизни» без всяких претензий на популярность, и книга эта оказалась гораздо лучше популярных «Физиологических писем» Карла Фохта. — Ах, какие бесподобные доказательства! Во-первых, всякая научная истина ясна только тогда, когда она изложена ясно. Что ясно для ученого, то может быть совершенно неясно для образованного человека в общепринятом разговорном значении этого слова. И всякую научную истину можно изложить так, что у вас от этой истины затрещит голова и потемнеет в глазах. Сотруднику эстетического журнала не мешало бы, кажется, понимать, что внутреннее достоинство идеи и внешняя форма изложения — две вещи совершенно различные. Во-вторых, пример о Канте и о г. Лаврове замечателен по своей неудачности. Что Кант писал ясно, это — личное открытие или, вернее, изобретение г. Аверкиева. Впрочем, по его мнению, чего доброго, и г. Григорьев, которому он старается подражать, пишет ясно. Немцы, народ совершенно привычный к варварской туманности изложения, все-таки жалуются на Канта, что он писал самое капитальное из своих сочинений «Критику чистого разума» самым тяжелым, деревянным, непонятным и даже схоластическим языком. Лучшее доказательство кантовской неясности заключается в том, что немцы раскусили «Критику чистого разума» через восемь лет после ее выхода в свет. [45] А своим обширным господством над умами всех образованных людей тогдашней Германии философия Канта обязана преимущественно философским статьям Шиллера, сочинениям Рейнгольда и усердным трудам многих других, более мелких популяризаторов. Если бы ясно было, так и незачем было бы так много разъяснять. Что Кант яснее г. Лаврова, об этом я не спорю. Но это доказывает только, что г. Лавров — прекрасный математик и очень ученый человек, но очень плохой популяризатор. Плохих популяризаторов на свете очень много, но выводить из этого простого факта заключение против популяризирования вообще способен только сотрудник «Эпохи». В-третьих, что Льюис писал свою «Физиологию» без стремления к популярности, это опять произвольная выдумка г. Аверкиева. А что «Физиология» Льюиса написана гораздо понятнее и занимательнее, чем «Физиологические письма» Фохта, это чистая правда. Но опять-таки что же из этого следует? То, что Льюис популяризирует лучше Фохта. Это несомненно. И Бюхнер также, как популяризатор, стоит выше Фохта. Я подразумеваю здесь «Физиологические картины», которые по ясности и увлекательности изложения далеко оставляют за собою «Физиологические письма». Я видел собственными глазами, что двадцатилетняя девушка, не имевшая никакого понятия о физиологии, с величайшим увлечением, почти не отрываясь от книги, прочитала три большие статьи из «Физиологических

картин» Бюхнера. Эти три статьи были: «Сердце и кровь», «Воздух и легкие» и «Жизнь и теплота». Кто читал эту книгу Бюхнера, тот знает очень хорошо, что в ней нет и намека на те скандалезные пряности, которыми занимают своих читателей французские негодяи, подобные Дебе и Жуванселю. [46] Стало быть, девушка, незнакомая с физиологиею, была завлечена исключительно интересом предмета и мастерством изложения. Мне кажется, этот опыт говорит громче всяких умозрений, и писатель, достигающий таких блестящих результатов, имеет полное право считаться образцовым популяризатором. Таким популяризатором может сделаться далеко не всякий желающий. При всем своем уме, при своем блестящем литературном таланте, при своих обширных занятиях Карл Фохт в этом отношении все-таки стоит ниже Бюхнера, которого он превосходит во всех других отношениях. Оно и понятно. По своему образованию Фохт — дельный натуралист. Но, по всему складу своего ума и характера, он — политический деятель. Его настоящее место не на профессорской кафедре, а на парламентской трибуне. Но когда надо просто рассказывать, излагать факты, тогда Фохт ясен, спокоен, точен и часто сух. Нет у него той ровной пластичности изложения, которая составляет одно из главных достоинств первоклассного популяризатора.

Популяризатор непременно должен быть художником слова, и высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства состоит именно в том, чтобы слиться с наукою и, посредством этого слияния, дать науке такое практическое могущество, которого она не могла бы приобрести исключительно своими собственными средствами. Наука дает материал художественному произведению, в котором все — правда и все — красота; самая смелая фантазия не может ничего придумать. Такие художественные произведения человек создаст еще впоследствии, когда он много поумнеет и еще очень многому выучится; но робкие попытки, превосходные для нашего времени, существуют в этом роде и теперь. Я могу указать на огромную книгу Брема «Иллюстрированная жизнь животных», о которой мы, впрочем, будем говорить с читателями нашего журнала довольно подробно в течение будущего года. [47] Эта книга задумана в громадных размерах, написана самым простым и увлекательным языком, с удивительным знанием дела, с удивительным пониманием характера и ума различных животных и с самою здоровою, неподкрашенною любовью к природе и к жизни во всех ее проявлениях. Весь рассказ проникнут ровным, спокойно-веселым и постоянно-естественным юмором. Читаешь, и оторваться не хочется. Так читал я только в детстве романы Купера и «Трех мушкетеров». И к этому-то изложению, представьте себе, почти на каждой странице картины, рисованные с натуры превосходными художниками, сделавшими кругосветное путешествие, посетившими несколько зоологических садов в Европе и пользовавшимися советами первоклассных натуралистов.

Читаешь характеристику какого-нибудь четвероногого чудака, посмотришь на его портрет и действительно видишь, и по роже, и по глазам, и по всей его фигуре, что он способен на все те штуки, которые приписывает ему Брем. Когда я приобрел себе эту книгу, которая, впрочем, далеко еще не доведена до конца, то я в течение нескольких дней ни о чем не мог думать, кроме Брема. Просто ошалел от радости. И эту великую, именно великую книгу переводят на русский язык. И картины в ней будут совершенно такие же, как в немецком издании. Но — горе переводчикам, если они хоть сколько-нибудь обесцветят рассказ Брема. Это будет одно из тех литературных преступлений, которых не должно прощать общество. Если издатели догадаются после богатого издания с картинами выпустить другое, дешевое, на серой бумаге, без картин, то Брем проникнет в каждое грамотное семейство. Такая книга есть историческое событие в полном и буквальном смысле этого слова. Если Брем успеет описать все классы животного царства так, как он теперь описывает млекопитающих, то его книга останется на вечные времена не только в истории науки и литературы (это уже само собою разумеется), но и в истории общеевропейской народной жизни. Невозможно представить себе, какое море живой мысли и свежего чувства хлынет вместе с этою книгою в умы всего читающего человечества.

Если неразвитость общества требует, чтобы наука являлась перед ним в арлекинском костюме, с погремушками и с бубенчиками, — это не беда. Такой маскарад нисколько не унижает науку. Дельная и верная мысль все-таки остается дельною и верною. А если этой мысли, чтобы проникнуть в сознание общества, надо украситься прибаутками и подернуться щедринскою игривостью, пускай украшается и подергивается. Главное дело — проникнуть, а через какую дверь и какою походкою — это решительно все равно. Арлекинствовать можно и должно, если только арлекинство ведет к цели.

Иные читатели скажут, что все это вздор, что русская публика может читать серьезные книги и статьи без малейшей приправы арлекинства. Но я отвечу на это: господа, говорите за себя! Есть люди, стоящие ниже вас по развитию, и эти люди читают только то, что их забавляет, и они составляют в читающей массе большинство. Это видно, например, по тому, что публика выписывает журналы чисто ощупью. Лучший журнал, когда-либо существовавший в России, добролюбовский «Современник», имел блестящий успех; прекрасно! Но вслед за тем один из самых плоских русских журналов, «Время», [48] имел также блестящий успех. Что за притча! Да и притчи никакой нет. Увидало дитя малое червонец: давай его сюда! цаца! — Увидало золоченый орех: и к ореху потянулось. Тоже цаца! — Ну, вот и надо, чтобы научные идеи всегда были размалеваны, как цацы. Пускай дитя малое играет этими цацами. Они помогут ему расти; а вырастет, так

и увидит, что эта цаца — штука самая отменная. Но само собою разумеется, что арлекинствовать надо с большим, с очень большим уменьем. Играй и кувыркайся, как хочешь, в своем изложении, но держи ухо востро, ни на одну секунду не теряй равновесия и ни под каким видом не допускай ни малейшего посягательства на то, что составляет жизнь и смысл твоей идеи. Шути, но так, чтобы каждая твоя шутка была строго рассчитана и чтобы совокупность твоих шуток выражала всю научную идею, которую ты хочешь провести в сознание твоих читателей, всю, как есть, без искажений и утаек. Если ты соблюдаешь постоянно это условие, — ты честный и полезный популяризатор. В противном случае ты поступаешь в категорию тех господ, которые, пуская в свет «Физиологию брака», «Тайные явления природы» и разные другие гнусности, прикрывают себя тем благовидным предлогом, что мы, дескать, просвещаем общество.

При недостатке осмотрительности, уменья и серьезности во взгляде на великую цель своей деятельности популяризатор очень легко может превратиться в литературного промышленника и унизить науку до проституции. Но эта проституция заключается не в смехе, не в игривости, не в юморе, а в бесцельности, в бестактности и в неразборчивости этого смеха, этой игривости и этого юмора. Когда смех, игривость и юмор служат средством, тогда все обстоит благополучно. Когда они делаются целью — тогда начинается умственное распутство. Для художника, для ученого, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всех существует одно великое и общее правило: *идея прежде всего!* Кто забывает это правило, тот немедленно теряет способность приносить людям пользу и превращается в презренного паразита. Стоит только сравнить «Свисток» Добролюбова с полемическими статьями теперешнего «Современника», [49] чтобы тотчас понять на живом примере, что значит *«идея прежде всего»* и что значит *«все прежде идеи»*. Конечно, шутливый тон в популярно-научных сочинениях составляет только временное явление. Когда все читающее общество сделается серьезнее в своем взгляде на чтение, тогда и тон изменится; но не следует изменять его слишком рано. Если две-три шутки на странице могут дать вашей статье двух-трех лишних читателей, то было бы очень негуманно и неблагоразумно с вашей стороны отталкивать от себя этих читателей серьезностью изложения, ради того, чтобы соблюсти в неприкосновенности какое-то отвлеченное и совершенно фантастическое понятие о величии и достоинстве науки. Величие и достоинство науки состоит исключительно в той пользе, которую она приносит людям, увеличивая производительность их труда и укрепляя природные силы их умов. Значение науки может только возвыситься, если о ней получат некоторое понятие даже те неразвитые два-три читателя, которые будут привлечены к вашей статье содержащимися в ней шутками. Но, кроме художественности, кроме

шутливого тона, популярное изложение должно отличаться еще и другими свойствами, которые останутся необходимыми даже и тогда, когда смех, игривость и юмор потеряют для общества свою теперешнюю обаятельность.

Я укажу здесь на две главные особенности, которыми популярное изложение всегда должно отличаться от строго-научного.

Во-первых, популярное изложение не допускает в течении мыслей той быстроты, которая совершенно уместна в чисто научном труде. Записные ученые, привыкшие ко всем приемам строгого мышления, ко всевозможным упражнениям умственных сил, могут следить без малейшего напряжения за мыслью исследователя, когда она, как белка, прыгает с одного предмета на другой, бросая читателям только легкие намеки на то, зачем и почему производятся эти быстрые переходы. Следя за этими эволюциями, ученый видит и понимает, что все это одна длинная цепь доказательств, связанная единством общей идеи и общей цели; он видит, что одна мысль логично развивается из другой; но простой читатель этого не увидит и станет втупик. Писатель высказал одно положение, вывел из него другое, на этих двух построил третье и пошел шагать, а простой читатель только недоумевает: каким же образом второе вытекает из первого и почему возможен переход к третьему? Второе действительно не вытекает *непосредственно* из первого; эти два положения связываются между собою двумя или тремя промежуточными умозаключениями; но ученый писатель, уверенный в сообразительности своих товарищей по науке, выкидывает вон эти мостики мысли, которые действительно не прибавляют к ученому труду ничего нового и существенного. Но для читателя, не выучившегося прыгать, такое отсутствие мостиков составляет непреодолимое препятствие. На первой же странице он спотыкается, а уж на какой-нибудь пятой или шестой он решительно не знает, о чем это тут идет речь и зачем это все написано. При таких условиях серьезное чтение ведет за собою только головную боль и одурение. Популяризатор, разумеется, обязан избавить мысль своего читателя от всяких подобных прыжков. В популярном сочинении каждая отдельная мысль должна быть развита подробно, так, чтобы ум читателя успел прочно утвердиться на ней, прежде чем он пустится в дальнейший путь, к логическим следствиям, вытекающим из этой мысли. Если вы будете утомлять ум вашего читателя слишком быстрыми переходами, то получится тот же результат, который произвело бы отсутствие мостиков: читатель ошалеет и совершенно потеряет из виду общую связь ваших мыслей.

Во-вторых, популярное изложение должно тщательно избегать всякой отвлеченности. Каждое общее положение должно быть подтверждено осязательными фактами и пояснено частными примерами. Вот и я, повинуясь этому правилу, покажу на отдельном примере, каким образом популярное изложение должно смягчать быстроту и отвлеченность строго-научного языка. Представьте

себе, что в научном сочинении находится следующая фраза: «Так как все математические суждения отличаются совершенно аналитическим характером, то, *разумеется*, чистая математика меньше всех остальных наук опирается на свидетельство опыта». И затем автор начинает уже выводить дальнейшие заключения из той мысли, что «математика меньше всех остальных наук опирается на свидетельство опыта». Но простой читатель стал втупик. Черта с два тут *«разумеется»*! Почему же *аналитический характер* позволяет чистой математике *опираться на свидетельство опыта меньше всех остальных наук?* Ясное дело, что в нашей фразе заключаются два положения, связанные между собою союзами *так как* и *то*. Между этими двумя положениями должен существовать мостик, но мостик этот, для большей быстроты движения, выброшен вон, а вместо него вставлено проклятое слово *«разумеется»*, означающее собою смелый и ловкий прыжок возмужалой мысли. Популяризатор должен здесь прежде всего напомнить читателю, что такое *анализ* и в чем состоит его существенное отличие от *синтеза*. Потом он должен взять два или три математические суждения — чем проще, тем лучше — и показать на этих примерах, в чем состоит типическая особенность всякого математического суждения и чем эти суждения отличаются, например, от истин химии или физиологии. Таким образом выяснится *аналитический характер* математических суждений. Вместе с тем выяснится и отношение математики к опыту. Читатель поймет, что при *анализе* только исходная точка берется из опыта, а при *синтезе*, напротив того, весь процесс мысли постоянно опирается на опыт. Ясно, стало быть, что чем исключительнее преобладает в какой-нибудь науке элемент анализа, тем незначительнее становится в ней участие опыта.

Популяризатор должен постоянно предвидеть все вопросы, сомнения и возражения своего читателя; он сам должен ставить и разрешать их; такая тактика имеет двоякую выгоду: во-первых, предмет освещается со всех сторон; во-вторых, вопросы и возражения прерывают собою монотонное течение речи, поддерживают и напрягают постоянно внимание читателя, который, в противном случае, легко может вдаться в полумашинальное чтение, то есть пропускать через свою голову отдельные мысли, не вдумываясь в их отношение к целому. Не только группировка мыслей и общий тон изложения, но даже самый язык, выбор слов и оборотов имеют очень значительное влияние на успех или неуспех популярно-научного сочинения. Удачное выражение, меткий эпитет, картинное сравнение чрезвычайно много прибавляют к тому удовольствию, которое доставляется читателю самым содержанием книги или статьи. А так как просвещать читателя помимо его собственной воли нет ни малейшей возможности, то и не следует ни под каким видом пренебрегать теми техническими средствами языка, которые могут увеличить удовольствие читателя, не вредя основной идее вашего труда. Бентам доказывает очень подробно

и чрезвычайно убедительно, что законы должны быть написаны не только совершенно ясным и простым, но еще, кроме того, изящным языком. С этим мнением трудно не согласиться. В самом деле, в настоящее время нет на свете ни одной страны, в которой большинство грамотных людей имело бы совершенно ясное понятие о законах своего отечества. От этих законов зависит жизнь, честь, собственность, гражданское положение и семейное спокойствие, словом, все земное благополучие каждой отдельной личности, а между тем их все-таки почти никто не знает, кроме судей и адвокатов. Можно себе представить, сколько невольных преступлений, сколько бестолковых процессов, какая трата времени, сил, денег происходят от этого незнания. А чем же объясняется самый факт этого удивительного незнания? Да просто тем, что свод законов совершенно справедливо считается у всех народов земного шара, имеющих какой-нибудь свод, самою скучною книгою, какую только можно было выдумать и написать. А происходит ли эта невыносимая скучность свода законов от самого содержания этой книги? Составляет ли она необходимую принадлежность самого предмета? Ничуть не бывало. Закон определяет отношения между людьми, установляет их права и обязанности. Трудно даже придумать что-нибудь интереснее этого предмета. Но этот предмет превращен в сухой скелет педантизмом средневековых юристов и остался в своем засушенном положении по милости современных законоведов, робеющих до сих пор перед призраками старых авторитетов. Бентам доказал теоретически и, что еще гораздо важнее, показал на практике, своим собственным примером, что можно писать живо и увлекательно не только исследования по философии права, но даже текст кодекса, статьи свода законов. По мнению Бентама, самый текст закона должен быть написан коротко и ясно; закон приказывает или запрещает, но не рассуждает. Но, вслед за этою каноническою частью каждой отдельной статьи, должен следовать комментарий, в котором объясняется значение, необходимость, целесообразность и причина данного закона. Совокупность этих комментариев составит, по мнению Бентама, полный и чрезвычайно интересный кодекс нравственной философии. И книга, вмещающая в себе такой кодекс, сделается настольною книгою в каждом грамотном семействе; по этой книге отец сам будет объяснять своим детям законы той страны, в которой им суждено жить и действовать; благодаря таким комментариям закон ляжет в основание самого обыкновенного воспитания. Вследствие этого бо́льшая часть непроизводительных юристов принуждена будет заняться полезным трудом. Но все это возможно только в том случае, если законы будут изложены легким, простым и изящным языком. Иначе никакая философская глубина комментариев не принудит общество читать и изучать свод законов. В общей массе люди чрезвычайно легкомысленны; они всегда делают то, что им приятно, и очень редко делают то, что им полезно;

Все понимают как нельзя лучше, что знание законов необходимо; все знают, что незнанием законов никто отговариваться не может; и, однако, почти никому в голову не приходит почитать в часы досуга и отдохновения свод законов. После этого есть ли хоть малейшая возможность ожидать, что люди примутся читать популярно-научные сочинения, если эти сочинения не будут доставлять им приятного препровождения времени? Ведь как ни велика польза научных знаний, а все-таки эта польза далеко не так очевидна, как польза законоведения. Против науки вы услышите много голосов, даже в печати, а уж против изучения законов не возразят ни слова ни купчиха Кабанова, ни Виктор Ипатьевич, [50] ни даже г. Катков.—Ясно, стало быть, что внешняя форма популярного изложения имеет громадную важность.

XXXIV

После всего, что я говорил о популяризировании науки, у читателя, по всей вероятности, зародился в уме естественный вопрос: какие же именно науки необходимо популяризировать? В общих чертах читатель, разумеется, уже знает мой образ мыслей; он знает, что я не укажу ни на санскритскую грамматику, ни на египетскую археологию, ни на теорию музыки, ни на историю живописи. Но если читатель полагает, что я буду рекомендовать ему преимущественно технологию, практическую механику, геогнозию или медицину, то он ошибается. Наука, слившаяся уже с ремеслом, наука прикладная, конечно, приносит обществу громадную и неоспоримую пользу, но популяризировать ее нет ни надобности, ни возможности. Технологи, геогносты, механики необходимы для общества, но люди, имеющие общие понятия о технологии, геогнозии и механике, никому и ни на что не нужны. Словом, прикладные науки должен изучать совершенно основательно каждый человек, желающий обратить их в свое хлебное ремесло. Кто изучает науку основательно, тот, конечно, обращается к самым источникам науки, а не к популярным сочинениям. Стало быть, нуждаются в популярной обработке только те отрасли знаний, которые, не слившись с специальным ремеслом, дают каждому человеку вообще, без отношения его к частным занятиям, верный, разумный и широкий взгляд на природу, на человека и на общество. Разумеется, здесь, как и везде, на первом плане стоят те науки, которые занимаются изучением всех видимых явлений: астрономия, физика, химия, физиология, ботаника, зоология, география и геология.

Превосходство естественных наук над всеми остальными накоплениями знаний, присвоивающими себе также титул науки, до такой степени очевидно, и мы уже так часто и с таким горячим убеждением говорили о значении этих наук, что теперь мне

незачем о них распространяться. Замечу только, что под именем *географии* я понимаю, разумеется, не перечисление государств, а общую картину земного шара и определение той связи, которая существует между землею и ее обитателями.—Но естественные науки, при всем своем великом значении, не исчерпывают собою всего круга предметов, о которых человеку необходимо составить себе понятие. Человек должен знать человека и общество. Физиология показывает нам различные отправления человеческого организма; сравнительная анатомия показывает нам различия между человеческими расами; но обе эти науки не дают нам никакого понятия о том, как человек устраивает свою жизнь и как он постепенно подчиняет себе силы природы силою своего ума. Оба эти вопроса имеют для нас капитальную важность; но те отрасли знания, от которых мы должны ожидать себе на них ответа, — история и статистика, — до сих пор еще не достигли научной твердости и определенности. История до сих пор не что иное, как огромный арсенал, из которого каждая литературная партия выбирает себе годные аргументы для поражения своих противников. Превратится ли история когда-нибудь в настоящую науку, — это неизвестно и даже сомнительно. Научная история была бы возможна только в том случае, если бы сохранились все материалы для составления подробных статистических таблиц за все прошедшие столетия. Но о таком богатстве материалов нечего и думать. Поэтому для изучения человека в обществе остается только внимательно вглядываться в современную жизнь и обмениваться с другими людьми запасом собранных опытов и наблюдений. Статистика уже дала нам множество драгоценных фактов; она подрывает веру в пригодность пенитенциарной системы; [51] она цифрами доказывает связь между бедностью и преступлением; но статистика только что начинает развиваться, и мы имеем полное основание ожидать от нее в ближайшем будущем в тысячу раз больше самых важных практических услуг, чем сколько она оказала их нам до сих пор.

Статья моя кончена. Читатель видит из нее, что все стремления наших реалистов, все их радости и надежды, весь смысл и все содержание их жизни пока исчерпывается тремя словами: «*любовь*, *знание* и *труд*». После всего, что я говорил выше, эти слова не нуждаются в комментариях.

ПРОМАХИ НЕЗРЕЛОЙ МЫСЛИ

I

Прежде чем я приступлю к настоящему предмету моей статьи, я должен поправить один *промах* моей собственной *мысли*, которую я во многих отношениях считаю очень *незрелою*. Лет пять-шесть тому назад я прочитал раза два или три повести и рассказы графа Л. Н. Толстого, печатавшиеся тогда в «Современнике».[1] Читал я их с увлечением; они мне очень нравились, но я был еще до такой степени молод, что решительно не в силах был бросить на них общий взгляд и вдуматься в настоящий смысл тех типов, которые изучил и воспроизвел граф Толстой. Внимание мое останавливалось на удивительно тонкой отделке мелких подробностей, ландшафтных, бытовых и преимущественно психологических. В эти дни моей самой ранней юности я был помешан, с одной стороны, на величии науки, о которой не имел никакого понятия, а с другой, на красотах поэзии, которой представителями я считал, между прочими, г. Фета и моего университетского товарища, г. Крестовского.[2] Прочитавши повести Толстого, я, разумеется, решил, что Толстой — поэт и что я должен быть ему очень благодарен за доставленное мне эстетическое наслаждение. В 1860 году в моем развитии произошел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим любимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне всего больше стали нравиться самые резкие ноты его смеха. От Гейне понятен переход к Молешотту и вообще к естествознанию, а далее идет уже прямая дорога к последовательному реализму и к строжайшей утилитарности. Когда эти переходы совершились, тогда, конечно, всякую чистую художественность я с величайшим наслаждением выбросил за борт. Мне так много надо было читать, учиться и работать, что решительно не было возможности пересматривать отдельно каждую из тех безделушек, которые составляли в совокупности пеструю кучу поэзии, возбуждавшей недавно мои юношеские восторги. Я осудил и осмеял в своем уме всю эту кучу гуртом, не боясь ошибиться, потому что общее впечатление было еще очень свежо в моей памяти.

Память меня не обманула, но ведь память сохраняет только то, что вы сами даете ей на сохранение. Если вы в сумерках рассматривали какую-нибудь материю, которая тогда показалась вам прочною и красивою, то память так и отметит у себя, что, мол, в таком-то магазине есть такая-то материя, прочная и красивая. Но будет ли замеченная материя действительно соответствовать вашим ожиданиям, не разочаруетесь ли вы в ее достоинствах, когда увидите ее днем? — это уже такие вопросы, на которые никак не может отвечать ваша память. Память моя говорила мне, что пестрая куча нравилась мне своею чистою художественностью. Ум мой отвечал на это: значит, никуда не годится! — Но не было ли в этой куче, кроме чистой художественности, каких-нибудь золотых крупинок мысли, не замеченных и не оцененных мною в то время, когда я способен был восхищаться только сладкими звуками? — это такой вопрос, которого не могли решить ни память, ни ум, произносивший свой приговор на основании общих воспоминаний. Вот тут-то и случился промах. В статье моей «Цветы невинного юмора» я, мельком упоминая о литературной деятельности графа Толстого, замечаю, что публика отнеслась к ней довольно равнодушно, и объясняю это равнодушие тем обстоятельством, что в произведениях графа Толстого нет ничего, кроме чистой художественности. Это объяснение никуда не годится. В нынешнем году вышли сочинения Толстого в издании г. Стелловского. Я прочитал «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика» и «Люцерн». На этом я покуда остановился. Меня изумили обилие, глубина, сила и свежесть мыслей. Мне пришло в голову, что критика наша молчала о Толстом или, еще того хуже, говорила о нем ласкательные пустячки единственно по своему признанному бессилию и скудоумию. Добролюбову неловко было чересчур много говорить о постоянном сотруднике «Современника», ну, а кроме Добролюбова, — известное дело, — хоть шаром покати! Аполлон Григорьев, у которого, при всей его безалаберности, были очень живые проблески мысли и чувства, Аполлон Григорьев, говорю я, понимал, что произведения Толстого затрогивают что-то очень большое и очень важное; понимал он, что тут хорошо было бы пошевелить мозгами и кое-что разъяснить; и начал он во «Времени» статью о Толстом; [3] и, разумеется, ничего не разъяснил. Всем статьям этого критика постоянно суждено было оставаться размашистыми вступлениями во что-то такое, о чем ни Григорьев, ни его читатели не имели, не имеют и никогда не будут иметь никакого понятия. Толстой остался попрежнему в тени. Его читают, его любят, его знают как тонкого психолога и грациозного художника, его уважают как почтенного работника в яснополянской школе, но до сих пор никто не подхватил, не разработал и не подвергнул тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается в превосходных повестях этого писателя. О каждом романе Тургенева кричат и спорят по крайней мере по полугоду. Толстого прочи-

тают, задумаются, ни до чего не додумаются, да так и покончат дело благоразумным молчанием. Это молчание я попробую нарушить. В моей статье читатель не найдет, разумеется, ни похвал, ни порицаний писателю. Он найдет только анализ тех живых явлений, над которыми работала творческая мысль графа Толстого.

II

Читатели мои знают, конечно, что повести «Детство», «Отрочество» и «Юность» составляют три отдельные части воспоминаний Николая Иртеньева. Эти воспоминания начинаются с одиннадцатого и доходят до восемнадцатого года его жизни. В конце своего «Отрочества», за несколько месяцев до вступления в университет, Иртеньев сближается с князем Нехлюдовым, которого характер, набросанный довольно яркими чертами в «Юности», дорисовывается вполне в отдельных рассказах: «Утро помещика» и «Люцерн». — Иртеньев и Нехлюдов принадлежат оба к тому поколению, которому во время Крымской войны было около тридцати лет. Это поколение лет на десять моложе Рудиных и Печориных и лет на десять или на пятнадцать старше Базаровых. В настоящую минуту людям базаровского типа можно положить возраст от двадцати до тридцати лет; Иртеньевым и Нехлюдовым — около сорока, а Рудиным и Печориным — с лишком пятьдесят. Впрочем, границы базаровского типа еще не могут быть обозначены, потому что в настоящую минуту мы не видим его конца. Трудно сделаться раньше двадцати лет зрелым, то есть вполне сознательным и непоколебимым Базаровым, но из этого обстоятельства никак нельзя выводить то заключение, что молодые люди, еще не достигшие двадцатилетнего возраста, составляют крайний предел базаровского типа; пятнадцатилетний мальчик, конечно, не может быть Базаровым, потому что в эти лета характер и образ мыслей едва начинает формироваться; но утверждать, что этот мальчик никогда не будет Базаровым, было бы очень опрометчиво. Напротив, можно сказать почти наверное, что через несколько лет умный пятнадцатилетний мальчик сделается непременно Базаровым.

В настоящую минуту в умственной жизни нашего общества нет еще решительно ни одного признака, на основании которого мы могли бы предположить, что на смену Базаровых вырабатывается какой-нибудь новый тип. — Иртеньевы и Рудины находятся в совершенно другом положении. Это — типы прошедшего, скромно доживающие свой век и уже не обновляющиеся притоком новых представителей. Иртеньевы и Нехлюдовы, как по своему возрасту, так и по характеру, занимают середину между Рудиными, с одной стороны, и Базаровыми, с другой. Рудины — чистые говоруны, не имеющие даже понятия о возможности какой-нибудь деятельности, кроме деятельности языка. Базаровы — чистые работники, допускающие деятельность языка только в том случае, когда она

содействует успеху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы — ни рыба, ни мясо. Они за все хватаются, везде хотят произвести что-нибудь изумительно хорошее и в то же время совсем ничего не знают и решительно ничего не умеют сделать как следует. Рудины берутся за какую-нибудь работу только в самом крайнем случае, то есть когда им есть нечего. Да и тут работа идет у них так нескладно, что они сидят впроголодь и ходят с разодранными локтями. У Иртеньевых жажда деятельности гораздо сильнее, чем у Рудиных, а насчет практической сметливости они друг друга стоят. Настоящее назначение Иртеньевых и Нехлюдовых заключается в том, чтобы сидеть на мягком кресле и кушать страсбургские пироги. Это единственное занятие, которому они могут предаваться с полным успехом. Но их неугомонная добродетель никак не позволяет им удовлетворяться такою безмятежною отраслью деятельности. Их все подмывает сотворить какое-нибудь удивительно мудреное добро. Они вскакивают с мягкого кресла, хлопочут до обморока и кончают свои добродетельные упражнения тем, что разоряются в пух. Впрочем, этот результат сам по себе очень недурен, потому что некоторые обломки нехлюдовского или иртеньевского состояния попадают иногда в руки таких людей, которые, во-первых, нуждаются в деньгах, а во-вторых, умеют с ними обращаться. Таким образом, Нехлюдовы и Иртеньевы приносят иногда пользу совершенно непроизвольно, подобно тому как многие люди оказывают обществу незаменимую услугу своею мирною кончиною. А между тем Иртеньевы и Нехлюдовы — люди очень неглупые и совсем не подлые. Те из них, которые родились и выросли в знатных семействах, готовы даже, для совершения великих подвигов добра, переломить свои привычки к роскошной жизни и разорвать свои связи с аристократическим обществом. Стало быть, в недостатке усердия их упрекнуть нельзя; и объяснять их бесполезность исключительно расслабляющим влиянием барственного воспитания было бы также не совсем основательно. Причины их практической непригодности и их бесплодных страданий оказываются гораздо сложнее и лежат гораздо глубже, чем можно было бы подумать при беглом взгляде на общий очерк их неудачной деятельности. Причины эти показаны графом Толстым так ясно, так подробно и так убедительно, что мне остается только сгруппировать для общих выводов те бытовые и психологические факты, которые разбросаны в отдельных сценах и отрывочных эпизодах «Детства», «Отрочества» и «Юности».

III

С самого раннего возраста Иртеньев чувствовал мучительный разлад между мечтою и действительностью. Вот короткий отрывок из его воспоминаний о классной комнате. «Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие

до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю? Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки» (стр. 9).

Мальчишке лень, мальчишке учиться не хочется, скажут эксперты по части педагогики. Мы к этому давно привыкли, и ничего тут нет особенного. — Знаю, господа. Но именно это-то и скверно, что вы давно к этому привыкли и не видите тут ничего особенного. Это-то и скверно, что подобные истории повторяются аккуратно каждый день, в каждом семействе, в котором есть учащиеся дети. Это-то и скверно, что мы всегда принимаем господствующий обычай за закон природы. Присмотримся к тому отдельному случаю, который представляется нам в воспоминаниях Иртеньева. Ребенку хочется быть вместе с матерью и с большими. — Зачем его туда не пускают? — Ребенку не хочется сидеть за диктовкою и за диалогами. — Зачем его к этому приневоливают? — Что за глупые вопросы? заговорят хором все читатели, эксперты и не эксперты, мужчины и женщины, старики и молодые. — Зачем? Надо же ребенку учиться! Нельзя же ему баклушничать! — А я опять свое: зачем же надо? И отчего же нельзя? — Ну! час от часу не легче! Надо ребенку учиться, например, хоть бы для того, чтобы, по достижении известного возраста, поступить в учебное заведение. — А зачем же ему, по достижении известного возраста, надо поступить в учебное заведение? — Фу, какие глупые шутки! Затем, чтобы учиться, чтобы сделаться образованным человеком, чтобы составить себе какую-нибудь карьеру. — (Слова «учиться» и «сделаться образованным человеком» приведены здесь для украшения речи. Поэтому я пропущу их мимо ушей и задам еще один вопрос, который уже окончательно выведет из терпения всех моих собеседников.) — А зачем же ему надо составить себе какую-нибудь карьеру? — Что ж ему, по-вашему, собак гонять в деревне или в свинопасы определиться? Или пить, есть, спать и баловаться с горничными? Что это вы, у госпожи Простаковой, урожденной Скотининой, что ли, заимствовали педагогическую философию?

Напрасно вы, волнующиеся читатели, думаете застращать меня именем госпожи Простаковой, урожденной Скотининой. Не в обиду вам будь сказано, госпожа Простакова, урожденная Скотинина, окажется гениальною мыслительницею, если мы сравним ее идеи о воспитании с тем жалким набором перепутанных и непонятых полуправил и полуфраз, который считается обязательным кодексом общепринятой домашней педагогики. У Простаковой есть одно драгоценное свойство; у нее есть последователь-

ность, а у вас, господа эксперты, ее нет; и вы даже инстинктивно боитесь ее и ненавидите эту проклятую последовательность в других людях. Простакова говорит, например, что география совсем не дворянская наука, потому что на то есть кучер, чтобы везти, куда ему прикажут, безо всякого описания земли. Превосходная мысль! Изумительная логика! Самый прямой и необходимый вывод из крепостного права! Когда под моею властью находятся люди, обязанные удовлетворять всем моим потребностям и исполнять все мои прихоти, тогда я смело отрицаю всякую науку, в том числе и географию. Так всегда было, и того требует сила вещей или логика истории. А просвещенные педагоги рассуждают о географии совсем иначе. Они говорят, что география есть одна из отраслей знания и что знание вообще расширяет ум человека и умягчает его душу. И, говоря эти хорошие слова, они в то же время понимают как нельзя лучше, что ни учебник Арсеньева, ни учебник Ободовского, ни учебник Павловского[4] не расширили до сих пор ничьего ума и не умягчили ничьей души. Хорошие слова произносятся таким образом даже без малейшей надежды обмануть ими кого бы то ни было. Суждения Простаковой гораздо разумнее этих хороших слов, потому что Простакова по крайней мере сама крепко верит в истину того, что она говорит. — Когда Митрофанушка объявляет: «не хочу учиться, хочу жениться!» — тогда Простакова начинает его ублажать: «ты, говорит, хоть для виду поучись! А там мы тебя сейчас и женим». — Здесь опять Простакова оказывается правдивее и благоразумнее просвещенных педагогов. Она понимает, что когда человек не хочет учиться, тогда он может учиться только для виду. Понимая это дело так просто и разумно, она и высказывает свое желание совершенно прямо и откровенно. Просвещенные педагоги, повидимому, знают натуру детей гораздо глубже, чем знала ее госпожа Простакова; они пишут целые статьи о том, что ребенка следует приохочивать к учению. Кроме того, они так глубоко уважают науку, что ни за что не решатся сказать воспитаннику: поучись только для виду! Но так как писать статьи и уважать науку гораздо легче, чем возиться с шаловливыми ребятами, — то при первом же столкновении с действительностью, то есть с живым, а не с воображаемым воспитанником, просвещенные педагоги тотчас заменяют слово «приохочивать» словом «приневоливать». — Хорошие слова вставляются попрежнему в книжки и в рассуждения, а ребенок все-таки учится для виду, и педагог, изучивший детскую натуру и уважающий науку, видит это очень хорошо, но смотрит на дело сквозь пальцы или утешает себя тем известным рассуждением, что самая верная теория непременно должна пускаться на уступки при столкновениях с практикою. Значит, и в этом случае госпожа Простакова, урожденная Скотинина, может дать нашим экспертам хороший урок по части последовательности и прямодушия.

Приохочивать гораздо труднее, чем *приневоливать*. Это несомненно. Если бы от каждого воспитателя требовалось непременно уменье приохочивать ребенка к учению, то, наверное, девяносто девять сотых тех людей, которые в настоящее время называют себя гувернерами и гувернантками, были бы принуждены отказаться от своего ремесла. Отцы и матери ужаснулись бы, увидев такое запустение, отнимающее у их детей всякую надежду сделаться когда-нибудь образованными людьми, но сами дети не потеряли бы ровно ничего, потому что все, что изучается по принуждению, забывается при первом удобном случае. Десятилетнему мальчику, Коле Иртеньеву, хочется сидеть на террасе, возле матери, вместе с большими; ему хочется слушать их разговоры и участвовать в их смехе. Ребенок понимает инстинктивно свою собственную пользу гораздо вернее, чем ее понимают взрослые. Он своими ребяческими желаниями тянется именно в то место, где ему следует быть, где он может приглядываться к действительной жизни и где умные речи взрослых должны будить и шевелить его любознательность. Но взрослые гонят его прочь от себя, по известной пословице: «знает кошка, чье мясо съела». Взрослые чувствуют очень хорошо, что их речи совсем не умные, а, напротив того, постоянно вздорные и подчас очень грязные. Присутствие ребенка стыдит и стесняет их, и они загоняют его куда-нибудь подальше, в классную, не только затем, чтобы он зубрил диалоги, но преимущественно затем, чтобы он не мозолил им глаза и не мешал им врать пошлости. С одной стороны, в этом желании удалить ребенка можно видеть смиренное сознание собственной замаранности; мы, дескать, пустые и дрянные люди, и мы это чувствуем, и поэтому мы боимся загрязнить собою нашего чистого ребенка. С другой стороны, в этом же самом желании можно видеть полную умственную пустоту и безнадежную нравственную распущенность. Мы, дескать, любим нашего ребенка, но и для его пользы и для удовольствия быть с ним вместе не оставим ни одной из наших глупых или предосудительных привычек. Значит, с одной стороны, выходит трогательно, а с другой стороны — скверно; но, кроме того, с обеих сторон — глупо, потому что, в большей части случаев, это систематическое удаление ребенка из общества взрослых решительно ни к чему не ведет. Рано или поздно, тем или другим путем, через лакейскую или через девичью, ребенок непременно узнает все тайны, семейные или физиологические, которые скрывались от него самым тщательным образом. Если ребенок считал папеньку и маменьку полубожественными существами, то он в них непременно разочаруется и будет в душе своей относиться к ним тем суровее, чем больше они с ним лукавили. Он будет понимать их слабости, да еще, кроме того, будет презирать их за систематический обман. Туда же, скажет, на пьедестал лезут! Если ребенок полагал, что дети родятся в капусте, то он и тут разочаруется и, сверх того, узнает настоя-

щую сущность вещей от какого-нибудь смышленого сверстника с такими заманчивыми украшениями, которых не придумает ни один взрослый и которые могут сделать это открытие действительно опасным для юного слушателя. Как хотите рассуждайте, а ведь все-таки не было на свете ни одного человека, который в течение всей своей жизни считал бы своих родителей полубогами и который дожил бы до седых волос в том приятном убеждении, что дети родятся в капусте. Из чего же мы так хлопочем о той чистоте ребенка, которая непременно должна исчезнуть без остатка при первом проблеске его умственной самодеятельности? Или, может быть, мы делаем это для симметрии? — Природа дает детям молочные зубы, которые потом выпадают и заменяются настоящими. Ну, а мы — должно быть, для симметрии — вкладываем им в голову молочные идеи, которые потом также выпадают и также заменяются настоящими. И для этого мы удаляем детей из нашего общества, которое все-таки, несмотря на все наши пошлости, могло бы принести им гораздо больше пользы, чем заучивание диалогов в ненавистной классной комнате.

IV

Если старшие члены семейства — люди дельные, умные и образованные, то лучшею первоначальною школою для детей будет та комната, в которой отец и мать работают, читают или разговаривают. Ребенок всегда интересуется тем, что делают взрослые. И прекрасно. Пусть присматривается к их работе, пусть вслушивается в их чтение, пусть старается понимать смысл их разговоров. Он будет предлагать свои вопросы; ему будут отвечать как можно проще и яснее; но в самых простых и ясных ответах ему будут попадаться некоторые вещи, превышающие его ребяческое понимание. Ему захочется поработать вместе с взрослыми; все мы знаем по вседневному опыту, с каким усердием и с какою радостною гордостью дети бегут помогать взрослым, когда они видят, что помощь их приносит действительную пользу. Но при первой попытке поработать вместе с взрослыми ребенок наш увидит, что работа только с виду кажется легкою и простою штукою, а что на самом деле тут необходима такая сноровка, которая сразу никому не дается. Любознательность ребенка будет, таким образом, затронута тем, что осталось для него неясным в разговорах и ответах старших. Самолюбие и стремление к деятельности будут постоянно возбуждаться в нем тем зрелищем, что вот, мол, большие работают, а я-то ни за что не умею приняться. И ребенок сам начнет приставать к отцу и к матери, чтобы они его чему-нибудь поучили; и когда, уступая этим слезным мольбам, отец или мать возьмутся за книгу или начнут показывать ребенку

основные начала какого-нибудь рукоделия, тогда ребенок будет смотреть на них во все глаза и слушать разиня рот, боясь проронить что-нибудь из тех наставлений, которых он сам добивался. Каждый наблюдательный человек может, наверное, припомнить множество случаев, в которых восьми- или десятилетний ребенок выучился читать и писать почти самоучкою. А всякий, конечно, согласится с тем, что механизм чтения и писания составляет самую скучную и, быть может, даже самую трудную часть всей человеческой науки. Известна русская поговорка: первая колом, вторая соколом, а там полетели мелкие пташки. Эта поговорка, весьма любезная всем кутилам, может быть приложена с полным успехом не только к поглощению вина и водки, но и ко всякому другому, более полезному занятию. Везде первый шаг труднее и страшнее всех остальных. Стало быть, если даже этот первый шаг в деле книжного учения может быть сделан ребенком по собственному влечению, то о других шагах нечего и толковать. Надо только, чтобы взрослые до самого конца не изменяли великому принципу невмешательства, то есть чтобы всегда и во всяком случае ученик приставал к учителю, а не наоборот. Что учение может идти совершенно успешно не только без розог, но даже — что несравненно важнее — безо всякого нравственного принуждения, — это доказано на вечные времена практическим опытом самого же графа Толстого в яснополянской школе. Но если вы никогда не задумывались над этим вопросом, то вы даже и представить себе не можете, какое громадное влияние будет иметь на весь характер ребенка, на весь склад его ума и на весь ход его дальнейшего развития — то обстоятельство, что он, с самого начала, не делал в книжном учении ни одного шага без собственного желания и без внутреннего убеждения в разумности и необходимости этого шага.

Вглядитесь в развитие Николая Иртеньева, и на этом превосходном примере вы увидите, до какой степени важны и вредны могут быть первые тяжелые впечатления, вынесенные ребенком из классной комнаты. Я заметил выше, что Иртеньев рано почувствовал разлад между мечтою и действительностью. Вы скажете может быть, что все мы, рано или поздно, начинаем чувствовать этот разлад и что самое превосходное воспитание не может вполне предохранить человека от этого тягостного ощущения. Я с вами согласен, но не совсем. Разлад разладу рознь. Моя мечта может обгонять естественный ход событий; или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека. Представьте себе, что вы занимаетесь какою-нибудь ученою работою; вы устали, идете гулять и начинаете мечтать о том, что вы сделаете, когда труд ваш будет окончен. Вот, думаете вы, заплатят мне хорошие деньги, заговорят обо мне

в журналах, дадут кафедру, поеду за границу, женюсь на такой-то, буду жить так и так. — Потом когда прогулка ваша приходит к концу и когда наступает время спешить куда-нибудь в лабораторию, в клинику или в публичную библиотеку, вы тотчас соображаете, что для осуществления всех ваших привлекательных мечтаний вам прежде всего следует поработать. — Ну, что ж, думаете вы, разве я от этого прочь? И поработаю. Согласитесь, что в подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализировало бы вашу рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим, в цельной и законченной красоте, то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу себе представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни. Мечта какого-нибудь утописта, стремящегося пересоздать всю жизнь человеческих обществ, хватает вперед в такую даль, о которой мы не можем даже иметь никакого понятия. Осуществима ли, не осуществима ли мечта, — этого мы решительно не знаем. Видим мы только то, что эта мечта находится в величайшем разладе с тою действительностью, которая находится перед нашими глазами. Существование разлада не подлежит сомнению, но этот разлад все-таки нисколько не вреден и не опасен ни для самого мечтателя, ни для тех людей, на которых он старается подействовать. Сам мечтатель видит в своей мечте святую и великую истину; и он работает, сильно и добросовестно работает, чтобы мечта его перестала быть мечтою. Вся жизнь расположена по одной руководящей идее и наполнена самою напряженною деятельностью. Он счастлив, несмотря на лишения и неприятности, несмотря на насмешки неверующих и на трудности борьбы с укоренившимися понятиями. Он счастлив, потому что величайшее счастье, доступное человеку, состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь. Если такой мечтатель, или, вернее, теоретик, действительно открыл великую и новую истину, тогда уже само собою разумеется, что разлад между *его* мечтою и нашею практикою не может принести нам, то есть людям вообще, ничего, кроме существенной пользы. Если же мечтатель ошибался, то даже и в таком случае он принес пользу своею деятельностью. Его мечта была одностороннею и незрелою попыткою исправить такое неудобство, которое чувствуется более или менее ясно всеми остальными людьми. Значит, во-первых, мечтатель заговорил о таком предмете, о котором полезно говорить и думать. Во-вторых, он собрал кое-какие наблюдения, которые могут пригодиться другим мыслителям, более образованным, более осмотри-

тельным и более даровитым. В-третьих, он вывел из своих наблюдений ошибочные заключения. Если эти заключения своею внешнею логичностью поразили слушателей и читателей, то эти же самые заключения побудили, наверное, более основательных мыслителей заняться серьезною разработкою данного вопроса для того, чтобы опровергнуть в умах читающего общества соблазнительные заблуждения нашего мечтателя. Экономисты, например, очень не любят социалистов. Мы с читателями твердо знаем по «Русскому вестнику», что экономисты — люди почтенные, а социалисты — прощелыги и сумасброды.[5] Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давным-давно обратились бы в стадо баранов и волов, пережевывающих старую жвачку Адама Смита, если бы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли их ежеминутно бросаться в полемику и отражать новые нападения новыми аргументами. Стало быть, разлад между мечтою и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядывается в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтою и жизнью, тогда все обстоит благополучно. Тогда или жизнь уступит мечте, или мечта исчезнет перед фактическими доводами жизни, и в конце концов все-таки получится примирение между мечтою и жизнью. То есть или мечтателю действительно удастся завоевать себе то счастье, к которому он стремится, или мечтатель убедится в том, что такое счастье невозможно и что надо выбрать себе что-нибудь попроще.

Но есть мечты совсем другого рода, мечты, расслабляющие человека, мечты, рождающиеся во время праздности и бессилия и поддерживающие своим влиянием ту праздность и то бессилие, среди которых они родились. Это маниловские мечты о лавках на каменном мосту. Мечтая таким образом, человек сам знает очень хорошо, что он не в состоянии пошевельнуть пальцем для того, чтобы мечта перешла в действительность. Представьте себе, что вы бедный человек и что только самый усиленный труд может поддерживать вашу жизнь и вашу нравственную самостоятельность. В том же усиленном труде заключаются и все ваши далекие надежды на некоторое улучшение вашей незавидной участи. Лет через пять ваш хозяин прибавит вам жалованья, потом даст вам какое-нибудь более важное поручение, потом еще прибавит — вот все, на что вы можете рассчитывать; но, во-первых, все это далеко, очень далеко, а во-вторых, все это надо взять упорным трудом. И нынче, и завтра, и послезавтра надо работать пристально, и — что гораздо труднее — надо тянуть ножки по одежке и отмеривать себе по золотникам все то, что люди зажиточные считают безусловно необходимым. И вдруг вы в этаком-то подлейшем положении

начинаете мечтать о том, что как бы это было хорошо, кабы у вас было тысяч десять годового дохода; сшили бы вы себе теплую шубу, накупили бы себе хороших книг; заказали бы вашему повару обед, от которого вас не стало бы тошнить; поехали бы на лето за границу; а то хорошо было бы и в деревню поехать, чистым степным и лесным воздухом подышать, за вальдшнепами по болоту пошляться; потом не мешало бы сделать предложение той барышне, которую вы видели в зеленом бархатном салопе на Английской набережной. В вашей молодой голове складываются обаятельные подробности простого и невинного романа с самою добродетельною развязкою, и вы герой этого романа; но вдруг герой слышит, что за соседнею деревянною перегородкою охает и ворчит старуха-хозяйка на тех шеромыжников-жильцов, которые вот уже два месяца не платят денег ни за квартиру, ни за стол. Вас этот ворчливый голос поражает в самое сердце, потому что завтра первое число, а за квартиру вы заплатить не можете, потому что почти все ваше жалованье ушло на обмундирование вашего младшего брата, только что поступившего в гимназию и живущего под вашим покровительством. Голос хозяйки совершенно рассеял ваши мечты, и вы видите, что перед вами, на покривившемся деревянном столе, лежит какой-то глупейший конторский счет, который к завтрашнему утру необходимо проверить. И знаете вы, что вам приходится проверять в месяц сотни подобных счетов, так что даже трудно сообразить, какое незначительное число копеек вам достается за проверку каждого отдельного счета. И у вас опускаются руки, и является вопрос: зачем работать? зачем морить себя медленною смертью? И что ж это в самом деле за жизнь? И является бесплоднейшее размышление: «tant pour les uns, et si peu pour les autres!»* — бесплоднейшее потому, что ведь вы все-таки не пошевельнете мизинцем для того, чтобы устроить дело как-нибудь иначе. А так только: пофилософствуете, потоскуете, повздыхаете, да и приметесь за проверку конторского счета, и эта работа идет у вас гораздо хуже и внушает вам гораздо более сильное отвращение после того, как вы побаловали себя ребяческими мечтами о теплой шубе, о сносном обеде и о барышне в зеленом бархатном салопе. Вот такие мечты я называю вредными и губительными во всех отношениях. Мечты первого рода можно сравнить с глотком хорошего вина, которое бодрит и подкрепляет человека во время утомительного труда. Но последние мечты похожи на прием опиума, который доставляет человеку обаятельные видения и вместе с тем безвозвратно расстроивает всю нервную систему. Люди бедные, лишенные всех действительных наслаждений, легче других могут пристраститься к опиуму и также больше других людей способны баловать себя теми *заведомо* несбыточными мечтами, которые я сравнил с вредным

* Столь много для одних и так мало для других *(франц.)*. — *Ред.*

наркотическим веществом. Но и зажиточные люди ухитряются иногда губить свою жизнь, как опиумом, так и вредными мечтами. То воспитание, которое мы обыкновенно даем нашим детям, ведет их самым прямым и верным путем в безвыходную область *наркотической* мечты.

V

Для десятилетнего Коли Иртеньева диалоги и диктовка составляют презренную и ненавистную действительность, а пребывание на террасе вместе с большими любимую, но неосуществимую мечту. Действительность ничем не связана с мечтою. Как бы усердно мальчик ни зубрил свои диалоги и как бы успешно он ни избегал орфографических ошибок, все-таки он ни на одну секунду не приблизит к себе то желанное время, когда все будут признавать его большим, постоянно принимать его в свое общество и рассуждать и смеяться с ним, как с равным. Он сам очень хорошо понимает все это и возится с диалогами и с диктовками только потому, что так приказано и что его непременно заставят учиться, если он обнаружит слишком очевидный недостаток усердия. За диалогами и диктовками последуют более серьезные уроки; за серьезными уроками последуют университетские лекции. За последним университетским экзаменом начнется мелкая толкотня практической жизни, и молодой человек, снимая студенческий мундир, скажет себе с самодовольною улыбкою, что его научное образование окончено самым блистательным образом и что теперь надо смотреть на вещи глазами зрелого мужчины, то есть заботиться о хорошем месте, о связях, о повышении, о протекции, о выгодных акциях, о богатой невесте, вообще о прочном и комфортабельном положении в обществе. Переходы от диалогов к серьезным урокам и от серьезных уроков к университетским лекциям и экзаменам совершаются обыкновенно так постепенно и незаметно, что мальчик, превращающийся понемногу в юношу, в большей части случаев переносит на серьезные уроки тот взгляд, которым он смотрел на диалоги, а потом относится и к университетским занятиям так,как он относился к серьезным урокам. Все научное образование, от азбуки до кандидатской диссертации, оказывается для нашего юноши длинным и утомительным обрядом, который непременно должен быть исполнен из уважения к установившимся привычкам общества, но который все-таки не имеет никакого влияния на умственную жизнь исполняющего субъекта. Бывают, конечно, в жизни некоторых молодых людей счастливые встречи с мыслящим человеком или с очень дельною книгою; эти встречи открывают молодым людям глаза и вдруг бросают им в голову ту поразительно новую для них мысль, что наука совсем не похожа на диалоги и на диктовку, что в научных занятиях можно находить себе постоянно возра-

стающее наслаждение, что университет только отворяет человеку двери в область знания, что эта область беспредельна и необозрима, что умственное образование человека должно оканчиваться только с его жизнью и что умственное образование пересоздает весь характер отдельной личности и даже все понятия, обычаи и учреждения громаднейших человеческих обществ. После такой встречи наука перестает казаться молодому человеку презренною и ненавистною прозою жизни. Научные занятия перестают быть для него мертвым обрядом. Проза и поэзия, мечта и действительность заключают между собою вечный мир и неразрывный союз. Умственный труд делается для него живейшим наслаждением, потому что он видит в этом труде самое верное средство ловить и осуществлять ту любимую мечту, которая постоянно носится перед его воображением и постоянно увлекает его за собою все дальше и дальше, вперед и вперед, в область новых размышлений, исследований и открытий. Такие счастливые встречи бывают точно; но, во-первых, не всем они выпадают на долю, а во-вторых, далеко не все умеют ими воспользоваться, то есть не на всех такие встречи производят сразу достаточно глубокое и прочное впечатление. Шевельнется в голове какой-то зародыш плодотворного сомнения, блеснет какая-то молния новой мысли, да тем дело и покончится, за недостатком таких материалов, которые могли бы поддержать и направить работу неопытного ума.

Таким образом, множество молодых людей остаются совершенно нетронутыми в научном отношении и выходят из университетов большими двадцатилетними школьниками, выучившими громадное количество скучных и мудреных уроков, которые после выпускного экзамена непременно должны быть забыты, и чем скорее, тем лучше. — Природный ум этих молодых людей, часто очень живой и сильный, и притом, разумеется, совершенно неудовлетворенный холодными, формальными и обязательными отношениями своими к науке, совершенно отвертывается от книжных премудростей, проникается глубоким недоверием ко всякой научной теории, о которой он в сущности не имеет никакого понятия, старается проложить себе свою собственную, совсем особенную дорогу, производит какие-то курьезнейшие эксперименты над собою и над жизнью, терпит на всех пунктах очень естественные поражения и, наконец, приходит к полнейшему банкротству, то есть к самому безвыходному унынию и к самой тупой апатии. Такие трагикомические кувыркания неразвитого и голодного ума проявляются, например, в добросовестных усилиях какого-нибудь деревенского механика открыть perpetuum mobile.* И такие же точно кувыркания слышатся нам ежеминутно в рассуждениях сентиментальных, но необразованных журналистов о почве, о народности, о недосягаемых и непостижимых

* Вечный двигатель (*лат.*). — *Ред.*

совершенствах русского человека, о необходимости смириться умом перед народною правдою.[6] У кого ум наполнен только смутными воспоминаниями об учебниках Устрялова, Кайданова[7] и Ободовского, тот, конечно, может смирить гордыню своей мысли перед мудростью любой деревенской кликуши; но кто не ограничился такою легкою умственною пищею, тот уже навсегда потерял возможность принижать свой ум до уровня вопиющей нелепости.

Очень многие читающие и даже пишущие люди серьезно и добросовестно убеждены в том, что можно сделаться превосходным человеком и чрезвычайно полезным гражданином помимо всякого научного образования. Не всем же быть учеными, толкуют они. Давайте нам только добросовестных практических деятелей. Давайте нам людей непосредственного чувства, не засушенных книжными теориями, не приучивших себя вносить всюду разлагающее начало холодного сомнения и дерзновенного анализа. Давайте нам людей строго-нравственных, преданных своему долгу, проникнутых желанием добра, способных жертвовать собою для пользы общества. И так далее. Такими восклицаниями «давайте» можно наполнить целые страницы, но, к счастью, все это давно уже было высказано на сцене Александринского театра, когда г. Самойлов, в роли соллогубовского чиновника Надимова,[8] приглашал всю почтенную публику кликнуть клич на всю Россию и вырвать взятки, или, как говорилось тогда, *«зло»*, с самым корнем. В сущности все добрые люди, восклицающие «давайте нам того-то и того-то», требуют невозможного, потому что в их требовании заключается внутреннее противоречие. Они говорят: не нужно топить в кухне печку. Давайте нам только горячего супу и жареных рябчиков. — Они относятся холодно и почти враждебно к научному образованию и в то же время требуют себе таких предметов, которые не могут быть изготовлены решительно ничем, кроме того же самого научного образования. Особенно печально то обстоятельство, что дело очень часто не ограничивается нелепыми словами. Многие люди не только кричат: «давайте, давайте», но еще, кроме того, насилуют и ломают свой собственный ум и характер, стараясь домашними средствами выработать из своей личности что-то очень возвышенное и прекрасное, что-то такое, о чем они сами не могут составить себе ясного понятия и что вырабатывается из человеческой личности единственно и исключительно влиянием широкого и глубокого научного образования.

Не всем надо быть исследователями, — с этим я совершенно согласен. Не всем надо быть популяризаторами науки, с этим я также согласен; но всякому, кто хочет быть в жизни деятельною личностью, а не страдательным материалом, всякому, говорю я, совершенно необходимо твердо усвоить себе и основательно передумать все те результаты общечеловеческой науки, которые

могут иметь хоть какое-нибудь влияние на развитие наших житейских понятий и убеждений. И это еще не все. Надо укрепить свою мысль чтением гениальнейших мыслителей, изучавших природу вообще и человека в особенности, не тех мыслителей, которые старались выдумать из себя весь мир, а тех, которые подмечали и открывали путем наблюдения и опыта вечные законы живых явлений. И надо, кроме того, постоянно поддерживать серьезным чтением живую связь между своею собственною мыслью и теми великими умами, которые из года в год своими постоянными трудами расширяют по разным направлениям всемирную область человеческого знания. Только при соблюдении этих условий можно быть превосходным человеком, превосходным семьянином и превосходным общественным деятелем. Только таким путем постоянного умственного труда можно выработать в себе ту высшую гуманность и ту ширину понимания, без которых человеку не дается в руки ни разумное наслаждение жизнью, ни великая способность приносить действительную пользу самому себе, своему семейству и своему народу. *Превосходными* я называю только тех людей, которые развернули вполне и постоянно употребляют на полезную работу все способности, полученные от природы. Таких людей очень немного, и, вдумавшись в мое определение слова «*превосходный*», читатель, вероятно, согласится с тем, что человек действительно может сделаться превосходным только по тому рецепту, который я представил в предыдущих строках. Всякая другая метода умственного и нравственного совершенствования производит только глупости, ошибки, самообольщения и разочарования, разбивает разными утомительными волнениями всю нервную систему человека и, наконец, доводит его до бессилия и до апатии. Подробный, правдивый и чрезвычайно поучительный перечень таких бесплодных попыток и таких печальных *промахов незрелой мысли* представляется нам в воспоминаниях Николая Иртеньева о его юности.

VI

Во время своего отрочества Иртеньев мечтает точь-в-точь таким же образом, как он мечтал в детстве. Краски и очертания мечты изменяются вместе с окружающею обстановкою, но основной характер остается в полной неприкосновенности: Иртеньев забавляется процессом мечтания, сознавая совершенно ясно, что он не может сделать ни одного шага для того, чтобы приблизиться к своей мечте и захватить ее в руки. Наконец ему, однако, надоедает эта пассивность. Его пробуждающийся ум начинает изобретать разные средства, которыми можно было бы сблизить мир мечты с миром вседневной жизни. Этими стремлениями перейти от мечтательной праздности к энергической деятельности начи-

нается и характеризуется первая половина юности нашего героя. А вторая половина этой юности обещана, но до сих пор еще не написана графом Толстым. Я очень жалею об этом последнем обстоятельстве, но нисколько не нахожу его удивительным. Первые три части воспоминаний Иртеньева были так смутно поняты критикою и публикою, что автор мог считать продолжение своего труда несвоевременным и бесполезным. Очень жаль, что у нас до сих пор нет второй части «Юности»; но, за неимением ее, мы и в первой части найдем огромный запас психологического материала, о котором придется потолковать довольно подробно.

Сближение с Нехлюдовым составляет для Иртеньева ту эпоху, с которой он сам считает начало своей юности. Сближение это начинается неопределенно-страстными рассуждениями о жизни, о добродетели и об обязанностях человека, теми милыми бреднями, к которым все очень молодые люди питают непреодолимое влечение и из которых никогда не выходит ничего, кроме горячих и очень непрочных привязанностей. После многих продолжительных бесед о высоких материях, бесед, которые, к счастью, только подразумеваются, а не выписываются в полном своем объеме в повести графа Толстого, после многих излияний Нехлюдов и Иртеньев заключают между собою контракт, которым они обязываются помогать друг другу в процессе постоянного нравственного совершенствования.

«Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, — говорит Нехлюдов, — *сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда, ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это. — И мы действительно *сделали это*», — прибавляет Иртеньев (стр. 79).

Трудно было придумать что-нибудь нелепее и вреднее этого взаимного обязательства. — Начать с того, что оно неисполнимо. «*Признаваться во всем*» значит признаваться в каждой мысли, которая остановила на себе ваше внимание. И наши юные друзья действительно понимают свой контракт в этом смысле; они считают этот контракт надежным громовым отводом против гадких и подлых мыслей. «Такие подлые мысли, — говорит Нехлюдов, — что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову» (стр. 79). Неестественный контракт, разумеется, ежеминутно нарушается. Иртеньев почти на каждой странице «Юности» признается в том, что даже во время самого разгара своей дружбы с Нехлюдовым он, совершенно невольно, то умалчивал, то искажал в разговорах с ним разные тонкие оттенки своих мыслей или побудительные причины своих поступков. Иногда дело доходит до настоящего актерства. В первый день своего студенчества Иртеньев затевает преглупую ссору с своим добрым знакомым, Дубковым.

Ссора эта, начатая из-за пустяков, кончается также пустяками. «И я тотчас же успокоился, — рассказывает Иртеньев, — притворяясь только перед Дмитрием (Нехлюдовым) рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтоб мгновенное успокоение не показалось странным» (стр. 101). Это наивное признание, повидимому даже не замеченное самим Иртеньевым, доказывает лучше всяких аргументаций, что полная откровенность совершенно невозможна. Каждый должен быть сам полным хозяином в своем внутреннем мире, и другого полного хозяина тут не может и не должно быть. Но, заключивши свой контракт совершенно добровольно и считая его действительно очень полезным, наши молодые люди все-таки стараются соблюдать его по возможности добросовестно и постоянно осыпают друг друга разными интимными признаниями.

В этом обстоятельстве и заключается именно настоящий вред. Читатель уже заметил вероятно, что Нехлюдов и Иртеньев оба страдают какою-то странною мыслебоязнью: контракт их направлен почти исключительно против *гадких и подлых* мыслей. Какие это такие бывают *гадкие и подлые* мысли? Я этого не понимаю. Когда я обдумываю какой-нибудь вопрос или обсуживаю характер какой-нибудь личности, то я делаю в уме своем разные предположения, рассматриваю их с разных сторон, одни из них нахожу правдоподобными, другие несостоятельными, сближаю одно предположение с другим, подтверждаю или опровергаю их различными аргументами, и, наконец, результатом всех моих размышлений является то или другое убеждение, которое определяет собою дальнейший ход моих поступков. Многие из предположений, сделанных мною во время размышления, могут оказаться совершенно нелепыми или даже оскорбительными для той особы, о которой я думаю, и все-таки в этих предположениях нет ничего дурного. Если бы я остановился на таком предположении и принял его за норму для моих поступков, тогда, конечно, я обнаружил бы несостоятельность моих умственных способностей, и оскорбленная мною особа имела бы полное право отвернуться от меня, как от пошлого дурака. Но ведь нелепое предположение не есть окончательный результат моего мышления. Это только одна из первых или низших фаз в развитии моей мысли. Это одна из ступенек той длинной и крутой лестницы, по которой мой ум идет вверх, к познанию настоящей истины. Это один из тех ингредиентов, которые, в своей совокупности, после долгой и сложной химической переработки, дадут мне готовый продукт, имеющий уже практическое значение для меня и для других людей. В природе ничто не возникает мгновенно, и ничто не появляется на свет в совершенно готовом виде. Самая красивая женщина и самый гениальный мужчина были все-таки в свое время очень безобразными и бессмысленными зародышами, а потом очень плаксивыми и сопливыми ребятишками. Но никому же не приходит

в голову вырезывать зародыш из утробы матери для того, чтобы глумиться над безобразием и тупоумием этого куска органической материи. И ни одному здравомыслящему человеку не приходит также в голову ненавидеть и презирать трехлетнего пузыря за то, что он часто плачет и плохо сморкается. Над картиною, над статуею, над научною теориею мы также произносим наш приговор только тогда, когда произведение окончено, то есть доведено до той степени совершенства, какую только способен придать ему его творец.

Когда вы пообедали, то вы очень хорошо знаете, что в вашем желудке находится пережеванная пища в виде так называемой кашицы; вы знаете, что эта кашица имеет очень некрасивый вид и довольно неприятный запах; но вас это обстоятельство нисколько не смущает; вы преспокойно оставляете неблагообразную кашицу там, где она должна быть, и из этой кашицы вырабатываются понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, то есть все, что дает вам возможность жить в свое удовольствие и действовать на пользу ваших ближних. Значит, некрасивая кашица вещь очень хорошая, но если бы вы стали вытаскивать ее из вашего желудка, показывать ее вашим друзьям и горевать вместе с ними над ее непохвальным цветом и запахом, то вы доставили бы только себе и друзьям несколько неприятных минут, а в случае частого повторения подобных проделок вы бы даже очень серьезно расстроили свое здоровье, что все-таки не обратило бы на путь истины закоснелую мерзавку-кашицу. А возмущаться против тех законов, по которым совершается процесс нашего мышления, это, в своем роде, точно такая же нелепость, как убиваться над несовершенствами трехмесячного зародыша или желудочной кашицы.

Мысли не могут быть ни гадкими, ни подлыми, пока они остаются в голове мыслящего субъекта, который пользуется ими как сырыми материалами. Но такое первобытное сырье совсем не должно показываться на свет, во-первых, потому, что оно часто бывает очень уродливо и бессмысленно, а во-вторых, потому, что такое заглядывание в лабораторию мысли вредит процессу умственной работы. Когда вы знаете, что вам придется представлять другому лицу доклад о том, что происходит в вашем уме, тогда вы стараетесь сами смотреть на вашу умственную работу со стороны и запоминать, в каком порядке одна мысль развивалась из другой. На этот, совершенно лишний труд подглядывания и запоминания тратятся те силы, которые гораздо полезнее было бы употребить на более быстрое или более основательное разрешение затронутых вами вопросов, имеющих для вас живое практическое значение. Подглядывая за собою, вы сами раздваиваете свой ум и ослабляете или извращаете его деятельность. Стало быть, и подглядывание ваше дает вам совершенно искусственные результаты. Вы подглядели работу вашей ослабленной и извращенной мысли, а не ту естественную работу, которую

вы старались определить. Может быть, все гадости, в которых вы каетесь вашему другу, произошли именно от того, что вы начали подглядывать. Известное дело, ничто так не раздражает мысль, как боязнь мысли и инквизиторский контроль над мыслью. Вы от нее отталкиваетесь, вы ее преследуете, — тут-то именно она и лезет к вам в голову, тут-то она и становится для вас неотвязным контролем. — Говорят, один алхимик открыл какому-то благодетелю своему вернейший способ делать золото. Возьмите, говорит, того-то и того-то, по стольку-то золотников и долей, всыпьте в такую-то посуду, поставьте на такой-то огонь, мешайте вот этою палочкою и произносите такие-то слова. — Рассказал и ушел. — Благодетель сейчас принялся за работу, но, на беду его, добросовестный алхимик воротился назад. «Ах, говорит, самое-то главное условие я и забыл. Когда будете варить золото, ни под каким видом не думайте о белых медведях, а то ничего не выдет». — «Ну, это пустяки, — отвечает благодетель. — Я об них и без того никогда не думаю». — Однако вышло не пустяки. Благодетель, никогда не думавший о белых медведях, стал думать о них аккуратно каждый день, и притом именно в те великие минуты, когда эта проклятая мысль должна была помешать процессу волшебного брожения. Поэтому золота не получилось, но предсказание алхимика о том, что ничего не выдет, оказалось все-таки не совсем верным. Вышло то, что благодетель сошел с ума и начал с криком и со слезами умолять своих докторов вырезать из его головы белого медведя, который будто бы съел у него весь мозг и всякий раз плюет и чихает в ту посуду, где варится самое чистое золото.

Если с Нехлюдовым и с Иртеньевым не случилось такой пакости, то они обязаны своим спасением единственно тому обстоятельству, что их желание раздавить в себе *гадкие и подлые* мысли было гораздо менее сильно и серьезно, чем желание благодетеля приобрести себе золотые горы. Для наших юных моралистов борьба с предосудительными мыслями была только приятною потехою. Оно и в самом деле увеселительно. То маленько погрешишь, то маленько пораскаешься да легонько постегаешь самого себя невещественными розгами. Вот тебе и покажется, что ты точно какое-то дело делаешь, умом своим работаешь, нравственность свою исправляешь, полезного деятеля из своей особы приготовляешь. Если даже и крепко грешишь и часто падаешь на пути добродетели — все это для тебя не велика беда. У тебя сейчас фарисейские утешения найдутся, потому что весь твой ум постоянно устремлен на казуистические тонкости и, посредством навыка, приобрел себе замечательное мастерство по части иезуитской изворотливости. Ум твой тоненьким голоском станет шептать тебе: успокойся! другие грешат вдесятеро больше тебя, но и ухом не ведут, потому что у них нет твоей чуткости. Ты неизмеримо выше их, потому что ты замечаешь за собою каждую малей-

шую слабость. Ты человек высокой нравственности, потому что ты строг к самому себе. — Ты будешь слушать эти льстивые речи с глупейшею улыбкою самодовольного блаженства; но так как ты уже измошенничался насквозь благодаря твоим любезным подглядываниям, то ты тотчас состроишь постную рожу и прикрикнешь на самого себя: молчи, мерзавец! Как ты смеешь гордиться твоими совершенствами, когда тебе следует оплакивать твои беззакония! — И вслед за тем тебя еще приятнее охватит сознание, что ты ни в чем не даешь себе спуску и даже умственную гордость свою подавлять умеешь. — Да. Точно. Потеха весьма увеселительная, но еще более вредная. Во-первых — вся штука основана на глупой мыслебоязни. Во-вторых — происходит громадная трата времени. Кто действительно хочет уберечься по возможности от тяжелых практических ошибок, тот должен не бояться *гадких и подлых* мыслей, а, напротив того, смело подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно рассматривать ее со всех сторон. Не мешает еще при этом принимать в расчет ту старую истину, что тратить свои молодые годы на какие бы то ни было увеселительные потехи — значит наверняка готовить из себя в будущем дрянного, тяжелого и несчастного человека. Но, разумеется, Нехлюдов и Иртеньев не виноваты в том, что они над собою творят. В них действует то отвращение к научным занятиям, которое вколочено в их головы прежним приневоливанием к диалогам и диктовкам. Болезненная мечтательность ребенка, при переходе в юношеский возраст, породила из себя уродливые и вредные кривляния нравственной гимнастики.

VII

Настоящим специалистом по части нравственной гимнастики оказывается князь Дмитрий Нехлюдов, а Иртеньев является в этом отношении только его подражателем и, к счастью своему, останавливается на степени дилетанта. У Нехлюдова заведены какие-то расписания пороков и прегрешений, он каждый вечер пишет подробно свой дневник и еще, кроме того, записывает в особую тетрадь свои будущие и прошедшие занятия. Впрочем, собственно о его занятиях мы не имеем решительно никаких сведений. Может быть, у него и времени не хватало на занятия, потому что ему было необходимо постоянно держать в порядке свою душевную бухгалтерию и подводить различные итоги в приходо-расходной книге грехов и добродетелей. Нехлюдов по университету был одним курсом старше Иртеньева, но, повидимому, во взглядах своих на науку они оба были совершенными школьниками. Нехлюдов придавал большое значение тому, чтобы Иртеньев блистательно выдержал свой вступительный экзамен в университет и чтобы ему поставили очень хорошие баллы;

а потом, когда Иртеньев сделался студентом и когда дружба между юными моралистами находилась в самом цветущем состоянии, Нехлюдов не умел возбудить в своем друге ни малейшей любви к серьезным занятиям, так что Иртеньев целый год проболтался глупейшим образом и, разумеется, провалился или *срезался* на переходном экзамене самым постыдным манером. Вообще Нехлюдов и Иртеньев совершенно не похожи на тот тип студента, который каждому из нас хорошо знаком и дорог по нашим собственным недавним студенческим воспоминаниям.

Когда мы были студентами, мы всюду втискивали *науку*, кстати и некстати, с умыслом и без умысла, искусно и неискусно. Мы очень много врали о науке, мы часто сами себя не понимали, но наука действительно владела всеми нашими помыслами; мы ее любили чрезвычайно горячо и чистосердечно; мы готовы были работать и действительно работали; для нас жизнь была немыслима без науки, и где, бывало, сойдутся два-три студента, там уже через пять минут непременно свирепствует научный спор, в котором воюющие особы, наперерыв друг перед другом, с восторгом обнаруживают крайнюю слабость своих фактических знаний и столь же крайнее могущество своих молодых и здоровых голосов. Много у нас было бестолковщины, но это было именно то «мутное брожение» молодой мысли, из которого «творится светлое вино» разумных убеждений и сознательного трудолюбия. Смешно было смотреть на нас со стороны, но уж совсем не грустно. И те самые пожилые и опытные люди, которые смеялись над нами, как над преуморительными мальчишками, — они сами не могли отказать нам ни в своем сочувствии, ни в своем уважении, ни даже в своей *зависти*. Им становилось завидно, глядя на нас. Вспоминая свою собственную молодость, они признавались с глубоким вздохом нам, «преуморительным мальчишкам», что наше развитие идет более здоровым и разумным путем, что мы живем более полною жизнью, что у нас есть мысли, чувства и желания, которые им были совершенно неизвестны и которые послужат нам надежною опорою во время житейских испытаний и «в минуту душевной невзгоды».

И решительно ничего подобного нет у Нехлюдова и у Иртеньева. Они оба, и особенно Нехлюдов, не возбуждают в постороннем наблюдателе никакого другого чувства, кроме глубочайшего и совершенно безнадежного сожаления о погибающих человеческих способностях. В их жизни наука не играет никакой роли. Об уме они решительно не заботятся. Им нужна только добродетель. И в то же время они все насквозь пропитаны пошлостями своего общества и со всех сторон опутаны разными светскими и великосветскими связями и предрассудками. Добродетельный Иртеньев никак не может удержаться, чтобы не заявлять всем и каждому о своем родстве с князем Иваном Ивановичем, и для этого он даже однажды, в семействе Нехлюдова и в присутствии

самого Дмитрия, сплетает экспромтом неимовернейшую ложь о даче этого князя и о какой-то удивительной решетке, ценою в триста восемьдесят тысяч рублей. А еще более добродетельный Нехлюдов всеми своими бухгалтерскими упражнениями никак не может победить в себе странную наклонность бить своего крепостного мальчика, Ваську, кулаками по голове. Но все это еще не очень большая беда. Родиться во время полного господства крепостных понятий и всосать в себя с молоком матери фамусовскую слабость к вельможному родству — это, конечно, несчастье, но тут еще нет ничего непоправимого. Шестнадцатилетний Фамусов может сделаться через год семнадцатилетним громителем московского чванства; и даже колотить Ваську не значит еще быть отпетым негодяем. Очень может быть, что и Базаров во времена своего детства и отрочества показывал свою барскую прыткость над ребятишками своей крепостной дворни. А потом вырос, поумнел и прекратил свои подвиги.

Главная беда Нехлюдова и Иртеньева заключается в безнадежности их умственного положения. В головах их царствует глубочайшее, непочатое невежество, и сношения их с университетом скользят по этому невежеству, не производя в нем ни малейшего изменения. Нехлюдов оказывается еще гораздо безнадежнее Иртеньева. Иртеньев за все хватается, всем интересуется и увлекается, дурачится и важничает, как настоящий шестнадцатилетний ребенок; поэтому он еще двадцать раз может перемениться и выскочить на прямую дорогу, лишь бы только нашлись в его жизни сначала отрезвляющие толчки, а потом умные товарищи и руководители. Впрочем, и на Иртеньева нравственная гимнастика положила свою проклятую печать; от привычки постоянно копаться в своих душевных ощущениях у него выработалась чудовищная мнительность и подозрительность, ежеминутно отравляющие ему все его сношения с другими людьми. В каждом слове и в каждом взгляде он угадывает какую-нибудь особенную, затаенную и обыкновенно пакостную или оскорбительную мысль своего собеседника. Так как Иртеньев от природы очень неглуп — гораздо умнее Нехлюдова, — то он очень часто угадывает совершенно верно, и все-таки для него было бы несравненно лучше вовсе не обладать этим даром ясновидения. Излишняя восприимчивость какого бы то ни было чувства, зрения, слуха, обоняния и так далее, всегда ведет за собою очень много неприятностей. Сова не может видеть днем именно оттого, что зрение ее слишком остро и чувствительно; то количество лучей, которое нам необходимо для того, чтобы мы могли ясно различать предметы, действует на сову так сильно, что режет ей глаза и заставляет ее задвигать наглухо отверстие зрачка. Та музыка, которая нам доставляет удовольствие, оказывается мучительною для тонкого слуха кошки или собаки.

То же самое можно сказать и об иртеньевском ясновидении. Заглядывать в душу других людей такое же пустое и неприятное

занятие, как выносить другим людям напоказ свои собственные душевные тайны. Что вам за удовольствие подмечать в каждом из ваших знакомых каждое движение мелкой досады, или зависти, или скаредности, или трусости, каждое из тех мимолетных движений, которые родятся и умирают в душе, не действуя на общее направление поступков и выражаясь только изредка в каком-нибудь подергивании губ или в какой-нибудь дребезжащей ноте голоса?! Все ваши отношения к людям сделаются только более шероховатыми, а в сущности все останется по-старому, потому что нельзя же удалиться от людей в пустыню на том основании, что люди не всегда могут и умеют быть или вполне искренними друзьями, или вполне непроницаемыми актерами. А главное дело, как у вас достает времени и охоты возиться с этою психологическою дрянью? Надо быть бесконечно праздным человеком, чтобы по губам Семена Пафнутьича или по бровям Пелагеи Сидоровны читать тайные оттенки их душевных волнений. И замечательно, что это чтение *поддерживает* в человеке праздность, потому что служит ему источником неисчерпаемых исследований, которых привлекательность, разумеется, совершенно непостижима для того, кто занимается каким-нибудь полезным делом. Но, несмотря на гибельную страсть Иртеньева к ясновидению, Нехлюдов все-таки гораздо безнадежнее своего друга. Нехлюдов, при своем круглом невежестве, серьезен и настойчив. У него есть принципы, которые он почерпнул черт знает из какой лужи, но за которые он держится очень крепко. Бьет он Ваську, конечно, не по принципу, а по увлечению, и принципы его осуждают эту баталию, и он совершенно убежден в том, что принципы переработают всю его природу и даже осчастливят со временем всех его Васек. По своим принципам он влюбился, или, точнее, *влюбил себя*, в рыжую, старую, кривобокую, да вдобавок еще и глупую барышню, Любовь Сергеевну, которая все беседует с ним о правилах, о сердце и о добродетелях. Граф Толстой этих бесед не выписывает, и прекрасно делает. Ведь тут уж действительно «мухи умрут от речей их»,[9] когда они начнут разводить свою психологию сладкими вздохами и любовным жеманством. Также по своим принципам Нехлюдов, под руководством Любови Сергеевны, едет к московскому прорицателю, Ивану Яковлевичу; и также по принципам студент второго курса Нехлюдов находит, что Иван Яковлевич очень замечательный человек и что только самые легкомысленные люди могут считать его сумасшедшим или мошенником. А Любовь Сергеевна, по словам самого Нехлюдова, понимает совершенно Ивана Яковлевича (видите, какая умница!), часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Из всех этих доблестных подвигов рыжей барышни Нехлюдов выводит то заключение, что она удивительная женщина, что она необходима для его совершенствования и что в нее никак нельзя не влюбиться.

Познакомившись с этими любопытными подробностями, читатель, вероятно, согласится, что голова Нехлюдова, как сплошная чугунная масса, совершенно обеспечена против вторжения каких бы то ни было современных идей. Человеколюбствовать он может, потому что на это способна даже усердная собеседница Ивана Яковлевича, но уж дальше московского сердоболия он не пойдет. А ведь могло бы быть совершенно иначе, если бы любознательность его была затронута в детстве и если бы живая струя света и знания попала в его голову, когда над нею еще не успели воцариться мертвящие принципы нравственной гимнастики и Ивана Яковлевича. Эти принципы так безнадежно мрачны и так безвыходно-губительны для ума, для чувства и для деятельности, что в сравнении с ними даже общий колорит московской великосветскости представляется какою-то небесною лазурью.

VIII

История об избиении Васьки бросает такой яркий свет на специальные достоинства нравственной гимнастики, что я считаю очень полезным рассказать и разобрать этот любопытный эпизод довольно подробно. Иртеньев, только что поступивший в университет, перед отъездом своим в деревню на лето приезжает на дачу к Нехлюдовым, знакомится с семейством своего друга, проводит у них вечер и остается ночевать в комнате Дмитрия. У Нехлюдова в этот вечер разбаливаются зубы; кроме того, он взволнован спором с своею сестрою Варенькою; дело идет в этом споре об Иване Яковлевиче. Варенька отзывается о нем с презрением, и ее непочтительные отзывы о московском предсказателе очень сильно возмущают Дмитрия, тем более что они косвенным образом бросают тень на великие достоинства самой Любови Сергеевны, которая живет в семействе Нехлюдовых и присутствует при этом горячем споре. Кроме того, старая княгиня Нехлюдова, мать Дмитрия и Вареньки, очевидно держит сторону своей дочери, и это обстоятельство еще более усиливает волнение юного моралиста. Пораженный в своем обожании к Ивану Яковлевичу и разобиженный зубною болью, Нехлюдов уходит в свою комнату и садится за свои вычисления погрешностей и обязанностей. В это время Васька спрашивает у него, где будет спать Иртеньев. Нехлюдов, в ответ на этот неуместный вопрос, топает ногой и кричит: «убирайся к черту!» Васька стушевывается. Тогда Нехлюдов начинает *тотчас же* кричать: «Васька, Васька, Васька!» Васька входит. — Стели мне на полу! — командует Нехлюдов. — Нет, лучше я лягу на полу, — говорит Иртеньев. — Ну, все равно, стели где-нибудь, — ворчит Нехлюдов. Васька решительно не знает, за что ему взяться. Убирайся к черту! Стели на полу! Стели где-нибудь! — три противоречивые приказания в три

минуты, и, наконец, последнее приказание совершенно неопределенное; что значит «где-нибудь»? Где ж ему стлать постель? Васька останавливается в недоумении и ждет, чтобы ему приказали толком. А в расспросы пускаться он боится, потому что его только что отправили к черту за неуместную любознательность. Васька стоит и ждет, но Нехлюдов начинает бесноваться. «Васька, Васька! Стели, стели!» И все это с криком и с неистовством. Васька окончательно теряется. Тогда Нехлюдов подбегает к нему и бьет его кулаками по голове «изо всех сил». Васька куда-то убегает, и Нехлюдов заносит в свою тетрадку новый грех.

Уже достаточно поучительно то, что Нехлюдов послал мальчика к черту и потом обработал ему голову кулаками *в то самое время*, когда совершались упражнения нравственной гимнастики. Размышлять о неописанной красоте нравственного идеала и тут же, не сходя с места, нарушать самые простые обязанности человека самым постыдным и скотским образом — это факт в высшей степени красноречивый. Не трудно, кажется, сообразить, что все эти ежедневные разглядывания своего поведения не дают человеку ровно ничего, кроме педантического высокомерия и фарисейской нетерпимости. Но дальше пойдет еще интереснее.

Вы, вероятно, с нетерпением желаете узнать, какую же физиономию состроил добродетельный Иртеньев, когда, на его глазах, друг и руководитель его разыгрался, как пьяный дикарь. А вот полюбуйтесь. Вот что произошло в ту самую минуту, когда избитый Васька выбежал из комнаты. «Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился этого сделать» (стр. 117).

Если бы на месте Иртеньева находился человек действительно развитый и гуманный и если бы этот человек мог чувствовать хоть малейшее сострадание к негодяю, толкующему о добродетели и в то же время поднимающему руку на беззащитного и безответного ребенка, то этот развитый и гуманный человек отвернулся бы в сторону именно из сострадания к Нехлюдову, чтобы не показать ему во всем выражении своего лица того подавляющего презрения, которое возбуждено в нем этим бессовестным поруганием человеческой личности. Я вовсе не думаю утверждать, что безобразный поступок Нехлюдова должен навсегда отнять у него уважение всех честных людей. Напротив. По моему мнению, нет того злодеяния, которое могло бы положить на человека вечное и неизгладимое пятно бесчестия. Самый грязный преступник может снова сделаться мыслящим и любящим существом; и действительно развитое общество никогда не должно отнимать у ожесточенного и загрубелого человека надежду на самую полную реабилитацию. Но в ту минуту, когда совершается

грязное и бесчестное насилие, порядочный человек невольно отвернется от мерзавца, для того чтобы не плюнуть ему в лицо. Но Иртеньев, повидимому, так мало поражен избиением Васьки, что в самую минуту этого события все его внимание обращено исключительно на игру лицевых мускулов в физиономии Нехлюдова. Замечая в этих мускулах быстрое передвижение, вследствие которого скотское выражение бешенства переходит в гримасу слезливого раскаяния, Иртеньев совершенно забывает об участи Васьки, у которого в это время, по всей вероятности, лицевые мускулы также находятся в сильном движении и у которого, кроме того, созревают на черепе синяки и кровяные шишки. Иртеньев начинает соболезновать не о том, кого избили, а о том, кто бил. Того и гляди, что он подойдет к своему Дмитрию и, взяв его за руку, спросит у него со слезами в голосе: о мой кроткий друг! о мой сизенький голубчик! Не зашиб ли ты свою нежную ручку о поганую головищу этого грубого невежи? У него, у подлеца, такая твердая голова. И не поранил ли ты свое любвеобильное сердце припадком негодования, возбужденного в тебе закоснелостью этого пакостника? И зачем ты сам утруждал себя? Разве нельзя было отправить скверного мальчишку в ближайшую полицейскую часть для надлежащего вразумления?

В подобных излияниях дружественного сочувствия не было бы ничего особенно удивительного. Этого совсем немудрено ожидать от Иртеньева, который совершенно откровенно признается, что еще сильнее прежнего любил Дмитрия, увидев на его лице выражение стыда и кротости. Значит, вся история с Ваською показалась Иртеньеву некоторым легким проявлением юношеской резвости, таким проявлением, которое выкупается с избытком некоторою игрою лицевых мускулов. Окончив потасовку, Нехлюдов начинает сечь себя невещественными розгами. «Дмитрий лег ко мне на постель, — рассказывает Иртеньев, — и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже» (стр. 117).

Скажите пожалуйста, какие милые младенцы! Лежат рядом на одной постельке и улыбаются, глядя друг на друга. Чему ж это они так чистосердечно радуются? Оно и видно, что Дмитрий наказывал себя не в самом деле, а только как будто. Прелюбезное дело — эти невещественные розги, когда можно ими сечь себя с улыбкою наслаждения. Вот Васька так уж наверное не улыбался, потому что кулак — штука вещественная и с улыбками несовместимая. Глядя на улыбающихся младенцев, мы с читателем можем ожидать, что они немедленно заговорят о Васькиной голове, даже с некоторым юмором. — Однако, брат Дмитрий, — скажет Иртеньев, — ты ловко распорядился. Я и оглянуться не успел, а уж он ему четыре шишки наставил. Теперь

Васька-то, я чай, почесывается. Долго не забудет, мошенник. — Ну, что за важность? — отвечает Нехлюдов с некоторою скромностью. — Он у меня к этому давно привык. Ему не впервой! — Да ведь и не в последний! — подхватит с приятною усмешкою Иртеньев. — Еще бы! — закончит Нехлюдов, влагая в этот лаконический ответ самое солидное выражение барственной величавости. И знаете ли, господа читатели, подобный разговор не так противно было бы слушать, как тот, который действительно завязался между нашими улыбающимися друзьями. В том разговоре, который я сам сочинил, есть по крайней мере та прямота и простота взглядов, которыми я восхищался в госпоже Простаковой. Грязь, так уж грязь наголо, без малейшей примеси солодкового корня и розовой водицы. Хочу, дескать, сокрушить морду, и сокрушаю, и ни у кого на этот счет совета и позволения просить не намерен. В такой нетронутой дикости часто не бывает даже никакой силы и никаких задатков развития. Но иногда в ней есть и силы и задатки. Есть или нет — этого большею частью и разобрать невозможно. Темно, хоть глаз выколи. Ничего не видать. Но именно эта-то темнота и оставляет еще некоторую надежду. Кто его знает, может быть там и есть что-нибудь. Поэтому мерзости, совершаемые чистым дикарем, совсем не так отвратительны, как те мерзости, которые творит полуцивилизованная особа. И всего хуже не то, что она делает мерзости, а то, что она относится к ним чрезвычайно хитро и деликатно. Каждая мерзость представляет ей удобный случай погладить себя же по головке. Дикарь ничего не знает и вследствие своего незнания не слушает никаких резонов. А деликатная особа кляузничает, то есть пользуется своим неполным знанием, чтобы отуманивать себя и своих собеседников и чтобы, во всяком случае, ставить свою деликатность выше всякого сомнения, даже после совершения мерзостей. Впрочем, это уже очень старая и, однако, очень мало сознанная истина, что полуобразование совмещает в себе все пороки варварства и цивилизации. Все усилия мыслящих людей всех человеческих обществ уже с давних пор направлены на борьбу с полуобразованием. Нашему обществу варварство уже теперь не опасно. Я могу смело хвалить Простакову, нисколько не опасаясь, чтобы кто-нибудь из моих читателей прельстился ее идеями. Но полуобразование, со всеми своими фокусами и кляузами, должно внушать нам самые серьезные опасения, и тип милейших джентльменов, совместивших в себе чувствительность Манилова с остроумием Хлестакова, — еще очень долго будет тормозить или извращать умственное развитие нашего общества. Ощутив на своих губах присутствие улыбки, Нехлюдов подумал вероятно, что невещественные розги истрепались и что не мешает взять в руки новый пучок или, еще того лучше, предоставить все дело сечения добродетельному и улыбающемуся другу. И начинается вследствие этого поучительная беседа.

«А отчего же ты мне не скажешь, — сказал он, — что я гадко поступил? ведь ты об этом сейчас думал?» — Этот пошлый вопрос мог быть предложен только Нехлюдовым и рисует чрезвычайно ярко подлейшую приторность отношений, существующих между юными друзьями. Порядочный человек, сделавши гадость, даже гораздо поменьше нехлюдовской штуки, конечно не осмелился бы фамильярничать с своим другом, валяться на его постели, таращить на него глаза и скалить вместе с ним зубы. Порядочный человек понял и почувствовал бы, что его другу, также человеку порядочному, неприятно, тяжело и даже больно смотреть на него в ту минуту, когда впечатление сделанного безобразия еще совершенно свежо. Тот стыд, который мы невольно чувствуем после очень глупой выходки, у человека искреннего и неизломанного бывает всегда очень целомудренным и глубоко затаенным ощущением. Пристыженный человек стушевывается, хочет, чтобы его в эту минуту все забыли, чувствует, что он тяготит других своею замаранною особою; такого пристыженного человека вам действительно становится жалко; вы подходите к нему осторожно, как к больному, и стараетесь подкрепить, ободрить и утешить его, и притом так, чтобы ваше приближение и ваши слова не оскорбили в нем то целомудрие стыда, которое неразлучно со всяким искренним естественным раскаянием, то есть с томительным сознанием важной и вредной ошибки. Но когда накуролесивший нахал сам лезет к вам с своим раскаянием, когда он преследует вас своим присутствием и пристальными взглядами, когда он приглашает вас любоваться его стыдом, когда он обращается к вам с бестолковейшими вопросами о таком деле, которое не требует ни малейшего разъяснения,— тогда вам остается только сказать: убирайся ты к черту, скотина, с твоими глупыми подвигами самобичевания! Ты хочешь погеройствовать, силу воли твоей обнаружить, а я вовсе не расположен быть для тебя ни плетью, ни пудовою гирею, которыми ты выделываешь свои дурацкие фокусы. Нельзя ли для гимнастических прогулок подальше выбрать закоулок? — Затем надо было повернуться на другой бок и оставить милейшего Нехлюдова наедине с его растрепанными чувствами.

Такой неожиданный отпор мог положить резкий конец всяким дружеским отношениям; но о такой дружбе, которая не выдерживает прикосновения голой правды, не стоит и жалеть. Туда ей и дорога. Дружба должна быть прочною штукою, способною пережить все перемены температуры и все толчки той ухабистой дороги, по которой совершают свое жизненное путешествие дельные и порядочные люди. При такой прочности дружба — вещь драгоценная, потому что она лучше всякой другой ассоциации утроивает и учетверяет рабочие силы и мужественную энергию друзей. Но Иртеньев и Нехлюдов, как по молодости своих лет, так и по неразвитости своего ума, так и, в особенности, по своему

совершенному незнакомству с серьезною работою жизни, — способны только к той комнатной или тепличной дружбе, которая вся основана на капризных симпатиях и распадается в прах также под влиянием минутного каприза. Нет в этой дружбе никакой серьезной причины существования, а поэтому нет и ни малейшей серьезности в отношениях между друзьями.

После истории о Ваське, когда надо было действительно сказать другу очень жесткое слово, или, еще лучше, не говорить совсем ничего, Иртеньев мямлит, миндальничает и говорит бесцветные плоскости; а потом, через год, когда дружба утратила прелесть новизны, тот же кроткий Иртеньев в минуту чисто личного и совершенно беспричинного раздражения высказывает Нехлюдову без малейшей надобности самые резкие и оскорбительные истины. Между тем можно сказать наверное, что два-три безжалостно правдивые слова, произнесенные Иртеньевым по поводу Васькиной головы, подействовали бы на Нехлюдова гораздо сильнее и неизмеримо глубже, чем целые десятилетия нравственной гимнастики. Но чтобы сказать человеку такое слово, которое вывернуло бы наизнанку всю его душу и не забылось бы им до седых волос, надо быть не Иртеньевым, а чем-нибудь почище и покрепче. У Иртеньева же выходит вот что: «Да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого. Ну, что зубы твои?» — Хотя невозможно выдумать что-нибудь бесцветнее этого скромного порицания, однако крутой поворот к зубам показывает ясно, насколько Иртеньев стоит выше Нехлюдова. Видно, что Иртеньеву все-таки тяжело говорить пустячки о такой крупной гадости, а говорить о ней серьезно он или не умеет, или совестится, вот он и сворачивает в сторону при первом удобном случае. Но Нехлюдов не понимает, что его другу тяжел этот разговор, и пускается в длинные и совершенно бесплодные размышления на ту же печальную тему. Вот его слова: «Прошли. Ах, Николенька, мой друг! — заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах. (Удивительная логика! поколотил Ваську, а подлащивается к Николеньке, точно будто именно перед Николенькой виноват.) Я знаю и чувствую, как я дурен, и бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что ж мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать?»

О, милейший моралист, как же вы плохи по части опытной психологии! Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы не колотить Ваську? А вот что. Объясните мне, почему вы не поколотили вашу сестру Вареньку, которая очень разогорчила вас во время спора, а поколотили Ваську, который ничем вас не обидел и не мог обидеть? Главная причина та, что в спокойные минуты вашей жизни вы обращаетесь с вашею сестрою совсем не так, как с Ваською. Переход от почтительного и дружелюбного обращения к ударам почти невозможен. Поэтому вы сестре вашей сказали

только вежливую колкость; горничной, пришедшей узнать о ваших зубах, крикнули: «ах, оставьте меня в покое!», а мальчика, которого вы зовете «Васькой», послали к черту, а потом прибили кулаками. Градация соблюдена вполне. Значит, если вы действительно желаете, чтобы Васькина голова была в безопасности, обращайтесь с ним в спокойные минуты вежливо и даже почтительно. Называйте его не только полным именем, но даже по имени и по отчеству, и говорите ему «вы». Это, конечно, очень смешно называть крепостного мальчишку Василием Степановичем или Василием Антоновичем, но вы, как великий моралист, должны находить, что лучше быть посмешищем для дураков всей Москвы и даже целого мира, чем быть грязным и подлым злодеем. Если вы, не боясь насмешек умных людей, преклоняетесь перед Иваном Яковлевичем, то в деле Васьки вы и подавно должны поставить себя выше зубоскальства ваших пустоголовых знакомых, которые сначала поболтают и посмеются, а потом и привыкнут к вашей необыкновенной почтительности.

Послушаем теперь вашу дальнейшую иеремиаду. «Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. (Вы были не один, когда колотили Ваську.) Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. (Выражаясь яснее, вам необходимы люди, которые хвалили бы вас за красоту души и твердость воли. Невещественные розги и невещественные пряники — без этих пособий вы не можете быть порядочным человеком.) Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. (Оно и заметно по всему!?) Я знаю по своим запискам, что я в продолжение года уже много исправился. (Приятно слышать. Значит, по скольку же синяков в день ложилось прежде на Васькину голову? До исправления его голова была в своем роде очень любопытною летописью. Примечайте, кроме того, как уже в последней фразе тон слезливого раскаяния переходит в тон тихого самовосхваления. Это значит, милое дитя уже потянулось за невещественным пряником.) Ах, Николенька, душа моя! — продолжал он с особенной непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания, — как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен, с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек». (Что значит эта последняя фраза? Значит ли это: «я ее не бью, как прибил Ваську», или же это значит: «я никого не бью, когда нахожусь под ее влиянием». В первом случае — это бессмыслица. Во втором — это сладкая ложь. Вы, господин Нехлюдов, ходили к Любови Сергеевне и беседовали с нею как раз перед той минутой, когда Васька предложил вам первый вопрос о постелях. Или, может быть, вы хотите сказать, что только «в ее присутствии» вы совсем не бесчинствуете. Это, без сомнения, делает вам много чести, но ведь от этого мало пользы. Стало быть,

когда вы женитесь на ней, вы будете находиться безотлучно при ее особе; а чуть она на минуту отвернулась — тут сейчас и пойдет крушение физиономий? Вернее же всего, что вы просто сказали одну из тех совершенно бессмысленных фраз, без которых жить не могут все моралисты, подобные вам и вашей Любови Сергеевне.) Затем друзья наши забывают совершенно презренную прозу жизни, и Дмитрий начинает «развивать свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою». Оба совершенно веселы и болтают «до вторых петухов». Приятная и полезная беседа заканчивается следующими словами: «Ну, теперь спать, — сказал он. — Да,— отвечал я: — только одно слово. — Ну? — Отлично жить на свете! — сказал я. — Отлично жить на свете, — отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающихся глаз и детской улыбки» (стр. 118).

О прелестные малютки! что за «атласистость сердечная», как говорит г. Щедрин о своих глуповцах! [10] «Отлично жить на свете!» Как вам это нравится? Это заключительный вывод из того ряда размышлений, который был вызван актом подлейшего насилия. Преступление и раскаяние не оставили после себя решительно ничего, кроме беспричинного восторга и полнейшего самодовольства, и все это в течение одной короткой летней ночи. Это стоит матери Гамлета с ее неизношенною парою башмаков. И ни один из юных моралистов не оглянулся назад, на исходную точку разговора. Трех или четырех часов, посвященных глупейшим мечтам, было совершенно достаточно, чтобы решительно сбить их с толку и отшибить у них всякую память. Ведь они бы побледнели и вскрикнули от ужаса, у них выступил бы холодный пот на лбу и дыбом поднялись бы волосы, если бы один из них догадался задать другому вопрос: с чего мы начали и к чему мы пришли? И что же это значит, что такое начало привело нас к такому заключению? И как же это мы ухитрились извлечь для себя превеликое удовольствие из... из... стыдно и страшно сказать, из чего? Где же наше нравственное чувство, где наша любовь к людям, где же, наконец, наш ум? Любовь к людям! Подумал ли в самом деле Нехлюдов на минуту о том, как бы утешить избитого ребенка? Даже намека не было на подобную мысль. Нехлюдов и не помышляет о том, чтобы ласкою, добрым словом и добрым делом уменьшить то впечатление боли, которое он нанес живому существу; он старается только соскоблить как-нибудь то отвлеченное пятно, которое он положил на свою собственную опрятную личность и щекотливую совесть. Бездушный фарисей остается верен себе в мельчайших подробностях. Да и совесть-то, совершенно по-фарисейски, засыпает очень быстро во время приятного разговора. И эти-то дрябленькие человечки, с таким неразвитым умом, который в течение трех или четырех часов уже теряет из виду руководящую идею разговора, эти-то маленькие и жалкие созда-

ньица берутся тоже рассуждать о высших вопросах жизни, нравственности и общего миросозерцания. Точно пятилетние дети, толкующие о том, как они пойдут в гусары или в кирасиры! Поучиться надо сначала, милые малютки. Тогда авось и поумнеете и в гусары поступите. А до тех пор играйте в куклы, или, иначе, размышляйте о трюфелях и пулярках.

IX

Доживши до девятнадцати лет и дойдя до третьего курса университета, князь Дмитрий Нехлюдов убеждается в том, что он достаточно образован и что ему давно пора приниматься за практическую деятельность. Он приезжает на лето в свое имение, видит там, что мужики его разорены дотла, и, решившись посвятить свою жизнь на улучшение их участи, выходит из университета с тем, чтобы навсегда поселиться в деревне. Очерк его сельскохозяйственной деятельности представлен графом Толстым в отдельной повести «Утро помещика». Нехлюдов занимается своим делом бескорыстно, добросовестно и очень усердно. По воскресеньям, например, он обходит утром дворы тех крестьян, которые обращались к нему с просьбами о каком-нибудь вспомоществовании; тут он внимательно вникает в их нужды, присматривается к их быту, помогает им хлебом, лесом, деньгами и старается посредством увещаний внушать им любовь к труду или искоренять их пороки.

Один из таких обходов составляет сюжет нашей повести. Приходит Нехлюдов к Ивану Чурисенку, просившему себе каких-то кольев или сошек для того, чтобы подпереть свой развалившийся двор. Видит Нехлюдов, что все строение действительно никуда не годится, и Чурисенок рассказывает ему совершенно равнодушно, что у него в избе накатина с потолка его бабу пришибла. «По спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала». Нехлюдов, думая облагодетельствовать Чурисенка, предлагает ему переселиться на новый хутор, в новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системе. «Я, — говорит, — ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенок говорит: «воля вашего сиятельства», и в то же время прибавляет, что на новом месте им жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается в ноги к молодому помещику, начинает выть и умоляет барина оставить их на старом месте, в старой, разваливающейся и опасной избе. Чурисенок, тихий и неговорливый, как большая часть наших крестьян, придавленных бедностью и непосильным трудом, становится даже красноречивым, когда начинает описывать прелесть старого места. «Здесь на миру место, место веселое, обычное; и дорога и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать,

скотину ли поить — и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу». Что тут будешь делать? Нельзя же благодетельствовать насильно. Нехлюдов отказывается от своего намерения и советует Чурисенку обратиться к крестьянскому миру с просьбою о лесе, необходимом для починки двора. К миру, а не к помещику приходится обращаться в этом случае потому, что Нехлюдов отдал в полное распоряжение самих мужиков тот участок леса, который он определил на починку крестьянского строения.— Но у Чурисенка на всякое дело есть свои собственные взгляды, и он говорит очень спокойно, что у мира просить не станет. — Нехлюдов дает ему денег на покупку коровы и идет дальше. Входит он во двор к Епифану, или Юхванке Мудреному. Нехлюдову известно, что этот мужик любит по-своему сибаритствовать, курит трубку, обременяет свою старуху-мать тяжелою работою и часто продает для кутежа необходимые принадлежности своего хозяйства. Теперь Нехлюдов узнал, что Юхванка хочет продать лошадь; помещик хочет посмотреть, возможна ли эта продажа без расстройства необходимых работ. Оказывается, что продавать не следует, и Нехлюдов решительно запрещает Юхванке эту коммерческую операцию. Юхванка, в разговоре с барином, лжет ему в глаза самым наглейшим образом и нисколько не смущается, когда Нехлюдов на каждом шагу выводит его на свежую воду. Нехлюдов, как юноша и моралист, старается растрогать Юхванкину душу увещаниями и упреками, а Юхванка, продувная бестия, каждым своим словом показывает своему барину совершенно ясно, что он непременно расхохотался бы над его советами, если бы его не удерживало тонкое понимание галантерейного обращения. — Пороть меня ты не будешь, — думает Юхванка, — потому что совсем никого не порешь; на поселение тоже не сошлешь — пожалеешь; а в солдаты я не гожусь, спереди двух зубов нету. Значит, ничем ты меня не озадачишь, и на все твои разговоры я вежливым манером плевать намерен. — И Нехлюдов, совершенно отменивший в своем хозяйстве телесные наказания, до такой степени живо чувствует свое бессилие перед сорванцом Юхванкой, что принужден по временам умолкать и стискивать зубы, для того чтобы не расплакаться тут же, на Юхванкином дворе, перед глазами нераскаянного грешника. Кончается визит тем, что барин, строго запретив продавать лошадь, тайком от беспутного Юхванки дает денег его матери на покупку хлеба.

Затем следует картина другого беспутства. У Давыдки Белого нет в избе ни крошки хлеба; весь двор представляет собою мерзость запустения, а сам Давыдка целые дни и ночи лежит на печке, под тулупом, даже весь отек и распух от сна. Барин будит «лени-

вого раба» и начинает аргументировать, очень убедительно доказывая необходимость труда. «Ленивый раб» слушает тупо и покорно. «Он молчал; но выражение его лица и положение всего тела говорило: «знаю, знаю, уж мне не первый раз это слышать. Ну, бейте же; коли так надо — я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил, по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое» (стр. 160). Приходит в эту минуту мать Давыдки, деятельная и бойкая женщина, которая одна работает за весь свой двор. Она начинает жаловаться на своего лядащего сына, ругает и дразнит его, рассказывает, что жена Давыдки извела себя тяжелою работою, а потом умоляет барина, чтоб он во второй раз женил беспутного лентяя. Нехлюдов говорит: с богом! но штука заключается в том, что за Давыдку ни одна девка по своей воле не пойдет и что мать просит у барина не позволения для Давыдки, а приказания для девки. Барин отвечает ей, что это невозможно, что хлеба он им даст, а невесту сватать не берется. Потом Нехлюдов пошел к богатому мужику Дутлову, предложил ему очень выгодное помещение для его денег, но мужик, разумеется, съежился и тщательно затаил свой капитал от помещика, и барин извлек из этого посещения только тот результат, что его маленько покусали дутловские пчелы, потому что он забрался на пчельник и, по юношеской храбрости, не пожелал надеть предохранительную сетку. Нехлюдов отправляется домой и по дороге задумывается. «Разве богаче стали мои мужики? — думает он, — образовались или развились нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни, — подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями» (стр. 168).

Странная и печальная история! Ум, молодость, энергия, стойкость, человеколюбие — все, что делает человека сильным и полезным, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется в его отношениях к крестьянам и все это приводит за собою только неудачи и разочарование и, в конце концов, безотрадное сознание той несомненной истины, что «им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле». Причина всей нескладицы заключается в том, что Нехлюдов — ни рыба, ни мясо и что он, вследствие этой двусмысленности и неопределенности своего положения

и своего развития, самым добросовестным образом старается влить вино новое в меха старые. Задача неисполнимая: меха ползут врозь, и вино проливается на пол, или, говоря без метафор, новая гуманность пропадает без пользы и даже приносит вред, когда приходит в соприкосновение с старыми формами крепостного быта. Если бы дедушка или, может быть, и папенька Нехлюдова приехал в свое имение с целью поправить расстроенное хозяйство мужиков, то, по всей вероятности, он в первую же неделю после своего приезда перепорол бы половину деревни, начиная, разумеется, с крепостных приказчиков, бурмистров, старост и всяких других деревенских властей. С таким помещиком Юхванка перестал бы быть «мудреным», и Чурисенок переселился бы на новый хутор без малейшего красноречия. Если бы, кроме неумолимой строгости, у этого помещика была малая толика практического ума и хоть какое-нибудь, даже самое рутинное знание сельского хозяйства, то в пять-шесть лет мужики действительно поправили бы свои делишки и дошли бы до той степени сытого довольства, которою пользуются быки и бараны благоустроенного скотного двора и которая в крепостном быту составляет предел, его же не прейдеши. И грозный помещик, с своей точки зрения, мог бы сказать, что он свято исполнил свою гражданскую обязанность, потому что, разумеется, он стоит неизмеримо выше тех современников своих, которые проживают свои доходы в столицах, предоставляя своих мужиков в бесконтрольное распоряжение управляющих и бурмистров. Да этого еще мало. Грозный помещик стоит даже выше такого почти идеального помещика, каким является нам Нехлюдов.

Для помещика не было середины. Он мог быть или суровым властелином, или дойною коровою. На первый взгляд может показаться, что второй тип лучше, отраднее и полезнее первого, но это — только на первый взгляд. Дойная корова побалует мужиков три-четыре года, а потом и протянет ноги тем или другим манером. Самый простой и естественный результат этого сентиментального баловства обнаруживается нам в истории Нехлюдова: в конторе ни копейки денег; имение просрочено; его опишут, возьмут в опеку, разорят еще хуже, а потом продадут с аукционного торга, и мужикам, привыкшим к доению коровы, придется так скверно при перемене системы, что хоть в петлю полезай. Ясно, кажется, что новое вино пролилось на пол. Но, разумеется, тип сурового властелина, в свою очередь, хорош только в той мере, в какой могло быть что-нибудь хорошее при существовании крепостной зависимости. Сытое довольство скотного двора, очевидно, не благоприятствует развитию высших способностей человеческого ума и не может создавать людей с сильными и самостоятельными характерами. Вам случалось, вероятно, видеть, как быстро спиваются с кругу и затягиваются в тину самого оподляющего разврата именно те юноши, которые

при жизни своих строгих родителей поражали вас своим безукоризненным и даже неестественным благонравием. «Эх, кабы старики-то были живы!» — говорят обыкновенно в этих случаях старые друзья покойников, совершенно упуская из виду то, что именно сами-то покойники приготовили в течение всей своей жизни всю ту кутерьму, которая разыгралась на другой день после их строгости. Ежовые рукавицы отняли у подвластного человека возможность приобретать себе самостоятельный житейский опыт, а неопытность оказалась тою широкою дорогою, по которой поехали на человека всякие искушения и всякие ошибки. Такая-то участь и постигает обыкновенно мужиков грозного помещика, как только ослабевает или прекращается давление его тяжелой руки.

Нехлюдову следовало все это сообразить прежде, чем он приехал в деревню и предпринял свои благотворительные нововведения. Надо было сказать себе: грозным помещиком я быть не могу, если бы даже и желал им сделаться. Дойною коровою я не хочу быть, потому что это глупо и бесполезно. Значит, если я чувствую потребность расположить мои отношения к крестьянам сообразно с моими гуманными стремлениями и убеждениями, то мне остается только одна дорога: надо осторожно развязать и потом совершенно уничтожить все обязательные отношения, существующие между мною и этими людьми. Приступая разумным образом к освобождению своих крестьян, Нехлюдов должен был прежде всего освободить самого себя от крепостной зависимости. Он живет трудами своих мужиков, или, другими словами, доходами с своего имения. А человек, который серьезно желает сделать в своей жизни что-нибудь действительно полезное, должен непременно жить своими собственными трудами. Кто не в состоянии, без посторонней помощи, прокормить самого себя, тому нечего и думать о какой бы то ни было деятельности на пользу других. Поэтому Нехлюдову надо было прежде всего узнать свои собственные способности и выучиться какому-нибудь хлебному ремеслу. Сделался ли бы он сапожником или писателем, профессором или кузнецом, машинистом или медиком, это уже совершенно все равно, и это вполне зависит от особенностей его умственной и вообще физической организации. Важно только то, чтоб он стал в совершенно независимые отношения к своему собственному капиталу, в чем бы этот капитал ни заключался, в крепостных ли мужиках, или в земле, или в деньгах.

Весь смысл вещей, весь мир неодушевленной природы и живых людей совершенно изменяется в глазах человека, когда этот человек чувствует и сознает, что он сам — рабочая сила и что в нем самом, в его голове и в его руках, заключается совершенно достаточное обеспечение его существования, является смелость и предприимчивость, непостижимые для капиталиста, который знает очень хорошо, что капитал его лежит вне его личности,

что этот капитал может быть утрачен и что личность капиталиста, после разлуки с своим капиталом, должна превратиться в нуль, или, еще вернее, в минус. Работник, владеющий капиталом, может позволять себе такую роскошь, на которую никак не может отважиться простой капиталист; он может рисковать своим капиталом из любви к своей идее; например, он может тратить его на научные опыты, на ученые экспедиции, на проведение в жизнь своих гуманных тенденций. Он может ставить последнюю копейку ребром, а такая способность выдерживать, не бастуя и не уменьшая ставки, до самого конца игры бывает часто совершенно необходима для успеха всего предприятия. Кроме того, кормить себя собственным трудом — значит относиться к какому-нибудь практическому делу совершенно серьезно и добросовестно, без всякой примеси шарлатанства или дилетантизма. Чтобы относиться таким образом к какому бы то ни было делу, надо уже кое-что знать, надо предварительно присмотреться и к самому себе и к разным особенностям житейской практики. Вследствие этого, кроме смелости и предприимчивости, у работника есть опытность и сметливость, недоступные очень многим из тех людей, которые спокойно питаются процентами с своих капиталов. Значит, работник будет действовать смело, но расчетливо, то есть рисковать только там, где действительно надо рисковать и где важность успеха совершенно окупает собою неверность предприятия. Итак:

Нехлюдов должен прежде всего сделать из себя работника и испытать силы своего ума и характера над решением той задачи, которая задается в жизни огромному большинству людей, то есть над самостоятельным прокормлением собственной особы. Для этого ему надо было бы непременно кончить курс в университете, а потом еще поучиться очень серьезно в продолжение нескольких лет, во-первых, для того, чтобы найти себе специальность, а во-вторых, для того, чтобы достаточно усовершенствоваться в этой специальности. Если бы Нехлюдов, после такого приготовления, решился поселиться в деревне, то он, вероятно, придумал бы там не свистелку, а настоящую молотилку. Дальнейший же ход эмансипационной работы не представляет никаких особенных затруднений. Если имение заложено и если бы вследствие этого нельзя было отпустить на волю крестьян, то надо сначала выкупить имение, а для человека, который живет собственным трудом и, стало быть, не нуждается в доходах, это дело окажется совершенно исполнимым. Выкупил, отдал крестьянам полный надел земли, остальную землю продал в другие руки для того, чтобы крестьяне видели возле себя просто богатого соседа, а не своего бывшего барина, связанного с ними патриархальными преданиями и обязанного оказывать им разные щедроты, совершил все формальности, отпускные, дарственные, купчие, да и уехал с вырученными деньгами заниматься своим

ремеслом. Вот самое простое и единственно возможное решение той задачи, над которой так усердно и так безуспешно трудится Нехлюдов. Посвящать всю свою жизнь крестьянам нет решительно никакой надобности. Пожалуйста, не посвящайте. Ведь из этого посвящения выйдет только то, что вы будете тратить деньги, заработанные крестьянами, или на бестолковые благодеяния, или на сооружение свистельных машин. Почему вы знаете, что вы способны быть помещиком, т. е. агрономом, скотоводом и отчасти администратором? Потому что вам досталось от отца имение в семьсот душ? Это причина неудовлетворительная; тогда, значит, сын сапожника должен быть сапожником, потому что отец оставляет ему в наследство колодку и шило. Таким путем мы приходим к индейским кастам, то есть к систематическому подавлению всякой личной оригинальности. Такого результата не может желать ни один здравомыслящий человек, и, стало быть, вы, господин Нехлюдов, должны быть не помещиком, а, может быть, учителем математики, или архитектором, или чем-нибудь другим, смотря по тому, каковы ваши личные способности. А чтобы узнать свои способности, вы должны учиться, читать, размышлять, говорить с умными людьми, а не закупоривать себя в деревне и не аргументировать с Юхванкой и с Давыдкой.

Значит, с какого конца ни возьми дело, везде оказывается все та же самая беда: незнание и опять-таки незнание. Где нет прочного знания, там вы не замените его ни усердием, ни добродушием, ни чистотою сердца, ни целомудрием, ни даже Иваном Яковлевичем. Все будет скверно, и все постоянно будет становиться хуже да хуже. Собственно для того, чтобы осветить с разных сторон эту очень старую истину, я остановился так долго на разборе повести «Утро помещика». Иначе незачем было бы говорить о ней так подробно, потому что крепостные отношения, изображенные в этой повести, уже давно укатились в вечность, «hinaus in's Meer der Ewigkeit»,* как говорит Шиллер в своих «Идеалах». Но вопрос о знании и полузнании постоянно стоит на очереди.

X

В последний раз мы встречаем нашего старого знакомого, князя Нехлюдова, в небольшом рассказе «Люцерн». Он, то есть не рассказ, а Нехлюдов, путешествует по Швейцарии и записывает свои путевые впечатления. Рассказ «Люцерн» составляет маленький отрывок из этих записок. Действие происходит в Люцерне и относится к 7 июля 1857 года. Князю Нехлюдову в это время, по моим хронологическим соображениям, должно

* «В море вечности» *(нем.)*. — *Ред.*

быть около 35 лет. Его характер надо считать уже окончательно сложившимся. Вот мы теперь и посмотрим, какой результат выработался из тех задатков, с которыми мы познакомились выше. Остановившись в лучшей люцернской гостинице, Швейцергофе, Нехлюдов из окна своей комнаты начинает очень сильно восхищаться видом озера, гор и вообще всякой другой природы. «Мне захотелось, — говорит он, — в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное» (стр. 183). Однако он никого не обнял, не защекотал и не ущипнул, вероятно потому, что его восторги в значительной степени охлаждались видом набережной, «прямой, как палка», и возбудившей в нем с самой первой минуты непримиримую ненависть. «Беспрестанно, — жалуется он, — невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно» (стр. 184). Война Нехлюдова с белою палкою набережной прерывается тем, что его зовут обедать за общий стол. За обедом для Нехлюдова начинаются новые огорчения. Его чрезвычайно волнует то обстоятельство, что странствующие англичане, которыми переполнен Швейцергоф, сидят слишком чинно и занимаются во время обеда процессом еды, а не веселыми разговорами. Во все время обеда он размышляет об английской холодности, а потом, разогорченный ею до глубины души, идет шляться по городу «в самом невеселом расположении духа». Тут ему становится еще грустнее. «Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место» (стр. 185). Но в это время какой-то уличный музыкант заиграл на гитаре и начал петь песни, и Нехлюдову вдруг сделалось ужасно хорошо и даже очень приятно жить на свете. «Все воспоминания, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? — сказалось мне невольно, — вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...» (стр. 185).

Набережная перед глазами — досадно! Англичане молчат — грустно! На гитаре заиграли — ужасно весело! Как вам нравится такой человек, у которого вся нервная система постоянно скрипит и ноет так или иначе в ответ на каждый ничтожный и мимолет-

ный звук из окружающего мира? Таких людей называют многие впечатлительными, отзывчивыми, тонко-чувствительными, художественными натурами; известное дело, нет той дряни, которую нельзя было бы украсить каким-нибудь ласкательным эпитетом; но мне кажется, что такие тонко организованные субъекты очень похожи на тех несчастных больных, которые, напитавшись ртутных лекарств, превращаются в ходячие барометры, то есть чувствуют ломоту в костях перед каждою малейшею переменою погоды. Эта тонкость организации есть не что иное, как совершенное расстройство нервной системы, расстройство, порожденное праздностью и бестолковою суетливостью. За неимением серьезной цели и полезной работы ум кидается на пустяки, гоняется за призраками, раздражается своими тщетными попытками поймать то, что никому не дается в руки, и, наконец, благодаря таким упражнениям, человек доходит до какого-то полусумасшествия: постоянно волнуется, постоянно о чем-то хлопочет, и сам не только не может, но даже и не пробует объяснить себе, чего ему надо, о чем он грустит, чему он радуется и какой смысл имеют все его пошлые бури в стакане воды. Когда человек дошел до такого безнадежного положения, тогда, разумеется, смешно и ожидать от него какой-нибудь деятельности; тогда надо просить его об одном: сядь ты, голубчик, на место и постарайся поменьше кричать и кривляться. Но он и этой просьбы исполнить не в состоянии; он все поет и все прыгает и ежеминутно откалывает такие удивительные штуки, каких ни один здравомыслящий человек нарочно не сумел бы придумать.

Князь Нехлюдов находится именно в этом положении совершенного умственного банкротства. Мысль и чувство его истрепались и измельчали до последней крайности и делают ежеминутно нелепейшие скачки, не имея уже сил остановиться и сосредоточиться на каком бы то ни было отдельном впечатлении. Когда звуки гитары и песни открыли Нехлюдову смысл всех тайн и загадок мировой жизни, тогда он подошел к тому месту, откуда слышались эти волшебные звуки. Он увидал, что певец поет перед балконом Швейцергофа; его слушает вся блестящая публика, живущая в этой гостинице, но ни один из слушателей не дает ему ни копейки, когда он, по окончании песни, снимает шляпу и произносит просительную фразу. Нехлюдов пользуется этим удобным случаем, чтобы немедленно вознегодовать. Я совершенно согласен с тем, что в этом факте действительно нет ничего хорошего, но я решительно не могу себе объяснить, каким образом мужчина зрелых лет может находить подобные факты сколько-нибудь для себя удивительными. Мальчику позволительно кипятиться при виде каждого неразумного или бесчестного дела. Для мальчика это кипячение даже положительно необходимо; оно пробуждает его силы и внушает ему желание бороться за то, что он считает разумным и справедливым. Но мальчик заметит

очень скоро, что бороться разом против всего — значит тратить свои силы на ветер. В результате может получиться только крайнее утомленье слишком ретивого бойца. Чтобы успеть хоть в чем-нибудь, надо непременно взять себе какую-нибудь отдельную задачу и заняться добросовестно ее разрешением, не кидаясь по сторонам и не хватаясь с безрассудною жадностью за все мелкие проявления зла, которые ежеминутно попадаются навстречу каждому цивилизованному европейцу. Когда мальчик таким образом окончательно выяснил себе свою отдельную задачу и когда он серьезно принялся за свою специальную работу, тогда мы можем сказать о нем, что он сделался зрелым мужчиною. Этот зрелый мужчина, встречаясь с каким-нибудь проявлением нелепости, говорит самому себе совершенно спокойно: знаю я эту штуку и корень ее знаю, и работаю я против нее так и так. А негодовать я не намерен, да и разучился я заниматься этим пустым делом. Негодование есть мимолетный взрыв чувства, а я вовсе не намерен тратить мое чувство на пускание таких мыльных пузырей. Мое чувство есть сила, приводящая в движение весь мой организм, и эта сила приложена навсегда к той работе, которую я себе выбрал. Чувство негодующих людей есть то крошечное количество пара, которое черт знает зачем поднимает кверху крышку кипящего самовара. А мое чувство есть тот же пар, но только проведенный в такую благоустроенную машину, которая поднимает тяжести и вертит колеса.

Нехлюдов, разумеется, остановился навсегда в положении самовара, фыркающего очень громко и совершенно бестолково. Ему сделалось очень досадно, зачем обитатели Швейцергофа не дали денег странствующему певцу. Ну, что ж с ними делать? Ведь под суд их отдать за это нельзя? Значит, надо было только наградить обиженного певца, то есть заплатить ему разом столько, сколько он мог ожидать от всех своих слушателей. Нарушенная справедливость была бы совершенно восстановлена, но Нехлюдов не может поступить таким образом, потому что это было бы слишком просто. Он догоняет уходящего певца и приглашает его выпить вместе с ним бутылку вина. Что ж? И это недурно. Но дурно то, что Нехлюдову тотчас приходит в голову устроить, посредством этой выпивки, какую-то демонстрацию в пику и в назидание жестокосердым и скупым обитателям Швейцергофа. Вот это уж никуда не годится, потому что такая демонстрация вовсе не приятна для певца и не полезна ни для кого на свете. Певец предлагает Нехлюдову войти в простую распивочную лавочку, но Нехлюдов, по своей дурацкой фантазии, тащит смущенного певца в настоящий Швейцергоф. Это значит: пляши по моей дудке, потому что я русский барин и потому что я тебя холю, угощаю. Это как нельзя больше напоминает мне Ситникова, [11] который кричит на мужиков: «наденьте шапки, дураки!» Шапки они должны надевать потому, что Ситников — прогрессист;

а дураками они оказались потому, что Ситников — барин. — Приходят в Швейцергоф. Их отводят в залу для простого народа, и тут начинается геройская борьба Нехлюдова против аристократизма, воплотившегося на этот вечер в лакеях блестящей гостиницы. Нехлюдову предлагают простого вина, но он, «стараясь принять самый гордый и величественный вид», требует «шампанского, и самого лучшего». Подают шампанское, и вместе с шампанским приходят два лакея посмотреть на потешное представление, которое даром разыгрывает наш полоумный соотечественник. «Два из них сели около судомойки и с веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любуются родители на милых детей, когда они мило играют» (стр. 187). Соотечественник наш чувствует себя смущенным, но утешает себя тою мыслью, что путь добродетели всегда усеян колючими терниями. «Хотя, — говорит он, — мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо» (стр. 187). Это признание доказывает нам, что наши соотечественники тратят за границею на бесполезные подвиги не только свои деньги, но и свою энергию. Враги нашего соотечественника сдвигают свои силы. «Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие и тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне... Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе (странный вкус!), возбуждаю даже, когда на меня находит (сам сознается, что *на него находит*), потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей». (Насчет *моральных способностей* позволю себе выразить сомнение, потому что, как мы увидим дальше, они совершенно подавляются и помрачаются той *кипящей злобой негодования*, которую он *любит и даже возбуждает в себе.*) Вскипевший самовар Нехлюдов тотчас изливает на преступных лакеев потоки глупой, но язвительной речи. «Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом (лакей мог бы на это отвечать: я тогда еще не знал, что вы такой шут гороховый) и не садились со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошее платье? Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен; потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его. — Да я ничего, что вы, — робко отвечал мой враг-лакей. — Разве я мешаю ему сидеть? — Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром» (стр. 189). Последнее предположение Нехлюдова совершенно несправедливо. Судя по ответу лакея, можно

утверждать, напротив того, что он превосходно понял и даже разбил наголову нашего свирепого оратора. Ведь в самом деле вся речь Нехлюдова имела бы хоть какой-нибудь смысл только в том случае, когда бы лакей мешал певцу сидеть. А иначе Нехлюдов попадает в безвыходное противоречие. Ставя уличного певца наряду с блестящими гостями Швейцергофа, он уничтожает сословные перегородки, а потом он тотчас, во имя этих уничтоженных перегородок, кричит на лакеев и приказывает им встать. Это еще гораздо глупее ситниковского восклицания: «наденьте шапки, дураки!» — Кроме того, само собою разумеется, что эта сцена испортила певцу все удовольствие выпивки. Он самым жалобным образом начинает проситься домой, но Нехлюдов только что вошел в настоящий вкус той кипящей злобы негодования, которою он любит угощать самого себя. Он с сильным нахальством тащит бедного певца на новые мытарства. Выпил, дескать, каналья, так утешай барина до самого конца. Соотечественник наш требует, чтобы его, вместе с певцом, вели в парадную залу. В речи, которую он произносит по этому поводу, есть и политика, и нравственная философия, и поэтические образы, и арифметические соображения. «И отчего вы привели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? — допрашивал я швейцара, ухватив его за руку с тем, чтобы он не ушел от меня. — Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!.. Вот оно равенство. Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по нескольку сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?» (стр. 190).

Если вы представите себе, что вся эта бурда хороших слов была вылита на голову несчастного швейцара, которого держат за руку, чтобы он не ушел, то вы, вероятно, согласитесь, что, может быть, никогда еще тип неисправимого фразера или бестолкового идеалиста не являлся перед вами в более смешном и печальном положении. — Не забудьте, что это положение вытекает самым естественным образом из всех, уже известных нам подробностей о воспитании и из прежней деятельности Нехлюдова, не забудьте, что мы, по повестям Толстого, можем проследить шаг за шагом формирование этого страшно-болезненного характера, не забудьте всего этого, говорю я, и тогда только вы убедитесь в том, что повести Толстого действительно заслуживают самого внимательного изучения. — Нехлюдов одерживает победу над лакеями и входит триумфатором в парадную залу. «Зала была действительно отперта, освещена, и за одним из столов сидели, ужиная, англичанин с дамою. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к са-

мому англичанину и велел сюда подать нам неконченную бутылку» (стр. 190). Нехлюдов злится на англичан за их чванство и за то, что они ничего не дали певцу. Он хочет им сделать какую-нибудь неприятность и для этого пускает в ход своего певца, как комок грязи, который он кладет чуть-чуть не на тарелку ужинающих англичан. Англичане очень неправы; с их стороны очень непохвально брезгать человеком потому, что этот человек беден. Но Нехлюдов, вступающийся за этого бедного человека, унижает и тиранит его еще гораздо сильнее; вы представьте себе только, каково должно быть положение певца, которого превратили таким образом в пассивное орудие, и притом в орудие наказания. Его присутствием наказывают других людей; согласитесь, что трудно вообразить себе что-нибудь глупее и мучительнее его роли, и Нехлюдов сам сознается, что бедный певец сидел в парадной зале «ни жив ни мертв» и торопливо допил все, что оставалось в бутылке, лишь бы только поскорее выбраться вон. А те англичане, которых Нехлюдов хотел наказывать, разумеется тотчас же ушли из залы, так что вся мучительная неприятность положения обрушилась исключительно на несчастную причину торжества, то есть на бедного певца, которому Нехлюдов хотел сначала доставить удовольствие.

Ведь есть же в самом деле такие люди, у которых мысль не может ни на минуту остановиться на одном предмете и которые вследствие этих изумительных скачков своей мысли не могут довести до конца самого простого дела. И всего замечательнее в психологическом отношении то обстоятельство, что многие из этих полупомешанных людей, делая поразительные глупости каждый божий день, с раннего утра до поздней ночи, в то же время никак не могут быть названы глупыми людьми. Наделав множество нелепостей, эти господа сами начнут разбирать свое диковинное дело и обнаружат в своем анализе так много наблюдательности, тонкого юмора и беспощадной иронии над своими собственными ошибками, что вы будете вслушиваться в их речи с самым напряженным вниманием и с самым сознательным сочувствием. Тот самый Нехлюдов, который держал швейцара за руку, чтобы пожаловаться на паршивость люцернской республики, тот самый Нехлюдов, говорю я, через несколько минут после ухода несчастного певца называет свою *кипящую злобу негодования* — детскою и глупою. Тот самый Нехлюдов описывает весь этот эпизод с неподражаемым оттенком грустного и задумчивого юмора. И тот же самый Нехлюдов на другой день, наверное, ухитрится сочинить новую нелепость, которая опять заставит его смеяться и грустить над своею собственною изломанною и искривлявшеюся особою.

Глупить и размышлять над сделанными глупостями, размышлять и потом опять глупить — вот все внутреннее содержание в жизни людей, подобных Нехлюдову. И нет такого сильного

ума, который не пришел бы к тому же самому безнадежному положению, если он не воспитает самого себя в строгой школе положительной науки и полезного труда. Все мы знаем давно, что человек — существо слабое, беспомощное и несчастное, пока он, своими единичными силами, пробует бороться против сил физической и органической природы, то есть против стихий и против диких животных. И тот же самый человек, соединяя свои силы с силами других людей, подчиняет себе воду и ветер, пар и электричество, мир растений и мир животных. Тот же самый закон, в полном своем объеме, прилагается как нельзя лучше к развитию и совершенствованию отдельного человеческого ума. Ум наш не может развернуться правильно, он не может даже оставаться крепким и здоровым, если мы не будем соединять сил нашего ума с умственными силами других людей. В общечеловеческой науке соединяются все умственные силы всех отживших и всех живущих поколений, и поэтому искать себе умственного развития *вне* науки — значит обрекать свой ум на уродливое, мучительное и неизлечимое бессилие. В этой мысли нет решительно ничего нового, но повторять и даже доказывать ее все еще необходимо. Мы были бы очень умными и очень счастливыми людьми, если бы многие старые истины, обратившиеся уже в пословицы или украшающие собою наши азбуки и прописи, перестали быть для нас мертвыми и избитыми фразами. Слова наши часто бывают очень хорошими словами, но в том-то и горе наше великое, что они навсегда остаются словами и что мы сами уже давно к ним прислушались и, потерявши всякое доверие к пустому звуку, забыли в то же время и основную мысль, вечно живую и вечно плодотворную.

1864 г. Декабрь.

РОМАН КИСЕЙНОЙ ДЕВУШКИ

(Повести, рассказы и очерки Н. Г. Помяловского. Два тома, СПБ. 1865 г.)

I

Две главные повести Помяловского, «Мещанское счастье» и «Молотов», связаны между собою личностью героя, Егора Ивановича Молотова.

В первой повести Молотов является 22-летним юношей, только что кончившим курс в университете. Во второй — 33-летним мужчиной, достаточно ознакомившимся с практическою жизнью. По своему характеру и по общему складу своей деятельности Молотов очень похож на Штольца. Существенная разница между ними заключается в том, что их авторы смотрят на них с разных точек зрения. Г. Гончаров смотрит на Штольца снизу вверх, а Помяловский на Молотова — сверху вниз. Г. Гончаров относится к Штольцу с восторженным благоговением, а Помяловский к Молотову — с дружелюбным и неоскорбительным состраданием. Г. Гончаров говорит: «давай нам бог таких людей, как Штольц», а Помяловский говорит: «как жаль, что большинство хороших людей принуждено оставаться в положении Молотова!» Для г. Гончарова Штольц есть идеал, о котором едва позволительно мечтать. Для Помяловского Молотов есть minimum, на котором едва ли позволительно останавливаться. Сами герои смотрят на себя так, как смотрят на них их творцы. Штольц сияет самодовольством: «Я ли, дескать, не умен, я ли не велик, я ли не полезен. Я — соль земли и спаситель отечества». Молотов, окончательно сформировавшийся, напротив того, тих, скромен, утомлен и грустен. Он сам говорит, что его жизнь — честная чичиковщина. О солении земли и о спасении отечества он, конечно, и не заикается. Именно поэтому Штольц — деревянная кукла, а Молотов — живой человек. Деревянность Штольца происходит именно оттого, что г. Гончаров нечаянно вложил в него внутреннее противоречие. Штольц в одно и то же время и умен и глуп. Умен, потому что лихо устроивает свои дела и пикантно рассуждает

о разных психологических тонкостях. Глуп, потому что усматривает в себе героя и лезет на пьедестал. И получается поэтому в общем результате глупоумная, то есть невозможная и деревянная фигура. А Молотов постоянно умен, и в практических делах, и в теоретических рассуждениях, и во взгляде на свою собственную личность. «Подлости я никакой не сделал, — думает он, — но мне все-таки грустно и совестно быть только не мошенником. Упрекать я себя ни в чем не могу, но и радоваться и гордиться мне нечем. Молодым деятелям, которым, быть может, удастся совершить подвиги *положительной* честности и активной любви, я скажу только: друзья мои, не судите меня строго. Не считайте меня тунеядцем и рабом ленивым, зарывшим свой талант в землю. Рассмотрите внимательно мою жизнь, поставьте себя на мое место, взвесьте все — и размеры моих сил, и обстоятельства, и понятия моих современников — и тогда вы, чего доброго, скажете, что я сделал все, что мог сделать. И тогда вы, может быть, с дружеским чувством пожмете мою руку за то, что я всегда ел хлеб, заработанный собственным трудом. Труд мой редко приносил пользу обществу, да ведь что же с этим делать? Откуда взять такой труд, который был бы действительно полезен? Стоит, например, на улице извозчик. Каждая копейка достается ему тяжелым и честным трудом. Чтобы привезти вечером домой каких-нибудь два целковых, сколько он в день натерпится и от снега, и от пыли, и от дождя, и от ветра, и от мороза! А разве труд его действительно полезен для общества? Разве все концы, сделанные извозчиком, действительно были необходимы? Разве силы лошади и человека не тратились большею частью на то, чтобы возить праздношатающихся шалопаев к другим праздношатающимся шалопаям, которые вовсе не желают их видеть и которые тем не менее считают своей обязанностью выражать в подобных случаях притворную радость, неспособную обмануть даже маленьких детей? — А ведь извозчик тут все-таки ничем не виноват. — Вот и я, — продолжает Молотов, — был постоянно точно таким же извозчиком. Титан, гений, сильный талант пробили бы себе дорогу к общеполезному труду. Но я не гений, не титан, даже не сильный талант. Я не могу и никогда не мог сказать людям такое слово, которое заставило бы их глубоко задуматься или очнуться от глубокого сна. Я просто не глупый и вследствие этого не подлый человек. И прошу я вас, молодые деятели, только об одном: поставьте меня в вашем мнении не выше и не ниже того извозчика, который возит шалопаев, но, несмотря на то, обращается совершенно честно и с хозяином, и с седоками, и с лошадью. Героем я себя не считаю, на пьедестал не лезу, но уважением умных и честных людей дорожу».

И действительно, никакие молодые деятели будущего времени, никакие титаны в мире не имеют возможности смотреть с презрением на того обыкновенного человека, который, подобно Молотову, скромно сознавая свою обыкновенность и понимая невозможность

переделать обстоятельства обыкновенными и изолированными силами, сосредоточил все свое внимание на той простой задаче, чтобы совершенно честно прокормить свою собственную личность. Если бы Штольц был возможен, то он был бы смешон и гадок. Ему надо было бы дать щелчок в нос, чтоб он слетел с пьедестала, на который его суконное рыло не дает ему ни малейшего права. Молотов, напротив того, совершенно возможен и очень симпатичен своею светлою и тихою грустью. Причина его грусти очень понятна. Он сознает, что труд его бесполезен для общества. Он чувствует, что при других условиях он мог бы приносить людям действительную пользу. Но создать эти условия он не в состоянии. Для этого нужно, чтобы общество, глубоко проникнутое инстинктивным стремлением к новой жизни, воплотило эти стремления в гениальной личности; чтобы эта личность своею деятельностью сгруппировала и осмыслила разрозненные силы многих честных и неглупых людей, подобных Молотову; чтобы эти соединенные силы дружно взялись за работу и превратили инстинктивное стремление общества в разумный план и в живое дело. Тогда Молотов был бы весел и счастлив. Он, быть может, все-таки остался бы чернорабочим; но какое счастье быть чернорабочим в том деле, которое любишь, уважаешь и понимаешь во всех его подробностях и последствиях! Кто читал превосходный роман Шпильгагена «Два поколения», тот, разумеется, помнит чернорабочего Каиуса, который, сломавши себе правую руку, продержал левою рукою корректуру длинной передовой статьи «In praesidentem». [1] В каждом деле такие чернорабочие действительно возможны. И каждому делу такие чернорабочие безусловно необходимы.

II

Помяловский в своих двух повестях хотел показать, каким образом жизнь полегоньку щупает ребра умному и развитому пролетарию и каким образом пролетарий, опираясь исключительно на силы своего развитого ума, может, несмотря на все медвежьи ласки жизни, остаться свежим, не искалеченным и не развращенным человеком. «Среда заела», «жизнь изломала», «обстоятельства погубили» — все это мы слышали много раз, все это повторялось и кстати и некстати, так часто, что все это превратилось, наконец, в совершенно выветрившуюся и очень вредную фразу. Сначала слова эти произносились умными людьми, размышлявшими об участи других умных людей, потрудившихся на своем веку и сошедших в преждевременную могилу, не сделав в жизни того, что они хотели и могли бы сделать при более благоприятных условиях. Тогда эти слова имели смысл. Тогда человек, произносивший эти слова, знал очень досконально, путем наблюдения

и даже личного опыта, что это за штука *среда*, и *жизнь*, и *обстоятельства*, и по каким причинам, и какими средствами, и для какой цели производятся разные *заедания*, и *ломания*, и *погубления* людей умных и много потрудившихся на своем веку. Умные люди, произносившие слова, всегда прилагали их к какому-нибудь третьему лицу, сошедшему со сцены. Но слова эти спустились в низшие слои умственного мира, и тогда — «пошла писать губерния». Определенный смысл слов выдохся, и дряблые людишки стали этими словами заживо читать себе отходную. «Меня заела среда», — говорил какой-нибудь Ноздрев, воротившись с ярмарки с опустошенным карманом и с ощипанными бакенбардами. «Меня изломала жизнь», — тоскливо произносил Тряпичкин, когда какая-нибудь редакция возвращала ему в целости толстые кипы его безграмотных повестей и стихотворений. «Меня погубили обстоятельства», — сладко и томно твердил лейтенант Жевакин, которому какая-нибудь Миликтриса Кирбитьевна [2] наплевала за излишнюю предприимчивость в его тусклые, бараньи глаза. И уездные города и резиденции сельских джентльменов на всем пространстве нашего обширного отечества переполнились людьми заеденными, погубленными и изломанными, которые однако, несмотря на весь трагизм своего положения, ели, пили, спали, жирели и тупели во всю свою волю.

О достойные сограждане! О филейные части человечества! Разве вы чем-нибудь отличаетесь от среды, жизни и обстоятельств, на которые вы так бессмысленно жалуетесь? И разве может какая-нибудь сила в мире заесть, изломать или погубить то, что рыхло, мягко, дрябло и жирно, подобно вам? И какой же человек, действительно способный почувствовать на своей особе медвежью лапу жизни, среды и обстоятельств, скажет когда-нибудь: *меня* заели, изломали или погубили? Самому признать себя заеденным, изломанным и погубленным — значит заживо лечь в могилу, значит бежать с пашни на лежанку в то время, когда работают сохи и бороны честных и умных соседей, друзей и родственников. Пока человек жив, до тех пор он борется и не признает себя побежденным; если он беден — он трудится, то есть борется с своею бедностью; если он неуч — он учится, то есть борется с своим невежеством; если он болен — он лечится, то есть борется с своею болезнью. Борьба продолжается до тех пор, пока человек не одерживает победы над своим врагом, или до тех пор, пока он сам не падает замертво на поле сражения. В первом случае человеку незачем говорить о своей изломанности или заеденности; тут он сам, напротив того, погубил, заел и изломал то, что мешало ему быть счастливым. А во втором случае человеку, упавшему замертво, уже некогда осыпать свою могилу цветами сочувственного красноречия; надгробное слово произнесут над ним другие люди. Таким образом, люди умные и энергические борются до конца, а люди пустые и никуда не годные подчиняются без малей-

шей борьбы всем мелким случайностям своего бессмысленного существования.

Надо сказать правду: люди вполне умные и люди безнадежно пустые во всех человеческих обществах почти одинаково редки. Огромное большинство состоит везде из людей посредственных, которые, с одной стороны, пороху не выдумают, но, с другой стороны, по выражению г. Щедрина, сальных свеч не едят, стеклом не утираются. [3] Эти люди могут быть деятельными или праздными, гуманными или жестокими, полезными или вредными, смотря по тому, в какую сторону направляется в данную эпоху господствующее течение идей. Ходячие фразы имеют значительное влияние на это человеческое стадо, и важнейшая задача здоровой и честной литературы заключается именно в том, чтобы всегда пускать в обращение такие фразы, которые в данную минуту могут действовать благотворно на ум и на волю бесцветных и несамостоятельных людей, составляющих большинство. При этом надо уметь во-время менять эти фразы, чтобы они не затаскивались и не покрывались плесенью. Это производство и передвигание общеполезных фраз составляет прямую обязанность беллетристики и чисто литературной критики, то есть тех отраслей словесности, которые всего ближе прикасаются к чувствам, интересам и условиям частной нравственности и будничной жизни.

Читатель не должен смущаться словом *фраза*. Каждая фраза появляется на свет как формула или вывеска какой-нибудь идеи, имеющей более или менее серьезное значение; только впоследствии, под руками бесцветных личностей, фраза опошляется и превращается в грязную и вредную тряпку, под которою скрывается пустота или нелепость. Даровитые писатели чувствуют тотчас, что формула выдохлась и что пора выдвинуть на ее место новый пароль.

Я показал в начале этой главы, каким образом фразы о среде, о жизни и об обстоятельствах, имевшие сначала глубокий смысл, превратились понемногу в нелепость, прикрывающую собою лень и негодность дряблых тунеядцев. Помяловский своим здоровым чувством и светлым умом понял как нельзя лучше, что пора поворотить поток фраз в другую сторону. До Помяловского эта потребность чувствовалась многими из наших лучших беллетристов. Самая полезная сторона в деятельности Тургенева клонилась именно к тому, чтобы изобразить внутреннее ничтожество наших домашних Гамлетов, праздно толкующих о вредном влиянии жизни, среды и обстоятельств. Большая часть тургеневских повестей говорит ясно и выразительно: те люди, которые жалуются на свое бессилие, никуда не годятся. К этому суждению Помяловский своими двумя повестями приделал естественное продолжение: а те люди, которые на что-нибудь годятся, борются с неблагоприятными обстоятельствами и по меньшей мере умеют отстоять против них свое собственное нравственное достоинство.— И каж-

дый здоровый и неглупый человек скажет на это с полным убеждением: правда твоя, честный и даровитый труженик; правда твоя, бедный и забитый бурсак, умевший счистить с своего ума и с своего чувства всю грязь, наложенную на них бурсацкими розгами! И спасибо тебе, Помяловский, за то, что ты сильным и убедительным своим словом заступился решительно за святыню человеческой личности, в силе которой усомнились слабодушные охотники оплакивать несовершенства жизни, среды и обстоятельств!

Человек — продукт среды и жизни, но жизнь в то же время вкладывает в него активную силу, которая не может быть мертвым капиталом для существа деятельного. Жизнь — дело в высшей степени прогрессивное, и главные двигательные пружины ее прогресса сосредоточиваются в мыслях и стремлениях лучших, то есть самых здоровых и нормально организованных представителей нашей породы. Поэтому, склоняясь перед незыблемыми законами вечной природы, современный мыслитель продолжает сознательно веровать в преобразующие и обновляющие силы человеческого ума. Все должно быть так, как оно есть в действительности. Согласен. Но если я недоволен тем, что я вижу вокруг себя, то и недовольство мое также *должно* быть и не может не существовать. Если мое недовольство наводит меня на ряд размышлений и поступков, то и размышления и поступки входят также в общий план природы. Стало быть, сознавать необходимость всех явлений, совершающихся в природе, совсем не значит складывать руки и погружаться в факирское созерцание. Я — также явление; и если *я* чего-нибудь хочет, ищет, домогается, то зачем же стеснять его естественные стремления?

III

Помяловский хотел представить в Молотове умного и развитого пролетария без всякой примеси сословных элементов или предрассудков. Молотов — человек, совершенно оторванный от всякой почвы; у него — ни кола, ни двора, ни родных, ни покровителей, совсем ничего нет, кроме умной головы и двух здоровых рук. «А где же те липы, — спрашивает у себя Молотов, — под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было никогда». Молотов — сын бедного мещанина, слесаря, одного из тех одиноких бобылей, которые очень нередки в сословии ремесленников. Жизнь его с отцом шла не очень дурно. Отец был малый добрый, и маленький Егорка не чувствовал перед ним никакого раболепного страха.

Мальчик свободно относился к отцу, точно взрослый, да и живет он дома не без пользы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить, и пьяного отца разденет, спать уложит, да еще приговаривает:

— Ну, ложись!.. Ишь ты нарезался!..
— Молчи, Егорка!
— Ладно, не разговаривай, лежи себе.
Вот в подобных случаях выпадали тяжелые минуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно пьяный, злой, непокладный и ни с того, ни с другого поколотит сына.
— Не озорничай, тятька!.. черт этакой!.. право черт! — отвечает ему сын.
— Врешь, капалья, врешь!.. Я тебе овчину-то натреплю...
При этом отец ловит Егорку за вихор и обижает его. На другой день отец все припомнит: ему совестно, он не знает, как и взглянуть на Егорку, как приступиться к нему. Отец молчит, и сын молчит; у обоих лица пасмурные. Под вечер, взглянув исподлобья, отец сказал:
— Полно, Егорка; ну тебя...
— А! Теперь и рожу в сторону!.. Стыдно небось стало?.. А ты не дерись!..
— Да ну тебя...
— Ишь нарезался, на стены лезет!
Отец замолчал. Прошло несколько мучительных минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату. Егорка взглянул сердито и сказал:
— В лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тут нечего молчать!
Такая уступка со стороны Егорки служила шагом к примирению, и у отца отлегло от сердца (стр. 37—38).

«Детская жизнь Егора Иваныча, — говорит Помяловский в другом месте, — совершалась в грязи, в бедности, а вот и теперь он вспоминает ее с добрым чувством» (стр. 36). И немудрено. Каждый читатель, не притупленный фразами грошового либерализма, согласится, что отношения между Егоркою и его отцом были так просты, естественны и здоровы, что они должны были действовать самым живительным образом на первоначальное развитие физических и даже умственных сил детского организма. Трепание овчины, разумеется, не заключает в себе ничего прелестного и душеспасительного, но ведь это нечто вроде летнего дождя, совершенно неспособного превратить ясную погоду в пасмурную. А общий колорит отношений совершенно ясен и светел. Хорошо в них именно отсутствие педагогических тенденций. Отец совсем не воспитывает своего Егорку, не муштрует его, ничего ему не внушает; он просто живет с ним, кормит, одевает и защищает его; а затем молодому организму, укрытому от слишком тяжелых столкновений с голодом, с холодом, с грубостью посторонних людей, — предоставляется полная свобода жить действительною жизнью, воспринимая «все впечатления бытия», доступные людям его социального положения. Между жизнью и ребенком нет той нелепой стены, которою тщательно обносятся со всех сторон благовоспитываемые дети. Егорка собственными глазами смотрит на подробности своего быта, собственными ушами слушает разные толки, умные и глупые, и собственным, неиспорченным ребяческим рассудком составляет себе понятия о том, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, что правда и что вранье. Ошибается он часто, но ошибается сам. Никакой мудрый педагог не завязывает ему глаз и не ведет его, с благими целями, к таким

ошибкам, которые питомец рано или поздно непременно должен осмеять и отвергнуть. В сердитую или пьяную минуту отец задает Егорке выволочку, но он никогда не унижает его нравственного достоинства и не извращает его самостоятельного суждения непрошенным и насильственным вмешательством в процесс его мысли. Он не требует от Егорки, чтобы тот считал его образцовым человеком и непогрешимым авторитетом. Он сам смиренно кается Егорке в своих грехах.

Отец беседовал с Егоркою как со взрослым, разговаривал обо всем, что занимало его: побранится ли с кем, получит ли новый заказ, болит ли у него с похмелья голова — все расскажет сыну.

— Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее. Вырастешь, не пей много.

— Я, тятька, пиво буду пить...

— И молодец!.. ты у меня молодец ведь?

— Еще бы! — отвечает сын (стр. 36).

Отколотивши сына ни за что ни про что, Иван Молотов не считает себя правым и не требует от Егорки, чтобы тот лобызал карающую десницу. Такие побои не унизительны. Когда ребенок имеет право дуться на своего отца и когда ему позволяется открыто выражать свое неодобрение и неудовольствие, тогда ребенок не озлобляется и не оподляется. Тятька его за вихор, а он тятьку в глаза чертом выругает: вот они и квиты; и к вечеру опять начинается у них дружелюбие и глубокомысленные беседы. Отец не смотрит на себя как на деспота de jure. * Сын не смотрит на себя как на существо бесправное и безгласное. Да и вообще ни отец, ни сын никак не смотрят на себя. У них нет никакой теории взаимных прав, обязанностей и отношений. Они живут в первобытном состоянии, без кодекса, и прекрасно делают, потому что кодекс они, при своей неразвитости, составили бы прескверный, а по натуре оба они — ребята добродушные и, стало быть, не способные постоянно пилить и обижать друг друга. Хорошую теорию прав, обязанностей и отношений составить очень трудно, а плохая теория гораздо хуже, чем полное отсутствие всякой теории. А сын совершенного неуча, Ивана Молотова, несравненно свежее и счастливее, чем семейства богатых и полуграмотных купцов, куролесящих в драматических произведениях Островского. Все нищие духом, все алчущие и жаждущие грязи, известной под названием почвы, [4] возрадуются и начнут уличать нас, озорников и отрицателей, в непоследовательности. «Вот видите, — скажут они, — вот и вы же признаете в русской жизни светлые явления. Вот и вы же находите, что воспитание Егорки, совершавшееся в русской бедности и в русской грязи, было здорово и полезно для мальчика».

Торжество наших близоруких противников будет очень непродолжительно и повернется тотчас против их же собственных идей.

---

* Де-юре; на основании законного акта *(лат.)*. — *Ред.*

Я нахожу воспитание Егорки здоровым и полезным именно потому, что в нем нет никаких специально-почвенных элементов. Что такое отец Егорки? Это человек, который трудится целый день, чтобы под вечер съесть горшок гречневой каши, и ест горшок гречневой каши, чтобы потом опять, проспавши на голых досках несколько часов, трудиться целый день. — Если заменить горшок каши блюдом вареного картофеля да если, кроме того, дать в руки Ивану Молотову менее допотопные инструменты, то жизнь Молотова окажется похожею, как две капли воды, на жизнь бедного ирландца или бедного немца. Трудиться, чтобы есть, — есть, чтобы трудиться, та же история и завтра, и послезавтра, и десятки лет подряд — с этим, воля ваша, не разгуляешься, и о создавании каких-нибудь чисто национальных теорий и бытовых форм не станешь задумываться по той простой причине, что некогда и что национальные теории нисколько не помогают человеку ни во время труда, ни во время пищеварения. Человек начинает систематизировать свои отношения к другим людям только тогда, когда у него является досуг и когда его умственные силы не поглощаются безраздельно заботами о куске хлеба. Первые попытки систематизирования бывают обыкновенно так же уродливы, как вообще всякие первые попытки. Голый факт, сам по себе очень безобразный, возводится без дальнейшего анализа в теоретический принцип и через это становится еще безобразнее. Взрослый мужчина сильнее всех других членов своего семейства и вследствие этого тузит их кулаком или плетью. Когда начинается систематизирование отношений, тогда мужчина говорит: я имею право, и на мне лежит даже священная обязанность учить вас, дураков. — Когда побои перестают, таким образом, быть делом свободной фантазии и принимают на себя догматически-обязательный характер, тогда положение подначальных членов семейства становится гораздо хуже прежнего, потому что малейшее возражение с их стороны и малейшая попытка защищаться вменяется им по теории в преступление, заслуживающее усугубленного наказания.

Я не такой знаток русского быта, чтобы я мог выдавать мои соображения за достоверные факты, но мне кажется, что систематическое порабощение женщин и детей гораздо значительнее в семейной жизни достаточного купечества, чем в семейной жизни бедных крестьян и мещан, принужденных постоянно работать из-за куска насущного хлеба. В бедном семействе главная задача состоит постоянно в том, чтобы общими силами бороться против голода и холода; жизнью бедного семейства управляют не принципы, а ежедневные толчки суровой необходимости. И муж, и жена, и дети — все должны работать, и работать часто врозь; каждый член семейства является таким образом до некоторой степени самостоятельным производителем; он сам высматривает свои выгоды, сам приноровляется к обстоятельствам, сам отвечает за свои поступки. Труд иногда изнуряет его силы, но тот же

труд обеспечивает за ним некоторую долю неотъемлемой самостоятельности. В семействе русского капиталиста, крупного или мелкого, еще не тронутого общечеловеческим образованием, жизнь складывается иначе. Отец семейства кормит всех своих домочадцев процентами с своего капитала и держит их в самой полной экономической зависимости. Кроме того, кусок хлеба всегда обеспечен, и потому живут эти люди не так, как велят жить обстоятельства, а так, как сами они считают должным и приличным, то есть так, как жили отцы и деды. Поэтому жизнь достаточного русского человека, не увлекшегося греховными прелестями лукавого Запада, представляет собою самый грязный и самый мрачный угол нашего отечественного быта. Тут нет ни физического труда, ни знания, то есть нет именно тех двух элементов, которые одни только и могут сохранить человеческую природу от полнейшей деморализации.

Тот слой нашего общества, который выведен на свежую воду комедиями Островского, составляет действительно самое темное пятно среди множества темных явлений нашей народной жизни. Это — темное пятно именно потому, что в нем могли сохраниться в полнейшей неприкосновенности принципы, выработанные русскою жизнью и нашедшие себе превосходное выражение в известном Домострое попа Сильвестра. С этим темным пятном целуются и обнимаются славянофилы и почвенники; но, увы и ах! Это темное пятно с каждым десятилетием становится меньше. Сверху на него давит европейская или общечеловеческая наука; снизу его тормошат и подтачивают запросы физического труда, то есть, говоря проще, очень богатые капиталисты посылают своих детей в университеты, а очень бедные поневоле берутся за ремесло и начинают жить со дня на день, заботясь не столько о неприкосновенности дедовских нравов, сколько о насыщении вопиющих желудков. С этим темным пятном русской жизни и со всеми специально-скверными особенностями почвы воспитание Егора Молотова не имело ничего общего. По смерти своего отца маленького Егорку взял к себе на воспитание старый холостяк, отставной профессор. Молотов прошел через гимназию и через университет и, таким образом, присоединился к той небольшой горсти мыслящих пролетариев, которые ничем не связаны с почвою и которые по своему положению и образованию могут относиться совершенно беспристрастно ко всему в нашей общественной жизни.

IV

С лишком двадцать лет жизнь обращалась с Молотовым довольно милостиво. Она не баловала его излишнею роскошью, но и не томила его суровою нуждою. Помяловскому было необходимо обставить первую молодость своего героя такими благоприятными

условиями. По размерам своих умственных сил Молотов — человек обыкновенный. Если бы такой человек с детства был поставлен в необходимость страдать и бороться за свою нравственную самостоятельность, то он не выдержал бы такой ранней и тяжелой борьбы; он превратился бы в человека забитого, притупленного и развращенного. Сам Помяловский вышел победителем из своей четырнадцатилетней борьбы с бурсою, но для этого надо быть Помяловским, да и Помяловский, несмотря на атлетическое сложение своего тела и своего ума, вынес с собою из бурсы роковое наследство — едкую и неизлечимую печаль о потерянном времени и, что еще того хуже, несчастную привычку топить эти невыносимо-тяжелые ощущения в простом вине. Но Помяловский не хотел и не мог мерить людей и жизнь на свой аршин. Что мог сделать Помяловский, то оказалось бы по силам только немногим избранным личностям. Если бы Помяловский в лице Молотова вздумал изобразить самого себя, то его произведение не имело бы того практического смысла, который оно имеет теперь. Тогда обыкновенные люди имели бы право сказать, что жизнь Молотова ни в каком отношении не может служить им уроком и примером. Мы люди маленькие, сказали бы они, а Молотов — вон какой большой. Надо было непременно, чтобы Молотов был человеком обыкновенного роста. Надо было, чтобы борьба с жизнью началась для него только тогда, когда физические и нравственные его силы были уже совершенно сформированы.

Повесть «Мещанское счастье» представляет именно первое суровое столкновение юного Молотова с шероховатостями вседневной действительности. В «Мещанском счастье» он узнает на практике две житейские истины: во-первых, что поступками людей управляют в общей сложности не чувства, а интересы; и, во-вторых, что очень мягкий и любящий человек может иногда грубо и безжалостно наступить ногою на живое человеческое тело, способное чувствовать самую жгучую боль. — Первую истину выясняют ему помещик Обросимов и его супруга. Вторую— почерпает он из своих отношений к *кисейной* девушке, Леночке. Дело Молотова с семейством Обросимовых чрезвычайно просто, и только на мягкого двадцатилетнего юношу, совершенно не потертого жизнью, оно могло произвести прочное впечатление. Молотов поступил к Обросимову домашним секретарем; его хозяева, люди вовсе не грубые и не злые, обращались с ним вежливо и ласково; Молотов с искренностью, свойственною его летам, привязался к ним очень скоро и вообразил себе, что они тоже ужасно как любят его и видят в нем задушевного друга и почти родственника. На поверку же выходит то, чего всегда следовало ожидать. Обросимовы смотрят на него как на наемника, изучают внимательно и хладнокровно выгодные и невыгодные стороны его характера, критикуют в своем кругу его привычки, держат с ним ухо востро и тщательно наблюдают за тем, чтобы он исполнял

за свое ничтожное жалованье как можно больше разнообразнейших поручений, за которые Молотов, по своей юношеской наивности, берется даже с особенным удовольствием, усматривая в этих поручениях доказательства дружеской бесцеремонности и откровенности. — Один простой разговор между помещиком и помещицею, нечаянно услышанный Молотовым, разрушил совершенно в его глазах фантастическую идиллию обросимовского дружелюбия. Выписываю отрывок из этого очень безобидного диалога.

— Они, я говорю, образованный народ, — продолжала жена: — но все-таки народ чернорабочий и всё как будто подачки ждут...

— Что же? можно сделать ему подарок какой-нибудь. Он стоит того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжет его... А что ни говори, жена, — эти плебеи, так или иначе пробивающие себе дорогу, вот сколько я ни встречал их, удивительно дельный и умный народ... Семинаристы, мещане, весь этот мелкий люд — всегда способные, ловкие господа.

— Ах, душенька, все голодные люди умные... Ты — дворянин, тебе не нужно было правдой и неправдой насущный хлеб добывать; а этот народец из всего должен выжимать копейку. И посмотри, как он ест много. Нам, разумеется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетит обнаруживает в нем плебея, человека, воспитанного в черном теле и не видавшего порядочного блюда... Не худо бы подарить ему, душенька, голландского полотна, а то, представь себе, по будням манишки носит, — ведь неприлично!..

— Я не замечал этого...

— Где ж вам, мужчинам, заметить...

— О бедность, бедность! — сказал со вздохом Обросимов (стр. 125 и 126).

Разговор этот замечателен во многих отношениях. Но прежде чем я буду рассматривать его в подробностях, я замечу мимоходом, что не только Молотов, но даже сам Помяловский смотрит на этот разговор не совсем верно. Юный Молотов обиделся, захандрил, укротил свой демократический аппетит и даже, вскоре после того, уехал от Обросимовых. Это все понятно. Молотов пылал любовью и уважением к Обросимову и вдруг вместо взаимности увидел в перспективе кусок голландского полотна и часы. И пришлось юноше, влюбленному в добродетельного помещика, сказать вместе с Шиллером:

Er ist dahin, der süsse Glaube
An Wesen, die mein Traum gebar,
Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,
Was einst so schön, so göttlich war.

(Она погибла, сладкая вера в существа, порожденные моею мечтою, и добычею суровой действительности сделалось то, что было так прекрасно, так божественно.)

Все это понятно. Но странно то, что с лишком десять лет спустя опытный и рассудительный мужчина Молотов, припоминая этот случай, говорит: «помещик оскорбил меня, приходилось оставить место» (стр. 267). В сущности оскорбления не произошло ни малейшего; помещик оказался только не «прекрасным» и не «божественным», и добродетели этого помещика, сочиненные

самим Молотовым, сделались, подобно шиллеровским идеалам, «добычею суровой действительности». А ведь разочарование и оскорбление — две вещи совершенно различные. Из некоторых очень умных рассуждений Помяловского видно, что он выводит слова Обросимовых из аристократизма, барственной спеси, неразвитости и слабоумия. Но мне кажется, что причины их странного взгляда на Молотова лежат глубже. Такой взгляд неизбежен везде, где один человек нанимает или, другими словами, *покупает на время* другого человека.

Весь разговор между Обросимовым и его женою вытекает естественно и неизбежно из того обстоятельства, что Обросимов — наниматель, а Молотов — наемник. И будь Обросимов умнее первого финансиста в мире, мистера Глэдстона, [5] все-таки он мог бы говорить с своею женою о Молотове так, как он говорит в повести Помяловского. Обросимов должен непременно думать о Молотове так: «Я тебя, друг любезный, купил и в известные сроки аккуратно плачу тебе деньги за твою же собственную особу. Ты — малый ловкий; с одной стороны, это хорошо; но, с другой стороны, это опасно. Хорошо потому, что купленный мною товар вследствие этого оказывается годным на всякую поделку. Опасно потому, что этот ловкий и юркий товар может ежеминутно выскользнуть у меня из рук. Ты, о товар, можешь надуть меня, ты можешь слишком много отдыхать, отлынивать от работы и в то же время отводить мне глаза твоею зловредною ловкостью. Ты, о товар, повидимому чувствуешь ко мне симпатию. Но я не дурак. Я знаю, зачем ты обнаруживаешь это чувство. Ты собираешься ускользнуть у меня из рук, ты начинаешь отводить мне глаза, ты хочешь подвести подкопы под мое чувствительное сердце, чтобы я, распустивши нюни, не мешал тебе бить баклуши и произвел тебя из купленных товаров в полноправные человеки. О, шельма ты, шельма! Ловкость твоя мне нравится. На̀ тебе гривенник на водку, и ступай, бестия, работать!»

Мы знаем уже, что в истории Молотова *гривенник на водку* принял на себя облагороженный вид голландского полотна и часов. И все-таки я утверждаю, что во всех размышлениях Обросимова нет ничего оскорбительного для Молотова. Тут нет столкновения личностей; тут сталкиваются только две отвлеченные величины — наниматель и наемник. Имеет ли Молотов какое-нибудь разумное основание чувствовать себя, именно *себя*, обиженным, когда с ним обращаются не хуже, чем со всеми остальными честными и умными людьми, поставленными в его положение? По моему мнению, не имеет. Он обиделся, потому что был юн; доживши же до зрелого возраста, он бы должен был осудить безусловно строй отношений и оправдать так же безусловно личность Обросимова.

В разговоре Обросимова с женою любопытны две следующие черты. Во-первых, замечание помещицы о сильном аппетите плебея; во-вторых, восклицание помещика: «о бедность, бедность!»,

вырвавшееся у него по поводу молотовских манишек. Есть на свете люди, для которых неимение цельных голландских рубашек составляет симптом вопиющей бедности. Каково, думают такие люди, этот господин ест со мною за одним столом, разговаривает со мною как с равным, и вдруг — у него нет голландского белья. О бедный, о несчастный человек! И как близко мы, баловни судьбы, сталкиваемся в жизни с непокрытою нищетою!

Эта трогательная филантропия по поводу манишки показывает очень наглядно, до какой степени праздный богач может одуреть и избаловаться и до какой замечательной искусственности он может довести весь свой образ жизни. Но законы природы никогда не нарушаются безнаказанно. Замечание помещицы о плебейском аппетите дает нам понятие о неизбежном наказании. Аппетит убавляется, силы убывают, здоровье слабеет, порода мельчает и тупеет в тех людях, которые постоянно потребляют, не производя ровно ничего и не освежаясь никогда живительными волнами физического и умственного труда. Это — явление повсеместное.

V

У одной небогатой соседки Обросимовых есть дочь, молодая девушка, Леночка. Эта барышня простодушно заигрывает с Молотовым и, без всякой задней мысли, пишет к нему нежное письмо, в котором, ни с того ни с сего, назначает ему любовное свидание. Письмо написано так: «Егор Иваныч! У вас есть чувство, и вы завтра в 6 часов придете на реку к мельнице вечером и здесь встретите даму и, если любите, узнаете ее; а если нет, я останусь по гроб верная вам и любящая» (стр. 82). Подписи нет. Молотов, юный и застенчивый, повергается этим письмом в величайшее недоумение. Молодое воображение разыгрывается, хотя милая бестолковость письма и фатальные слова: «по гроб верная и любящая» значительно умеряют его порывы. Он приходит к назначенному месту очень сконфуженный и конфузится еще сильнее, увидев Леночку, которая, с своей стороны, уже и сама не рада собственной смелости. Выходит уморительная сцена. Невинные любовники ведут между собою солидный разговор о достоинствах погоды и затем расходятся по домам, не сказавши друг другу ни слова о письме и о том, зачем они встретились.

Странно было смотреть на молодых людей. Леночка не менее Молотова боялась разговора о письме. Она лишь только увидала Егора Иваныча, ей страшно стало за свой легкомысленный поступок, который она, кажется, сделала так, спроста, по-птичьи... Леночка теперь сама поняла, что следовало бы надрать ей хорошенькое ее ушко... Она чуть не плакала и в первую минуту едва не сказала: «Егор Иваныч, не говорите мамаше... я больше не буду». Но увидев, что Молотов едва ли не больше ее струсил, она сказала себе: «он не страшный, он такой добрый», и рада была, что Молотов не говорит ничего о письме. Теперь она была спокойна.

Егор Иваныч наклонился и сорвал цветок.

— Дайте мне цветок, — сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мне на память.

— Разве нельзя помнить без цветка?

Молотов сорвал другой цветок. Леночка опять:

— Дайте мне цветок.

— И этот на память?

— Дайте же, — сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цветок и ударила им по руке Молотова. Все это сделалось как-то уж очень наивно. Оба засмеялись (стр. 93).

Славная девчонка эта Леночка! Она не ловит себе жениха, она не кокетничает с Молотовым. Она именно заигрывает с ним, как здоровая девушка, в которой близость здорового и красивого мужчины возбуждает радостное волнение. Совершенная непосредственность и неподкрашенность простого физиологического влечения составляет весь секрет ее грации. В изображении этой женской фигуры Помяловский является чистым натуралистом. Базаров говорит о Фенечке: «Чего ей стыдиться? Она — мать, стало быть, и права». Помяловский смотрит на Леночку совершенно так, как Базаров на Фенечку. Леночка и не развита, и не умна, и не сияет никакими особенными добродетелями. Это просто живой и здоровый организм, и Помяловский откровенно любуется этим превосходным произведением природы; и нельзя не любоваться. Здоровому человеку свойственно любить жизнь во всех ее неизуродованных проявлениях. А когда здоровый человек становится мыслящим человеком, тогда любовь к мировой жизни делается еще сильнее, потому что он получает возможность изучать то, чем он прежде бессознательно любовался. Тургенев любит свою Асю. Помяловский любит свою Леночку. Но Тургеневу, чтобы полюбить Асю, было необходимо сделать из нее какое-то особенное, странное, оригинальное и, мне кажется, полуфантастическое существо. Ему необходимо было окружить ее развалинами прирейнских замков, сделать из нее эффектную дикарку и показать читателю, что в ее нетронутом уме таятся богатые задатки будущего развития. Словом, мы имеем тут дело «с высшею натурою» (une nature d'élite), и Тургенев ни под каким видом не позволил бы своей Асе написать безграмотное billet doux * с подписью «по гроб верная и любящая». Его покоробило бы от этой тривиальности, похожей на поэзию конфетных билетиков. Помяловский, напротив того, как реалист по складу своих убеждений и как совершенно последовательный плебей, не делит людей на высшие и низшие натуры, на дюжинные и недюжинные, на пошлые и изящные. Он совершенно бесстрашно подходит к самой мелкой, самой будничной прозе жизни, даже не к сермяжным ее явлениям, — сермяга имеет в себе своего рода эффектность, —

* Любовное послание *(франц.)*. — *Ред.*

а к ситцевым и к кисейным; и даже тут его неисчерпаемая любовь к жизни вообще и к человеку в особенности не изменяет себе ни на минуту. Леночка вовсе не дикарка. Она — чисто одетая и гладко причесанная барышня. Она нисколько не похожа на пушкинскую Татьяну. Это не тихий омут, в котором черти водятся. Она совсем не отличается тишиною, и нет ни малейшего основания подозревать в ней присутствие каких-нибудь чертей. Она вся как на ладони, и ее чрезвычайно легко понять с первого взгляда. Такие характеры обыкновенно рисуются художниками на втором плане только для того, чтобы оттенить контрастом натуру высокую, изящную, глубокую, тихую и наполненную скрытыми чертями. Леночка похожа на сестру Татьяны, Ольгу, о которой говорит Онегин:

Бела, кругла лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

Похожа она также на ту Агафью Матвеевну, которая прельщала Обломова толстыми локтями. И кажется мне еще, что мать Базарова, Арина Власьевна, в молодости своей сильно смахивала на *кисейную девушку*, Леночку. Но пушкинская Ольга поставлена на втором плане, и автор относится к ней так же насмешливо, как сам Онегин. Агафья Матвеевна выведена на сцену единственно для того, чтобы сделаться живою эмблемою того падения, которое постигло Обломова за его предосудительную леность. Если она, таким образом, представляет собою воплощенное пугало, то, разумеется, об искреннем и непокровительственном сочувствии автора к ней не может быть и речи. Об Арине Власьевне нечего и говорить; мы видим ее в той поре жизни, когда она уже давно перестала быть женщиною. Сына любит, пороху не выдумает, вот и все, что можно о ней сказать.

Поэтому надо согласиться, что Помяловский выбрал себе и разрешил совершенно новую задачу, не тронутую до него ни одним из замечательных русских писателей. Он взял совершенно обыкновенную девушку, такую, от которой даже и в будущем ничего нельзя ожидать, кроме дюжины толстомордых ребят, и к этой простейшей из простых смертных он отнесся с беспримерною кротостью и нежностью. Он сам знает очень хорошо, что вся Леночка не что иное, как здоровое и красивое тело, но это его нисколько не смущает и не отталкивает. Он от нее и не требует ни сильного ума, ни глубокого чувства. Он говорит себе: этот молодой организм ищет и просит себе любви, счастья, наслаждения, того, что для него необходимо, как теплота, свет, воздух и сырость необходимы для растения. Что мне за дело до того, что этот глуповатый организм понимает любовь, счастье и наслаждение не так, как понимают их мыслящие люди? Неужели я буду осуждать кисейную девушку за то, что она не умеет и не может быть счастлива

по-моему? Напротив того, я от души желаю, чтоб она была счастлива *по-своему*. Я горячо сочувствую ее радости, ее горю, ее тревоге и ее томлениям не потому, что я сам способен таким же образом и по таким же причинам радоваться, горевать, тревожиться и томиться, а потому, что в ней-то, именно в ней, все эти ощущения совершенно естественны, неизбежны и неподдельны. — Вы скажете, что ее ощущения слабы и мелки. Для *вас* — да. Но для *нее* они не мелки и не слабы. Они соответствуют размерам ее сил и широте ее понимания. Для самого себя каждое живое существо есть центр и смысл всего мироздания; для самого ничтожного субъекта его собственные радости, огорчения, усилия и заботы важнее и крупнее мировых переворотов, совершающихся без его участия и не имеющих влияния на судьбу его личности.

Я до сих пор ни разу не встречал писателя, у которого было бы так много самородной гуманности, как у Помяловского. Тургенева называют *симпатичным* художником, и я ничего против этого названия не имею. Но даже Тургенев улыбнется тонкою саркастическою улыбкою при встрече с такими явлениями, на которых Помяловский с неутомимою, пантеистическою любовью останавливает свой кроткий, задумчивый, безгранично-нежный и, несмотря на то, глубоко-умный взор. А между тем Помяловский прослыл и до сих пор слывет у наших журнальных кликуш грубым и грязным обличителем, человеком черствым и бесчувственным. — Один из новейших мудрецов «Эпохи», попавший в эту журнальную богадельню *из губернии*, догадывается даже, что Помяловского сгубило именно его циническое отвращение ко всему нежному и изящному. Он требует от Помяловского, чтобы тот выводил на сцену облагороженных бурсаков, а не таких, которые говорят: *отчехвостить*, *стилибонить*, *смазь вселенская* и т. д. Кроме того, он в ноябрьской книжке той же грязной богадельни выражает уморительную надежду, что реалисты, и преимущественно автор «Нерешенного вопроса», откажутся от солидарности с безнравственными повестями Помяловского.[6] Истинно можно сказать: велика и обильна наша матушка Россия. Какие в ней, подумаешь, бывают удивительные *губернии* и какие в этих непостижимых губерниях появляются иногда невиданные светила! И как в самом деле не употребить выразительное слово loucocheko[7] в разговоре о том источнике, из которого льются мысли, подобные вышеупомянутым хитросплетениям. Помяловский всегда говорит резкими и грубыми словами о том, что резко и грубо в действительности; но под твердою оболочкою резких и грубых выражений таится такая женственная нежность чувства, которая ощутительна и понятна для всякого мало-мальски не глупого и не бездушного человека. О Помяловском можно вполне справедливо сказать то, что Бёрне говорит о Байроне: «Его сердце было окружено сплошною стеною твердых и острых колючек, damit das Vieh nicht daran nage (чтобы его не глодала скотина)».

И действительно, как только к подобному сердцу сунется какая-нибудь тупая скотина, так она сейчас и отскочит назад с окровавленною мордою и с выражением комического негодования в своих оловянных глазах. — Dixi et animam levavi! * По-русски эти латинские слова можно перевести так: выругался во все свое удовольствие!

VI

Помяловский с такою глубокою гуманностью относится к своей кисейной Леночке, что он даже не осмеливается решить окончательно вопрос: действительно ли из нее никогда не может сформироваться мыслящее существо? Да и в самом деле, какое мы имеем право, глядя на живого и шаловливого ребенка, произнести над ним решительный приговор вроде некрасовской колыбельной песни:

> Ты чиновник будешь с виду
> И подлец душой.

Чтобы произносить такие приговоры, надо читать безошибочно характер и будущее людей по выпуклостям их черепа и по чертам их лица. Но подобным уменьем еще не обладает никто, и, следовательно, приговор отвержения может иногда обрушиться на таких людей, которые способны подняться, окрепнуть и развиться. В самых дюжинных личностях, поставленных в самую бесцветную среду, бывают иногда такие взрывы мысли и чувства, которые вдруг какою-то молниею освещают перед глазами обыкновенного человека и безграничное величие всего живого мира и неизведанную глубину собственной потрясенной души. Есть такие взрывы и у кисейной Леночки, и кто же осмелится утверждать, что они совершенно бесплодны, что они исчезнут без всякого следа и что врожденная пошлость возьмет непременно верх над лучшими впечатлениями, если даже эти лучшие впечатления будут повторяться часто и последовательно? Один раз Леночка резвилась и шалила с Молотовым и потом вдруг затосковала, да так, что даже слезы досады и непонятной грусти выступили на ее живые черные глаза. Объяснить, чего ей хотелось, она, разумеется, не умела. Но понятно, что ее тяготила пустота, отсутствие любимой мысли, дорогого чувства, отсутствие всего, что дает цвет и смысл человеческому существованию. Молотов старается ее утешить, но при этом говорит только бесполезные слова; в подобных случаях требуется не красноречие, а серьезная и деятельная помощь, такая помощь, которая бы перевернула всю жизнь тоскующего человека. А когда не хочешь или не можешь оказать такой помощи, тогда уж просто молчи и пропускай мимо ушей все жалобы твоего собеседника.

---

* Сказал и душу облегчил. — *Ред.*

« — Читайте, учитесь, — продолжал Молотов и вдруг остановился, вспомнив, что юноши наши всегда предлагают это универсальное лекарство от всех дамских болезней» (стр. 107). Эти слова могут навести читателя на мысль, что сам Помяловский сомневается в действительности «универсального лекарства». Сомневается ли он или нет, во всяком случае надо заметить, что лекарство ни в чем не виновато. Недействительность его происходит от того, что «наши юноши», в том числе и Молотов, предлагают это лекарство чрезвычайно бестолково. «Читайте, учитесь!» Легко сказать! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Эти слова: «читайте, учитесь!» напоминают мне очаровательный куплет из стихотворения Гейне:

В морозы, прибавил он, надо всегда
В постели как можно теплей укрываться,
И тут же совет рассудительный дал
Здоровою пищей питаться. [8]

В жалкой конуре под крышею два человека, мужчина и женщина, умерли в морозную ночь от холода и от истощения сил. Пришел доктор свидетельствовать их трупы, и вот он-то именно и дает при этом удобном случае рассудительные советы насчет здоровой пищи и теплого одеяла. Еще более рассудительные советы дают «наши юноши», когда они произносят слова: «читайте, учитесь!» Бедняку неоткуда взять теплое одеяло и кусок ростбифа; но если вы ему дадите то и другое, то он управится с этими предметами без всяких дальнейших разъяснений. Но если вы дадите десятки умнейших книг такому человеку, который никогда не читал, не учился и не размышлял и который, кроме того, живет в совершенно неподвижном обществе, то вы не принесете ему решительно никакой пользы. Надо сделать так, чтоб он сам потянулся к книге и чтобы он собственною энергиею победил скуку и трудности первого начала. Тогда все пойдет хорошо и незачем будет произносить бесполезные слова: «читайте, учитесь!». Но для того, чтобы возбудить в человеке желание и дать ему возможность читать и учиться, надо постоянно действовать на него словом и примером; надо много, долго, откровенно и задушевно говорить с ним обо всем, что расширяет наш умственный горизонт; надо ловить в нем каждую минуту его раздумья и его одушевления; надо, одним словом, сделаться его лучшим другом и неутомимым руководителем.

Когда дело происходит между мужчиною и женщиною, тогда вопрос ставится еще проще. Если вы любите или расположены полюбить данную особу, тогда смело и серьезно принимайтесь за великую деятельность просветителя; если же нет, тогда оставьте в покое тоскующую женщину и уходите от нее подальше, потому что ваши бессильные утешения и неприменимые советы не дадут ей ровно ничего, кроме лишнего горя. Брошенные на ветер слова: «читайте, учитесь!» составляют двойное кощунство; во-первых, —

над беспомощным положением огорченной женщины, живущей в таком обществе, где все мешает читать и учиться; а во-вторых, — над святынею «универсального лекарства», которое действительно оказывается бессильным только тогда и там, когда и где его бестолково сыпят на пол, вместо того чтобы подавать его в руки пациенту. Поэтому «нашим юношам» действительно не помешает намотать себе на ус, что проповедовать о величии науки в пустыне или в конюшне — значит превращать святую и великую истину в бессмысленную фразу, над которою с особенным наслаждением станут хохотать все многочисленные подлецы и идиоты. Возбуждать такой хохот вредно, и, следовательно, надо говорить о науке и о разумном чтении только тем лицам, которых вы намерены серьезно просвещать и руководить. Да и вообще *говорить о науке* незачем, а надо постоянно употреблять науку в дело как орудие, разбивающее нелепость и расширяющее умственный горизонт всякого человека, без различия пола и общественного положения.

Заигрывания Леночки с Молотовым доходят до того, что она его целует. Он держит себя совершенно пассивно, то есть не отталкивает ее прочь и не говорит ей ни слова о любви. Она ему нравится, ее ласки волнуют его, но он постоянно смотрит на нее сверху вниз, так что ему и в голову не приходит мысль о возможности посвятить всю жизнь этой кисейной девушке. Действительно ли прав Молотов в своем высокомерном взгляде на Леночку? Дать на этот вопрос прямой ответ очень трудно. Молотов, как человек обыкновенный по размерам своего ума, не может смотреть на Леночку иначе. У Молотова нет той сильной и горячей веры в человеческую природу, которая дается только очень даровитым и глубоким натурам и которою обладал в такой значительной степени сам Помяловский. Плебей Молотов был барином в отношении к Леночке, барином очень снисходительным и милостивым, но тем более не способным поставить кисейную девушку с собою на одну доску. Ему бросались в глаза тривиальные выражения Леночки, как г-же Обросимовой бросались в глаза тривиальные манишки и тривиальный аппетит Молотова. — Шокируясь выражениями, он забывал о том, что вызывало эти выражения, о том, что искало и не умело найти себе выхода из души искренней, простой, честной и любящей девушки. Она бросилась к нему на шею без расчета, без условий, без кокетливых уловок, именно по-птичьи, — так, как бог на душу положил.

VII

В прощальной сцене Молотова с Леночкой бухгалтерская безукоризненность юного Егора Иваныча доходит просто до комизма, и кисейная девушка, на которую Молотов взирает с величественною снисходительностью, оказывается, по энергии

и задушевности чувства, неизмеримо выше, прекраснее и сильнее умного и развитого мужчины, только что соскочившего с университетской скамейки. Являясь рядом с Леночкой, Молотов уподобляется какому-то печеному яблоку, и Помяловский превосходно понимает его бессилие и несостоятельность. Прощальная сцена до такой степени замечательна, что я разберу ее очень подробно, хоть бы мне пришлось написать о ней страниц десять. Критике не часто приходится встречаться с такими явлениями, как повести Помяловского, и когда встретишься с ними, тогда уж не хочется и расставаться. — Молотов приходит к Леночке через неделю после того, как он услышал убийственный разговор о манишках и об аппетите. Он до такой степени расстроен этим разговором, что отношения к Леночке представляются ему только докучливою прибавкою к обуревающим его заботам. «Еще Леночка! еще Леночка на моих руках!» — повторяет он про себя и отправляется к ней с твердым намерением все покончить.

Я напомню здесь читателю то величественное равнодушие и невозмутимое хладнокровие, с которым Базаров выслушивает и отражает дерзости Павла Петровича. Будь Базаров на месте Молотова, он бы и внимания не обратил на обросимовские рассуждения и не подумал бы из-за такой ничтожной причины отказываться от удобного места. Ел бы он попрежнему за четверых, потому что при заключении условий ему не было поставлено в обязанность сидеть впроголодь; и манишки носил бы он, нисколько не смущаясь, а когда бы ему поднесли кусок голландского полотна и часы, тогда бы он спокойно заметил, — это лишнее, потому что, заключая условия, помещик не выговорил себе права делать Базарову какие бы то ни было подарки. И тогда Обросимовы уразумели бы, что Базарова нельзя ласкать по произволу, а надо сначала приобрести его уважение для того, чтобы он позволил любить и ласкать себя. Базаров не стал бы говорить: «*Еще* Леночка!» Отношения к любящей женщине стояли бы в его глазах постоянно на первом плане, и для него было бы даже просто непостижимо, каким образом можно, хотя на минуту, поставить рядом с этими серьезными и обаятельными отношениями какую-нибудь дурацкую болтовню о неприличии манишек и здорового аппетита? Но мелочное самолюбие Молотова оскорблено так сильно, что под влиянием обросимовского разговора в его уме поднимается бестолковейшая буря бессвязных размышлений о жизни, о призвании, о деятельности, о назначении человека. Ни к чему эти размышления не приводят, но Молотов до такой степени занят ими, что, придя к Леночке с намерением объясниться и проститься навсегда, он прежде всего начинает гамлетствовать, что, очевидно, нисколько не относится к главному предмету. Леночка по обыкновению встречает его нежными, веселыми и доверчивыми ласками. Видя его торжественную мрачность, она тревожно и заботливо расспрашивает его о здоровье; в голосе ее слышатся слезы;

она старается развеселить его шуткой. «Ишь какой! — сказала Леночка: — что дуться-то! муху, что ли, проглотил?» (стр. 160). Но луч веселости не проникает в мрачную душу Молотова, наполняемую манишками, аппетитом и *«еще Леночкой»*. И вдруг Молотов начинает задавать своей собеседнице мировые вопросы. «Что бы вы сказали, — говорит он, — когда бы привели к вам когонибудь и спросили: дайте этому человеку дело на всю жизнь, но такое, чтобы он был счастлив от него?» — «Зачем это вам?» — «Нужно». — «Да этого никогда не бывает». — «Бывает» (стр. 161).

И врет. Действительно, никогда не бывает, чтобы приводили одного человека к другому и чтобы этот другой на всю жизнь пристроивал первого и доставлял ему полное счастье, на которое первый решительно ничем не приобрел себе разумного права. Счастье завоевывается и вырабатывается, а не получается в готовом виде из рук благодетеля. И самая трудная часть задачи состоит именно в том, чтобы составить себе понятие о счастье и отыскать себе ту дорогу, которая должна к нему привести. Когда жизненная борьба уже превратилась в сознательное стремление к определенной цели, тогда человек может уже считать себя счастливым, хотя бы ему пришлось упасть и умереть на дороге, не вступивши в ту обетованную землю, которую покойный А. Григорьев так игриво называет *белою Арапиею*.[9] Но сознательность стремлений также вырабатывается трудом и борьбою, и ни один благодетельный мудрец в мире не может переложить эту сознательность из собственной головы в неокрепшие головы своих учеников и прозелитов.

Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выражение лица девушки, когда она занята серьезною мыслью, а Леночка почувствовала женским инстинктом, что ей не пустой вопрос задан. Она, ей-богу, от всей души желала бы разрешить его, но ничего не смыслила тут.

— Не знаю, — сказала она и посмотрела на Молотова, — что с ним будет.

Он усмехнулся (стр. 161).

Молотов, доезжающий Леночку глупо-возвышенными вопросами, чрезвычайно похож на двенадцатилетнего гимназиста, щеголяющего на каникулах перед сестрами лонгиметриею, планиметриею, логарифмами и всякими другими мудреными вещами. Молотов, очевидно, спрашивает не затем, чтобы получить удовлетворительный ответ, а затем именно, чтобы усмехнуться и чтобы в эту усмешку влить малую толику своей клокочущей желчи. Вот, дескать, они мои манишки осмеяли, и я им за это ничего не могу сделать, а теперь я твое невежество осмею, и ты со мною тоже ничего не сделаешь. Молотов сгорел бы от стыда, если бы он совершенно ясно отдал себе отчет в этом движении мелкой и дрянной злости, и бедная, простодушная Леночка, разумеется, не стала бы так добросовестно ломать свою нехитрую голову над неразрешимым вопросом, если бы она знала, что ее ненаглядный Егорушка ищет только случая поважничать и поломаться. Но в этом-то и беда

Леночкина, что она чересчур благоговеет перед умом и образованностью своего кумирчика; если б она благоговела поменьше, тогда, может быть, и кумирчик не оттолкнул бы от себя прочь ее чистую и нерасчетливую любовь. — После своей усмешки над незнанием Леночки Молотов продолжает пускать мрачные и глубокомысленные рулады. Например, вот этакие:

— Неужели моя жизнь пропадет даром?.. Где моя дорога?.. Неужели так я и не нужен никому на свете?..

Он крепко задумался. Елена все смотрела на него, ожидая признаний; но при последних словах Молотова она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцелуями крепкими и жаркими, какими еще никогда не целовала его.

— Егор Иваныч!.. душка!.. ты — герой!..

Молотов пожал плечами и чуть вслух не сказал: «Душка!.. герой!.. — вон куда хватила!..»

Поцелуи не разогрели его, несмотря на то, что Леночка первый раз охватила его так страстно... Молотов ничего не заметил. Он смотрел угрюмо в землю... (стр. 162).

Я заметил в предыдущей главе, что бывают и у кисейной девушки такие великолепные взрывы чистого и могучего чувства, которые хотя на минуту поднимают ее неизмеримо выше мелкой и копеечной пошлости ее будничной жизни. Читатель видит теперь, что замечание мое не было брошено на ветер. Взрыв описан у Помяловского так превосходно, что первый художник в мире не прибавил бы ни одной черточки к выписанным мною строкам. Но что же значит этот взрыв, который так естественно сделан кисейной девушкой, «по гроб верной и любящей»? — И почему Молотов для нее «душка» именно в ту минуту, когда он хмурится и грубиянит? И почему она видит в нем «героя» именно тогда, когда он слабеет и унывает? И то и другое совершенно понятно. Ты чувствуешь себя одиноким и никому не нужным, думает она. Тем лучше. Я для тебя все в эту минуту. Никто и ничто не становится между мною и тобою. Хоть бы ты никому на свете не был нужен, — ты мне нужен. И жизнь твоя не может пропасть даром, потому что я возьму ее себе, и она даст мне полное счастье. Когда все на свете смотрит на тебя холодно и равнодушно, тогда я одна вырастаю в твоих глазах, ты сильнее обыкновенного привязываешься ко мне, и я тоже особенно сильно люблю тебя, потому что понимаю, как полезна тебе моя помощь в эти тяжелые минуты. И, кроме того, ты сам ошибаешься. Человек, которого можно любить так, как я тебя люблю, никогда не сделается на свете лишним и ненужным человеком. Если тебя действительно стоит любить, то ты непременно найдешь себе в жизни хорошее дело. Ты унываешь не оттого, что ты слаб и негоден, а оттого, что ты не удовлетворяешься теми гнилыми крупицами, которые подбирают с таким успехом мелкие и дрянные людишки. Твое уныние не может быть продолжительным. Явится спокойное размышление, вспыхнет с новою силою твоя мужественная энергия, и опять заки-

пит у тебя под руками честное и полезное дело. И я в то время буду смотреть на тебя и радоваться, и гордиться тобою, и гордиться тем, что в твоей бодрости есть частица моего живительного и утешающего влияния. И везде и всегда я буду рядом с тобою. И труд, и лишения, и опасности, и тревогу, и сомнения, и горе — всё пополам. Я на все готова, и эта готовность удесятеряет мои силы.

Слившись в неопределенный, но чрезвычайно сильный порыв страстной любви, весь этот ряд мыслей промелькнул с неуловимою быстротою в голове Леночки, когда она бросилась на шею к Молотову и когда вся фигура ее выросла и просияла под влиянием нахлынувших на нее новых и непонятных для нее ощущений. Молотов ничего этого не понял по той простой причине, что все его раздумье вытекало из очень мелкого и мутного источника. Все бессвязные возгласы о дороге, о жизни, о собственной ненужности выражали собою в сущности только плач и скрежет зубов над посрамленными манишками. Когда его назвали героем, то ему сделалось совестно, что его манишки залетели в такие высокие хоромы. Но вместо того чтобы откровенно назвать самого себя дураком за мелочность своего огорчения, он в душе обругал дурою Леночку за наивную преувеличенность выражений, которые, впрочем, вовсе не были бы преувеличенными, если бы слова Молотова о разных высоких материях были действительно глубоко продуманы и прочувствованы, а не напущены со стороны глупым разговором Обросимовых.

Значит, Леночка провинилась только тем, что поверила на слово любимому человеку, то есть, выражаясь яснее, тем, что любила глубоко и сильно. В ту минуту, когда она осыпала своими «горячими и бешеными» поцелуями постную фигуру Молотова, проглотившего муху и не умеющего с нею справиться, в уме ее возлюбленного шевелились, по всей вероятности, очень мелкие и буржуазные мысленки. «Да, — думал он о себе с подавленною злобою, — ест много, неприличные манишки носит, и ко всему бы этому великолепию еще жену приобрести, «по гроб верную и любящую», которая при всех будет на шею вешаться и, ни к селу ни к городу, визжать: «душка» и «герой». Куда как интересно!» — Опять тривиальность выражений заслонила собою в глазах честного Чичикова величие искреннего чувства. — Красота Леночки, просветленной своим порывом, осталась незамеченною для ее собеседника, погруженного в мучительное созерцание манишек и собственной ненужности.

VIII

Молотов пришел к Леночке затем, чтобы сбыть ее с рук. Но он до такой степени углублен в свое собственное копеечное раздумье, что, повидимому, совершенно забывает настоящую цель своего прихода. Если бы он нарочно хотел причинить Леночке как можно

больше страдания, то он не мог бы придумать нравственную пытку утонченнее той, которую он заставил ее выдержать по своей непростительной невнимательности.

Если он пришел с твердым намерением все покончить, то с какой стати он задает ей мудреные вопросы, интересные только для него и не имеющие для нее ровно никакого значения? Деликатно ли, позволительно ли искать себе утешения и совета у той самой девушки, которую решился и собираешься оттолкнуть? Ведь это в сущности хуже, чем если бы Молотов на прощание выпросил у нее денег взаймы. И как он осмелился принимать ее поцелуи, с какого права называл ее до последней минуты Леночкой, когда в голове его участь этой Леночки была уже окончательно решена? Значит, он до последней минуты воровал ее поцелуи и ласки. Он разбудил в ее голове совершенно непривычную для нее работу мысли, он расшатал всю ее нервную систему красивою наружностью своего дрянного горя, он дал ей полное право думать, что пришел к ней поделиться заботами и сомнениями, он раздразнил ее чуть не до истерики, — и все это для того, чтобы сказать ей вежливо-бухгалтерским тоном: сударыня, честь имею с вами раскланяться!

Не напоминает ли это вам, господа, гоголевского Ивана Иваныча, который беседует с голодным нищим о говядине, о галушках, о горелке и потом, наболтавшись досыта, говорит с замечательною кротостью: «ну, ступай же, любезный, ведь я тебя не бью!» — Теперь мне придется сделать очень большую выписку.

« — Елена Ильинишна, — сказал он серьезно.

— Что?

— Нам пора объясниться...

У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егор Иваныч не говорил так с нею.

— Разве мы не объяснились? — спросила она. (Совершенно справедливое замечание. Какое тут еще требуется объяснение, когда люди давно целуются?)

— Нет, не объяснились; все у нас было, кроме объяснений. (Аккуратному Егору Иванычу желательно, чтобы все делалось по форме, но безалаберная Леночка вряд ли способна понять, чтобы объяснения были еще необходимы тогда, когда уже было «все». Впрочем, это «все» не должно пугать читателя. Это «все» ограничивалось невинным обменом поцелуев. Собственно поэтому формалист Молотов и не считает себя связанным.)

— Ну, скажите, — ответила Леночка, боязливо глядя на собеседника.

— Вы меня любите? (Какой дурацкий вопрос!)

Леночка хотела обнять его. Он уклонился. (Леночка, очевидно, предпочитает мимические объяснения словесным, но Молотову уже становится совестно продолжать кражу поцелуев.)

— Я вас очень люблю... (Как много дело подвинулось вперед от этого ответа!)

— Но, разумеется, можете привыкнуть к той мысли, что мы не всегда будем поддерживать наши отношения? (Представьте себе, что в уголовную палату призывают преступника и говорят ему: «Вы, разумеется, можете привыкнуть к той мысли, что вас будуть драть плетьми на площади?» Преступник на это отвечает: «Воля ваша, а привыкнуть к такой мысли я никак не могу». — «Что ж делать, mon cher, * — говорят ему, — постарайтесь привыкнуть». Что бы вы, читатель мой, подумали о таких судьях, которые позволяли бы себе подобные шутки? Вы бы, вероятно, назвали их большими негодяями? А ведь Молотов, по своей деревянной неловкости, поступает точно таким же образом, только не с преступником, а с доброю и милою девушкою, которая его любит. К чему клонится его вопрос? Скажет ли она *да*, скажет ли *нет*, не все ли равно? Разве ее ответ изменит хоть в чем-нибудь его решение? Она это предчувствует и уклоняется от ответа.)

— К чему же об этом говорить? (Вот это правда.)

— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно. (Скажите на милость, чего этот анафема от нее добивается? Зачем он из нее душу тянет?)

Ей никогда не приходил такой вопрос на ум, и она с замешательством отвечала: — Да, я вас люблю... (Ничего больше она и сказать не может. Отвечает она так не потому, что «ей никогда не приходил такой вопрос на ум», а потому, что вопрос Молотова из рук вон глуп и оскорбителен. Ей надо было или пропустить этот вопрос без внимания, или отвечать на него резким упреком. Если сформулировать вопрос Молотова яснее, то получится следующий результат: «ведь вам, разумеется, все равно, кого ни целовать, меня ли, другого ли мужчину?» — Бедной, добродушной Леночке в голову не приходило, чтобы Егорушка решился нанести ей такое незаслуженное оскорбление. Поэтому, если даже она разобрала в вопросе Молотова этот гнусный смысл, то она немедленно отбросила прочь это предположение, уверила себя, что она поняла неверно, и вследствие этого сумела только повторить с замешательством свою незатейливую песенку: «да, я вас люблю». Тут Молотов находит, что он уже достаточно приготовил преступницу к принятию плетей, и начинает действовать.)

— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вам не могу отвечать тем же... (Как вам нравится эта перемена декораций! «Да плюй же, плюй ему прямо в лохань!», как выражаются «хорошие люди» города Глупова.) [10] — Леночка взглянула на него испуганным взглядом и вскрикнула. (Подумаешь, как это странно! Преступница кричит, точно будто ее не приготовляли заранее

---

* Мой милый *(франц.)*. — *Ред.*

к сильному ощущению.) Болезненно отозвался этот крик в душе Молотова. «Вот она так любила!» — подумал он.

— Елена Ильинишна, кто ж виноват? кто виноват? вы должны помнить, что не я первый... — Молотов оборвался на полуфразе, потому что невольно почувствовал угрызение совести. «Что ж такое, что не я первый?» — шевельнулось у него в душе, и он кончил иначе, нежели начал: — Боже мой, что же это на меня напало!.. — (Здесь опять автор с изумительною твердостью выдержал характер своего героя. Это не мерзавец, хладнокровно играющий чужим счастьем; это — милая и добрая размазня, способная только отсиживаться от всякой напасти. Для него немыслим крупный активный поступок: вместо того чтобы с самого начала, с первого свидания спугнуть глупую бабочку, которая летит прямо на свечку, он умеет только отмалчиваться; вместо того чтобы теперь, когда бабочка уже обожгла себе крылья, махнуть на все рукою и смело повести ее под венец, не заботясь о дальнейших последствиях, он умеет только сидеть и добродушно сокрушаться. Подлецом его, пожалуй, и нельзя назвать: он не завлекал, он не обещал, он и теперь страдает искренно; но ведь вот в чем штука: бывают в жизни такие случаи, когда мямля может насолить ближнему не хуже отъявленного негодяя.) Послышалось всхлипывание и тихое, ровное, мучительное рыдание; запрется в груди звук, надтреснет, переломится и разрешится долгой нотой плача; слезы катились градом...

— Никому мы не нужны... кому любить таких?

Она зарыдала сильнее...» (стр. 164, 165, 166). «Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бедной девушки... глупенькой, кисейной девушки... Она так жить хотела, так любить хотела и доживала последнюю лучшую минуту жизни. Впереди ее пошлость, позади тоже пошлость. Теперь она могла бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже так, что из нее выйдет не человек-женщина, а баба-женщина. Молотов чувствовал это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадет она!» — думал он» (стр. 169). И, думая таким образом, он все-таки отталкивал ее прочь от себя, назад в ту трясину пошлости, из которой бедная девушка старалась высвободиться с такими судорожными усилиями, с такими горькими и мучительными рыданиями. И все это оттого, что он, изволите видеть, не любил ее. Точно будто нужно любить человека какою-нибудь особенною любовью для того, чтобы протянуть ему руку, когда он зовет вас к себе на помощь. Точно будто, доставляя другому человеку счастливое и разумное существование, мы не наслаждаемся вместе с ним, и даже гораздо больше его самого, тою светлою жизнью, которую мы ему доставили. Осчастливить ту женщину, которую мы сами любим страстно, — это, разумеется, очень приятно. Но подарить счастье той женщине, которая любит нас, — это также очень недурно, тем более что человеку свойственно привязываться очень сильно к тем людям, которым

он сделал добро. Счастье мыслящего человека состоит не в том, чтобы играть в жизни милыми игрушками, а в том, чтобы вносить как можно больше света и теплоты в существование всех окружающих людей. Молотов еще плохо понимает эту простую истину, и это обстоятельство показывает ясно, что он подходит гораздо больше к тщедушному идеалу г. Гончарова, чем к сильным и мужественным реалистам новейшего времени. Молотов так наивно неделикатен, что он, уже измучив бедную Леночку, все еще эксплуатирует в свою пользу ее беспредельную доброту. После сцены рыдания, когда ему надо было уйти прочь без оглядки, чтобы не мозолить ей глаза, он все сидит, да не только сидит, а открывает ей свою душу, то есть рассказывает ей, как его обидели Обросимовы. «Она слушала его с увлечением, положив на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «да этого не бывает»...

— Я их не люблю, — сказала она горячо...

Молотов поцеловал ее, но это был не страстный, а добрый поцелуй. (И даже глупый.)

— Бог с ними, — сказал он... (Какое великодушие!)

— Никогда их не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя... (Вот тут действительно кротость и доброта доходят до величественных и, пожалуй, даже до безобразных размеров. Он ее оскорбил, он оттолкнул прочь ее святую любовь, он осудил ее на безвыходно-пошлое существование, и она же утешает и успокаивает его, и она же принимает горячо к сердцу трагическую участь его манишек. Это, наконец, глупо и отвратительно. Любить и прощать — прекрасное занятие, но иного осла не мешает и по морде треснуть, чтобы заставить его одуматься.)

Они расстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего же нас любить нельзя?.. отчего?» (стр. 170). — Э, Леночка, Леночка! Охота тебе из-за одного дурака задавать себе такие радикальные вопросы! Вас можно любить, и вас будут любить, и вы сделаетесь умными, мыслящими и полезными людьми. Никакого в вас органического порока не оказывается. Но чтобы увидать и развернуть те задатки здорового ума, которые в вас таятся, надо обладать не такими силами, какими располагал твой ненаглядный Егорушка. Дрянной народ те мужчины, с которыми вам приходится иметь дело. Оттого вы так часто и плачете. — Каждая слеза, которую проливает в современных обществах любящая женщина, есть тяжелое обвинение против мужчины. Взял женщину под свою опеку, отнял у нее самостоятельность, ослабил ее ум и ее физические силы, — так умей же по крайней мере дать ей за это счастье. А не умеешь, — так на что же годится твоя дурацкая опека?

IX

«Нас много, таких девушек», — замечает сама Леночка. «У нас немало встречается таких женщин, как Леночка», — прибавляет от себя Помяловский. И это правда. К типу добродушной кисейной девушки подходят все женщины, не отличающиеся сильным и блестящим умом, не получившие порядочного образования и в то же время еще не испорченные и не сбитые с толку шумом и суетою так называемой светской жизни. У этих женщин развита только одна способность, о которой заботится уже сама природа, — именно способность любить. Вся судьба такой женщины решается безусловно тем, кого она полюбит. Попадется хороший и умный человек, — и она сама тоже сделается хорошею, даже умною женщиною, потому что от природы она не глупа, а только никогда не имела ни возможности, ни надобности упражнять и укреплять свой ум. Попадется дурак и негодяй — тогда в ней замрет даже способность любить, и превратится она в автомат, который будет рожать, кормить, нянчить и обливать слезами детей, не умея ни вразумить, ни защитить их против самодурства супруга.

Женщина, подобная Леночке, быть может ни при каких условиях не сделается совершенно самостоятельною и сильною личностью; она всегда, более или менее, будет искать себе опоры и руководителя в любимом мужчине; но, несмотря на это врожденное стремление к некоторой зависимости, такая женщина не была бы тягостною и вредною обузою даже для очень умного и развитого мужчины. Она была бы способна увлекаться совершенно искренно широкими планами и титаническими стремлениями любимого человека; может быть, она довольно смутно понимала бы необходимую связь между отдельными мыслями; может быть, строгая теория или деловой проект представлялись бы ей в неопределенных и расплывающихся очертаниях, свойственных воздушным замкам. Но зато воодушевление, овладевающее любимым человеком, находило бы во всем ее существе ясный, полный и совершенно безыскусственный отголосок. Она не стала бы пилить любимого человека бестолковым ворчанием или мелкими жалобами в то время, когда он чувствует потребность поделиться с нею результатами своих размышлений, набросанными планами и смелыми надеждами. Этого, конечно, мало, но ведь где же и взять теперь много таких женщин, которые были бы способны серьезно работать вместе с своими мужьями? Уж и то было бы хорошо, если бы женщины не мешали работать. А каким образом они могут мешать, это всего лучше будет видно из самого простого и скромного примера. Представьте себе, что вам предлагают два места. Одно совершенно соответствует вашим убеждениям и наклонностям. Другое — совсем напротив. Первое дает вам 60 рублей в месяц, второе — 80. Вы приходите домой, рассказываете все, как есть, вашей жене и объявляете ей, что вы хотите взять место

в 60 рублей. Жена таращит на вас глаза и говорит, что вы с ума сошли, что 20 рублей на улице не валяются и что такие капризы вам совсем не по состоянию. — Да пойми же ты, друг мой, — убеждаете вы, — что на том месте я буду просто мучеником. Оно мне противно. Мне гадко будет смотреть на самого себя. — Скажите, пожалуйста, какие нежности, — отвечает супруга. — А это небось не гадко смотреть, что жена в стоптанных башмаках ходит! — И много других вариаций разыгрывается на ту же самую, вовсе не интересную для вас тему. Если вы человек твердый, то вы остаетесь непоколебимы и берете все-таки 60-рублевое место; но зато ваша семейная жизнь в течение нескольких недель скрипит, как немазаная телега. Если же вы такой размазня, как огромное большинство русских людей, то вы уступаете, жена дает вам за вашу рассудительность несчетное число «безешек», и через несколько времени ваше отвращение к подлой должности исчезает, потому что, под влиянием развращающей обстановки, весь строй ваших понятий медленно понижается. Таким образом общество, по милости вашей супруги, потеряло в вашей особе полезного работника и приобрело лишнего эксплуататора. Но такие супруги формируются только из тех женщин, которые совершенно сбиты с толку кринолинами, гуляньями, шляпками и тряпками. Женщины же, подобные Леночке, понимают очень хорошо, что шелковое платье и счастье жизни — две вещи разные; и эти последние женщины не променяют любимого человека не только на шляпку, но даже и на целый бурнус. Если вы станете объяснять Леночке, почему вы не хотите или не можете взять место в 80 рублей, она, может быть, и не совсем успешно поймет ваши доводы, но она во всяком случае поверит вам. Она увидит, что вам было бы тяжело на том месте, и этого будет для нее совершенно достаточно. Словом, простые женщины, подобные Леночке, умеют по крайней мере любить, а это уменье совсем не такая ничтожная вещь, которою, при нашей непокрытой бедности, было бы позволительно пренебрегать. Разумеется, змеиная мудрость лучше голубиной кротости, но на нет и суда нет. За неимением лучшего умейте и голубиную кротость обращать себе в пользу. А извлекать из нее пользу очень возможно, потому что человеку, измученному и утомленному ежедневною борьбою с глупостью и подлостью, не только приятно, но даже необходимо иметь возле себя честное, кроткое и любящее существо, у которого всегда можно найти неподдельную ласку и бескорыстное участие.

Теперь читатель понимает, что тип кисейной девушки имеет очень важное значение, тем более что таких женщин много. Надо объяснить обществу, что эти силы, хорошие и здоровые, хотя и не блестящие, не должны пропадать даром. Надо объяснить преимущественно умным и образованным юношам, что на этих простых женщин они должны смотреть не только без высокомерного предубеждения, но даже с глубоким сочувствием и уважением. Путь

жизни длинен и труден. Работа утомительна. Отдых для обыкновенных людей необходим. Умных женщин мало. Поэтому, если вам встретится Леночка и если она с ребяческою доверчивостью бросится к вам на шею, подумайте, серьезно подумайте, существует ли действительно какая-нибудь необходимость отворачиваться от союза с этим милым ребенком. — Леночка не даст вам того великого, безмерного счастья, которое дает только мыслящая женщина, но по крайней мере она не превратит вас ни в подлеца, ни в филистера, ни в закабаленного батрака. Она не будет вас эксплуатировать; у нее есть искренность, а это — свойство очень драгоценное. Но, как бы вы ни решили вопрос о ваших дальнейших отношениях к той или другой Леночке, не смейте ни в каком случае смотреть свысока на этих женщин и обращаться легкомысленно с их чувствами.

Существует на Руси поговорка, что женские слезы — вода; эта поговорка, подобно многим другим, доказывает только весьма наглядно, что на Руси во всякое время было достаточное количество дураков и подлецов. Вы умнее, вы образованнее, вы крепче Леночки; вы не заплачете о том, о чем она заплачет; все ваши доблести и преимущества при вас и остаются; но все это не дает вам никакого права думать, что вы чувствуете глубже ее и что все ее маленькие огорчения скользят с нее, как с гуся вода. Абсолютной мерки для глубины чувства не существует. Всякому свои слезы солоны, и кто своим легкомыслием заставляет плакать безответное существо, подобное Леночке, тот поступает глупо и подло, хотя, быть может, он и не дурак и не подлец. Важнейшее житейское искусство состоит именно в том, чтобы пробираться бережно и осмотрительно в путанице личностей и интересов, не наступая никогда нечаянно на живое человеческое тело. — Мудреное искусство жить и действовать, не обижая безвредных людей, приобретается не вдруг. Молодым людям случается часто наступать на живое тело без всякого злого или подлого умысла, по неопытности, по неловкости, по неуменью ясно рассмотреть ту пограничную черту, где кончаются естественные права собственной личности и где начинаются естественные права соседа. Это наступание на живое тело производит, с одной стороны, боль, с другой — стыд и угрызение совести. Такие уроки не проходят даром. Кто наступил один раз и кто пережил все тяжелые ощущения, развивающиеся из такого события, тот постарается на будущее время вести свои дела внимательнее и осторожнее. Опыт здесь, как и везде, действует сильнее всякого кабинетного размышления.

Но подобные опыты обходятся слишком дорого, и было бы очень полезно заменить их, насколько это возможно, плодами теоретических размышлений. Польза беллетристики и литературной критики состоит преимущественно в том, что они заставляют читателя размышлять о таких житейских вопросах и формировать себе взгляды на такие стороны и явления вседневной жизни,

которые незнакомы читателю по собственному опыту. Читая, например, простую историю Молотова с Леночкою, неопытный молодой человек задумывается над нею, вглядывается в слова и поступки обеих личностей и произносит над ними свое суждение; было бы очень неосновательно думать, что такое упражнение мысли остается совершенно бесплодным и не имеет никакого влияния, прямого или косвенного, на собственные поступки юного читателя. Литературная критика должна поддерживать, усиливать и направлять ту работу мысли, которую пробуждает в голове читателя беллетристическое произведение. Разбирая роман или повесть, я постоянно имею в виду не литературное достоинство данного произведения, а ту пользу, которую из него можно извлечь для миросозерцания моих читателей.

Легко может быть, что читателя утомляют иногда мои длинные микроскопические исследования над такими мелкими явлениями, как любовные радости и огорчения какой-нибудь ничтожной Леночки. Читателю досадно, зачем я анализирую почти каждое движение и комментирую почти каждое слово Молотова и кисейной девушки. Но мне кажется, что досада читателя неосновательна. Я глубоко убежден в том, что эти микроскопические явления, эти будничные мелочи наполняют собою целую жизнь целых миллионов людей. Из необдуманных слов, из мелких непоследовательностей, из незаметных оплошностей складывается мало-помалу большая часть человеческих страданий и человеческих подлостей. Ведь Молотов поступил с Леночкою очень подло; он и сам сознается себе в этом; а между тем, скажите по совести, мои двадцатилетние читатели, многие ли из вас сумели бы или решились бы на месте Молотова поступить так, чтобы не вышло подлости? Вот и надо было показать подробнейшим анализом, каким образом отвратительный яд подлости слагается из самых невинных и безвредных элементов. Подлость Молотова именно тем и поучительна, что Молотов сам нисколько не подлец. Я относился к нему очень жестко, когда я разбирал его отношения к Леночке, там я смотрел только на одну сторону дела: я констатировал вред и боль, нанесенные кисейной девушке, существу совершенно невинному и беззащитному. Теперь мне надо восстановить в глазах читателя репутацию Молотова, на которого мы можем сердиться за его неуклюжесть, но которого было бы несправедливо презирать. Собственно, полная реабилитация Молотова возможна только тогда, когда мы познакомимся с дальнейшим ходом его жизни. Молотов принадлежит к числу тех людей, которым все в жизни дается довольно туго. Поэтому тридцатилетний Молотов гораздо лучше двадцатилетнего. Толчки и удары жизни шлифуют и закаляют его. Он превосходно пользуется опытом. Что пережито им, то уже оставляет неизгладимую черту в его уме и в его характере. Но у Молотова нет того, чем обладают очень даровитые личности, подобные Базарову. У него нет уменья угадывать жизнь; он не может силою

творческой и анализирующей мысли забегать вперед и решать заранее, совершенно безошибочно, такие задачи, которых еще не задавала ему действительная жизнь. Молотов выходит из университета розовым птенцом, простирающим во все стороны свои объятия, тоскующим, когда ему приходится обнимать пустое пространство, и робеющим, когда в его объятия попадает живая девушка, принявшая его беспредметное доброжелательство за определившееся чувство. Базаров входит в жизнь сильным, страстным, смелым и энергическим мужчиною, уже выработавшим себе в мире книжных занятий драгоценное уменье кое-что ненавидеть, многое презирать, к очень многому относиться равнодушно и все на свете подвергать анализу. Базаров на вид гораздо страшнее и свирепее Молотова. Та женщина, которая с радостною доверчивостью подходит к Молотову, едва осмелилась бы заговорить с Базаровым или даже при Базарове. Один взгляд Базарова, быстрый и небрежный, совершенно смутил сестру Одинцовой, Катю. А между тем Молотов гораздо опаснее Базарова. Базаров только смутит или испугает, а Молотов без всякого злого умысла истерзает женщину и изуродует ее жизнь. Если бы Базаров получил письмо Леночки, «по гроб верной и любящей», то он тотчас решил бы, как ему действовать, вести ли дело вперед или оборвать его в самом начале. В первом случае Леночка сделалась бы счастливейшею женщиною. А во втором случае Базаров сразу так обжег бы ее насмешливым взглядом и правдивым словом, что Леночка тотчас убежала бы со свидания домой и навсегда закаялась бы писать нежные цыдулки к молодым людям. Леночка стала бы говорить о Базарове, что он и злой, и гордый, и страшный, но Леночке не пришлось бы рыдать на дерновой скамейке, не пришлось бы плакать напролет целые ночи и не пришлось бы повторять с безвыходным отчаянием ужасные слова: «Никому мы не нужны!.. Кому любить таких?..» И злой, гордый, демонический Базаров оказался бы здесь, как и везде, гораздо лучше доброго, нежного, ласкового Молотова.

1865 г. Январь.

СЕРДИТОЕ БЕССИЛИЕ

I

Я знаю очень хорошо, что наша публика бесконечно добра и простодушна; но иногда эти похвальные свойства ее характера проявляются в таких колоссальных размерах, что меня разбирает охота повторить с некоторыми изменениями непочтительные слова Бёрне. «Каждый человек, — говорит этот писатель в своих «Парижских письмах», — имеет полное право быть глупым, но немцы злоупотребляют этим правом». Мне кажется, что наша читающая публика в прошлом году злоупотребила правом быть доброю и простодушною. Она не только прочитала, но даже превознесла до небес роман г. Клюшникова «Марево». Если бы этот роман мог попасть, лет двадцать тому назад, в руки покойного барона Брамбеуса, то Брамбеус бросил бы его под стол и написал бы о нем всего полстроки: «Ванька, это твоя литература!» Если бы наша публика, в общей массе своей, действительно поумнела со времен Брамбеуса, то мне, разумеется, и в голову не могла бы прийти дикая мысль писать критическую статью о таком произведении, как роман г. Клюшникова. Даже теперь, принимаясь за такую постыдную работу, я чувствую потребность извиниться перед мыслящею частью нашей читающей публики. Разбирать роман г. Клюшникова — занятие крайне неприличное. Невозможно говорить просто: «г. Клюшников», «роман «Марево». Надо непременно говорить так: «с позволения сказать, г. Клюшников», «с позволения сказать, роман «Марево». Что бы вы сказали, например, господа мыслящие читатели, если бы я осмелился поднести вам критическую статью о драматических произведениях г. Дьяченки, или о романах г. Воскресенского, или о философии г. Аскоченского, или о каком-нибудь прейскуранте вин и колониальных товаров? Вы бы сказали вероятно, что я с ума сошел и что я начинаю шутить с вами совершенно неприличные шутки; вы бы заметили совершенно основательно, что во все эти вещи можно, по-

жалуй, завертывать мыло, сыр или копченую рыбу, но что о них нет никакой возможности размышлять и писать критические статьи, потому что все эти вещи совсем не литература, а только печатная бумага.

И все это вы имеете полное право сказать мне теперь, когда вы видите, что я имею дерзость говорить с вами о романе «Марево». И в то же время я вас могу уверить честью, что я не сошел с ума и вовсе не намерен позволить себе в отношении к вам неприличные шутки. Что же прикажете делать, как прикажете не говорить об этом произведении российского гения, когда наша публика уже успела забыть все, что толковал ей великий эстетик Белинский? Подумаешь в самом деле, что наша публика любит и уважает Белинского: издано 12 томов его сочинений; томы эти раскупаются, разрезываются и даже читаются; самые убогие писаки называют Белинского своим учителем, великим бойцом, основателем русской критики, законодателем в области эстетики. Подумаешь в самом деле, что все истины, высказанные и доказанные великим критиком, вошли уже в плоть и кровь читающих людей и сделались навсегда тем общим капиталом, которым непременно должен обладать каждый образованный русский человек. Подумаешь, что теперь уже незачем твердить зады и что теперь можно уже смело строить дальше на том прочном фундаменте, который заложен Белинским. Подумаешь — и жестоко ошибешься! Публика читает Белинского и похваливает: как, дескать, у него складно это все выходит! — Публика читает «Марево» и замирает от восторга: «ух! как интересно! страсть как интересно!» Чему же научилась масса публики у Белинского, когда она до сих пор не умеет отличать в литературных произведениях жизненную правду от риторической лжи? Чем подвинулась публика вперед в своем взгляде на литературу с тех баснословных времен, когда она трепетала от волнений над переводными романами Поля Феваля и заливалась то смехом, то слезами над такими же переводными романами Поль де Кока? — Ни у Феваля, ни у Поль де Кока вы никогда не найдете ничего подобного тому, что создал г. Клюшников. Не о тенденциях этого начинающего романиста я намерен здесь говорить. Я слишком уважаю самого себя, чтобы вступать с г. Клюшниковым в какие бы то ни было теоретические препирательства; это совсем не его ума дело. Против моего всегдашнего обыкновения я посмотрю на роман г. Клюшникова с чисто эстетической точки зрения, потому что ни с какой другой точки зрения на него не стоит смотреть. Я поставлю и решу только вопрос: годится ли на что-нибудь этот роман? То есть можно ли в нем найти хоть малейшую искру ума или таланта? Есть ли в нем по крайней мере хоть капля здравого смысла и знания действительной жизни? Похожи ли его действующие лица хоть немного на живых людей? Если мне на все эти вопросы придется отвечать отрицательно, то никаких дальнейших исследований о романе «Марево» и быть

не может. Разве есть в самом деле возможность рассуждать о жизненных явлениях, затронутых в романе, когда окажется, что роман не затронул совсем никаких явлений?

В клевете, в карикатуре может все-таки проявиться ум, талант, своеобразный взгляд на то или другое явление действительной жизни. Но в каракульках, написанных или нарисованных пятилетним ребенком, которому подарили лист белой бумаги и очиненный карандаш, нельзя усмотреть решительно ничего, кроме неуменья рисовать и ребяческой нетвердости руки. Обыкновенно художественные произведения пятилетних Рубенсов оставляются всеми здравомыслящими людьми без внимания; всякий видит, что это каракульки, и всякий понимает, что незачем и рассуждать о их бессмысленности. Обыкновенно также литературные произведения бездарных писателей оставляются без внимания здравомыслящими критиками. Всякий видит, что это — хлам, и всякий понимает, что без хлама не обходится ни одна литература и что от хлама не отобьешься никакою критикою, потому что на свете всегда будет очень много людей, совмещающих в себе гениальность шестинедельного ягненка с честолюбием Александра Македонского. Но когда честолюбивый ягненок приобретает себе своими каракульками всероссийскую известность, тогда критика поневоле должна нарушить свое презрительное молчание. Критика должна во всяком случае удовлетворять умственным потребностям публики. Если публика еще способна обольщаться каракульками, значит, она нуждается в том, чтобы ей объяснили негодность таких художественных произведений.

Нечего делать! Давайте разбирать каракульки и обсуживать претензии честолюбивых ягнят. Это очень печальная обязанность, но делать нечего. Не публика существует для удовольствия критиков, а критики существуют для того, чтобы приносить пользу публике.

II

Бездарный, но честолюбивый писатель г. Клюшников силится изобразить в своем уморительном романе борьбу двух мировых сил, доброй и злой. Добрая сила воплощена в кандидате Владимире Русанове, а злая — в графе Владиславе Бронском. Между этими двумя силами качается, как маятник, «святая женская душа», которую г. Клюшников называет Инною и которую он старается сделать весьма интересною. Г. Клюшников уверят нас, что эта интересная Инна влюблена в добродетельного Русанова. Мы ему, разумеется, охотно верим и желаем молодым людям всякого благополучия, тем более что и Русанов пылает нежною, но целомудренною страстью. Но автор никак не может согласиться на их брак, потому что тогда не произошло бы никакого «Марева». На сцену является злое начало, и «святая женская душа», продол-

жая любить Русанова, обольщается демоническими речами Бронского и вовлекается в его злые умыслы. Вследствие таких предосудительных поступков «пери молодая» изгоняется из эдема, так что последняя часть романа переносит нас уже за границу.

Коварная фантасмагория, разлучившая пару родственных душ, напоминает г. Клюшникову то явление природы, которое называется в степях южной России «маревом», а в обыкновенном литературном языке — миражем. Роману, как видите, дано заглавие эмблематическое, не лишенное значительных претензий на глубокомыслие. Действующих лиц в романе очень много, и все они выведены отчасти для большего посрамления злого начала, отчасти же и даже преимущественно потому, что надо же чем-нибудь наполнять страницы, благо есть еще на Руси добродушные люди, покупающие печатную бумагу не пудами, а в виде книжек. Весь роман есть неисчерпаемое море бессвязной болтовни, посредством которой г. Клюшников старается показать публике, что он слыхал в своей жизни всякие разговоры, читал всякие статьи и умеет изобразить на бумаге, без орфографических ошибок, всякое мудреное слово. Эти старания увенчиваются полным успехом, и добродушная публика узнает с особенным удовольствием, что в России народился еще один литератор, еще один двигатель отечественного прогресса, еще один просветитель общественного сознания. Если Петр Иваныч Бобчинский жив и здоров до настоящей минуты, — он, разумеется, уже не станет обращаться к Хлестакову с просьбою довести до сведения важных особ, что в таком-то городе живет Петр Иваныч Бобчинский. Он просто напишет роман для «Русского вестника» или критическую статью для «Эпохи».[1] Редакции примут его труд с благодарностью, и честолюбивый идиот не только увидит свою фамилию в печати, но даже получит за это удовольствие денежное вознаграждение, потому что, как говорят французы, chaque sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. * — Вот вам, например, один из тех разговоров, посредством которых г. Клюшников двигает отечественный прогресс и просвещает общественное сознание. Действие происходит в одном уездном городе, на бале у местного предводителя дворянства.

« — Ах! — крикнула одна дама, замотавшись. Русанов подхватил ее, думая, что с нею обморок. Она глядела через плечо; весь зад платья, оторванный от лифа, спустился и открыл белые юбки. (После такого события даме, повидимому, следовало бы бежать в уборную и поправлять расстроенный туалет. В действительности так всегда и бывает, но в романе г. Клюшникова так случиться не может, потому что тогда трудно было бы понять, зачем рассказан эпизод о разорванном платье. Дама остается

* Каждый глупец найдет всегда еще большего глупца, который им восхищается. — *Ред.*

в зале, и начинается поучительная сцена, клонящаяся к посрамлению каких-то представителей злого начала.)

— Извините, — бормотал сконфуженный Коля (пятнадцатилетний гимназист, рано развращенный влиянием злых элементов.)

— Медвежонок! (Дама продолжает показывать танцующему обществу свои белые юбки, единственно для того, чтобы поругаться с развращенным мальчишкой, который при этом случае должен обнаружить перед смущенными читателями всю гнусность и закоснелость заблуждающейся молодежи.)

Тот проворчал что-то и пошел было. (Но она все-таки не пошла в уборную.)

— Что такое? — сказала та, подняв носик.

— Я говорю: вольно ж вам такие шлейфы отращивать, что ходить нельзя.

— Да как вы смеете? дерзкий мальчишка! (Да уведите же вы ее, ради бога, в уборную и вразумите ее там, что в порядочном обществе дамы не ругаются за случайную неосторожность. Наступивши ей на платье, Коля сконфузился и сказал: «извините!» Чего же ей еще от него хочется? Называя его медвежонком, она сама напрашивается на дерзость.)

— А вы синица долгохвостая! (Ну вот, раздразнила ребенка, он и обругал ее.)

— Г. Горобец (это фамилия Коли), извольте отправиться в гимназию и объявить дежурному надзирателю, что вы мною арестованы в карцер, — сказал подошедший инспектор губернской гимназии. (Этот инспектор, увлекшись рыцарским желанием поддержать обиженную даму, совершенно забывает, вместе с г. Клюшниковым, условия времени и места. Действие происходит летом, во время каникул, и бал дается не в губернском, а в уездном городе. Коля живет на хуторе у своего дяди и приехал на бал без всяких пожитков, так, как люди обыкновенно ездят в гости. И дядя вовсе не уполномочил его скакать, сломя голову, в ночь, в губернский город, до которого, как видно из других мест романа, надо считать по меньшей мере верст сорок или пятьдесят. Куда же это пастырь добрый посылает своего буйного питомца? И зачем же этот пастырь добрый так глуп, что дает ему неисполнимое приказание?)

— Позвольте вам заметить, г. Егоров, — ответил, нисколько не смутившись, юноша, — что вы мой начальник только в здании гимназии, а здесь — такой же гражданин, как и я. (К кому или к чему г. Клюшников хочет обратить такое поучение — я решительно не знаю, но ясное дело, что мудреное слово «гражданин» употреблено неспроста. Мне часто случалось слышать, как гимназисты грубят начальству, но никогда в подобных случаях не произносилось ни слова о гражданских правах, потому что это было бы уж чересчур глупо. Значит, тут говорит не гимназист; тут говорит

какая-то эмблема какого-то таинственного зла. Коля Горобец есть лицо аллегорическое или символическое, но под этою многозначительною каракулькою следует непременно подписать, что она направлена против таких-то и таких-то явлений действительной жизни; а то, без этой подписи, никто не угадает тайных поползновений автора. Г. Клюшников кого-то или что-то обличает, но его обличительное кряхтенье вызывает в читателе только сострадательный смех над *сердитым бессилием* честолюбивого ягненка.)

Расстроившийся rond * собрался вокруг споривших. (А что же, даму увели в уборную? Или Русанов все еще продолжает ее поддерживать и созерцать вместе с нею развалины ее платья? — Г. Клюшников так увлекается гимназическою теориею гражданского равенства, что, занявшись изложением этого спорного вопроса, навсегда забывает о существовании дамы и ее платья. Так до самого конца романа мы ничего больше о них и не узнаем.)

— Что такое? Что такое? — раздавались голоса.

— Ну, все на одного, — кричал разгорячившийся питомец гимназии: — милости просим, я давно до вас добирался. (До кого добирался? И что значит «добирался»? И с какою целью добирался? Все эти вопросы на вечные времена остаются нерешенными.)

— А вот я тебе уши выдеру, — не стерпел инспектор. (Молодец мужчина! Хвалю за энергию! Тут по крайней мере ясно видно, до чего человек добирается. Но если взглянуть на дело не с воинственной, а с педагогической стороны, то окажется, что инспектор глуп, как пробка. Он начинает с того, что дает своему питомцу неисполнимое приказание; питомец отвечает ему поразительною глупостью, а инспектор оставляет эту глупость без внимания и лезет драться. Разве так надо учить юношество уму-разуму? Инспектор, подобно даме с оборванным платьем, сам напрашивается на дерзость и съедает весьма невкусный гриб.)

— Прошу рукам воли не давать, — ответил тот, взявшись за стул: — вы сами прозвали нигилистом! (После этого ответа, подкрепленного выразительною мимикою, инспектор умолкает и стушевывается. Г. Клюшников, которому подвернулось под руку новое мудреное слово, совершенно забывает о существовании инспектора, так, как он уже забыл о существовании дамы, заварившей всю кашу своим стремлением поругаться. Что же это, наконец, такое? Коля решительно держит в ежовых рукавицах весь провинциальный beau monde.** Назвал даму долгохвостою синицею — та замолчала. Погрозил инспектору стулом — тот поджал хвост. А что же делает во все это время хозяин дома? Что же это за колпак, если он не умеет вступиться за даму и усмирить, двумя-тремя спокойно сказанными словами, буйные страсти

---

* Круг *(франц.)*. — *Ред.*

** Бомонд; светское общество *(франц.)*. — *Ред.*

пятнадцатилетнего нигилиста?.. Нигилиста!.. Вот оно — роковое слово! Вот вам надлежащая подпись к обличительной каракульке, измышленной сердитым, но бессильным писателем. Коля Горобец есть символ или эмблема нигилизма. Весь зад дамского платья оторван от лифа, дама ругается, инспектор говорит глупости — единственно для того, чтобы обрисовать с разных сторон чудовище, пожирающее умственные способности русского общества. Обрисовывание, начатое с таким успехом, продолжается в последующих строках.)

— Вот они, вредоносные-то плоды литературы, — вмешался старый чиновник. (Не на радость себе он вмешался! И читатель решительно не знает, зачем г. Клюшников вложил в его уста это глупое изречение? Затем ли, чтобы ущипнуть старых чиновников и заявить таким манером свой собственный тихенький либерализм, или затем, чтобы из-за угла пустить против литературы то невинное замечание, что она развращает гимназистов.)

— Это вы говорите потому, что я вас в «Ведомостях» обличил, да еще в воровстве! (Старый чиновник тотчас исчезает со сцены и присоединяется к лицам, навсегда забытым автором. А в ответе Коли заключается такой же обоюдоострый меч, какой мы видели в изречении старого чиновника. С одной стороны, г. Клюшников, повидимому, выражает ту смелую и новую мысль, что в России есть старые чиновники, способные нарушать правила строгой честности. Но, с другой стороны, г. Клюшников также, повидимому, усиливается доказать, что обличать старых чиновников «в «Ведомостях», да еще в воровстве», способны только такие развращенные пошляки, как Коля Горобец. — Легко может быть, что г. Клюшников писал свои диалоги без малейшего умысла, по избытку своего простодушия, по непосредственному влечению своей природы, так, как соловей поет и роза благоухает. Но что делать? Бывают уж такие избранные организации, у которых «перлы и адаманты» [2] так и сыпятся изо рта, даже помимо их собственного желания. Что ни скажет, что ни напишет — все, каждое слово выходит непременно или глупо, или пошло. В этом отношении только один из известных мне русских писателей может сравниться с г. Клюшниковым. Это — г. Николай Соловьев, начавший с недавнего времени украшать своими статьями критический отдел «Эпохи». Невинность и простодушие этого писателя сквозят в каждой его строке. А между тем в каждой из этих невинных и бессвязных строк притаилась — незаметная для простодушного автора, но очевидная для внимательного читателя — злокачественная инсинуация. Г. Николай Соловьев имеет привычку читать все мои статьи; чтобы мои, нелестные для него, слова не показались ему бездоказательною бранью, я напомню ему только то место из ноябрьской книжки «Эпохи», в котором он, на основании повестей Помяловского, старается уличить нигилистов и реалистов в систематической ненависти к родителям. [3] Пусть наивный

критик задумается над этим местом и посыпет пеплом свою убогую голову. — Однако все это в скобках; пора воротиться к свирепому гимназисту, нагнавшему страх на провинциальное общество.)

— Il est poli, ce petit bonhomme * — нечего сказать! — слышались женские голоса.

— Это вы говорите оттого,что я не хочу с вами ног вывертывать, как ученая собачка, или оттого, что у вас под шляпками вместо мозгов цветы на сажень торчат. (Эта речь буйного юноши не обращена ни к кому в частности. Это ответ на возгласы «женских голосов». Это воззвание ко всему женскому полу вообще. В действительной жизни такие воззвания совершенно невозможны, потому что разобиженный человек всегда привязывается с своею бранью к тем отдельным личностям, которые его оскорбили, но в романе «Марево» человеческие страсти разыгрываются иначе. Здесь тщедушное воплощение нигилизма, стараясь заявить свою собственную глупость и гнусность, оскорбляет все общество и всех женщин, не разбирая правых и виноватых. Слово *мозги* употреблено с очевидною целью попрекнуть нигилистов Молешоттом. Не мешает также заметить, что южнорусские нигилисты, как видно из слов Коли Горобца, предписывают дамам носить *мозги* не внутри черепа, а снаружи, под шляпками, там, где в настоящее время, по изящному выражению того же Коли, «торчат на сажень цветы». Так как ни одна дама не носит под шляпкою цветов «на сажень» и так как, с другой стороны, носить мозги *на* голове неопрятно и бесполезно, то читатель должен согласиться, что нигилизм совершенно несостоятелен, ибо нигилисты лгут бессовестным образом и для своих преступных целей извращают основные истины анатомии и физиологии.)

— Позвольте вас спросить, милостивый государь, где вы воспитывались? — сказал Бронский, подойдя в свою очередь. (*Сам* демон выступает на сцену, чтобы защитить несчастное общество от неукротимого пятнадцатилетнего злодея. Однако, надо сказать правду, первый вопрос демона поразительно глуп. К чему этот разговор о воспитании, когда забывшийся мальчик обругал всех дам дурами? Его просто надо было увести из комнаты и надо было предложить ему стакан холодной воды для успокоения взволнованных его страстей. Но, разумеется, демон и не может быть умным, потому что он создан г. Клюшниковым, а, известное дело, творец может дать своему творению только те свойства, которыми он сам обладает.)

— Оставьте его, — шепнул Доминов: — это забавно. (Доминов — молодой, но уже очень солидный чиновник, товарищ председателя гражданской палаты. По какому случаю и с какой точки зрения этот господин может находить забавными глупые и непри-

---

* Он вежлив, этот человечек *(франц.)*. — *Ред.*

личные выходки Коли Горобца — это остается для читателя непроницаемою тайною.)

— Нет, — он может повредить... — также полушепотом отвечал Бронский. (Кому повредить, чем повредить — это опять неразгаданная шарада. Автор, очевидно, старается напустить как можно больше таинственности; простодушные читатели ловятся на эту балаганную штуку и быстро поглощают одну страницу за другою, в надежде найти, наконец, желанное объяснение. Никакого объяснения они не находят, но они не злопамятны; им надо было только убить время. Если автор усыпает свой рассказ глухими намеками на какую-то интригу, то читатели, по своему добродушию, не потребуют от него, чтоб он им показал все нити и весь смысл интриги; они до самого конца романа будут чего-то ждать, а потом, ничего не дождавшись, смиренно поблагодарят дюжинного писаку за доставленное им удовольствие.)

— Наше поколение само себя воспитывало, — продолжал Коля. (Вот вам третье мудреное слово. — «Гражданин», «нигилист», «наше поколение» — все это слова весьма предосудительные, которые могут произносить только неблагонравные гимназисты.)

— И с первого разу порет дичь, — спокойно возразил Бронский. — Что это за ваше поколение? Разве не каждую минуту люди родятся?

— Браво! браво! — раздалось вокруг. (Ах, какой умный Бронский и какое умное общество! Чему ж они так обрадовались и с какой стати закричали «браво»? По словам Бронского выходит, что столетний старик и грудной ребенок принадлежат к одному поколению. Их разделяет, правда, промежуток времени в девяносто девять лет, но ведь это ровно ничего не значит. Год состоит из двенадцати месяцев, месяц из тридцати дней, день из 24 часов, час из 60 минут, а люди родятся каждую минуту. Столетний старик принадлежит к одному поколению с тем человеком, который родился минутою позднее его, и с тем также, который родился двумя минутами позднее, и тремя, и четырьмя, и пятью, и так далее; если продолжать такой расчет очень долго, то и окажется, что столетний старик и грудной ребенок принадлежат к одному поколению. Это вариация на известный софизм старой схоластической логики — о плешивом. Вам предлагают вопрос: если вырвать у вас один волос, сделаетесь ли вы плешивым? — Вы, разумеется, ответите: нет. — А если вырвать еще один? — Нет. — А еще один? — Нет. — Но, наконец, вам придется же сказать: да; и тогда ваш собеседник объявит вам, что вы сделались плешивым от потери *одного* волоса или же что между плешивым и не плешивым человеком нет никакой разницы. Тот, кто первый выдумал эту штуку, был, конечно, очень остроумен, но прилагать эту старую выдумку к различным частным случаям — совсем не трудно. Но даже в частном приложении старого софизма г. Клюшников

ползет по чужим следам. «Русский вестник», питающий нежную страсть ко всякой схоластической дребедени, уже давно старался доказать схоластическими ухищрениями, что молодое поколение есть миф, сочиненный двумя-тремя злонамеренными журналистами.)

— Что тут значат лета? Тут важны одинаковые убеждения. (Четвертое мудреное слово, вложенное в уста Коли для опошления! Толковать об убеждениях могут только малолетние грубияны.)

— Значит, ничего не признавая, признаем классификации, признаем убеждения... (Тут я даже втупик становлюсь перед величием этой пошлости. Откуда это почерпнул Бронский то сведение, что Коля Горобец ничего не признает? И что это значит — ничего не признавать? И кто это ухитрился не признавать классификаций и убеждений? Если я не признаю классификаций, то, значит, я смело могу утверждать, что орангутанг есть металл, что дуб есть млекопитающее, а железо — растение. Так, что ли? — Но в сущности это все равно. Дело не в том. Г. Клюшников, очевидно, полагает, что есть на свете люди, не признающие ничего, не признающие классификаций и убеждений. В этом мнении г. Клюшникова нет ничего особенно изумительного. Ведь полагает же странница Феклуша, появляющаяся на сцене в «Грозе» Островского, что есть люди с песьими головами. Я не вижу ни малейшего резона, почему и г. Клюшникову не иметь столь же оригинальных понятий о земле и о тварях, на ней живущих. Что позволительно Феклуше, то вовсе не должно составлять запретный плод и для г. Клюшникова. Но ведь вы вот что возьмите в расчет: Бронский видит Колю Горобца в первый раз в жизни; в словах Коли не было высказано еще ни одного намека на какие бы то ни было признавания или отрицания. Спрашивается, каким же процессом мысли Бронский мог добраться до той непостижимой нелепости, которую он произносит? Г. Клюшников, как клиент «Русского вестника», очень сердится на каких-то людей с песьими головами. Мысль об этих чудовищах не дает покоя г. Клюшникову, но зачем же он навязывает свою собственную галлюцинацию тем действующим лицам романа, которые никак не могут думать, чувствовать и говорить так, как думал, чувствовал и говорил бы на их месте сам г. Клюшников?)

— А, да черт вас побрал бы, — крикнул гимназист и улизнул из залы.

— Молодец граф, не нынешним чета! — заметил солидный господин, с большим интересом следивший за этим объяснением». (Вы видите, что солидные господа принимают Колю Горобца за одного из «нынешних». Как лестно должно быть графу, что его называют «молодцом» такие умные люди! И как приятно должно быть графу то сознание, что он, перед лицом всего уездного общества, сумел победить в словесном турнире даже пятнадцатилет-

него гимназиста! Да и мудрено было не победить! Как ни глупы были выходки Коли, однако фразы Бронского еще неизмеримо глупее, а глупость, доведенная до колоссальных размеров, может ослепить, оглушить, ошеломить и окончательно сбить с толку самого искусного диалектика. Спорить можно только с тем человеком, который действительно работает умом во время спора. Победить в споре можно только того человека, у которого есть в голове здоровая, естественная логика. Говоря с таким человеком, вы можете проследить весь процесс его мысли и отыскать ту точку, в которой кроется основная причина вашего разногласия. Но что же вы станете делать с таким собеседником, который не способен связать в своей голове двух мыслей? Скажет он вам, например, фразу; вы увидите в этой фразе нелепость; начнете вы доказывать ему, что он ошибся; он сейчас отпустит вам вторую фразу, опять с нелепостью, не имеющею даже никакой логической связи с первою; вы кинетесь к этой второй фразе и начнете ее распутывать; он вам — третью, такого же достоинства и так же совершенно не зависимую от двух первых. И таким образом он отчеканит десятки фраз, без малейшего утомления, потому что он не думает, а только говорит. Но вы, разумеется, очень скоро совершенно ошалеете от бесплодных усилий отыскать между его фразами какую-нибудь логическую связь. Вы попросите пощады или, подобно Горобцу, улизнете из комнаты, а ваш глупый собеседник будет считаться в солидном обществе таким молодцом, который «не нынешним чета». Бронский спрашивает у Горобца, где он воспитывался; тот ему отвечает; Бронский, не продолжая своей прежней мысли, ухватывается за одно слово в ответе Горобца и на этом слове строит фразу; Горобец отвечает на эту фразу; Бронский опять выхватывает одно слово из ответа и опять на этом слове строит новую фразу. Такая забава может продолжаться до бесконечности. — Г. Клюшников заставляет Бронского говорить глупости не потому, что желает представить его бестолковым человеком. Напротив того, Бронский — по замыслу г. Клюшникова — продувная шельма, демон, хитрый и опасный человек; г. Клюшников стремится уверить нас, что Бронский опутал своими интригами целый край; г. Клюшников напрягает все свои силы, чтобы в каждое слово Бронского вложить нечто многозначительное и молниеносное; но г. Клюшников все-таки остается г. Клюшниковым, и поэтому Бронский оказывается пигалицею, вместо того чтобы быть лукавым демоном. И читатель припоминает с сострадательною улыбкою ту неосновательную лягушку, которая старалась усвоить себе тучность вола. Г. Клюшникову было бы очень выгодно, если бы мы поверили ему на слово; тогда бы он нам просто сказал: Бронский и Русанов — умные люди; мы бы этим уверением тотчас удовлетворились; но мы тоже люди хитрые и несговорчивые; мы на это возражаем г. Клюшникову: а вы нам нарисуйте умных людей! Вы нам покажите, как

умные люди говорят, действуют. Ну-ка, попробуйте! — Г. Клюшников пробует, но тучность вола остается для него недостижимым идеалом. И Бронский, и Русанов, и всякие Горобцы мужеского и женского пола наводят на читателя уныние и оцепенение, потому что на всех этих особах сияет неизгладимая печать их общего фабриканта.)

III

Разобранная мною сцена занимает в романе г. Клюшникова две небольшие странички. Когда же я взял на себя печальный труд отметить и распутать все бессмыслицы, украшающие эту сцену, тогда мне пришлось написать с лишком десять страниц большого формата. Вы у меня, вероятно, спросите: ради чего же я так усердствовал? — А вот видите ли: мне хотелось показать публике, каким образом следует читать русские книги. Если вы прочтете сцену без внимания, то вы не увидите в ней ничего особенного: гимназист оторвал платье, поругался с почтенными людьми, убежал из комнаты — все это вещи возможные, нисколько не нарушающие законов природы. Но прочтите ту же сцену со вниманием, и вы увидите в ней поразительную бестолковщину. Все действующие лица — какие-то куколки на пружинках; все говорят совсем не то, что они могут и должны говорить по своему положению и характеру; ответы не вяжутся с вопросами; каждый городит свою собственную чепуху, и вы никак не можете понять, какая побудительная причина выталкивает из него столь неожиданные и неправдоподобные звуки.

Если бы наша публика выучилась читать внимательно романы и журнальные статьи, если бы она постоянно требовала от писателя строгого отчета в каждом написанном им слове, если бы она прониклась тем убеждением, что каждое слово должно непременно выражать собою мысль, совершенно понятную для того, кто пишет это слово, — тогда литература наша навсегда очистилась бы от таких худосочных прыщей, как роман «Марево» или журнал «Эпоха». Весь роман «Марево», с первой страницы до последней, написан совершенно так, как разобранная мною сцена. Попробуйте, господа читатели, раскрыть его наудачу в разных местах и разобрать попавшиеся вам две-три страницы с тою тщательностью, с какою я разобрал 54-ю и 55-ю страницы первого тома. У вас просто голова кругом пойдет от этого убийственного чтения; а между тем в прошлом году этот роман читался нарасхват. Что же делать критике против этого скандального торжества бездарности? Публике были даны, еще со времен Белинского, превосходные руководящие принципы. Но что же делать, если она сама еще не умеет прикладывать их к частным случаям? Остается только одно последнее средство: надо в критических

статьях, кроме теории, давать еще и практику. Надо не только дать публике в руки букварь, но надо еще читать вместе с нею нараспев: буки-аз — ба, веди-аз — ва и так далее. Мой разбор клюшниковской сцены есть именно такое чтение нараспев. Это очень скучно и утомительно, но больше вы ничем не остановите наплыва бездарностей, позорящих нашу литературу во всех ее отраслях. Чего доброго, мне скоро придется возиться с статьями г. Николая Соловьева [4] так, как я вожусь теперь с романом г. Клюшникова. Бездарность душит нас со всех сторон.

Мы видели, как прелестно г. Клюшников рисует мельчайшие подробности вседневной жизни. Посмотрим теперь, искусен ли он в группировании и освещении крупных событий, на которых лежит весь психологический интерес его романа. Посмотрим, каково задуманы и обрисованы главные характеры. Разумеется, важнее всех остальных действующих лиц кандидат Русанов, добродетельный юноша, которому автор вполне сочувствует и который даже, по словам одного эстетика, г. Эдельсона, представляет собою лицо идеальное. [5] Нам очень приятно познакомиться с таким прекрасным молодым человеком. Посмотрим же теперь, какими глазами лицо идеальное созерцает мир запутанных человеческих отношений?

Русанов, только что кончивши курс в Московском университете, приезжает в одну из украинских губерний, на хутор к своему дяде, и, заинтересовавшись одной барышней, Инною Горобец, решается поселиться в тихом уголке и занять там должность мирового посредника. Он в одно прекрасное утро отправляется по соседним хуторам, знакомится с помещиками и, объявляя им свое желание, просит их содействия на предстоящих выборах. Странное дело! Лицо идеальное сразу ставит себя в самое смешное положение. Представьте себе, что вы помещик. К вам приезжает незнакомый вам юноша и говорит: «Честь имею рекомендоваться. Я — кандидат Русанов. Потрудитесь подать за меня голос, когда вам придется выбирать мирового посредника». — Если вы человек благоразумный, то вы, вероятно, посмотрите на вашего гостя с некоторым изумлением. Он только что успел показать вам свою физиономию и произнести свою фамилию, и он уже думает, что имеет некоторые права на ваше доверие и уважение. Он полагает, что вы сами, добровольно, отдадите в его руки заботы о таком важном для вас вопросе, как полюбовное размежевание ваших интересов с интересами крестьян. Из любопытства вы спросите у вашего гостя: «Давно ли вы изволили приехать в наши края?» Он вам ответит: «Три недели». — «А прежде где вы изволили жить?» — «В Москве. Я учился в тамошнем университете». Из этих двух кратких ответов вы уразумеете, что ваш собеседник никогда не был деревенским жителем и, следовательно, не имеет ни малейшего понятия о тех людях, с которыми ему придется иметь дело, ни о тех материальных интересах, которые он так

отважно берется размежевывать. Так как ваш юный гость стремится к званию мирового посредника, не обращая никакого внимания на свою очевидную неопытность и некомпетентность, то вы имеете полное право видеть в нем или заносчивого и пустоголового ветрогона, хватающегося за всякую работу и не имеющего даже понятия о тех серьезных трудностях, которые сопряжены с добросовестным отправлением каждой общественной должности, — или же молодого пройдоху, пошлого искателя приключений, которому хочется только сорвать с земства полторы тысячи рублей на канцелярские расходы и потом вести дело на авось, спустя рукава, без всяких расходов и трудов. В том и в другом случае вы принуждены будете отнестись к вашему новому знакомому с сострадательным презрением, которое, по всей вероятности, нисколько не подвинет его вперед, к его желанной цели. Идеальное лицо — Русанов, повидимому, должен был все это предвидеть заранее. Но Русанов о таких пустяках не думает. Он решается быть мировым посредником совершенно неожиданно для себя и для читателя, так, как он решился бы выкупаться в реке, или пойти на охоту, или сыграть с добрым приятелем партию на бильярде. Неужто в самом деле идеальные лица должны приниматься за общественную деятельность с такою младенческою беззаботностью?

Вы, может быть, попробуете сказать в оправдание Русанова, что он еще очень молод, не знает жизни, видит вещи в розовом свете, слишком много надеется на свои юношеские силы и вследствие этого слишком смело и необдуманно хватается за такую деятельность, о которой он имеет самое поверхностное понятие. Нет. Ваше оправдание не идет к делу. В студенческие годы мы не знаем действительной жизни, но мы живем в области мысли; мы в это время долго, упорно и серьезно думаем о нашей будущей деятельности: мы подходим к явлениям действительности с очень строгими, быть может даже неосуществимыми требованиями; взгляд наш на человеческие отношения и на предстоящий труд отличается в молодости скорее излишнею торжественностью, чем излишним легкомыслием. Ветреными юношами выходят из университета только те личности, которые во все время своего студенчества не переставали быть прилежными учениками или резвыми малютками. Молодые люди, мало-мальски умные и даровитые, переживают обыкновенно во время своего студенчества, при столкновении с живою струею науки, много тяжелых и незабвенных минут внутренней борьбы и умственного брожения. Молодой человек углубляется в самого себя и с замиранием сердца задает себе решительные вопросы: «Что я такое? Как я проживу на свете? Каков склад моего ума? Каковы размеры моих сил? На что я годен? К чему я себя пристрою? Чем я обеспечу за собою право подавать руку честным людям и смотреть им прямо в глаза?» Решение этих вопросов тем более мучительно, что молодость

всегда нетерпелива. Молодость тратит нерасчетливо все, начиная от своего двугривенного и кончая своею величайшею драгоценностью — живыми силами организма. Но когда нерасчетливый юноша схватывает себя за голову и, потрясенный каким-нибудь новым впечатлением, вдруг, с поразительною ясностью, чувствует потребность решить вопросы жизни, — тогда юноше кажется, что время не терпит, что каждая минута драгоценна, что надо тотчас сделать решительный выбор, тотчас готовить себя к известной деятельности, что малейшее промедление вредно и преступно, как медленное самоубийство или как позорное отступничество. В уме молодого человека поднимается буря; вопросы решаются сегодня так, завтра иначе, через неделю — на третий манер. Молодой человек злится, бранит себя за бесхарактерность, выбивается из сил, унывает, потом принимается за работу хладнокровнее, потом опять горячится, опять изнемогает, и понемногу, в этих необходимых и спасительных бурях нашей молодости, созревает и складывается сильный и мужественный характер, который будет встречать и переносить с невозмутимым спокойствием и с добродушнейшею веселостью все то, что пугает, давит, развращает и уродует мелких людишек, не закаленных в суровой школе внутренней борьбы и умственных страданий. Если молодой человек по нескольку раз в месяц меняет решение важнейших вопросов жизни, то эта подвижность вовсе не доказывает, что решения даются ему дешево и что он относится легкомысленно к своей будущей деятельности. Меняет он свои решения совсем не для того, чтобы увеселять себя разнообразием; он худеет и бледнеет, он ночей не спит от этого увеселения; чем чаще приходится менять, тем сильнее он страдает; да ведь что же делать? Такие вопросы не решаются кое-как; и невозможно же, из любви к умственному комфорту, оставлять неизменным такое решение, которое уже перестало казаться удовлетворительным.

Юношам приписывают обыкновенно способность мечтать о будущем; *юность* и *мечты* — два понятия неразлучные; нет того рифмоплета, нет того бездарного писаки, который бы не отпустил несколько казенных пошлостей о золотых или о розовых мечтах юности. Рифмоплет или бездарный беллетрист в своей юности действительно только на то и были годны, чтобы мечтать о розовом предмете, например о какой-нибудь барышне, или о золотом предмете, например об офицерских эполетах. Может быть, у этих господ были, кроме того, и караковые мечты, направлявшиеся к верховой лошади такой масти, и седые мечты, клонившиеся к бобровому воротнику, который в свое время будет весьма картинно серебриться морозной пылью, по незабвенному выражению Пушкина, величайшего специалиста по части всяких юношеских мечтаний, пегих и буланых, о маленьких ножках и об изделиях вдовы Клико. Все подобные мечтания чрезвычайно усладительны, но то юношество, которое понесет на своих плечах судьбу общества

в ближайшие десятилетия, то юношество, в котором лежат задатки мужественной зрелости, — мечтает мало. Оно думает, и его думы награждают его ранними морщинами и преждевременными лысинами. Об этой крепкой, страстной и серьезной деятельности юношеской мысли г. Клюшников не имеет ни малейшего понятия. Его идеальное лицо — Русанов мечтал в университете об общественной деятельности так, как современники Пушкина мечтали о шампанском и о балете. Возвышеннее такого идеала г. Клюшников, разумеется, и не может ничего создать. Бессилием автора и узкостью его понимания только и объясняется то хлестаковское нахальство, с которым лицо идеальное пытается сунуть свой нос в совершенно неизвестную ему отрасль серьезной практической деятельности. Зрелище выходит умилительное и уморительное. Герой делает пошлейшую из пошлостей, а романист одобрительно и даже почтительно кивает головою. Это напоминает мне ту сцену из «Мертвых душ», когда Манилов, с радостным умилением, свойственным глупому отцу, превозносит гениальные способности своего вислоухого Фемистоклюса, которого в эту самую минуту насильственно сморкает лакей.

Плохие газеты, стараясь заявить свой либерализм, подтрунивают обыкновенно над какою-нибудь несчастною Турциею или упрекают в ретроградстве какого-нибудь шанхайского мандарина. Плохие беллетристы, подобные г. Клюшникову, стремясь обнаружить свою образованность и тонкость своего юмора, рисуют обыкновенно с великосветскою насмешливостью картины диких провинциальных нравов. Иронические отзывы о закоснелости Турции и о провинциальном mauvais genre * питают и греют многих либеральных каплунов, [6] которым барская спесь и непобедимая лень мешают взяться за пиление дров или за таскание воды. — Описывая путешествие Русанова по соседним хуторам, г. Клюшников, разумеется, развертывает сокровища своего юмора и бросает насмешливые взгляды на обитателей украинского захолустья. Но просвещенный либерал не замечает того, что чем больше он издевается над смиренными провинциалами, тем глупее и смешнее становится фигура его любимого героя, сунувшегося в воду, не спросясь броду. «Ну, будет по сумасшедшим домам шляться!» — восклицает Русанов, объехав около десятка хуторов. — О милейший господин Русанов, как жестоко вы поражаете этим возгласом вашу собственную особу! Вы сами напрашивались на такую должность, которая приводила бы вас в ежедневные соприкосновения с самыми допотопными типами провинциальной жизни. Вы называете ваших соседей сумасшедшими? Прекрасно! Но, к счастью для вас, у этих сумасшедших все-таки хватило здравого смысла на то, чтобы отклонить вашу просьбу о мировом посредничестве. А что бы вы запели в том случае, если бы сумасшедшие не оказа-

* Дурной тон *(франц.)*. — *Ред.*

лись благоразумнее вас и если бы они исполнили ваше желание? Ведь вам, мой нерассудительный друг, пришлось бы тогда каждый день бывать в каком-нибудь сумасшедшем доме и каждый день по нескольку часов подряд вести юридические или экономические беседы то с помещицею Коробочкою, то с Собакевичем, то с Ноздревым. У вас голова закружилась от нескольких легких разговоров о погоде и об урожае, а каково бы вам пришлось тогда, когда надо было бы толковать обитателям сумасшедших домов положение 19 февраля, объяснять им, что такое уставная грамота, выкупная сделка, разверстание угодий? Как же вы осмелились просить себе звания мирового посредника, когда вы даже приблизительно не знали умственной и нравственной физиономии того общества, в котором вам пришлось бы судить и рядить? Если вы называете сумасшедшими ваших соседей, смиренно сидящих в своих медвежьих углах, то как прикажете назвать Владимира Ивановича Русанова, образованного юношу, врывающегося в мир сумасшедших домов для получения тысячи пятисот рублей за такую работу, которую он никак не может выполнить добросовестно и удовлетворительно?

На одном из хуторов Русанов беседует с сентиментальною помещицею, которая после первых двух слов наводит разговор на амурные дела. Русанов целомудренно уклоняется от этого щекотливого предмета и выдвигает вперед свое желание быть мировым посредником. Происходит маленькое недоразумение, созданное г. Клюшниковым для того, чтобы уязвить и осмеять провинциалку, которую он называет «дебелою красавицею». Но несчастный Русанов при этом недоразумении оказывается несравненно смешнее «дебелой красавицы».

— Я желал бы переговорить с вашим супругом, — говорит Русанов... — я желал бы быть посредником.

— О шалун! Вы знаете, как это опасно! Вы хотите быть посредником между жертвой и тираном.

— Как-с?

— Между замужнею женщиной...

— Нет-с, мировым посредником...

— А-а-а! Я ведь сказала вам, мужа нет дома. Это не по моей части... (стр. 22).

«Дебелая красавица» желает пошалить с молодым человеком. Это, конечно, очень безнравственно, но совсем не глупо, потому что многие молодые люди — большие охотники до шалостей; стало быть, красавица не могла знать заранее, что ее желание не осуществится. Молодой человек заговаривает с «дебелою красавицею» о мировом посредничестве. Это, конечно, нисколько не безнравственно, но зато очень глупо, потому что молодой человек должен был сразу увидеть и понять, что «дебелая красавица» способна заниматься только тем, что «по ее части». Стало быть, беседовать с нею о делах государственной или общественной службы было совершенно неуместно.

IV

Потерпевши неудачу в искании мирового посредничества, Русанов поступает на службу в гражданскую палату и получает место столоначальника. Когда ему уже было обещано это место, он ведет следующий разговор с своим бывшим университетским товарищем, Бронским.

« — Вы все такой же, Владислав, — говорит Русанов. — Вот вы опять утонули в мечтах; когда-то вы их приложите.

— А вы свои приложите?

— Да, помните, как мы, расставаясь на станции, пили наше вступление в жизнь? (*Пить вступление в жизнь* запрещено законами русского синтаксиса. Если бы можно было пить вступление в жизнь, то было бы также совершенно позволительно пить день рождения или свадьбу. Но до сих пор никому не приходила в голову такая преступная мысль.) С завтрашнего дня я — столоначальник гражданской палаты.

— С чем вас и поздравляю, — сказал граф, отодвигаясь» (стр. 58).

Разумеется, трудно поверить тому, чтобы идеальное лицо — Русанов мечтал, при выходе из университета, именно о месте столоначальника гражданской палаты. Молодые люди, одержимые демоном честолюбия, мечтают обыкновенно о более возвышенном положении в служебной иерархии, например о министерском портфеле или по меньшей мере о превосходительном титуле, о звезде, о ленте, о золотом ключе. Но я думаю, что даже г. Клюшников постыдится официально заявлять свое сочувствие к тем молодым людям, которые смотрят на государственную службу исключительно как на средство удовлетворять прихотям мелочного тщеславия. Поэтому я готов допустить, что Русанов, при выходе из университета, мечтал не о чинах и знаках отличия, а о той пользе, которую он будет приносить обществу, занимая в государственной службе какую-нибудь скромную должность. Словом, Русанов мечтал в университете так, как Надимов и великодушный становой г. Львова[7] мечтали на сцене Александринского театра. Можно было бы заметить, что эти мечты составляют уже для русского общества разогретое кушанье, но я буду снисходителен до конца, постараюсь забыть несвоевременность русановских мечтаний и произнесу над ними приговор только на основании тех фактов, которые изобретает сам г. Клюшников. — Через несколько времени после поступления Русанова на службу помощник нового столоначальника, Чижиков, приглашает его к себе пообедать запросто. После очень скромного обеда Чижиков пускается с своим начальником в откровенный разговор.

— По правде сказать, Владимир Иваныч, я не без задней мысли и пригласил вас поглядеть на наше житье-бытье... Я вас побаивался...

— Меня-то?

— Вы ведь того-с... из нынешних, — сказал Чижиков, посмеиваясь:— а я... лучше уж разом покаяться... Я беру взятки... А вы погодите, вы не сразу казните... Я и уроки даю, получаю рублей пятнадцать в месяц; ну, мезонин доставляет пятьдесят ежегодно. Этим бы можно и жить, да вы возьмите то: начальство требует, чтоб являться в своем виде, не оборвышем; ну, и сапоги... Хотя, с высшей точки зрения, казалось бы, что такое сапоги! А тут благодарят двумя-тремя рубликами... Не брал-с, ей-богу не брал, пока оставалось кой-что у жены; все надеялся на повышение, а вышло вот что!..

Чижиков пустил густое белое кольцо дыму; оно плыло, расширилось в темную ленту и пропало в воздухе.

— Скажите, пожалуйста, — начал Русанов, желая прекратить тяжелое объяснение: — неужели Ишимов ничего не дал за сестрою? (стр. 115).

Вместо того чтобы описывать весьма картинно, каким образом белое кольцо дыму плыло, плыло и пропадало в воздухе, г. Клюшникову не мешало бы задуматься над тем двусмысленным положением, в которое попал Русанов вследствие «тяжелого объяснения» с своим подчиненным. Но г. Клюшников даже не заметил никакой двусмысленности и никакого положения. Русанов, который, разумеется, не может быть дальновиднее своего творца, также отнесся ко всему этому разговору очень легко и игриво. Он только своротил в сторону от «тяжелого объяснения» и затем счел все дело оконченным. Этого мало. Он даже, в доме своих добрых знакомых, Горобцов, «начал описывать чиновный мир и пошел по своей колее с свойственным ему добродушным юмором» (стр. 127). По какой колее ходит обыкновенно Русанов в своих разговорах — этого я не знаю, потому что все его разговоры, приведенные в романе, совершенно бессвязны, безалаберны, наполнены внутренними противоречиями и ни в какую определенную колею не могут быть втиснуты. Что Русанову свойствен какой-то юмор, этому я также не могу поверить, потому что во всех его разговорах нет никаких следов юмора. В добродушии же я, пожалуй, не откажу Русанову, если только под этим именем мне позволено будет подразумевать его абсолютную неспособность отнестись серьезно к какому бы то ни было явлению жизни и довести последовательно до конца какую бы то ни было дельную мысль. — На *добродушные* рассказы Русанова о чиновном мире злобный Бронский делает следующее возражение: «— Как не пожалеть в самом деле! Жена, дети, et caetera, et caetera...* О благодетели! Неужели это оправдание? — и затем он принялся говорить в духе такой нетерпимости, что Русанов решился уступить поле противнику и удалился в уголок» (стр. 128).

Возражение Бронского показывает ясно, что Русанов изощрял свой *добродушный юмор* над чем-нибудь вроде *тяжелого объяснения*, происходившего в квартире Чижикова. Я вовсе не хочу заподозрить Русанова в том, что он зубоскалил насчет горемычного житья бедных чиновников. Нет. Тут дело совсем не в том. Тут важно то обстоятельство, что Русанов относился весело

---

* И так далее и так далее (*лат.*). — *Ред.*

и добродушно к такому явлению, которое радикально подрывает для него всякую возможность остаться на службе. Основная тема русановских рассказов о чиновном мире состоит, очевидно, в том, что, мол, никак нельзя — жена, дети, поневоле берет. — Хорошо! Русанов, как мы видели, узнал, что его подчиненный берет взятки. Это *тяжелое объяснение* каждому мыслящему человеку, находящемуся на месте Русанова, дало бы почувствовать, что он попал в такие страшные тиски, из которых нет другого выхода, кроме чистой отставки. К чему обязывают Русанова его присяга, его совесть, требованья высшей идеи общественного блага? Очевидно, к тому, чтобы беспощадно искоренять взяточничество. Как ближайший начальник Чижикова, он должен донести о его противозаконных поступках и употребить все свои усилия на то, чтобы враг общественного блага был отдан под суд. Если у Русанова не дрогнет рука задавить Чижикова и пустить по миру его жену, если Русанов твердо решился давить точно таким же образом, во все продолжение своей службы, всех бедных чиновников, подобных Чижикову, если Русанов глубоко убежден в том, что, производя в своем ведомстве это постоянное избиение младенцев, он действительно искореняет взяточничество и оказывает великие благодеяния своему отечеству, — тогда Русанов смело может оставаться на службе и утверждать во всеуслышание, что его студенческая мечта о полезной общественной деятельности осуществилась блистательно. Но Русанов поступает совсем не так. Он не давит Чижикова и даже остается с ним в приятельских отношениях. *И в то же время Русанов не выходит в отставку.* Вот это уже верх непоследовательности, той жалкой, старушечьей непоследовательности, которая происходит не от пылкости страстей, а от слабости рассудка. Если Русанов помиловал Чижикова, тогда он, очевидно, должен миловать постоянно всех чиновников, находящихся под его начальством. Как бы широко ни шла служба Русанова, как бы быстро ни подвигалась вперед его карьера, как бы широко ни раздвигались размеры его власти и деятельности — все равно: Русанов все-таки не может сделать ни шагу для прекращения чиновнических злоупотреблений. Чижиков — хороший человек, и у него на руках жена; но ведь какой-нибудь Степанов тоже чудесный человек, и у него на руках старуха мать; а чем же дурен Фадеев, у которого на руках две сестры? И за что же обижать вдовца Тихонова, у которого на руках пятеро малолетних детей? — Все берут по необходимости, всякому деньги не бесполезны, и у всякого есть что-нибудь на руках. Значит, к чему же сводится, при таких условиях задачи, студенческая мечта Русанова о полезной общественной деятельности? И чем же будет отличаться идеальный чиновник Русанов от всех материальных чиновников, служивших еще во времена Очакова и покорения Крыма? Разве только тем, что те воровали, а Русанов *сам* не будет воровать? — Значит, Русанов служит не для того, чтобы прино-

сить положительную пользу, не для того, чтобы искоренять зло, а для того, чтобы *не участвовать* во зле. На вопрос: «что вы делаете в гражданской палате?» — Русанов должен отвечать: «я *не ворую*». Но тогда можно ему заметить, что этому отрицательному занятию он может с величайшим успехом предаться и у себя на хуторе, и в Петербурге, и за границей, и где угодно. Для того чтобы *не воровать*, нет абсолютной необходимости носить вицмундир и ходить каждое утро в гражданскую палату. Поступать на службу для того, чтобы со временем своим влиянием реформировать и обновить целые обширные части канцелярского механизма, — это еще куда ни шло; об этом, пожалуй, могут мечтать, юноши, созерцающие жизнь из прекрасного далека; но мечтать о том, чтобы быть в своей жизни только безвредным, готовить себя совершенно сознательно к тому, чтобы сделаться навсегда пассивным винтом в ветхом механизме, — уже явный симптом такой вялости и хилости, такой собачьей старости, которая во всяком энергическом человеке возбуждает полнейшее отвращение. О великий романист, г. Клюшников! О великий редактор, г. Катков! О великий эстетик, г. Эдельсон! Так это воплощение собачьей старости есть, по вашему мнению, лицо идеальное?

Но, позвольте! Это еще не все. Внутренние противоречия в поведении Русанова, как будто нарочно, доводятся автором до последних пределов комического безобразия. И автор так слеп, что даже не замечает этих противоречий. На странице 109 Русанов, придя в первый раз на службу, без малейшей надобности вступает с одним старым столоначальником в ожесточенный спор по вопросу о взятках. Вот вам эта поучительная беседа, в которой Русанов сияет чисто надимовским благородством души и бескорыстием помыслов.

— Горячо вы очень к сердцу принимаете, не обтерпелись еще, не настоящий чиновник! — увещевал старичок.

— С таким, как вы говорите, терпеньем и до взяток не далеко, — резко заметил Русанов.

— Хе-хе!.. Молода еще...

— Что?

— В Саксонии не была... Эх, молодой человек! кто берет взятки? Это запрещено законом, за это лишают чинов, дворянства...

— А все-таки берут...

— Да не взятки же: благодарность за труды! Если вы, примерно, ночь просидите за каким-нибудь делом, изготовите к докладу, какая же это взятка? Разве вы обязаны сидеть ночь? В «Своде законов» полагается присутствовать только до двух часов...

И старичок, достав красный фуляр, высморкался с полным сознанием неотразимого аргумента.

— Да, почтеннейший collega, — перебил Русанов, — если предлагают деньги, так, верно, не за очередное: то и без того доложится... Стало быть, взятка!

— Погодите, послужите, попривыкните к нашему порядку...

— Ну уж это дудки! Это вам придется к нашему порядку-то приглядываться... (стр. 109—110).

На странице 110 Русанов горячится и говорит, что «это дудки», а на следующей, 111 странице Чижиков приглашает его к себе обедать и после обеда — на странице 114 — начинает «тяжелое объяснение», которое Русанов прекращает на странице 115. — Спрашивается теперь, с умыслом ли или без умысла г. Клюшников поставил рядом две сцены, одну между Русановым и старичком, развивающим теорию благодарности, а другую между тем же Русановым и Чижиковым, развивающим теорию необходимости? Если это сопоставление двух сцен произошло нечаянно, тогда вопиющее слабоумие автора не может уже подлежать никакому сомнению. Тогда, значит, г. Клюшников пишет одну сцену за другою по какой-то силе инерции, совершенно машинально: без всякого общего плана, не умея даже понимать смысл собственных своих фраз. Он пишет так, как деревенские дьячки читают псалтырь. И это толкование чрезвычайно выгодно для г. Клюшникова, потому что если я предположу, что обе сцены написаны сознательно, с умыслом, тогда выдет результат из рук вон пакостный, такой результат, который покажется пакостным всем пишущим и читающим людям, без различия литературных партий. — Старичок говорит Русанову: «попривыкнете к нашему порядку», и Русанов действительно, в течение каких-нибудь двух недель, привыкает. Старичок говорит: «благодарность за труды», и Русанов горячится; Чижиков говорит: «благодарят двумя-тремя рубликами», и Русанов отвиливает от этого разговора, как человек, старающийся заглушить в себе голос совести. Значит, что же это такое? Значит, старичок был прав, и слова его были пророчеством. Значит, человек возмущается взятками только тогда, когда «молода еще, в Саксонии не была», а как только побывает «в Саксонии», так сейчас и увидит, что взяточничество освящено законами природы, навеки нерушимыми, против которых ратуют, только по своей бестолковости, беспокойные волтерьянцы и фармазоны. Значит, даже и против взяточничества ратовать не следует. Значит, самые умные, самые честные, самые крепкие молодые люди должны, с тупым спокойствием травоядных животных, тянуть старую канитель, завещанную прадедами, потому что, известное дело, яйца курицу не учат, и все это не нами началось и не нами должно кончиться.

Множество романов и повестей посвящались и посвящаются до сих пор описанию того, каким образом молодые люди понемногу мирятся со всеми мерзостями действительной жизни; но авторы этих романов и повестей никогда не осмеливались оправдывать это примирение; они относились к примирившимся юношам более или менее сурово, иногда с сострадательным презрением, может быть с тихою грустью, но уж во всяком случае без восторженного сочувствия. Эти романы и повести были всегда вариациями на знаменитые слова Гоголя в главе о Плюшкине, на те слова, которыми Гоголь советует юношам забирать с собою смо-

лоду свежие чувства, потому что потом не подымешь на дороге. [8] — А в романе г. Клюшникова дело идет совсем навыворот. Русанов, примирившийся с взяточничеством, остается для автора идеалом и героем. Этот самый Русанов, участвующий своим молчанием в мелких плутнях Чижикова, стремится пролить и действительно проливает за отечество некоторую часть своей благонамеренной крови. Значит, тут и речи быть не может о нравственном падении героя и о сострадательном презрении автора. Если бы г. Клюшников относился к Русанову неодобрительно, то, разумеется, г. Клюшников не поставил бы этого опозоренного человека в картинную позу Курция, бросающегося в зияющую пропасть для спасения отечества. [9] Всякий истинный патриот должен понимать, что только *чистые* люди имеют право совершать чистые подвиги патриотизма. Отдавать в литературном произведении эти подвиги в руки замаранных и оподленных личностей — значит проституировать идею патриотизма и усыплять в обществе ту чуткость нравственных требований, которая составляет самое прочное и разумное основание любви к отечеству и к согражданам.

Итак, г. Клюшников поставлен в необходимость выбрать одно из двух предложенных мною объяснений: или он пишет бессознательно, в припадках хронического сомнамбулизма, не понимая того, что выходит из-под его пера; или же он умышленно проводит в своем романе тенденции старичка и старается реабилитировать взяточничество. Пусть попробует кто-нибудь из защитников романа «Марево» объяснить как-нибудь иначе смысл тех сцен, которые я разобрал в этой главе. Перед такою задачею станет втупик даже такой неустрашимый софист, как г. Катков. А между тем в этом вопросе прямо заинтересована честь г. Каткова, если только она еще может чем-нибудь интересоваться. Роман «Марево» был напечатан в «Русском вестнике». Пускай же «Русский вестник» торжественно просит у публики прощения в том, что опаивает ее таким дурманом. Или же пускай он прямо объявит себя адвокатом взяточничества и торжественно проклянет даже «Губернские очерки» Щедрина, положившие основание всему величию гг. Каткова и Леонтьева. [10] Систематическая апология взяточничества будет делом беспримерным даже в нашей журналистике, опозорившей себя всякими нелепостями и гнусностями. Наши литературные партии расходятся между собою очень сильно по всем возможным вопросам; даже в вопросе о взяточничестве они не согласны насчет тех средств, которые должны привести за собою искоренение этого общественного зла. Но до сих пор я был твердо убежден в том, что нет и не может быть даже у нас такой литературной партии, которая решилась бы публично провозгласить взяточничество явлением нормальным и не требующим искоренения. Я даже и теперь осмеливаюсь думать, что «Русский вестник» не решится защищать умствования г. Клюшникова и скромно промолчит, чувствуя себя в безвыходном положении.

V

Мы любовались на Русанова как на гражданского деятеля. Посмотрим теперь на его отношения к любимой женщине. Здесь бессилие автора выражается вполне в бесцветной вялости героя. Г. Клюшников готов нам побожиться, что Инна любит и уважает Русанова, но мы не поверим никакой божбе; мы скажем автору: покажите нам такого Русанова, которого женщина могла бы любить и уважать; передайте нам те разговоры или поступки Русанова, которые могли бы произвести на женщину глубокое впечатление; сумейте создать сильную, умную, мужественную личность, и тогда мы вам поверим без всякой божбы.

«Помилуйте, господа читатели, — ответит автор, — чего вы от меня требуете? Разве может Пульхерия Ивановна изобрести какую-нибудь машину? Разве может странница Феклуша написать исследование по сравнительной анатомии? И когда же это видано и когда же это слыхано, чтобы курочка бычка родила, поросеночек яичко снес? После этого как же вы от меня требуете, чтобы я создал сильную, умную, мужественную личность? Как же вы хотите, чтобы я сочинил для моего Русанова умные разговоры или поступки?» — «Ну, так незачем вам и божиться в том, что Русанова любит и уважает женщина, — ответит читатель. — Сказали бы просто, что он произвел сильное впечатление на деревенскую барышню своим атлетическим телосложением и своею румяною физиономиею. Этому мы, пожалуй, поверим, тем более что мы уже видели, как заигрывала с вашим героем дебелая красавица». Но г. Клюшников пропускает этот ответ мимо ушей и продолжает божиться. Божится же он преуморительно. Так, например, мы видели уже, что он приписал Русанову добродушный юмор. Но если бы читатели спросили: «А где ж он, юмор-то? подавайте его сюда!», — то г. Клюшникову осталось бы только сказать: «Был, да весь вышел. Ей-богу, был. У меня, господа, Русанов — самый настоящий юморист, да только я этого выразить никак не умею». В другом месте, на странице 30, автор уверяет читателя, что Русанов говорит иногда «горячие тирады о значении современного движения». Читатель сейчас входит во вкус и требует: давайте мне сюда горячую тираду. Что в печи, то на стол мечи. Но горячие тирады так и остаются в печи, и читатель решительно не знает, что именно Русанов называет *современным движением* и какое он в нем усматривает значение. Автору опять приходится божиться, что *горячие тирады* — не миф. Вместо горячих тирад и добродушного юмора автор представляет нам, например, следующий эпизод из его бесед с Инной. «Русанов ходил за ней, раздвигая ветви, жевал листья и все собирался говорить о чем-то. Один раз он будто и решился, кашлянул. «Славный нынче день», — сказал он и опустил глаза под пристальным взглядом Инны» (стр. 29). Впрочем, может быть именно в этом эпизоде сидят и горячность, и тирады,

и добродушие, и юмор. Но читатель не знает наверное, куда пристроить эти слова. Тираду мы нашли: «славный нынче день!» Разговор о свойствах *нынешнего* дня есть, без сомнения, самый *современный* из всех возможных разговоров. Но как же мы поступим дальше? С одной стороны, легко может быть, что Русанов *ходил за ней* с добродушием, *раздвигал ветви* с юмором и *жевал листья* с горячностью; но, с другой стороны, весьма правдоподобно и то предположение, что он *решался* с горячностью, *кашлял* с юмором и *опускал глаза* с добродушием. Просим г. Клюшникова вывести нас из тягостного недоумения.

На 30 странице, на той самой, на которой г. Клюшников приписывает своему герою способность произносить горячие тирады, автор объявляет нам, что «вместе с наступавшею темнотою Русанов становился смелее». У читателя, разумеется, бьется сердце и замирает дух. Даже тогда, когда было светло, Русанов рискнул заговорить о таком современном вопросе, как свойства нынешнего дня; даже тогда он уже жевал листья с горячностью. Что же способен он сделать теперь, при наступлении темноты, когда он становится даже *еще* смелее? Теперь он будет жевать и глотать дубовые ветки и кирпичи. А уж о чем он заговорил — этого я и представить себе не могу, потому что современнее нынешнего дня быть ничего не может. Но какова же будет горячность его тирад! Он просто испепелит ими сердце несчастной девушки, и Инна умрет на месте, как умерла Тамара, поцеловавшись с шаловливым кавказским демоном, которого, на старости лет, разобрала охота влюбляться. Сделавшись *еще* смелее, Русанов действительно царапнул следующую тираду: «Инна Николаевна, хотелось бы вам побывать в Москве?» После этого вопроса разговор становится уже менее замечательным. Инне, каким-то непостижимым чудом, удалось спастись от испепеления; но читатель, конечно, согласится, что Русанов достаточно обнаружил свою увеличившуюся смелость. Г. Клюшников до такой степени внимателен к своему герою, что даже считает священным долгом сообщать читателю подробности о телодвижениях его лошади. На стр. 140 мы узнаем, что «лошадь Русанова кашлянула и попробовала укусить его шенкель». Это замечательное покушение произошло во время одной кавалькады, когда Русанов ехал рядом с Инною. К Инне же г. Клюшников, к сожалению, менее внимателен и поэтому не сообщает нам никаких подробностей о поведении ее лошади. Но, несмотря на постоянную внимательность автора к герою, мы все-таки не узнаем решительно ничего из разговоров Русанова с Инною.

Чтобы г. Клюшников или его защитники не могли обвинить меня в произвольном искажении фактов, я передам тотчас, с педантическою точностью, содержание всех бесед, происходивших между героем и героинею, до той самой минуты, когда Инна убежала с Бронским не как любовница, а как сообщница. На стр. 29 Русанов, искавший в это время мирового посредничества, жалуется Инне на необразованность провинциалов и прибавляет следующие

слова: «А я-то думал, что это Аркадия какая-то». Эти слова доказывают, что Русанов не только ничего в своей жизни не видал, но даже ничего не читал; если бы он знал действительную жизнь только по русским романам и повестям гоголевской школы, то и тогда бы он перестал мечтать об Аркадии. Впрочем, мы не знаем, как Русанов жаловался на провинциалов. У г. Клюшникова приведена только одна фраза Русанова: «Ну, люди в здешней стороне!» А затем сказано глухо, что «он начал описывать ей свои странствования». И описывал, должно быть, прескучно, потому что она сказала ему: «будет!» — На стр. 30 Русанов задает свой смелый вопрос насчет Москвы, а Инна за это говорит ему, что он «точно Подколесин». Русанов, развивая далее свою мысль, спрашивает у нее, желала ли бы она насладиться развлечениями, театром, обществом? Инна отвечает на это, что она не любит «вообще многолюдства, а в частности того, что называется обществом». — Русанов случайно услышал несколько слов, произнесенных Инною в то время, когда она думала, что она одна в саду; слова эти были обращены к водолазу Ларе. «Ты думаешь, он придет? — говорила Инна. — Их нет больше на свете... Ни одного...» Потерпевши неудачу в разговоре о московских развлечениях, Русанов спрашивает: «Кто это они, кого нет больше на свете?» После некоторых отнекиваний Инна отвечает: «Они — те, которые сумели стать выше земли». — «Романтики? идеалисты?» — спрашивает Русанов. «Они те, — говорит Инна, — чья душа и темна и светла, как эта ночь; они — те, что не продадут своей совести ни за какие... коврижки». — «Только-то?» — сказал он, чтобы что-нибудь сказать» (стр. 32). В этом диалоге ясно выражается желание г. Клюшникова сделать из Инны весьма интересное, глубокомысленное и загадочное существо. Но на всякое хотение есть терпение. Вместо глубокомыслия фразы Инны заключают в себе только пустоту и напыщенность. А Русанов здесь, как и везде, говорит только для того, «чтобы что-нибудь сказать». — На стр. 63 Инна приглашает Русанова сделать с нею обход по деревне; Русанов, видя ее приготовления, спрашивает с улыбкой: «посещение болящих?» Улыбка, должно быть, выходит у него приторная и глупая; по крайней мере Инне она не нравится. «Да, чему же улыбаться-то?» — строго спросила она. — В употреблении слова «болящих», вместо «больных», автор, повидимому, старается проявить «добродушный юмор» Русанова. Выходит плоскость. — Побывавши в одной мужицкой хате, Русанов утверждает, что «надо во что бы то ни стало развить эстетические наклонности в народе». Инна осмеивает и освистывает эту новую пошлость, сказанную Русановым, по всей вероятности, для того, «чтобы что-нибудь сказать». На стр. 67 Русанов продолжает пошлеть: «увидав на грязном теле красную рану обжога», он изображает на своем лице «конвульсивную гримасу». Инна говорит ему: «Дайте мазь; да не падайте в обморок». На следующей странице Русанов произносит

слова: «Как вы должны быть счастливы в такие минуты!» Так как эта фраза произносится «восторженно», то читатель может принять ее за «горячую тираду о современном движении» дамских чувств. Но дама русановского сердца понимает вещи не так, как ее кавалер; на «восторженную» тираду о счастье посещать «болящих» Инна отвечает почти с отчаяньем: «Все бесполезно! все напрасно! ни к чему не ведет!» Иной кавалер полюбопытствовал бы узнать причину этого отчаянья и вступил бы с своею дамою в разговор, вызывающий на размышление. Если дамское отчаянье указывает на расположение Инны к нигилизму или к какой-нибудь другой зловредной пакости, то, повидимому, прямая обязанность Русанова, постигнувшего несостоятельность всякого зла, заключалась в том, чтобы разумным словом отвлечь тоскующую душу от бездны заблуждений. Но Русанов чувствует свою умственную убогость и не спрашивает о причинах отчаянья, смутно сознавая, что разговор на эту тему может принять очень головоломный характер и что в таком трансцендентальном разговоре не выедешь ни на добродушном юморе, ни на горячей тираде, ни даже на раздвигании ветвей и на жевании листьев. Русанов поспешно переводит беседу на реальную почву и рассказывает Инне, что он вчера подслушал заговор, направленный против нее; Инна совсем не хотела слушать, в чем состоит заговор, и нам тоже нет никакой надобности заниматься им, потому что сам г. Клюшников, по своему обыкновению, тотчас же совершенно забывает о его существовании. На дальнейший ход романа заговор не имеет никакого влияния; значит, — ясное дело — он был измышлен для наполнения страниц приятными пустяками. Беседа снова принимает направление психологическое и головоломное. «Разве у меня не может быть привязанности?» — вопрошает Русанов. «У вас? Полноте!» — ответствует Инна. Тогда Русанов не на шутку приходит в азарт и пускает «горячую тираду». Вот она вся целиком. «Инна Николаевна! Вы вот смотрите на меня, да только и говорите, что «полноте»; а есть ли какая-нибудь возможность выдаваться так, чтобы вы этого не сказали? Чем же я виноват, что это случается только в романах, да еще в тех, что Белинский велит Ваньке по субботам читать». — Кажется, Русанов приписал тут Белинскому фразу барона Брамбеуса, но это еще не велика беда. Но вот что очень плохо: Русанов думает, что выдаваться из толпы пошляков можно только какими-нибудь подвигами во вкусе Еруслана Лазаревича; он не имеет никакого понятия о том, что в XIX столетии людей выдвигает вперед не ломание казенных стульев по случаю Александра Македонского, а умственная оригинальность и нравственная самостоятельность. Умные люди и честные работники встречаются в действительной жизни, а совсем не в пошлых романах. Все изобретатели, все замечательные исследователи, все даровитые писатели, все добросовестные преподаватели, наконец все люди, умеющие мыслить и трудиться, выдаются из толпы так,

что ни одна умная женщина не скажет им: «полноте!» А разве эти люди встречались когда-нибудь в романах Загоскина, Рафаила Зотова или Воскресенского? Значит, «горячая тирада» Русанова оказалась бесцветною глупостью, неудачно направленною к тому, чтобы оправдать собственное, бесцветно-глупое прозябание говорящей личности. — Русанов объявляет далее Инне, что он завтра едет в губернский город на службу. Инна говорит ему: «я все-таки лучше об вас думала», и спрашивает потом: «неужели нельзя пробить свою тропинку?» Русанов тотчас отхватывает новую тираду; в первой он цитировал Белинского, в этой ссылается на Лермонтова. Я опять привожу его красноречие без утайки. «Вот что! Ну, это точно, как вам сказать вернее, выше или ниже сил... Помните, Лермонтов говорит, что он живет, точно читает дурной перевод книги после оригинала? Да, горько, когда жизнь разбивает все мечты, а нам и того хуже, мы опытны».

Оно и заметно, что *опытны*. Опытные люди всегда ожидают найти Аркадию в захолустье, наполненном всеми миловидными продуктами и остатками крепостного права. Опытные люди всегда суются в мировые посредники, не имея понятия о крестьянском быте и о помещичьих нравах. Опытные люди всегда толкуют о том, что надо развивать эстетические наклонности в народе, у которого нет ни школ, ни больниц, ни повивальных бабок. «То есть, — продолжает *опытный* человек Русанов, — у нас и мечты-то никакой нет, нечем и в молодости-то было скрасить действительность».

Опять пустословие и вранье! Из разговора Русанова с Бронским, выписанного мною в начале моей IV главы, мы уже знаем, что у обоих товарищей были мечты, когда они на станции вместо вина «*пили вступление в жизнь*». Русанов даже упрекает Бронского в том, что он опять утонул в мечтах. А Бронский принадлежит к одному поколению с Русановым. Значит, какой же смысл имеют слова Русанова — *у нас?* Каких это *нас* он противополагает поколению Лермонтова? И зачем же Русанов намекает на существование *поколений*, когда г. Клюшников уже доказал посредством Бронского заблуждающемуся гимназисту, Коле Горобцу, что никаких поколений быть не может, ибо люди родятся каждую минуту? А кстати можно заметить, что на стр. 27 г. Клюшников сам, от своего авторского лица, употребляет слово «поколение», которое он потом, на стр. 56, победоносно осмеивает. Значит, как же мы решим мудреный вопрос: существуют ли действительно поколения, или же они изобретены журнальными свистунами? [11] Русанов ставит себе в заслугу то, что у него были такие мечты, которые не могли скрасить действительность; он драпируется в тогу гордого страдания и говорит: «нам и того хуже». Но слова «нам и того хуже», которые он произносит с тайною гордостью, должны быть, напротив того, произнесены с глубочайшим смирением. В них заключается, по-настоящему, следующий смысл: «Я очень глуп в сравнении с Лермонтовым; у меня нет ни ума,

ни чувства, ни фантазии, и поэтому даже мои юношеские мечты были тусклы, как старый, стертый четвертак».

Один мужик мечтал таким образом: кабы я, говорит, был царем, я бы каждый день свиное сало ел! Одна кухарка аккуратно каждую ночь видела во сне, что она стоит перед плитою и ворочает разные кастрюли. Мечты мужика и сновидения кухарки очень мало способны «скрасить действительность», потому что они почти совсем не отделяются от их действительности, но этот трезвый характер их грез вовсе не доказывает нам, что этот мужик и эта кухарка — мыслящие реалисты и отличные работники. Это доказывает только, что они задавлены и притуплены до крайности бесцветным однообразием своего существования. Их умственный горизонт так узок, их жизнь так бедна впечатлениями, что им неоткуда взять красок для разрисовывания фантастических картин. Если русановские мечты проникнуты ароматом свиного сала и кухонной посуды, если, вступая в жизнь, он не требовал от нее почти ничего и готов был удовлетвориться самыми мизерными размерами деятельности, то это доказывает не то, что Русанов *опытен* и годен на какое-нибудь практическое дело, а только то, что Русанов — бездарный, вялый, тряпичный человек, перешедший прямо из детства в старость. Мыслящие юноши — лучше юношей мечтающих; но мечтающие юноши все-таки лучше юношей «умеренных и аккуратных». Бестолковый идеалист Рудин стоит все-таки неизмеримо выше искусного практика Молчалина. Но Русанов стоит даже ниже Молчалина, потому что Молчалин по крайней мере действительно опытен, а у клюшниковского героя даже и этого достоинства не имеется. «Инна Николаевна, — говорит Русанов далее, — да кто ж мне мешал жить в Москве сложа руки? Там у меня и дом есть и доход порядочный. Нет, это мое убеждение, только так и можно что-нибудь сделать; все остальное бессильно...» Что именно *хотел* сделать Русанов и что подразумевает он в слове «*что-нибудь*» — этого я не знаю. Но что он *сделал* — это нам доподлинно известно. Он посмотрел на белое кольцо дыма, пущенное Чижиковым, и уклонился от «*тяжелого объяснения*». И какой, подумаешь, всезнающий человек этот Русанов! «*Все остальное бессильно...*», значит, все изведано Русановым, все обдумано и взвешено. Каков мудрец! Сущий Гете!

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна. [12]

Но позвольте, господин столоначальник Гете! «Все остальное»? Все, кроме чего? Все, кроме гражданской палаты? Значит, теперь, когда гражданская палата будет совершенно переделана судебною реформою, [13] теперь все без исключения сделается бессильным? Ах, милейший господин Русанов, Гете тож, зачем вы издаете звуки, в которых вы сами не можете усмотреть никакого определенного смысла? Зачем вы говорите обо *всем остальном*, когда вы совсем

ни о чем, да ведь решительно ни о чем, не имеете никакого понятия?, «Ах, оставьте меня в покое, — отвечает разобиженный Русанов.— Я-то чем виноват? Это все г. Клюшников подсказывает мне такие глупости. И охота же вам обращаться ко мне как к живому человеку, когда я просто кипа печатной бумаги». — Это я, господин Русанов, знаю, а обращаюсь к вам только по игривости моего характера. — По окончании разговора Инна, глядя вслед Русанову, подумала: «*пхе!*» (Sic!) (стр. 71).

VI

На стр. 135 Русанов говорит Инне: «Я боюсь, что вы попадетесь под влияние Бронского». — «А что? — возражает Инна. — Разве он брыкается?» Русанов боится за Инну, а между тем накануне, когда Бронский при Инне заговорил в духе страшной нетерпимости, тот же самый Русанов «решился уступить поле противнику и удалился в уголок» (стр. 128). Да, конечно, «удаляясь в уголок», мудрено противодействовать влиянию такого человека, который говорит смело и горячо. Отступая от честной и открытой борьбы с идеями Бронского, Русанов, как старая салонница, старается пошептать кое-что против Бронского во время его отсутствия. Зачем же Русанов накануне «решился уступить поле противнику»? Или он не хотел, или не мог спорить с Бронским. Не хотел? Странное предположение! Любящий мужчина видит, что любимая женщина находится в опасности, и, для ее спасения, *не хочет* шевельнуть мозгом и возвысить голос. Хороша любовь и хорош мужчина! — Оказывается, что не мог. Инна спрашивает прямо: «разве не правду говорил он вчера?» Русанов отвечает: «правду!» Иначе он и не может ответить, потому что тогда Инна тотчас задала бы ему вопрос: зачем же вы его вчера не опровергали? — и на это Русанову пришлось бы ответить: потому, Инна Николаевна, что я еще гораздо глупее Бронского, хотя и Бронский глуп весьма достаточно. Но, сознавшись в том, что Бронский говорит правду, Русанов прибавляет тотчас: «да ведь это все одни слова». Русанову хотелось повидимому, чтобы изо рта Бронского сыпались вместо слов червонцы или алмазы. К сожалению, этого не бывает. Когда человек говорит, он всегда произносит только слова, и весь вопрос состоит в том, правдивы ли эти слова или нет. Если бы Инна увлекалась *правдивыми* словами Бронского, то она, очевидно, поддалась бы не влиянию Бронского, а влиянию истины. Признавая слова Бронского за выражение истины, Русанов отнимает у себя всякую возможность противодействовать его влиянию. Впрочем, я крепко сомневаюсь в том, чтобы Бронский действительно был способен высказывать такие истины, которые могут увлечь умную женщину. Из сцены Бронского с Колею мы уже видели, что Бронский несет чепуху страш-

ную. А что он говорил, когда Русанов удалился в уголок, — этого мы не знаем, потому что г. Клюшников не мастер сочинять для своих героев речи, вызывающие на размышление. У г. Клюшникова сказано очень глухо, что «Бронский громил все сплеча, говорил с жаром... от чиновничества перешел к обществу... досталось и литературе» (стр. 128). Обо всем этом можно говорить очень умно, но можно также говорить и очень глупо. Я полагаю, что Бронский говорил очень глупо, по той простой причине, что он есть действующее лицо в романе «Марево», сочиненном г. Клюшниковым. А Инна и Русанов слушали его, развесив уши, потому что они оба нисколько не уступают Бронскому в слабоумии. Продолжая разговор о влиянии Бронского, Инна задает Русанову вопрос: «Какой же ваш-то идеал? Обрисуйте»... Русанов на это отвечает, что у них в гражданской палате товарищ председателя Доминов — очень хороший человек и что этот Доминов однажды в городском саду объяснил ему, Русанову, каким образом муравьи сосут сладкий сок, выделяемый тлями. Если читатель не верит мне на слово, что такой ответ действительно был дан Русановым на вопрос об идеале, то я убедительно прошу читателя взглянуть на 137 страницу I тома романа «Марево».[14] На стр. 160 Русанов рассказывает Инне «грустные известия, полученные им из Петербурга». Эти «грустные известия» так глупы, бессвязны и неправдоподобны, что я о них, по всегдашней моей скромности, умолчу.[15] «Ну-с, — перебила Инна, — наговорили вы много; к какому результату вы пришли?» Этот вопрос застает Русанова врасплох и ставит его втупик. Он спрашивает простодушно: «какой же тут результат?» Он рассказывал слухи так, как словоохотливые кухарки рассказывают друг другу всякие сплетни, и вдруг от него потребовали какого-то результата. Разумеется, он вытаращил глаза и немедленно стушевался. Не подлежит ни малейшему сомнению, что Русанов — любимец г. Клюшникова. Именно по этой причине Русанов глупее всех остальных действующих лиц. Он от всех получает щелчки по носу и на все эти ласки отвечает только оханьем и соболезнованиями о человеческой испорченности. — На стр. 167 Русанов объявляет, что ему не нравится орфография г. Кулиша.[16] На стр. 168 он спрашивает, «что такое дух времени?» Из этого вопроса мы можем заключить, что у Русанова память очень коротка; на стр. 147 он упрекал Бронского в том, что Бронский кланяется «духу времени», потому что ему уже совестно кланяться генералам. Значит, на 147 странице Русанов знал, что такое дух времени, но с тех пор успел позабыть. А впрочем, может быть и то, что Русанов на 147 стр. употреблял такое слово, которого смысл для него непонятен. Такие случаи вовсе не редки. Если бы всякий дурак непременно желал понимать все, что он сам говорит, то многим дуракам пришлось бы обречь себя на вечное безмолвие. У нас же дураки не только говорят неутомимо, но еще, кроме того, пишут, печатают и издают журналы, газеты и книги.—

На стр. 168 Русанов порицает идеалы Шевченка;[17] но я осмелюсь заметить, что Русанов, быть может, судит Шевченка слишком строго; ведь легко может быть, что Шевченко не был знаком с товарищем председателя Доминовым, не гулял с ним по городскому саду и не слышал от него рассказов об отношениях между муравьями и тлями. После этого, посудите сами, есть ли возможность требовать от несчастного поэта, чтобы он выработал себе тот высокий идеал, который обрисован Русановым на стр. 137? Когда мы судим о человеке, надо всегда принимать в соображение обстоятельства, облегчающие его вину. — На стр. 170 Русанов объявляет, что у него «от этой литературы уж голова трещит».[18] «Так и порешили ничего не читать, чтобы голова всегда свежа была?» — спрашивает Инна. «Так и порешил», — отвечает «с неудовольствием» любимец г. Клюшникова, расписываясь этим ответом в получении полновесного щелчка по носу.— На стр. 180 Русанов, разговаривая с Инною в саду, днем, обнаруживает внезапно такую предприимчивость, что Инна кричит «в испуге: Владимир!» и потом, чтобы успокоить разгулявшегося шалуна, говорит ему: «ужо! ужо!» Так как г. Клюшникову угодно, чтобы Инна любила Русанова, то оказывается, что она сама дрожит от страсти в русановских объятиях и вырывается из них только из уважения к условиям времени и места. Однако Русанову не пришлось дождаться никакого «ужо!» Вскоре после нескромных объятий Инна убегает с Бронским за границу. Русанов, узнавши о ее побеге, гонится за нею верхом по большой дороге, куда-то пропадает в продолжение двух дней, никого не успевает догнать и приобретает себе горячку. Из этого подвига можно заключить, что Русанов — неустрашимый всадник, но весьма плохой мыслитель и диалектик; ему надо было действовать на Инну силою убеждения тогда, когда она еще была способна слушать советы. Когда же молодая девушка ошалела настолько, что решилась бежать, тогда уже поздно и глупо лупить за нею во все лопатки по большой дороге. Чем именно Бронский околдовал Инну — это остается для нас тайною. Побег ее составляет для читателя совершенный сюрприз. Убегая вместе с Бронским, Инна оставляет Русанову, по приказанию г. Клюшникова, разные похвальные аттестаты. В письме, написанном ею перед самым побегом, изображены следующие слова: «Едва вы сказали первое слово любви; едва я поглядела вам в глаза, я узнала одну из тех страстных, упорных привязанностей, которые часто длятся целую жизнь»... «Чем больше мы с вами сходились, тем больше убеждалась я, что вы превосходный человек», и так далее (стр. 216). Бумага все терпит; написать на ней можно что угодно; но как бы ни расхваливал г. Клюшников свое любимое создание, как бы он ни божился в том, что Русанов — самый первый сорт, отменнейшей доброты, мыслящий читатель все-таки будет только смеяться над этою гостинодворскою замашкою автора превозносить собственные изделия,

которым он не умеет придать никаких действительных достоинств. — На стр. 340 мы читаем отрывки из дневника Инны. 15 июня она находит в Русанове «дикие понятия»; 17 июня — «честные, славные понятия». 19 июня: «я перестаю подавать ему руку». 29 июня: «этот человек — загадка». — Так нагло до сих пор еще ни один писатель не насмехался над публикой. Мы решительно не знаем, какими суждениями или поступками Русанов производил на Инну те противоречивые впечатления, которые она занесла в свой дневник. Этот дневник составляет для нас тарабарскую грамоту; это еще одно проявление усердного, но чрезвычайно неискусного и неудачного шарлатанства.

VII

Прибавлю еще одно короткое замечание. Г. Клюшников вводит нас в губернскую гимназию и, бредя ощупью, натыкается там на педагогический вопрос. Гимназисты распущены донельзя, дурачатся, не хотят учиться и лезут в политику. Приезжает из Петербурга новый инспектор Разгоняев. Он собирает учителей на педагогический совет и спрашивает, как они намерены вести воспитание юношества. Один из педагогов говорит, что у них мальчишки «всё такой народ — аховый». Другой говорит: «кто с борку, кто с сосенки». *Аховый* характер и древесное происхождение мальчишек доказывают ясно, что против них надо действовать *аховыми* и древесными средствами. Немец говорит, что «нужно... розга». Молодой учитель математики объясняет беспорядки в классе тем, что учительские и надзирательские обязанности соединяются в одном лице. По его мнению, необходимо, чтобы в классе сидел надзиратель. Однако сам г. Клюшников быстро уличает этого учителя во вранье; беспорядки происходят в дортуарах, где постоянно торчит надзиратель. Инспектор советует учителям обходиться с воспитанниками помягче и представлять ему немедленно о всяком наказании. Но вскоре этот инспектор, подобно Инне, попадает под влияние злых людей, и беспорядки в гимназии не прекращаются. А г. Клюшников, по своему обыкновению, наткнувшись на мудреный вопрос, оставил его неразрешенным и представил такие факты, которые ведут за собою неблаговидные заключения. Какими же мерами можно усмирить свирепость *ахового* народа? «Драть или не драть? вот в чем вопрос». — Г. Клюшникову хочется, повидимому, решить этот гамлетовский вопрос в том смысле, что драть не годится, а посекать не мешает. А «Русский вестник» решит, вероятно, этот вопрос так: в филологических гимназиях давать воспитанникам зараз по 25 розог; в реальных же — по крайней мере вдвое, потому что естественные науки развивают в юношах *аховое* направление, которое нуждается в столь же *аховом* противодействии. [19] — Убедительно прошу мыслящую часть русской публики извинить меня, что я так долго возился с романом «Марево».

ПРОГУЛКА ПО САДАМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

I

В прошлом году умер последний крупный представитель российского идеализма. Друзья и сотрудники покойника превознесли его похвалами, которым я нисколько не намерен противоречить. Возвеличивая отдельную личность, эти похвалы убивают наповал тот принцип, за который эта личность сражалась. Читатель, быть может, уже догадался, что я говорю об Аполлоне Григорьеве, умершем в половине прошедшего года и воспетом в «Эпохе» гг. Страховым и Достоевским. [1] В своих «Воспоминаниях об А. А. Григорьеве» г. Страхов говорит об умершем деятеле почти с благоговением; он называет его своим учителем, говорит, что Григорьев был «зрячее и чутче других», что Григорьев имел полное право принимать в журнале «тон человека, власть имущего», что письма Григорьева читались в редакции «Времени» [2] «вслух для общего назидания», что сочинения Григорьева, собранные в полном издании, «представят целые громады мыслей», дадут «неистощимую пищу», и так далее, и так далее. Кроме того, в той же статье г. Страхова рассыпано множество похвал искренности Григорьева, и в этом последнем свойстве покойного идеалиста действительно не могут усомниться ни друзья его, ни враги. Читая все эти похвалы, я улыбаюсь, потираю себе руки и говорю про себя: прекрасно! превосходно! Хвалите больше, господа! Чем выше вы поднимете личность Григорьева, тем глубже, безвозвратнее вы зароете в могилу все ваше литературное направление. — Статья г. Страхова есть некоторым образом литературное самоубийство. Рассмотреть ее с этой стороны будет очень любопытно и увеселительно, потому что этой статьей посягает на свою убогую жизнь не только целый журнал, но даже целый строй понятий, весь тот строй, который, прикрываясь различными фирмами и вывесками, старается задушить и истребить все проявления нашего новорожденного реализма. В самом деле, если

Григорьев «был человек, власть имущий», если он был «зрячее и чутче других», если эти другие, тотчас после его смерти, находят необходимым печатать — вероятно, «для всеобщего назидания» — частную переписку покойника, и притом печатать с такою скрупулезною точностью, что обозначают даже точками те места, где Григорьев ругается непечатными словами, если, говорю я, Григорьева признают, таким образом, великим вождем целого направления, — то, разумеется, мы имеем полное право принимать за наличную монету те суждения, которые этот вождь сам произносит о своем направлении. Кажется, господа почвенники, идеалисты и эстетики не могут упрекнуть нас в недостатке великодушия, если мы, вступая с ними в литературное состязание, будем опираться на авторитет того писателя, которому они поклоняются. Хорошо. Посмотрим же, что из этого маневра произойдет. — Спрашивается, верил ли сам Григорьев в победоносную силу тех идей, за которые он неутомимо боролся? Письма Григорьева, изданные г. Страховым,[3] дают на этот основной вопрос совершенно отрицательный ответ. Григорьев любил свои идеи неистребимою любовью, он был им фанатически предан, он не мог им изменить, он боролся за них с мужеством отчаянья и в то же время он понимал с мучительною ясностью, что эти идеи отжили свой век, что у них нет будущего и что они вряд ли когда-нибудь воскреснут. Все письма его проникнуты глубоким унынием, вытекающим не из личных огорчений, а из страдания за умирающую идею. Как человек, который был «зрячее и чутче других», Григорьев понимал то, чего эти другие не понимали. Он видел ясно, что все бесполезно и что никакими медоточивыми речами невозможно увлечь отрезвляющееся общество в старую область эстетики и мистицизма. Когда *другие*, менее зрячие и чуткие люди стали издавать эстетико-мистический журнал с примесью планетных жителей и французских уголовных процессов,[4] тогда Григорьев не отказал им в своем содействии, но в душе его постоянно сохранялось то безотрадное убеждение, что

Как ни садитесь,
А всё в музыканты не годитесь,

потому что музыканят новые люди, так называемые теоретики,[5] которых все слушают и с которыми эстетические разводы и мистические туманы никак не могут тягаться. Григорьев называл себя «одним из ненужных людей» и говорил своим друзьям, как свидетельствует г. Страхов, «что он действительно человек ненужный в настоящее время, что ему нет места для действительности, что дух времени слишком враждебен к людям такого рода, как он». Григорьев сознается перед своими друзьями, что только чудо может воскресить его идеи и повернуть общество назад, к старым идеалам. «А этого, — пишет он, — бог знает, дождемся ли мы! — Шутка — чего я жду! Я жду того стиха, который бы

Ударил по сердцам с неведомою силой,

— того упоения, чтобы «журчание этих стихов наполняло окружающий нас воздух»... Шутка! Ведь это — вера, любовь, порыв, лиризм!..» Из этих слов ясно видно, что Григорьев ожидал спасения только от чуда и что, несмотря на весь свой мистицизм, он сам плохо верил в возможность такого чуда. Действительно, хоть наше общество и очень простодушно, но все-таки оно в последнее десятилетие успело поумнеть настолько, что «ударить по сердцам с неведомою силою» может в настоящее время никак не стих, а разве только какое-нибудь великое историческое событие или какое-нибудь колоссальное научное открытие. Тогда, пожалуй, от полноты души и стихи посыпятся, и общество станет их слушать с удовольствием, но сила, очевидно, будет все-таки заключаться не в стихах, а в той общей причине, которая их вызвала.

Как человек, неизлечимо влюбленный в отжившую идею, Григорьев постоянно с болезненно-напряженным вниманием ловил в каждом мельчайшем событии текущего времени какие-нибудь проблески несбыточной надежды; он, с глубоким отчаянием в душе, все-таки не смел произнести над своим миросозерцанием решительный, смертный приговор; он все ждал, не шевельнется ли его отжившая идея, не поднимется ли из могилы его мертвая красавица. «Известие, сообщенное «Северной пчелой», [6] — пишет он, — об окончании Островским «Кузьмы Минина», — вот это событие. Тут вот прямое *быть или не быть* положительному представлению народности, — может быть, такой толчок *вперед*, какого еще и не предвиделось». «Кузьма Минин» вышел в свет, и Россия его не заметила, несмотря на то, что он был напечатан на самом видном месте, в самом любимом журнале. [7] Григорьев упивался Кузьмою и даже врачевал им свои душевные недуги, но не мог же Григорьев не видеть, что никакого «события» не произошло и никакого толчка ни вперед, ни назад не получилось. Почти в одно время с «Кузьмою» вышел в свет роман Тургенева, [8] от которого Григорьев «не ждал многого в отношении к содержанию», и этот роман поднял целую бурю в литературе и в обществе, несмотря на то, что самый сильный и любимый журнал старался убить и похоронить его тотчас после его появления. [9] Очевидно, все развитие нашей умственной жизни шло вразрез с симпатиями и стремлениями Григорьева.

Насколько этот разлад был глубок и радикален, — это обнаружилось совершенно ясно в 1863 году. Если когда-нибудь мертвая красавица Григорьева могла воскреснуть, то именно в этом году. Для теоретиков этот год был невыносимо тяжел. Разные совершенно нелитературные обстоятельства привлекали внимание общества к таким предметам, которые не поддавались спокойному анализу. Лирические восторги были в полном ходу. Можно было ожидать тех же дифирамбов, какие мы слышали во времена Синопа и Башкадыклара.[10] Повидимому, Кузьма Минин необходимо должен был в такое время развернуться во всем величии своей

красоты. Не тут-то было. Кузьма продолжал оставаться незамеченным, несмотря на все выгоды, предоставленные ему данною минутою. И этого мало. Чтобы окончательно огорошить Григорьева, безжалостная и насмешливая судьба взяла на себя труд устроить обратное испытание. Ты видишь, о Григорьев, говорит судьба, что твои собственные идеи совершенно бессильны, даже при самых выгодных условиях. Посмотрим же мы с тобою теперь, каковы силы твоих противников, при самых невыгодных для них условиях. — И посмотрели. Весною 1863 года появилось в свет то, что Григорьев весьма игриво называл «эпопеей о белой Арапии».[11] Говорят, что те книжки «Современника», в которых напечатана эта белая Арапия, обратились теперь в библиографическую редкость.

Но зачем ссылаться на неопределенные слухи? Гораздо основательнее будет указать на то, что говорят печатно о «Белой Арапии» ее неутомимые противники. Весьма враждебная нам, но чрезвычайно наивная «Эпоха» дает нам в этом случае самые подходящие материалы. В ноябрьской книжке этого журнала помещена небольшая статья г. М. Ва. «Литературные впечатления новоприезжего». Автор этой статьи говорит, что он почти два с половиною года прожил за границею и совсем отстал от того движения мысли, которое совершалось в это время в России. И какие же факты приводит он в доказательство своей отсталости? Мне придется выписать подлинные слова этого господина, и я это сделаю без зазрения совести, несмотря на то, что в этих словах упоминается моя собственная фамилия. «Ибо тот факт, что я отстал, — говорит г. М. Ва., — для меня не подлежит никакому сомнению. Я не только не читал «талантливых статей» * г. Писарева, но я, к собственному ужасу, должен признаться, что не читал даже «Что делать?». Вы поймете конечно, сколько побуждений к стыду и отчаянью таилось в этом факте». — Слова: «талантливых», «к собственному ужасу», «к стыду и отчаянью» употреблены, разумеется, ради иронии; но тут дело не в том, как смотрит на теоретиков сам г. М. Ва. Тут важно его откровенное признание, что вся русская литература заключается именно в теоретиках. Отстать от литературы — значит, по его собственным словам, не читать того, что пишут теоретики. Человек приезжает из-за границы и спрашивает у своих знакомых: «что нового делается в нашей литературе?» — Ему на этот вопрос не говорят, что г. Клюшников написал роман «Марево», что г. Боборыкин кончает роман «В путь-дорогу!», что возник новый журнал «Эпоха», что сияет, под господством новой редакции, старая газета «Московские ведомости». [12] Нет! Ему говорят, как о самой крупной новости,

---

* Кавычки при словах «талантливых статей» поставлены в подлиннике. Значит, в эпитете «талантливых» скрывается едкая ирония, и это обстоятельство должно совершенно успокоить мою авторскую скромность. Значит, я выписал эти слова не за тем, чтобы похвастаться полученным комплиментом.

о романе «Что делать?» и о других работах теоретического лагеря. Скажите на милость, есть ли возможность более чистосердечно признать превосходство теоретиков над всеми остальными направлениями русской мысли? И это говорят наши враги! И это говорится о тех двух годах, когда мы находились в самом невыгодном положении! После подобных признаний какой же смысл имеет известная фраза: «Славянофилы победили»? [13] Можно, пожалуй, сказать только, что славянофилы еще не совсем побеждены и что они возвышают голос тогда, когда общество, испуганное историческими обстоятельствами, кидается на короткое время в бессмысленную сентиментальность и в позорную мыслебоязнь. Но победить они никогда не могут, потому что их полная умственная несостоятельность обнаружится в ту самую минуту, когда они привлекут на себя внимание общества.

Таким образом, жестокая судьба весьма наглядно показала Григорьеву, что он нисколько не ошибается, называя себя человеком ненужным. Письма Григорьева к г. Страхову повествуют еще об одном очень любопытном разочаровании покойного идеалиста. В конце 1861 года была напечатана в «Отечественных записках» статья г. Щапова «Великорусские области во времена междуцарствия». В календаре на 1862 год была напечатана статья профессора Павлова «Тысячелетие России». [14] Эти две статьи привели Григорьева в восторг. На этот раз ему показалось, что его мертвая красавица сию минуту раскроет глазки и что некий стих немедленно

Ударит по сердцам с неведомою силой.

«Вот эта статья да статья Павлова в новом календаре, — восклицает Григорьев, — эпохи, а не ... повествование в водяных стихах о «чювствиях»!.. Тут, в этих статьях, новым веет и пахнет. Оно идет, это новое — и в этих статьях и, может быть, в «Минине» Островского, — идет на конечное истребление б.... словия «Вестника», [15] празднословия западников, суесловия «Дня», [16] хохлословия Костомарова и буесловия «Современника». — Под именем «повествования в водяных стихах о чювствиях» подразумевается, как видно из других мест тех же самоубийственных «Воспоминаний», поэма г. Полонского, то «Свежее предание», в котором редакция «Времени» усматривала великое событие в истории русской литературы. [17] С особенным удовольствием я отмечаю то обстоятельство, что Григорьев наградил это «повествование» каким-то таким эпитетом, которого даже невозможно было изобразить печатно. Приятно также заметить, что «Русский вестник» обвиняется в каком-то б....словии, то есть в чем-то столь неблаговидном, что даже и сказать нельзя. И все это говорит не озорник, не теоретик, не нигилист! Не прав ли я был, когда я назвал «Воспоминания об А. А. Григорьеве» литературным самоубийством целого направления? Почвенники стараются поставить своего учителя как

можно выше, чтобы удары его, падая сверху, поражали их самих как можно больнее. Нам остается только радоваться этому добросовестному самоизбиению. То «новое», которое, по мнению Григорьева, шло «на конечное истребление» разных неприятных вещей, — повернуло, однако, совсем не туда, куда желал его направить пылкий идеалист. Один из представителей «нового», наш сотрудник г. Щапов, совершенно обманул ожидания Григорьева. Вместо того чтобы воскрешать мертвую красавицу, г. Щапов принялся изучать Либиха, Дарвина, Ляйеля, Карла Фохта и других, столь же вредных и легкомысленных негодяев. Эти безнравственные занятия, разумеется, привели его прямым путем в «Русское слово».[18] Как только Григорьев почувствовал в статьях г. Щапова струю естествознания, так, разумеется, он с негодованием отвернулся от этих статей, потому что он, как верный, но несчастный рыцарь мертвой красавицы, ненавидел естественные науки по крайней мере так же сильно, как ненавидят их в настоящее время знаменитые русские натуралисты: Страхов, Игдев, Аверкиев и Николай Соловьев.[19] Разочарование Григорьева в г. Щапове изображено им, как замечает сам г. Страхов, в последней его критической статье, помещенной в июльской книжке «Эпохи».[20] Таким образом Кузьма не вывез, Щапов перебежал в неприятельский лагерь, и Григорьеву оставалось только, обращаясь к г. Страхову, повторить слова Сенеки насчет того, что «ветер крепкий

Потопит нас среди зыбей,
Как обессмысленные щепки
Победоносных кораблей».[21]

И прекрасно, господа, могу я прибавить от себя. Туда вам и дорога. Каковы бы ни были высокие достоинства ваших *личностей*, во всяком случае достоверно то, что ваши идеи негодны для общества, потому что они действуют на него как опиум или гашиш. Они, быть может, доставляют обществу очаровательные видения, но действительная жизнь представляет собою мерзость запустения в те счастливые эпохи, когда рифмованные строчки лупят по сердцам с неведомою силой. А что Григорьев относился равнодушно и с грубейшим непониманием к самым великим и грозным запросам действительной жизни, это обнаруживается с достаточною ясностью все в тех же самоубийственных «Воспоминаниях». Как вам нравятся, например, следующие строки? Мне кажется, достаточно одних этих строк, чтобы навсегда отбить у общества охоту стремиться к григорьевским идеалам. «Есть, — пишет необузданный идеалист, — вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов, — и вопроса (каков цинизм?) * о крепостном состоянии и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это

* Слова в скобках принадлежат самому Григорьеву.

вопрос о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*. В допотопных формах этот вопрос явился только в покойнике «Москвитянине» 50-х годов, [22] — явился молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящий дарованиями (Островский, Писемский и т. д.). О, как мы тогда пламенно верили в свое дело, какие высокие пророческие речи лились, бывало, на попойках из уст Островского, как безбоязненно принимал тогда старик Погодин ответственность за свою молодежь, как сознательно, несмотря на пьянство и безобразие, шли мы все тогда к великой и честной цели!» Ну-с! И благополучно вы изволили дойти? И к чему же вас привело ваше сознательное хождение к великой и честной цели? — Григорьев сам немедленно отвечает на этот вопрос. «Пуста и гола жизнь после этого сна», — говорит он. — Значит, ваш «молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящий дарованиями» вопрос «о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*» был только сон. Значит, весь этот *глубокий и обширный* вопрос исчерпался в юношеских попойках и не оставил после себя никаких результатов, кроме тяжелого похмелья. И между тем этот *сон* оказывается «глубже и обширнее по своему значению» вопроса о крепостном состоянии и политической свободе. И это говорят обожатели русского народа! Правда, что эти обожатели — идеалисты и что они, следовательно, любят свой предмет платоническою любовью. До конкретного русского мужика, который может чувствовать боль и удовольствие, им нет никакого дела. Для них драгоценна только *идея* о русском мужике, и поэтому «высокие пророческие речи, изливаемые на попойках», кажутся им важнее тех вопросов, которые своим разумным разрешением могут создать экономическое благосостояние целых миллионов. Что прикажете думать о таких курьезных заявлениях? В них, разумеется, нет ни *цинизма*, ни *ужаса*. В них есть только изумительное невежество, которое с своею всегдашнею наивностью принимает себя за проявление величайшей мудрости, доступной только немногим избранным. Все идеалисты хромают на эту ногу, и, комментируя приведенный мною отрывок, я обращался не к личности покойного Григорьева, а ко всему лагерю наших пегих противников.

II

Глубокое уныние, которым проникнуты все письма и вся деятельность Григорьева, тяготеет над всею нашею литературою, кроме так называемого теоретического лагеря. У Григорьева, как у человека, глубоко преданного отжившим идеям, была по крайней мере неопределенная надежда на какой-то чудодейственный стих, который ударит и т. д. Он чего-то страстно желал, и потому он не мог относиться к будущему совершенно враждебно. Это обстоятельство ставит его гораздо выше всех остальных

деятелей отживших направлений. У этих остальных деятелей, то есть почти у всех русских людей, пишущих и печатающих стихи, романы, повести, драмы, критические, ученые и политические статьи, — нет никаких заветных надежд, никаких сознанных и прочувствованных убеждений, никаких определенных желаний. У них нет ничего, кроме тупой ненависти и безотчетного страха к будущему. Им бы хотелось ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чем не думать и только повторять те уроки, которые они заучили в детстве или в крайней молодости. И, разумеется, им хотелось бы еще получать от благодарных соотечественников за повторение этих уроков большие деньги и большие лавровые венки. Это не консерваторы, это даже не реакционеры, это — египетские мумии, вынутые из пирамид и приведенные в движение каким-то необыкновенным гальваническим аппаратом. Консерваторы и реакционеры политического мира понятны; мудрено им сочувствовать, но по крайней мере можно отдать себе отчет в том, чего они хотят и почему именно они хотят того, а не другого.

Но консерваторы в мире идей составляли бы для меня навсегда неразрешимую загадку, если бы я должен был смотреть на них как на людей, которые действительно чего-нибудь хотят и которые пишут и печатают для того, чтобы в чем-нибудь убедить своих читателей. Бояться движения мысли, смотреть с ужасом на все, что еще не обратилось в избитую фразу, и в то же время быть писателем, то есть фабрикантом идей, — это такое смешное внутреннее противоречие, которое может объясниться только тем предположением, что наши писатели смотрят на литературу так, как старые титулярные советники смотрят на свою службу. Дал бы, дескать, нам только господь бог умереть спокойно на тех теплых местах, которые мы занимаем. Повышения нам никакого ожидать невозможно, а, напротив того, может случиться какая-нибудь неприятность вроде сокращения штатов. Вот поэтому-то мы и боимся всякого движения мысли; поэтому-то мы сами ежимся и отплевываемся всякий раз, как только мы слышим какой-нибудь свежий и энергический голос. Именно так рассуждают про себя те писатели, которые декламируют громко и торжественно против поспешности и неосмотрительности так называемых теоретиков. Иногда они сами проговариваются чрезвычайно наивно. Например, г. Писемский, написавши очень хороший рассказ «Батька», пускается под конец в размышления, начинает тосковать о несовершенствах жизни и вдруг изумляет читателя следующею руладою: «О, если бы, — говорит он, — можно было забыть прошедшее и не понимать будущего!» Не знаю, удалось ли г. Писемскому забыть прошедшее, но вторая половина его желания, относящаяся к будущему, исполнена в наилучшем виде. Он действительно не понимает будущего и даже счел долгом торжественно заявить свое непонимание в своем знаменитом романе, доказывающем очень убедительно необходимость мертвого застоя. После «Взбаламу-

ченного моря» г. Писемскому оставалось только превратиться в веселого рассказчика смехотворных анекдотиков, и это превращение действительно произведено им на страницах «Отечественных записок», в которых он описывает в настоящее время «Русских лгунов». [23] Эти рассказцы могли бы с большим успехом фигурировать даже в московском «Развлечении», [24] и я не теряю надежды на то, что г. Писемский, вымоливший себе непонимание будущего, когда-нибудь действительно пойдет оканчивать свою литературную карьеру в какой-нибудь столь же мизерной газетке. Далеко не все наши пишущие рутинеры высказывают свои задушевные желания так откровенно, как высказал г. Писемский, но эти желания обнаруживаются у них в выборе и разработке сюжетов. Все они трусливо и злобно отвертываются от будущего, но отвертываются в разные стороны, смотря по своим личным наклонностям и смотря по обстоятельствам. Одни, самые бойкие и задорные, стараются уверить себя и других, что будущее совсем не существует, что это все одна фантасмагория, что стоит только топнуть ногою и крикнуть: «аминь, аминь, рассыпься!» для того, чтобы все это проклятое будущее исчезло без малейшего следа, и для того, чтобы скверные мальчишки, [25] осмеливающиеся размышлять, тотчас превратились в милых попугаев, повторяющих заданные уроки. Эти бойкие и задорные, но в сущности трусливые и тупоумные ненавистники будущего пишут истребительные романы и повести вроде «Взбаламученного моря», «Марева» и «Некуда». — Долго толковать об этой категории писателей не стоит, тем более что в статье моей «Сердитое бессилие» я достаточно охарактеризовал одного из таких истребителей. [26] Не могу, однако, пройти молчанием одну любопытную заметку, помещенную в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» г. Стебницким, [27] автором истребительного романа «Некуда». Находя вероятно, что он еще недостаточно уронил себя своим романом, г. Стебницкий пожелал еще довершить это дело особым «объяснением», напечатанным в том же журнале, который так любовно усыновил роман «Некуда».

В этом объяснении доблестный г. Стебницкий говорит, что «многим петербургским литераторам крайне не нравится направление романа» и что вследствие этого «антрепренерами литературных трупп, лицедействующих в либеральных комедиях, на редакцию «Библиотеки для чтения» были спущены верные люди». Но, разумеется, г. Стебницкому нечего было бояться «верных людей». «Нападать на меня прямо, — говорит он, — за направление романа было неудобно по многим существующим положениям, а простить этого направления мне не могли и придрались к подысканному кем-то *внешнему* сходству некоторых лиц романа с лицами живыми из литературного мира — и пошли писать».

С небольшим три года тому назад, в самом конце 1861 года, в петербургских литературных кружках разнесся слух, что профессор Чичерин, написавший тогда какую-то статью, сделался

почему-то лицом неприкосновенным для литературной критики. Этот слух вскоре дошел до Москвы, и «Русский вестник» с горячим негодованием стал опровергать этот слух [28] как вздорную сплетню, пущенную в ход для того, чтобы набросить тень на личность профессора Чичерина. Искусственная неприкосновенность считалась, стало быть, три года тому назад весьма незавидным подарком фортуны. Теперь, когда сформировался тип истребителей, литературные нравы, повидимому, изменились. Теперь люди насильно врываются в журнал для того, чтобы заявить перед читающей публикой, что нападать на них прямо никак невозможно. Впрочем, я полагаю, что авторское самолюбие ослепляет г. Стебницкого. На него не нападали прямо за направление совсем не потому, что это было неудобно, а потому, что это было бесполезно. На таких джентльменов, как гг. Писемский, Клюшников и Стебницкий, все здравомыслящие люди смотрят как на людей отпетых. С ними не рассуждают о направлениях; их обходят с тою осторожностью, с какою благоразумный путник обходит очень топкое болото. Нападения некоторых критиков на «*внешнее* сходство» нисколько не были придирками, и оправдания, которые представляет г. Стебницкий, доказывают всего лучше, что эти обвинения были в высшей степени основательны. Начало оправдания заключается в том, что г. Стебницкий пишет курсивом слово *внешнее*. Он не отрицает сходства, а доказывает только, что оно было чисто *внешнее*. Он ссылается на пример некоторых известных писателей. Привожу целиком его ссылку на г. Писемского: «С выходом „Взбаламученного моря“ все, читавшие этот роман в Петербурге, в одно слово говорили, что Галкин г. Писемского есть известное в столичном коммерческом мире лицо, и опять, без дальних обиняков, называли это лицо прямо по имени. Но никто же на основании этого сходства не стал требовать опознаваемое живущее лицо к ответу за убийство, совершенное в романе по инициативе Галкина, и г. Писемского не обязывали к представлению юридических улик в доказательство этого, конечно вымышленного им, преступления». Заручившись ссылками на авторитеты, г. Стебницкий бросается на своих критиков и, подобно маленькому, но очень сердитому вулкану, изливает на них потоки не лавы, а грязи. Тут-то и встречаются те «многочисленные намеки», которые сконфузили редакцию «Библиотеки». Но стыдливость ее тут неуместна. Если редакция, печатая сотни страниц такого романа, как «Некуда», пожелала слизнуть пенку с этого ароматического напитка, то отчего же ей не проглотить и подонки? — Произведя извержение, вулканчик продолжает свое рассуждение о сходстве. «Ссылаюсь, — говорит он, — на беспристрастный суд каждого, кто прочтет эти строки: могут ли идти все только слегка помеченные мною поступки в параллель с тем, что в одном из лиц или в нескольких лицах романа встречается какое-то чисто внешнее сходство с живущими людьми, которые (в чем не может быть

никакого сомнения) *никогда не делали ничего такого, что делают действующие лица в романах*, и, следовательно, не могут нести ни похвалы, ни упреков за эти *вымышленные* действия?»

Этими краткими выписками я исчерпал все внутреннее содержание заметки. Посмотрим, насколько убедительны оправдательные аргументы г. Стебницкого. Заметьте, во-первых, что он постоянно говорит о *внешнем*, о чисто внешнем сходстве и что он ни разу не употребляет слова «*случайное* сходство», того единственного слова, которое сразу могло бы совершенно оправдать его. Если бы г. Стебницкий сказал: «Что вы ко мне пристаете! Я никогда в глаза не видал тех людей, которых вы узнаете в моем романе; сходство вышло случайное». — Если бы он это сказал, говорю я, критикам его оставалось бы только развести руками. Но он этого не сказал; значит, по всей вероятности, *не мог* сказать; то есть он не имел возможности отречься печатно от знакомства с теми живыми людьми, которые оказались нарисованными во весь рост в его романе. Итак, для нас не подлежит сомнению тот факт, что г. Стебницкий нарисовал своих знакомых. Спрашивается теперь: есть ли возможность нарисовать портрет своего знакомого *нечаянно?* Разумеется, нет. Значит, знакомые были нарисованы *с умыслом.* Н. Стебницкий говорит, что эти нарисованные знакомые «*никогда не делали ничего такого, что делают действующие лица в романах*». Фраза очевидно бессмысленная! В романах действующие лица едят, пьют, ходят, сидят, думают, чувствуют, рассуждают. Неужели г. Стебницкий твердо уверен в том, что его знакомые «*никогда не делали ничего такого*», то есть никогда не ели, не пили, не ходили, не сидели, не думали, не чувствовали и не рассуждали? Но простим г. Стебницкому его безграмотность. Он, очевидно, говорит совсем не то, что хочет сказать. Он хочет сказать, что его знакомые не произносили тех неблагонамеренных слов и не позволяли себе тех предосудительных или нелепых поступков, которые он приписывает действующим лицам своего романа. Прекрасно! Но тем хуже для г. Стебницкого. Если бы он рисовал своих шалопаев с таких живых оригиналов, которые шалопайствуют в действительной жизни, то он воздал бы каждому по его заслугам. Но вы представьте себе следующую штуку: г. Стебницкий записывает ваши приметы, особенности вашего костюма и вашей походки, ваши привычки, ваши поговорки; он изучает вас во всех подробностях и потом создает в своем романе отъявленного мошенника, который всеми *внешними* признаками похож на вас как две капли воды. А между тем вы — честнейший человек и провинились только тем, что пустили к себе в дом этого подслушивающего и подсматривающего господина. [29] А между тем все ваши знакомые узнают *вас* в изображенном мошеннике и с изумлением расспрашивают друг друга о том, есть ли какая-нибудь доля правды в том, что о вас написано. Начинаются догадки, предположения и сплетни. Как вы находите, приятно ваше положение или нет? К суду вас

никто не потянет, но это именно и скверно. В суде вы могли бы оправдаться, но против сплетен, возбужденных наглой мистификацией г. Стебницкого, вы оказываетесь совершенно беззащитным. В «Ревизоре» давно уже было сказано: «хорошо, если мошенник, а что, если еще того хуже?» В романе г. Стебницкого выведены именно не мошенники, а «еще того хуже», так что попасть в разряд этих людей «еще того хуже» — может быть, гораздо опаснее, чем прослыть мошенником.

Ссылка на г. Писемского, разумеется, ничего не доказывает. Если прототип Галкина не сделал никакого преступления, то со стороны г. Писемского было в высшей степени скверно накладывать на честного человека темное пятно, от которого этот господин не имеет никакой возможности отмыться. Такие проделки называются именно бросанием камней и грязи *из-за угла*. Косвенная инсинуация неизмеримо хуже прямого доноса, именно потому, что составитель инсинуации не обязан представлять никаких доказательств и всегда имеет полную возможность увернуться в сторону, ссылаясь на свободную игру своей фантазии.

Спрашивается, с каким же умыслом г. Стебницкий превратил своих знакомых в натурщиков, с которых он копировал наружность своих «еще того хуже»? Если г. Стебницкий скажет, что это была приятельская шутка, то ему на это возразят, что это шутка глупая, плоская и дерзкая. Всего интереснее то, что сам же г. Стебницкий в конце своего романа произносит приговор над подобною шуткой. Извольте послушать: «Да, — говорит одна барыня, — представьте себе, у них живописцы работали. Ну, она на воротах назначила нарисовать страшный суд — картину. Ну, мой внук, разумеется, мальчик молодой... знаете, скучно, он и дал живописцу двадцать рублей, чтобы тот в аду нарисовал и Агнию и всех ее главных помощниц...» — «Все это было бы смешно, когда бы не было так глупо, — сказал за стулом Евгении Петровны Розанов. «Вестимо», — отвечала хозяйка» («Библ⟨иотека для чтения⟩», декабрь, стр. 33). При этом надо заметить, что Розанов и Евгения Петровна — любимцы автора. Из-за чего же г. Стебницкий вламывался в журнал с своим «объяснением»? Зачем он оправдывался, когда он сам произнес над собою приговор? Ну да, именно. «Все это было бы смешно, когда бы не было так глупо». Хорошо! Но что, если рисование знакомых было совершено затем, чтобы напакостить ближнему, чтобы отомстить за оскорбление или чтобы доставить плохому роману тот успех, который называется un succès de scandale? * Что тогда?— Тогда, чего доброго, изречение Розанова придется переделать так: «все это было бы смешно, когда бы не было так грязно». — Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России — кроме «Русского вестника» — хоть один журнал, который осме-

---

* Скандальный успех *(франц.)*. — *Ред.*

лился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилиею? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого? — Вопросы эти очень интересны для психологической оценки нашего литературного мира.[30]

III

От свирепых истребителей будущего я перехожу к тем более кротким людям, которые, не видя для себя впереди ничего привлекательного, уходят всеми своими помыслами в темную глубину давнопрошедшего. С легкой руки г. Островского, воспевшего Козьму Минина в каком-то странном произведении, нисколько не похожем на драму, — исторические трагедии, драмы и комедии начинают плодиться в нашей литературе. В прошлом году г. Чаев напечатал в «Библиотеке» трагедию «Князь Александр Михайлович Тверской»; в том же году г. Аверкиев, — тот самый, который терпеть не может популяризаторов вообще и Карла Фохта в особенности, [31] — поместил в «Эпохе» драму «Мамаево побоище». Наконец в нынешнем году г. Островский нагрузил январскую книжку несчастного «Современника» комедиею «Воевода», изображающею нравы XVII столетия. «Князь Тверской» занимает 84 страницы, «Мамаево побоище» — 136, «Воевода» — 135. Итого — 355. «Князь Тверской», отличаясь похвальною скромностью в отношении к объему, отличается еще другим важным достоинством: он написан прозою, и в нем есть одна не совсем плохая сцена; именно, 2-я сцена 2-го действия, та, где псковичи, отстаивая Александра Михайловича, сажают его к себе на княжение и разрывают свою связь с Новгородом и с Иваном Калитою. Вследствие этого я оставлю в покое «Князя Тверского», надеясь на то, что г. Чаев, как писатель начинающий, может еще обратиться на путь истины и уразуметь всю суетность исторического драмоделания. Г. Аверкиев — дело другое; он уже с головою окунулся в мутную премудрость «Эпохи» и в своих многочисленных критических статьях заплатил уже такую обильную дань духу мракобесия и сикофанства, * что навсегда отрезал себе дорогу к прямой литературной деятельности. Его «Мамаево побоище» есть тенденциозный панегирик прошедшему, которое, разумеется, должно казаться г. Аверкиеву очень привлекательным, потому что в XIV столетии еще не было людей, способных выводить на свежую воду литературных шарлатанов. Впрочем, легко может быть, что и шарлатанов было тогда поменьше, чем теперь.

---

* Сикофантами назывались в Афинах клеветники и наушники.

«Мамаево побоище», написанное стихами, снабжено предисловием, в котором почтенный автор объясняет, что главная цель его произведения — «изобразить в картинах прошлую жизнь с возможно большего числа сторон». В этом же предисловии г. Аверкиев дает несколько советов относительно сценической постановки пьесы; первый из этих советов показывает нам наглядно, что г. Аверкиев умеет понимать слова летописей совершенно навыворот. Полюбуйтесь остроумием и проницательностью писателя, взявшегося «изобразить прошлую жизнь с возможно большего числа сторон». — Должна быть ярко изображена противоположность между дворами московским и рязанским. При первом господствует своеобразная вежливость и утонченность нравов; при втором — отношения более простые и грубые. Недаром же москвичи говорили, что «рязанцы — люди суровые, свирепые, высокоумные, гордые, чаятельные, вознесшись умом и возгордившись величанием, помыслили в высокоумии своем, полоумные люди, как чудища».

Кто был грубее, рязанцы или москвичи, — этого я не знаю. Я русских летописей не читал и никогда не буду читать. [32] Может быть, г. Аверкиев действительно прав, но неподражаемым комизмом дышит тот факт, что в подтверждение своей мысли г. Аверкиев приводит такие слова, которые ее опровергают. В самом деле, разве из отзыва москвичей о рязанцах можно заключить, что москвичи смотрели на рязанцев сверху вниз, как цивилизованные люди смотрят на полудикарей? Совсем напротив. Слова, приведенные г. Аверкиевым, можно было бы без малейшего изменения вложить в уста какого-нибудь мелкопоместного дворянина, отзывающегося с горькою завистью и с чувством оскорбленного самолюбия о богатом и гордом соседе. «*Вознесшись умом и возгордившись величанием*» — не правда ли, как ясно указывают эти слова на «*отношения более простые и грубые*»? Посетивши Константинополь и насмотревшись на тамошние придворные церемонии, русский человек XIV столетия, наверное, сказал бы также, что византийцы — «*вознесшись умом и возгордившись величанием*», а г. Аверкиев с свойственным ему остроумием, наверное, вывел бы то заключение, что при византийском дворе господствовали «*отношения более простые и грубые*», чем при московском. Если я напомню публике то обстоятельство, что автор «Мамаева побоища», так успешно понимающий навыворот слова летописей, вступал в состязания с г. Н. Костомаровым, [33] — то, разумеется, над злополучным г. Аверкиевым засмеются не только все читатели, но даже все куры и цыплята великой, малой и белой России.

Посуливши нам «изобразить прошлую жизнь с возможно большего числа сторон», г. Аверкиев на самом деле изображает только бесконечно растянутые и удивительно бесцветные разговоры между князьями и боярами. Есть, правда, две-три сцены якобы простонародные; но эти сцены состоят исключительно в том, что

мужики, уходя на войну, говорят: «мы их, таких-сяких, шапками закидаем»; а бабы ревут и говорят: «дай вам, господи, доброго здоровья». Вот вам и вся «прошлая жизнь» и все «возможно большее число сторон».

Но удовольствуемся тем, что дает нам автор. Посмотрим по крайней мере, как обрисованы князья и бояре. Что г. Аверкиев желал представить их в самом привлекательном виде — это нам доподлинно известно, потому что г. Аверкиев сражался с г. Костомаровым именно из-за того, что сей последний недостаточно благоговел перед доблестями древних москвичей вообще и Дмитрия Донского в особенности. Но г. Аверкиев, подобно всем писателям, удрученным бездарностью и честолюбием, совершенно равным его бездарности, всегда оказывает медвежьи услуги тем лицам и принципам, которые он принимает под свое просвещенное покровительство. Дмитрий Донской и его сподвижники представлены у г. Аверкиева такими чудаками, что даже мне, человеку, не питающему ни малейшей нежности к людям XIV столетия, придется защищать этих людей против их остроумного панегириста. Все действующие лица «Мамаева побоища», без исключения, одержимы неизлечимым пристрастием к риторическому размазыванию; то, что можно выразить в трех словах, растягивается ими по меньшей мере на десять строк. С точки зрения литературного гонорара, такая наклонность куликовских героев очень понятна и даже извинительна, потому что г. Аверкиеву, разумеется, приятнее было поместить в журнале 136 страниц, чем поместить только 40 или 50. Но так как г. Аверкиев корчит из себя патриота и так как он даже пристает к другим русским писателям с упреками в недостатке патриотизма, то я полагаю, что при воспевании куликовских героев г. Аверкиеву не мешало бы думать поменьше об умножении печатных строчек и побольше о достоинстве тех исторических личностей, которые по его милости превращены в болтунов.

Великая княгиня, жена Дмитрия, советует мужу сходить перед выступлением против Мамая к игумну Сергию. Кажется, дело очень простое и естественное; совет хорош; он доказывает, что княгиня — женщина благочестивая; но так как в XIV столетии все русские люди были очень благочестивы, то в этом хорошем совете нет ничего особенно нового и удивительного; Дмитрий пошел бы к игумну по собственному влечению, без всяких посторонних внушений. Посмотрите же теперь, что тут делает г. Аверкиев:

Княгиня

Послушай, княже, моего совета
И к Сергию игумену сходи.
Со всех сторон народ к нему стремится,
Печальные идут со всех концов.
Несут к нему тяжелую кручину,

А от него идут с веселой думой,
Веселым сердцем славословят бога.
Сходи к нему в своем великом горе,
Поведай тяжкую свою печаль;
Он словом божиим тебя утешит,
Разумною беседой ободрит.

Итого *одиннадцать* строк, чтобы сказать: «сходи к Сергию»! Но ведь это еще далеко не все. Князю надобно теперь благодарить княгиню за ее красноречие, хотя, впрочем, за это красноречие платят деньги не Дмитрию Донскому, а Дмитрию Аверкиеву.

В⟨еликий⟩ князь

Спасибо, милая моя голубка!
Сам думал я об этом, сам хотел
Сходить к игумену.

Кажется, тема исчерпана, и разговор должен прекратиться или принять другое направление. — Ничуть не бывало! Вы не знаете изобретательности г. Аверкиева. Княгиня продолжает долбить своего мужа:

Княгиня

Да, милый княже,
Сходи к нему; сходи ты беспременно.

В. князь

Вот как управлюсь, так сейчас схожу.

Но княгиня наладила свою песню и непременно желает доставить г. Аверкиеву еще несколько копеек:

Княгиня

Не отлагай ты дела в долгий ящик:
Еще успеешь разослать гонцов,
Собрать полки еще успеешь, княже,
А главное — ты к Сергию сходи.

В. князь

Схожу, голубушка.

Когда остроумная княгиня таким образом окончательно убедила Дмитрия, что рассылать гонцов и собирать полки — самое пустое и вздорное занятие, тогда читатель начинает думать, что дело о хождении к Сергию, наконец, решено и что о нем не будут больше толковать. Ведь и то уж г. Аверкиев сколотил себе на эту тему *двадцать две* строчки. Можно бы, кажется, удовлетвориться. Не тут-то было. Разговор о хождении к Сергию, угасши на странице 17, возгорается с новою силою на странице 30, когда княгиня узнает, что совещание князя с боярами окончилось.

Княгиня

Ну, слава богу! Только знаешь, Дмитрий,
Не от людей — от господа удача;
Ты к Сергию игумену сходи,
У Троицы усердно помолися.

Можно было ожидать, что Дмитрию надоедят, наконец, эти бесконечные повторения и что он скажет княгине: «Ах, матушка, да оставь же ты меня в покое! Что я, нехристь, что ли, какой-нибудь? Не знаю я, что ли, когда и где мне нужно молиться?» — Но Дмитрий, сотворенный г. Аверкиевым, этого не говорит. Он даже приходит в какой-то совершенно непонятный восторг, точно будто княгиня подала ему совершенно новую мысль, которая без ее помощи ни за что не пришла бы ему в голову.

В. князь

О милая голубка, дорогая!
Советов много слышал я сегодня:
Свою поведали мне братья думу,
И молвили свое бояре слово.
Но твой совет — дороже всех советов,
Разумней всех твоя простая дума;
Как солнце, слово милое горит,
Горит оно и путь мне указует,
Надежный путь к обители господней,
К честным вратам монастыря святого.

Глядишь: еще *четырнадцать* стишков набежало. *Двадцать два* да *четырнадцать* — выходит *тридцать шесть*. При таких условиях патриотизм оказывается очень хорошею оброчною статьею.

Желая оживить свою драму комическою струею, г. Аверкиев считает необходимым устроить дело так, чтобы Дмитрий в думе обругал одного из бояр «дураком». Что ж? Эффект придуман не дурно и для г. Аверкиева не безвыгодно, потому что на подготовление и произнесение двухсложного слова «дурак», в котором заключается вся соль сцены, потрачено *двадцать пять* строк. — На другую, столь же комическую сцену, основанную на том, что боярин, получивший «дурака», трусит и старается отделаться от похода, отговариваясь болезнью, — израсходовано *пятьдесят пять* строк, хотя эта сцена, происходящая только между двумя совершенно второстепенными лицами, не рисует ни «прошлой жизни», ни «возможно большего числа сторон». На прощание Боброва с женою отпущено *семьдесят три* строки, хотя прощаются они так, как и в наше время могут прощаться супруги. Характерного в этой сцене нет ровно ничего, кроме ее непомерной растянутости, которая, впрочем, характеризует собою не XIV столетие, а г. Аверкиева. Какие глупости городят князья и бояре на военном совете, за два дня до решительной битвы, — так это просто уши вянут. Вместо того чтобы рассуждать о плане сражения, о движении и расположении войск, они упражняются

в литературном изливании похвальных чувств, точно будто они воспитаны на критических статьях гг. Аверкиева и Николая Соловьева. Вот вам образчики:

Кн. Дм. Ольгердович

Что было там за Пьяной — я не знаю;
Ты, может, был; тебе и книги в руки.
А я читал другие, как князь Игорь
Шеломом зачерпнул воды из Дона,
Как напоил коня струей донскою,
Как рыскала хоробрая дружина,
Что волки серые, по чисту полю,
Себе искали чести, князю — славы.

Это называется подавать свое мнение на военном совете. — Другой Ольгердович, Андрей, соревнуя своему брату, желает также сказать несколько глупостей и, разумеется, исполняет свое желание:

Кн. Анд. Ольгердович

И за Дон перейдем да победим,
Коль есть на то господня воля; нет —
Так от беды и здесь не уберечься.
А мысль моя такая, княже Дмитрий
Иванович: коль ты пришел на дело,
Коль крепкого ты бою хочешь,
Сегодня же вели перевозиться.
И у кого на мысли ворочаться,
Пусть эту мысль отбросит; пусть никто
Не думает спастись от смерти; бьется
С погаными без хитрости и смерти
Пусть с часу на час ждет. А говорят,
Что сила велика у них, то что
На это нам смотреть. Не в силе бог,
А в правде.

В. князь

Ай да князь Андрей, спасибо!
Такие речи, право, любо слушать.

Скажите, пожалуйста, не правду ли я говорил, что мне придется защищать куликовских героев против их усердного, но крайне ограниченного панегириста? Надо переходить за Дон, говорит Андрей Ольгердович, на том основании, что бог не в силе, а в правде. А Дмитрий Донской благодарит и находит, что такие речи приятно слушать.

Желая расписать самыми яркими красками благочестие наших предков, г. Аверкиев, очевидно, хватил через край, возвел русское «авось» в религиозный догмат и навязал несчастным сподвижникам Дмитрия чистейший магометанский фатализм, против которого всегда возмущался здравый смысл всех европейских народностей. Г. Аверкиев до самого конца остается верен себе: после

победы Дмитрий три раза подряд благодарит войско в самых витиеватых выражениях, а войско отвечает ему на разные манеры: «рады стараться». На эти взаимные комплименты уходит *сто* строк. — И это, по мнению г. Аверкиева, называется «изобразить прошлую жизнь с возможно большего числа сторон»?

IV

К «Воеводе» г. Островского не приложено никакого предисловия, и это очень жаль, потому что было бы желательно, чтобы к этой комедии было приложено два предисловия: одно — от автора, другое — от редакции «Современника». В первом — автор должен был объяснить русской публике, что такое он хотел выразить своим новым произведением и с какой стати он его написал. Сама комедия на эти вопросы не дает решительно никакого ответа. Во втором предисловии редакция «Современника» должна была объяснить, с какой точки зрения она находит комедию г. Островского интересною или полезною вообще и для подписчиков «Современника» в особенности. Упорство, с которым «Современник» держится за увядший талант г. Островского, составляет для меня необъяснимую загадку, тем более что тот же «Современник» не раз ставил себе в особенную заслугу ту стоическую твердость, с которою он отвернулся от Тургенева, как только заметил в нем фальшивые ноты. Тургенев, при всех своих немощах, несравненно свежее г. Островского, и было бы несравненно приличнее для «Современника» напечатать даже «Призраки», чем печатать «Воеводу». Г. Островский был дорог для «Современника» как изобретатель «Темного царства», но о «Темном царстве» г. Островский давно произнес свое последнее слово, и теперь он странствует по таким пустыням и дебрям, в которых он может встретиться только с г-жою Кохановскою, с г. Аксаковым, с г. Юркевичем, а никак не с мыслящими реалистами нашего времени.

Сюжет «Воеводы» изумляет читателя своею несообразностью. В одном приволжском городе господствует, в половине XVII столетия, старый воевода Шалыгин, защекотавший до смерти двух своих жен и желающий на старости лет жениться еще раз для того, чтобы защекотать третью. Он делает предложение одной красивой девице, Прасковье, дочери богатого посадского Власа Дюжого. Его предложение принимают с радостью, и будущая его теща, Настасья, уже заранее обнаруживает свою гордость тем, что, идя по улице, ни с того ни с сего кричит на всех прохожих: «фу! смерды». Но прохожие, с своей стороны, обнаруживают свою самостоятельность, отвечая ей так: «шире, народ, навоз плывет». Если бы г. Островский снабдил свою комедию объяснительным предисловием, то из этого предисловия мы узнали бы наверное, для чего создан диалог между гордою Настасьею и самостоятель-

ными прохожими: для того ли, чтобы очертить нравы XVII столетия, или же для того, чтобы в XIX столетии породить хохот и рукоплескания в райке Александринского театра. Теперь же, за неимением предисловия, мы недоумеваем. — Придя с визитом к Власу Дюжому, воевода случайно сталкивается с Марьею, младшею сестрою Прасковьи, и тотчас решает, что лучше жениться на Марье, чем на Прасковье. Марья влюблена в молодого помещика Бастрюкова, которого отец, поссорившись с Шалыгиным, поехал в Москву жаловаться на воеводу от лица целого города. Молодой Бастрюков хочет похитить Марью, но шут воеводы подкарауливает их и расстраивает их план. Воевода, чтобы уберечь Марью от ее поклонника, перевозит ее в один из своих теремов еще до свадьбы. Сам же он уезжает на несколько дней за город по делам. В одной избе он видит пророческие сны: будто молодой Бастрюков похищает Марью; потом будто старый Бастрюков пожаловался на него, Шалыгина, в Москве и будто едет на воеводство дворянин Поджарый. Встревоженный снами, он возвращается в город, захватывает Марью в ту самую минуту, когда она совсем собралась бежать, и начинает ее щекотать; но в это время является на сцену новый воевода, Поджарый, и Марья, избавленная от щекотания, находит себе счастье в объятиях Бастрюкова.

Вот вам и комедия вся. Комедия, разумеется, изобилует вводными лицами: тут есть и пустынник, размышляющий о суетности земного величия; и разбойник, смахивающий на Карла Моора; и старая нянька Недвига, рассказывающая сказки; и корыстолюбивая вдова Ульяна, исполняющая при особе Марьи роль дуэнны; и колдун Мизгирь, появляющийся на сцене в оковах; есть даже и домовой, настоящий домовой, который ходит по сцене с фонарем, декламирует стихи и сшибает шлык с головы спящей Недвиги. Но г. Островский и этим не удовлетворился: для большей фантастичности он устроил так, что пророческие сны воеводы разыгрываются перед глазами всех зрителей. Воевода лежит на сцене и спит, а в это время на заднем плане открывается новая сцена, на которой изображается в лицах то, что воевода видит во сне. Через это комедия начинает смахивать на волшебную оперетку и получает для райка удвоенную занимательность. Но мыслящий читатель, наткнувшись на домового и на пророческие сны, более чем когда-либо начинает чувствовать необходимость тех двух предисловий, о которых я говорил выше. Возникает вопрос: верит или не верит г. Островский в существование домовых и в пророческие свойства сновидений? Что люди XVII столетия верили в то и в другое, это, разумеется, не подлежит сомнению. Но тут дело не в том. Домовой ходит по сцене и говорит; значит, его видят и слышат не только действующие лица комедии, а, кроме того, еще все зрители, то есть люди XIX века. Собственно говоря, он даже приходит на сцену только для зрителей, потому что действующие лица всё спят в минуту его появления и просыпаются только после его

ухода. — Такое же реальное существование имеют для зрителей пророческие сны Шалыгина. Зрители видят и слышат ясно все, что грезится воеводе; и потом те же зрители видят и слышат так же ясно, что все эти грезы осуществляются с буквальною точностью. Что же это, в самом деле, значит? Если г. Островский верит во всякую чертовщину, то чего же смотрит редакция «Современника»? Если г. Островский, не веря в чертовщину, считает своею обязанностью подделываться под народное миросозерцание и *смиряться перед народною правдою* до признания домовых и пророческих снов включительно, — то опять-таки чего же смотрит редакция «Современника»? Если, наконец, г. Островский, отложив попечение о каком бы то ни было серьезном взгляде на литературу, наполняет свои досуги сочинением комико-магических опереток, то и в этом случае мы в крайнем недоумении повторяем тот же самый вопрос: чего же смотрит редакция «Современника», та самая редакция, которая ведет непримиримую войну с Тургеневым? [34]

Без двух предисловий с «Воеводою» невозможно справиться.

V

Яростные романы, вроде «Марева» и «Некуда», очень скоро набивают публике оскомину; археологические драмы, вроде «Кузьмы Минина» и «Мамаева побоища», всегда нагоняют на читателей истерическую зевоту. Поэтому писатели, желающие систематически усыплять общественное самосознание, должны пускать в ход какое-нибудь другое, более тонкое и привлекательное наркотическое вещество. К счастью для этих писателей, такое наркотическое вещество изобретено с незапамятных времен. Чтобы отвлекать людей от серьезных размышлений, чтобы отводить им глаза от крупных и мелких нелепостей жизни, чтобы скрывать от них насущные потребности века и народа, — писатель должен уводить своих читателей в крошечный мирок чисто личных радостей и чисто личных огорчений; он должен рисовать им миловидные картинки любовных томлений и любовного восторга; он должен обставлять свои рассказцы очаровательными описаниями лунных ночей, летних вечеров, страстных замираний и роскошных бюстов; и при этом — самое главное — он должен тщательно маскировать от читателя ту неразрывную связь, которая существует между участью отдельной личности и положением целого общества. Если все эти условия будут соблюдены, то простодушный читатель разнежится, замечтается и поверит хитрому усыпителю, что человек прежде всего должен отыскать себе родственную душу, а потом, в течение всей своей жизни, упиваться вместе с нею благоуханием цветов, пением соловья, восходом солнца и блеском луны. Разумеется, *один* прием такого наркотического вещества усыпляет и расслабляет человека не надолго, но когда приемы

быстро следуют один за другим, когда вся литература переполнена гашишем платонических и анакреонтических сладостей, когда ниоткуда нет отпора этим пошлостям, тогда самые здоровые головы тупеют и теряют способность мыслить.

Западный романтизм в начале нынешнего столетия сбил с толку и изуродовал по меньшей мере два поколения французов и немцев. Мы в настоящее время довольно прочно застрахованы против подобной опасности; дряхлый романтизм смешон и гадок для нашей здоровой молодежи, но тем не менее романтизм существует как в беллетристике, так и в критике наших рутинных журналов. В этом отношении особенно любопытны те повести, которыми украшает себя «Русский вестник». Все они очень недалеко уехали от «Бедной Лизы» Карамзина и от «Барышни-крестьянки» Пушкина. Все они стремятся к тому, чтобы терзать чувствительные сердца *кисейных девушек*, совершенно неспособных обороняться от глупых людей и от глупых книг. — В конце прошлого года, начиная с сентября, «Русский вестник», отложив в сторону бранные доспехи, ударился в буколическое направление и поднес своим читателям несколько повестей, таких сладостных и усыпительных, какие редко можно встретить в нашем железном и тревожном веке.

В сентябрьской книжке помещена повесть г. Н. О. «Где же счастье?». Вся повесть состоит из писем. Замужняя сестра, Наталья, пишет своей незамужней сестре, Екатерине, что она чрезвычайно счастлива. Счастье наводит Наталью на самые удивительные размышления.

Бьет два часа. Я люблю эту ночную тишину; одна вода все клокочет, бьется и шумит на мельнице, под горою, и как будто тоже беседует о моем блаженстве с незримым духом, подающим жизнь всему живущему.

Блаженство Натальи, о котором беседует вода на мельнице, состоит в том, что муж ее, Валерьян, восемь лет подряд говорит ей сладости и целует ее руки. Вот образчик ее блаженства.

Какой-то подрядчик досадил мужу; он рассердился на него и презлой пришел к обеду, стал придираться, ворчать. Я вижу, что он раздражен чем-то, и молчу. Он кричит, шумит и уже мне говорит дерзости: я уткнулась в работу и ни слова. Вижу: человек дурно настроен — ну, что ж с этим делать? Валерьян посердился и опять убежал на стройку. Вечером... как бы ты думала? возвратился до того сконфужен, что смешно смотреть; не смеет глаз на меня поднять, совестится, просит прощения; но видя, что я улыбаюсь, опускается передо мною на колени. И тут последовал взрыв горячего раскаянья, пламенной любви, восторга... Ну, точь-в-точь как будто ему 18 лет! Да, истинная любовь с летами как будто юнеет до того, что превращается, наконец, в какую-то детскую привязанность. Я слушала, слушала его и потом с гордостью эфиопской царицы протянула ему руку, сказав: «дерзай, слабый смертный!» Поверишь ли, он и тут еще не увидел шутки, не разглядел комизма, а серьезно превозносил мою кротость, уступчивость, благоразумие и тысячу других добродетелей. Ей-богу, боюсь, Катя, он меня совсем избалует. Я, пожалуй, зазнаюсь.

Но вдруг мрачная туча набегает на тот эдем, в котором *истинная любовь превращается в детскую привязанность*, в котором

слабый смертный ползает на коленях перед *эфиопскою царицею* и в котором *вода беседует с незримым духом о блаженстве* Натальи Николаевны Голубинцевой. Мрачная туча эта является в виде коварной женщины, Клеопатры Александровны, которая своим преступным кокетством разрушает *детскую привязанность* и отвлекает *слабого смертного* от *эфиопской царицы. Эфиопская царица* начинает рвать и метать и доводит себя разными глупостями до того, что рождает раньше срока мертвого ребенка.

Вот, например, история одной кавалькады, происходившей в эдеме после водворения в нем *мрачной тучи.*

Я чувствовала себя опять очень дурно и решилась было остаться дома; но когда увидела из окна, что Клеопатра Александровна в изящной амазонке, с хлыстиком в руке, вышла на крыльцо в ожидании верховой лошади, а Валерьян готовился сопровождать ее верхом... вся кровь закипела в моих жилах и прилила к сердцу с такой силой, что, забыв все на свете, я объявила Валерьяну, что поеду с ним в кабриолете. Это его озадачило: он пробовал меня убеждать; но я наотрез сказала ему, что, если он не сделает по-моему, то я... не пощажу никого!

Угроза подействовала. *Эфиопскую царицу* повезли в кабриолете, но *мрачная туча* посылает *слабому смертному* такой взор, в котором скрывалось «что-то повелительно-насмешливое» и который «и ласкал и колол в одно и то же время». Не выдержавши долее «*этой пытки*», беременный Отелло начинает буянить так, что Валерьян говорит: «помилосердуй, Наташа!» Но свирепая Наташа нисколько не милосердует, а, напротив того, поднимает в кабриолете лютую возню, чтобы отнять у мужа какую-то желтенькую записку, случайно выглянувшую из его раскрывшейся сигарочницы. Неуместная возня кончается тем, что кабриолет опрокидывается и что воинственную царицу Эфиопии, лежащую в обмороке, отвозят домой. Поздно вечером, оправившись от испуга, она подходит к окну и тут при свете молнии видит такую картину, которая, очевидно, должна разодрать на части все чувствительные сердца кисейных девушек.

Вдруг молния широко раскинулась, осветив флигель; на стекле итальянского окна ясно нарисовались две фигуры. Но что это? Игра воображения?.. или ужасающая действительность?.. Опять все стемнело... Сердце так сильно билось в моей груди, что мешало дышать свободно. Вот еще блеснула молния... И на этот раз я ясно увидела... Это он! Это она! Как страстно прижал он ее к своему сердцу! Как нежно обвилась рука ее около его шеи... Голова ее покоится у него на груди... Я обомлела... Высунулась в окно, таращу глаза, хочу убедиться еще раз в потрясающей истине, но вся природа погрузилась в страшный мрак, и с шумом полил дождь.

Надо полагать, что на этот раз дождевая вода ни с кем не беседовала о блаженстве Натальи Николаевны, которая к утру родила мертвого ребенка. — Затем слабый смертный с своею супругою едет в Москву, но и там продолжает свои амуры с Клеопатрою, которой безнравственность нисколько не должна изумлять читателей, потому что «о, недаром у нее мать — полька», говорит Наталья Николаевна на стр. 113. Далее Наталья Николаевна уезжает

от мужа в Дрезден, где и умирает через два года от разбитости своего любящего сердца и от пустоты своей убогой головы. Еще далее коварная дочь польки разбивает сердце Валерьяна; она выходит за старого князя Бахрушинского и прерывает все сношения с своим бывшим любовником. Еще того далее Валерьян, который так же глуп, как его покойная супруга, впадает в помешательство и умирает. Вся повесть заканчивается тем, что толстый и добродетельный кузин покойного Валерьяна, Василий фон Лембах, в письме к Екатерине Николаевне, подобно здравосуду старинных комедий, произносит нравоучение. Он говорит, что княгиня Бахрушинская очень беспощадно румянится, очень «низко вырезывает свои лифы» и очень «без ума» от молодого гусара «с рыжими усами и с нахальным видом». Из этих данных глубокомысленный фон Лембах выводит то заключение, что порок непременно будет наказан или, как он выражается, что «перст божий близок». Кроме того, тот же мыслитель утверждает, что «дни бегут, новые люди теснятся в жизнь, а мы всё не хотим сомкнуться». Надо полагать, что когда эти «*мы*» сомкнутся, тогда дни перестанут бежать, и новым людям будет строго воспрещено тесниться в жизнь.

В ноябрьской книжке «Русского вестника» напечатана повесть «Немая» г. В. К — ова. Тут даже и усладительного нет ничего. Один юноша, богатый помещик, влюбляется в немую красавицу неизвестного происхождения, усыновленную дворовым человеком и воспитанную в барском доме. Немая отвечает ему взаимностью, и влюбленные проводят несколько недель в самых идиллических увеселениях. «Мне, — рассказывает юноша, — доставляло бесконечное удовольствие, гуляя с Леттой, — учиться у нее деревенским лакомствам, вроде пупырей, просвирки и т. п. Она показывала мне, как делаются *кольшики* из березовой коры для собирания земляники; найдя крупную ягоду и радуясь как ребенок, она жестом требовала, чтоб я подставил ей губы, и осторожно, будто выкармливая молодую птичку, опускала мне ее в рот». — Разумеется, юношу очень скоро одолела скука, и все деревенские лакомства вместе с самою Леттою надоели ему, как горькая редька. Порхая, подобно мотыльку, с цветка на цветок, юноша влюбился в Лисхен, дочь своего нового управляющего. Он поехал с нею в Петербург и хотел на ней жениться, но ему пришлось убедиться в том, что Лисхен — продувная шельма. За несколько дней до свадьбы он подслушал следующий разговор между купцами, у которых Лисхен делала различные заказы.

— За Fräulein * тепло, — говорил один, — она своих не выдает; вот, например, я делаю карету: мне она стоит пятьсот, а в счете тысяча с лишком; профит пополам с ней. S'ist rund, Kamerad? ** А?

— Хе-хе! Мы все очень довольны, — ответил другой. — Давай бог здоровья!

---

* Барышня *(нем.)*. — *Ред.*

** Годится, приятель? *(нем.)*. — *Ред.*

Юноша возмущен и, разорвав всякие сношения с коварною Лисхен, хочет возвратиться к добродетельной, но бессловесной Летте. Но оказывается, что возвращаться уже не к кому, потому что покинутая Летта, предавшись безутешной тоске, умерла от чахотки. Юноша, сокрушенный всеми этими ударами судьбы, уезжает на Кавказ, а потом возвращается назад и заверяет читателей «Русского вестника», «что двойная фальшь — чувственной вспышки и головного чувства — не прошла ему даром». — «Я стал неспособен, — продолжает он, — к истинному, живому чувству и не думаю, чтоб оно когда-нибудь пробудилось во мне». Это как вам угодно будет, скажут читатели.

В декабрьской книжке «Русского вестника» напечатана «Скромная доля», повесть г-жи Л. Я. Черкасовой. Эта повесть гораздо проще всех предыдущих, но зато гораздо скучнее и бессвязнее их. У помещика Луговского умирает молодая жена. Сцена смерти написана по возможности раздирательно. Луговский с горя хочет пойти в монастырь. Его не пускает Надежда Николаевна, сестра покойницы. При помощи Надежды Николаевны Луговский принимается за хозяйственные заботы и за воспитание своих осиротевших детей. Соседи распускают сплетни насчет Луговского и Надежды Николаевны. Надежда Николаевна не обращает на них внимания. Ей делает предложение богатый помещик Гребенской. Она ему отказывает. Потом приезжает в имение Луговского молодой доктор, Ланин, приглашенный для управления вновь устроенною крестьянскою больницею. Надежда Николаевна влюбляется в Ланина, но Ланин, уже влюбившись в нее, говорит какие-то глупости о том, что он должен посвятить себя науке, что любовь — роскошь, которую не смеет себе позволить бедняк, и что он никогда не женится. Это называется moral restraint [35] по всем правилам мальтузианской политической экономии. Но потом оказывается, что все это — пустой разговор. Происходят нежные объятия; Ланин женится на Надежде Николаевне, и «Скромная доля» оканчивается, захвативши собою ровно *пятьдесят* страниц.

Теперь будем подводить итоги.

VI

Многим читателям, по всей вероятности, уже давно хочется предложить мне вопрос: «Да чем же плохи рассказанные вами повести? И почему вы рассказывали их насмешливым и даже презрительным тоном?» — А тем они плохи, отвечу я, что они совершенно бесполезны. И рассказывал я их с оттенком насмешливого презрения потому, что нет никакой возможности сочувствовать радостям и страданиям тех фигур, которые в них действуют. Я не говорю, что эти фигуры вымышлены авторами и не встречаются

в действительной жизни, — нет. Напротив того. Действительная жизнь переполнена такими фигурами, но до их радостей и страданий здравомыслящему человеку все-таки не может быть никакого дела, потому что все эти радости и страдания — не что иное, как естественный результат хронического тунеядства. Когда человек не трудится совершенно серьезно, то есть когда он не зарабатывает себе собственным трудом того куска хлеба, которым он питается, — тогда он не может быть счастлив; тогда он скучает, блажит, фантазирует, дилетантствует, донжуанствует, расстраивает себе нервную систему глупыми чувствами, глупыми мыслями, глупыми желаниями и глупыми поступками, тиранит самого себя, тиранит других, все чего-то ищет и никогда не находит того, что ему необходимо. При таких условиях каждая радость оказывается непрочною и быстро ведет за собою пресыщение, а каждое горе становится невыносимым, потому что не встречает себе никакого отпора. При таких условиях человеку недостает того, что придает огромную силу мыслящему работнику; ему недостает нравственной связи с тем обществом, среди которого он живет; его гнетет чувство его собственной бесцельности и ненужности; и это чувство не искореняется никакими филантропическими подвигами; надо быть работником, вполне работником с головы до ног, с утра до вечера, или же надо помириться со всеми печалями тунеядства, подобно тому как старый подагрик поневоле мирится с своею неизлечимою болезнью.

Все три повести «Русского вестника» изображают жизнь таких людей, которые живут на всем готовом и которые с самой ранней молодости, чтобы не умереть во цвете лет от невыносимой скуки, должны были искусственно наполнять свою жизнь разными хитрыми развлечениями. Тут подоспевают к ним на помощь и утонченное обжорство, и облагороженное пьянство, и высокое искусство, которое всегда обивает пороги у всех богатых тунеядцев, и азартная игра, и псовая охота, и швейцарские горы, и итальянское небо, и парижские лоретки, и, наконец, любовь в своих бесчисленных вариациях и модуляциях. Любовь, разумеется, оказывается обыкновенно занимательнее и приятнее всех остальных развлечений, потому что любовь вытекает из естественной, неистребимой и чрезвычайно сильной потребности животного организма. Но тунеядец и в любви является несчастным человеком. Чем искреннее и сильнее он любит, тем хуже для него. Он видит весь мир в любимом существе; весь смысл в жизни сосредоточивается для него в одном чувстве; он носится с этим чувством, как с какою-нибудь неземною драгоценностью; он рассматривает его с самым напряженным вниманием и, разумеется, открывает в нем кое-какие пятнышки, которых благоразумный работник не заметил бы и не захотел бы замечать, но которые для несчастного тунеядца становятся обильным источником глупейших сомнений и страданий. Эти сомнения и страдания приводят за собою или тот результат,

что тунеядец, надоевши своему предмету нелепою придирчивостью, позорно изгоняется из эдема, или же тот — что тунеядец, по собственной охоте, меняет старый эдем на новый, который издали кажется ему более привлекательным и безукоризненным. В том и в другом случае происходит разбитие какого-нибудь тунеядческого сердца, мужского или женского. Это разбитие может быть очень эффектно изображено в повести или в романе. Но все подобные романы и повести, как бы ни были они талантливо написаны, непременно фальшивы в основном взгляде автора на предмет. Герои или героини оказываются трогательными жертвами необъяснимой случайности. Это — чистый вздор, сохраняющий внешний вид правдоподобия только потому, что автор не умеет или не желает показать нам те уродливые отношения, которые существуют между героем и всею массою общественного организма. Если бы эти отношения были обрисованы, то герои оказались бы гнилыми наростами на общественном теле, и тогда читатель понял бы, что эти герои носят в себе с самого раннего детства зародыш разложения и что они страдают именно от этого зародыша, воспитанного в них всем направлением их праздной жизни, а вовсе не от того, что их одурачила какая-нибудь коварная кокетка. Если бы отношения между обществом и праздношатающимся героем были ясно поняты и верно очерчены автором, то герой, наверное, был бы разжалован из героев; все сочувствие автора было бы перенесено на сторону общества, а для героя не осталось бы ничего, кроме презрительного сострадания; вдумываясь в отношения тунеядца к обществу, автор разглядел бы в обществе столько серьезного страдания, столько глубокого и реального горя, столько неподдельного и громадного трагизма, что какие-нибудь трогательные разбития паршивых тунеядческих сердец показались бы ему приличным сюжетом разве только для водевильчика с переодеваньями.

Позволительно ли сокрушаться над любовными неудачами и над изменами в таких обществах, где сплошь и рядом свирепствуют над живыми людьми голод, холод, суеверие, невежество, самодурство и разные другие столь же ощутительные неудобства? Какая-нибудь несчастная любовь кажется горем только тогда, когда вы изолируете ее от всего остального мира, когда вы вносите ее в оранжерею и ставите ее под стеклянный колпак. А попробуйте вынести ее из теплицы на открытый воздух, в суровую атмосферу действительной, трудовой жизни, в тот мир, где «стон раздается над великой русской рекой», — ничего от нее и не останется. Плюнуть не на что будет, не только что сокрушаться и сочувствовать. Поэтому писатель, заглянувший серьезно в самую глубину общественной жизни и общественного горя, никогда не будет в состоянии тратить свое чувство и свою наблюдательность на изображение *слабых смертных* и *эфиопских цариц*, изнывающих под бременем несчастной любви. Для него эти страдания

будут стоять наряду с страданиями несчастного гастронома, испортившего себе аппетит. Имея всегда в виду интересы общественного организма, писатель поймет, что всякие тунеядцы, — будь они гастрономы, азартные игроки или несчастные любовники, — составляют для общества отрезанный ломоть, который не может и даже не желает прилепиться обратно к хлебу. Писатель поймет, что общество не может получить от всех этих дряблых страдальцев никакой пользы и что вследствие этого оно само не может предложить им ни малейшего утешения. Усвоивши себе эти очевидные истины, писатель навсегда отвернется от всех коптителей неба и займется изучением того настоящего горя, которое действительно требует себе облегчения, которое действительно может быть облегчено, когда оно обратит на себя внимание и сочувствие общественных деятелей. И начнет этот писатель изображать, с одной стороны, *«бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни»*,[36] а с другой стороны, те проблески самосознания и энергии, которые дают нам право рассчитывать в будущем на облегчение нашего общественного горя, то есть на постепенное обуздание голода, холода, суеверия, невежества и самодурства.

Теперь читатель мой, по всей вероятности, понимает, почему я осмеял четыре повести, помещенные в прошлогоднем «Русском вестнике». Смешно в этих повестях именно то, что их авторы относятся серьезно к таким радостям и огорчениям, которые не стоят выеденного яйца. Смешно то, что авторы обращаются с вечными недорослями как с взрослыми людьми и с полоумными существами как с особами совершенно здравомыслящими.

VII

Отметив жалкие и смешные стороны нашей беллетристики, я обращаюсь к тому, что исправляет должность критики в наших филистерских журналах. Здесь умственное бессилие нашего пишущего филистерства проявляется с особенною яркостью. «Русский вестник», стоящий выше всех остальных филистерских журналов по своему влиянию на общественное мнение, выбрал себе благую часть. Он совершенно отказался от критики, и это самое лучшее, что только можно было придумать, находясь в его положении. С тех пор как Добролюбов создал реальную критику, филистерская критика сделалась невозможною. С тех пор как ясно обозначилось в нашей литературе строго определенное миросозерцание так называемого теоретического лагеря, каждый пишущий человек должен непременно или примыкать к этому миросозерцанию, или же противопоставлять ему какое-нибудь другое миросозерцание, совершенно самостоятельное и так же строго определенное. Постоянное и последовательное проведение того или другого миросозерцания в оценке всех текущих явлений

жизни, науки и литературы называется в наше время критикою. У наших филистеров нет и не может быть своей критики, потому что у них нет и не может быть миросозерцания, нет и не может быть таких принципов, которые они выдерживали и проводили бы до конца с непреклонною энергиею и с неутомимым постоянством. Что такое принципы «Русского вестника» или принципы «Отечественных записок»? Этот вопрос похож на злую насмешку, потому что у них нет никаких принципов. У них есть журнальная сноровка, тактика или политика, но руководящих идей, основных взглядов нет и быть не может.

Наши филистеры все без исключения — эклектики, то есть люди, наполнившие свою голову такими идеями, которые взаимно уничтожают друг друга и никакими средствами не могут быть примирены между собою. С одной стороны, у них множество предрассудков, от которых они не желают отделаться; с другой стороны, у них множество отрывочных знаний, которыми они очень сильно гордятся; повидимому, должно было бы произойти одно из двух: или предрассудки должны были исчезнуть, или знания должны были подвергнуться изгнанию как вредные заблуждения. Но у филистера дело идет не так: и предрассудки и знания живут тихо и смирно рядом в одной и той же голове, потому что эта голова разгорожена на несколько отдельных клеток, не имеющих между собою никакого сообщения. В одной клетке лежит у филистера политическая экономия; в другой — нравственная философия; в третьей — эстетика; в четвертой — уголовное право; в пятой — физиология; в шестой — история и так далее. Ключами от всех этих клеток заведует самородная чичиковщина, которая знает очень хорошо, что в одних случаях следует выпускать на свет политическую экономию, в других — нравственную философию и так далее. Разумеется, перегородки между клетками могут возникнуть и окрепнуть только в такой голове, для которой процесс мышления никогда не был серьезным делом, поглощающим и увлекающим всего человека. Тяжелые сомнения, умственные бури, умственные страдания и умственные перевороты, хорошо знакомые всем людям, мыслившим честно и бесстрашно, переломали бы в голове всякие перегородки и не успокоились бы до тех пор, пока не уничтожилось бы без остатка последнее внутреннее противоречие. Но филистеры предоставляют это тревожное и стремительное мышление так называемым теоретикам; филистеры сами мыслят умеренно и аккуратно, берут себе с идей удовлетворительные доходы и никогда не привязываются к идеям настолько, чтобы из-за идей сесть на мель или налететь на подводный камень. Пока в обществе не было людей, искренно мыслящих, или пока эти люди не были в состоянии высказаться, до тех пор филистеры или эксплуататоры идей могли находить себе слушателей и могли перед этими слушателями выкладывать с тупым самодовольством разнохарактерное содержание своих клеток. Это выкладывание

называлось критикою. Но людям свойственно любить неподдельную силу и нерасчетливую искренность человеческой мысли. Как только послышались в литературе голоса, проникнутые искренним воодушевлением, как только выразились цельные и определенные убеждения, так филистерское фокусничество тотчас было оценено по достоинству. Против таких фанатиков идеи, как Добролюбов, могли выступить с некоторою надеждою на успех только фанатики противоположного направления.

Чистым и честным фанатиком отжившего романтического миросозерцания был Григорьев. Григорьева должны были носить на руках, как священный палладиум, все литературные враги добролюбовской школы. Но именно в судьбе Григорьева выразилось все трусливое бессилие нашего филистерства. Ненавидя Добролюбова, филистеры в то же время боялись Григорьева как человека, смело идущего в самый вопиющий обскурантизм. Добролюбов был для филистеров непримиримым врагом; но Григорьев, не способный лавировать и дипломатизировать, был для тех же филистеров слишком опасным союзником. Вследствие этого Григорьев, единственный человек, способный выдвинуть какое-нибудь миросозерцание против нашего миросозерцания, постоянно принужден был скитаться из журнала в журнал, везде попадал под опеку таких людей, которые в умственном отношении приходились ему по колено, и нигде не мог довести до конца того, что он хотел высказать.

Проклиная Добролюбова и почтительно сторонясь от Григорьева, филистеры очевидно обрекали себя на полное ничтожество в области мысли. Из этого затруднительного положения обер-филистер «Русский вестник» выпутался с замечательною находчивостью. Подобно лисице, рассуждающей о незрелости винограда, он стал относиться с презрительным равнодушием ко всему, что было ему недоступно, то есть ко всему тому, что имело общий интерес для всех образованных людей вообще. Всякие размышления об основах житейства, общества, нравственности «Русский вестник» называл бесплодною болтовнею. Всякую мысль, шедшую в глубину разбираемого вопроса, он отталкивал с негодованием. Достаточно вспомнить, например, его рассуждения о женщинах в мартовской книжке 1861 года. [37] Не имея ни малейшей возможности действовать на общечеловеческие убеждения своих читателей, «Русский вестник» постоянно наполнял себя такими статьями, которые были интересны только для людей известной профессии. Так, например, одна статья была занимательна для золотопромышленников, другая — для преподавателей латинского языка, третья — для лесоводов, четвертая — для юристов, пятая — для винокуров и так далее. Искусство редакции состояло в том, чтобы из множества односторонностей составлять какое-то подобие разносторонности и общезанимательности. Редактирование журнала превратилось при таких условиях в ловкое

сшивание специальных статеек, не имеющих и не могущих иметь между собой ни малейшей солидарности. Если назначение литературы состоит в том, чтобы быть самосознанием общества, чтобы связывать единством общих руководящих идей разрозненные умы отдельных личностей, чтобы превращать всех золотопромышленников, преподавателей, лесоводов, юристов и винокуров в мыслящих членов одного общественного организма, то, разумеется, «Русский вестник» всегда стоял и всегда будет стоять вне литературы. Из отрывочных клочков специальных знаний невозможно сложить общее миросозерцание, но зато этими клочками можно приманить к журналу самую разнообразную публику. Эта цель действительно была достигнута, и таким образом внутренняя слабость журнала была очень удачно замаскирована.

Но эта внутренняя слабость обнаруживается каждый раз, когда «Русскому вестнику» приходится решать какой-нибудь вопрос, выходящий из сферы узкой специальности и требующий самостоятельного обсуждения. Так, например, в последнее время «Московские ведомости», находящиеся, как известно, в самом тесном родстве с «Русским вестником», рассуждали очень много о превосходстве классического образования над реальным [38] и столь же много негодовали против дерзких защитников реального образования. Чтобы разгромить своих противников и чтобы убедить своих читателей, «Московские ведомости», очевидно, должны были доказать, что изучение латинского и греческого языков приносит огромную пользу умам учащегося юношества и что это изучение не может быть заменено, с пользою для воспитанников, никаким другим учебным занятием. Если бы «Московские ведомости» поступили таким образом, то вопрос о сравнительном достоинстве классического и реального образования оказался бы совершенно исчерпанным и окончательно решенным в ту или в другую сторону. Но «Московские ведомости» распорядились совсем не так; они даже не коснулись основного вопроса; о влиянии классических занятий на умы юношества не сказано ни слова; в пользу этого влияния не представлено ни одного аргумента; все рассуждения ограничиваются ссылками на авторитеты. *Всем известно*, да *всеми признано*, да *вся Европа так делает* — вот и все, что «Московские ведомости» сумели сказать в пользу классического образования. *Вся Европа* — это, разумеется, авторитет очень почтенный, но не мешает помнить, что *вся Европа* сжигала еретиков и колдунов, что *вся Европа* считала пытку и мучительные казни необходимою принадлежностью уголовного процесса. *Вся Европа* делала очень много глупостей, и если она могла делать капитальные глупости в XVII и в XVIII веке, то почему же мы должны быть несокрушимо уверены в том, что она не делает в XIX столетии решительно никаких глупостей? Русскому писателю, конечно, очень позволительно ошибиться вместе со *всею Европою*, но позволительно только в том случае, когда он ошибается по собственному, добросовестно

составленному убеждению. Если же он решает вопросы с чужого голоса, не давая себе труда всмотреться и вдуматься в их настоящий смысл, то его умственная пассивность не может быть оправдана никакими ссылками на пример *всей Европы*. Никакой авторитет в мире не может снять с нас нравственную обязанность обсуживать каждый вопрос силами нашего собственного ума. «Русский вестник» и «Московские ведомости» не знают или, вернее, не хотят знать этой простой истины.

VIII

Трудно составить себе понятие о том плачевном положении, в котором находится критика филистерских журналов, не последовавших примеру «Русского вестника». Зачем пишутся их критические статьи и чем они наполняются — это просто уму непостижимо. Слезливые жалобы на «нашу журналистику» и бессильные попытки сказать теоретикам какую-нибудь неприятность составляют все содержание этих несчастных статей. Слово «наша журналистика» всегда обозначает собою только два журнала: «Современник» и «Русское слово». Из этого обстоятельства не трудно вывести то заключение, что «Эпоха», «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» не считают себя за журналистику. Мы, с своей стороны, можем только поощрительно кивнуть им головою за эту похвальную и совершенно основательную скромность. Вот, например, отзыв «Библиотеки» о г. Дмитриеве.[39] «Он стоит вне этих направлений и если напоминает кого-нибудь по своему приему и поэтическому веянию страниц, то разве Фета,— ну, а известно, что в глазах нашей журналистики Фет есть уже явление прошедшее» (январь, № 2, стр. 26). Вы видите, что г. критик проговорился совершенно неумышленно. В чьих же глазах Фет есть явление прошедшее? «Библиотека» и «Русский вестник» до настоящей минуты печатают стихотворения г. Фета. «Эпоха» и «Отечественные записки» ни разу не отзывались о нем с пренебрежением. Значит, *«наша журналистика»* = «Русское слово» + «Современник». Все же остальное, по приговору самих филистеров, — не журналистика, а торричеллиева пустота. И таких нечаянных признаний можно было бы набрать довольно много. На эту тему пишутся даже очень злобные стихотворения. Например, в той же книжке «Библиотеки» г. Бабиков изливает свои страдания в следующих звуках, имеющих самое непосредственное отношение к «Русскому слову» и к «Современнику»:

Теперь мы жалки и смешны,
Обломки прошлых поколений;
В борьбе за святость убеждений —
Увы! — мы все побеждены.

Позвольте, г. Бабиков! кому же это вы жалки и смешны? «Библиотеке» вы не жалки и не смешны, потому что она вас печатает. «Эпохе» вы также не жалки и не смешны, потому что она не только печатает ваши стихи и ваши романы, но даже хвалится вами в своем объявлении, как постоянным сотрудником. «Русскому вестнику» и «Отечественным запискам» вы также не жалки и не смешны, потому что эти два журнала очень дорожат всякими обломками прошлых поколений. Легко может быть, что «Русскому слову» и «Современнику» вы действительно жалки и смешны, но и об этом вам можно только догадываться, потому что до сих пор ни «Современник», ни «Русское слово» не говорили о вас ни одного слова, ни прямо, ни косвенно. Но если бы даже и в самом деле вы были жалки и смешны в глазах этих двух последних журналов, то стоит ли об этом сокрушаться? Почти вся масса литературы на вашей стороне, а литература, как вам известно, считается выражением общественного самосознания; значит, все или почти все общество сочувствует вам, а вы хотите нас уверить, будто вы все побеждены в борьбе за святость убеждений. Как же это так случилось, что *вас всех* победила небольшая кучка писателей, и победила в таком великом деле, как борьба за святость убеждений? Что-то не верится. Если бы ваши убеждения были действительно святы и если бы вы сами горячо верили в их святость, то вы продолжали бы за них бороться, вместо того чтобы писать себе заживо надгробное слово четырехстопными ямбами:

Нам говорят: пора заснуть,
Нам дела нет в той жизни новой,
В которой новые бойцы
Идут на бой со злом упорным.

А вольно ж вам верить тем людям, которые вам это говорят. Вам говорят: «пора заснуть», а вы отвечайте «нет, я гулять хочу». Вам говорят, что вам нет дела *в той жизни новой*, а вы отвечайте «ну, это мы еще посмотрим». Если же вы сами опускаете руки и отказываетесь от работы *в той жизни новой*, то уж извольте винить вашу собственную дряблость и трусость, а никак не *новых бойцов*, которые решительно ни в чем не виноваты. — Но г. Бабиков этого не принимает в соображение и в пылу негодования пророчит нам, что в заблуждениях своих мы кончим бесславно свой век. Что ж? Это правда. От того, что вы называете нашими заблуждениями, мы не откажемся никогда, а насчет славы мы можем вам объяснить, что мы за нею не гонимся. Но г. Бабиков так на нас сердит, что добирается даже до наших будущих гробов:

Ничья слеза не упадет
На ваши сумрачные гробы, —
За то, что полны вы лишь злобы,
За то, что злоба лишь клянет.

Г. Бабиков, очевидно, находит, что сам он — *полон лишь любви* и что, фантазируя о каких-то *сумрачных* гробах, он нисколько не *клянет новых бойцов*, а, напротив того, благословляет их на великие подвиги и желает им всякого благополучия. Впрочем, если г. Бабиков действительно желает обидеть и запугать *новых бойцов*, то я советую ему придумать какие-нибудь проклятия более страшные, потому что — скажу ему по секрету — *новые бойцы* вовсе не интересуются вопросом: упадут или не упадут чьи-нибудь слезы на их могилы.

Я остановился на стихотворении г. Бабикова единственно потому, что оно выражает очень верно то общее настроение, которое уже лет семь или восемь господствует в нашей филистерской журналистике. Уныние, озлобление, мелкая придирчивость и поразительное бессилие характеризуют наших пишущих филистеров. Вот, например, г. Аверкиеву, сотруднику «Эпохи», захотелось уличить реалистов в незнании народной жизни, в заносчивости, в верхоглядстве и во многих других преступлениях. Несчастный почвенник напрягает все силы своего ума и достигает только того результата, что сам попадает впросак, да еще в какой просак-то. Жертвою своего обличения он выбирает рассказ г. Решетникова «Подлиповцы», напечатанный в «Современнике». Выписывается из этого рассказа следующий эпизод, относящийся к бурлакам. «Пила купил пекарскую булку. Разломив ее на четыре части, *они съели чуть не разом*.* «Што?» — говорит Пила. «Давай ишшо», — просит Сысойко. — Они купили еще и съели, и все-таки *не наелись*». Выписавши еще несколько строк, г. Аверкиев начинает свое обличение. «Какое глубокое знание быта! — восклицает он. — Какой язык! И интересно, как бурлакам есть хотелось, — две булки съели, одну *чуть не разом* вчетвером, и еще есть хотели! Глубоко замечено, и главное — естественно!» [40]

Вся соль и даже весь осязательный смысл обличения заключаются, очевидно, в том, что г. Аверкиев принял *пекарскую булку* за одну из тех *французских* трехкопеечных булок, которые продаются в петербургских булочных. Увлекаясь желанием обличить г. Решетникова, критик «Эпохи» не заметил, что его обличение становится совершенно неправдоподобным. Допустим на минуту, что г. Решетников не знает народного быта; предположим даже, что он никогда не видал бурлаков и писал свой очерк, сидя в Петербурге и произвольно выдумывая разные подробности бурлацкой жизни. Но если г. Решетников, как петербургский житель, не знает бурлаков, то во всяком случае французские булки он должен знать как нельзя лучше. Он должен знать по собственному ежедневному опыту, что *один* человек может без малейшего труда съесть сразу целую французскую булку. Стало быть, г. Ре-

---

* Курсив употреблен г. Аверкиевым.

шетников ни под каким видом не может выдумать, что *четверо* бурлаков съели *чуть не разом* французскую булку. Возможное ли дело, чтобы г. Решетников стал приписывать своим вымышленным бурлакам аппетит, равняющийся только четвертой доле нашего обыкновенного аппетита? Стараясь навязать г. Решетникову такую невозможную нелепость, г. Аверкиев обнаруживает только свое смешное озлобление и свою изумительную недогадливость. Нетрудно было, кажется, понять из общей связи рассказа, что пекарская булка должна быть чем-то вроде очень большого каравая, фунтов в десять или в двенадцать весом. И кто же оказался человеком, не знающим быта? Кто применил петербургские понятия к явлениям бурлацкой жизни? Именно сам обличитель, сам сотрудник почвенного журнала. Что же касается до г. Решетникова, то его, пожалуй, можно упрекнуть в некоторой сухости изложения, но о незнании быта не может быть и речи. Кто прочел хоть один из его рассказов, тот должен был убедиться в том, что г. Решетников описывает только такие явления, которые он видел очень близко, изучил очень внимательно или даже испытал на своей собственной особе.

Другой писатель «Эпохи», г. Николай Соловьев, взявший себе за правило сокрушаться и скрежетать зубами по поводу каждой из моих критических статей, далеко превосходит г. Аверкиева в деле несообразительности. Чтобы дать читателю понятие о том, до каких размеров могут доходить человеческое тупоумие и человеческая бессовестность, я выпишу и разберу здесь некоторые рассуждения г. Соловьева из его статьи «Женщинам», помещенной в декабрьской книжке «Эпохи» за прошлый год. Я должен признаться, что ничего подобного этой статье я никогда не встречал в печати. Читая одну фразу за другою, я решительно не мог отдать себе отчета в том, каким образом отдельные мысли или, вернее, клочки отдельных мыслей связываются между собою в голове этого пегого критика. Г. Соловьев объявляет, что он намерен поговорить о «женщинах, затронутых литературой и чреватых современными идеями». Он говорит, что «лесть эмансипаторов слишком преувеличивает мнение о готовности женщин на всякое дело: готовность эта без всяких следов самостоятельности». В этой фразе г. Соловьева, как и во всех его остальных фразах, нет никакого осязательного смысла, а есть только бессильное желание облаять и оклеветать каких-то эмансипаторов. В каких это эмансипаторах г. Соловьев усмотрел «лесть»? Какие это эмансипаторы говорят «о готовности женщин на всякое дело»? И что такое значит «готовность на всякое дело»? Значит ли это, что женщина уже всему на свете выучилась и может принять на себя исполнение всяких общественных обязанностей? Или же это значит, что женщина почувствовала желание учиться и готова взяться за книгу и пойти на лекцию? — Что женщина всему выучилась — об этом наши эмансипаторы никогда не говорили ни слова. Они повто-

ряли и повторяют до сих пор, что женщины почти ничему не учатся и почти ничего не знают, но что сами женщины в этом нисколько не виноваты. А что женщины, затронутые литературой, желают учиться и трудиться — это правда. Стало быть, в чем же состоит лесть эмансипаторов и что такое они преувеличивают? Г. Соловьев, очевидно, сам не знает, что он хотел сказать. Он даже ровно ничего не хотел сказать. Написалось что-то, а что именно, об этом вы его не допрашивайте. «Говорят, — продолжает г. Соловьев, — например, ей, что она должна жить без предрассудков, — и она живет». От каких же это предрассудков эмансипаторы стараются избавить женщину? А вот послушайте. «Женщина, — поучает нас г. Соловьев, — отнюдь не должна трусить в любви; но трусливость со слезами и стыдливость с прихотями — свойства, зависящие не от воспитания или привычки, а от того, что женщине действительно есть чего трусить, есть о чем плакать и есть кого стыдиться». Безграмотность этой фразы я оставлю без внимания; посмотрим, есть ли тут какой-нибудь смысл. Женщина не должна трусить в любви — это, по мнению г. Соловьева, говорят эмансипаторы. Если выразить ту же мысль яснее, то не трусить в любви — значит отдаваться, очертя голову, первому встречному. И это, изволите видеть, говорят какие-то эмансипаторы! Любопытно узнать, в какой это овощной лавочке или в каком распивочном заведении г. Соловьев собирал сведения об эмансипаторах? На стр. 21 он сам очень наивно сознается, что изучал женский вопрос в петербургских танцклассах. Он с сокрушением объявляет провинциалам, что в этих безнравственных собраниях бывают «и люди чиновные и люди ученые. А жизнь все ждет своих деятелей, а наука — служителей; силы тратятся, а женщина падает все ниже и ниже». В будущем г. Соловьев предвидит еще более ужасные вещи; «танцующие будут рассуждать о разных вопросах, а женский, быть может, и совсем порешат». Из всех этих воплей вы имеете полное право вывести то заключение, что в мукомольном заведении, которое из вежливости мы назовем головой г. Соловьева, царствует невообразимый хаос: танцклассы смешиваются с женским вопросом; люди чиновные и ученые, отхватывающие канкан, оказываются эмансипаторами; камелии становятся рядом с женщинами, затронутыми литературою. А редакция «Эпохи» печатает и одобряет. Но даже самое крайнее слабоумие редакции и ее сотрудников не может оправдать ту грязную клевету, которую позволяет себе г. Соловьев в следующих строках: «Любящий обыкновенно думает о глубине чувства, о силе страсти, о первых днях блаженства; все же прочее, как, например, тяжесть беременности, презрение общества, адские муки родов и несчастное затем материнство, — оставляет без внимания. Всякого задумывающегося над таким положением мужчины побойчее называют даже тряпкой; несчастные последствия оправдывают необходимостью природы. Случаи эти составляют неистощимые темы для

повестей. Авторы же, одаренные сильным половым влечением, больше ни о чем и не пишут; а критики некоторые даже допускают в любви обман».

Что есть негодяи, соблазняющие неопытных девушек и бросающие их на произвол судьбы в самую критическую минуту их жизни, — это мы знаем очень хорошо без указаний г. Соловьева. Что есть другие негодяи, одобряющие подобные поступки, это также не подлежит сомнению. Но, во-первых, говоря о таких мерзавцах, незачем употреблять слово *«любящий»*, а во-вторых, что общего имеют эти мерзавцы с авторами повестей и критических статей? Какие это авторы и критики оправдывали в своих произведениях поругание беззащитных и доверчивых девушек? В каких это авторах г. Соловьев подметил сильное половое влечение и в каких критических статьях он вычитал допущение любовного обмана? Повести и критические статьи совсем не то, что неопределенные слухи и толки. Пока г. Соловьев рассуждал о том, что говорят какие-то эмансипаторы, до тех пор мы не имели возможности требовать от него фактических доказательств. Г. Соловьев мог сослаться на разговоры *людей чиновных и ученых*, посещающих петербургские танцклассы, и мы остались бы ни с чем; мы не могли бы исследовать вопрос: какие *люди чиновные и ученые* беседовали с г. Соловьевым, и что именно они ему говорили, и в какой степени эти собеседники заслуживают название эмансипаторов. Но повести и критические статьи — это печатные документы, которые тотчас могут уличить во лжи бессовестного шарлатана. Тут уж невозможно пустить в ход бестолковые фразы и уклончивые отговорки. Вопрос поставлен просто и ясно: есть ли в русской литературе такие повести и такие критические статьи, которые оправдывают обольщение женщин и которые советуют соблазнителям бросать любовниц, когда они забеременеют? Г. Соловьев говорит: есть. А я говорю, что таких повестей и критических статей в русской литературе никогда не было и нет до сих пор и что г. Соловьев солгал самым бессовестным образом. Если же г. Соловьев не согласен с моим мнением, то он должен привести заглавия тех повестей и статей, которые оправдывают обольщение. Он должен указать на те журнальные книжки, в которых эти повести и статьи напечатаны. И, кроме того, он должен доказать подробным разбором названных повестей и статей, что в них действительно заключается тот грязный смысл, который он им приписывает.

Любопытно будет посмотреть, каким маневром тупоумный сотрудник «Эпохи» вывернется из своего затруднительного положения.[41] Любопытно будет также посмотреть, какими аргументами редакция «Эпохи» будет оправдывать грязную клевету, пущенную в свет ее убогим сотрудником.

IX

Свежая волна новой мысли плеснула недавно на сухие страницы «Отечественных записок», и филистерская редакция, изнывающая от скуки в аравийской пустыне своего собственного журнала, встретила эту волну с величайшим восторгом и даже не заметила, что эта коварная волна несет с собою совершенно не подходящие идеи так называемого теоретического лагеря.

В двух книжках «Отечественных записок» (январь, № 2 и февраль, № 1) напечатан критический этюд г. Маркова «Народные типы в нашей литературе», и редакция сделала от себя примечание, в котором говорит, что *«с удовольствием»* помещает *«этот превосходный этюд»*, хотя в журнале уже была напечатана статья г-жи Евгении Тур о том же предмете... и хотя, прибавлю я от себя, г. Марков очень остроумно осмеивает эту самую статью г-жи Тур.[42] *Этот превосходный этюд* действительно очень недурен, но я замечу только редакции «Отечественных записок», что, помещая в своем журнале и превознося такие этюды, она отнимает у себя всякое право глумиться над теми писателями, которые допускают влияние чая и кофе на развитие исторических событий. Если же редакция продолжает глумиться, — что мы действительно видим на страницах первой январской книжки, — то она подобными выходками доказывает только свою неспособность к связному мышлению.[43]

Чтобы дать читателям понятие о том, какие идеи преобладают в *превосходном этюде* г. Маркова, я выпишу из него несколько очень выразительных строк. «Жизнь кабана и буйволицы показалась графу Толстому отраднее и выше жизни каких-нибудь губернских барышень. И он с чистотою душевною, с прямотою древних германцев плюет на ваших франтов и барышень и указывает нам на Ерошку, говорящего кабана, на Марьянку — красивую, молоденькую буйволицу с горячими глазами. Он не прячется за преувеличениями и украшениями, не пытается делать никаких натяжек. *«Человек есмь, и ничто человеческое мне не чуждо»* у него просто-напросто переделывается в *«скот есмь, и ничто скотское мне не чуждо»*, и этот зоологический язык граф Л. Толстой откровенно прибивает над главным входом в свой роман, чтобы все сразу видели — кто живет и как живет» (февраль), № 1, стр. 470). Тот же самый *зоологический язык* прибит так же откровенно над главным входом в *превосходный этюд*, но редакция «Отечественных записок» все-таки не сумела разглядеть, *кто живет и как живет* в *превосходном этюде*.

Одобряя *зоологический язык*, я, конечно, не могу одобрить рассуждений г. Маркова об искусстве. Г. Марков в конце своего этюда нападает на отрицателей чистого искусства и таким образом платит дань старому филистерству, но мне кажется, что позиция г. Маркова в этом пункте очень слаба и ненадежна. Мне кажется

даже, что автор *превосходного этюда* сам чувствовал шаткость своего положения. Вот что он говорит об отрицателях: «Эти люди, сами того не замечая, делаются врагами общества. Они не умеют смотреть на него как на живой организм, в котором хотя каждый орган функционирует сообразно своему характеру, но все органы без исключения служат общей жизни. Остановить деятельность высших сторон человеческого духа на том основании, что массы еще не удовлетворены в насущных своих потребностях, — это все равно, что прекратить деятельность молодого мозга под тем предлогом, что не все еще хрящи скелета успели окостенеть».

В словах г. Маркова, очевидно, уже начинает пробиваться утилитарный взгляд на искусство. Он смотрит на общество как на живой организм. Мы смотрим на общество точно так же. Он говорит, что каждый орган должен функционировать сообразно своему характеру! Мы и с этим положением совершенно согласны. Мы никогда не говорили и не скажем, что Дарвин и Либих должны служить обществу посредством пахания земли. Г. Марков утверждает далее, что «все органы без исключения служат общей жизни». Что все органы *должны* служить общей жизни или, говоря яснее, что все члены общества *должны*, каждый на своем месте, приносить пользу обществу, в этом не может быть никакого сомнения. Но что все органы *действительно служат* общей жизни и что они никогда не могут уклоняться от этого служения — это такая очевидная нелепость, которую г. Марков, конечно, не решится поддерживать. Это значило бы утверждать, что в обществе нет и никогда не может быть ни тунеядцев, ни паразитов, ни эксплуататоров. Таким образом, г. Марков, уподобив общество живому организму, не сделал еще ровно ничего для реабилитации искусства. Рассматривая художника как члена известного общества, он наложил на него обязанность — приносить пользу этому обществу. Пусть художник *функционирует сообразно своему характеру*, но пусть он этим *функционированием* приносит пользу. Это и мы говорим то же самое.

Теперь г. Марков должен доказать, что этот *функционирующий* художник действительно приносит пользу. Тут уж общие сентенции ничего не сделают. Каждый отдельный случай должен быть разобран сам по себе. Метафора насчет мозга и хрящей также совершенно бесполезна. Против нее можно выдвинуть другую метафору, которая докажет совершенно противное. Можно, например, напомнить г. Маркову, что обуздывать половую деятельность несложившегося отроческого организма не только полезно, но даже необходимо, потому что слишком раннее развитие половой системы расслабляет организм, вместо того чтобы служить общей жизни. Значит, метафоры надо отложить в сторону и надо просто и серьезно анализировать вопросы: полезна ли музыка, полезна ли скульптура, полезна ли живопись и т. д. Если вы докажете осязательно, что они полезны, то мы с величайшим

уважением преклонимся перед их величием. Но, взявшись доказывать их пользу, вы сами уже превратились в реалиста, потому что поклонник чистого искусства никогда не позволил бы себе даже завести речь о полезности своего кумира. Пушкин восклицает об Аполлоне Бельведерском, что «мрамор сей есть бог», а вы должны будете доказывать, что мрамор сей есть тот же печной горшок, но что он только *функционирует сообразно своему характеру*.

Далее мы видим, что г. Марков сам, ставши на точку зрения реализма, плохо верует в полезность искусства. «История, — говорит он, — убеждает нас, что образование, несмотря на постоянное обвинение его в непрактичности, почти исключительно одно работало с пользою для счастья человечества». — Позвольте, позвольте, г. Марков! Зачем же вы подменили слово *искусство* словом *образование?* Ведь *искусство* и *образование* — две вещи разные. Доказывать полезность образования чересчур легко. Искусство только тем и держится в общественном мнении, что постоянно выдает себя за родную сестру науки. А на поверку оказывается, что эти две родные сестры так непохожи друг на друга и так враждебны друг другу по своим тенденциям, что очень многие исторические деятели, систематически давившие науку, так же систематически покровительствовали развитию искусства.

Наука была опаснейшим врагом их могущества в то время, когда искусство было их раболепным союзником.

Итак, г. Марков, если вы точно хотите победить отрицателей искусства, — потрудитесь отделить искусство от науки и доказывайте нам историческими и всякими другими аргументами пользу *искусства*, а не пользу *образования*. В пользе образования никто из нас не сомневается. Но мне кажется, что г. Марков недолго удержится на той точке зрения, которую он занимает в настоящую минуту. Года через два, а может быть и раньше, он, по всей вероятности, разорвет последние связи с филистерскою рутиною и примкнет окончательно — даже по вопросу об искусстве — к миросозерцанию последовательных реалистов. — Я не теряю надежды встретиться когда-нибудь с г. Марковым в редакции «Русского слова». Поэтому говорю ему: до свиданья!

X

Во второй февральской книжке «Отечественных записок» помещена критическая статья под следующим длинным заглавием: «Предисловие к литературному обозрению. О качестве и количестве прогресса в новейшем движении нашей литературы». Подписано: «Incognito». Эта статья представляет собою опустошительный набег на «Русское слово», и преимущественно

на «Нерешенный вопрос», [44] который, как известно, уже почти полгода волнует мятежное сердце нашего приятеля, г. Постороннего сатирика. Г. Посторонний сатирик и г. Incognito, вполне сходящиеся между собою в чувстве ненависти к «Нерешенному вопросу», совершенно непохожи друг на друга по своим полемическим приемам. Г. Incognito может сделать своим девизом известный стих Пушкина: «Я еду-еду — не свищу», а г. Посторонний сатирик, напротив того, должен будет вывернуть этот стих наизнанку и приложить его к своим полемическим подвигам в следующем виде: «Я свищу-свищу — и не еду». [45] Действительно, г. Incognito ни слова не говорил о «Нерешенном вопросе» и потом вдруг, в один прекрасный день, разобрал его по косточкам и доказал, что он весь составлен из внутренних противоречий. Это значит — наехал и не спустил. Г. Посторонний сатирик, напротив того, все собирается разгромить «Нерешенный вопрос» и все никак не может собраться с силами, так что я начинаю думать, что он никогда на меня не наедет. Впрочем, с г. Посторонним сатириком мы еще поговорим впоследствии, а теперь мне надо отражать те жестокие удары, которые наносит мне г. Incognito.

Когда я повествовал читателю о том, что голова филистера разгорожена на множество отдельных клеток, тогда я не имел в виду голову г. Incognito. Теперь же, всматриваясь в статью этого писателя, я замечаю с особенным удовольствием, что моя теория головных клеток получает себе блистательное оправдание на отдельном примере. Г. Incognito не только сам обладает головою, разгороженною на множество не сообщающихся между собою клеток, но он даже настоятельно требует, чтобы все другие люди обладали точно такими же разгороженными головами. Отсутствие общего миросозерцания вменяется в непременную обязанность каждому человеку, каждому мыслителю и каждому писателю. Г. Incognito с горькою ирониею задает читателю следующий вопрос: «Из всех литературно-критических статей, в таком обилии посвященных передовым движениям, «Отцам и детям» или вызванных «Взбаламученным морем» и постоянно вызываемых более мелкими явлениями текущей литературы, случалось ли ему (читателю) прочитать хоть одну, которая при своей чисто литературной материи не касалась бы или философского учения о свободе человеческой воли, или теории Дарвина о происхождении видов, или воззрений Бокля на развитие цивилизации в человеческом роде, или вообще не стремилась бы установить истинного взгляда на сущность всех вещей и их отношений между собою? Читатель не может сказать, чтобы ему случалось и это» (стр. 697). Г-ну Incognito, очевидно, не нравится то, что литературный критик позволяет себе говорить о таких вопросах, которые не входят в курс риторики и пиитики, иначе говоря, находятся в разных перегородках головы г. Incognito. Он даже категорически выражает свою жалобу на отсутствие перегородок. «Этому-то недостаточному разграниче-

нию различных областей человеческого духа мы, без сомнения, и обязаны тем фактом, печальным даже для нас самих, что, говоря о нашем движении, какую бы фактическую нелепость мы ни приписали ему, она все-таки может быть подтверждена примером» (стр. 697).

Достаточное разграничение, которого требует г. Incognito, клонится, очевидно, к тому, чтобы ни один человек в мире не смел задавать себе вопроса об отношении отдельных отраслей человеческой деятельности к общей жизни человечества и народа. Короче сказать, ни один человек в мире никогда не должен быть ни человеком, ни гражданином. Представьте себе, что вы взяли очень дорогой билет в итальянскую оперу; с той минуты, как вы вошли в театральную залу, вы должны превратиться в меломана; вы имеете право радоваться только тому, что г. Тамберлик берет *ut-dièse*, * и огорчаться только тем, что г. Полонини дерет уши. На другой день после оперы вы узнаете, что в Вологодской губернии начался сильный голод; тут вы тотчас должны превратиться в филантропа и устремить все силы вашего духа на то, чтобы помочь страждущим братьям. Потом вы приходите домой, и ваша супруга говорит вам, что для вашего сына необходимо нанять гувернера; тут вы должны немедленно превратиться в чадолюбивого отца и погрузиться в семейные интересы. Вслед за тем вы отправляетесь в какое-нибудь ученое общество, и вам объявляют ваши товарищи, что снаряжается ученая экспедиция для отыскания верховьев Нила; тут вы должны превратиться в воплощенную любознательность и употребить все усилия на то, чтобы экспедиция состоялась. — Но позвольте же однако: дух бодр, а плоть немощна; кошелек же, который должен оплачивать и меломанию, и филантропию, и чадолюбие, и любознательность, — еще немощнее всякой плоти. Для того чтобы свести концы с концами, то есть для того, чтобы *ut-dièse* не отбил хлеба у вологжан, или вологжане не съели гувернера, или африканская экспедиция не поглотила гувернера, вологжан и *ut-dièse*, для того, чтобы все эти издержки уживались мирно друг возле друга, необходимо же, чтобы явился какой-нибудь общий регулятор, поддерживающий между ними некоторое равновесие. Необходимо, чтобы вы сами были не только поочередно меломаном, филантропом, чадолюбивым отцом и любознательным ученым, но еще, кроме того постоянно благоразумным человеком и расчетливым хозяином, соображающим отдельные цифры расхода с общею цифрою дохода. Иначе выйдет кутерьма и банкротство. И такая же кутерьма и такое же банкротство, только менее быстрые и менее очевидные, получаются тогда, когда целое общество, увлекаясь ежеминутно частными впечатлениями и мимолетными интересами, никогда не задает себе вопроса о том, в какой связи находятся эти впечатления и интересы с его постоянными жизненными потребностями. Если

* До диез (муз. нота). — *Ред.*

же вы допустите, что общество должно возвышаться до самосознания и до всеобъемлющего взгляда на свою собственную жизнь, то вы должны также признать необходимость таких людей, которые при встрече с каждым отдельным явлением жизни, науки или искусства тотчас стараются рассмотреть отношение этого частного явления ко всей совокупности жизненных отправлений общественного организма. Я вовсе не думаю утверждать, что *мы*, именно *мы*, то есть «Русское слово» и «Современник», выполняем эту громадную задачу удовлетворительно. Я вовсе не утверждаю, что мы — вполне достойные органы общественного самосознания. Я только констатирую тот факт, что общественное самосознание необходимо, что оно в настоящее время стремится создать себе достойных выразителей, что мы изображаем собою первые, слабые и робкие попытки общества на этом новом для него пути и что филистеры, требующие вместе с г. Incognito *достаточного разграничения различных областей человеческого духа*, совершенно не понимают смысла и необходимости того умственного движения, из которого должно выработаться общественное самосознание.

Г. Incognito обвиняет нас в противоречиях именно потому, что не умеет подняться на нашу точку зрения. Вы, говорит он, отрицаете поэзию и в то же время восхищаетесь стихами Гейне; вы относитесь с пренебрежением к великим поэтам, Шиллеру и Пушкину, и в то же время посвящаете целый ряд статей роману второстепенного художника Тургенева.

Где же тут противоречия? — спрашиваю я. Можно находить, что война — великое зло, и в то же время можно глубоко уважать такого воина, как Вашингтон, и можно с величайшим сочувствием следить за военными подвигами Гарибальди. Можно находить, что алхимия — пустая мечта, и в то же время можно глубоко уважать алхимика Джафара, открывшего те кислоты, без которых химический анализ был бы невозможен. Все дело в том, что подвиги Гарибальди и Вашингтона клонятся к истреблению войны и что открытия Джафара клонятся к рассеянию того мрака, который поощрял своим существованием развитие алхимических бредней. — Стихотворения Гейне не отклоняют, а отрезвляют читателя; поэт сам разрушает вредное обаяние поэзии; поэт осмеивает то, чему поклоняются другие поэты; на этом основании все отрицатели поэзии считают Гейне своим естественным и чрезвычайно полезным союзником. — Что же касается до целого ряда статей, посвященных роману Тургенева, то, мне кажется, нетрудно понять, что этот ряд статей клонится не к прославлению романа, а к поражению тупых филистеров, подобных г. Дудышкину, и близоруких реалистов, подобных г. Антоновичу. Смотрите на это чудовище, заговорили филистеры, указывая юным нигилистам на фигуру Базарова, только что появившегося в печати. Ваши идеи приведут вас прямым путем к этому ужасному результату; поэтому отрекайтесь тотчас от ваших заблуждений. Близорукие

и робкие реалисты, под предводительством г. Антоновича, действительно приняли Базарова за чудовище и стали доказывать, путаясь и сбиваясь в своих рассуждениях, что их идеи никогда не могут привести их к ужасному результату, изобретенному г. Тургеневым. На этой позиции реалистам грозило неизбежное поражение, потому что филистеры могли доказать, как дважды два — четыре, что Базаров — не клевета, не карикатура, а совершенно верный итог реалистических тенденций. Поэтому надо было повернуть вопрос иначе; надо было доказать, что Базаров — не чудовище, а мыслящий работник и превосходный человек. Эту задачу я постарался выполнить, и мне кажется, что я могу считать мою цель достигнутою, потому что до сих пор ни филистеры, ни «Современник» не представили ни одного возражения против моего взгляда на личность Базарова. Филистеры нападают на разные частности «Нерешенного вопроса», не касаясь анализа базаровского типа, а «Современник» не производит до сих пор ничего, кроме угрожающих демонстраций. Если же наша литература принуждена будет признать умственные и нравственные достоинства Базарова, то вместе с тем она принуждена будет отказаться от всех своих нелепых предубеждений против нашего реализма. Значит, ряд статей о Базарове был написан затем, чтобы защитить и разъяснить весь строй наших понятий, а не затем, чтобы выставить напоказ красоты тургеневского романа. В каком чине состоит Тургенев на службе у Аполлона, до этого мне нет никакого дела; если вы мне скажете, что Тургенев — второстепенный поэт, а Пушкин — первоклассный гений, я с вами даже и спорить не буду, потому что этот вопрос меня нисколько не интересует. Я вам скажу только, что Тургеневу посчастливилось поднять в нашей умственной жизни такой вопрос, какого никогда не поднимал и не мог поднять Пушкин. Поэтому о Тургеневе я писал для того, чтобы разъяснить поднятый им вопрос; о Пушкине же я буду писать только затем, чтобы образумить суеверных обожателей этого устарелого кумира. В том и другом случае я имею в виду только то количество пользы, которое могут доставить данному обществу в данную минуту те или другие идеи. Идеи Базарова я считаю полезными, — поэтому я говорю о них с уважением; идеи Пушкина я считаю бесполезными, — поэтому я говорю о них с пренебрежением. Спрашивается: где же тут внутреннее противоречие?

Само собою разумеется, что г. Incognito не может допустить той мысли, что произведения Пушкина в настоящую минуту устарели и сделались бесполезными. Он старается доказать, что Пушкин полезен.

Факт состоит в том, — рассуждает г. Incognito, — что если благодаря стихам Пушкина сотни тысяч русских умов, сотни тысяч сердец, сотни тысяч воображений, в одно ли время, или в разные времена, поражаются и будут поражаться одними и теми же представлениями, то между этими

сотнями тысяч образуется духовное родство, образуется связь, которая делает русских более людьми одного племени и одной земли, то есть связь, которая составляет ту самую если не общечеловеческую, то общерусскую солидарность, которая в устах критика отдается только мертвым звуком простой вокабулы (стр. 709).

Как видите, вопрос о стихах Пушкина отожествляется с вопросом о существовании русской литературы. Это — тактика г. Маркова, подменяющего слово *искусство* словом *образование*. Г. Incognito ставит вопрос так: что лучше — читать Пушкина или совсем не читать? — Но русским людям совсем не предстоит такая трагическая альтернатива, и, стало быть, нет никакого разумного основания предлагать такие поразительные вопросы. Отказываясь от Пушкина, сотни тысяч русских умов, сердец и воображений вовсе не утратят своего «духовного родства», потому что эти сотни тысяч попрежнему будут поражаться одними и теми же представлениями, но только не теми, которыми они поражались в былое время. Прежде они поражались представлениями «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника», а теперь они будут поражаться представлениями «Парадного подъезда», «Молотова» и романа «Что делать?». Значит, со стороны духовного родства вы можете быть совершенно спокойны, и если вы хотите доказать полезность и необходимость Пушкина, то вы должны доказать, что представления «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника» действуют на сотни тысяч умов, сердец и воображений *более* благотворным образом, чем представления «Парадного подъезда», «Молотова» и «Что делать?». Если же вы этого не докажете, то ваше дело перед судом русской читающей публики будет проиграно.

С апрельской книжки я начну ряд статей о Пушкине, [46] обещанный мною в прошлом году, и тогда господам обожателям Пушкина представится удобный случай выдвинуть вперед все, что имеется у них в запасе по части защитительных аргументов. Предупреждаю только заранее моих будущих оппонентов, что я совершенно устраняю в вопросе о Пушкине историческую точку зрения. Я очень хорошо знаю, что «Евгений Онегин» гораздо лучше «Фелицы» Державина и что «Капитанская дочка» стоит во всех отношениях выше «Бедной Лизы» Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина в том, что он не был проникнут теми идеями, которые в его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задам себе и решу только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту или же мы можем поставить его на полку, подобно тому как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским?

Защитив по-своему Пушкина, то есть не защитив его нисколько, г. Incognito обращается ко мне с следующим вопросом: «Полагает ли он, что следует издать такой органический закон, которым бы повелевалось писать одним только Шекспирам, а всем прочим

было бы приказано молчать до самого второго пришествия Шекспира и после?» — Смешной и бестолковый вопрос! Нисколько я этого не полагаю. Я полагаю, что литература может и должна всегда управляться сама собою, без всяких органических законов. Пускай пишет всякий все, что ему угодно; пусть пишут гг. Фет, Майков и Полонский; пусть пишут гг. Боборыкин, Аверкиев и Дудышкин; пусть пишут даже гг. Клюшников, Стебницкий и Николай Соловьев; пусть пишет и печатает всякая тварь, умеющая держать перо в руках и имеющая желание и возможность оплатить типографские расходы. Мы нисколько не желаем им в том препятствовать; мы только будем читать и осмеивать их произведения, если они покажутся нам смешными; если смех наш будет разумен и честен, то публика нас послушает и отвернется от осмеянного писателя; если смех наш будет нелеп или пристрастен, то публика назовет нас дураками или негодяями и отвернется от нас самих, как от бездарных и завистливых зоилов.

Видите, г. Incognito, что дело может обойтись без всяких органических законов. Нам даже нет ни малейшего основания желать таких законов, потому что и без их содействия наши идеи, как свидетельствует о том сам г. Incognito, прививаются довольно успешно к общественному сознанию. По словам г. Incognito, «наши выступающие беллетристы» уже проникнуты «новейшим» реализмом; «они, с голоса передовых критиков и не хуже их самих, наперерыв стремятся показать, как сильно в них желание заявить себя тоже «новейшими» реалистами, как диаметрально противоположными эстетикам» (стр. 714). Ну, вот и чудесно! Какого же нам еще органического закона желать, когда мы и без того уже сформировали целую школу беллетристов и когда старая школа вопит устами г. Бабикова: «увы! мы все побеждены». Если кто-нибудь из пишущих людей желает каких-нибудь нелитературных и антилитературных органических законов, то уж во всяком случае к этим желающим невозможно причислить новейших реалистов.

На стр. 708 г. Incognito утверждает, что я прикидываю к продуктам человеческой деятельности мерку моих собственных потребностей и что изящное не подходит под эту мерку. «Но опять, — продолжает он, — для того чтобы оно подходило под нее, не следует ли ему расширить круг этих потребностей, не ограничивая его стрижением ногтей, переменою белья и тому подобными обыденностями? — Именно следует». То есть если я в настоящую минуту могу обходиться без итальянской оперы, без балета, без концертов, без картин и статуй, то, по мнению г. Incognito, мне следует втянуться в эти наслаждения и привыкнуть к ним настолько, чтобы они сделались для меня потребностями. Положим, что я исполнил совет г. Incognito: втянулся. Что же из этого выходит? Выходит то, что я, расширив круг моих потребностей, оказываюсь очень доволен собою и жизнью. Результат прекрасный, но,

к сожалению, я должен объявить г. Incognito, что я и теперь, до расширения круга, очень доволен собою и жизнью. Стало быть, что же я выиграю? Очень мало или совсем ничего. Между тем, расширив круг моих потребностей, я гораздо больше, чем теперь, буду зависеть от внешних обстоятельств. Кроме того — и это самое важное — мое содержание будет обходиться обществу гораздо дороже, чем оно обходится теперь. Опера, балет, концерты, картины, статуи — все это стоит денег, а деньги, как известно всем и каждому, изображают собою видоизмененный продукт тяжелого народного труда. «Расширяйте ваши потребности», — говорит мне г. Incognito. — Я спрашиваю: «Зачем?» — «Затем, чтобы поглощать как можно больше продуктов народного труда».— Я опять спрашиваю: «Зачем?» — «Затем, чтобы у вас были очень широкие потребности». — В той же книжке «Отечественных записок», в которой г. Incognito рекомендует мне оперу и балет, сообщены следующие подробности о частной жизни Прудона. «Когда он издавал газету «Народный голос», то выручал много денег: газета расходилась нарасхват; но себе он оставлял из прибыли лишь 5 фр⟨анков⟩ в день, остальное отдавал бедным. Случались дни, когда газета продавалась в числе ста тысяч экземпляров, но и тогда Прудон не оставлял себе более пяти франков». [47] Любопытно мне было бы узнать, что думает г. Incognito о таком чудаке, как Прудон; если бы г. Incognito умел быть последовательным, то есть если бы его филистерская голова не была разгорожена на отдельные клетки, — он должен был бы смотреть на Прудона с сострадательным презрением, потому что, очевидно, при ежедневном расходе в 5 франков (1 р⟨уб.⟩ 25 к⟨оп.⟩ с⟨еребром⟩) круг личных потребностей Прудона не мог быть широким и не мог вмещать в себя ни оперы, ни балета, ни разных других проявлений изящного. Меня г. Incognito должен уважать несравненно более, чем Прудона, потому что круг моих потребностей гораздо шире.

Впрочем, сущность моего возражения состоит не в том, что человек должен употреблять на подвиги частной благотворительности все деньги, остающиеся у него в руках после покрытия необходимых издержек. Благотворительность всегда будет и всегда должна быть свободным делом личной наклонности. Но вопрос в том: должен или не должен человек своим образом жизни поощрять в обществе развитие непроизводительных отраслей труда? Вопрос в том: какой человек полезнее: тот ли, который покупает у художников картины и статуи, или тот, который на свои деньги заводит фермы и фабрики, а полученные барыши употребляет на заведение новых ферм и новых фабрик? По рассуждениям г. Incognito выходит, что первый полезнее второго или по крайней мере, что второй есть существо низшего разряда в сравнении с первым. Если же г. Incognito отречется от этого заключения, тогда он должен будет снять с меня обязанность втягиваться в оперу

и в балет. И тогда от его аргументации не останется камня на камне.

Г. Incognito старается поддержать изящное историческими аргументами. Он говорит, что сознательная человеческая история «началась с плясовых песен, с хороводных кружений вокруг камней и чурбанов, с воспевания славы солнцу на небе высоком — словом, со всего того, чего никак не могло быть, если бы оно не вызывалось потребностями человеческой природы» (стр. 708). Эта историческая аргументация доказывает слишком много и вследствие этого не доказывает ровно ничего. Если принять эту аргументацию во всем ее объеме, то придется оправдать и рабство, и войну, и человеческие жертвоприношения, и содомский грех, и проституцию, потому что все эти явления повторяются у всех исторических народов и вызываются все без исключения различными потребностями человеческой природы. Весь вопрос состоит в том, как удовлетворяются существующие потребности человеческой природы; так ли, что от этого удовлетворения не страдает ни одно человеческое существо, или же так, что, удовлетворяя своим потребностям, одна группа людей обездоливает другую группу? Если у вас есть потребность слушать пение и если вы удовлетворяете эту потребность вашими собственными средствами, то никто не имеет права возражать против этого удовлетворения: пойте или мурлыкайте, сколько душе вашей будет угодно. Но если вы для удовлетворения вашей потребности формируете себе целую школу певцов, которых содержание ложится на плечи трудящихся людей, то всякий мыслящий человек имеет право вам заметить, что вы отнимаете у работников необходимое для того, чтобы доставить себе такое развлечение, без которого вы легко можете обойтись. Исторический прогресс состоит преимущественно в том, чтобы понемногу возвращать трудящимся массам тот насущный хлеб, который в темные времена насилия и невежества был у них отнят на нерасчетливое удовлетворение слишком широко развернувшихся потребностей. Поэтому доисторическое существование плясовых песен и хороводных кружений нисколько не может служить оправданием современной оперы и новейшего балета.

В пользу живописи г. Incognito приводит тот аргумент, что новейший реалист может «пожелать когда-нибудь, по какому-нибудь случаю иметь портрет своей вышеозначенной трудолюбивой и начитанной подруги». В пользу живописи я сам, в третьей части «Нерешенного вопроса», привел гораздо более сильный аргумент, именно тот, что в учебниках и в популярных, а также и в ученых сочинениях по многим отраслям знания необходимы хорошие рисунки. Что же касается до портретов «трудолюбивой и начитанной подруги», то мне кажется, что обществу нет никакой надобности заботиться о их изготовлении. Беды не будет никакой, если новейший реалист останется без портрета, тем более что очень многие люди остаются, по недостатку материальных средств,

не только без изящного портрета, но даже и без оригинала, то есть без «трудолюбивой и начитанной подруги». А есть и такие люди, которые остаются не только без подруги, но даже без теплого платья и без куска хлеба. При таких условиях сокрушаться об изящных портретах по меньшей мере смешно.

Впрочем, я считаю своей обязанностью успокоить г. Incognito и всех добродушных людей, полагающих, что реалистическая критика стремится к конечному истреблению всех живописцев, музыкантов, скульпторов и других эксплуататоров человеческой наивности. Реалистическая критика очень хорошо понимает, что такая цель недостижима; поэтому она и не задает себе этой задачи. Чего же она хочет? А вот чего. В России каждый год несколько десятков тысяч юношей среднего сословия задают себе вопрос: куда мы пойдем? за какое дело мы возьмемся? Каким ремеслом мы будем заработывать себе насущный хлеб? В те дни, когда гремели имена великого Брюллова, великого Глинки, великого Мочалова, в те дни, когда наша критика стояла на коленях перед святым искусством вообще и перед Пушкиным в особенности, сотни, а может быть, и тысячи легковерных юношей тянулись всеми своими помышлениями к лавровому венку художника. Нарисует юноша две березы в альбом своей кузины и вообразит себе, что у него непреодолимая страсть к живописи, что он обязан развивать свой талант, что он поедет сначала в Петербург, потом в Италию, а потом в храм славы, где признательное человечество увенчивает своих вдохновенных благодетелей. — Подыщет юноша музыку к какому-нибудь водевильному куплетику и сейчас уразумеет, что он музыкант, что ему необходимо отрастить длинные волосы, напустить на лицо задумчивое выражение и отказаться навсегда от всякой полезной работы, потому что

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв
Мы рождены — для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Сыграет юноша без особенного посрамления роль водевильного jeune premier * на домашнем спектакле и в одну минуту сообразит, что ему невозможно не идти по следам Мочалова. И почнет он колотить себя в грудь и выводить нараспев монологи из «Гамлета», который однако, по его мнению, далеко не так заборист, как «Уголино» Полевого или «Джулио Мости» Кукольника.[43]

Что вы о всем этом скажете, гг. эстетики? Хороша была вся эта катавасия? Хорошо это было, что неглупые молодые люди, способные сделаться хорошими хозяевами, честными конторщиками, смышлеными машинистами, изображали своими особами лягушку, желающую раздуться до размеров вола? Хорошо это было, что эти несчастные недоросли, обманутые в своих нелепых

* Первый любовник *(франц.)*. — *Ред.*

надеждах, спивались с кругу, объедали своих родственников и превращались в отъявленных мерзавцев или во всяком случае в праздношатающихся шалопаев? Хорошо это было, что самые счастливые из этих юношей, сделавшись посредственными актерами, посредственными музыкантами, посредственными живописцами, лебезили перед откупщиками, чтобы отобедать у них на даровщинку или чтобы всучить им за выгодную цену картину, билет на концерт или ложу на бенефис? Если положить на одну чашку весов великого Брюллова, великого Глинку, великого Мочалова, а на другую — многие тысячи несчастных лягушек, соблазненных славою волов и лопнувших во время нелепых попыток — дорасти до их величия, то, — как вы думаете, гг. эстетики, — которая из двух чашек перетянет? Или, другими словами, стоит ли овчинка выделки? Стоит ли уродовать *тысячи* человеческих существований для того, чтобы добыть *одну* бесплодную знаменитость? — Реалистическая критика думает, что *не стоит*, и вследствие этого своего глубокого убеждения она старается на место имен великого Брюллова, великого Глинки, великого Мочалова подставить имена великого Дарвина, великого Либиха, великого Клода Бернара. Критика Белинского стояла на коленях перед святым искусством. Реалистическая критика стоит на коленях перед святою наукою. Стремясь по следам Глинки, Брюллова и Мочалова, доверчивые юноши не приобретали ничего, кроме печальной привычки к тунеядству и к сивухе. Выбирая себе в образцы и в руководители Дарвина, Либиха, Бернара и других, доверчивые юноши приобретают и будут приобретать себе знания, привычку к труду и уважение к силе человеческого разума, то есть такие сокровища, которые пригодятся им на всяком житейском поприще. До Бернара не дорастет, быть может, ни один из десяти тысяч, но зато общество обогатится многими хорошими уездными лекарями. Либихом не сделается ни один из десяти тысяч, но зато общество обогатится многими дельными агрономами.

Посредственный художник, даже по мнению эстетиков, есть отрицательная величина; посредственный ученый, напротив того, может быть очень полезен, несмотря на свою посредственность. Что же касается до гениальных натур, то их не остановит и не собьет с толку никакая реалистическая критика. Гениальные натуры преодолевают самые серьезные препятствия; они борются с деспотическою волею родителей, с предрассудками общества, с бедностью, с невежеством и все-таки, несмотря ни на что, идут туда, куда их тянет преобладающая страсть. Если у нас народится какой-нибудь Рафаэль или Моцарт, то он ни за какие коврижки не пойдет в машинисты или в медики и наплюет на всякие реалистические проповеди. Значит, реалистическая критика не давит великих талантов, потому что их задавить невозможно. Она только кормит здоровою умственною пищею ту толпу, которую эстетики опаивали дурманом.

XI

Дерзкий автор «Нерешенного вопроса» осмелился уподобить *лукошку* [49] того великого г. Антоновича, который считает себя в настоящую минуту единственным представителем реальной критики и единственным законным преемником Добролюбова. Великий г. Антонович, как человек неглупый, не обратил никакого внимания на непочтительную выходку так называемого enfant terrible.* Но г. Посторонний сатирик, как человек очень раздражительный и очень ограниченный, огорчился *лукошком* до глубины души и начал изливать свои страдания в горячих и бестолковых полемических статьях. Надо полагать, что *лукошко* действует подобно шпанской мушке, сохраняя притом свою раздражающую силу в течение многих месяцев. С каждым месяцем страдания г. Постороннего сатирика становятся невыносимее, так что, наконец, в январской книжке «Современника» несчастный Дон-Кихот, удрученный *лукошком*, впадает в горячечный бред и с болезненною страстностью принимает свои видения за существующие факты. Ему мерещится какой-то призрак, который он называет «Русским словом»; ему кажется, что этот «призрак» отлынивает от его вопросов и увертывается от прямых объяснений с ним; ему кажется, что он, Посторонний сатирик, бежит за этим призраком, схватывает его, окружает его сплошною стеною занумерованных «*тезисов и вопросов*», тычет его носом «*на номер, не получивший ответа или объяснения*», разбивает его на всех пунктах и заставляет его «*расхлебать кашу*», которую он, призрак, заварил «Нерешенным вопросом». [50] Бедный страдалец обращается к своему призраку с следующим монологом: «Я непременно выведу вас на турнир, и вы непременно будете отвечать мне; я заставлю вас отвечать и вашими же ответами доведу вас до молчания. Вы уже предчувствуете, какая участь ожидает вас на турнире; вы видите перед собою прах поверженного мною г. Косицы и начинаете дрожать за себя. Не бойтесь, с вами я не поступлю так жестоко, как с ним, вас я не обращу пока в прах; но все-таки победу над вами отпраздную блистательно». [51] Все эти разговоры можно вести только с призраком, а никак не с «Русским словом», потому что настоящее, реальное «Русское слово» говорит и молчит, когда ему угодно, не тревожится никакими предчувствиями, не дрожит даже пред великим г. Антоновичем и не рассыплется в прах даже от поразительных карикатур всеусыпляющего «Будильника». [52] Между тем боль от *лукошка* усиливается, и галлюцинация становится еще бессвязнее; г. Постороннему сатирику представляется, что г. Зайцев и г. Благосветлов превратились в два *бутерброда;* [53] это видение, по всей вероятности, выражает собою желание пациента съесть живьем г. Зайцева и г. Благосветлова; однако

---

* Ужасный ребенок *(франц.)*. — *Ред.*

г. Постороннему сатирику не суждено насладиться полным блаженством даже в области горячечных видений; бутерброды минуют его зияющую пасть; один из бутербродов заключает союз с американскими плантаторами, другой — обижает г. Воронова; [54] сердце г. Постороннего сатирика изнывает за негров, изнывает за бедствующего литератора, не дописавшего повесть «Тяжелые годы», изнывает за покойного А. Григорьева, обворованного г. Писаревым, изнывает за «одно лицо», обиженное призраком, изнывает за г. Антоновича, увенчанного *«лукошком»,* изнывает за Шопенгауэра, искаженного г. Зайцевым, [55] — и не изнывает только за «Современник», который бесконечно позорится всеми этими бессмысленными изнываниями.

Я до сих пор говорил о подвигах г. Постороннего сатирика шутливым тоном, потому что о них, по-настоящему, не стоит говорить серьезно; но так как г. Сатирик, по своему безграничному самолюбию, может принять мой шутливый тон за неспособность опровергнуть его болтовню серьезными аргументами, то я дам ему небольшой образчик моего полемического искусства. Во-первых, позвольте вам заметить, г. Посторонний сатирик, что «Русское слово» ни от чего не отлынивает; тот ответ, которого вы требовали от «Русского слова» насчет «Нерешенного вопроса», был вам дан в октябрьской книжке, [56] этот ответ, совершенно ясный и определительный сам по себе, был подкреплен тем обстоятельством, что «Русское слово» продолжало печатать «Нерешенный вопрос» до самого конца, несмотря на все ваши восклицания и несмотря на то, что вы в октябрьской книжке «Современника» заметили совершенно неосновательно, будто «Нерешенный вопрос» мог быть напечатан с бо́льшим удобством в «Отечественных записках» или в «Эпохе». Неосновательность этого последнего замечания доказывается как нельзя лучше тем обстоятельством, что «Отечественные записки» напечатали именно *против* «Нерешенного вопроса» статью г. Incognito, а «Эпоха» напечатала также *против* «Нерешенного вопроса» две статьи г. Николая Соловьева («Теория пользы и выгоды» и «Бесплодная плодовитость»). Из этого факта вы можете вывести для себя одно из двух заключений: или то, что вы не понимаете тенденции тех журналов, о которых беретесь рассуждать, или то, что вы желали оклеветать «Нерешенный вопрос», отбрасывая его в категорию тех статей, которые могут быть напечатаны в филистерских журналах.

Итак, «Русское слово» отвечало вам совершенно ясно и в то же время очень умеренно, что оно не видит никакой надобности отказываться от солидарности с «Нерешенным вопросом». После этого ответа всякие предварительные объяснения с вашей стороны были бесполезны. Вы должны были прямо приступить к разгромлению той статьи, которая вам не нравилась. Если же вы не приступали, то в этом вы должны винить исключительно самого себя. Если вы медлили вследствие великодушного сострадания

к заблуждающимся грешникам, то я должен вам заметить, что ваше милосердие было совершенно неуместно. Ваше долготерпение никого не обратило на путь истины. Вы имеете дело с людьми неблагодарными, закоснелыми во грехе и чрезвычайно недоверчивыми. Эти люди думали и думают до сих пор, что ваше великодушие есть не что иное, как замаскированная пустота. У вас нет доводов против «Нерешенного вопроса», у вас нет самостоятельного миросозерцания, которое вы могли бы противопоставить нашим идеям, у вас нет даже щедринской веселости, которая умела осмеивать и оплевывать то, чего она не понимала, [57] у вас нет ничего, кроме грошового самолюбия, а между тем вы стоите на виду, вы — первый атлет «Современника», на ваших плечах лежит фирма журнала, за вами добролюбовские предания, за вами «Полемические красоты», [58] все это вы должны поддержать, каждая ваша ошибка будет замечена и осмеяна вашими многочисленными противниками, и все это вы сами понимаете вполне. И поневоле, по инстинктивному чувству самосохранения, вы стараетесь отдалить ту неприятную минуту, когда ваше бессилие обнаружится во всей своей наготе. Вы придираетесь к мелочам, вы валите с больной головы на здоровую, вы кидаетесь по сторонам, вы хватаетесь то за негров, то за г. Воронова, вы собираете сплетни, вы выдумываете небылицы и в то же время притворяетесь неустрашимым бойцом и великодушным героем. Но когда-нибудь вся эта плоская комедия должна же кончиться. Положим, вы наполните еще пять-шесть книжек «Современника» *предварительными объяснениями*, [59] — ну, а потом что будет? С «Нерешенным вопросом» вы все-таки ничего не сделаете; а между тем у вас не хватит честности и мужества на то, чтобы откровенно отказаться от «Асмодея нашего времени» как от грубой, но извинительной ошибки. Стараясь защитить проигранное дело, вы окончательно запутаетесь в софизмах и заведете критику «Современника» в те дебри, в которых гнездится наше филистерство. Я вас предостерегаю заранее, но вы, разумеется, меня не послушаете и будете попрежнему сыпать целыми лукошками самого неблаговидного лганья и, наконец, так уроните ваш журнал, что вас не выручат никакие добролюбовские предания. Во всяком случае вы видите теперь, что вам больше незачем великодушничать и что всякие дальнейшие промедления выставят вас в глазах ваших читателей в самом жалком и смешном виде. Поэтому или принимайтесь за «Нерешенный вопрос», или признавайтесь начистоту, что вы до сих пор говорили о Базарове пустяки и что «Асмодей нашего времени» написан великим критиком по неопытности.

Кстати об «Асмодее». Г. Посторонний критик совершенно напрасно проводит ту мысль, что ответственность за эту статью лежит на том лице, которое в то время заведовало редакциею «Современника». Если бы в статье г. Антоновича заключались очевидные нелепости или глупости, тогда, конечно, эта статья

составляла бы пятно на совести редактора, потому что добросовестный редактор должен читать все, что он помещает в своем журнале. Но для того чтобы увидеть несостоятельность «Асмодея», редактор должен был прочесть сначала — и прочесть очень внимательно — самый роман Тургенева. «Асмодей» был напечатан в мартовской книжке «Современника», а роман Тургенева — в февральской книжке «Русского вестника». Значит, антракт между напечатанием романа и напечатанием статьи был так невелик, что редактор как человек, заваленный работою, имел полное право не прочитать романа во время этого антракта. Редактор обязан читать все, что пишут его сотрудники для журнала, но он нисколько не обязан читать все, что читают его сотрудники. В январской книжке «Русского слова» помещена, например, статья г. Щапова, битком набитая ссылками на Лепехина, на Кастрена, на Палласа, на Миддендорфа и еще черт знает на какие мудреные источники и пособия. [60] Неужели же редактор «Русского слова» обязан проверить все эти ссылки и перечитывать все, что прочитал г. Щапов? Ничуть не бывало. Ответственность за основную мысль, за ее направление лежит на авторе *и на редакторе*. Но ответственность за верность сообщаемых фактов лежит *исключительно на одном авторе*. Если бы кто-нибудь доказал, что г. Щапов исказил слово летописей или путешественников, то одному г. Щапову и пришлось бы за это разведываться с критиком. И если бы какой-нибудь озорник поднес г. Щапову *лукошко*, то ни одна частица этого *лукошка* не досталась бы редактору «Русского слова». Печатая статью г. Антоновича, редактор «Современника» имел полное право доверяться г. Антоновичу настолько, чтобы не заподозривать его в злонамеренном искажении или в неумышленном непонимании разбираемых фактов. Если оказывается теперь, что г. Антонович обманул это доверие, то вся вина ложится целиком на одного г. Антоновича.

Статья г. Постороннего сатирика, помещенная в январской книжке «Современника», дает мне превосходный пример для подтверждения этой мысли. В этой статье мы читаем следующие поучительные строки:

> Я утверждал и утверждаю, что взгляд г. Писарева на Катерину как светлое явление русской жизни несогласен с взглядом Добролюбова, а согласен с взглядом А. Григорьева, который высказал свой взгляд прежде г. Писарева; следовательно, взгляд этот принадлежит А. Григорьеву, а не г. Писареву. Ужели же это не правда и есть только мое изобретение? (стр. 159).

На обертке январской книжки написано: «редактор Н. Некрасов». Но я никак не решусь утверждать, что ложное обвинение в литературном воровстве взведено на меня по милости г. Некрасова. Г. Некрасов тут ни в чем не виноват. Он не обязан помнить наизусть все критические статьи, напечатанные в русских журналах. Он не обязан знать, что г. Писарев никогда ни в чем не сходился с г. Григорьевым. Когда человек говорит: «*я утверждал*

и утверждаю», тогда ни одному честному человеку в голову не придет подумать, что это *я утверждаю и утверждает* чистейшую ложь, не основанную решительно ни на чем. Помещая в своем журнале клевету г. Постороннего сатирика, г. Некрасов был, наверное, глубоко убежден в том, что печатает святую истину. А между тем это — *клевета,* и г. Посторонний сатирик сам должен будет признать себя *клеветником,* если не представит в подтверждение своих слов фактических доказательств, то есть если не укажет печатно на тот номер журнала, в котором были изложены взгляды Григорьева, совпадающие с моими взглядами на Катерину. Но за статью «Денежное несчастье с г. Благосветловым» ответственность падает на редактора, потому что тут дело не в фактах, а в тенденции. Г. Некрасов должен был сообразить, что, печатая эту статью, он восстает против принципа гласности, когда этот принцип прилагается к отношениям литераторов между собою. Кто громит г. Лохвицкого, тому восставать против гласности не приходится.[61] — Затем прощайте, господа. *Dominus vobiscum!* *

Март 1865 г.

---

* Господь с вами *(лат.)*. — *Ред.*

ПУШКИН И БЕЛИНСКИЙ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

I

«Онегин», — говорит Белинский, — есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение — значит оценить самого поэта, во всем объеме его творческой деятельности» (Соч. Бел⟨инского⟩, том VIII, стр. 509).[1] Действительно, «Онегин» серьезнее всех остальных произведений Пушкина; в этом романе поэт становится лицом к лицу с современною действительностью, старается вдуматься в нее как можно глубже и по крайней мере не истощает своей фантазии в эффектных, но совершенно бесплодных изображениях младых черкешенок, влюбленных ханов, высоконравственных цыган и неправдоподобно гнусных изменников, которые «не ведают святыни и не помнят благостыни».

Если творческая деятельность Пушкина дает какие-нибудь ответы на те вопросы, которые ставит действительная жизнь, то, без сомнения, этих ответов мы должны искать в «Евгении Онегине». К разбору «Онегина» Белинский приступал с благоговением и, как он сам сознается, *не без некоторой робости*. Об «Онегине» Белинский написал две большие статьи; он говорит, что «эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение» и что «в ней Пушкин является представителем пробудившегося общественного самосознания».

Посмотрим, насколько самый роман оправдывает и объясняет собою все эти восторги нашего гениального критика. Прежде всего надо решить вопрос: что за человек сам Евгений Онегин? — Белинский определяет Онегина так: «Онегин — добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его;

он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность» (стр. 546—547). Сам Пушкин относится к своему герою с уважением и с любовью.

Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он — угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас,
Обоих ожидала злоба
Слепой фортуны и людей,
На самом утре наших дней.
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И к злости мрачных эпиграмм.
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

(Глава I. Строфы XLV, XLVI, XLVII.)

В этом отрывке Пушкин постоянно употребляет такие эластические слова, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла и в которые вследствие этого каждый читатель может втиснуть какой угодно смысл. — Человек обладает резким, охлажденным умом, знает игру страстей; он жил, мыслил и чувствовал; в нем погас жар сердца; его томит жизнь; его ожидает злоба людей и слепой фортуны; — все эти слова могут быть приложены

к какому-нибудь очень крупному человеку, к замечательному мыслителю, даже к историческому деятелю, который старался вразумить людей и которого не поняли, осмеяли или прокляли тупоумные современники. Обманутый хорошими эластическими словами, — теми словами, в которые он сам, мыслитель и деятель, привык вкладывать живую душу, — Белинский посмотрел на Онегина благосклонно и смело выдвинул его из бесчисленной толпы дюжинных личностей. Но мне кажется, что Белинский ошибся. Он поверил *словам* и забыл то обстоятельство, что люди очень часто произносят хорошие слова, не отдавая себе ясного отчета в их значении или по крайней мере придавая этим словам узкий, односторонний и нищенский смысл. В самом деле, попробуем задать себе вопросы: *чем* же охлажден ум Онегина? *Какую* игру страстей он испытал? *На что* тратил и истратил он жар своего сердца? *Что* подразумевает он под словом *жизнь*, когда он говорит себе и другим, что жизнь томит его? *Что* значит, на языке Пушкина и Онегина, *жить, мыслить и чувствовать*?

Ответа на все эти вопросы мы должны искать в описании тех занятий, которым предавался Онегин с самой ранней молодости и которые, наконец, вогнали его в хандру. — В первой главе, начиная с XV до XXXVII строфы, Пушкин описывает целый день Онегина, с той минуты, когда он просыпается утром, до той минуты, когда он ложится спать, тоже утром. Лежа еще в постели, Онегин получает три приглашения на вечер; он одевается и в утреннем уборе едет на бульвар и гуляет там до тех пор,

Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.

Он едет обедать в ресторан Талона, и так как дело происходит зимою, то при сем удобном случае его бобровый воротник серебрится морозной пылью; и это достопамятное обстоятельство дает Белинскому повод заметить, что Пушкин обладает удивительною способностью «делать поэтическими самые прозаические предметы» (т. VIII, стр. 387).

Если бы Белинский дожил до наших времен, то он принужден был бы сознаться, что некоторые художники далеко превзошли великого Пушкина даже в этой удивительной и специально художественной способности. Наши великие живописцы, господа Зарянко и Тютрюмов, воспевают бобровые воротники красками, и воспевают их так неподражаемо хорошо, что каждый отдельный волосок превращается в поэтическую картину и в перл создания. Увидев великие произведения этих великих живописцев, Белинский был бы поставлен в трагическую альтернативу: ему пришлось бы или преклониться перед творческим величием господ Зарянки и Тютрюмова, или отречься от тех эстетических понятий, которые видят заслугу поэта в его удивительной способности воспевать бобровые воротники.

Воспев бобровый воротник, Пушкин воспевает все кушанья того обеда, которым занимается Онегин у Талона. Обед недурен: тут появляются окровавленный ростбиф, трюфли, которые Пушкин называет почему-то роскошью юных лет, нетленный пирог Страсбурга, живой лимбургский сыр, золотой ананас и котлеты, очень горячие, очень жирные и возбуждающие жажду, которая утоляется шампанским. В каком порядке эти поэтические предметы следуют один за другим, — этого Пушкин нам, к сожалению, не объясняет, и прямая обязанность наших антиквариев и библиофилов состоит в том, чтобы пополнить этот важный пробел посредством тщательных исследований.

Когда обед еще не докончен, когда горячий жир котлет еще недостаточно залит волнами шампанского (какого именно шампанского? — это тоже весьма интересный вопрос для усердных комментаторов), звон брегета доносит обедающим, что начался новый балет.

Как злой законодатель театра, как непостоянный обожатель очаровательных актрис (об актрисах, разумеется, нечего напоминать комментаторам; они, разумеется, всех их знают по имени, по отчеству, по фамилии и по самым подробным формулярным спискам) и как почетный гражданин кулис, Онегин летит в балет. (Здесь я с ужасом вспоминаю, что мы решительно не знаем, какой масти была лошадь Онегина и что эту великую тайну, по всей вероятности, не раскроют нам никакие исследования комментаторов.) Войдя в театральную залу, Онегин начинает обнаруживать охлажденность своего ума; окинув взором все ярусы, он, по словам Пушкина, все видел и остался ужасно недоволен лицами и убором; потом, раскланявшись с мужчинами, взглянул на сцену в большом рассеянье, потом даже отворотился и зевнул и молвил:

Всех пора на смену,
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел.

Приведя это суровое антибалетное восклицание разочарованного Онегина, Пушкин сам почувствовал, что он ставит своего героя в довольно смешное положение, потому что люди, действительно обладающие резким и охлажденным умом, не станут тратить своей иронии на отрицание балетмейстера Дидло и дамских уборов. Почувствовав смешное положение Онегина, Пушкин приделал к XXI строфе следующее юмористическое примечание: «Черта охлажденного чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». Этим примечанием Пушкин, очевидно, хотел показать, что он сам подтрунивает над бутадою Онегина и не принимает этой бутады

за симптом серьезной разочарованности. Но примечание это производит очень слабое впечатление на внимательного и недоверчивого читателя; такой читатель видит, что, кроме забавных бутад, резкий и охлажденный ум Онегина не порождает ровно ничего. В XXI строфе I главы Онегин отрицал балеты Дидло, а в IV и в V строфах III главы Онегин отрицает брусничную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну и глупый небосклон. И этими немногими, весьма невинными выходками исчерпывается до самого дна та злость мрачных эпиграмм, которою угрожал нам Пушкин в XLVI строфе I главы. Злее и мрачнее этих эпиграмм мы от Онегина ничего и не услышим до самого конца романа. Если все эпиграммы Онегина были так же мрачны и так же злы, то немудрено, что Пушкин привык к ним очень скоро.

Продолжая проявлять свою разочарованность, Онегин уезжает из театра в то время, когда амуры, черти и змеи еще скачут и шумят на сцене. Не интересуясь их скаканием и шумением, он едет домой, переодевается для бала и отправляется танцевать до утра. В то время, когда Онегин переодевается, Пушкин превращает в поэтические предметы те гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которые украшают кабинет «философа в осьмнадцать лет». Философом же юный Онегин оказался, вероятно, именно потому, что у него очень много гребенок, пилочек, ножниц и щеток; но и сам Пушкин по части философии не желает отставать от Онегина и вследствие этого высказывает весьма категорически ту философскую истину, любезную Павлу Кирсанову, что можно быть дельным человеком и думать о красоте ногтей. Эту великую истину Пушкин поддерживает другою истиною, еще более великою. «К чему, — спрашивает он, — бесплодно спорить с веком?» Так как XIX век, очевидно, направляет все свои усилия к тому, чтобы превратить ногти в поэтические предметы, то, разумеется, относиться равнодушно к красоте ногтей значит быть ретроградом и обскурантом... «Обычай, — продолжает философ Пушкин, — деспот меж людей». Ну, разумеется, и притом обычай всегда останется деспотом *меж* таких философов, как Онегин и Пушкин. К сожалению, число таких драгоценных мыслителей понемногу начинает убывать. — Пушкин насказал бы нам еще много философских истин, но Онегин уже оделся, уподобился ветреной Венере, надевшей мужской наряд, и в ямской карете поскакал *стремглав* (вероятно, вследствие охлажденности ума) на бал. Пушкин, разумеется, спешит за ним, и поток философских истин на несколько времени иссякает. — На бале мы совершенно теряем из виду Онегина и решительно не знаем, в чем выразилось его несомненное превосходство над презренною толпою. Введя своего героя в бальную залу, Пушкин весь предается воспоминаниям о ножках и рассказывает с неподражаемым увлечением, как он однажды завидовал волнам, «бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам». Недоверчивый читатель, быть может, усомнится

в том, чтобы волны действительно ложились к ее ногам *с любовью*, но я отвечу такому неотесанному читателю, что прозаические волны превращены здесь в поэтические предметы и что поэтому со стороны поэта даже очень похвально приписать им, для пущей поэтичности, любовь к женщине вообще или к ее ногам в особенности. Что же касается до завидования неодушевленному предмету, прикасающемуся или приближающемуся к красивой женщине так или иначе, то я надеюсь, что против этого даже самый неотесанный читатель не осмелится представить никакого скептического возражения, потому что этот мотив выяснен и разработан до последней тонкости глубокомысленным и изящным романсом «Ах, зачем я не бревно», — романсом, достаточно известным не только грамотной, но даже и безграмотной России. — Объяснив читателям, что милые ноги привлекали его сильнее и даже несравненно сильнее, чем уста, ланиты и перси, Пушкин вспоминает о своем Онегине, везет его с бала домой и укладывает в постель в то время, когда рабочий Петербург уже начинает просыпаться. Когда Онегин встает от сна, тогда начинается опять та же история: гулянье, обед, театр, переодеванье, бал и сон.

II

Итак, Онегин ест, пьет, критикует балеты, танцует целые ночи напролет — словом, ведет очень веселую жизнь. Преобладающим интересом в этой веселой жизни является «наука страсти нежной», которою Онегин занимается с величайшим усердием и с блестящим успехом. «Но был ли счастлив мой Евгений?» — спрашивает Пушкин. Оказывается, что Евгений не был счастлив, и из этого последнего обстоятельства Пушкин выводит заключение, что Евгений стоял выше пошлой, презренной и самодовольной толпы. С этим заключением соглашается, как мы видели выше, Белинский; но я, к крайнему моему сожалению, принужден здесь противоречить как нашему величайшему поэту, так и нашему величайшему критику. Скука Онегина не имеет ничего общего с недовольством жизнью; в этой скуке нельзя подметить даже инстинктивного протеста против тех неудобных форм и отношений, с которыми мирится и уживается, по привычке и по силе инерции, пассивное большинство. Эта скука есть не что иное, как простое физиологическое последствие очень беспорядочной жизни. Эта скука есть видоизменение того чувства, которое немцы называют Katzenjammer * и которое обыкновенно посещает каждого кутилу на другой день после хорошей попойки. Человек так устроен от природы, что он не может постоянно обжираться, упиваться

* Похмелье. — *Ред.*

и изучать «науку страсти нежной». Самый крепкий организм надламливается или по крайней мере истаскивается и утомляется, когда он чересчур роскошно пользуется разнообразными дарами природы. Всякое наслажденье притупляет в большей или в меньшей степени, на более или менее долгое время, ту способность нашего организма, которая воспринимает это наслажденье. Если отдельные приемы наслажденья быстро следуют один за другим и если эти приемы очень сильны, то наша способность наслаждаться совершенно притупляется, и мы говорим, что нам надоело и опротивело то или другое приятное занятие. Это притупление одной из наших способностей совершается помимо всяких умственных соображений и совершенно независимо от каких бы то ни было критических взглядов на то занятие, которое мы прежде любили и к которому мы потом охладели.

Представьте себе, что вы очень любите какое-нибудь питательное и здоровое кушанье, например пудинг; в один прекрасный день это любимое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо; вы объедаетесь им и сильно расстраиваете себе желудок; после этого легко может случиться, что вы получите к пудингу непобедимое отвращение, которое, разумеется, будет совершенно независимо от ваших теоретических понятий о пудинге. Вы знаете очень хорошо весь состав пудинга; вы знаете, что в него не кладут никаких ядовитых веществ; вы видите, что другие люди при вас едят его с удовольствием, и при всем том вам, прежнему любителю пудинга, это кушанье не идет в горло.

Отношения Онегина к различным удовольствиям светской жизни похожи, как две капли воды, на ваши отношения к пудингу. Онегин всем объелся, и его от всего тошнит. Если не всех светских людей тошнит так, как Онегина, то это происходит единственно оттого, что не всем удается объесться. Как специалист в «науке нежной страсти», Онегин, разумеется, стоит выше многих своих сверстников. Он красив собою, ловок, il a la langue bien pendue,* как говорят французы, и в этих особенностях его личности заключается вся тайна его разочарованности и его мнимого превосходства над презренною толпою. Другие светские люди, ведущие вместе с Онегиным пустую и веселую жизнь, совсем не одерживают побед над светскими женщинами или одерживают этих побед очень немного, так что не успевают притупить своего чувства с этой стороны. «Наука нежной страсти» продолжает быть для них привлекательною, потому что они встречают в ней серьезные трудности, которые они желают и надеются преодолеть. Для Онегина эти трудности не существуют; он наслаждается тем, к чему другие только стремятся, и вследствие неумеренного наслажденья он притупляет в себе вкус и влечение ко всему, что составляет содержание светской жизни.

* У него язык хорошо подвешен (*франц.*). — *Ред.*

До сих пор превосходство Онегина заключается только в том, что он лучше многих других умел «тревожить сердца кокеток записных». Легко может быть, что Пушкин любит и уважает своего героя именно за эту особенность его личности. Но кто имеет понятие о Белинском, тот, конечно, знает, что Белинский не мог бы относиться к Онегину с сочувствием, если бы видел в нем только искусного соблазнителя записных кокеток.

Итак, посмотрим, что будет дальше; посмотрим, за какое средство ухватится объевшийся Онегин, чтобы победить свой Katzenjammer и чтобы снова помириться с жизнью. Когда человеку надоело наслажденье и когда этот человек в то же время чувствует себя молодым и сильным, тогда он непременно начинает искать себе труда. Для него наступает пора тяжелого раздумья; он всматривается в самого себя, всматривается в общество; он взвешивает качество и количество своих собственных сил; он оценивает свойства тех препятствий, с которыми ему придется бороться, и тех общественных потребностей, которые стоят на очереди и ожидают себе удовлетворения. Наконец из его раздумья выходит какое-нибудь решение, и он начинает действовать; жизнь ломает по-своему его теоретические выкладки; жизнь старается обезличить его самого и переработать по общей, казенной мерке весь строй его убеждений; он упорно борется за свою умственную и нравственную самостоятельность, и в этой неизбежной борьбе обнаруживаются размеры его личных сил. Когда человек прошел через эту школу размышления и житейской борьбы, тогда мы имеем возможность поставить вопрос: возвышается ли этот человек над безличною и пассивною массою или не возвышается? Но пока человек не побывал в этой переделке, до тех пор он в умственном и в нравственном отношении составляет для нас такую же неизвестную величину, какую мы видим, например, в грудном ребенке. Если же человек, утомленный наслажденьем, не умеет даже попасть в школу раздумья и житейской борьбы, то мы тут уже прямо можем сказать, что этот эмбрион никогда не сделается мыслящим существом и, следовательно, никогда не будет иметь законного основания смотреть с презреньем на пассивную массу.— К числу этих вечных и безнадежных эмбрионов принадлежит и Онегин

Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая за перо взялся, —
Хотел писать; но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его.

(Глава I. Строфа XLIII.)

Шляться в течение нескольких лет по ресторанам и по балетам, потом вдруг, ни с того ни с сего, усесться за письменный стол и взять перо в руки с тем, чтобы сделаться писателем, — это

фантазия по меньшей мере очень странная. Браться за перо, *зевая*, и в то же время ожидать, что перо напишет что-нибудь мало-мальски сносное, — это также нисколько не остроумно. Наконец отвращение Онегина к упорному труду, отвращение, которое так откровенно признает сам Пушкин, составляет симптом очень печальный, по которому мы уже заранее имеем право предугадывать, что Онегин навсегда останется эмбрионом. Но не будем торопиться в произнесении окончательного приговора. Когда человек входит в новую фазу жизни, тогда он поневоле идет ощупью, берется за непривычное дело очень неискусно, переходит от одной ошибки к другой, испытывает множество неудач и только посредством этих ошибок и неудач выучивается понемногу работать над теми вопросами, которые настоятельно требуют от него разрешения.

Онегин увидал, что он не может быть писателем и что сделаться писателем гораздо труднее, чем пообедать у Талона. Эта крошечная частица житейской опытности, вынесенная им из первого столкновения с вопросом о труде, повидимому не пропала для него даром. По крайней мере вторая попытка его оказывается гораздо благоразумнее первой.

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он с похвальной целью
Себе усвоить ум чужой.

(Строфа XLIV.)

Значит, начал читать. Это придумано недурно. Но именно эта удачная, хотя и очень простая выдумка тотчас раскрывает перед нами ту истину, что Онегин — человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный.

Отрядом книг уставил полку;
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман и бред;
В том совести, — в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна:
Как женщин, он оставил книги
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

(Строфа XLIV.)

Если бы Онегин расправился так бойко с одними русскими книгами, то в словах поэта можно было бы видеть злую, но справедливую сатиру на нашу тогдашнюю вялую и ничтожную литературу. Но, к сожалению, мы знаем доподлинно, из других мест романа, что Онегин умел читать всякие книжки, и французские, и немецкие (Гердера), и английские (Гиббона и Байрона), и даже италья-

ские (Манзони). В его распоряжении находилась вся европейская литература XVIII века, а он сумел только задернуть полку с книгами траурной тафтой. Пушкин, повидимому, желал показать, что проницательный ум и неукротимый дух Онегина ничем не могут удовлетвориться и ищут такого совершенства, которого даже и на свете не бывает. Но показал он совсем не то. Он показал одно из двух: или то, что Онегин не умел себе выбрать хороших книг, или то, что Онегин не умел оценить и полюбить тех мыслителей, с которыми он познакомился. По всей вероятности, Онегина постигли обе эти неудачи; то есть и выбор книг был неудовлетворителен, и понимание было из рук вон плохо. Онегин, вероятно, накупил себе всякой всячины, начал глотать одну книгу за другою без цели, без системы, без руководящей идеи; почти ничего не понял, почти ничего не запомнил и бросил, наконец, это бестолковое чтение, убедивши себя в том, что он произошел всю человеческую науку, что все мыслители — дурачье и что всех их надо повесить на одну осину. Это отрицание, конечно, очень отважно и очень беспощадно, но оно, кроме того, чрезвычайно смешно и для отрицаемых предметов совершенно безвредно. Когда человек отрицает решительно все, то это значит, что он не отрицает ровно ничего и что он даже ничего не знает и не понимает. Если этим легким делом сплошного отрицания занимается не ребенок, а взрослый человек, то можно даже смело утверждать, что этот бойкий господин одарен таким неподвижным и ленивым умом, который никогда не усвоит себе и не поймет ни одной дельной мысли. Онегин расправляется с книгами так, как он расправился выше с балетами Дидло и как он в III главе будет расправляться с глупою луною и с глупым небосклоном. Он произносит резкую фразу, которую доверчивые люди принимают за смелую мысль. Враждебное столкновение его с книгами составляет в его жизни последнюю попытку отыскать себе труд. После этой попытки Онегин и Пушкин окончательно убеждаются в том, что для высших натур не существует в жизни увлекательного труда и что чем человек умнее, тем больше он должен скучать. Сваливать таким образом всякую вину на роковые законы природы, конечно, очень удобно и даже лестно для тех людей, которые не привыкли и не умеют размышлять и которые, посредством этого сваливания, могут, без дальнейших хлопот, перечислить себя из тунеядцев в высшие натуры. У Пушкина особенно развита эта замашка выдумывать законы природы и ставить эти выдуманные законы как границу, за которую не может проникнуть никакое исследование. Спрашивается, например, отчего люди скучают? — На это можно отвечать: оттого, что они ничего не делают. — А отчего они ничего не делают? — Оттого, что за них работают другие люди. — А это отчего происходит? — На этот вопрос также можно отыскать ответ, но только, разумеется, тут придется въехать и в историю, и в политическую экономию, и в физиологию, и в опытную психологию.

Но у Пушкина дело не доходит даже до второго вопроса. У него сию минуту готов закон природы. Пушкинский Фауст говорит, например, Мефистофелю: «мне скучно, бес», а Мефистофель немедленно объясняет ему, что «таков вам положен предел» и что «вся тварь разумная скучает». И Фауст доверчиво и даже с некоторым ужасом выслушивает вздорную болтовню Мефистофеля, а потом, для развлечения, приказывает Мефистофелю утопить испанский трехмачтовый корабль, готовый пристать к берегам Голландии. Эта так называемая «Сцена из Фауста» составляет превосходный комментарий к «Евгению Онегину». В этой «сцене» демонизм, как понимает его Пушкин, доведен уже до последних границ нелепого и смешного. Тут уже для читателя становится ясно, что пушкинский Фауст — совсем не Фауст и совсем не высшая натура, а просто развеселый купеческий сынок, которому свойственно не топить трехмачтовые испанские корабли, а разрушать большие зеркала в русских увеселительных заведениях. Над Мефистофелем этот резвый юноша не имеет ни малейшей власти, но должность Мефистофеля исправляет при этом российском Фаусте толстый бумажник, наполненный кредитными билетами. Именно этот карманный Мефистофель и дает ему возможность бить зеркала для того, чтобы разнообразить жизнь и прогонять на несколько минут роковую скуку. Отнимите у российского Фауста бумажник — и он тотчас сделается тише воды, ниже травы, скромнее красной девушки. Вместе с вспышками демонической натуры пропадет и роковая скука. Фауст пойдет в чернорабочие и затеряется в той серой толпе, которую он отважно давил своими рысаками во времена своего господства над карманным Мефистофелем.

По натуре своей Онегин чрезвычайно похож на Фауста, который в романе топит испанские корабли, а в жизни крушит русские зеркала. И демонизм Онегина также целиком сидит в его бумажнике. Как только бумажник опустеет, так Онегин тотчас пойдет в чиновники и превратится в Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель ни за что не отличит его от той толпы, которую он презирал на том основании, что он будто бы «жил и мыслил».

Итак, Онегин скучает не оттого, что он не находит себе разумной деятельности, и не оттого, что он — высшая натура, и не оттого, что «вся тварь разумная скучает», а просто оттого, что у него лежат в кармане шальные деньги, которые дают ему возможность много есть, много пить, много заниматься «наукой нежной страсти» и корчить всякие гримасы, какие он только пожелает состроить. Ум его ничем не охлажден, — он только совершенно нетронут и неразвит. *Игру страстей* он испытал настолько, насколько эта игра входит в «науку страсти нежной». О существовании других, более сильных страстей, — страстей, направленных к идее, он даже не имеет никакого понятия, подобно

тому как не имеет о них понятия пушкинский Фауст. *Жар* своего *сердца* Онегин истратил на будуарные сцены и на маскарадные похождения. Если Онегин думает, что *жизнь томит* его, то он думает чистый вздор; кого жизнь действительно томит, тот не поскачет на почтовых за наследством в деревню умирающего дяди. *Жить*, на языке Онегина, значит гулять по бульвару, обедать у Талона, ездить в театры и на балы. *Мыслить* — значит критиковать балеты Дидло и ругать луну дурой за то, что она очень кругла. *Чувствовать* — значит завидовать волнам, которые ложатся к ногам хорошенькой барыни. *Кто жил и мыслил* подобно Онегину, *тот*, разумеется, *не может не презирать людей*, живущих менее роскошно и мыслящих не столь оригинально. *Кто чувствовал* подобно Онегину, *того*, разумеется, *тревожит призрак невозвратимых дней*, то есть тех дней, когда случалось видеть вблизи ножки, ланиты, перси и разные другие интересные подробности женского тела. — Таким образом, я ответил на все вопросы, поставленные мною в первой главе, и у нас оказался тот неожиданный результат, что Онегин совсем не «дух отрицанья, дух сомненья», а просто коварный изменник и жестокий тиран дамских сердец. Мы увидим ниже, что этот результат оправдывается всем дальнейшим ходом романа.

III

Пушкин подружился с Онегиным и признал за ним право презирать людей в то время, когда Онегин, постигнув суетность науки, задергивал траурной тафтой полку с книгами. Вслед за тем умер отец Онегина, и Евгений предоставил наследство кредиторам,

> Большой потери в том не видя
> Иль предузнав издалека
> Кончину дяди-старика.

Действительно, дядя вскоре занемогает, и,

> Прочтя печальное посланье,
> Евгений тотчас на свиданье
> Стремглав по почте поскакал
> И уж заранее зевал,
> Приготовляясь, денег ради,
> На вздохи, скуку и обман.

О предстоящих занятиях с больным дядей Онегин размышлял так:

> Но, боже мой, какая скука
> С больным сидеть и день и ночь,
> Не отходя ни шагу прочь.
> Какое низкое коварство
> Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!

Все это очень естественно и изложено очень хорошими стихами, но все это, очевидно, совершенно уравнивает Онегина с самыми презренными людьми презренной толпы. Из-за чего суетятся, сгибаются в дугу, актерствуют и подличают самые презренные люди? Из-за чего Молчалин ходит на задних лапках перед Фамусовым и перед всеми его важными гостями? — Из-за презренного металла, которым поддерживается бренное существование. А ради чего Онегин скачет *стремглав по почте* и приготовляется к хождению на задних лапках перед умирающим родственником?— *Денег ради,* — отвечает Пушкин с свойственною ему откровенностью. Онегин унижается перед дядей, Молчалин унижается перед начальником; побудительная причина у обоих одна и та же. С какой же стати Пушкин дает Онегину право презирать толпу, в которой молчалинство составляет самую темную и грязную сторону? Если Онегину необходимо упражняться в презрении, то ему следовало бы начать с самого себя и даже кончить самим собою, то есть сосредоточить навсегда все свое презрение на собственной личности и оставить толпу в покое, потому что даже такой мелкий человек толпы, как Молчалин, все-таки стоит выше блестящего денди Онегина. Молчалин подличает потому, что в русской жизни господствует, как остроумно заметил Помяловский, своеобразный экономический закон, вследствие которого человек, дающий работу, считает себя благодетелем человека, получающего и выполняющего работу.[2] Очень немногие отрасли труда освободились от господства этого своеобразного закона, и, разумеется, то поприще, на котором подвизается Молчалин, относится к числу не освободившихся отраслей. Подличая перед Фамусовым, Молчалин добивается только того, чтобы у него не отняли работы и чтобы ему платили за эту работу хорошие деньги. Разумна ли и полезна ли сама работа — за это Молчалин не отвечает, потому что не он ее выдумал. Дело Молчалина — трудиться, и он действительно трудится, и его начальник, Фамусов, сознается, что Молчалин — деловой человек. Когда же Онегин подличает перед дядей, тогда он ждет от дяди не работы и не задельной платы, а даровой подачки, что, конечно, несравненно унизительнее для человеческого достоинства. Онегину постыл упорный труд, и вследствие этого каждый человек, способный трудиться, имеет полное и разумное право смотреть на Онегина с презрением, как на вечного недоросля в умственном и в нравственном отношении. Получив наследство, Онегин улучшает положение мужиков:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил:
Мужик судьбу благословил.

Это, конечно, недурно со стороны Онегина. Но это доказывает только, во-первых, что Онегин не Плюшкин, и не Гарпагон, и не Скупой рыцарь; а во-вторых, что полученное наследство было достаточно велико. Легкий оброк, несмотря на всю свою легкость, все-таки давал Онегину полную возможность иметь в деревне «обед довольно прихотливый», пить с Ленским бордо и шампанское, а потом, после смерти Ленского, разъезжать в течение двух лет по России. Если бы наследство было менее значительно, то, по всей вероятности, мужику не пришлось бы благословлять судьбу, потому что Онегин вряд ли отказался бы от бордо, от странствований по России и от разных других удобств жизни, которые должны оплачиваться «легким оброком» или «старинною барщиною». Значит, отношения Онегина к мужикам украшают нашего героя только отрицательным достоинством, то есть спасают его от упрека в корыстолюбии.

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле,
Потом уж наводили сон.

(Гл. I. Стр. LIV.)

И, разумеется, хандра стала бегать за ним, «как тень иль верная жена». Многим — в том числе и Пушкину — эта способность скучать всегда и везде кажется привилегиею сильных умов, не способных удовлетворяться тем, что составляет счастье обыкновенных людей. Пушкин здесь, как и везде, подметил и обрисовал самый факт совершенно верно; но чуть только дело доходит до объяснения представленного факта, Пушкин тотчас впадает в самые грубые ошибки. Действительно, человек, подобный Онегину, испорченный до мозга костей систематическою праздностью мысли, должен скучать постоянно; действительно, такой человек должен кидаться с жадностью на всякую новизну и должен охладевать к ней, как только успеет в нее вглядеться; все это совершенно верно, но все это доказывает не то, что он слишком много жил, мыслил и чувствовал, а, совсем напротив, то, что он вовсе не мыслил, вовсе не умеет мыслить и что все его чувства были всегда так же мелки и ничтожны, как чувства остроумного джентльмена, завидующего счастливому бревну,[3] на которое оперлась чья-то хорошенькая ножка. В области мысли Онегин остался ребенком, несмотря на то, что он соблазнил многих женщин и прочитал много книжек. Онегин, как десятилетний ребенок, умеет только воспринимать впечатления и совсем не умеет их перерабатывать. Оттого он и нуждается в постоянном притоке свежих впечатлений; пока перед его глазами мелькают новые картинки, невиданные переливы красок, непривычные

комбинации линий и теней, до тех пор он спокоен, не хмурится и не пищит. Ум его, по обыкновению, находится в бездействии; наш герой широко раскрывает глаза и через эти раскрытые форточки совершенно пассивно втягивает в себя впечатления окружающего мира; когда декорации быстро переменяются, тогда форточки работают исправно, и пассивное втягивание впечатлений мешает нашему герою оставаться наедине с самим собою; когда же передвижение декораций прекращается и когда вследствие этого бесцельное глазение становится невозможным, тогда хроническое бездействие ума выдвигается на первый план, Онегин остается наедине с своею умственною нищетою, и, разумеется, ощущение этой безнадежной нищеты погружает его в то психическое состояние, которое называется скукою, тоскою или хандрою. Все это нисколько не величественно и нимало не трогательно. — Постоянным собеседником и приятелем Онегина, скучающего в деревне, становится его молодой сосед,

По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

(Гл. II. Стр. VI.)

Плоды учености этого господина были, по всей вероятности, никуда не годны, потому что этому господину было «без малого осьмнадцать лет»; а между тем он считал уже свое образование оконченным и помышлял только о том, чтобы поскорее жениться на Ольге Лариной, наплодить побольше детей и написать побольше стихотворений о романтических розах и о туманной дали. В чем заключались геттингенские свойства его души и в чем проявлялось его уважение к Канту, — это остается для нас вечною тайною. О его вольнолюбивых мечтах мы также ровно ничего не узнаем, потому что во время своих свиданий с Онегиным геттингенская душа только и делает, что тянет шампанское да врет эротические глупости. Неотъемлемою собственностью Ленского остаются, таким образом, длинные черные волосы, всегдашняя восторженность речи и пылкость духа с достаточною примесью странности. Все это вместе должно было делать его общество совершенно невыносимым для всякого мало-мальски серьезного и мыслящего человека; но Онегину эта недоучившаяся пифия, разумеется, очень понравилась, по той простой причине, что Онегину прежде всего было необходимо хоть чем-нибудь занять ту или другую пару форточек, то есть дать какую-нибудь работу

или глазам, или ушам. А так как Ленский болтал восторженно и неудержимо, то, стало быть, участь онегинских ушей была вполне обеспечена.

Пушкин уверяет нас, что беседы этих двух мыслителей были чрезвычайно разнообразны.

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

(Гл. II. Стр. XVI.)

В этих беседах могли бы обнаружиться и особенности геттингенской души и охлажденность онегинского ума; в этих беседах могли бы обрисоваться со всех сторон политические, нравственные и всякие другие убеждения Онегина и Ленского; но, к сожалению, в романе не представлено ни одной такой беседы, и вследствие этого мы имеем полное право крепко сомневаться в том, имелись ли у этих двух празднощатающихся джентльменов какие-нибудь убеждения.

Читатели мои, по всей вероятности, знают и помнят очень хорошо, что Пушкин в «Евгении Онегине» рассуждает чрезвычайно пространно о всевозможных предметах, очень мало относящихся к делу: тут и дамские ножки, и сравнение *аи* с *бордо*, и негодование против альбомов петербургских дам, и соображения о том, что наше северное лето — карикатура южных зим, воспоминания о садах лицея, и многое множество других вставок и украшений. А между тем когда нужно решить действительно важный вопрос, когда надо показать, что у главных действующих лиц были определенные понятия о жизни и о междучеловеческих отношениях, тогда наш великий поэт отделывается коротким и совершенно неопределенным намеком на какие-то разнообразные беседы, которые будто бы рождали споры и влекли к размышлению. Один такой спор, очевидно, охарактеризовал бы Онегина несравненно полнее, чем десятки очень милых, но совершенно ненужных подробностей о том, как он играл на бильярде тупым кием, как он садился в ванну со льдом, в котором часу он обедал и так далее. Ни одного такого спора мы не видим в романе. И это еще не все. Пушкин упоминает о разнообразных беседах в XVI строфе II главы, а в XV строфе он сообщает нам такие подробности, которые, быть может, делают величайшую честь нежности онегинского сердца, но которые в то же время совершенно уничтожают возможность серьезных споров, влекущих к размышлению.

Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,

И вечно вдохновенный взор —
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству,
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству.

Какой же дельный спор, какой же серьезный обмен мыслей возможен тогда, когда один из собеседников постоянно старается воздерживаться от охладительных слов и когда другой собеседник постоянно пылает, то есть постоянно нуждается в охлаждении? Если мы пересмотрим те предметы разговора, которые перечислены Пушкиным в XVI строфе, то мы немедленно убедимся в том, что споры об этих предметах были совершенно невозможны без охладительных слов со стороны Онегина. Если эти споры действительно влекли к размышлениям, то они должны были состоять почти исключительно в том, что Ленский фантазировал и предавался сладостному оптимизму, а Онегин произносил разные печальные истины и охладительные слова. В самом деле, что их занимало? Во-первых, *племен минувших договоры*. Хотя это выражение очень неудачно и неясно, однако можно понять, что тут дело идет об исторических вопросах. Ясное дело, что Ленский, как идеалист и как поэт, должен был строить в области истории разные красивые и трогательные тенденции, а Онегин, как скептик, должен был разрушать эти построения охладительными аргументами. Если даже мы примем слово *договоры* в его точном и буквальном значении, то и тогда спор вряд ли обойдется без охладительных слов. Об Анталкидовом мире или о договоре Олега с греками можно, конечно, рассуждать совершенно безопасно и беспристрастно; но, по всей вероятности, друзья наши не забирались в такую глубокую древность; если же они беседовали о каком-нибудь договоре поновее, например о Священном союзе, или о Венском конгрессе, или о Карлсбадских конференциях,[4] то Ленский с большим удобством мог предаваться неосновательным восторгам, против которых необходимо было действовать охладительными словами. Во-вторых — *плоды наук*. Тут все зависит от того, *какие* плоды. О математических сочинениях Эйлера или Лагранжа можно рассуждать без охладительных слов. Но если только друзья наши брали что-нибудь поживее, например систему мира Лапласа или теорию перерождений Ламарка, то охладительные слова становились неизбежными, потому что такие ученые, как Лаплас и Ламарк, разрушают очень многие заблуждения, весьма драгоценные для юных идеалистов и романтиков. А так как друзья наши вряд ли беседовали об аналитической геометрии и так как, по всей вероятности, они выбирали те *плоды науки*, которые, так или иначе, затрогивают общие вопросы миросозер-

цания, то, стало быть, и о *плодах науки* нельзя было спорить без охладительных слов. В-третьих — *добро и зло,* то есть основания нравственности. Тут столкновение противоположных убеждений совершенно неизбежно, и необходимость охладительных слов до такой степени очевидна, что нечего об этом и распространяться. В-четвертых — *предрассудки вековые.* Если происходил спор о вековых предрассудках, то этот спор мог принимать одну из двух главных форм: или Онегин считал какое-нибудь мнение за предрассудок, а Ленский доказывал его разумность; или же, наоборот, Ленский нападал на предрассудок, а Онегин его отстаивал. В первом случае Ленский, как юноша и поэт, брал под свое покровительство разные красивые иллюзии, которые Онегин, как человек, познакомившийся с жизнью, отрицал и осмеивал. Во втором случае Ленский, как юный и горячий представитель чистой теории, не склоняющейся ни на какие компромиссы, осуждал, с высоты своей идеи, разные мелкие слабости общества, которые Онегин, как опытный человек, считал извинительными или даже неизбежными. В том и в другом случае Онегину пришлось бы совершенно отказаться от спора, если бы он захотел воздерживаться от охладительных слов. В-пятых — *гроба тайны роковые.* Час от часу не легче. Если возможен какой-нибудь спор о *роковых тайнах гроба,* то этот спор может происходить только насчет бессмертия души. Между Онегиным и Ленским спор, без сомнения, должен был завязаться так, что Онегин отрицал, а Ленский утверждал. Начиная такой спор, Онегин, очевидно, затрогивал такой предмет, который составлял для юного идеалиста величайшую и неприкосновеннейшую драгоценность. Как бы мягко и осторожно Онегин ни выражался, во всяком случае уже тот факт, что он ставил знак вопросительный там, где Ленский ставил точку или знак восклицательный, — один этот факт, говорю я, должен был произвести на несчастного поэта гораздо более потрясающее впечатление, чем всевозможные охладительные слова. В-шестых — *судьба и жизнь.* Ну, это выражение так неясно и так растяжимо, что о нем нечего и говорить.

Подробный анализ тех высоких предметов, о которых разговаривали Онегин и Ленский, приводит меня к тому заключению, что они ни о каких высоких предметах не разговаривали и что Пушкин не имеет никакого понятия о том, что значит серьезный спор, влекущий к размышлению, и какое значение имеет для человека сознанное и глубоко прочувствованное убеждение. Пушкину хотелось, чтобы Онегин в своих отношениях к Ленскому обнаруживал грациозную мягкость своего характера, и Пушкин, как человек, хорошо знакомый с грациозною мягкостью и совершенно незнакомый с убеждениями, не сообразил того, что, навязывая своему герою это изящное свойство, он осуждал его на такую жалкую бесцветность, при которой возможны только прения

о погоде, о достоинствах шампанского, да, пожалуй, еще о договорах Олега с греками. Если бы Онегин действительно имел какие-нибудь убеждения, то, подружившись с Ленским, он, именно из привязанности к нему, старался бы откровенно поделиться с ним своими взглядами на жизнь и разрушить дружескими разговорами те юношеские заблуждения, которые рано или поздно грубо и безжалостно разрушит презренная житейская проза. Но Онегин, по своей неразвитости и по совершенному отсутствию убеждений, соблюдает в отношении к Ленскому ту знаменитую политику скрывания и педагогического обмана, которую постоянно прилагают к своим питомцам все родители и воспитатели, отличающиеся теплотою чувств и ограниченностью ума.

Я уже показал выше, что при этой политике совершенно невозможны серьезные разговоры о предметах, вызывающих на размышление. И так как Пушкин нам действительно не сообщает ни одного подобного разговора, то мы имеем полное право утверждать, что Онегин и Ленский были совершенно неспособны к серьезным рассуждениям и что Пушкин, желая поставить их на пьедестал, упомянул мимоходом о разных высоких предметах, до которых ни ему самому, ни его героям никогда не было никакого дела. Договоры племен, вековые предрассудки, роковые тайны, все это — одни слова, к которым критик должен относиться с крайней недоверчивостью.

IV

Любопытно заметить, что грациозная мягкость изменяет Онегину именно тогда, когда она была необходима и когда охладительное слово было не только очень невежливо, но еще, кроме того, совершенно бесполезно. Вот каким образом Онегин рассуждает об Ольге, в которую, как ему известно, давно уже влюблен Ленский.

В чертах у Ольги жизни нет,
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

(Гл. III. Стр. V.)

Эта тирада, очевидно, была сказана только для того, чтобы полюбоваться насмешливою холодностью своего взгляда на природу и на жизнь. Ленскому эта грубая и бестолковая выходка против Ольги показалась очень неприятною, и, кроме этой, совершенно бесплодной неприятности, ровно ничего не вышло и не могло выйти из охладительного слова, произнесенного Онегиным ни к селу ни к городу, для услаждения собственного слуха. Впрочем, надо и то сказать, что Ленский сам напрашивается

на подобные дерзости; он лезет к Онегину с такими конфиденциальными разговорами об Ольге, которые совершенно несовместны с серьезным уважением любящего мужчины к любимой женщине. Он, за бокалом шампанского, анализирует Ольгу с пластической точки зрения, и этому занятию он предается уже после того, как Онегин сравнил эту Ольгу с глупою луною. Вот его подлинные слова:

«Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!»

(Гл. IV. Стр. XLVIII.)

Когда Базаров сказал своему другу несколько слов о плечах женщины, которую он видел в первый раз, тогда наша критика и наша публика порешили, что Базаров ужасный циник. Но если бы критика и публика потрудились перечитать «Евгения Онегина», то они увидели бы, что идеалист и романтик Ленский далеко перещеголял материалиста и эмпирика Базарова. Базаров говорил о незнакомой женщине, Ленский, напротив того, — о той девушке, в которую он был влюблен с детства; Базаров говорил только о плечах, Ленский — о плечах и о груди. Стало быть, упрек в цинизме относится по всем правам к пламенным идеалистам 20-х годов, а не к холодным реалистам нашего времени. Впрочем, это совершенно естественно, потому что, как нам известно даже из прописей, праздность есть мать всех пороков, а в деле праздности Базарову, конечно, мудрено тягаться с Онегиным и с Ленским. Праздность Онегина так колоссальна, что он даже

— — Дома целый день
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
На биллиарде в два шара
Играет с самого утра.

(Гл. IV. Стр. XLIV.)

При таком бездействии мысли вранье на разные темы составляет, конечно, одно из лучших украшений жизни.

Чтобы дорисовать личность Ленского, надо разобрать его дуэль с Онегиным. Тут читатель решительно не знает, кому отдать пальму первенства по части тупоумия — Онегину или Ленскому. Единственное возможное объяснение этого нелепейшего случая состоит в том, что оба они, Ленский и Онегин, совершенно ошалели от безделья и от мертвящей скуки. Онегину захотелось взбесить Ленского и, таким образом, отмстить ему за то, что у Лариных, на именины Татьяны, собралось много гостей, между тем как Ленский говорил Онегину, что не будет никого из посторонних. Чтобы исполнить свое намерение, Онегин

танцует с Ольгой, сначала вальс, потом мазурку, потом котильон. Во время танцев он,

> Наклонясь, ей шепчет нежно
> Какой-то пошлый мадригал
> И руку жмет — и запылал
> В ее лице самолюбивом
> Румянец ярче.
>
> *(Гл. V. Стр. XLIV.)*

Но спрашивается, что же он мог видеть? Что Онегин наклонялся к Ольге и шептал ей что-то, в этом, кажется, нет ничего преступного. Кавалеры обыкновенно говорят с дамами во время танцев, и никто не обязывает их говорить так громко, чтобы каждое слово было слышно во всех концах залы. Пошлого мадригала Ленский не мог ни видеть, ни слышать, потому что он был произнесен шепотом. Заметить пожатие руки было также невозможно, потому что это движение мускулов совершенно неуловимо для глаз. Что Ольга улыбалась и краснела — это Ленский, конечно, мог видеть; но, во-первых, во время танцев никто не хмурится; а во-вторых, Ольга могла раскраснеться именно от движения; наконец, если бы даже Ленский мог быть твердо убежден в том, что Онегин говорит Ольге комплименты насчет ее наружности и что Ольга улыбается и краснеет от удовольствия, то и тогда он не имел бы никакого основания сердиться ни на Онегина, ни на Ольгу. В двадцатых годах комплименты были еще в полном ходу, и дамы были еще так наивны, что находили их лестными и приятными. Стало быть, ни Онегин, ни Ольга не позволили себе решительно ничего такого, что выходило бы из уровня принятых обычаев. Но Ленский лезет на стены:

> Не в силах Ленский снесть удара;
> Проказы женские кляня,
> Выходит, требует коня
> И скачет. Пистолетов пара,
> Две пули — больше ничего —
> Вдруг разрешат судьбу его.
>
> *(Гл. V. Стр. XLV.)*

А весь удар состоял в том, что Ольга не пошла танцевать с ним котильон. А не пошла она по той законной причине, что ее уже заранее пригласил Онегин. Легко может быть, что в двадцатых годах действительно существовали такие чудаки, которые принимали подобные события за жестокие удары. Но в таком случае надо будет сознаться, что у романтиков двадцатых годов была в голове своя оригинальная логика, о которой мы в настоящее время не можем составить себе почти никакого понятия. Кроме того, не мешает заметить, что женам этих чувствительных и пламенных романтиков было, по всей вероятности, очень скверно жить на свете.

Трагедия по поводу котильона происходит за неделю с небольшим до срока, назначенного для свадьбы Ленского, который знал и любил свою невесту с самого детства. Если Ленский осмеливается оскорблять бессмысленными подозрениями ту девушку, которую он знает с малых лет, и если эти подозрения могут возникнуть от каждого взгляда, брошенного Ольгою на постороннего мужчину, то, спрашивается, когда же и при каких условиях установятся между мужем и женою разумные отношения, основанные на взаимном доверии? И если о разумном взгляде на женщину не имеет никакого понятия геттингенская душа, читающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то, спрашивается, какая же разница существует между геттингенскою душою и душою вятскою или симбирскою? И что за охота была Пушкину посылать Ленского в туманную Германию за плодами учености и за какими-то вольнолюбивыми мечтами, когда этому Ленскому суждено было только сказать и сделать в романе несколько плоскостей, которым он мог бы с величайшим удобством научиться не только в своей деревне, но даже и в какой-нибудь букеевской орде? Что же касается до длинных волос, которые Ленский, по свидетельству Пушкина, также привез с собою из туманной Германии, то мне кажется, что они, при тщательном уходе, могли бы вырасти и в России.

Приехав домой после измены коварной Ольги, Ленский посылает Онегину

Приятный, благородный,
Короткий вызов, иль картель.

К сожалению, Пушкин не представляет нам того письма, которое написал по этому поводу «поклонник Канта и поэт». У Пушкина сказано только, что

Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.

Но так как вызов надо же чем-нибудь мотивировать, то было бы очень любопытно посмотреть, каким образом Ленский вывернулся из этой задачи, то есть каким образом он ухитрился писать к Онегину о небывалом оскорблении. Впрочем, рыбак рыбака видит издалека. Ленский, вероятно, предчувствовал, что всякая пошлость непременно найдет себе сочувственный отзыв в душе его бывшего друга и что, следовательно, в сношениях с этим бывшим другом можно нарушать совершенно безбоязненно все правила обыкновенной человеческой логики. Ленский, повидимому, понимал, что Онегин, как светский человек, есть прежде всего машина, которая при известном прикосновении непременно должна произвести известное движение, хотя бы это движение при данных условиях было совершенно бессмысленно и даже крайне неуместно. Разумеется, Онегин вполне оправдывает надежды своего достойного друга. Получивши «приятный, благородный,

короткий вызов», он, как образцовый денди, не требует никаких дальнейших объяснений и отвечает приятно, благородно, коротко, «что он *всегда готов*». Секундант Ленского тотчас уезжает, а Онегин, «наедине с своей душой», начинает соображать, что эта душа наделала премного глупостей. Онегин недоволен сам собой. Пушкин говорит:

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых, пускай поэт
Дурачится: в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком-бойцом,
Но мужем с честью и с умом.
Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело.
К тому ж, — он мыслит, — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист.
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов;
Но шепот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мненье!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

(Гл. VI, Стр. X, XI.)

Евгений, как видите, любит юношу всем сердцем; кроме того, строгий разбор, произведенный на тайном суде совести, говорит ему, что муж с честью и с умом не стал бы щетиниться, как зверь, и не позволил бы себе стрелять в осьмнадцатилетнего разыгравшегося мальчика. На одну чашку весов Онегин кладет жизнь юноши, которого он любит всем сердцем, и, кроме того, здравые требования ума и чести, — те требования, которые сформулированы строгим разбором тайного суда. На другую чашку Онегин кладет шепот и хохотню глупцов, которых натравит старый дуэлист и злой сплетник, достойный, по мнению самого же Онегина, самого полного презренья. Вторая чашка тотчас перетягивает, и догадливый читатель немедленно может составить себе очень наглядное понятие о том, как сильно умеет Онегин любить и как высоко ценит он свое собственное уважение. — Я должен убить моего друга, рассуждает Онегин, я должен оказаться перед тайным судом моей совести мужем без чести и без

ума, я должен это сделать непременно, потому что, в противном случае, дураки, которых я презираю, будут шептать и смеяться.

Из этого процесса мысли мы видим ясно, что слова «друг», «совесть», «честь», «ум», «дураки», «презирать» — не имеют для Онегина никакого осязательного смысла. Как негр, задавленный непосильным трудом, тяжелыми лишениями и ежедневными побоями, теряет способность любить, ненавидеть, презирать и рассуждать, превращается в тупое вьючное животное, способное только к пассивному повиновению и к машинальной работе из-под палки, так и Онегин, задавленный умственною пустотою и гнетом светских предрассудков, навсегда потерял силу и уменье чувствовать, мыслить и действовать, не испрашивая на то соизволения у той толпы, которую он величественно презирает. Личные понятия, личные чувства, личные желания Онегина так слабы и вялы, что они не могут иметь никакого ощутительного влияния на его поступки. Поступит он во всяком случае так, как того потребует от него светская толпа; он даже не подождет, чтобы эта толпа выразила ясно свое требованье; он его угадает заранее; он, с утонченною угодливостью раба, воспитанного в рабстве с колыбели, предупредит все желания этой толпы, которая, как избалованный властелин, разумеется даже и внимания не обратит на то, какими усилиями и жертвами ее верный раб, Онегин, купил себе право оставаться в ее глазах джентльменом самой безукоризненной бесцветности. И толпа поступает совершенно справедливо, когда не обращает внимания на усилия и жертвы верного раба; верный раб верен только потому, что не смеет сделаться неверным; он боится своего господина и в то же время вместе с другими, столь же трусливыми и верными рабами, ежеминутно ругает его за глаза, подобно тому как это делают все лакеи, проникнутые духом лакейства до мозга костей. Этой лакейской замашкой ругать за глаза строгого господина объясняется то презрение к толпе, которым драпируется Онегин. Это красивое презрение — чувство совершенно платоническое; оно целиком улетучивается в словах; как только приходится действовать, так это презрение сменяется тотчас самым плоским и раболепным благоговением.

Спрашивается теперь, каким образом должен был отнестись поэт к этой черте в характере Онегина? Мне кажется, он должен был понять весь глубокий комизм этой черты, он должен был всеми силами своего таланта подметить и разработать в этой черте все ее смешные стороны, он должен был осмеять, опошлить и втоптать в грязь без малейшего сострадания ту низкую трусость, которая заставляет неглупого человека играть роль вредного идиота для того, чтобы не подвергнуться робким и косвенным насмешкам настоящих идиотов, достойных полного презрения. Поступая таким образом, поэт оказал бы действительную

и серьезную услугу общественному самосознанию; он бы заставил толпу смеяться над теми формами тупоумия и безличности, на которые она, по своей недогадливости и инерции мысли, привыкла смотреть не только равнодушно, но даже благосклонно.

Так ли поступил Пушкин? Нет, он поступил как раз наоборот. В своем взгляде на положение Онегина он сам оказался человеком светской толпы и употребил все силы своего таланта на то, чтобы из мелкого, трусливого, бесхарактерного и праздношатающегося франтика сделать трагическую личность, изнемогающую в борьбе с непреодолимыми требованиями века и народа. Вместо того чтобы сказать читателю: как пуст, смешон и ничтожен мой Онегин, убивающий своего друга в угоду дуракам и негодяям, Пушкин говорит: «и вот на чем вертится мир», точно будто бы отказаться от бессмысленного вызова — значит нарушить мировой закон.

Возвышая, таким образом, в глазах читающей массы те типы и те черты характера, которые сами по себе низки, пошлы и ничтожны, Пушкин всеми силами своего таланта усыпляет то общественное самосознание, которое истинный поэт должен пробуждать и воспитывать своими произведениями. Сваливая на общие причины, на неумолимую судьбу и на мировые законы вину позорных ошибок, от которых каждый умный и энергический человек может уберечься силами своей собственной личности, Пушкин оправдывает и поддерживает своим авторитетом робость, беспечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Он подавляет личную энергию, обезоруживает личный протест и укрепляет те общественные предрассудки, которые каждый мыслящий человек обязан разрушить всеми силами своего ума и всем запасом своих знаний. «*И вот на чем вертится мир!*» Как вам нравится это наивное признание Пушкина, что для него весь мир сосредоточивается в тех малочисленных кружках фешенебельного общества, в которых люди, обожающие «пружину чести», из благоговения к этой пружине стреляются с своими друзьями, против собственного желания и против собственного убеждения?

Сделавши замечательное открытие, что мир вертится на пружине чести, Пушкин далеко превосходит Людовика-Филиппа, придумавшего остроумное выражение «le pays légal» * для обозначения тех французов, которые пользовались правом голоса на выборах депутатов. У Людовика-Филиппа огромное большинство французов остается за пределами законной Франции, а у Пушкина огромное большинство людей остается за пределами существующего мира, — что, без сомнения, гораздо более остроумно.

---

* Легальная, законная страна *(франц.)*. — *Ред.*

V

Онегин остается ничтожнейшим пошляком до самого конца своей истории с Ленским, а Пушкин до самого конца продолжает воспевать его поступки как грандиозные и трагические события. Благодаря превосходному рассказу нашего поэта читатель видит постоянно не внутреннюю дрянность и мелкость побуждений, а внешнюю красоту и величавость хладнокровного мужества и безукоризненного джентльменства.

Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить, но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
На грудь кладет тихонько руку
И падает.

(Гл. VI. Стр. XXX, XXXI.)

Господи, как красиво! Люди переходят *твердою походкою, тихо, ровно* четыре шага, *четыре смертные ступени*. Два человека без всякой надобности идут на смерть и смотрят ей в глаза, не обнаруживая ни малейшего волнения. Так это красиво и так это старательно воспето, что читатель, замирая от ужаса и преклоняясь перед доблестями храбрых героев, даже не осмелится и не сумеет подумать о том, до какой степени глупо все это происшествие и до какой степени похожи величественные герои, соблюдающие твердость и тишину походки, на жалких дрессированных гладиаторов, тративших всю свою энергию на то, чтобы в предсмертных муках доставить удовольствие зрителям красивою позитурою тела. А между тем эти зрители были злейшими врагами гладиаторов, и если бы гладиаторы направили свою энергию не на красивые позы, а на тупоумных любителей этих поз, то легко могло бы случиться, что они навсегда избавили бы себя от печальной необходимости тешить праздных дураков красивыми позами. Надо полагать, что гладиаторы были очень глупы и что глупость их, к сожалению, не умерла вместе с ними.

Но, кроме общей гладиаторской глупости, поведение Онегина в сцене дуэли заключает в себе еще свою собственную, совершенно специальную глупость или дрянность, которая до сих пор, сколько мне известно, была упущена из виду самыми внима-

тельными критиками. То обстоятельство, что он принял вызов Ленского и явился на поединок, еще может быть до некоторой степени объяснено, хотя, конечно, не оправдано, — влиянием светских предрассудков, сделавшихся для Онегина второю природою. Но то обстоятельство, что он, «всем сердцем юношу любя» и сознавая себя кругом виноватым, *целил* в Ленского и убил его, может быть объяснено только или крайним малодушием, или непостижимым тупоумием. Светский предрассудок обязывал Онегина идти навстречу опасности, но светский предрассудок нисколько не запрещал ему выдержать выстрел Ленского и потом разрядить пистолет на воздух. При таком образе действий и волки были бы сыты, и овцы были бы целы. Репутация храбрых гладиаторов была бы спасена; Ленский, вполне удовлетворенный и обезоруженный, пригласил бы Онегина быть шафером на его свадьбе, а Онегин, сказавший Ольге пошлый мадригал и *оказавший себя мячиком предрассуждений*, за все эти продерзости был бы наказан тем неприятным ощущением, которое доставляет каждому порядочному человеку созерцание пистолетного дула, направленного прямо на его собственную особу. Конечно, Ленский мог убить или тяжело ранить Онегина, которому в таком случае не пришлось бы быть шафером на предстоящей свадьбе, но эта перспектива нисколько не должна была конфузить Онегина, если только он действительно был утомлен жизнью и совершенно искренно тяготился ее пустотою. Онегин не должен был колебаться ни одной минуты, когда ему надо было решать на практике вопрос: кому жить, ему или Ленскому? Он ни на одну минуту не должен был ставить свою собственную, опротивевшую ему жизнь на одну доску с свежею жизнью влюбленного юноши. Однако он поступил как раз наоборот. Он первый стал поднимать свой пистолет и выстрелил именно в то самое время, когда Ленский начал прицеливаться.

Почему же он это сделал? Или потому, что не сообразил заранее, *как* ему следовало распорядиться, или же потому, что чувство самосохранения одержало верх над всеми предварительными соображениями. Первое предположение очень неправдоподобно; сообразить было не мудрено; если Онегин не умеет подумать даже тогда, когда от его размышлений зависит жизнь юноши, которого он любит всем сердцем, то, значит, он совсем неспособен шевелить мозгами. С этим трудно согласиться, хотя, разумеется, умственные способности Онегина очень неблистательны и совершенно испорчены бездействием. — Остается второе предположение, которое, по моему мнению, совершенно основательно. Онегин, несмотря на свое хроническое зевание и несмотря на свою замашку ругать жизнь всякими скверными словами, очень любит эту самую жизнь и никак не согласится променять ее не только на «покой небытия», но даже и на какую-нибудь другую жизнь, более разумную и более деятельную. Умирать ему совсем не хочется, потому что как ни ругай нашу юдоль бедствий, а все-таки

в этой юдоли есть для богатого собственника и устрицы, и гомары, * и бордо, и клико, и прекрасный пол. Устроить себе какую-нибудь новую жизнь ему также совсем не хочется, потому что ни для какой другой жизни он не годится. Он с своею вечною скукою может прожить очень спокойно, приятно и комфортабельно лет до восьмидесяти, и когда Ленский стал целиться, тогда Онегин смекнул в одну секунду, что милую скуку позволительно ругать и проклинать, но что с нею вовсе не следует расставаться преждевременно.

Пушкин так красиво описывает мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить в пользу ничтожного Онегина не только простодушную массу читателей, но даже такого замечательного человека и такого тонкого критика, как Белинский. «Мы, — говорит Белинский, — нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом; но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении» (т. VIII, стр. 563).

И это все! Хорош приговор. Он не оправдывает Онегина, а между тем тут же утверждает, что только герой на месте Онегина поступил бы иначе. Значит, вполне оправдывает, потому что мы не имеем никакого права требовать от обыкновенных людей таких подвигов нравственного мужества, которые превышают средний уровень обыкновенных человеческих сил. Но разве ж это правда? Разве в самом деле надо быть героем, чтобы уметь любить своего друга и чтобы не убивать собственноручно, из низкой трусости, тех людей, которых мы любим всем сердцем? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героям, Белинский унижает человеческую природу и без всякой надобности является защитником нравственной гнилости и тряпичности. А вводит его в этот тяжелый грех его крайняя впечатлительность, подкупленная тем обстоятельством, что «подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении». Если бы Белинский потрудился задать себе вопрос, на что потрачено это художественное совершенство и к чему оно клонится, то он немедленно убедился бы в том, что за такие художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта. Фанатические драмы Кальдерона могли быть превосходны в художественном отношении, но влияние их на испанское общество было во всяком случае отвратительно.

К Ленскому Белинский относится очень справедливо и без малейшей нежности, вероятно потому, что ему самому приходилось встречать романтиков в действительной жизни. «Люди,

---

* То есть омары. — *Ред.*

подобные Ленскому, — говорит Белинский, — при всех их неоспоримых достоинствах (?), нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохраняют навсегда свой первоначальный тип, делаются теми устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастье внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и... Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно прекрасно (?) было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца (?), в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди» (т. VIII, стр. 564—565).

С этими словами Белинского я совершенно согласен; не вижу я только никаких *неоспоримых достоинств* в Ленском, не нахожу в нем ничего *обаятельно прекрасного* и не умею восхищаться *девственною чистотою его сердца*, потому что решительно не понимаю, кому нужна эта девственная чистота, какую она может принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована от грязнящих и развращающих прикосновений действительной жизни. Если из приведенной мною цитаты выбросить вон *неоспоримые достоинства*, *обаятельно прекрасное* и *девственную чистоту*, то в остатке получится энергический и строгий приговор последовательного реалиста не только над одними романтиками, но и над всеми художниками, оставляющими без внимания горе и нужду современной действительности. Если, по мнению Белинского, несносны, пусты и пошлы те люди, которые стремятся душою в надзвездную сторону мечтаний, то, очевидно, не за что миловать и тех людей, которые стремятся душою в мертвую тишину исторического прошедшего. И те и другие одинаково отвертываются от суеты этой земли, *«где есть и голод, и нужда, и...»*, а именно в этом презрении к суете земли и заключается их настоящая вина. Раз как они уже отвернулись от суеты земли, тогда уже решительно все равно, в какую бы сторону они ни смотрели. Тогда они уже отрезанный ломоть, и о них можно совершенно справедливо сказать вместе с Белинским, что *«это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди»*.

Не мешает также заметить, что эти слова Белинского чрезвычайно сильно задевают самого Пушкина, который в течение всей своей поэтической деятельности постоянно и систематически игнорировал и голод, и нужду, и все остальные болячки действительной жизни. Когда же он случайно натыкался на какую-

нибудь крошечную болячку, тогда он обыкновенно брал ее под свое покровительство, т. е. старался доказать ее роковую необходимость. — Это, пожалуй, будет даже похуже, чем стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний.

После смерти Ленского Онегин отправляется странствовать по России, везде хмурится и пищит, везде смотрит с бессмысленным презрением на занятия суетной толпы и, наконец, доходит до такой нелепости, что начинает завидовать больным, которых он видит на кавказских минеральных водах.

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! Тоска, тоска!

Размышления Белинского по поводу этих бессмысленных жалоб чрезвычайно любопытны; они дают нам самое наглядное понятие о глубокой искренности нашего великого критика, о его необыкновенной правдивости и о его изумительной способности принимать за чистую монету каждое человеческое слово, даже такое, в котором очень нетрудно распознать самую грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь! — восклицает Белинский. — Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из-за чего-то хлопочут, чем-то заняты, один — деньгами, другой — женитьбою, третий — болезнью, четвертый — нуждою и кровавым потом работы, — видеть вокруг себя и веселье, и печаль, и смех, и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве; это страдание не всем понятное, но оттого не меньше страшное. Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем; чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою» (т. VIII, стр. 554).

Я без малейшего колебания записываюсь в ряды *тупой черни* и вместе с этою *тупою чернью* радикально отрицаю и беспощадно осмеиваю то ужасное страдание, над которым так добродушно сокрушается Белинский. На Вечного жида российский помещик Онегин не похож нисколько, и сравнивать их между собою нет ни малейшей надобности. Вечный жид, говорят, был так устроен, что никак не мог умереть; вследствие этой странной особенности своего организма он действительно имел полное основание *мечтать о смерти, как о величайшем блаженстве*. Но Онегин этого основания вовсе не имеет, и фантастическая фигура Вечного жида, воплотившего в себе такое страдание, которое далеко превышает размеры человеческих сил и человеческого терпения, приплетена тут ни к селу ни к городу. Белинский сам подозревает, что «онегинское страдание» *не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья*, но, по своей великодушной доверчивости, наш критик полагает, что оно *тем ужаснее*.

Да, действительно ужасно! Таким страданием страдают в водевилях неутешные вдовы, которые во время пьесы плачут о муже и сквозь слезы кокетничают с юным офицером, а перед самым падением занавеса вытирают глазки платочком и объявляют растроганным зрителям в заключительном куплете, что спасительное время и новая любовь исцеляют самые глубокие раны растерзанных вдовьих сердец. У этих милых вдов страдание тоже сидит в самой глубине души, так глубоко, что не может иметь никакого влияния на различные отправления физического организма. Сердце вдовы разбито, но тело ее жиреет и процветает во все свое удовольствие. Простое человеческое страдание, не водевильное и не онегинское, не забирается в такую недосягаемую глубину и вследствие этого разъедает и прожигает насквозь тот организм, в котором оно гнездится. Я должен признаться, что, как грубый реалист, я только это последнее, грубое и неглубокое страдание считаю истинным. Когда же несчастный страдалец спит по восьми часов в сутки, ест, как здоровый бурлак, и толстеет от глубокой печали, тогда я осмеливаюсь утверждать, что этот цветущий мученик — большой шутник, выкидывающий самые уморительные коленца. Посудите сами: не шутник ли этот Онегин? Вздумал нас уверять, что он завидует больным и раненым! Но он нас не обманет. Мы знаем очень хорошо, что зависть возможна только тогда, когда она направлена на такой предмет, которого завидующий человек не может себе присвоить собственными силами. Больной может завидовать здоровому, потому что больной не в состоянии сделаться здоровым по собственному желанию. Нищий может завидовать миллионеру по той же самой причине. Но в обратном направлении зависть не имеет никакого смысла, потому что здоровый человек может, когда ему заблагорассудится, расстроить свое здоровье, а миллионер, во всякую данную минуту, может превратиться в нищего. «Зачем, —

говорит Онегин, — я пулей в грудь не ранен?» — Ну, не шут ли он гороховый? Это он говорит на Кавказе, и говорит в то время, когда Кавказ еще не был покорен и замирен. Да кто ж ему мешает поступить юнкером в действующую армию и получить в грудь не только одну пулю, а, пожалуй, даже хоть целую дюжину? Но ему вовсе не хочется иметь в груди пулю; ему желательно только рассуждать об удовольствии быть раненым, о блаженстве тульского заседателя, лежащего в параличе, и о великом несчастье того человека, который молод и чувствует в себе присутствие крепкой жизни. О всех этих предметах он рассуждает совершенно беспрепятственно; доверчивые люди принимают его слова за чистую монету; на него смотрят как на загадочную личность; его отделяют от толпы не как шута горохового, а как высшую натуру; значит, он катается как сыр в масле, и сокрушение Белинского над его несуществующими страданиями не имеет решительно никакого основания. Белинский, очевидно, принял Онегина за другого, хоть бы, например, за Бельтова, за того чиновника, который не дослужил до пряжки четырнадцать лет и шесть месяцев. Но ведь Бельтов не истратил своей молодости на обольщение записных кокеток; Бельтов не был способен убить друга из низкой трусости; Бельтов никогда не мечтал о приятности иметь в груди пулю и никогда не завидовал ни тульскому заседателю, ни бедному откупщику. Словом, Бельтов так же далек от Онегина, как творец Бельтова далек от Пушкина.

Я решительно не могу объяснить себе, каким образом Белинский смешал эти два совершенно различные типа? Онегин — не что иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде двадцатых годов; у них даже и внешние приемы почти одни и те же: Митрофанушка говорит: не хочу учиться, хочу жениться; а Онегин изучает «науку страсти нежной» и задергивает траурной тафтой всех мыслителей XVIII века. Бельтов, напротив того, вместе с Чацким и Рудиным изображают собою мучительное пробуждение русского самосознания. Это люди мысли и горячей любви. Они тоже скучают, но не от умственной праздности, а от того, что вопросы, давно решенные в их уме, еще не могут быть даже поставлены в действительной жизни.

Время Бельтовых, Чацких и Рудиных прошло навсегда с той минуты, как сделалось возможным появление Базаровых, Лопуховых и Рахметовых; но мы, новейшие реалисты, чувствуем свое кровное родство с этим отжившим типом; мы узнаем в нем наших предшественников, мы уважаем и любим в нем наших учителей, мы понимаем, что без *них* не могло бы быть и *нас*. Но с онегинским типом мы не связаны решительно ничем; мы ничем ему не обязаны; это тип бесплодный, не способный ни к развитию, ни к перерождению; онегинская скука не может произвести из себя ничего, кроме нелепостей и гадостей. Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том,

что не может выпить их тридцать три. Если б человеческое брюхо не имело пределов, то онегинская скука не могла бы существовать. Белинский любит Онегина по недоразумению, но со стороны Пушкина тут нет никаких недоразумений.

VI

Теперь я начинаю разбирать характер Татьяны и ее отношения к Онегину. Вводя нас в семейство Лариных, Пушкин тотчас старается предрасположить нас в пользу Татьяны; эта, дескать, старшая, Татьяна, пускай будет интересная личность, высшая натура и героиня; а та, младшая, Ольга, пускай будет неинтересная личность, простая натура и пряничная фигурка. Доверчивые читатели, конечно, тотчас предрасполагаются и начинают смотреть на каждый поступок и на каждое слово Татьяны совсем иначе, чем как они стали бы смотреть на такие же поступки и на такие же слова, сделанные и произнесенные Ольгой. Нельзя же в самом деле. Господин Пушкин изволят быть знаменитым сочинителем. Стало быть, если господин Пушкин изволят любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкие читающие люди, обязаны питать к той же Татьяне нежные и почтительные чувства. Однакоже я попробую отрешиться от этих предвзятых чувств любви и уважения. Я взгляну на Татьяну как на совершенно незнакомую мне девушку, которой ум и характер должны раскрываться предо мною не в рекомендательных словах автора, а в ее собственных поступках и разговорах.

Первый поступок Татьяны — ее письмо к Онегину. Поступок очень крупный и до такой степени выразительный, что в нем сразу раскрывается весь характер девушки. Надо отдать полную справедливость Пушкину: характер выдержан превосходно до конца романа; но здесь, как и везде, Пушкин понимает совершенно превратно те явления, которые он рисует совершенно верно. Представьте себе живописца, который, желая нарисовать цветущего юношу, взял бы себе в натурщики чахоточного больного на том основании, что у этого больного играет на щеках очень яркий румянец. Точно так поступает и Пушкин. В своей Татьяне он рисует с восторгом и с сочувствием такое явление русской жизни, которое можно и должно рисовать только с глубоким состраданием или с резкою иронией.

Что я не клевещу на Пушкина, приписывая ему восторг и сочувствие, это я могу доказать многочисленными цитатами. На первый случай достаточно будет привести XXXI строфу III главы.

Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.

Кто ей внушал и эту нежность
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

Чтобы читатели поняли последнюю фразу, я должен им напомнить, что, как говорит Пушкин в XXVI строфе, письмо Татьяны было написано по-французски. Посмотрим теперь, что это за письмо и при каких условиях Татьяна почувствовала необходимость писать к Онегину.

Онегин во все продолжение романа был у Лариных три раза. В первый раз тогда, когда Ленский его представил и когда их обоих угощали вареньем и брусничною водою. Во второй раз тогда, когда он получил письмо Татьяны. И в третий раз на именинах Татьяны. Передавая Онегину приглашение Лариных на именины, Ленский говорит ему:

«А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь».

Значит, до именин было действительно *только два* визита, и мы не имеем никакой возможности предполагать, чтобы некоторые визиты Онегина были пройдены молчанием в романе. Значит, Татьяна влюбилась в Онегина *сразу* и решилась к нему написать письмо, проникнутая самою страстною нежностью, видевши его всего только один раз. Но что же такое произошло во время этого первого свиданья? В каких поступках, в каком разговоре обнаружились обаятельные особенности онегинского ума и характера?

Если бы «Евгений Онегин» был сочинен мною, то, может быть, я был бы в состоянии отвечать на эти вопросы, которые неизбежно должны возникнуть в уме каждого внимательного читателя, неспособного удовлетворяться одною звучностью и плавностью стиха. Но так как я неповинен в сочинении «Евгения Онегина», то в ответ на эти неизбежные вопросы я могу только выписать рассказ об этом первом визите, погубившем прелестную Татьяну во цвете юных лет.

— — Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.

(Гл. III. Стр. III.)

Затем следует пять строк точек, а потом «они дорогой самой краткой домой летят во весь опор». Летя домой, они разговаривают между собою, и из их разговора мы узнаем, что Онегин выпил некоторое количество брусничной воды и боится от нее дурных последствий. Пожаловавшись на брусничную воду, Онегин спрашивает: «скажи, которая Татьяна?» — Ленский отвечает:

«Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна».

Знакомство было, очевидно, самое поверхностное, когда Онегин даже не знает, *«которая Татьяна»*. Легко может быть, что Онегин не сказал с Татьяною ни одного слова; это обстоятельство тем более правдоподобно, что Ленский называет Татьяну молчаливой; по всей вероятности, разговором владела постоянно старуха Ларина; Онегин, на возвратном пути, говорит о ней:

«А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка».

Значит, он только об одной старухе и успел составить себе довольно определенное понятие. А в разговоре с *простою* старухой он, очевидно, не мог высказать ничего такого замечательного, что оправдывало бы или объясняло бы возникновение внезапного и страстного чувства в душе умной и рассудительной девушки. Как бы то ни было, результатом первого, совершенно поверхностного знакомства Татьяны с Онегиным оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкин *свято бережет* и *читает с тайною тоскою*. Татьяна начинает свое письмо довольно умеренно; она выражает желание видеть Онегина хоть раз в неделю, чтоб только слышать его речи, чтобы молвить ему слово и чтобы потом день и ночь думать о нем до новой встречи. Все это было бы очень хорошо, если бы мы знали, какие это речи так понравились Татьяне и какое слово она желает молвить Онегину. Но, к сожалению, нам достоверно известно, что Онегин не мог говорить старухе Лариной никаких замечательных речей и что Татьяна не вымолвила ни одного слова. Если же она желает молвить слова, подобные тем, которыми она наполняет свое письмо, то ей, право, незачем приглашать Онегина в неделю раз, потому что в этих словах нет никакого смысла и от них не может быть никакого облегчения ни тому, кто их произносит, ни тому, кто их выслушивает. Татьяна, повидимому, предчувствует, что Онегин не станет ездить к ним раз в неделю, чтобы говорить ей речи и выслушивать слова; вследствие этого начинаются в письме нежные упреки; уж если, дескать, не будете вы, коварный тиран, ездить к нам раз в неделю, так незачем было и показываться у нас; без вас я бы, может быть, сделалась верною женою и добродетельною матерью; а теперь я, по вашей милости, жестокий

мужчина, пропадать должна. Все это, разумеется, изложено самым благородным тоном и втиснуто в самые безукоризненные четырехстопные ямбы. — Ни за кого я не хочу замуж идти, продолжает Татьяна, а за тебя даже очень хочу, потому что «то в вышнем суждено совете... то воля неба: я твоя», и потому что ты мне послан богом и ты мой хранитель по гроб моей жизни. — Тут Татьяна как будто спохватилась и, вероятно, подумала про себя: что ж это я, однако, за глупости пишу и с какой стати я это так раскутилась? Ведь я его всего-навсего только один раз видала. Так нет же вот, продолжает она: не один раз; не такая же я, в самом деле, шальная дура, чтобы вешаться на шею первому встречному; я влюбилась в него потому, что он мой идеал; а я уж давно мечтаю об идеале, значит, я видела его много раз; волосы, усы, глаза, нос — все как есть так, как должно быть у идеала; и, кроме того, в вышнем совете так суждено; и, кроме того, во всех романах г-жи Коттен и г-жи Жанлис так делается; значит, не о чем и толковать: влюблена я в него до безумия, буду ему верна в сей жизни и в будущей, буду о нем мечтать денно и нощно и напишу к нему такое пламенное письмо, от которого затрепещет самое бесчувственное сердце. Затем Татьяна бросает в сторону последние остатки своего здравого смысла и начинает взводить на несчастного Онегина самые неправдоподобные напраслины. «Ты в сновиденьях мне являлся». — Да я-то чем же виноват? — подумает Онегин. — Мало ли что ей могло присниться? Не отвечать же мне за всякую глупость, какую она во сне видела. —

«В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!»

— Вот тебе раз! Даже не сон. Теперь она еще нагородит, что я к ней наяву приходил. И она действительно городит это:

«Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души».

— Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно молитесь богу, но только зачем же вы сочиняете небылицы? Отроду я никогда с вами не говорил ни в тиши, ни в шуме, и вы сами это очень хорошо знаете.

С каждой дальнейшей строчкой письма Татьяна завирается хуже и хуже, по русской пословице: чем дальше в лес, тем больше дров:

«И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?»

— Да перестаньте же наконец, Татьяна Дмитриевна. Ведь вы уж до галлюцинаций договорились. Во-первых, я совсем

не виденье, а ваш сосед, русский дворянин и помещик, Онегин, приехавший в деревню получить наследство от дяди. Это дело совершенно практическое, и никакие милые видения подобными делами не занимаются. Во-вторых, за каким я дьяволом буду мелькать по ночам в прозрачной темноте и тихо приникать к вашему изголовью! Мелькание — дело очень скучное и бесполезное; а тихое приникание привело бы в неописанный ужас вашу добрую мамашу, которую я от души уважаю за ее простоту. И, наконец, могу вам объявить раз навсегда, что я по ночам не мелькаю, а сплю, тем более что и все мое интересное страдание, по справедливому замечанию г. Белинского, состоит в том, что я ночью сплю, а днем зеваю. Значит, мелькать мне некогда, и я могу вам сказать по совести, что если бы вы подражали моему благоразумному примеру, то есть крепко спали бы по ночам, вместо того чтобы мечтать о писаных красавчиках и читать раздражающие романчики, то вы никогда не стали бы уверять меня в том, что вы видали меня во сне, что мой голос раздавался в вашей душе и что я приникаю к вашему изголовью. Вы бы тогда понимали очень хорошо, что все это — пустая, смешная и бестолковая болтовня.

Было бы очень недурно и очень полезно для Татьяны, если бы Онегин отвечал ей словесно или письменно в том резко-насмешливом и холодно-трезвом тоне, в каком я написал от его лица несколько фраз. Такой ответ, конечно, заставил бы Татьяну пролить несметное количество слез; но если только мы допустим предположение, что Татьяна была неглупа от природы, что ее врожденный ум не был еще окончательно истреблен бестолковыми романами и что ее нервная система не была вполне расстроена ночными мечтаниями и сладкими сновидениями, — то мы придем к тому убеждению, что горькие слезы, пролитые ею над прозаическим ответом жестокого идеала, должны были бы произвести во всей умственной жизни необходимый и чрезвычайно благодетельный переворот. Глубокая рана, нанесенная ее самолюбию, мгновенно истребила бы ее фантастическую любовь к очаровательному соседу. — Что ж, — подумала бы она, — должно быть, это в самом деле не он мелькал в прозрачной темноте. А если не он, так кто же? Да, должно быть, никто не мелькал. И зачем это я ему так много глупостей написала? И зачем это я сама так много о разных глупостях думаю? И зачем это я по ночам мечтаю? И зачем это я такие книги читаю, в которых пишут только о мечтаниях, мельканиях и приниканиях?

Татьяна увидала бы ясно, что ее любовь к Онегину, лопнувшая как мыльный пузырь, была только подделкою любви, смешною и жалкою пародиею на любовь, бесплодною и мучительною игрою праздного воображения; она поняла бы в то же время, что эта ошибка, стоившая ей многих слез и заставляющая ее краснеть от стыда и досады, была естественным и необходимым выводом из всего строя ее понятий, которые она черпала с страстною

жадностью из своего беспорядочного чтения; она сообразила бы, что ей надо застраховать себя на будущее время от повторения подобных ошибок и что для такого застрахования ей необходимо изломать и перестроить заново весь мир ее идей. Необходимо или отыскать себе другое, здоровое чтение, или по крайней мере прислониться в действительной жизни к какому-нибудь хорошему и разумному делу, которое могло бы постоянно поддерживать в ней умственную трезвость и отвлекать ее от туманной области наркотических мечтаний. Такое хорошее и разумное дело отыскать нетрудно; намек на него существует даже в нелепом письме Татьяны; она говорит, что помогает бедным, — ну, и помогай; но только займись этим делом серьезно и смотри на него как на постоянный и любимый труд, а не как на дешевое средство стереть с своей совести кое-какие микроскопические грешки. Имей в виду при этом помогании действительные потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бедному копеечку и потом погладить себя за это по головке. Словом, несмотря на пустоту и бесцветность той жизни, на которую была осуждена Татьяна с самого детства, наша героиня все-таки имела возможность действовать в этой жизни с пользою для себя и для других, и она непременно принялась бы за какую-нибудь скромную, но полезную деятельность, если бы нашелся умный человек, который бы энергическим словом и резкою насмешкою выбросил ее вон из ядовитой атмосферы фантастических видений и глупых романов.

Но, разумеется, Онегин, стоящий на одном уровне умственного развития с самим Пушкиным и с Татьяною, не мог своим влиянием охладить беспорядочные порывы ее разгоряченного воображения.

Онегину очень понравилось сумасбродное письмо фантазирующей барышни.

...Получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.

(Гл. IV. Стр. XI.)

Онегину представлялась возможность расположить свои отношения к Татьяне по одному из четырех следующих планов: во-первых, он мог на ней жениться; во-вторых, он, в своем объяснении с нею, мог осмеять ее письмо; в-третьих, он, в этом же объяснении, мог деликатно отклонить ее любовь, наговоривши ей при сем удобном случае множество любезностей насчет ее прекрасных качеств; в-четвертых, он мог поиграть с нею, как кошка играет с мышкою, то есть мог измучить, обесчестить и потом бросить ее.

Жениться Онегин не хотел, и он сам очень наивно объясняет Татьяне причину своего нежелания: «Я, сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Соблазнять ее он тоже не желает, отчасти потому, что он не подлец, а отчасти и потому, что это дело ведет за собою слезы, сцены и множество неприятных хлопот, особенно когда действующим лицом является такая энергическая и восторженная девушка, как Татьяна. В онегинские времена уровень нравственных требований стоял так низко, что Татьяна, вышедши замуж, в конце романа считает своею обязанностью благодарить Онегина за то, что он поступил с нею благородно. А все это благородство, которого Татьяна никак не может забыть, состояло в том, что Онегин не оказался в отношении к ней вором. — Итак, два плана, первый и четвертый, отвергнуты. Второй план для Онегина неосуществим; осмеять письмо Татьяны он не в состоянии, потому что он сам, подобно Пушкину, находил это письмо не смешным, а трогательным. Насмешка показалась бы ему профанациею и жестокостью, потому что ни Онегин, ни Пушкин не имеют понятия о той высшей и вполне сознательной гуманности, которая очень часто заставляет мыслящего человека произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло бы Татьяну, но оно было бы для нее несравненно полезнее, чем все сладости, рассыпанные в речи Онегина. Но время Онегина не было временем той göttliche Grobheit,* которую совершенно справедливо превозносит Бёрне. Онегин решился поднести Татьяне золоченую пилюлю, которая не могла подействовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Речь Онегина, занимающая в романе пять строф, вся целиком, как будто нарочно, направлена к тому, чтобы еще больше закружить и отуманить бедную голову Татьяны. «Я, — говорит Онегин, —

прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила (тон довольно султанский!);
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства».

С самого начала Онегин делает грубую и непоправимую ошибку; он принимает любовь Татьяны за действительно существующий факт; а ему, напротив того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсем не любит и не может любить, потому что с первого взгляда люди влюбляются только в глупых романах.

«Когда б семейственной картиной (продолжает Онегин)
Пленялся я хоть миг единой,
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной».

---

* Божественная грубость *(нем.)*. — *Ред.*

Это все за бестолковое письмо; разумеется, после этих слов сама Татьяна будет смотреть на свое послание как на образцовое произведение, отразившее в себе самое неподдельное чувство, самый замечательный ум. Эти лестные и, к сожалению, искренние слова Онегина должны подействовать на бедную Татьяну так, как подействовала на несчастного Дон-Кихота его победа над цирюльником и завоевание медного таза, который немедленно был переименован в шлем Мамбрина. Добывши себе трофей, Дон-Кихот, очевидно, должен был утвердиться в том печальном заблуждении, что он действительно странствующий рыцарь и что он действительно может и должен совершать великие подвиги. Выслушав комплименты Онегина, Татьяна точно так же должна была утвердиться в том, столь же печальном, заблуждении, что она очень влюблена, очень страдает и очень похожа на несчастную героиню какого-нибудь раздирательного романа. Каждое дальнейшее слово Онегина подносит несчастному Дон-Кихоту новые шлемы Мамбрина. Онегин объявляет своей собеседнице «без блесток мадригальных», что он нашел в ней свой *«прежний идеал»*, но что, к крайнему своему сожалению, он, по дряблости своего сердца, никак не может воспользоваться этой приятной находкой:

«Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
. . . .
И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали? —
. . . .
Я вас люблю любовью брата,
И, может быть, еще нежней».

Длинный хвалебный гимн Онегина заканчивается плоским и бесцветным нравоучением, которое находится в непримиримом разладе со всеми предыдущими комплиментами и которое вследствие этого, разумеется, будет пропущено Татьяною мимо ушей:

«Учитесь властвовать собою,
Не всякий вас, как я, поймет:
К беде неопытность ведет».

— К какой же беде? — должна подумать Татьяна. — Благодаря моей неопытности я написала к нему письмо, в котором он нашел очень много *ума* и очень много *простоты;* благодаря моей неопытности я раскрыла перед ним *мои совершенства,* я обнаружила перед ним *чистую пламенность моей души,* я попала в *прежние идеалы* и возбудила в нем *любовь брата* и, может быть, другую любовь, *еще более нежную.* А не напиши я этого письма, так ничего бы этого не случилось. А если он говорит, что не всякий меня поймет, то ведь мне до *всякого* нет никакого дела. Сердце

мое наполнено навсегда моею несчастною любовью, и я до дверей холодной могилы буду влачить в моем истерзанном сердце эту несчастную любовь по тернистому пути моей мучительной жизни.

Что Татьяна рассуждает именно таким образом и что ее мысли облекаются в ее голове именно в такие напыщенные формы, — это мы видим, между прочим, из тех размышлений, которыми она занимается ночью после дня своих именин, когда она сидит

Одна, печально под окном
Озарена лучом Дианы. —
. . . .
«Погибну, — Таня говорит: —
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

Голова несчастной девушки до такой степени засорена всякою дрянью и до такой степени разгорячена глупыми комплиментами Онегина, что нелепые слова: «гибель от него любезна», произносятся с глубоким убеждением и очень добросовестно проводятся в жизнь. Забыть Онегина, прогнать мысль о нем какими-нибудь дельными занятиями, подумать о каком-нибудь новом чувстве и вообще превратиться какими-нибудь средствами из несчастной страдалицы в обыкновенную, здоровую и веселую девушку —все это возвышенная Татьяна считает для себя величайшим бесчестьем; это, по ее мнению, значило бы свалиться с неба на землю, смешаться с пошлою толпою, погрузиться в грязный омут житейской прозы. Она говорит, что «гибель от него любезна», и поэтому находит, что гораздо величественнее страдать и чахнуть в мире воображаемой любви, чем жить и веселиться в сфере презренной действительности. И в самом деле, ей удается довести себя слезами, бессонными ночами и печальными размышлениями под лучом Дианы до совершенного изнеможения.

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.

И все это в значительной степени было результатом ее разговора с Онегиным.

Что было следствием свиданья?
Увы, нетрудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит.

Читатель видит теперь, что утонченная любезность Онегина принесла самые богатые плоды.

VII

После отъезда Онегина из деревни Татьяна, стараясь поддержать в себе неугасимый огонь своей вечной любви, посещает неоднократно кабинет уехавшего идеала и читает с большим вниманием его книги. С особенным любопытством вглядывается и вдумывается она в те страницы, на которых рукою Онегина сделана какая-нибудь отметка. Таким образом она прочитала сочинения Байрона и несколько романов,

В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно.

«И ей открылся мир иной», объявляет нам Пушкин. Слова: *«мир иной»,* должны, повидимому, обозначать собою новый взгляд на человеческую жизнь вообще и на личность Онегина в особенности. Затем Пушкин продолжает:

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено?

(Гл. VII. Стр. XXIV, XXV.)

Невозможно понять, зачем Пушкин навязал Татьяне все эти критические размышления и зачем он хочет нас уверить, что ей открылся мир иной. Этот «мир иной» и эти размышления о москвиче в Гарольдовом плаще не обнаруживают ни малейшего влияния ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ее поступки. До открытия нового мира она воображала себе, что влюблена по гроб жизни; после своего открытия она остается при том же самом убеждении. До открытия нового мира она беспрекословно повиновалась мамаше; и после открытия она продолжает повиноваться так же беспрекословно. Это с ее стороны очень похвально, но для того, чтобы повиноваться мамаше в самых важных случаях жизни, не было ни малейшей надобности открывать новый мир, потому что и старый наш мир основан целиком на смирении и послушании.

Пока Татьяна в кабинете Онегина открывает новые миры, один из жителей старого мира советует ее мамаше повезти дочь «в Москву, на ярмарку невест». Ларина соглашается с этой мыслью, и когда Татьяна узнает об этом решении, тогда она, с своей стороны, не представляет никаких возражений. Надо полагать, что «ярмарка невест» занимает очень почетное место в том новом мире, который открыла Татьяна. Но если новый мир допускает ярмарку невест, то любопытно было бы узнать, чем он отличается от старого мира и какая надобность была его открывать?

В Москве Татьяна ведет себя именно так, как обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливою родительницею на ярмарку невест. Разумеется,

Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню к бедным поселянам,
В одушевленный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей, —
Туда, где *он* явился ей.

(Гл. VII. Стр. LIII.)

Но ведь это все пустые слова, и наивен был бы тот читатель, который бы принял их за чистую монету. Куда бы она ни стремилась мечтой — это решительно все равно. Тело ее, затянутое в корсет, во всяком случае находится там, где ему велят находиться, и делает именно те движения, которые ему прикажут делать. В то время, когда она стремится в сумрак липовых аллей, две тетушки предписывают ей смотреть налево, на толстого генерала, и она смотрит. Потом ей приказывают выйти замуж за этого толстого генерала, и она выходит за него замуж.

Если все эти действия находятся в строгом согласии с законами ее нового мира, то я осмеливаюсь думать, что она с большим удобством могла бы избавить себя от труда производить свои открытия, потому что все эти открытия были давно уже сделаны самыми отдаленными ее предками. Я полагаю, что в умственной жизни Татьяны онегинские книжки не произвели никакого переворота. Татьяна до конца романа остается тем самым рыцарем печального образа, каким мы видели ее в ее письме к Онегину. Ее болезненно развитое воображение постоянно создает ей поддельные чувства, поддельные потребности, поддельные обязанности, целую искусственную программу жизни, и она выполняет эту искусственную программу с тем поразительным упорством, которым обыкновенно отличаются люди, одержимые какою-нибудь мономаниею. Она вообразила себе, что влюблена в Онегина, и действительно влюбила себя в него, начала пылать страстью и делать глупости, подобные кувырканьям влюбленного Дон-

Кихота в горах Сиерры-Морены. Потом она вообразила себе, что ее жизнь разбита, и вследствие этого начала худеть и бледнеть. Потом, видя, что ей не удается умереть, она себе вообразила, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя в полное распоряжение своих родственниц, которые повезли ее на ярмарку невест и там сбыли ее, как хороший товар, толстому генералу. Очутившись в руках своего нового хозяина, она вообразила себе, что она превращена в украшение генеральского дома; тогда все силы ее ума и ее воли направились к той цели, чтобы на это украшение не попало ни одной пылинки. Она поставила себя под стеклянный колпак и обязала себя простоять под этим колпаком в течение всей своей жизни. И сама она смотрит на себя со стороны и любуется своею неприкосновенностью и твердостью своего характера. Мне, думает она, очень скучно под колпаком, а я все-таки из-под него не выйду ни для кого на свете, потому что я — украшение генеральского дома; а генерал приобрел меня не за тем, чтобы я жила в свое удовольствие.

Онегин встречается с нею в Петербурге в то время, когда она, драпируясь в свою неприкосновенность, уже украшает своею добродетельною особою жилище толстого генерала. Видя, что украшение генеральского дома блестит самыми яркими красками, Онегин проникается предосудительным желанием вытащить это украшение из-под стеклянного колпака. Но украшение не трогается с места и, оставаясь под колпаком, читает оттуда предприимчивому денди такую проповедь, которая доставляет ему очень мало удовольствия. Этой проповедью, как известно, заканчивается весь роман. Знаменитый монолог Татьяны заключает в себе следующий смысл: зачем вы не влюбились в меня прежде? Теперь вы ухаживаете за мною потому, что я превратилась в блестящее украшение богатого дома. Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к черту; свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования.

Этот монолог доказывает ясно, что Татьяна и Онегин — друг друга стоят; оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и действовать по-человечески. Монолог Татьяны отличается самою полною откровенностью, и именно по этой причине он весь составлен из непримиримых противоречий. Подозревая Онегина в мелком тщеславии, она, очевидно, отказывает ему в своем уважении; и в то же время, не уважая его, она его любит; и в то же время, любя его, она его отталкивает; отталкивая его из уважения к требованиям света, она презирает «всю эту ветошь маскарада»; презирая всю эту ветошь, она занимается ею с утра до вечера. Все эти противоречия доказывают совершенно очевидно, что она ничего не любит, ничего не уважает, ничего не презирает, ни о чем не думает, а просто живет со дня на день, подчиняясь

заведенному порядку и разгоняя свою непроходимую скуку разными крошечными подобиями чувств и мыслей, такими подобиями, которые могут выдавить из прекрасных очей несколько слезинок, но которые никогда не создадут ни одного решительного поступка. Само по себе чувство Татьяны мелко и дрябло; но по отношению к своему предмету это чувство точь-в-точь такое, каким оно должно быть; Онегин — вполне достойный рыцарь такой дамы, которая сидит под стеклянным колпаком и обливается горючими слезами; другого, более энергического чувства Онегин даже не выдержал бы; такое чувство испугало и обратило бы в бегство нашего героя; безумная и несчастная была бы та женщина, которая из любви к Онегину решилась бы нарушить величественное благочиние генеральского дома. Сам Онегин, вероятно, отшатнулся бы от нее, как от неистовствующей фурии, и уже во всяком случае Онегин поступил бы с нею по той программе, которую он наивно раскрыл перед Татьяною в липовой аллее, то есть, *привыкнув, разлюбил бы тотчас.* Стоит же, в самом деле, затевать в генеральском доме скандал для того, чтобы доставить Онегину несколько приятных минут и попользоваться его благосклонностью до тех пор, пока он не привыкнет!

Татьяна задает Онегину вопрос: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе и когда я любила вас? Этот вопрос поставлен очень удачно, и если бы Онегин хотел и умел отвечать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого, что люди, подобные мне, способны только шутить и забавляться с женщинами. Когда вы были девушкою, тогда мне предстояла необходимость принять на себя в отношении к вам серьезные обязанности; мне надо было тогда взять на себя заботу о вашем счастье, то есть об удовлетворении всех ваших материальных и умственных потребностей; раз принявши на себя эту заботу, я бы уже не имел возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня в ужас, потому что я не способен ни к какому серьезному делу, не способен даже заботиться о материальном и умственном благосостоянии той женщины, которая доставляет мне приятные минуты. Теперь дело совсем другое. Теперь я могу завести с вами веселую интрижку, с таинственными свиданьями, с пламенными объятиями и без всяких будничных, то есть серьезных и спокойно-дружеских, отношений. Эта интрижка будет продолжаться месяцев пять-шесть, и потом я засвидетельствую вам мое почтение, не обращая никакого внимания на то, любите ли вы меня или нет.

Когда Онегин писал к Татьяне страстные письма и когда он, у нее в доме, бросился к ее ногам, тогда он, разумеется, добивался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измерить глубину и силу онегинской любви, но Пушкин, конечно, не воспользовался этим случаем, потому что он не имел

ни малейшего желания выставлять напоказ самые мелкие и дрянные стороны онегинского характера. Это полное разоблачение ничтожной личности было бы неизбежно, если бы на месте Татьяны стояла энергическая женщина, любящая Онегина действительною, а не придуманною любовью. Если бы эта женщина бросилась на шею к Онегину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что бы то ни стало, увези меня прочь от мужа, потому что я не хочу и не могу играть с ним подлую комедию, — тогда восторги Онегина в одну минуту охладели бы очень сильно. Может быть, он посовестился бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность перед серьезною заботою; может быть, он не осмелился бы отшатнуться тотчас от женщины, перед которою он за минуту перед тем сам стоял на коленях; может быть даже, чувствуя невозможность отступления, он решился бы, скрепя сердце, увезти эту женщину куда-нибудь за границу; но между невольным похитителем и несчастною жертвою завязались бы немедленно такие скрипучие и мучительные отношения, которых бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дело кончилось бы тем, что она убежала бы от него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумеется, бедной, опозоренной женщине пришлось бы или умереть в самой ужасной нищете, или втянуться поневоле в самый жалкий разврат. Если бы Пушкин захотел и сумел написать такую главу, то она, мне кажется, обрисовала бы онегинский тип ярче, полнее и справедливее, чем обрисовывает его теперь весь роман. Но для того, чтобы подвергнуть онегинский тип такому жестокому и вполне заслуженному унижению, самому Пушкину, очевидно, было необходимо стоять выше этого типа и относиться к нему совершенно отрицательно.

VIII

Белинский посвятил характеристике Татьяны целую отдельную статью.[5] В этой статье он, по своему обыкновению, высказал много превосходных мыслей, которые даже теперь, по прошествии двадцати лет, могут еще изумлять и приводить в ужас неисправимых филистеров. Но, отдавая полную справедливость превосходным частностям этой статьи, я должен заметить, что по своей основной идее, по своему взгляду на характер Татьяны она оказывается совершенно несостоятельною. Белинский ставит Татьяну на пьедестал и приписывает ей такие высокие достоинства, на которые она не имеет никакого права и которыми сам Пушкин, при своем поверхностном и ребяческом взгляде на жизнь вообще и на женщину в особенности, не хотел и не мог наделить любимое создание своей фантазии.

Главная причина неосновательного пристрастия Белинского к Татьяне заключается, по моему мнению, в том, что Белинскому

приходится защищать как самого Пушкина, так и Татьяну против тупых и пошлых нападений тогдашнего филистерства. В увлечении полемики трудно сохранять постоянно трезвость критического взгляда. Опровергая глупые замечания филистеров, Белинский вдается часто в противоположную крайность. Филистеры говорят, например: такой-то поступок отвратителен. Белинский, в пику им, утверждает, что он великолепен. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что филистеры, конечно, городят ужасный вздор, но что и Белинский совершенно неправ, потому что в разбираемом поступке нет ничего ни отвратительного, ни великолепного. — Это влияние филистерских толков на процесс мысли, совершавшийся в голове великого бойца Белинского, выразилось очень ясно во многих местах его критических статей о Пушкине. Вот, например, как рассуждает Белинский о письме Татьяны к Онегину:

«Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный, но его источник заключается не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно-великодушных движений сердца». Затем следует несколько эстетических замечаний о той форме, в какой выразилось чувство Татьяны. Потом начинаются сражения с филистерством. «Замечательно, — продолжает Белинский, — с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо; видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал».

Выдержав несколько строф из «Онегина», Белинский продолжает: «Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом — и в чем же? — в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование, — что у нее есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом! Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она — женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины» (т. VIII, стр. 591, 593, 595).

Благодаря ослиным воплям филистеров весь вопрос о Татьяне сдвинут в сторону и поставлен совершенно неправильно. Белинский доказывает, что, любя Онегина, Татьяна имела полное право написать к нему письмо. Это не подлежит сомнению, и против этого могут спорить только филистеры. Но сущность вопроса состоит совсем не в этом, а в том, может ли и должна ли умная девушка влюбляться в мужчину с первого взгляда. Белинский смотрит на Татьяну очень благосклонно за то, что у нее оказалось в груди сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом. Это с ее стороны очень похвально, но, увлекшись этим достоинством ее личности, Белинский совершенно забывает справиться

о том, имелось ли в ее красивой голове достаточное количество мозга, и если имелось, то в каком положении находился этот мозг. Если бы Белинский задал себе эти вопросы, то он немедленно сообразил бы, что количество мозга было весьма незначительно, что это малое количество находилось в самом плачевном состоянии и что только это плачевное состояние мозга, а никак не присутствие сердца, объясняет собою внезапный взрыв нежности, проявившейся в сочинении сумасбродного письма. Белинский благодарит Татьяну за то, что она — женщина, а не деревяшка; тут наш критик, очевидно, хватил через край и, замахнувшись на филистеров, сам потерял равновесие. Разве, в самом деле, надо непременно быть деревяшкой для того, чтобы после первого свиданья с красивым денди не упасть к его ногам? И разве быть женщиной значит писать к незнакомым людям раздирательные письма?

Белинский с замечательной силой анализа очерчивает тот тип, к которому принадлежит Татьяна; он называет этот тип — типом *идеальных дев;* он подмечает все его смешные стороны и относится к нему совершенно отрицательно. Читая это описание идеальных дев, вы ожидаете, что он немедленно подведет Татьяну под эту категорию и осмеет самым беспощадным образом все ее глупые вздыхания об Онегине. Не тут-то было! Белинский напрягает все силы своего великого таланта, чтобы провести резкую разделительную черту между полчищем идеальных дев и личностью пушкинской героини; но эта задача оказывается неразрешимою, и все аргументы Белинского остаются очень неубедительными по той простой причине, что они не находят себе никакой опоры в фактах самого романа. «Татьяна, — говорит Белинский, — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастье взаимности любовь такой женщины — ровное, светлое пламя; в противном случае — упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей [нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений,] [6] с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна» (т. VIII, стр. 582).

Да, такова Татьяна, сочиненная Белинским, но совсем не такова Татьяна Пушкина. Вся глубина пушкинской Татьяны

состо́ит в том, что она сидит по ночам под лучом Дианы. Вся ее исключительность — в том, что она бродит по полям

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Вся ее страстность выкипает без остатка в одном восторженном письме. Написавши это письмо, она находит, что она заплатила достаточную дань молодости и что ей затем остается только превратиться в неприступную светскую даму. Во всем романе мы видим только два поступка Татьяны: во-первых, ее письмо, во-вторых, ее заключительный монолог; только по этим двум моментам в ее жизни мы должны составлять себе понятие о ее характере; в антракте между этими двумя решительными моментами она только мечтает, худеет, грустит, тоскует и вообще ведет себя, с одной стороны, как идеальная дева, а с другой стороны, как пассивный товар, который можно везти на ярмарку и продавать лицом. Что же касается до двух выдающихся точек в ее жизни, то, основываясь на них, можно только применить к Татьяне известные слова Пушкина:

Блажен, кто смолоду был молод; —
Блажен, кто во-время созрел.

В молодости своей Татьяна отличалась эксцентрическими выходками, а созревши, она превратилась в воплощенную солидность. Чрез такие превращения проходят самые отчаянные филистеры, которые во время своего студенчества бывают обыкновенно самыми разбитными буршами. Возможность этого превращения превосходно понимает и сам Белинский. «Многие из них, — говорит он об идеальных девах, — не прочь бы и от замужества, и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения и из идеальных дев делаются самыми простыми бабами» (т. VIII, стр. 575). Татьяна сделалась не самою простою бабою, а самою блестящею дамою. Разница, кажется, не очень значительна, и превращение разбитного бурша в солидного филистера так же несомненно во втором случае, как и в первом.

Что случилось бы с Татьяною, если бы она вышла замуж по страстной любви, — об этом мы ровно ничего не знаем, но мы можем заметить, что у самого Белинского на этот счет встречается очень любопытное противоречие. Рассматривая характер Татьяны отдельно и переделывая его по своему произволу, Белинский утверждает, что она может быть превосходною супругою и образцовою матерью. Но, анализируя тот же характер в связи с характером Онегина, Белинский приходит к тому заключению, что Онегин не должен был жениться на Татьяне, потому что Татьяна была бы с ним несчастнейшею женщиною и сделалась бы для него невыносимою обузою. «Что бы нашел он потом в Татьяне? — спрашивает Белинский. — Или прихотливое дитя, которое плакало бы

оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее» (стр. 553). Вот видите, как неудобно умному человеку (Белинский считает Онегина за умного человека) жениться на Татьяне. Куда ни кинь — все клин. А между тем она полагает, что влюблена в него, и притом влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочет слышать. Если, вышедши замуж за этого любимого человека, она неизбежно должна сделаться для него невыносимою обузою, то, спрашивается, какие же условия необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходною женою и образцовою матерью? По какому рецепту должен быть составлен тот человек, в которого она могла бы влюбиться и которого, кроме того, она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мне, что Татьяна никого не может осчастливить и что если бы она вышла замуж не за толстого генерала, а за простого смертного, желавшего найти в ней не украшение дома, а доброго и умного друга, то ее семейная жизнь расположилась бы по следующей программе, очень остроумно составленной Белинским для некоторых идеальных дев: «Ужаснее всех других, — говорит Белинский, — те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастья, — и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования» (стр. 575). Именно так; и поэтому идеальной деве Татьяне Дмитриевне Лариной всего лучше и безопаснее было отправиться на ярмарку невест, чтобы потом превратиться в самую простую бабу или в самую блестящую светскую даму.

Думать, что Пушкин способен создать тип образцовой жены и превосходной матери, значит положительно взводить напраслину на нашего резвого любимца муз и граций. В такой серьезной идее Пушкин решительно неповинен. На женщину он смотрит исключительно с точки зрения ее миловидности. «Женщины, — говорит он в одном письме, — не имеют характера; они имеют страсти в молодости; оттого нетрудно и выводить их» («Материалы для биографии Пушкина», стр. 135). [7] В браке он видит только «ряд утомительных картин, роман во вкусе Лафонтена». К слову «женат» у него есть непременно две постоянные рифмы: «халат» и «рогат». За женитьбой, по его мнению, неизбежно следует опошление; а те люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми скверными мужьями и живут с своими женами

как кошка с собакой. Действительно, надо быть высокоразвитым человеком, надо быть фанатиком великой идеи и плодотворного труда, чтобы понять и выразить всю бесконечную поэзию постоянной любви. У нас все романы обыкновенно оканчиваются там, где начинается семейная жизнь молодых супругов. Доведя своего героя до свадьбы, романист прощается с ним навсегда. Когда выводится в романе брачная чета, то она выводится или затем, чтобы изобразить бури семейной жизни, или затем, чтобы нарисовать сонное царство, вроде «Старосветских помещиков».

IX

В начале этой статьи я привел несколько восторженных отзывов Белинского об огромном историческом и общественном значении «Евгения Онегина». Теперь, разобрав главные характеры романа, я могу решить, по моему крайнему разумению, вопрос о том, оправдываются ли эти восторженные отзывы Белинского действительными достоинствами *«самого задушевного произведения»* Пушкина? Белинский говорит, что «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни». Эта поэма была, по его мнению, «актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него! Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным» (т. VIII, стр. 605).

Если сознание общества должно состоять в том, чтобы общество отдавало себе полный и строгий отчет в своих собственных потребностях, страданиях, предрассудках и пороках, то «Евгений Онегин» ни в каком случае и ни с какой точки зрения не может быть назван *актом сознания*. Если движение общества вперед должно состоять в том, чтобы общество выясняло себе свои потребности, изучало и устраняло причины своих страданий, отрешалось от своих предрассудков и клеймило презрением свои пороки, то «Евгений Онегин» не может быть назван ни первым, ни великим, ни вообще каким бы то ни было *шагом вперед* в умственной жизни нашего общества. Что же касается до *богатырского размаха* и до *невозможности стоять на одном месте* после «Евгения Онегина», то, разумеется, читателю, при встрече с такими смелыми и чисто фантастическими гиперболами, остается только улыбнуться, пожать плечами и припомнить то недалекое прошедшее, которое ежеминутно, как упорная и плохо вылеченная болезнь, дает себя чувствовать в настоящем.

Отношения Пушкина к изображаемым явлениям жизни до такой степени пристрастны, его понятия о потребностях и о нравственных обязанностях человека и гражданина до такой степени смутны и неправильны, что *«любимое дитя»* пушкинской музы должно было действовать на читателей как усыпительное питье,

по милости которого человек забывает о том, что ему необходимо помнить постоянно, и примиряется с тем, против чего он должен бороться неутомимо. Весь «Евгений Онегин» — не что иное, как яркая и блестящая апофеоза самого безотрадного и самого бессмысленного statu quo. * Все картины этого романа нарисованы такими светлыми красками, вся грязь действительной жизни так старательно отодвинута в сторону, крупные нелепости наших общественных нравов описаны в таком величественном виде, крошечные погрешности осмеяны с таким невозмутимым добродушием, самому поэту живется так весело и дышится так легко, — что впечатлительный читатель непременно должен вообразить себя счастливым обитателем какой-то Аркадии, в которой с завтрашнего же дня непременно должен водвориться золотой век.

В самом деле, какие человеческие страдания Пушкин сумел подметить и счел необходимым воспеть? Во-первых, — скуку или хандру; а во-вторых, — несчастную любовь, а в-третьих... в-третьих... больше ничего, больше никаких страданий не оказалось в русском обществе двадцатых годов. Сначала Онегин скучает оттого, что он слишком счастлив, слишком безгранично наслаждается всеми благами жизни; потом Татьяна страдает оттого, что Онегин не хочет на ней жениться; потом Онегин страдает оттого, что Татьяна не желает сделаться его любовницей. Значит, в русском обществе двадцатых годов были два капитальные порока, два такие порока, на которые величайший поэт России непременно должен был обратить свое просвещенное внимание. Во-первых, в тогдашней России было слишком много благ жизни, так что русские юноши могли объедаться ими, расстроивать себе желудки и вследствие этого впадать в хандру. Во-вторых, русские мужчины и русские женщины были так устроены от природы, что они не всегда одновременно влюблялись друг в друга; случалось, например, так, что женщина уже пламенеет, а мужчина еще едва начинает разогреваться; потом мужчина пылает, а женщина уже сгорела дотла и гаснет. Такое неудобное устройство причиняло много огорчений как просвещенным россиянам, так и очаровательным россиянкам. Роман Пушкина бросил яркий свет на обе главные язвы русской жизни; так как этот роман был *богатырским размахом*, то стоять на одном месте после его появления было уже невозможно, и русское общество, вникнув в страдания Онегина и Татьяны, немедленно сделало необходимые распоряжения, во-первых, насчет того, чтобы количество жизненных благ было приведено в строгую соразмерность с объемом юношеских желудков, а во-вторых, насчет того, чтобы просвещенные россияне и очаровательные россиянки воспламенялись взаимною любовью одновременно. Когда это равновесие вошло в надлежащую силу,

* Статус кво; существующее положение *(лат.)*. — *Ред.*

тогда уничтожились хандра и несчастная любовь; в России водворился золотой век; юноши стали вкушать блага жизни с благоразумною умеренностью, а девы благодаря этим умеренным юношам стали, в надлежащее время, превращаться в счастливых жен и превосходных матерей. Но золотой век исчез, как легкое сновиденье; и смотрят юные потомки аркадских жителей на богатырский размах «Евгения Онегина» как на совершенно несообразную грезу, которую после пробуждения трудно не только понять, но даже и припомнить. И смекают эти развращенные потомки, что если «Евгений Онегин» есть энциклопедия русской жизни, то, значит, энциклопедия и русская жизнь нисколько друг на друга не похожи, потому что энциклопедия — сама по себе, а русская жизнь — тоже сама по себе.

По некоторым темным преданиям и по некоторым глубоким историческим исследованиям позволительно, например, думать, что в России двадцатых годов существовало то явление общественной жизни, которое известно теперь под именем крепостного права. Интересно было бы знать, как отразилось это явление русской жизни в энциклопедии? Справляемся и узнаем, что Онегин, приехав в деревню, заменил ярем старинной барщины легким оброком и что мужик благословил судьбу; что старуха Ларина «служанок била, осердясь», «брила лбы» и «стала звать Акулькой прежнюю Селину»; что служанки, собирая ягоды, пели по барскому приказанию песни для того, «чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели»; что «крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь»; что дворовый мальчик бегает по двору, «в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив»; что на святках

Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.

Вот и все, что мы можем почерпнуть из энциклопедии касательно крепостного права. Надо сказать правду, на этих сведениях лежит самый светлорозовый колорит; помещик облегчает положение мужика; мужик благословляет судьбу; мужик торжествует при появлении зимы; значит, любит зиму; значит, ему тепло зимой и хлеба у него вдоволь; а так как русская зима продолжается по крайней мере полгода, то, значит, мужик проводит в торжестве и благодушестве по крайней мере половину своей жизни. Сын дворового человека тоже ликует и забавляется; значит, его никто не бьет, его хорошо кормят, тепло одевают и не превращают с малых лет в казачка, обязанного торчать на конике в лакейской и ежеминутно бегать то за носовым платком, то за стаканом воды, то за трубкой, то за табакеркой. Светлорозовый колорит немного помрачается тем неожиданным известием, что Ларина била служанок; но, во-первых, она их била только

«осердясь»; а сердилась она, вероятно, очень редко и только за дело, потому что если бы она была способна сердиться часто и неосновательно, то, разумеется, проницательный Онегин, приятель и любимец автора энциклопедии, не сказал бы о Лариной, что она «очень милая старушка». Во-вторых, служанок нельзя было и не бить, потому что они, как мы узнаем из той же энциклопедии, были очень большие мерзавки; они были способны похищать барские ягоды, и барыня, для ограждения священной собственности и для предохранения мерзких служанок от гнусного преступления, была принуждена утруждать свою барскую голову и придумывать то замысловатое средство, которое называется в энциклопедии *затеею сельской остроты* и которое приучало служанок предпочитать высокие эстетические наслаждения, как то пение,— низким материальным предметам, именно ягодам. В-третьих, служанок били не больно, потому что ни самые побои, ни воспоминания об оных не мешали им проводить святки в песнопениях, в которых они имели случай усовершенствоваться во время лета, при своих нередких столкновениях с низкими материальными предметами, то есть с ягодами.

Итак, основываясь на свидетельстве энциклопедии, мы имеем полное право умозаключить, что крепостное право доставляло весьма много пользы и удовольствия как помещикам, так и мужикам. Помещики имели возможность обнаруживать свое великодушие, мужики имели возможность учиться у них бескорыстию, служанки развивали в себе эстетическое чувство и способность нравственного самообладания; словом, все благоденствовали и взаимно совершенствовали друг друга.

X

Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского общества в двадцатых годах, то энциклопедия русской жизни ответит вам, что эта образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась и страдала то от скуки, то от любви. И только? — спросите вы. — И только! — ответит энциклопедия. — Это очень весело, — подумаете вы, — но не совсем правдоподобно. Неужели в тогдашней России не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерах и не старались проложить себе, так или иначе, дорогу к богатству и к почестям? Неужели каждый отдельный человек был доволен своим положением и не шевелил ни одним пальцем для того, чтобы улучшить это положение? Неужели Онегину приходилось презирать людей только за то, что они очень громко стучали каблуками во время мазурки? И неужели не было в тогдашнем обществе таких людей, которые не задергивали мыслителей XVIII века траурной тафтой и которые могли смотреть на Онегина

с таким же презрением, с каким сам Онегин смотрел на Буянова, Пустякова и разных других представителей провинциальной фауны? — На последний вопрос энциклопедия отвечает совершенно отрицательно. По крайней мере мы видим, что Онегин на всех смотрит сверху вниз и что на него самого не смотрит таким образом никто. Все остальные вопросы оставлены совершенно без ответа.

Зато энциклопедия сообщает нам очень подробные сведения о столичных ресторанах, о танцовщице Истоминой, которая летает по сцене, «как пух от уст Эола», о том, что варенье подается на блюдечках, а брусничная вода в кувшине; о том, что дамы говорили по-русски с грамматическими ошибками; о том, какие стишки пишутся в альбомах уездных барышень; о том, что шампанское заменяется иногда в деревнях цымлянским; о том, что котильон танцуется после мазурки, и так далее. Словом, вы найдете описание многих мелких обычаев, но из этих крошечных кусочков, годных только для записного антиквария, вы не извлечете почти ничего для физиологии или для патологии тогдашнего общества; вы решительно не узнаете, какими идеями или иллюзиями жило это общество; вы решительно не узнаете, что давало ему смысл и направление или что поддерживало в нем бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы не увидите; вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, старинной мебели и старинных ужимок. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но ведь этого мало; чтобы нарисовать историческую картину, надо быть не только внимательным наблюдателем, но еще, кроме того, замечательным мыслителем; надо из окружающей вас пестроты лиц, мыслей, слов, радостей, огорчений, глупостей и подлостей выбрать именно то, что сосредоточивает в себе весь смысл данной эпохи, что накладывает свою печать на всю массу второстепенных явлений, что втискивает в свои рамки и видоизменяет своим влиянием все остальные отрасли частной и общественной жизни.

Такую громадную задачу действительно выполнил для России двадцатых годов Грибоедов; что же касается до Пушкина, то он даже не подошел близко к этой задаче, даже не составил себе о ней приблизительно верного понятия. Начать с того, что выбор героя в высшей степени неудачен. В таком романе, который должен изобразить в данный момент жизнь целого общества, героем должен быть непременно или такой человек, который сосредоточивает в своей личности смысл и типические особенности statu quo, или такой, который носит в себе самое сильное стремление к будущему и самое ясное понимание настоящих общественных потребностей. Другими словами: героем должен быть непременно или рыцарь прошедшего, или рыцарь будущего, но во всяком случае человек деятельный, имеющий в жизни какую-нибудь цель, толкающийся между людьми, суетящийся вместе с толпою, раз-

вертывающий и напрягающий так или иначе, в честном или в бесчестном деле, все силы своего ума и своей энергии. Только жизнь такой активной личности может показать нам в наглядном примере достоинства и недостатки общественного механизма и общественной нравственности.

За какими благами гонится большинство, какие средства ведут к желанному успеху, как относится к различным средствам общественное мнение, из каких составных элементов слагается это общественное мнение, где кончается рутина и где начинается протест, каковы сравнительные силы рутинеров и протестантов, как велико между ними взаимное ожесточение — все эти и многие другие вопросы, которые необходимо должны быть поставлены и решены в энциклопедии общественной жизни, могут быть затронуты только тогда, когда средоточием всей картины будет сделан боец и работник, а не сонная фигура праздношатающегося шалопая. Чичикова, Молчалина, Калиновича [8] можно сделать героями исторического романа, но Онегина и Обломова — ни под каким видом. Чичиков, Молчалин, Калинович как люди, чего-то добивающиеся, связаны с обществом самыми крепкими узами, потому что они только в обществе и посредством общества могут осуществлять свои желания. Заставляя их идти по тому или по другому пути, заставляя их в одном месте солгать, в другом сплутовать, в третьем произнести чувствительную речь, в четвертом отвесить низкий поклон, — общество обтесывает их по своему образу и подобию, изменяет их характеры, определяет их понятия и понемногу приготовляет из них типических представителей данного времени, данного народа и данной среды. Напротив того, Онегин и Обломов, люди обеспеченные в своем материальном существовании и не одаренные от природы ни великими умами, ни сильными страстями, могут почти совершенно отделиться от общества, подчиниться исключительно требованиям своего темперамента и, таким образом, не отразить в своем характере ни дурных, ни хороших сторон данного общественного устройства. Эти люди, как отдельные личности, не представляют решительно никакого интереса для мыслителя, изучающего физиологию общества. Они приобретают значение только в том случае, когда они, по многочисленности, превращаются в заметный статистический факт. Если в образованнейшей части какого-нибудь общества встречаются на каждом шагу сотни или тысячи Онегиных и Обломовых, то есть людей, игнорирующих существование общества и не имеющих никакого понятия ни о каких общественных интересах, то, разумеется, такой факт может навести мыслящего наблюдателя на очень поучительные размышления. Этот наблюдатель будет иметь полное право подумать, что движение общественной жизни чрезвычайно вяло и слабо, потому что это движение не затягивает в себя и не увлекает за собою тех людей, которые живут в данном обществе. Но даже и в этом случае мыслящему писателю незачем

приниматься за специальное изучение расплодившихся Онегиных и Обломовых. Как бы они ни были многочисленны, они все-таки составляют пассивный продукт, а не деятельную причину общественного застоя. Не оттого в погребе сыро, что в нем живут мокрицы, а оттого в него набрались мокрицы, что в нем было сыро. А отчего сыро было — это уже другой вопрос, при исследовании которого мокрицы должны быть совершенно отодвинуты в сторону. Не оттого общественная жизнь движется медленно, что в обществе много Обломовых и Онегиных, а, напротив того, Обломовы и Онегины расплодились в обществе по той причине, что общественная жизнь движется медленно. А почему она движется медленно — это уже другой вопрос, при исследовании которого надо иметь в виду не Обломовых и Онегиных, а Чичиковых, Молчалиных, Калиновичей, с одной стороны, и Чацких, Рудиных, Базаровых, с другой стороны.

Таким образом, в произведении мыслящего писателя, задумавшего нарисовать картину данного общества, фигуры, подобные Онегину, могут быть допущены только как вводные лица, стоящие на втором плане, как стоят, например, Загорецкий и Репетилов в комедии Грибоедова. Первые места, по всей справедливости, принадлежат Фамусову и Скалозубу, которые дают читателю ключ к пониманию целого исторического периода и которые, своими типическими и резко обозначенными физиономиями, объясняют нам и низкопоклонство Молчалина, и глупую сентиментальность Софьи, и бесплодное красноречие Чацкого. Грибоедов в своем анализе русской жизни дошел до той крайней границы, дальше которой поэт не может идти, не переставая быть поэтом и не превращаясь в ученого исследователя. Пушкин же, напротив того, даже и не приступал ни к какому анализу; он с полной искренностью и с очень похвальной скромностью говорит в VII главе «Онегина»: «пою приятеля младова и множество его причуд». Действительно, в этом и заключается вся его задача. Почему он обратил свое внимание именно на этого «приятеля младова», а не на кого-нибудь другого, — об этом вы его не спрашивайте. На то он и поэт, чтобы делать в области своего творчества все, что ему вздумается, не отдавая в том отчета никому на свете, ни даже самому себе. Чем объясняются причуды этого приятеля — этим он также нисколько не интересуется.

Если бы критика и публика поняли роман Пушкина так, как он сам его понимал, если бы они смотрели на него как на невинную и бесцельную штучку, подобную «Графу Нулину» или «Домику в Коломне», если бы они не ставили Пушкина на пьедестал, на который он не имеет ни малейшего права, и не навязывали ему насильно великих задач, которых он вовсе не умеет и не желает ни решать, ни даже задавать себе, — тогда я и не подумал бы возмущать чувствительные сердца русских эстетиков моими непочтительными статьями о произведениях нашего так называ-

емого *великого поэта*. Но, к сожалению, публика времен Пушкина была так неразвита, что принимала хорошие стихи и яркие описания за великие события в своей умственной жизни. Эта публика с одинаковым усердием переписывала и «Горе от ума», одно из величайших произведений нашей литературы, и «Бахчисарайский фонтан», в котором нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких красок.

Спустя двадцать лет за вопрос о Пушкине взялся превосходный критик, честный гражданин и замечательный мыслитель, Виссарион Белинский. Кажется, такой человек мог решить этот вопрос удовлетворительно и отвести Пушкину то скромное место, которое должно принадлежать ему в истории нашей умственной жизни. Вышло, однако, наоборот. Белинский написал о Пушкине одиннадцать превосходных статей и рассыпал в этих статьях множество самых светлых мыслей о правах и обязанностях человека, об отношениях между мужчинами и женщинами, о любви, о ревности, о частной и об общественной жизни, но вопрос о Пушкине в конце концов оказался совершенно затемненным. Читателям, а быть может, и самому Белинскому, показалось, что именно Пушкин породил своими произведениями все эти замечательные мысли, которые, однако, целиком принадлежали критику и которые, по всей вероятности, вовсе не понравились бы разбираемому поэту. Белинский преувеличил значение всех главных произведений Пушкина и каждому из этих произведений приписал такой серьезный и глубокий смысл, которого сам автор никак не мог и не хотел в них вложить.

Статьи Белинского о Пушкине сами по себе, как самостоятельные литературные произведения, были чрезвычайно полезны для умственного развития нашего общества; но как восхваления старого кумира, как зазывания в старый храм, в котором было много пищи для воображения и в котором не было никакой пищи для ума, эти самые статьи могли принести и действительно принесли свою долю вреда. Белинский любил того Пушкина, которого он сам себе создал; но многие из горячих последователей Белинского стали любить настоящего Пушкина, в его натуральном и необлагороженном виде. Они стали превозносить в нем именно те слабые стороны, которые Белинский затушевывал или перетолковывал по-своему. Вследствие этого имя Пушкина сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров. Вся критика Аполлона Григорьева и его последователей была основана на превознесении той всеобъемлющей любви, которою будто бы проникнуты насквозь все произведения Пушкина. Превознося кроткого и любвеобильного Пушкина, романтики и филистеры почти совершенно игнорируют Грибоедова и относятся почти враждебно к Гоголю. В некоторых журналах не раз высказывалось забавное мнение, что Гоголь не знал великорусской

жизни. Если прибавить к этому, что некоторые малороссийские писатели упрекают Гоголя в незнании малорусского быта, [9] то окажется, что Гоголь совсем ничего не знал и что он произвел полный переворот в русской литературе именно своим незнанием.

Восхищаясь своим возлюбленным Пушкиным как величайшим представителем филистерского взгляда на жизнь, наши романтики в то же время прикрываются великим именем Белинского, как надежным громоотводом, спасающим их от всякого подозрения в филистерских вкусах и тенденциях. Мы заодно с Белинским, говорят романтики, а вы, нигилисты или реалисты, — вы просто самолюбивые мальчишки, старающиеся обратить на себя внимание публики вашими дерзкими отношениями к незабвенным авторитетам.

Благоговение романтиков перед Пушкиным доводит их иногда до самых смешных и нелепых крайностей. Аполлон Григорьев написал однажды, в одном из своих писем, изданных г. Страховым, что тремя последними великими поэтами он считает Байрона, Мицкевича и Пушкина. [10] Довольно забавно уже то обстоятельство, что рядом с Байроном поставлены Мицкевич и Пушкин. Это совершенно все равно, что поставить Кайданова и Смарагдова рядом с Шлоссером. Но еще гораздо забавнее то обстоятельство, что Мицкевич и Пушкин *попались* в число великих поэтов, а Гейне *не попал*. Оно и понятно. Не заслуживает он этой чести, потому что был свистуном [11] и отрицателем. Понятно также, почему панегиристы Пушкина молчат о Грибоедове и недолюбливают Гоголя. И Грибоедов и Гоголь стоят гораздо ближе к окружающей нас действительности, чем к мирным и тихим спальням романтиков и филистеров.

Так как борьба литературных партий сделалась теперь упорною и непримиримою, так как духом партии обусловливаются теперь взгляды пишущих людей на прежних писателей даже в тех органах нашей печати, которые сами вопиют против духа партии, то и реалисты, сражаясь за свои идеи, поставлены в необходимость посмотреть повнимательнее, с своей точки зрения, на те старые литературные кумиры и на те почтенные имена, за которые прячутся наши очень свирепые, но очень трусливые гонители. Мы надеемся доказать нашему обществу, что старые литературные кумиры разваливаются от своей ветхости при первом прикосновении серьезной критики. Что же касается до почтенного имени Белинского, то оно повернется против наших литературных врагов. Расходясь с Белинским в оценке отдельных фактов, замечая в нем излишнюю доверчивость и слишком сильную впечатлительность, мы в то же время гораздо ближе наших противников подходим к его основным убеждениям.

ЛИРИКА ПУШКИНА

I

С лишком двадцать лет тому назад, именно в 1844 году, была напечатана в «Отечественных записках» пятая статья Белинского о Пушкине. Вот оглавление этой статьи: «Взгляд на русскую критику. — Понятие о современной критике. — Исследование пафоса поэта как первая задача критики. — Пафос поэзии Пушкина вообще. — Разбор лирических произведений Пушкина». — В этой статье Белинского встречаются более или менее определенные намеки на все те идеи, которыми живет наша теперешняя реальная критика. [12] В этой же самой статье Белинский предается самым необузданным эстетическим восторгам. Читая внимательно эту статью, мы видим, как эстетик борется в Белинском с общественным деятелем, и предчувствуем, что победа непременно должна склониться на сторону последнего. Чтобы доказать читающей публике кровное родство реальной критики с Белинским, я приведу из этой статьи, напечатанной двадцать лет тому назад, несколько обширных выписок.

Гете где-то сказал: «какого читателя желаю я? — такого, который бы меня, себя и целый мир забыл и жил бы только в книге моей». Некоторые немецкие аристархи оперлись на это выражение великого поэта, как на основной краеугольный камень эстетической критики. И, однакож, односторонность Гетевой мысли очевидна. Подобное требованье очень выгодно для всякого поэта, не только великого, но и маленького; приняв его на веру и безусловно, критика только и делала бы, что кланялась в пояс то тому, то другому поэту, ибо так как все имеет свою причину и основание — даже эгоизм, дурное направление, самое невежество поэта, то если критик будет смотреть на произведение поэта без всякого отношения к его личности, забыв о самом себе и целом мире, — естественно, что творения этого поэта, будь они только ознаменованы большею или меньшею степенью таланта, явятся непогрешительными и достойными безусловной похвалы.

Из приведенных слов читатель видит, что у Гете была губа не дура и что он придумал очень верное средство затушевывать слабые стороны своей поэтической деятельности. Чистые эстетики приняли искусную выдумку Гете за святую истину, но Белинский оказался гораздо проницательнее *немецких аристархов* и, таким образом, внес в критику элемент, совершенно враждебный эстетике. В словах Белинского мы видим ясное выражение той идеи, что поэтический талант один, сам по себе, еще не дает поэту права пользоваться уважением и сочувствием современников и потомства. Белинский относится очень сурово к *невежеству* поэта, к *дурному направлению* и к *эгоизму*. Слово *эгоизм*, конечно, употреблено неправильно; но так как этим словом Белинский, очевидно, хочет обозначить узкость ума и мелкость чувства, то с его идеею мы можем совершенно согласиться. Если, таким образом, критика, по мнению Белинского, должна непременно требовать от поэта широкого умственного развития, хорошего, то есть честного,

направления и разумной любви к человечеству, то, очевидно, критика Добролюбова и теперешняя критика «Русского слова», по своему основному принципу, совершенно соответствуют стремлениям Белинского. Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом более и более очищается от всяких посторонних примесей.

При немецкой апатической терпимости ко всему, — продолжает Белинский, — что бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не может сделаться ничем, мысль, высказанная Гете, поставляет искусство целью самому себе и через это самое освобождает его от всякого соотношения с жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни.

Как вам это нравится, господа читатели? Уже в 1844 году была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что *искусство не должно быть целью самому себе* и что *жизнь выше искусства*. А с лишком двадцать лет спустя тот самый журнал, который бросил русскому обществу эти две блестящие и плодотворные идеи, с тупым самодовольством восстает против «Эстетических отношений», [13] которые целиком построены на этих двух идеях. Этот поучительный факт доказывает ясно, что человеческая мысль не может стоять на одном месте. Когда она не хочет или не умеет двигаться вперед, тогда она поневоле пятится назад. «Отечественные записки» хотели забастовать на Белинском. Оказывается теперь, что они забыли Белинского и подвинулись к двадцатым годам нынешнего столетия. «Современник» хочет забастовать на Добролюбове, и мы видим действительно, что «Современник» быстро забывает Добролюбова [14] и также путешествует в область двадцатых годов. Повторять слова учителя — не значит быть его продолжателем. Надо понимать ту цель, к которой шел учитель. Идя к известной цели, учитель произносил известные слова. В ту минуту, когда эти слова произносились, они действительно подвигали людей вперед к предположенной цели. Но когда эти слова уже подействовали, когда люди, подчиняясь их влиянию, сделали несколько шагов вперед, тогда все положение вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенные слова теряют свою двигательную силу и, следовательно, перестают быть уместными, полезными и целесообразными. Тогда надо произносить новые слова, применяя их к новым потребностям времени; эти новые слова могут находиться в резком разногласии с старыми словами, и это разногласие нисколько не мешает ни тем, ни другим быть одинаково верными выражениями одной и той же основной тенденции.

Основная тенденция всей критической школы Белинского, продолжающей действовать и развиваться до настоящей минуты, выражается совершенно ясно и отчетливо в тех двух положениях,

что *искусство не должно быть целью самому себе* и что *жизнь выше искусства*. Из этих двух простых и скромных положений выводятся совершенно логично и неизбежно все самые смелые и блистательные salto mortale * моего уважаемого сотрудника г. Зайцева, [15] на которого смотрят до сих пор с таким непритворным ужасом и с таким комическим недоумением все солидные тихоходы нашей периодической литературы. — При тех условиях, при которых развивался и действовал Белинский, он, конечно, не мог вывести из этих двух положений все их логические последствия. В сороковых годах он даже не мог их предвидеть. Он ежеминутно уклоняется в своей деятельности от этих двух основных положений, но смысл и сила его деятельности заключаются, конечно, не в этих случайных нарушениях логики. Высказать верную мысль еще не значит последовательно провести эту мысль в анализ всех явлений жизни, науки и искусства. Вторая задача, разумеется, гораздо труднее и многосложнее первой. Если высказанная мысль действительно велика и плодотворна, то на ее последовательное проведение могут потратиться силы нескольких поколений. Эта завидная участь выпала на долю мыслям Белинского. В продолжение двадцати лет лучшие люди русской литературы развивают его мысли, и впереди еще не видно конца этой работе. Та тесная родственная связь, которая несомненно существует между Белинским и теперешними реалистами, доказывает, с одной стороны, умственное величие нашего общего учителя, а с другой стороны, то обстоятельство, что так называемый нигилизм есть дитя нашего времени, имеющее своих законных и весьма почтенных родителей в прошедшем периоде нашей умственной жизни. Проклиная нигилизм, солидные люди очень охотно вычеркивают из истории русской литературы «Эстетические отношения» и Добролюбова, в которых они видят случайные или болезненные явления. Теперь я попрошу солидных людей, для радикального уничтожения нигилистов, начать работу вычеркивания с Виссариона Белинского. Года четыре тому назад «Русский вестник», как самый последовательный и дальновидный враг нигилизма, действительно попробовал занести руку и на Белинского. В 1861 году г. Лонгинов силился уличить Белинского в заносчивом невежестве. [16] Если бы эта попытка увенчалась успехом, тогда, по всей вероятности, яд вольнодумства был бы искоренен вполне, и настоящими, здоровыми и совершенно не заподозренными представителями русской мысли оказались бы: в прошедшем — гг. Мерзляков и Шевырев, а в настоящем — гг. Лонгинов и Анненков. Вся остальная русская критика была бы причислена к ложным и отреченным книгам. Этот результат был бы, конечно, очень блистателен и утешителен, но, к сожалению,

---

* Сальто-мортале, смертельный прыжок *(итал.)*; здесь в смысле: рискованные положения. — *Ред.*

усердная попытка г. Лонгинова осталась, по какой-то необъяснимой случайности, совершенно не замеченною. — Советую солидным людям повторить эту попытку, потому что для искоренения нигилизма необходимо убить Белинского во мнении русского общества.

II

Действительно, — продолжает Белинский, — немецкая критика, при рассматривании произведений искусства, всегда опирается на само искусство и на дух художника и потому исключительно вращается в тесной сфере эстетики, выходя из нее только для того, чтобы обращаться изредка к характеристике личности поэта, а на историю, общество, словом, на жизнь не обращает никакого внимания. И оттого жизнь давно уже оставила тех немецких поэтов, которые своими произведениями угождают такой критике (т. VIII, стр. 343).

Немецкая критика, против которой восстают Белинский и сама жизнь, поступает в высшей степени благоразумно. Она тщательно поддерживает те перегородки, которых падение красноречиво оплакивает несчастный преемник Белинского в «Отечественных записках» г. Incognito. [17] Когда эта немецкая критика говорит об искусстве, тогда она и опирается на само искусство. Если же Белинский находит сферу эстетики *тесною*, если он требует, чтобы критика вырвалась из этой *тесной сферы* и вступила в беспредельный мир действительной жизни — прошедшей и настоящей, — то он, очевидно, оказывается гнусным сообщником нынешней реальной критики. — Но чтобы показать солидным людям, что Белинский еще не совсем пропащий человек, и чтобы напомнить несолидным мальчишкам [18] и девчонкам, что Белинский еще не совсем последовательный реалист, я прошу господ читателей, солидных и несолидных, отыскать в том же VIII томе и в той же критической статье страницу 352, на которой изображены следующие строки:

Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если б мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться поэтом и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом, по нужде, по выгоде или по прихоти, если б для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами по натуре и по призванию! У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна даже свята, — произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов! Придумайте ей, на досуге, мысль получше, да потом и обделайте ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото. Вот и дело с концом!

Здесь Белинский, очевидно, платит очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводит резкую разделитель-

ную черту между поэтами и простыми смертными. Поэтом надо родиться, поэт — высшая натура, на его высоком челе горит печать его высокого призвания, процесс творчества составляет непостижимую тайну, — все эти глупые фразы принимаются эстетиками за чистую монету, и даже острый ум Белинского не всегда умеет устоять против одуряющей атмосферы подобных фраз. Поэты, разумеется, очень рады производить себя в полубоги и, видя, что им верят на слово, интересничают и шарлатанят без зазрения совести. Большая часть их времени и их умственных сил уходит на делишки, на картишки, на интрижки, а между тем они стараются уверить и себя и других, что постоянно созерцают духовными очами высокие идеи или прекрасные образы. Ни дать ни взять тот Александр Иванович, который навязывает Зюзюшке бумажку на хвост, а между тем при появлении приятеля тотчас принимает удрученный вид, свойственный ревностному администратору, преобразовавшему целый департамент. [19] Шарлатанство поэтов проявляется особенно ярко в том высоком и туманном слоге, которым они любят говорить о таинственном процессе творчества. Один уверяет, что он, как бог, ходит по чертогам Зевса; другой заявляет, что его сердце не полый мускул, а родник, и что его стихи не рифмованные строчки, а волна; третий объясняет, что юная Татьяна и с нею Онегин являлись ему в смутном сне и что он неясно различал даль свободного романа сквозь магический кристалл. [20] Наслушается добродушный и доверчивый человек этих удивительных речей, от которых уши вянут, наслушается и поневоле погрузится в недоумение. Ведь вот, подумает он, я тоже размышляю, тоже увлекаюсь моими мыслями, их тоже излагаю иногда на бумаге, а между тем со мною никогда не происходит ничего такого, что привело бы мне в голову чертоги Зевса, или сердце, выпускающее из себя рифмованную волну, или магический кристалл, заключающий в себе даль свободного романа. Не может же быть, чтобы все эти стихотворцы говорили чистую и ни на чем не основанную ложь; надо, стало быть, полагать, что в их нервной системе действительно происходят какие-то такие эволюции, которых я не испытываю и не способен испытать. Значит, они — высшие натуры, а я — низшая или обыкновенная натура. И рождается, таким образом, благодаря отъявленному шарлатанству одних и трогательной доверчивости других, тот эстетический мистицизм, которым глубоко заражен Белинский и от которого не совсем уберегся даже Добролюбов. Этот мистический туман рассеивается, однако, при первом прикосновении трезвой критики.

Если для существования искусства необходима привилегированная каста жрецов Аполлона, то, разумеется, трезвая критика убивает искусство, потому что она превращает его в общее достояние всех умных людей. Белинский полагает, что не мудрено было бы создавать поэтические произведения, если бы для этого надо

было *только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму*. На самом деле все поэтические произведения создаются именно таким образом: тот человек, которого мы называем поэтом, придумывает какую-нибудь мысль и потом втискивает ее в придуманную форму. Это втискивание обыкновенно стоит поэту очень большого труда; сначала он набрасывает план своего будущего произведения, потом придумывает отдельные сцены, картины и подробности, потом шлифует язык или стих. Ни стройность плана, ни красота подробностей, ни картинность языка, ни внешнее изящество стиха, — словом, ни одно из достоинств поэтического произведения не даются поэту сразу. Оконченное произведение обыкновенно представляет очень мало сходства с первоначальным замыслом. Весь остов поэтического произведения подвергается во время работы очень значительным и глубоким видоизменениям. Одни подробности, которые сначала казались поэту необходимыми, оказываются излишними и неуместными; другие подробности, которых он сначала не имел в виду, оказываются необходимыми. Поэт, как плохой портной, кроит и перекраивает, урезывает и приставляет, сшивает и утюжит до тех пор, пока не получится в окончательном результате нечто правдоподобное и благообразное.

Желающие могут найти в «Материалах для биографии Пушкина», собранных г. Анненковым, многочисленные примеры той тяжелой, черной работы, посредством которой Пушкин втискивал придуманную мысль в придуманную форму. Если поэт действительно придумывает и втискивает, то, стало быть, всякий, кто умеет хорошо придумать и хорошо втиснуть, может сделаться замечательным поэтом. Это несомненно, но следует ли из этого то заключение, что поэтом сделаться легко? — Нисколько не следует. *Придумать мысль*, как выражается Белинский, совсем не легко. Умные мысли приходят в голову только умным людям, и приходят сами, помимо нашей воли. Придумать мысль, то есть привести ее насильно к себе в голову, нет даже никакой возможности. Затем, когда мысль пришла в голову, необходимо много энергии и напряженного умственного труда для того, чтобы рассмотреть эту мысль со всех сторон и чтобы развить из нее все ее последствия. Наконец для того, чтобы передать другим людям ясно и отчетливо то, что вы сами поняли и перечувствовали, надо потратить очень много труда на втискивание мысли в форму. Ум, энергия, трудолюбие, техническая ловкость и сноровка — все эти качества необходимы тому человеку, который хочет сделаться поэтом, — необходимы точно в такой же мере, в какой они необходимы тому человеку, который хочет сделаться оратором, профессором, адвокатом, историком, публицистом, критиком или вообще словесных дел мастером по какой бы то ни было отрасли словесного искусства. Такой человек, к которому заходят в голову умные мысли, который умеет задерживать и разработывать эти

мысли в своей голове и который, посредством упражнения, сделался мастером словесных дел, такой человек, говорю я, может, если только пожелает, сделаться поэтом, то есть создать несколько произведений, которые подействуют на читателей так точно, как действуют на них произведения, созданные настоящими, патентованными поэтами.

Белинский говорит: «У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята, — произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость». — Любопытно было бы узнать, что сказал бы Белинский, если бы ему пришлось прочитать роман «Что делать?». Сказал ли бы он об этом романе, что он — произведение *мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое?* Если бы даже, паче чаяния, Белинский решился произнести над ним этот приговор, то во всяком случае он не имел бы никакой возможности сказать, что этот роман никого не убедил и всех разочаровал. Тут сама жизнь опровергнула бы суждение Белинского. Всем друзьям и врагам этого романа одинаково известно, что он произвел на читающее общество такое глубокое впечатление, какого не производило до сих пор ни одно творение патентованных поэтов. Но неужели же мы, на основании этого глубокого впечатления, должны будем сказать, что автор этого романа — *поэт по натуре и по призванию?* Если Чернышевский, трезвейший из трезвых мыслителей, окажется поэтом по натуре и по призванию, то тогда надо будет признать поэтами всех умных людей без исключения. — Значит, *толпа*, над которою смеется Белинский, совершенно права, когда она требует от поэта, чтобы он придумывал ей мысль получше и потом обделывал эту мысль в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото.

Белинский поясняет далее, что настоящий поэт является страстно влюбленным в идею, страстно проникнутым ею и что он созерцает ее не разумом, не рассудком, не чувством, но всею полнотою и целостью своего нравственного бытия. — Все это очень хорошо, но эти страстные отношения к идее вовсе не составляют исключительной особенности поэта. Все великие дела, совершенные замечательными людьми, были совершены именно посредством страсти. Разве Колумб не был страстно влюблен в свою идею, ради которой он, человек очень гордый и самостоятельный, таскался в продолжение восемнадцати лет, в качестве смиренного и убогого просителя, по прихожим разных португальских и испанских вельмож? Разве Джон Говард не был страстно влюблен в свою идею, ради которой он в течение своей жизни шлялся по тюрьмам и госпиталям? Разве аболиционист Джон Броун не был страстно влюблен в свою идею, ради которой он, на старости лет, пошел на виселицу? Бокль за несколько минут до своей смерти сокрушался

исключительно о том, что ему не удастся дописать до конца «Историю цивилизации в Англии». Разве этот человек не был страстно влюблен в свою идею? Когда Ньютон поверял свою теорию мирового тяготения посредством вычислений над движением луны, тогда он, под конец вычисления, почувствовал такое сильное волнение, что принужден был оставить работу, и попросил одного из своих друзей докончить за него самую простую математическую выкладку. Разве этот человек не *созерцал свою идею всею полнотою и целостью своего нравственного бытия?* — Желая исследовать вопрос о питательных свойствах сахара, доктор Старк стал производить опыты над самим собою и так долго продовольствовал себя исключительно сахаром, что, наконец, занемог и умер от истощения сил. Кажется, страстнее, безграничнее и даже безумнее этой любви к идее невозможно себе ничего вообразить. Вообще, если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примеры тех странных отношений, которые могут существовать между человеком и идеей, то вы должны будете обратиться не к художникам, а к исследователям или к политическим деятелям. К чести человеческой природы вообще и человеческого ума в особенности надо заметить, что до сих пор, кажется, ни один человек не пошел на смерть за то, что он считал красивым, и что, напротив того, нет числа тем людям, которые с радостью отдавали жизнь за то, что они считали истинным или общеполезным. У искусства не было и не может быть мучеников. Наука и общественная жизнь, напротив того, уже давно потеряли счет своим мученикам.

Таким образом, мы видим, что способность влюбляться в идею никак не должна считаться исключительною привилегиею художников. Эта способность составляет тот священный огонь, без которого вообще невозможен и немыслим сознательный прогресс человечества. Этою способностью, в гораздо сильнейшей степени, чем художники, обладают те люди, которых мы привыкли называть холодными и положительными прозаиками, спокойными, суровыми и черствыми деятелями жизни или науки. Вильгельм Оранский, освободитель Нидерландов, Фердинанд Магеллан, съевший, вместе с своим экипажем, всех мышей и все кожаные вещи своего корабля для того, чтобы довести до конца свое кругосветное плавание, Джон Лильберн, боровшийся в течение всей своей жизни, словом и пером, сначала с самовластием Карла I, а потом с самовластием Кромвеля, — все эти люди, разумеется, любили идею гораздо страстнее, чем умели любить ее те господа, которые из любви к ней писали приятные стихи или потрясательные драмы. Если деятели науки и жизни не пишут стихов и драм, то, разумеется, это происходит не оттого, что у них не хватает ума, и не оттого, что в них слаба любовь к идее, а, напротив, именно оттого, что размеры их ума и сила их любви не позволяют им удовлетворяться созданием красивых беллетристических произведений. Эти люди тоже поэты, но их поэмами оказываются

их великие дела, которые, разумеется, не только полезнее, но даже грандиознее всевозможных Илиад и всевозможных шекспировских драм. И различие между поэтами и не поэтами, которое хотят установить эстетики и вместе с ними полу-эстетик Белинский, оказывается пустым оптическим обманом. То известное латинское изречение, что оратором можно сделаться, а поэтом надо родиться, оказывается чистою нелепостью. Поэтом можно *сделаться*, точно так же как можно сделаться адвокатом, профессором, публицистом, сапожником или часовщиком. Стихотворец или вообще беллетрист, или, еще шире, вообще художник — такой же точно ремесленник, как и все остальные ремесленники, удовлетворяющие своим трудом различным естественным или искусственным потребностям общества. Подобно всем остальным ремесленникам, поэт или художник нуждается в известных врожденных способностях; но та доза способностей, которая необходима для того, чтобы человек мог приступить к изучению ремесла, встречается обыкновенно у всех нормальных и здоровых экземпляров человеческой породы. Затем все остальное довершается в образовании художника впечатлениями жизни, чтением и размышлением и преимущественно упражнением и навыком. Как только эти предварительные занятия дали человеку способность придумывать идеи и втискивать их в формы, так поэт оказывается готовым к услугам всех любителей легкого чтения.

III

Чтобы окончательно реабилитировать Белинского в глазах солидных людей, я приведу его отзыв о стихе Пушкина. «И что же это за стих! — восклицает наш критик. — Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельною игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте; он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря». — Напрасно Белинский не прибавил еще, что стих Пушкина красен, как вареный рак, сладок, как сотовый мед, питателен, как гороховый кисель, вкусен, как жареная тетерька, упоителен, как рижский бальзам, и едок, как сарептская горчица. Если можно сравнивать стих с волною, с смолою, с молниею, с кристаллом, с весною, с ударом меча, то я не вижу резона, почему не сравнить его с вареным раком, с гороховым киселем, с сарептскою горчицею и вообще со всеми предметами, существующими в земле, на земле и под землею. — Простые смертные смотрят, конечно, с немым изумлением на ту эстетическую оргию, которой предается Белинский; но это изумление в порядке вещей; простые смертные не могут

и не должны понимать тех высших красот, которыми упиваются посвященные. Это существование высших красот, доступных только избранным натурам, подтверждает своим свидетельством другой посвященный — Гоголь, которого слова с особенным удовольствием, сочувствием и уважением цитирует Белинский в конце той же пятой статьи о Пушкине.

Чтобы быть способну понимать их, — рассуждает Гоголь, — нужно иметь слишком тонкое обоняние; нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара.

Можно было бы нахохотаться вдоволь, глядя на Гоголя и Белинского, с умилением и с гастрономическим благоговением беседующих между собою о необходимости *слишком тонкого обоняния*, о смолистой тягучести пушкинского стиха и о непостижимых достоинствах *птички не более наперстка*. Но не до смеха будет тому читателю, который подумает, что не с жиру, а с горя беседовали эти люди о птичках величиною с наперсток. Поневоле приходилось рассуждать о подобных птичках, когда о более крупной дичи рассуждать было неудобно. От недостатка упражнения в тогдашних людях слабела способность и, наконец, замирало даже желание подвергать анализу такие явления жизни, которыми нельзя *услаждаться* как жареною птичкою. Удивительно не то, что Белинский поет нелепый дифирамб во славу жареным птичкам, соединяющим в себе тягучесть смолы с благовонием весны и с яркостью молнии, а то, что он еще умеет находить область эстетики *тесною* и душною для мыслящего критика. Удивительно то, что Белинский, в самом разгаре своего эстетического восторга, не упустил из виду ни одного из существенных недостатков пушкинской поэзии. Вслед за тою неистовою тирадою, которая приписывает пушкинскому стиху свойства смолы, весны и молнии, является следующее, очень верное, хотя, конечно, чересчур любовное определение характеристических особенностей нашего поэта. «В Пушкине, *напротив*, прежде всего увидите вы художника, вооруженного всеми чарами поэзии, призванного для искусства как для искусства, исполненного любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящего все и потому терпимого ко всему. Отсюда все достоинства, все недостатки его поэзии; и если вы будете рассматривать его с этой точки, то с удвоенною полнотою насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, как необходимое следствие, как оборотную сторону его же достоинств» (стр. 363).

В этих кротких и ласковых словах заключается самое полное и беспощадное осуждение не только одной пушкинской поэзии,

но и вообще всякого чистого искусства. Кто любит все, тот не любит ровно ничего; кто любит одинаково сильно истца и ответчика, страдальца и обидчика, истину и предрассудок, тупого обскуранта и гениального мыслителя, то, очевидно, не может желать, чтобы истец выиграл свой процесс, чтобы страдалец поборол обидчика, чтобы истина истребила предрассудок и чтобы гениальный мыслитель одержал решительную победу над тупыми обскурантами. Всеобъемлющая, тепловатая любовь, по совершенно справедливому замечанию Белинского, непременно ведет за собою всестороннюю терпимость, возможную только при совершенно бессмысленном, безучастном и бесстрастном взгляде на жизнь. Кто во всех явлениях жизни ищет только эстетически-прекрасного, тот, очевидно, должен смотреть на людей так, как ребенок смотрит на пестрые камушки и цветные стеклышки калейдоскопа. При таких отношениях к жизни не может быть ни любви к людям, ни верного и глубокого понимания их стремлений и страданий. Это ребяческое равнодушие к людям, это тупое непонимание жизни составляют действительно, как замечает Белинский, необходимое следствие или *оборотную сторону* тех достоинств, которыми восхищаются эстетики в произведениях чистого художника. Если бы не было этой *оборотной стороны*, тогда чистый художник превратился бы в страстного бойца за ту или другую идею, и тогда он уже потерял бы способность угощать эстетических гастрономов птичками величиною с наперсток. Но так как эта *оборотная сторона* достойна самого полного и неумолимого презрения и так как она составляет, по словам самого же Белинского, необходимую принадлежность самой медали, то нетрудно сообразить, что и вся медаль совсем никуда не годится.

Несмотря на всю ласковость своих отношений к Пушкину, Белинский сам глубоко чувствует неудовлетворительность этой медали. Во-первых, я попрошу читателей обратить внимание на слово *напротив*, подчеркнутое мною в моей последней выписке из Белинского. Это слово поставлено Белинским потому, что он противополагает Пушкина Шекспиру, Байрону, Гете и Шиллеру. — Шекспир, по словам Белинского, «*глубокий сердцеведец, мирообъемлющий созерцатель*». В Байроне Белинского поражает «*ужасом удивления колоссальная личность поэта, титаническая смелость и гордость его чувств и мыслей*». Гете — «*поэтически-созерцательный мыслитель, могучий царь и властелин внутреннего мира души человека*». Перед Шиллером Белинский преклоняется «*с любовью и благоговением*», как «*перед трибуном человечества, провозвестником гуманности, страстным поклонником всего высокого и нравственно-прекрасного*».

Набросав, таким образом, эти четыре характеристики, Белинский вводит в это избранное общество гениальных поэтов нашего маленького Пушкина. Вводя его, он произносит ту рекомендательную фразу, которую я выписал выше. Благосклонность этой

рекомендательной фразы выставляет особенно рельефно то печально-комическое обстоятельство, что нашему маленькому Пушкину решительно нечего делать в той знатной компании, в которую он попал совершенно некстати, по милости своего лукавого доброжелателя, Белинского. Наш маленький и миленький Пушкин не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют. В самом деле, что такое Пушкин и что такое те люди, с которыми сводит его Белинский? Один из этих людей — *глубокий сердцеведец*, другой — *смелый и гордый титан*, третий — *царь и властелин внутреннего мира*, четвертый — *трибун человечества*. Как видите, народ всё чиновный! Всё тузы литературной колоды, и у каждого туза своя собственная физиономия. Ну, а Пушкин-то что же такое? — Пушкин — художник?! Вот тебе раз! — Это что же за рекомендация? А Шекспир небось не художник? Байрон — не художник? Гете — не художник? Шиллер — не художник? — Кажется, все они художники, но, кроме того, каждый из них оказывается еще крупным человеком, с ясно обозначенным характером и с совершенно своеобразным складом ума. Художественная виртуозность для каждого из них является только средством выразить в общепонятных и привлекательных формах то, что составляет внутреннее содержание, внутренний смысл, жизнь и силу их энергических и резко очерченных личностей. Художественная виртуозность для них то же самое, что приличное платье для каждого из нас. Когда вы отправляетесь в общество, вы, конечно, заботитесь о том, чтобы ваше платье было опрятно и не изорвано; но, разумеется, вы отправляетесь в общество не за тем, чтобы показать людям ваше новое платье. Бывают, конечно, и такие господа, которые выезжают в свет именно с этою последнею целью, но таких господ умные люди не уважают и клеймят названием праздношатающихся шалопаев, или ходячих вешалок, или говорящих манекенов (mannequin). Если бы, собирая сведения о незнакомом вам человеке, вы услышали бы о нем от самых близких его друзей только то, что он отменно хорошо одевается, то вы, без сомнения, подумали бы о нем, что он совершенно пустой, ничтожный и ограниченный человек, потому что, в противном случае, его друзья обратили бы внимание не на покрой его платья, а на особенности его ума и характера. Представьте же себе, что отзыв Белинского о Пушкине совершенно равносилен этому отзыву близких друзей о господине, одетом по последней моде. Пушкин — художник и больше ничего! Это значит, что Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия. Этот неотразимый вывод особенно настоятельно напрашивается на внимание читателя именно потому, что Белинский свел своего protégé Пушкина с такими людьми,

которых значение состоит совсем не в безукоризненном покрое платья.

Было бы очень неосновательно думать, что это сопоставление Пушкина с тузами поэзии было сделано нечаянно или что Белинский сам не предвидел тех опасных последствий, которые может повести за собою для литературной славы Пушкина это коварное сопоставление. Белинский на каждой странице своих статей наносит Пушкину жестокие удары, которые проходили и до сих пор проходят незамеченными только потому, что они облечены в чрезвычайно почтительную форму и сопровождаются самыми глубокими реверансами. «И так как его назначение, — говорит Белинский о Пушкине на стр. 365, — было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство, так чтобы русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания, не боясь перестать быть поэзиею и перейти в рифмованную прозу, — то естественно, что Пушкин должен был явиться художником». — Соскоблите с этой фразы шелуху гегелизма и переведите ее с высокого эстетического языка на общепонятный русский язык и знаете ли, что вы получите? — Получите вы то, что я сказал о Пушкине в третьей части «Реалистов», а именно то, что Пушкин — просто великий стилист и что усовершенствование русского стиха составляет его единственную заслугу перед лицом русского общества и русской литературы, если только это усовершенствование действительно можно назвать заслугою.

Шелухою гегелизма я называю идею органического развития, которая засела очень глубоко в голове Белинского и которую он, всеми правдами и неправдами, старается провести даже там, где она совершенно неприложима. Увлекаясь этою идеею, он видит что-то органическое и необходимое во всех стихотворных шалостях Батюшкова, Жуковского и Пушкина. Он полагает, что каждый из этих господ имел и исполнил свое особенное назначение, свою специальную миссию в истории развития русской поэзии. В настоящее время такие добродушные мечтания, разумеется, кажутся нам странными и смешными. Мы знаем очень хорошо, что во времена Батюшкова, Жуковского и Пушкина русская мысль спала крепким сном, а русская поэзия представляла собою даже не тепличное растение, а просто картонную декорацию. Мы знаем также, что все эти господа, которым Белинский навязывает миссии и назначения, были просто quelques gentilshommes, * которые, по выражению госпожи Сталь, se sont occupés de littérature en Russie, ** точно так, как они могли s'occuper en Russie разведением борзых собак, или возделыванием тюльпанов, или плеванием в потолок. Появление комедии «Горе от ума» нисколько не опро-

---

* Несколько дворян *(франц.)*. — *Ред.*

** Занимаются литературой в России *(франц.)*. — *Ред.*

-вергает моей мысли о совершенной мертвенности и искусственности тогдашней поэзии. Напротив, оно даже подтверждает мою мысль. «Горе от ума» стоит совершенно одиноко. Оно ничем не связано ни с тем, что было до него, ни с тем, что существовало рядом с ним, ни с тем, что было после него. До него был Озеров, после него был Кукольник; в одно время с ним блистали стихотворные шалости Жуковского и Пушкина. — Итак, Грибоедов оказывается преемником Озерова, предшественником Кукольника и сподвижником романтика Жуковского. Какое превосходное органическое развитие! Как много заимствовал Грибоедов у Озерова и как много он дал Кукольнику! И как легко догадаться, что Грибоедов и Жуковский были современниками!

Итак, шелуху гегелизма надо соскабливать с сочинений Белинского. Толковать о значении Пушкина — напрасный труд. Та фраза, что Пушкин завоевал русской земле поэзию, или не имеет никакого осязательного смысла, или заключает в себе тот очень скромный смысл, что Пушкин усовершенствовал русский стих и осмелился заговорить в стихах о *пивной кружке* и о *бобровом воротнике*, между тем как его предшественники говорили только о *фиалах* и о *хламидах*. — Из этого следует, очевидно, то заключение, что Пушкин может иметь теперь только историческое значение, а для тех людей, которым некогда и незачем заниматься историей литературы, не имеет даже совсем никакого значения.

Белинский очень ясно понимал даже и это сокрушительное обстоятельство. «Как бы то ни было, — говорит он на стр. 398, — но, по своему воззрению, Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнью всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего».

Если *жизнью всякой истинной поэзии* сделалось *страстное мышление, полное вражды и любви*, то, очевидно, поэзия Пушкина — уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзиею в старые годы. Место Пушкина — не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и с изломанными аркебузами. Белинский осмеливается высказать даже и эту печальную истину. «Каждый умный человек, — говорит он на странице 400, — вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов. Кто поет про себя и для себя, презирая толпу, тот рискует быть единственным

читателем своих произведений». Ага! какой пассаж! И все это с глубокими реверансами и с неизменною ласковостью голоса! Видите, какой пакостный озорник этот Белинский и какие он произносит дерзкие и зловещие пророчества! Если Белинский мог говорить такие вещи в *сороковых* годах, то меня, человека, пишущего в *шестидесятых* годах, можно упрекать не в том, что я говорю неслыханные дерзости, а разве только в том, что я надоедаю читателям повторением слишком старых истин.

IV

Внутренние противоречия, которыми переполнены статьи Белинского, не должны возбуждать в читателе ни изумления, ни негодования. Читатель должен постоянно помнить, что Белинский стоит на рубеже двух противоположных миросозерцаний, и в его могучей личности совершается мучительный переход к тому строю понятий, с которым, даже до настоящей минуты, еще не сумели освоиться и помириться солидные люди нашей литературы. Во время такого перехода колебания, ошибки и внутренние противоречия оказываются совершенно неизбежными даже для самых сильных и здоровых умов. «Есть, — говорит Белинский на стр. 391, — всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства». — В конце своего труда о Пушкине, на стр. 701, Белинский повторяет ту же мысль в следующих словах: «придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».

Сопоставляя эти изречения Белинского с теми суждениями того же критика, которые были приведены и разобраны мною в конце предыдущей главы, мы получаем тот неожиданный и изумительный результат, что *«для молодых людей обоего пола особенно полезно»* чтение такого поэта, которого произведения для нашего времени уже перестали быть поэзиею; далее, что поэт, который *«рискует быть единственным читателем своих произведений»*, *«будет в России поэтом классическим»*; и, наконец, что *«можно превосходным образом воспитать в себе человека»*, читая творения такого поэта, который систематически уклоняется от ответа *«на тревожные, болезненные вопросы настоящего»* и который *«поет про себя и для себя, презирая толпу»*. — Если бы мы приняли слова Белинского о благотворном влиянии Пушкина на молодых людей обоего пола за выражение прочно установившегося убеждения,

то мы принуждены были бы назвать Белинского закоснелым поборником квиетизма и индифферентизма, тупым обожателем застоя и рутины, и систематическим развратителем молодого поколения. Действительно, для тех людей, в которых произведения Пушкина не возбуждают истерической зевоты, — эти произведения оказываются вернейшим средством притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство. Кому Пушкин безвреден, тот не станет его читать; а кому он понравится, того он испортит в умственном и нравственном отношении. Испортит он не тем, что даст ложное направление силам молодого ума, а тем, что не даст им совсем никакого направления, тем, что приучит *«молодых людей обоего пола»* обходиться в жизни без всяких убеждений и относиться с воробьиным легкомыслием к самым серьезным вопросам, поглощающим все силы лучших деятелей данной эпохи. Воспитывать молодых людей на Пушкине — значит готовить из них трутней или тех сибаритов, которые, по словам Гоголя, пресытившись грубыми и тяжелыми яствами, услаждаются жареными птичками величиною с наперсток.

Чтобы доказать верность моей мысли на отдельных примерах, я приступаю теперь к анализу пушкинской лирики. Из всей массы лирических стихотворений Пушкина, занимающих в издании г. Анненкова до *шестисот* страниц, я буду выбирать только те, которые считаются самыми лучшими, которые заключают в себе поползновение к мысли и которые Белинский рекомендует с особенным жаром молодым людям обоего пола. — С чего бы начать? Возьмем, например, стихотворение: «19 октября», написанное в 1825 году и пользующееся полнейшим сочувствием Белинского. — 19 октября, как известно, — день открытия лицея, в котором воспитывался Пушкин. В 1825 году Пушкину было 26 лет, и он пользовался уже громкою известностью. — Итак, молодой и блестящий поэт, полный жизни и энергии, обращается к своим бывшим лицейским товарищам и беседует с ними шестистопным ямбом на пяти больших страницах. Как много чувства и мысли должно заключать в себе это стихотворение! Подумайте в самом деле: человек в полном цвете лет, уже познакомившийся с волнениями и с радостями жизни, уже проверивший житейским опытом юношеские мечты, уже отбросивший прочь воздушные замки, но сохранивший юношескую смелость мысли и свежесть чувства, такой человек, говорю я, вступает в разговор с теми людьми, которые знали его, когда он был мальчиком, которые вместе с ним росли и развивались, вместе с ним мечтали о жизни, чертили роскошные планы и строили воздушные замки. В откровенном разговоре с друзьями своего детства поэт развернет, конечно, всю свою житейскую философию. Мы узнаем от него, как он смотрит на свое прошедшее, чего он требует от будущего, какое место отводит он своей собственной деятельности в общей толкотне и суете житейских явлений. Вообще мы вправе ожидать от поэта серьез-

ного слова: те люди, к которым он обращается, знают его насквозь, следовательно, он может и должен быть с ними совершенно откровенен; он сам дорожит дружбою и уважением этих людей, следовательно, он, по всей вероятности, чувствует потребность высказаться перед ними так, чтобы они получили полное и верное понятие об его сложившейся и возмужалой личности. Тут нет места легкомыслию и фразерству. Если Пушкин вообще способен смотреть серьезно и разумно на людей и на жизнь, то эта способность должна непременно проявиться в стихотворении «19 октября 1825 года».

В первых сорока восьми строках Пушкин говорит, что он проводит этот день один в своей «пустынной келье»; потом вспоминает о товарище, умершем в Италии, и о другом товарище, служащем во флоте. Идей в этих сорока восьми строках нет; есть только фактические подробности и неопределенные выражения дружелюбия и чувствительности. Вслед за тем он говорит:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен.
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело, —
Всё те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.

Случалось ли вам, читатель мой, бывать на официальных обедах, которые даются чиновниками в честь благодетельного начальника? На таких обедах, после жаркого, солиднейший из чиновников обращается обыкновенно к герою торжества с неистово-хвалебною и безукоризненно-официальною речью, которая также обыкновенно заставляет скромного героя уронить в полный бокал шампанского такую же безукоризненно-официальную слезу умиления. Эта неизбежная речь приписывает присутствующему герою такие изумительные подвиги усердия и человеколюбия, которых он никогда не совершал и даже, по своему чину и положению, никогда не мог совершить. Я должен признаться, что дифирамб Пушкина в честь прекрасного союза, который неразделим и вечен, как душа, очень сильно напоминает мне тон безукоризненно-официальных речей, произносимых, после жаркого, во славу благодетельного начальства. Весь куплет состоит из гипербол. Как вам нравится, например, тот возглас, что им целый мир чужбина и что их отечество находится исключительно в Царском Селе? Если это не правда, то какая плоскость! Надо быть совершенно исковерканным человеком, двойником Онегина, чтобы говорить приторные и заведомо ложные комплименты школьным товарищам и друзьям детства. Если даже тут нет места искренности, то где же она укроется и какие тайники человеческого чувства останутся застрахованными от наплыва безукоризненной

официальности? — А если Пушкин говорит правду, то какая узкость ума и какая дряблость чувства! Человек во всем мире любит только то училище, в котором он воспитывался. Человек в полном цвете лет отворачивается от будущего и утешается только воспоминаниями детства. Хорош мужчина, хорош боец, хорош общественный деятель! А если он не мужчина, не боец и не общественный деятель, то как же он может быть замечательным поэтом? Итак, одно из двух: или это плоский и лживый комплимент, или расписка в собственном ничтожестве. Как то, так и другое одинаково не достойно умного и энергического человека.

Один из последующих куплетов показывает нам ясно, какую цену мы должны придавать гиперболам Пушкина. Вот его подлинные слова:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе! Фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам розный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Поняли вы, за что Пушкин воздает *хвалу* своему товарищу? За то, что этот товарищ не отвернулся от него при нечаянной встрече; за то, что он дружески поздоровался с ним. Значит, этот поступок был для Пушкина неожиданностью, если он вменяет его в заслугу своему бывшему товарищу. Значит, Пушкин ожидал, что один из членов *прекрасного союза, неразделимого и вечного, как душа*, при свиданье с другим членом того же прекрасного и душеподобного союза может посмотреть на этого другого члена с высоты своего величия и протянуть ему для пожатия кончики двух пальцев или даже совсем ничего не протянуть и при этом спросить сквозь зубы: — Кого я имею удовольствие видеть?

Если б я не был твердо убежден в чистоте пушкинского сердца и в совершенной неспособности его ума к лукавым сомнениям, то я подумал бы, что, сравнивая *прекрасный союз* с душою, Пушкин этим лукавым сравнением старается поколебать в своих читателях веру в бессмертие души. Всего восемь лет прошло с тех пор, как Пушкин расстался с лицеем, и он уже приходит в восторг от того, что *блеск холодной фортуны не изменил свободной души* его товарища. Плохо же он верит в прочность того союза, который он, для пущей сладости, называет вечным и неразделимым, как душа. И какой же это такой особенный *блеск фортуны* мог озарить его товарища в течение восьми лет? И могли ли они в это время действительно разойтись на очень далекое расстояние? — Ничуть не бывало. Пушкин никогда не был ни мучеником, ни даже нищим. Что же касается до *счастливца с первых дней*, то, очевидно, как бы ни был он счастлив, он в восемь лет не мог сде-

латься ни фельдмаршалом, ни министром, ни чрезвычайным послом, ни генерал-губернатором. Значит, встретившись на проселочной дороге, Пушкин и *счастливец* вовсе не стояли на двух крайних ступенях общественной лестницы. Вся разница между ними могла состоять только в том, что один был двумя или тремя чинами старше другого. Союз *вечный и неразделимый, как душа*, оказался столь крепким, что не лопнул даже от этого громадного различия; коллежский советник великодушно обнял титулярного, и Пушкин восклицает с восторгом: хвала тебе, ваше высокоблагородие!

Затем Пушкин обращается к другому, не столь чиновному члену *прекрасного союза*. «С младенчества, — говорит он ему, —

дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты гордый пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся, но поздно! И уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, * не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!

Если всю эту рифмованную болтовню переложить на простой и ясный прозаический язык, то получится следующий, весьма тощий и бледный смысл: — мы с тобою оба пописывали стишки; я отдавал свои стихи в печать, а ты своих не отдавал; теперь и я перестану печатать мои стихотворения. — Почему Пушкину пришла в голову эта последняя фантазия и почему он оставил ее без исполнения — этого недоумевающий читатель никогда не узнает. Что значат громкие фразы о служении муз, которое не терпит суеты, и о прекрасном, которое должно быть величаво, — это также остается неизвестным. Вернее всего то, что эти фразы ровно ничего не значат и изображают собою стилистические упражнения и риторические амплификации. Какие душевные муки принял на себя Пушкин из любви к миру и чем провинился перед Пушкиным неблагодарный мир — об этом также молчит

* Кюхельбекер.

история. Надо полагать, что под благозвучным именем душевных мук здесь подразумевается многотрудное искание рифмы. Что же касается до сокрытия жизни под сень уединения, то этою меланхолическою фразою, очевидно, пленился и вдохновился Иван Александрович Хлестаков, приглашавший прелестную городничиху удалиться вместе с ним под сень струй.

Перехожу к последним двум куплетам, которые особенно понравились Белинскому. — «Пируйте же, — говорит Пушкин, —

пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет,
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет;
Судьба глядит (?), мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой.

Выписав эти строки, Белинский рассуждает о них или, вернее, восторгается ими следующим образом: «Какая глубокая и вместе с тем светлая скорбь! Каждая мысль сама по себе так исполнена поэзии, независимо от формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всяких метафор! (Гм! А *«судьба глядит»*? Это — не метафора?) Этот переживший всех друзей своих друг, докучный, лишний и чужой гость среди новых поколений, дрожащею рукою закрывающий глаза при воспоминании о своих друзьях, — это не просто поэтические стихи, это — поэтическая картина» (стр. 378). А по-моему, эта *поэтическая картина* составляет именно самое крупное пятно во всем стихотворении, которое, по правде сказать, есть не что иное, как сплошной ряд более или менее крупных пятен. Эта *поэтическая картина* показывает нам особенно наглядно жалкую неспособность автора возвыситься до разумного понимания жизни. Автор думает повидимому, что новые поколения будут уже не людьми, а орангутангами, и что вследствие этого *«несчастный друг»* непременно должен оказаться среди этих новых поколений *докучным, лишним и чужим гостем*.

Автору было 26 лет, когда он писал свое стихотворение; рисуя поэтическую картину несчастного друга, закрывающего глаза дрожащею рукою, он захватывал вперед лет на сорок. И между тем, хватая так далеко вперед, он не умеет указать *несчастному другу* никакого предохранительного средства против того печального положения, которое он ему пророчит в далеком будущем. Видя впереди разлад с новыми поколениями и холодное одино-

чество, Пушкин даже не задает себе вопроса о том, есть ли возможность избегнуть этого печального разлада и избавиться от этого тягостного одиночества. Он без малейшего размышления принимает разлад и одиночество за роковую необходимость. Конечно, тем людям, для которых *«целый мир чужбина, а отечество — Царское Село»*, действительно на старости лет придется непременно закрывать глаза дрожащею рукою. Но им за это надо будет пенять на самих себя, а никак не на новые поколения. Вольно же было этим людям смотреть на весь мир как на чужбину и сосредоточивать в самом тесном и ограниченном кругу все свои симпатии и стремления. Если бы они с ранней молодости умели полюбить всеми силами своего существа те идеи, в которых заключается весь смысл и весь интерес текущего исторического периода; если бы они в зрелом возрасте умели с наслаждением прилагать все свои способности к добыванию теоретических истин или к проведению добытых истин в действительную жизнь; если бы они состарились и поседели в этих общеполезных трудах, — тогда целый мир был бы их отечеством, тогда лицейская годовщина не имела бы для них мистически-торжественного значения, тогда преждевременная смерть двух-трех товарищей не приводила бы их в отчаяние, и тогда новые поколения были бы для них не дикими орангутангами, а молодыми, нежными и почтительными друзьями, среди которых старые и утомленные работники с законным удовольствием отдыхали бы от своих честных и полезных трудов. Такие старики, как Ньютон, Вольтер, Франклин, Александр Гумбольдт, никогда не могли чувствовать себя докучными, лишними и чужими гостями. В наше время также много таких стариков, которых жизнь драгоценна для всего образованного мира и которые, по своей кипучей энергии и по своей страстной любви ко всему живому, могут смело потягаться с любым юношей. И эту светлую и радостную старость может приготовить себе каждый человек, хотя бы он был одарен очень обыкновенными умственными способностями. Для этого ему надо только постоянно и добросовестно, по мере сил своих, жить и работать в кругу тех идей, которыми увлечены лучшие люди данного общества. Для этого ему надо только делать как раз противное тому, что советует Пушкин, желающий устранить суету из служения муз, отказаться от душевных мук и скрыть жизнь под сень уединения. Благоразумные советы Пушкина, разумеется, превратят живого и сильного человека в ходячую окаменелость и уже с 26-летнего возраста воспитают в здоровом мужчине вялого, плаксивого и брюзгливого старика, который будет закрывать себе глаза дрожащею рукою отчасти для того, чтобы проливать бесполезные и бессмысленные слезы над невозвратимым прошедшим, а отчасти и даже преимущественно для того, чтобы не видеть отвратительных молодых орангутангов. «Но, — продолжает Белинский, — не в духе Пушкина остановиться на скорбном чувстве: словно торжественным

музыкальным аккордом, оканчивается пьеса этими полными бодрого чувства стихами:

Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

Пушкин, — говорит Белинский, — не дает судьбе победы над собою; он вырывает у ней хоть часть отнятой у него отрады».

Переведите *торжественный музыкальный аккорд* на общеупотребительный человеческий язык, и вы получите следующий очень удобоисполнимый совет: «Несчастный друг! Когда ты останешься один, то постарайся нализаться за обедом до положения риз, а после обеда завались спать вплоть до следующего утра». — Если *несчастный друг* твердо запомнит совет великого художника, то можно сказать наверное, что, усердно прилагая этот совет к делу, *несчастный друг* приобретет себе багровый нос, который и будет изображать собою часть отрады, вырванную им у коварной судьбы. Если бы такие полезные советы были предложены топорною прозою, Белинский, без сомнения, назвал бы такие советы вопиющею пошлостью. Но эти советы втиснуты в рифмованные строчки, и Белинский называет их *«торжественным музыкальным аккордом»*. Белинский в этих строчках видит даже *«бодрое чувство»*. Я, напротив того, вижу в них, во-первых, умственную трусость, а во-вторых, всю напущенность фальшивого и неискреннего чувства. Умственная трусость состоит в том, что Пушкин сам не смеет смотреть прямо и спокойно на ту печальную картину, которую он нарисовал. Поставив своего *несчастного друга* в очень скверное положение, Пушкин не умеет найти выхода из этого положения и в то же время не осмеливается сознаться перед собою и перед читателями в том, что он считает это положение безвыходным. Тогда он наскоро отыскивает ложный выход и выдает его за истинный, хотя сам он, при всей своей колоссальной неразвитости, все-таки не может думать, что рюмка водки или стакан шампанского действительно составляют полезное лекарство против глубокого огорчения.

Напущенность и неискренность чувства обнаруживаются именно в том обстоятельстве, что Пушкин решается поднести *несчастному другу* рюмку водки. Подумайте в самом деле: разве вы осмелитесь поступить таким образом с тем человеком, которого вы уважаете, которого огорчение вы вполне понимаете и сами глубоко прочувствовали? Не покажется ли вам в таком случае рюмка водки нелепою и дерзкою профанациею того чувства и той личности, с которыми вы имеете дело? Но для Пушкина *несчастный друг* есть лицо чисто фантастическое, придуманное только для того, чтобы закончить растянутую пьесу эффектною картиною. Поэтому Пушкин на самом деле нисколько не сочувствует фанта-

стическому горю этого фантастического лица. Поэтому Пушкин обходится с *несчастным другом* самым нахальным образом. Ничего, мол, старый черт; хлебнешь малую толику, и всю твою печаль как рукой снимет. С таким циническим неуважением, с таким возмутительным легкомыслием, конечно, никогда не отнесутся к огорчению бедного, одинокого старика те молодые и свирепые орангутанги, от которых старик будет закрываться дрожащею рукою.

Кстати об орангутангах. Из разобранных стихов Пушкина читатели видят ясно, что мысль о необходимом разладе между различными поколениями существовала в нашем обществе задолго до появления реальной критики и базаровского типа. Суровая и злобная реальная критика не только не старается усилить этого разлада, а, напротив того, указывает единственное верное средство против этой общественной болезни, которую кроткий и любвеобильный Пушкин советует заливать водкою и шампанским. Реальная критика доказывает, что любовь к идее может образовать неразрывную связь между различными поколениями. Пушкин, напротив того, не имеет никакого понятия ни об идее, ни о связывающей любви. Читатель видит таким образом, что весь теперешний разлад заготовлен нашим прошедшим и что нам приходится теперь сводить неприятные и убыточные счеты с тем, что выросло и укрепилось задолго до нашего появления на свет, во время обаятельного господства чистого искусства, гегелевской философии и тех исторических условий, которые обнаруживают всегда и везде трогательную солидарность с этими милыми явлениями умственной жизни.

V

Пушкин неоднократно выражал свой взгляд на призвание поэта. Поэт разговаривает с книгопродавцем, потом с чернью, потом с другом и во всех этих разговорах высказывает много самых диковинных штук, имеющих претензию быть мыслями. Кроме того, Пушкин не раз обращается к поэту со стороны и усматривает в нем то орла, то эхо, то жреца. Видно, что Пушкину было очень приятно позировать перед зеркалом и примеривать на себе разные риторические наряды. Так как эти беседы с поэтом и о поэте, то есть с собою и о себе, составляют все-таки самую глубокомысленную часть пушкинской лирики, то я разберу эти беседы одну за другою в хронологическом порядке. В стихотворениях 1824 года находится «Разговор книгопродавца с поэтом». Книгопродавцу желательно купить у поэта его произведение, а поэту, по всей вероятности, желательно взять за это произведение как можно дороже. Желания обеих заинтересованных сторон одинаково естественны и законны, и поэту, повидимому, просто следовало бы поторговаться с книгопродавцем, так, как торгуются вообще

всякие поэты, прозаики и простые смертные. Но поэту, выведенному Пушкиным и составляющему, по всей вероятности, идеал Пушкина, хочется сначала поломаться, и поэтому он душит несчастного книгопродавца длиннейшими монологами, не имеющими никакого отношения ни к книжной торговле, ни к цене того товара, который поэт держит в своем портфеле. Книгопродавец, разумеется, слушает болтливого «*любимца муз и граций*» с почтительным вниманием и отвечает на его монологи приличными комплиментами, потому что предвидит от его лиры много добра или, проще, надеется зашибить на его новой поэме порядочный барыш. Конечно, поэт прежде всего старается заявить, что ему тяжело и больно продавать свое вдохновение. Когда книгопродавец говорит ему: «стишки любимца муз и граций мы вам рублями заменим», тогда поэт вздыхает, и притом столь глубоко, что книгопродавец из вежливости принужден изъявить свое участие и осведомиться о причине такого вздоха. Поэту только того и нужно было. Придравшись к вопросу книгопродавца, он немедленно приступает к изготовлению монологов:

Я был далеко,
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал...

Ну, и так далее; начинаются картины природы, потом оказывается, что какой-то демон обладал его играми и шептал ему дивные звуки, что его голова была полна тяжким пламенным недугом, что его соперником в гармонии был шум лесов, и буйный вихрь, и живой напев иволги; что он не унижал постыдным торгом сладостных даров музы и не хотел делиться с толпою пламенным восторгом.

Видя, что поэт напирает на какую-то постыдность торга, и предчувствуя, с содроганием сердца, в этом возвышенном разговоре коварнейший маневр, направленный к тому, чтобы набить цену, которая, очевидно, должна будет покрыть собою не только труд поэта, но еще и *позор* торговой сделки, — несчастный книгопродавец, некстати осведомившийся о причине вздоха, старается показать своему собеседнику лицевую сторону медали и заговаривает о славе, которая, по его мнению, заменила поэту «мечтанья тайного отрады». Но поэт твердо решился ободрать книгопродавца, как липку, и поэтому относится к славе очень сурово. «Что слава? — спрашивает он, — шепот ли чтеца? Гоненье ль низкого невежды? Иль восхищение глупца?»

Тут поэт, повидимому, сам признается в том, что только глупец может восхищаться его произведениями. Не будем с ним спорить. Книгопродавец, из чувства самосохранения, никак не хочет, однако, согласиться с тем, что слава — звук пустой.

Он напоминает поэту, что «сердце женщин славы просит: для них пишите».

Поэт, продолжая жеманиться и кривляться, уверяет, что ему и до женщин нет никакого дела, тем более что для него это не диковинка. Тут он никак не может утерпеть, чтобы не намекнуть книгопродавцу о своих победах, и говорит:

Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои.

Но мне, дескать, это все нипочем.

Нечисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.

Значит, не стоит с ними и связываться. Но книгопродавец является галантерейным защитником прекрасного пола, у которого оказалось такое пакостное воображение, и спрашивает:

Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?

Поэт отвечает весьма пространно и восторженно, что такая отменно хорошая барыня, без нечистого воображения, действительно существует, но что, к сожалению, она его знать не хочет. Книгопродавцу в это время уже до смерти надоело выслушивать и почтительно одобрять бестолковые монологи. Поэтому он торопится прийти к практическому заключению и говорит:

Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт отвечает: «свободу!» Это неожиданное решение может показаться читателю чересчур храбрым и, пожалуй, даже неисполнимым. Но читатель должен помнить, что ведь эта пушкинская свобода — свобода самая смирная и неприхотливая, и даже незаметная, в том смысле, что ее можно принять за нечто вовсе не похожее на свободу. Пушкин во многих своих стихотворениях прославляет свободу, но это обстоятельство нисколько не должно вредить его репутации в глазах солидных и добродетельных людей. Книгопродавец очень хорошо понимает, о какой свободе тут идет речь, и вследствие этого очень основательно замечает поэту, что

в сей век железный
Без денег и свободы нет.

Вы, дескать, сначала извольте мне продать вашу поэмочку, а потом ложитесь на диван, задерите ноги кверху и плюйте в потолок, то есть наслаждайтесь вашею свободою до тех пор, пока не истратите всех полученных денег. Поэту, повидимому, тоже надоело кривляться и пустословить. Он отвечает книгопродавцу прозой: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». — Тем и оканчивается вся пьеса.

Не знаю, стоит ли эта пьеса выше или ниже критики, но знаю наверное, что она стоит вне критики, потому что в ней нет решительно ни одной мысли, — ни такой, против которой можно было бы спорить, ни такой, с которою можно было бы согласиться. Во всем разговоре нет ничего, кроме непроходимого пустословия, и все это пустословие выставляет поэта в самом мизерном виде. Он оказывается похожим на старую кокетку, которой до смерти хочется согрешить, но которая при этом непременно желает, чтобы ее вовлекли в грех почти насильно. Если Пушкин сам смотрел на своего поэта с уважением и если он хотел внушить это чувство своим читателям, то мне остается только подивиться как проницательности Пушкина, так и его искусству. Если же Пушкин хотел действительно написать сатиру на поэтов, то можно заметить, что эта сатира длинна, скучна и страдает полным отсутствием остроумия.

В 1827 году Пушкин написал стихотворение «Поэт». Вот оно:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы;
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Хотя Белинский и превозносит Пушкина за то, что Пушкин заменил *фиалы пивными кружками*, однако нельзя не заметить, что наш поэт до самого конца своей жизни не отделался вполне от старого и совершенно бессмысленного мифологического языка. Этот язык невыносим для тех писателей, которые чувствуют в себе потребность высказывать обществу какие-нибудь определен-

ные и ясно сознанные мысли. Но для тех писателей, которые, подобно пушкинскому поэту, полны не мыслей, а только *звуков и смятенья*, мифологический язык составляет незаменимое сокровище, потому что разные Аполлоны, музы, грации, Киприды, парки дают таким писателям, кроме богатого запаса подставных рифм, полную возможность не высказывать в своих стихах ровно ничего, притворяясь в то же время, будто они высказывают чрезвычайно много. В стихотворении «Поэт» мифологический язык оказал Пушкину драгоценную услугу. Попробуйте выгнать из этого стихотворения Аполлона, и все стихотворение окажется несуществующим, потому что тогда немедленно откроется вся его бессмысленность. В этом стихотворении поэт приведен в зависимость от какой-то верховной, таинственной власти, не имеющей никаких необходимых отношений к интересам и волнениям живых людей. Аполлон призывает поэта к священной жертве, божественный глагол касается до чуткого слуха — это, конечно, только поэтические образы или, вернее, аллегорические обороты речи, но именно только эти аллегорические обороты могут до некоторой степени заслонить как от самого автора, так и от читателя совершенную несостоятельность основного мотива. Называя Аполлоном ту силу, которая побуждает поэта творить, Пушкин одним этим риторическим маневром приписывает этой силе совершенно самостоятельное существование. По теории Пушкина, поэт творит не тогда, когда он взволнован так или иначе впечатлениями, воспринятыми из окружающей жизни, то есть из сношений с людьми, из созерцания природы или из чтения книг, а тогда, когда на него без всякой посторонней и видимой причины находит какое-то особенное, священное бешенство, во время которого он бегает по берегам пустынных волн и по широкошумным дубровам. Вся теория, очень любезная многим поэтам и превращающая поэта в совершенно исключительное существо, не похожее на обыкновенных людей, выразилась чрезвычайно ярко в той фикции, что Аполлон требует поэта к священной жертве. Эта фикция оказывается не переводимою на обыкновенный человеческий язык, потому что в действительной жизни нет такого процесса, который соответствовал бы призыванию поэта к священной жертве. Уничтожая Аполлона, то есть обособление и олицетворение вдохновляющей силы, вы уничтожаете не только внешнюю форму, но также и все внутреннее содержание пушкинской пьесы.

В действительности вся поэтическая деятельность всякого поэта зависит безусловно, во-первых, от его организма, то есть от склада его ума и характера, а во-вторых, от того общества, в котором он живет. Стало быть, в действительности между личностью поэта и его деятельностью никогда не бывает и не может быть того резкого противоречия, которое так эффектно воспевает Пушкин. Если сам поэт ничтожен и если он живет среди ничтожных детей мира, то и произведения его окажутся вполне ничтож-

ными. В действительности роль *божественного глагола* могут играть, в отношении к поэту, только впечатления окружающей жизни. Но этот *божественный глагол* не умолкает ни на одну минуту; жизнь постоянно волнует, так или иначе, ум и чувство того человека, который способен вглядываться в ее явления и понимать ее выразительный, но не для всех одинаково доступный язык. Стало быть, если человек обладает *чутким слухом* и если душа этого человека способна *встрепенуться, как пробудившийся орел*, заслышав *божественный глагол* жизни, то этому человеку некогда будет *малодушно погружаться в заботы суетного света* и этой душе некогда будет *вкушать хладный сон*. Душа, способная слышать и понимать *божественный глагол* жизни, будет слушать его постоянно и, следовательно, будет постоянно находиться в страстно-напряженном положении бодрствующего орла.

На это можно возразить, что человеческие нервы не выносят постоянного напряжения. Это справедливо. Поэт, как и всякий другой человек, нуждается в отдыхе, но отдых, то есть полоса бездействия, необходимая для восстановления потраченных сил, не имеет ни малейшего сходства с *малодушным погружением в суетные заботы света*. Это малодушное погружение для каждого умного и замечательного человека бывает обыкновенно гораздо изнурительнее, чем самый напряженный процесс творчества. Во время отдыха поэт, исследователь или какой-нибудь другой общественный деятель откладывают в сторону труд, но они все-таки постоянно остаются на той высоте умственного развития, на которую они сумели поставить себя всем процессом своей трудовой жизни. Если поэт искренно презирает дряблость и мелочность того общества, среди которого ему приходится жить, то это презрение будет оставаться в его душе даже и тогда, когда оно не будет служить ему темою и канвою для стихотворений или для романов. Если исследователь сумел отделаться посредством своих научных занятий от различных предрассудков, то он не подчинится этим предрассудкам в то время, когда будет отдыхать от своих работ. Если член парламента глубоко проникнут известными политическими стремлениями, то он не откажется от этих стремлений тогда, когда превратится на несколько недель в беззаботного туриста или в скромного сельского джентльмена. Спящий атлет все-таки остается атлетом, то есть не превращается в плюгавого и бессильного карлика, хотя, разумеется, он не может совершать во время сна никаких подвигов силы, ловкости и мужества.

Бывают, конечно, минуты, когда *божественный глагол* жизни раздается особенно громко, так что становится вразумительным даже для тех мелких, легкомысленных или тупоумных людей, которые не замечают или не понимают его в обыкновенное время. В жизни человеческих обществ бывают такие торжественные или критические минуты, когда все общество, сверху донизу, чувствует необходимость сосредоточить все свои силы для ожесто-

ченной борьбы с внешними или с внутренними врагами. В такие минуты появляются обыкновенно целые тучи поэтов, порожденных тревожным настроением общества. В 1854 году такие скороспелые поэты сулили возможные бедствия французам, англичанам и туркам. В 1857 году такие же точно поэты стыдили нас тем, что мы очень долго спали, и уверяли нас честью, что теперь мы проснулись. Нет сомнения, что и Крымская война и все последовавшие за нею преобразования составляют очень знаменательную эпоху в исторической жизни нашего общества; но нет также ни малейшего сомнения в том, что все поэты, ругавшие лорда Пальмерстона и толковавшие о нашем возрождении, не произвели ровно ничего, кроме утомительного жужжания. *Божественный глагол* жизни дошел до них тогда, когда его уже услышали и почувствовали все классы русского общества. Поэты не сделали ровно ничего для разъяснения тех событий, которыми было поражено внимание общества; в продолжение нескольких лет поэты наигрывали только различные вариации на те темы, которые были даны им настоящими руководителями общественного сознания.

Значит, хотя души мелких людишек, вообразивших себя поэтами, действительно встрепенулись от громких нот *божественного глагола*, однако эти души оказались все-таки не *пробудившимися орлами*, а только бессильными и пискливыми трясогузками. И эта участь всегда и везде постигает тех людей, которые стремятся быть поэтами, не умея и не желая предварительно сделаться мыслящими людьми и честными гражданами. Такие господа, разумеется, готовы превознести до небес то стихотворение Пушкина, которое я разбираю в настоящую минуту. Блестящие фигуры и фразы этого стихотворения предоставляют каждому рифмоплету полнейшее право быть пошлым дураком и отъявленным негодяем; эти фигуры и фразы дают ему даже драгоценную возможность рисоваться своею глупостью и своим негодяйством. — Друг любезный, — спрашиваете вы у такого господина, — зачем ты баклуши бьешь? — Затем, mon cher, * — отвечает он вам с благородною гордостью, — что Аполлон не требует меня к священной жертве. — А когда ж он тебя потребует? — А я почем знаю! Поди спроси у Аполлона. — А зачем ты пьянствуешь? — Затем, что душа моя вкушает хладный сон. — А взятки зачем берешь? — Затем, что я малодушно погружен в заботы суетного света. — А зачем ты своего вице-директора в плечико целуешь? — Затем, что я, быть может, ничтожнее всех ничтожных детей мира. — Да ведь все это, братец ты мой, очень скверно. — Нисколько не скверно. Все это доказывает только, что я самый настоящий поэт, что душа моя встрепенется, как пробудившийся орел, что у меня зазвенит в ушах и что я убегу от моего вице-директора в широкошумные дубровы. — Скатертью тебе дорога, любезный друг.

---

* Мой милый *(франц.)*. — *Ред.*

VI

В 1828 году Пушкин написал стихотворение «Чернь», в котором, по словам Белинского, заключается его «художническое profession de foi». * Выдержками из этого стихотворения любители чистого искусства обыкновенно подкрепляют свои умозрения. Я приведу это стихотворение вполне, потому что в нем каждое слово есть драгоценный перл для беспристрастной оценки Пушкина.

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел, а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

Лира и *пение* составляют также обломки того старого мифологического балласта, с которым никак не может расстаться Пушкин. Превращая поэта в *жреца Аполлона*, давая ему в руки *вдохновенную лиру*, заставляя его *петь*, Пушкин этими ветхими побрякушками глубоко искажает не только внешний вид, но вместе с тем и внутренний смысл того явления, которое в наше время называется поэзиею. Современный поэт — не *певец*, а *писатель* и продавец исписанной бумаги. Современная публика — не *слушатели*, а *читатели* и покупщики печатной бумаги. Между поэтом и публикой являются посредницами целые обширные отрасли промышленности. Произведение поэта проходит через типографию, через мастерскую переплетчика, через книжную лавку и, в случае успеха, распространяется по целой обширной стране, иногда по целой части света, иногда даже по всему образованному миру. Когда слово поэта было песнью, которая бесследно улетала в воздухе или запоминалась только немногими восторженными слушателями, тогда поэт имел полное право бряцать по лире рассеянною рукою, особенно если у него было несколько десятков рабов, одаренных менее рассеянными руками и употреблявших эти руки не на бряцание, а на пахание и засевание земли. Но когда слово поэта, пройдя через печатный станок, приобретает себе способность действовать на сотни тысяч людей и управлять умственным развитием целых поколений, когда поэт призывает к себе на помощь десятки рабочих рук, которые набирают, оттискивают, корректируют, брошируют, перевозят и распродают его произведения, когда он, наконец, берет себе деньги с своих читателей и обожателей, — тогда *рассеянное* бряцание становится уже делом в высшей степени неприличным. Живя в таком обществе, которое отрицает рабство и, следовательно, по всем правилам здоровой логики, принуждено относиться серьезно и благоразумно к человеческому труду, поэт постоянно должен отдавать себе самый стро-

* Исповедание веры; совокупность взглядов *(франц.)*. — *Ред.*

гий отчет в том, зачем он посягает на труд наборщиков, печатников, корректоров, переплетчиков, разносчиков; зачем он посягает на деньги и на время своих читателей, то есть также на труд этих читателей или каких-нибудь других людей, находящихся от них в экономической зависимости, и, наконец, зачем он сам тратит свое время и свой труд, которые он мог бы употребить на какое-нибудь дело, выгодное для него самого и полезное для общества?

Удовлетворительный ответ на все эти неизбежные и неотразимые вопросы должно давать содержание и направление той песни, которую поэт поет для толпы, или, проще и точнее, того произведения, которое он пишет для своих читателей и продает своему издателю. На самом деле *рассеянное бряцание* или, другими словами, бессознательное творчество в настоящее время не только неприлично, но даже совершенно невозможно. Те самые поэты, которые горячо защищают *рассеянное бряцание* в теории, на практике оказываются вовсе не рассеянными бряцателями, а, напротив того, очень тщательными и усидчивыми шлифовальщиками сцен, картин, подробностей, языка и стиха. Усерднейший адвокат *рассеянного бряцания*, Пушкин жестоко черкал и перемарывал свои рукописи, что уже нисколько не похоже ни на рассеянное бряцание, ни на бессознательное творчество. Если бы Пушкину вздумалось подражать на практике тому поэту, который «по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал», то мы в настоящую минуту, конечно, не имели бы никакого понятия о том, что жил на свете некий Пушкин, о чем-то рассеянно бряцавший. Продукты рассеянного бряцания, небрежно написанные, вялые, бледные и неблагозвучные стихи, не нашли бы себе ни издателей, ни покупателей, ни читателей, ни обожателей, ни подражателей. Имя Пушкина кануло бы в вечность вместе с его рассеянным бряцанием. Чувство самосохранения заставляет, таким образом, поэтов откладывать в сторону горделивую рассеянность, когда они приступают к той стороне своего труда, которая затрогивает особенно близко их собственные интересы. Они знают, что публику надо приманивать красотою и яркостью внешней формы; они знают, что без этой приманки им не добыть себе ни денег, ни известности; поэтому они и трудятся над внешнею формою без малейшей рассеянности, как простые чернорабочие. Но, тщательно выгораживая таким образом свои собственные выгоды, тщательно обеспечивая за собою, посредством самого напряженного труда, верный и прибыльный сбыт своих произведений, поэты пушкинского закала напускают на себя неизлечимую рассеянность, как только заходит речь о выгодах тех людей, которые покупают и читают их произведения. Перед самим собою поэт совершенно прав. На вопрос: «зачем вы тратите труд и время», — он может отвечать преспокойно: «затем, чтобы приобрести деньги и известность». — Резон совершенно достаточный. Деньги и известность — такие хорошие вещи, за которыми гоняются без

отдыха все люди, не совсем задавленные нуждою, имеющие возможность думать о чем-нибудь, кроме черствого куска насущного хлеба. Но о том, чтобы оказаться правым перед другими людьми, поэт, по своей милой *рассеянности*, совершенно не умеет и не желает думать. На вопрос: «зачем вы предлагаете вашим соотечественникам такое чтение, которое не дает им ни новых идей, ни фактических знаний?» — поэт ответит вам: «а мне какое дело? Chacun chez soi, chacun pour soi. * Я их не заставляю покупать мои произведения». Спросите у купца толкучего рынка: «зачем вы, мой почтенный, торговлю ведете?» — Он вам ответит: «затем, чтобы капиталы свои приумножить». — Спросите у него далее: «а зачем вы, мой почтенный, продаете такой товар, который никуда не годится?» — Он вам ответит: «стало быть, годится-с, когда покупают. Наше дело продать-с, а их дело смотреть-с. На то им от бога глаза даны-с, а насильно-с мы никому товара нашего не всучиваем».

Сходство между общественною деятельностью *рассеянного* поэта и торговыми операциями искусного щукинского негоцианта окажется полное и поразительное, особенно если мы припомним, что просвещенный наш негоциант очень сильно заботится о внешней благовидности того товара, которого он никому не всучивает насильно, подобно тому как вдохновенный бряцатель очень сильно трудится над внешнею отделкою тех произведений, которых он также никому не навязывает насильно.

Пушкин говорит, что поэту *бессмысленно* внимал *хладный* и *надменный* народ. Все три ругательные эпитета, которыми охарактеризован народ, не только сами по себе нелепы, но даже совершенно противоречат тем чертам, которыми сам же Пушкин обрисовывает народ в том же стихотворении. Что народ слушает *не бессмысленно*, это видно из того, что он высказывает о песне поэта очень верные замечания, против которых поэт не находит никаких аргументов, кроме энергических ругательств и ничтожных насмешек, желающих быть язвительными. Что народ не может быть назван *хладным*, — видно из того, что он поддается влиянию даже той песни, которой бесцельность он сам замечает и осуждает. Народ говорит о поэте: «зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей». Если народ чувствует в своем сердце волнения и мучения в такой сильной степени, что даже уподобляет поэта своенравному чародею, то где же та *хладность*, в которой упрекает его Пушкин? — Что народ не может быть назван *надменным*, — видно из того, что этот народ смиренно кается перед поэтом в своих грехах, просит поэта быть его руководителем и обещает терпеливо и внимательно выслушивать его резкие наставления. А *надменным* оказывается, напротив того, поэт, кото-

---

* Каждый сам себе хозяин; буквально: каждый у себя, каждый для себя *(франц.)*. — *Ред.*

рый на эту смиренную просьбу народа отвечает: убирайтесь к черту! *Хладным* оказывается также поэт, которого не трогают ни пороки ближних, ни их раскаяние, ни их желание исправиться. *Бессмысленным* оказывается опять-таки тот же поэт, который, как мы увидим дальше, советует народу врачевать душевные недуги *бичами, темницами и топорами*. Если можно в чем-нибудь упрекнуть *непосвященный* народ, то разве только в том, что он, по свойственной всякому народу наклонности ротозейничать и кланяться в пояс, остановился слушать пение такого отъявленного кретина, а потом у этого же безнадежного кретина вздумал выпрашивать себе разумных советов.

VII

«И толковала чернь тупая (это уже четвертое ругательное слово, измышленное любвеобильным Пушкиным для посрамления непосвященного народа): зачем так звучно он поет? Напрасно ухо поражая, к какой он цели нас ведет? (Поэзия сама себе цель, то есть, когда творения поэта раскуплены, тогда высшая и последняя цель достигнута). О чем бренчит? Чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Как ветер, песнь его свободна, зато, как ветер, и бесплодна; какая польза нам от ней?»

Приписывая *тупой черни* эти слова, Пушкин, очевидно, желает выразить ими то, что непосвященный народ, несмотря на всю грубость своих чувств, несмотря на силу своих антиэстетических предубеждений, невольно и даже неохотно, но все-таки подчиняется неодолимому и волшебному обаянию поэтической песни. Несмотря на свои недоброжелательные отношения к чистому искусству, народ сознается, что поэт *поет звучно* и что он даже *волнует и мучит сердца, как своенравный чародей*.

Заставляя чернь произносить эти последние слова, Пушкин чересчур увлекся своим желанием превознести волшебную силу поэзии. Спрашивается: может ли действительно волновать и мучить сердца такой поэт, который ничему не учит своих читателей, не ведет их ни к какой определенной цели и не приносит им никакой пользы? О чем пел или, как выражается *тупая чернь*, бренчал поэт, — этого мы не знаем, потому что Пушкин, к сожалению, не сообщает нам его песни. Если бы он пел о правах и обязанностях человека, о стремлении к светлому будущему, о недостатках современной действительности, о борьбе человеческого разума с вековыми заблуждениями, о сознательной любви к отечеству и к человечеству, о значении того или другого исторического переворота, — то, разумеется, его пение волновало и мучило бы сердца, но в то же время самый тупой, самый хладный, надменный и бессмысленный народ не мог бы упрекнуть это пение

в том, что оно ничему не учит, не ведет ни к какой цели и не приносит никакой пользы. Если бы пение поэта наводило слушателей на серьезные размышления, если бы оно пробуждало или усиливало в них любовь к истине, ненависть к обману и к эксплуатации, презрение к двоедушию и к тупоумию, то народу оставалось бы только слушать и благодарить, а поэту не было бы ни малейшего основания ссориться с *тупою чернью*, зараженною грубыми утилитарными предрассудками.

Чтобы объяснить себе размолвку, происшедшую между певцом и его слушателями, надо предположить, что поэт пел о красоте летнего утра или о том, что какой-нибудь *он* очень сильно любил и крепко целовал какую-нибудь *ее*. Воспевание летнего утра не могло волновать и мучить сердца, потому что подобные воспевания играют в поэзии такую же скромную и невинную роль, какую играют в общежитии поучительные беседы о прекрасной погоде. Воспевание любви и поцелуев может, конечно, волновать и мучить, но для большей точности надо было бы сказать, что это воспевание волнует и мучит не сердца, а чувственность. Эротические песни находят себе обыкновенно многочисленных и усердных слушателей; если же эротическая песня пушкинского поэта казалась народу *бесплодною* и если он вместо нее требовал себе такого пения, которое вело бы его к известной цели и приносило бы ему осязательную пользу, если он не довольствовался тем, что *волновало* его чувственность, то надо сознаться, что поэт имел дело с такою *чернью*, которая стояла на необыкновенно высокой степени умственного развития и отличалась замечательно серьезным и разумным взглядом на жизнь.

Мне могут возразить, что песнь пушкинского поэта не была эротическою песнью и что, следовательно, неудовольствие черни против этой песни не доказывает еще, чтобы эта чернь относилась презрительно и насмешливо к приятному щекотанию чувственности. Но в таком случае я спрошу: какую же песнь мог петь поэт? Потрудитесь найти, кроме эротической песни, какую-нибудь песнь, которая могла бы волновать и мучить сердце, не удовлетворяя в то же время всем требованиям утилитарного взгляда на жизнь. *Тупая чернь*, очевидно, требует от поэта плодотворных мыслей; а поэт, не способный мыслить, дает ей яркое описание мелких ощущений, которые всякому известны, всякому понятны и приятны в действительной жизни, но в песне интересны только для шаловливых отроков или для бессильно-сластолюбивых стариков. Чернь не удовлетворяется соблазнительными картинками, и это обстоятельство, конечно, делает честь ее здоровым умственным способностям. Приписавши черни слова о том, что песнь поэта волнует и мучит сердца, Пушкин, совершенно неожиданно для самого себя, затронул вопрос: может ли бесполезная поэзия сильно действовать на человека? Я рассмотрел теперь этот вопрос и пришел к тому заключению, что бесполезная поэзия всегда бывает

в то же время бессильною поэзиею, то есть она или не производит совсем никакого впечатления, или действует самым поверхностным образом только на тех умственно недозрелых субъектов, которые способны упиваться балетными позами.

Услышав рассуждения черни, кретин, произведенный Пушкиным в поэты, начинает ругаться:

«Молчи, бессмысленный народ, поденщик, раб нужды, забот! (*Поденщик*, по мнению кретина, бранное слово. Попрекать человека тем, что он беден и трудится, значит, по мнению того же кретина, обнаруживать благородство чувств и возвышенность помыслов.) Несносен мне твой ропот дерзкий. Ты червь земли, не сын небес! (Детьми небес оказываются, во-первых, *рассеянные* поэты, а во-вторых, те искусные негоцианты толкучего рынка, которые, как мы видели в предыдущей главе, обходятся с публикою столь же *рассеянно*, как самые ревностные жрецы чистого искусства.) Тебе бы пользы все («Ишь чего захотел! Тебе бы все хорошего товару!» — думает про себя искусный негоциант) — на вес кумир ты ценишь Бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог! («Себе дороже-с! Самой настоящей английской доброты!» — распинается негоциант за такую гниль, которая нейдет у него с рук.) Так что же? Печной горшок тебе дороже: ты пищу в нем себе варишь».

Ну, а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире? Или, может быть, ты питаешься такою амброзиею, которая ни в чем не варится, а присылается к тебе в готовом виде из твоей небесной родины? Или, может быть, ты скажешь, что совсем не твое дело рассуждать о пище, и отошлешь нас за справками к твоему повару, т. е. к одному из *червей земли*, к одному из тех жалких *рабов нужды*, которые ценят на вес твоего мраморного бога? — Повар твой, о кретин, скажет нам наверное, что твоя пища варится в горшках и в кастрюлях, а не в кумирах, и скажет нам, кроме того, в какую цену обходится тебе твой обед. Тогда мы узнаем, что ты съедаешь в один день такую массу человеческого труда, которая может прокормить *раба нужды* с женою и с детьми в течение целого месяца. Тогда, поговоривши с твоим поваром, мы увидим ясно, в чем состоит несомненное превосходство *детей неба* над *червями земли*. *Червь земли* живет впроголодь, а *сын неба* приобретает себе надежный слой жира, который дает ему полную возможность создавать себе мраморных богов и беззастенчиво плевать в печные горшки неимущих соотечественников.

Он ничего не отрицает, — говорит Белинский о Пушкине, — ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением... Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической, — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность... Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина... Никто, решительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых читателей, как Пушкин.

Все эти сладкие слова Белинского превращаются в жесточайшую иронию, когда вы ставите их рядом с словами самого Пушкина, взятыми из того стихотворения, которое сам же Белинский считает его «поэтическим profession de foi». *Он ничего не отрицает и не проклинает* — кроме всего трудящегося человечества. *Он смотрит с любовью и благословением на все* — то есть на весь петербургский beau monde, * и даже на всех людей comme il faut, ** живущих в Москве и в провинции. *Общий колорит поэзии Пушкина — внутренняя красота человека...* проводящего свою жизнь в благородной праздности и посвящающего свои досуги пищеварению и созерцанию мраморных богов, и *лелеющая душу гуманность* в отношении к детям небес, которые презирают и топчут в грязь червей земли. *Есть всегда что-то особенно благородное* (о, да!), *кроткое, нежное, благоуханное и грациозное* в том презрении, с которым Пушкин кричит на *бессмысленный народ*, бросая ему в лицо, как сильные ругательства, святые слова: *поденщик* и *раб нужды. Никто, решительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых читателей, как Пушкин*, потому что никто, решительно никто из русских поэтов не может внушить своим читателям такого беспредельного равнодушия к народным страданиям, такого глубокого презрения к честной бедности и такого систематического отвращения к полезному труду, как Пушкин.

Не для того я произвел это убийственное сопоставление, чтобы глумиться над священною памятью нашего великого учителя Белинского, а для того, чтобы показать читателям, до какой степени опасны и губительны бывают эстетические увлечения даже для самых сильных и замечательных умов. Посмотрите в самом деле, *какого* воспитателя рекомендует Белинский всей читающей России! Хороши бы мы были, если бы мы принимали каждое слово Белинского за изречение оракула!

На ругательства *сына небес черви земли* отвечают следующею смиренною просьбою:

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

---

* Высший свет *(франц.). — Ред.*

** Как следует, приличных (по понятиям светского общества) *(франц.). — Ред.*

Бывают ли в действительной жизни какие-нибудь явления, соответствующие до некоторой степени этому обращению черни к поэту? — Бывают, и одно из таких явлений совершилось на глазах тех русских людей, которые живы и здоровы до настоящей минуты. Мы все помним очень живо тот пафос самообличения и публичного покаяния, который овладел нашим обществом после окончания Крымской войны и который, к сожалению, по прошествии двух-трех лет, снова заменился для большинства сонным и тупым самодовольством катковской школы. «В те дни, когда нам были новы» все невинные проявления нашей робкой и скромной полугласности, в те веселые и счастливые дни для нашего общества не существовало никакой беллетристики, кроме обличительной. На внимание публики могли рассчитывать только те писатели, которые обнаруживали в своих произведениях искреннее или неискреннее, но во всяком случае громкое негодование против различных общественных зол, подлежавших ведению нашей тогдашней полугласности. Даже катковская школа, всегда питавшая наклонность к сладостному оптимизму, не в силах была сопротивляться требованиям читающей публики; громадный и быстрый успех «Губернских очерков» положил, как известно, самое прочное основание могуществу «Русского вестника».[21] Итак, *тупая чернь* требовала в то время от своих поэтов, чтобы они, «любя ближнего», давали ей «смелые уроки» и постоянно держали перед ее глазами длинный список ее глупостей и подлостей. А что же делали в то время поэты? Что делали самые ревностные жрецы чистого искусства? — О! как только *тупая чернь* ясно сформулировала свои требования, как только обнаружился сильный запрос на обличительный товар, на прогрессивные стремления и на гражданские чувства, — так тотчас самые эфирные мотыльки нашего поэтического вертограда, наперерыв друг перед другом, стали прикладывать к делу русскую поговорку: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Все оказались раболепными угодниками *тупой черни*, все начали усердно подделываться под господствующий тон, все почувствовали неодолимую потребность заявить в стихах и в прозе, что они тоже любят отечество, что они тоже тяготятся застоем мысли и жизни, что они тоже печалятся о бедности русского мужика и что они вообще не последняя спица в колеснице русского прогресса. Словом, *тупая чернь* сделала знак своим поэтам, и поэты, как расторопные слуги, со всех ног кинулись исполнять приказания своего властелина, то есть той самой *тупой черни*, с которою так кавалерственно обращается неправдоподобный поэт, придуманный Пушкиным. И никому из жрецов чистого искусства не пришло в голову крикнуть печатно: «молчи, бессмысленный народ!» Ни у кого не хватило храбрости открыто и решительно пойти против течения. Всякий, кто только мог двумя-тремя дешевыми гражданственными фразами заработать себе два-три взрыва столь же дешевых рукоплесканий, никак

не решался отказать своему мелкому тщеславию в этом копеечном удовлетворении. В поте лица своего склеивал жрец чистого искусства какую-нибудь неуклюжую и бледную подделку под некрасовский тон и потом млел и сиял от удовольствия, когда неприхотливые слушатели встречали и провожали его рукоплесканиями на публичном чтении.

Стало быть, если бы когда-нибудь *тупая чернь* обратилась прямо к известному лицу, требуя себе от него смелых уроков во имя любви к ближнему, если бы общественное мнение целой страны с любовью и с надеждою остановилось на имени известного поэта и провозгласило этого поэта учителем и руководителем общества и народа, то не подлежит ни малейшему сомнению, что любимец муз и граций, не слыша под собою ног, кинулся бы в ту сторону, куда посылал бы его народный голос. Если не любовь к народу, то тщеславие, если не тщеславие, то боязнь быть осмеянным и оплеванным заставили бы его поступить таким образом. Тщеславие составляет преобладающую, быть может даже единственную сильную страсть чистых художников, то есть тех художников, которые воображают себе, что все их способности поглощены бескорыстным и бесцельным служением искусству. Нетрудно себе представить, как сильно должна разыграться эта преобладающая страсть, когда художник увидит себя предметом всеобщего внимания и самых напряженных ожиданий, возбужденных в читающей массе силою и яркостью его таланта. В эту минуту от самого художника, то есть от того направления, которое примет его деятельность, будет зависеть — сделаться идолом толпы или ее посмешищем. Тщеславие, конечно, потянет его вниз по течению.

Спрашивается теперь, какая же сила составит противовес этому тщеславию? Какая сила застрахует поэта против того эпидемического увлечения, которое обыкновенно овладевает всеми впечатлительными людьми, когда они видят, как увлекаются тою или другою идеею целые массы? Какая сила заставит поэта плыть против течения и таким образом накликать на себя, со стороны увлеченных соотечественников, упреки, насмешки и оскорбления? Какая сила, наконец, заставит его подвергаться еще более страшной опасности, самой страшной из всех опасностей, угрожающих художнику, — опасности превратиться в ходячий анахронизм и затеряться заживо в пыльной груде забытой литературной старины?

Единственною силою, которая должна отдуваться за все про все, оказывается любовь поэта к чистому искусству, к *служению муз*, которое *не терпит суеты*. Мечтать о том, чтобы это туманно-метафизическое или антично-мифологическое чувство одержало победу над всеми искушениями предстоящей популярности, — было бы просто смешно. Достаточно припомнить, что все отрасли искусства всегда и везде подчинялись мельчайшим и глупейшим требованиям изменчивого общественного вкуса

и прихотливой моды. Красота художественного произведения сама по себе вещь чисто условная; поэтому привязанность человека к этой условной и относительной красоте никогда не может быть настолько сильною, чтобы служить ему надежною опорою в серьезной борьбе с господствующими требованиями времени и народа. Идти наперекор ясно выраженным желаниям массы можно только из горячей любви к этой же самой массе. Только живая, естественная и искренняя любовь человека к людям может дать передовому мыслителю или деятелю непоколебимую самоуверенность, силу и мужество, необходимые для того, чтобы встретить и выдержать жестокую бурю близорукого общественного негодования и медленную пытку незаслуженного презрения. Всякие искусственные, тепличные и напущенные чувства, в том числе, разумеется, и уморительная любовь художника к служению муз, не терпящему суеты, изломаются и исчезнут без следа при первом столкновении с требованиями общества, хотя бы даже эти требования были сами по себе совершенно неосновательны.

В стихотворении Пушкина выходит совсем наоборот: поэт торжественно отказывается от популярности, громко проклинает *тупую чернь* и погружается в одинокое созерцание чистой красоты, понятной только для посвященных. Эта совершенно неправдоподобная развязка объясняется очень легко и совершенно удовлетворительно тем обстоятельством, что общество, в котором жил Пушкин, спало мертвым сном, так что Пушкин не имел возможности составить себе приблизительно верного понятия о том, что такое общественное мнение, что такое голос *тупой черни* и в какой степени заразительны и увлекательны бывают общественные страсти. Можно предположить даже, что все стихотворение Пушкина было вызвано какою-нибудь тупою и пошлою критическою статьею Булгарина, упрекавшего его в безнравственности и требовавшего от него поучительных стихов и медоточивых рассказов. Булгарин или какой-нибудь другой артист того же достоинства, по всей вероятности, показался Пушкину представителем массы и проводником ее умственных требований; дрянное поползновение булгаринской клики к пошлой нравоучительности принято Пушкиным за чистейшее выражение принципа утилитарности. Это предположение в высшей степени правдоподобно, потому что действительно во времена Пушкина в нашей литературе не было еще ни одного писателя, который постоянно и добросовестно защищал бы интересы масс и смотрел бы с чисто утилитарной точки зрения на все явления жизни, науки и искусства. Значит, Пушкин, ругая чернь и глумясь над идеею пользы, ратует против таких вещей, которых он никогда не видал в глаза. Отсюда происходит та неосновательная храбрость и то комическое озлобление, которые обнаруживает пушкинский поэт в отношении к *тупой черни*, терпящей горькую напраслину за глупости и подлости булгаринской клики.

Подобное зрелище нам случилось видеть очень недавно. Разгоряченный нападениями «Искры», г. Писемский написал против нее огромный роман, [22] в котором старался доказать, что отечество находится в опасности и что молодое поколение погибает в бездне заблуждений. В делах отечества и молодого поколения г. Писемский оказывается совершенно таким же компетентным судьею, каким оказывается Пушкин в вопросе о требованиях общественного мнения и об идее утилитарности. Оба говорят о том, чего они не знают, и оба принимают за воплощение принципа такую случайную и ничтожную мелочь, которая ни с каким принципом не может иметь ничего общего. Такие комические ошибки, конечно, не делают особенной чести ни природному их остроумию, ни широте и основательности их благоприобретенного умственного развития.

VIII

Не угодно ли теперь послушать ответ пушкинского поэта:

Подите прочь, какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Этими торжественными словами оканчивается стихотворение, и тут можно именно сказать, что конец венчает дело. Если бы какой-нибудь злейший враг чистого искусства захотел закидать его грязью и погубить его во мнении общества, то вряд ли бы он придумал для своей обвинительной речи что-нибудь сильнее и убийственнее тех слов, которые Пушкин так простодушно и откровенно приписывает своему поэту.

Мирному поэту нет дела до умственных и нравственных потребностей народа; ему нет дела до пороков и страданий окружающих людей; ему нет дела до того, что эти люди желают мыслить и совершенствоваться и просят себе живого слова и разумного совета у того, кто сам себя величает *сыном небес* и в ком они также признают *избранника небес* и *божественного посланника*. Спра-

шивается в таком случае, до кого и до чего же ему есть дело? — До самого себя и до своих собственных ощущений? До веселой попойки с любезным другом Ивановым, до приятной болтовни с чудесным малым Семеновым, до катанья на тройке с отличным товарищем Андреевым? До золотых локонов прелестной *A*, до лебединой шеи очаровательной *B*, до маленькой ножки несравненной *C*, до голубых очей восхитительной *D*? — Ведь на самом деле, если отодвинуть в сторону все мифологические фиоритуры, — служение муз, которое не терпит суеты, и священная жертва, к которой Аполлон требует поэта, окажутся просто интимною болтовнею поэта с милыми друзьями о милых подругах и с милыми подругами о их собственных прелестях. Такая болтовня очень интересна для самого поэта, для его милых друзей и для его милых подруг; но так как у каждого отдельного человека есть свои собственные милые друзья и свои собственные милые подруги, то при таком направлении творческой деятельности поэзия превращается в дело или, вернее, в забаву частных кружков и совершенно теряет свою способность служить высшею нравственною связью между всеми грамотными членами известной нации.

Так оно и было действительно у нас, в России, в первой четверти нынешнего столетия. Чтобы дать читателям легкое понятие о том, каким грациозно-младенческим забавам предавались тогдашние корифеи поэзии, я приведу здесь небольшую выписку из «Материалов для биографии Пушкина», собранных г. Анненковым.

«В 1815 году еще продолжалась борьба, возникшая по поводу нововведений Карамзина, и противники его направления сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова» (должно быть, не нашего),[23] к членам которой принадлежали многие даровитые люди; в числе их был и кн. Шаховской. Все молодое, желавшее новых форм для поэзии и языка и свежих источников для искусства вообще, пристроилось к другому обществу — «Арзамасу». «Арзамас» порожден был шуткой и сохранял основной характер свой до конца. Один веселый и остроумный рассказ под названием «Видение во граде» вызвал его на свет. В рассказе передан был анекдот о некоторых скромных людях, собравшихся раз на обед в бедный арзамасский трактир. Стол их был покрыт скатертью, белизны не совсем беспорочной, и нисколько не был отягощен изобилием брашен. В средине беседы прислужник известил им, что какой-то проезжий остановился в трактире и, повидимому, находится в магнетическом сне. Хотя любопытство и приписывается исключительно прекрасному полу, но друзья «Арзамаса» доказали противное. Они отправились наблюдать нового ясновидящего у дверей и увидели высокого толстого человека, который ходил беспрестанно по комнате, произнося непонятные тирады и афоризмы. Последние они тут же записали, но скрыли все собственные имена, потому что незлобивость и добродушие составляли и составляют отличительную черту «Арзамаса». Едва

разнеслась эта шутка, в которой не трудно было отгадать все тонкие намеки ее, как автор получил от одного из своих друзей приглашение на первый «*Арзамасский вечер*». Продолжая шутку, лица «Арзамасского вечера» назвались именами из баллад В. А. Жуковского и, наподобие Французской академии, положили правило: всякий новоизбранный член обязан был сказать похвальное слово не умершему своему предшественнику, потому что таких не было, а какому-либо члену «Беседы любителей русского слова» или другому известному литератору. Так произнесены были похвальные слова г. Захарову, переводчику «Авелевой смерти» Геснера, «Велисария» г-жи Жанлис и «Странствований Телемака» Фенелона; г. А. Волкову — автору «Арфы стихогласной» и мног. др. Секретарь общества, В. А. Жуковский, вел журнал заседаний, и протоколы его представляют автора «Людмилы» с другой стороны, еще не уловленной биографами (ах, биографы! чего вы смотрите?), со стороны вообще веселого характера. Это образцы самой забавной и вместе самой приличной шутки» (стр. 50—51).

Вот каковы были те господа, по поводу которых Белинский проводил идею органического развития. И вот каково было то высокое служение муз, которое налагало на поэта обязанность игнорировать и презирать потребности, пороки и страдания *тупой черни*, то есть всего русского общества. Здесь, как видите, навязывание бумажки на Зюзюшкин хвост было возведено в принцип и обставлено торжественными обрядами. К этому многотрудному и систематическому навязыванию Пушкин, по свидетельству того же г. Анненкова, относился постоянно с непоколебимою нежностью.

«Так важно было, — говорит г. Анненков, — влияние «Арзамаса» на литературу нашу, и надо прибавить к этому, что Пушкин уже сохранил навсегда уважение как к лицам, признанным авторитетами (по части навязывания бумажки?) в среде его, так и к самому способу действования во имя идей, обсуженных целым обществом. Он сильно порицал у друзей своих попытки разъединения (а чем таким они были соединены? Должно быть, общею ненавистью к М. Каченовскому?), проявившиеся одно время в виде нападок на произведения Жуковского (это значит: наших не тронь! и рука руку моет), и вообще все такого рода попытки; да и к одному личному мнению, ставшемуся наперекор мнению общему, уже никогда не имел уважения». (Оно и видно, стало быть, что поэт «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Здесь роль народа играет кружок, и поэт оказывается покорным слугою этого кружка).

В другом месте (стр. 54) г. Анненков говорит о Пушкине, что «он сохранил до конца своей жизни существенные, характеристические черты члена старых литературных обществ и уже не имел симпатии к произволу (а в кружках его не было?) журнальных суждений, вскоре заместившему их и захватившему довольно обширный круг действия».

Эти биографические подробности составляют очень выразительный комментарий к тому *поэтическому profession de foi*, которое изложил Пушкин в стихотворении «Чернь». — Мы видим теперь довольно ясно, *во имя чего* поэт отвертывается от разумных и реальных требований общества. Углубленный в игрушечные интересы разных «Арзамасов», поэт приглашает живых людей *«смело каменеть в разврате»*; он замечает совершенно справедливо, что *глас* его *лиры*, посвященной воспеванию Зюзюшки и ее хвоста, *не оживит* людей, требующих себе нравственного обновления. Эти люди, дерзающие чего-то требовать, *противны* его *душе, как гробы*, потому что они своим докучливым ропотом мешают этой арзамасской душе погрузиться безраздельно в глубокомысленное созерцание Зюзюшкиного хвоста. Легко себе представить, каким *гробом* должен был показаться Пушкину один неизвестный *червь земли*, написавший к *сыну небес* энергическое письмо, из которого г. Анненков приводит следующие замечательные строки: «Когда видишь того, кто должен покорять сердца людей, раболепствующего перед обычаями и привычками толпы, — человек останавливается посреди пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который впереди меня и которому следовало бы сделаться моим вожатым? Подобная мысль приходит мне в голову, когда я думаю о вас, — а думаю я об вас много, даже до усталости. Позвольте же мне идти, сделайте милость. Если некогда вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной груди почерпните огонь, который, несомненно, присутствует в каждой такой душе, как ваша» (стр. 88).[24]

Здоровым и мужественным, не арзамасским и не пушкинским взглядом на жизнь проникнуты эти строки. Тому *гробу*, который просил у Пушкина *позволения идти*, и всем другим, подобным ему, *гробам* любвеобильный поэт великодушно советует обратиться за умственным и нравственным совершенствованием к бичам, к темницам и к топорам:

Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!

Это невероятное четверостишие следует выгравировать золотыми буквами на подножии того монумента, который благодарная Россия, без сомнения, воздвигнет из своих трудовых копеек своему величайшему поэту. А в ожидании монумента это же самое четверостишие должно сделаться эпиграфом к тому изданию сочинений Пушкина, по которому *молодые люди обоего пола будут воспитывать в себе человека*.

Предоставив, таким образом, нравственное воспитание народа бичам, темницам и топорам, пушкинский поэт объявляет, что подобные ему дети небес рождены не для житейского волненья,

не для корысти, не для битв, а для вдохновенья, для сладких звуков, для молитв. Все это прекрасно, любезные дети небес, но все это в высшей степени неопределенно. Вы рождены для вдохновения — очень хорошо! Но *чем* именно вы будете вдохновляться? — вот вопрос, на который вам не мешало бы приискать ответ. Вы рождены для сладких звуков — это тоже недурно! Но *кому* именно эти звуки будут казаться сладкими? Вы рождены для молитв — превосходно! Но *о ком* и *о чем* вы будете молиться? — Если вы, дети небес, будете вдохновляться такими явлениями жизни, которые в каждом неглупом человеке возбуждают негодование и отвращение, если вы, например, будете прославлять дикое насилие как гениальную твердость, а низкую угодливость как бескорыстную преданность, то легко может случиться, что все ваше вдохновение будет стоять в глазах ваших соотечественников неизмеримо ниже, чем сметание сора с улиц шумных, о котором вы отзываетесь с самым великолепным презрением. Если вы, дети небес, пред толпою голодных людей будете воспевать достоинства страсбургского пирога и лимбургского сыра, то можно сказать наверное, что ваши *звуки*, очень *сладкие* для вас самих и для подобных вам тунеядцев, покажутся вашим голодным слушателям горькою и отвратительною насмешкою над их беспомощным положением. Если вы, дети небес, имея в своих амбарах тысячи четвертей продажной пшеницы, будете молиться о ниспослании на землю града или саранчи для надлежащего повышения рыночных цен, то я не советую вам высказывать вашу молитву во всеуслышание, потому что в какие бы *смолисто-тягучие* и *кристально-прозрачные* ямбы или хореи вы ни облекли вашу молитву о граде и о саранче, во всяком случае эта молитва не доставит ни малейшего удовольствия вашим добродушным и трудолюбивым соседям. Таким образом, вы видите, о дети небес, что не всякое вдохновение возбуждает в людях чувство уважения и признательности, что не всякий сладкий звук оказывается сладким для всех слушателей и что не всякая молитва может быть названа высоким подвигом человеколюбия. Стало быть, ты, о пушкинский поэт, объявляя *тупой черни*, что вы рождены для вдохновений, для сладких звуков и для молитв, занимаешься произнесением слов, не заключающих в себе никакого определенного смысла.

Кроме того, не мешает заметить, что у Пушкина слово расходится с делом, или поэтическое profession de foi расходится с поэтическою деятельностью. Объявляя категорически, что поэты рождены *не для битв*, Пушкин в то же время пишет свои два слишком известные стихотворения: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». И он не только написал и напечатал эти два, в буквальном смысле слова, *воинственные* стихотворения, но даже сам придавал им серьезное европейское значение. «Пушкин, — говорит г. Анненков, — выразил во французском письме к князю Н. Б. Голицыну (переводчику по-французски «Чернеца» Козлова

и пьесы «Клеветникам России») чувства, одушевлявшие его во время создания самого стихотворения: «Merci mille fois, — говорит он, — cher Prince, pour votre incomparable traduction de ma pièce de vers, lancée contre les ennemis de notre pays... Que ne traduisites-vous pas cette pièce en temps opportun? Je l'aurais fait passer en France pour donner sur le nez à tous ces vociférateurs de la Chambre des députés» («Тысячу раз благодарю вас, любезный князь, за ваш несравненный перевод моего стихотворения, направленного против врагов нашей земли... Зачем не перевели вы его во-время? — Я бы переслал его во Францию, чтобы ударить по носу всех этих крикунов Палаты депутатов») (стр. 318).

Видите, в самом деле, как это жалко, что князь Голицын опоздал сделать перевод. Попади только это стихотворение во Францию, тогда, само собою разумеется, все крикливые французские депутаты, узнавши, что в России существует воинственный и сердитый стихотворец, monsieur Pouchkine, тотчас понизили бы тон и немедленно уразумели бы, что с Россиею ссориться опасно, ибо эта Россия может засыпать Францию растянутыми стихотворениями, тщательно переведенными с русского на французский.

Но как же мы, однако, ухитримся помирить воинственный азарт Пушкина с тем категорическим объявлением, что поэты рождены *не для битв?* Для чего же, в самом деле, по понятиям Пушкина, рождены поэты и для чего они не рождены?

Если мы окинем общим взглядом теорию и практику Пушкина, то мы получим тот результат, что поэты рождены для того, чтобы никогда ни о чем не думать и всегда говорить исключительно о таких предметах, которые не требуют ни малейшего размышления. Эта формула объясняет совершенно удовлетворительно как уклонение поэта от головоломных требований *тупой черни*, так и воинственный азарт, стремившийся бить носы французским депутатам. Поэт отказывается от тех битв, которые требуют умственного труда, и кидается очень охотно в те битвы, в которых не нужно ничего, кроме рифмованного крика. В самом деле, если бы поэту захотелось давать *тупой черни смелые уроки*, которых она от него требует, то ему пришлось бы очень глубоко задумываться над явлениями общественной жизни, пришлось бы, громя пороки общества, анализировать причины этих пороков, пришлось бы от ближайших и частных причин переходить к более общим и отдаленным, — словом, пришлось бы не столько *бряцать*, сколько размышлять. Такая умственная работа, во-первых, не всякому *бряцателю* по силам, а во-вторых, она сопряжена со многими неудобствами; ведь, в самом деле, бог знает, до чего можно додуматься; пожалуй, даже до таких вещей, до которых совсем не следует додумываться. Даже г. Полонский, и тот знает, что «думы с ветром носятся, ветра не догнать». [25] Напротив того, когда поэту приходит в голову воспеть военные доблести русских богатырей

или сделать строжайший выговор непочтительным французским депутатам, тогда поэту не предстоит ни умственного труда, ни неудобств, ни опасностей. Все дело его состоит в том, чтобы придумывать сильные выражения и громкие восклицания.

Кто выиграл сражение или взял штурмом крепость, тот обдумывал план, тот умел воодушевить солдат, тот подвергал опасности собственную жизнь, тот оказал услугу государству, тот может быть назван умным человеком, даже героем, даже спасителем отечества. Но кто воспевает одержанную победу, тот просто прекладывает в стихи газетную реляцию, тот оказывается не поэтом, а стиходелателем, тот не мыслит, а подбирает фразы и рифмы, и тот рискует рассмешить своим напущенным восторгом тех самых врагов отечества, которым он стремится сокрушать носы.

IX

Какими же глазами смотрит Белинский на то *«художническое profession de foi»* Пушкина, о котором я говорил до сих пор? Отношения Белинского к этому стихотворению в высшей степени неопределенны. «Он презирает чернь, — говорит Белинский о Пушкине, — и на ее приглашение — исправлять ее звуками лиры — отвечает словами, полными благородной гордости и энергического негодования». Затем Белинский выписывает — просто трудно поверить глазам! — заключительный монолог поэта, тот самый монолог, в котором народу предоставляются в вечное потомственное владение *бичи, темницы, топоры,* а поэтам отмежевывается область *вдохновения, сладких звуков и молитв.* И Белинский в этих безумных словах находит *благородную гордость.*

Выписавши монолог поэта, Белинский рассуждает так: «Действительно, смешны и жалки те глупцы, которые смотрят на поэзию как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные нравоучительные мысли и требуют от поэта непременно, чтобы он воспевал им все любовь да дружбу и пр., и которые не способны увидеть поэзию в самом вдохновенном произведении, если в нем нет общих нравоучительных мест».

Зачем Белинский придумал здесь каких-то *глупцов,* которым он приписал какие-то глупые требования, — этого я решительно не понимаю. *Тупая чернь* никогда не требовала от поэта, *чтобы он воспевал ей все любовь да дружбу.* Она требовала от поэта не *общих нравоучительных мест,* а *смелых уроков,* что нисколько не похоже ни на *общие нравоучительные места,* ни на *любовь да дружбу.* Если бы *тупая чернь* состояла из тех *глупцов,* которых Белинский называет *смешными и жалкими,* тогда она совершенно удовлетворилась бы пушкинскою поэзиею, потому что эта поэзия заключает в себе именно то, что нравится *смешным и жалким*

глупцам. Это не я говорю, это говорит сам Белинский. На стр. 399 он объявляет нам, что смешные и жалкие глупцы заставляют поэта воспевать *все любовь да дружбу*, а на стр. 391 Белинский спрашивает: «что составляет содержание мелких пьес Пушкина?» и отвечает так: «почти всегда любовь и дружба, как чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие непосредственным источником счастья и горя всей его жизни». — Значит, *смешные и жалкие глупцы* Белинского оказываются для Пушкина не *тупою чернью*, а, напротив того, избранною и посвященною публикою, читающею с восторгом его стихотворения. Значит, Пушкин *отвечает словами, полными благородной гордости*, не *смешным и жалким глупцам*, а честным и мыслящим гражданам, которым непременно должен сочувствовать и сам Белинский; значит, наконец, сам Белинский, стараясь прикрыть промахи Пушкина, так запутывается в противоречиях, что вытащить его из них не остается ни малейшей возможности. На странице 398 он хвалит Пушкина за *благородную гордость*, а на странице 400 оказывается, что, при этой *благородной гордости*, поэт *рискует быть единственным читателем своих произведений*. Впрочем, у эстетиков и полуэстетиков такие противоречия даже не считаются противоречиями. На той же 400 странице Белинский в одном месте говорит, что стихотворение «Поэт» *превосходно*, но что мысль этого стихотворения *совершенно ложна*.

С нашей реальной точки зрения такое явление немыслимо; по-нашему, если мысль совершенно ложна, то и все стихотворение никуда не годится; но так как эстетики обладают специальною способностью услаждаться стихотворениями, как *жареными птичками величиною с наперсток*, то, разумеется, на их каббалистическом языке слово *превосходно* может иметь гастрономическое или какое-нибудь другое, столь же непостижимое для нас значение. Та гордость, с которою Пушкин гонит прочь *тупую чернь*, по всей вероятности показалась Белинскому *благородною* с какой-нибудь специально-эстетической точки зрения. В этой гордости на самом деле нет решительно ничего благородного: во-первых, потому, что она совершенно бессмысленна, а во-вторых, потому, что она поддельна, как стоическое равнодушие голодной лисицы к недоступному винограду. Тот факт, что читающая масса значительно охладела к Пушкину во время последнего десятилетия его литературной деятельности, не подлежит ни малейшему сомнению. Об этом факте говорят очень откровенно и Белинский, и Гоголь, и г. Анненков, и все прочие обожатели Пушкина. Стало быть, поэт гонит от себя чернь задним числом, то есть тогда, когда она сама удалилась от него и когда он увидел свою неспособность воротить ее назад.

Стихотворение «Поэту», написанное в 1830 году, также наполнено назидательными размышлениями о незрелости винограда.

«Поэт, — говорит Пушкин, — не дорожи любовию народной! Восторженных похвал пройдет минутный шум; услышишь суд глупца и смех толпы холодной (это, очевидно, говорится по опыту); но ты останься тверд, спокоен и угрюм (а что же больше-то делать? Ведь не плакать же публично об утраченной популярности?). Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный (поэт убедительно просит самого себя не нищенствовать перед толпою и доказывает самому себе очень основательно, что получить от толпы подаяние не предвидится ни малейшей надежды). Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; всех строже оценить умеешь ты свой труд (строже, может быть, но только не с той точки зрения, с какой его ценят другие). Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник».

В этом стихотворении, которое у Белинского также оказывается *превосходным*, мне особенно нравится та решимость, с которою взыскательный художник, в пику равнодушной толпе, провозглашает себя царем. — Вы, мол, негодяи, не хотите называть меня в ваших глупых журналах гениальным поэтом, а я сам возьму да и назову себя царем; вот вы и останетесь в дураках. — Впрочем, этот произвольно зародившийся царь оказывается царем самого странного фасона: у него нет ни придворного штата, ни льстецов, ни подданных, ни средств действовать так или иначе на жизнь окружающего общества. Этот своеобразный царь может смело завести дипломатические сношения с теми царями, которых резиденция находится в Бедламе или в Бисетре [26] и которые также *живут одни*, потому что, вступивши на престол, потеряли способность жить скромно и прилично в обществе здравомыслящих людей.

В 1831 году в стихотворении «Эхо» Пушкин жалуется на то, что поэт, как эхо, откликается на всякий звук живой природы, а между тем сам не находит себе отзыва нигде. Жалоба неосновательна, и сравнение неудачно. Поэт не находит себе отзыва только в том случае, когда он сам не откликается на те явления, идеи, чувства и стремления, которые составляют преобладающий интерес в жизни его современников и соотечественников. Другими словами: только тот поэт рискует быть единственным читателем своих произведений, который поет про себя и для себя, презирая толпу.

В стихотворении «Памятник», написанном в 1836 году, Пушкин, уже шесть лет тому назад провозгласивший себя царем, производит себя в бессмертные гении и в благодетели человечества. Наш бессмертный гений прямо говорит:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный;
К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа (это называется: excusez du peu!).*

Нет! весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал (?),
Что прелестью живой стихов я был полезен (?)
И милость к падшим призывал (?)[27]

Превознеся самого себя выше облака ходячего и умилившись достаточно над всеми своими человеческими и даже гражданскими добродетелями, Пушкин вдруг напускает на себя кротость, смирение и равнодушие к той самой славе, в которой он превзошел Наполеона и перед которою преклонятся со временем тунгусы и калмыки.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшись, не требуй и венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Призывая к себе на помощь дикого тунгуса и друга степей калмыка, Пушкин поступает очень расчетливо и благоразумно, потому что легко может случиться, что более развитые племена Российской империи, именно финн и гордый (?) внук славян, в самом непродолжительном времени жестоко обманут честолюбивые и несбыточные надежды искусного версификатора, самовольно надевшего себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права.

Любопытно заметить, что в основание своего нерукотворного памятника Пушкин кладет такие резоны, которые целиком заимствованы из осмеянного и оплеванного им миросозерцания *тупой черни*. Когда поэту приходится предъявлять свои права на бессмертие, тогда он поневоле принужден заговорить серьезным языком мыслящего реалиста; он признает над собою суд того народа, который прежде украшался обыкновенно эпитетом: *«бессмысленный»*; он заговаривает о *добрых чувствах*, тогда как прежде у него шла речь только о *сладких звуках;* наконец, он даже произносит слово *полезен* и соглашается, таким образом, вступить в состязание с *печными горшками*.

---

* Извините *(франц.)*. — *Ред.*

Эти невольные уступки гордого поэта доказывают очевидно, что утилитарные аксиомы заключают в себе естественную обязательную силу даже для тех поверхностных умов, которые не способны вывести из этих аксиом все основное направление собственной жизни и деятельности. Но, обнаруживая собою непоколебимую прочность утилитарных истин, вынужденные уступки эти, конечно, не могут принести ни малейшей пользы личному делу самого Пушкина. Это дело окончательно проиграно, и уступки, сделанные Пушкиным, дают мыслящим реалистам полное право осудить его безапелляционно во имя тех самых принципов, на которые он старается опереться и которые он, следовательно, признает истинными. «Я буду бессмертен, — говорит Пушкин, потому что я пробуждал лирой добрые чувства». — «Позвольте, господин Пушкин, — скажут мыслящие реалисты, — какие же добрые чувства вы пробуждали? Привязанность к друзьям и товарищам детства? Но разве же эти чувства нуждаются в пробуждении? Разве есть на свете такие люди, которые были бы не способны любить своих друзей? И разве эти каменные люди, — если только они существуют, — при звуках вашей лиры сделаются нежными и любвеобильными? — Любовь к красивым женщинам? Любовь к хорошему шампанскому? Презрение к полезному труду? Уважение к благородной праздности? Равнодушие к общественным интересам? Робость и неподвижность мысли во всех основных вопросах миросозерцания? Лучшее из всех этих *добрых чувств*, пробуждавшихся при звуках вашей лиры, есть, разумеется, любовь к красивым женщинам. В этом чувстве действительно нет ничего предосудительного, но, во-первых, можно заметить, что оно достаточно сильно само по себе, без всяких искусственных возбуждений; а во-вторых, должно сознаться, что учредители новейших петербургских танцклассов умеют пробуждать и воспитывать это чувство несравненно успешнее, чем звуки вашей лиры. Что же касается до всех остальных *добрых чувств*, то было бы несравненно лучше, если бы вы их совсем не пробуждали». — «Я буду бессмертен, — говорит далее Пушкин, — потому что я был полезен». — «Чем?» — спросят реалисты, и на этот вопрос не воспоследует ниоткуда никакого ответа. «Я буду бессмертен, — говорит, наконец, Пушкин, — потому что я призывал милость к падшим». — «Господин Пушкин! — скажут реалисты. — Мы советуем вам обратиться с этим аргументом к тунгусам и к калмыкам. Эти дети природы и друзья степей, быть может, поверят вам на слово и поймут именно в этом филантропическом смысле ваши воинственные стихотворения, писанные не во время войны, а после победы. Что же касается до *гордого внука славян* и до *финна*, то эти люди уже слишком испорчены европейскою цивилизацией, чтобы принимать воинственные восклицания за проявление кротости и человеколюбия».

X

Я полагаю, что я могу теперь проститься с Пушкиным и что эта вторая статья (разбор лирики) имеет полное право сделаться последнею. Принимаясь за эту работу, я вовсе не имел намерения представить читателям полный и подробный разбор всех лирических, эпических и драматических произведений Пушкина. Предпринять такой объемистый и утомительный труд в настоящее время значило бы придавать вопросу о Пушкине слишком важное значение — такое значение, которого он уже не может иметь в 1865 году. Приступая к этой работе, я хотел только высказать громко и открыто и подкрепить фактическими доказательствами то мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и о всех поэтах и художниках его школы.

Теперь это дело сделано; в так называемом великом поэте я показал моим читателям легкомысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века.

Если, паче чаяния, наши литературные противники представят мне какие-нибудь дельные возражения, то я возвращусь к вопросу о Пушкине и разберу эти возражения подробно и обстоятельно. Если же — в чем я почти не сомневаюсь — обожатели Пушкина ответят мне только скромным молчанием или бессильными воплями комического негодования, то читающая публика увидит ясно, без всяких дальнейших толкований, полную ветхость того кумира, пред которым, по старой привычке и по обязанности службы, преклоняется до сих пор все наше пишущее филистерство.

В заключение этой статьи я скажу еще несколько слов о Белинском. Я уже показал читателям, каким образом в этом сильном уме происходила упорная борьба между реализмом и эстетикою. Я цитировал как те мнения Белинского, в которых я соглашаюсь с ним, так и те, которые всякого мыслящего реалиста заставят улыбнуться и пожать плечами. Но до сих пор в обеих моих статьях мне приходилось гораздо чаще опровергать Белинского, чем соглашаться с ним; это обстоятельство может дать о Белинском ложное понятие тем читателям, которые мало знакомы с его сочинениями. Поэтому я считаю не лишним дорисовать здесь ту сторону этой уважаемой личности, которую я поневоле должен был оставить в тени, пока я возился с усыпительными творениями Пушкина. Я приведу из статей Белинского несколько выписок, характеризующих его взгляды на те вопросы, за прямое и откровенное решение которых реальная критика подвергается до сих пор самым ожесточенным нападкам.

Вот, например, что говорит Белинский о любви или, как он выражается, о романтизме нашего времени: «Любовь зависит

от сближения, а сближение от случайности. Не удалось здесь — удастся там; не сошлись с одною, сойдетесь с другою. Это опять не значит, чтоб можно было полюбить или не полюбить по воле своей: это значит только то, что если каждый может любить только известный идеал, то никогда никакой идеал не является в мире в одном экземпляре, но существует в большем или в меньшем числе видоизменений и оттенков. Наш романтизм хлопочет не о том, однажды или дважды должно и можно любить в жизни, но о том, чтобы не разбить другого предавшегося вам сердца и не быть причиною несчастья его жизни... Один так, другой иначе; тот один раз в жизни, а этот — десять раз: оба равно правы, лишь бы только на совести которого-нибудь из них не легло ничье несчастье» (т. VIII, стр. 193). Белинский говорит: «не сошлись с одною, сойдетесь с другою», а Базаров говорит: «нельзя, ну, и не надо; земля не клином сошлась». Предоставляю читателю судить о том, велика ли разница между обеими формулами.

Верность, — говорит Белинский в другом месте, — перестает быть долгом, ибо означает только постоянное присутствие любви в сердце; нет более чувства — и верность теряет свой смысл; чувство продолжается — верность опять не имеет смысла, ибо что за услуга быть верным своему счастью? (т. VIII, стр. 173).

Приглашаю тех господ, которые возмущались безнравственностью романа «Что делать?», направить свое великодушное негодование против Белинского.

А вот как Белинский трактует верного рыцаря Тогенбурга. [28] «Подлинно — рыцарь печального образа!.. Как жаль, что Шиллер воскресил его не совсем в пору да во время! Сердца холодные и разочарованные, души жестокие и прозаические, мы жалеем об этом рыцаре, но не как о человеке, постигнутом роком и несущем на себе тяжкое бремя *действительного* несчастья, а как о сумасшедшем» (стр. 190). Решительно les beaux esprits se rencontrent: * Базаров положительно удивлялся тому, что Тогенбурга не посадили в сумасшедший дом. После этого, опираясь на свидетельство Белинского, осмелюсь спросить: неужто, в самом деле, с моей стороны было неслыханною дерзостью назвать *добряком* того поэта, [29] у которого достало добродушия на то, чтобы воспевать чувствительными стихами огорчения сумасшедшего человека?

Вот, по мнению Белинского, что должен делать человек в том случае, если любимая им особа полюбила другого. «В таком случае натурально, что ее внезапного к нему охлаждения он не примет за преступление или так называемую на языке пошлых романов *неверность* и еще менее согласится принять от нее жертву, которая должна состоять в ее готовности принадлежать ему даже и без любви и для его счастья отказаться от счастья новой любви, может быть бывшей причиною ее к нему охлаждения. Еще более

* Великие умы встречаются *(франц.)*. — *Ред.*

естественно, что в таком случае ему остается сделать только одно: со всем самоотвержением души любящей, со всею теплотою сердца, постигшего святую тайну страдания, благословить *его* или *ее* на новую любовь и новое счастье, а свое страдание, если нет сил освободиться от него, глубоко схоронить от всех, и в особенности от *него* или от *нее*, в своем сердце» (т. VIII, стр. 463).

Прочитавши эти строки, можно представить себе, с каким глубоким и сознательным уважением отнесся бы Белинский к характеру и поступку Лопухова и какую вдохновенную критическую статью написал бы он по поводу того романа, на который так упорно и так тупо клеветали солидные люди нашей литературы. [30] Из этого романа Белинский узнал бы, впрочем, что фантастическое и неправдоподобное *самоотвержение* заменяется в подобных случаях совершенно удовлетворительно разумным эгоизмом или правильным пониманием собственной выгоды.

А вот мысли Белинского о ревности вообще и об Отелло в особенности: «В образованном человеке нашего времени Шекспиров Отелло может возбуждать сильный интерес, но с тем, однакож, условием, что эта трагедия есть картина того варварского времени, в которое жил Шекспир и в которое муж считался полновластным господином своей жены; всякий же образованный человек нашего времени только рассмеется от новых Отелликов, вроде Марселя в нелепой повести Эжена Сю «Крао» и безыменного господина в отвратительной повести Дюма «Une Vengeance». * Но люди, которым нужно доказывать, что в наше время кинжалы, яды и даже пистолеты вследствие ревности суть не что иное, как пошлые театральные эффекты или результаты болезненного безумия, животного эгоизма и дикого невежества, — такие люди не стоят того, чтоб тратить на них слова» (стр. 464). Это место я привожу для тех господ, которые были очень озадачены моим замечанием насчет Отелло, помещенным в статье «Мотивы русской драмы». [31]

Наконец, вот вам еще слова Белинского о родительской власти: «Если б отец нашего времени стал отнимать у сына счастье его жизни, на основании собственных корыстных расчетов, — все бы увидели, что отец любит себя, а не сына, и тем самым уничтожает свои права над ним: ибо если нет любви, связывающей отца с детьми, то у детей нет отца» (стр. 195). Коротко и ясно! Это место я рекомендую тому жалкому пигмею, который обвинял Помяловского в стремлении восстановлять детей против родителей. [32] Словом, на всех пунктах, кроме эстетики, наши противники, нападая на нас, нападают в то же время и на Белинского, которого они совершенно некстати *обзывают* своим учителем.

1865 г. Июнь.

---

* «Мщение» *(франц.)*. — *Ред.*

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

I

Когда какая-нибудь новая мысль только что начинает прокладывать себе дорогу в умы людей, тогда неизбежная борьба старых и новых понятий начинается обыкновенно с того, что представители новой мысли подводят итоги всему запасу убеждений, выработанных прежними деятелями, превратившихся в общее достояние и господствующих над умами образованной массы. Это подведение итогов необходимо для того, чтобы строгий приговор, долженствующий поразить всю отжившую систему понятий, не показался обществу голословным и бездоказательным набором смелых парадоксов. Подводя итоги, представитель новой идеи принужден становиться на точку зрения своих противников, хотя он знает очень хорошо, что эта точка зрения никуда не годится. Он принужден поражать своих противников их собственным оружием, хотя он знает очень хорошо, что тотчас после своей победы он изломает и бросит навсегда это старое и заржавленное оружие. Если бы представитель новой идеи поступил иначе, если бы он, не обращая внимания на старые нелепости, прямо начал проповедовать свою теорию, то защитники нелепости заговорили бы громко и смело, что он ничего не знает и не понимает. Этот говор был бы очень неоснователен, но так как численный перевес был бы на стороне защитников нелепости, то общество поверило бы неосновательному говору, и успех новой мысли был бы в значительной степени ослаблен или замедлен этим обстоятельством. Значит, на первых порах надо говорить с филистерами на филистерском языке и надо подходить к ним с некоторыми предосторожностями, потому что филистеры — народ пугливый и всегда готовый поднять бестолковый и оглушительный гвалт, очень вредный для общества и для всяких новых идей. Но когда филистеры поражены и доведены до молчания, когда новая идея уже

пустила корень в обществе и начала развиваться, тогда все предварительные работы, произведенные для посрамления филистеров, уходят в тихую область истории, вместе с тою старою системою, которую эти работы подкопали и разрушили. Случается иногда, что на эти предварительные и неизбежно эфемерные работы уходит целая жизнь очень замечательных деятелей. Книга «Эстетические отношения искусства к действительности», написанная десять лет тому назад, совершенно устарела не потому, что ее автор был в то время не способен написать что-нибудь более долговечное, а именно потому, что автору надо было вначале опровергать филистеров доводами, заимствованными из филистерских арсеналов. Автор видел, что эстетика, порожденная умственною неподвижностью нашего общества, в свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться с места, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить в расслабленной литературе сознание ее высоких и серьезных гражданских обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимия и астрология. Но чтобы действительно опрокинуть вредную систему старых заблуждений, надо приниматься за дело осторожно и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «Бросьте вы эти глупости; у вас есть дела гораздо поважнее и поинтереснее», — то общество изумится, испугается вашей дерзости, не поверит вам и примет ваш разумный совет за гаерскую выходку. Поэтому надо говорить с обществом в том тоне, к которому оно привыкло. Надо говорить так: «Вы, господа, уважаете эстетику. Ах, и я тоже уважаю эстетику. Займемтесь же вместе с вами эстетическими исследованиями». Привлекши к себе таким образом сердце доверчивого читателя, лукавый последователь новой идеи, конечно, займется своими эстетическими исследованиями так успешно, что разобьет всю эстетику на мелкие кусочки, потом все эти мелкие кусочки превратит поодиночке в мельчайший порошок и, наконец, развеет этот порошок на все четыре стороны. «Куда ж ты, озорник, девал мою эстетику, которую ты уважаешь?» — спросит огорченный читатель, наказанный за свою доверчивость. «Улетела твоя эстетика, — ответит писатель, — и давно пора тебе забыть о ней, потому что не мало у тебя всяких других забот». — И вздохнет читатель и поневоле примется за социальную экономию, потому что эстетика действительно разлетелась на все четыре стороны благодаря эстетическим исследованиям коварного писателя. Когда читатель будет таким образом обуздан и посажен за работу, тогда, разумеется, эстетические исследования, погубившие эстетику, потеряют всякий современный интерес и останутся только любопытным историческим памятником авторского коварства.

II

Автор «Эстетических отношений» уже на III странице своего введения показывает издали догадливому читателю тот результат, к которому он желает прийти. «Уважение к действительной жизни,—говорит он,—недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике». *Если еще стоит говорить об эстетике* — оговорка очень замечательная! Всякий немедленно поймет из этой оговорки, что вопрос об эстетике был уже давно решен в уме этого писателя, когда он принимался за свою магистерскую диссертацию. Автор давно понимает, что говорить об эстетике стоит только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство. Поэтому автор, разумеется, имел в виду не основание новой, а только истребление старой и вообще всякой эстетической теории.

Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если *прекрасное* имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможною. Автор «Эстетических отношений» ведет своих читателей именно к этому выводу, хотя и не высказывает его совершенно открыто. «Здоровый человек, — говорит автор, — встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал всевозможные достоинства и был чужд всех недостатков, какие от нечего делать может отыскать в предмете фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно в своем роде» (стр. 52). Таким образом, «совершенство» для меня одно, для вас — другое, для Ивана — третье, для Марьи — четвертое и так далее, до бесконечности, потому что каждая отдельная личность является единственным и верховным судьею в вопросе о том, что для нее удовлетворительно. Развивать свой вкус для того, чтоб сделать себя взыскательным и разборчивым, — автор считает делом совершенно излишним. Он называет «здоро-

вым» того человека, который удовлетворяется легко; в прихотливой строгости требований он видит только вредные последствия праздности, холодности и пресыщенности.

Само собою разумеется, что все эти мнения автора относятся к области прекрасного, к той области, в которой недовольство действительностью не может повести за собою ничего, кроме бесплодного страдания. В самом деле, представьте себе, что созерцание рафаэлевских картин и древних статуй до такой степени воспламенило ваше воображение, что все живые женщины, с которыми вы встречаетесь, кажутся вам некрасивыми. Какая же польза получится из вашего недовольства для вас самих или для других людей? Русские женщины действительно не так красивы, как те итальянки, которых видел Рафаэль, или как те гречанки, которых знали древние скульпторы; но как бы ни было велико ваше недовольство, русские женщины от него нисколько не похорошеют, и вы, со всем вашим недовольством, все-таки до скончания века не придумаете ничего такого, что могло бы увеличить их красоту. Значит, вы же сами останетесь в чистом проигрыше, потому что будете совершенно бесполезно хмуриться и тосковать там, где другие будут любоваться, влюбляться и наслаждаться. Недовольство действительностью, совершенно бесплодное и нелепое, когда оно обращено на красоту, становится, напротив того, очень полезным и уважительным чувством, когда оно направлено против житейских неудобств, устроенных руками и умами людей. Тут недовольство ведет за собою преобразовательную деятельность и, следовательно, приносит очень реальные и осязательные результаты. Всякая эстетика, старая, или новая, или новейшая, строится непременно на том основном предположении, что люди должны усиливать, очищать и совершенствовать в себе свое врожденное стремление к красоте. Кто отвергает это основное предположение, тот отвергает не какие-нибудь частные ошибки той или другой эстетики, а самый принцип, самый фундамент всякой эстетики вообще. Автор «Эстетических отношений» поступает именно таким образом. Видя, что здоровый человек удовлетворяется такими предметами и явлениями, в которых можно заметить и неправильности очертаний, и недостаточное богатство красок, и разные другие шероховатости, автор становится безусловно на сторону этого здорового человека и вовсе не требует, чтобы этот здоровый человек отвернулся, во имя высшей красоты, от того, что доставляет ему безвредное и освежительное наслаждение. Этот здоровый человек доволен тем, что он видит перед собою; и прекрасно, больше ничего не нужно; незачем мудрить над этим человеком; незачем отравлять ему его естественное и законное наслаждение; чем скромнее его требования, тем лучше для него и для всех, потому что тем больше у него будет шансов наслаждаться часто, не причиняя никому ни хлопот, ни неприятностей.

Вот процесс мысли, скрытый в тех словах автора, которые я выписал выше; так как, по естественному развитию этих мыслей, каждый здоровый человек признается высшим авторитетом в деле эстетики, то, очевидно, эстетика, как наука, становится такою же нелепостью, какою была бы, например, наука о любви. Каждый любит по-своему, не справляясь ни с какими учеными книжками. И каждый наслаждается всеми впечатлениями жизни также по-своему, также не справляясь ни с какими учеными книжками. Следовательно, наука о том, как и чем должно наслаждаться, превращается в бессмыслицу.

III

«Прекрасное, — говорит автор, — есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни» (стр. 7).

Это определение до такой степени широко, что в нем совершенно тонет и исчезает то, что называется красотою в обыкновенном разговорном языке. Это определение показывает ясно, что автор, как мыслящий человек, относится совершенно равнодушно к прекрасному в узком и общепринятом смысле этого слова. По этому определению, всякий вполне здоровый и нормально развившийся человек прекрасен; все, что не изуродовано в большей или в меньшей степени, то прекрасно. Это может показаться парадоксом, а между тем это совершенно верно. Когда дело идет, например, о человеческой физиономии, то, разумеется, вопросы о том, велик или мал рот, толст или тонок нос, густы или жидки волосы, словом, все вопросы, касающиеся собственно до так называемой писаной красоты, могут быть интересны только для гоголевской Агафьи Тихоновны и для людей обоего пола, стоящих на одном уровне развития с этою прекрасною девицею. С тех пор как солнце светит и весь мир стоит, ни толстый нос, ни большой рот, ни жидкие или рыжие волосы не помешали никому сделаться полезным и великим человеком; кроме того, они даже никому не помешали пользоваться всеми наслаждениями взаимной любви. Чем дольше человечество живет на свете и чем умнее оно становится, тем равнодушнее оно относится к чистой красоте и тем сильнее оно дорожит теми атрибутами человеческой личности, которые сами по себе составляют деятельную силу и реальное благо. Цветущее здоровье и сильный ум кладут свою печать на человеческую физиономию, жизнь мысли, чувства и страстей оставляет на ней свои следы; эта печать и эти следы заставляют каждого умного человека совершенно забыть о том, велик ли рот, толст ли нос и жидки ли волосы. Но здоровье и ум существуют не для того, чтобы класть свою печать на физиономию; человек

живет, мыслит, чувствует и волнуется также не для того, чтобы приобретать себе то или другое выражение лица, печать здоровья и ума, и следы пережитых впечатлений ложатся на лицо без нашего ведома и помимо нашего желания; здоровье, ум и впечатления жизни имеют для нас свое самостоятельное значение, совершенно независимое от того выражения, которое они придают нашим физиономиям, и гораздо более важное, чем это выражение. Когда мы видим по лицу человека, что он здоров, умен и много пережил на своем веку, то его лицо нравится нам не как красивая картинка, а как программа наших будущих отношений к этому человеку. Мы, судя по лицу, расположены сблизиться с этим человеком, потому что его лицо говорит нам то, чего не мог бы нам сказать самый безукоризненный греческий профиль. Глядя на это лицо, мы невольно угадываем и предчувствуем в его обладателе энергического, твердого, верного, умного и полезного друга. Когда лицо нравится нам таким образом, как намек на ум, характер и биографию данного субъекта, тогда, очевидно, эстетика остается ни при чем. Мы смотрим на лицо человека так, как, при покупке серебряной или золотой вещи, мы смотрим на пробу. Проба не придает вещи никакой красоты; она только ручается за ее ценность. При том определении прекрасного, которое дает нам автор, эстетика, к нашему величайшему удовольствию, исчезает в физиологии и в гигиене.

Я не буду следить за борьбою нашего автора с немецким эстетиком Фишером по вопросу о прекрасном в действительности. Нам нет дела до этой борьбы, потому что для нас в настоящую минуту не имеют решительно никакого значения все глубокомысленные умозрения Фишера и других немецких идеалистов. Результат борьбы состоит в том, что, по мнению нашего автора: «прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно и совершенно удовлетворяет человека». А если это так, то, разумеется, «искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности». Выражаясь другими словами, цель искусства состоит не в том, чтобы создать такое чудо красоты, которого нет и не может быть в природе. В чем же состоит цель искусства? Чтобы отвечать на этот вопрос, автор перебирает все различные отрасли искусства, и на этом анализе я считаю не лишним остановиться.

IV

Автор начинает свой анализ с архитектуры и с первого же шага ставит господам эстетикам убийственную дилемму. По его мнению, надо или выключить архитектуру из числа искусств, или причислить к искусствам садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лепное мастерство и вообще «все отрасли промышлен-

ности, все ремесла, имеющие целью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Если какой-нибудь портик или палаццо есть произведение искусства на том основании, что он построен красиво и радует глаз правильностью своих форм, то на таком же точно основании надо будет назвать произведениями искусства — аллею с подстриженными деревьями, и кресло с резною или точеною спинкою, и фарфоровый чайник с закорюченною ручкою, и штуку обоев, расписанных яркими красками, и дамскую шляпку, украшенную цветами, перьями и блондою, и дамскую прическу, придуманную и исполненную каким-нибудь знаменитым artiste en cheveux. * Мало того, даже клюквенный кисель, вылитый в кухонную форму, оказывается также произведением искусства. В самом деле, кисель можно было бы подать на стол в виде сплошной, бесформенной массы, лежащей на блюде; он был бы точно так же вкусен и удобоварим; но его подают в виде башни с зубчиками и фестончиками, и это делается именно потому, что человек не есть грубый скот; ему мало того, чтобы отправить кисель в желудок; ему хочется, кроме того, погрузиться в созерцание зубчиков и фестончиков и, уничтожая эти фестончики и зубчики, умиляться душою над непрочностью земной красоты. Таким образом, кисель, вылитый в форму, не только удовлетворяет эстетическому чувству обедающего человека, но даже пробуждает в его отзывчивой душе высокие размышления, точно такие же размышления, какие обыкновенно обуревают впечатлительного путешественника, созерцающего какой-нибудь обвалившийся портик времен Септимия Севера или какой-нибудь опустелый палаццо венецианского патриция. Значит, ясно, что архитектура не имеет ни малейшего права обитать в таких хоромах, в которые, по распоряжению непоследовательных эстетиков, не допускаются ее родные сестры и ближайшие родственницы. Французы давно это поняли, и поэтому парикмахеры называются у них artistes en cheveux, и наш знаменитый мебельный мастер, г. Тур, наверное посмотрел бы на вас с глубоким презрением, если бы вы вздумали оспаривать у него право на титул художника. Так оно действительно и должно быть, если сущность, цель и оправдание искусства заключаются в его стремлении к красоте. Тогда и старуха, которая белится и румянится перед зеркалом, окажется художником, превращающим свою собственную особу в художественное произведение.

«Все отрасли промышленности, — говорит наш автор, — все ремесла, имеющие целью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству, мы признаем искусствами в такой же степени, как архитектуру, когда их произведения замышляются и исполняются под преобладающим влиянием стремления к прекрасному и когда другие цели (которые всегда имеет архитектура) подчиняются этой главной цели.

---

* Парикмахер; буквально: художник по части волос *(франц.)*. — *Ред.*

Совершенно другой вопрос о том, до какой степени достойны уважения произведения практической деятельности, задуманные и исполненные под преобладающим стремлением произвести не столько что-нибудь действительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Как решить этот вопрос, — не входит в сферу нашего рассуждения; но как решен будет он, точно так же должен быть решен вопрос и о степени уважения, которой заслуживают создания архитектуры в значении чистого искусства, а не практической деятельности. Какими глазами смотрит мыслитель на кашемировую шаль, стоящую 10 000 франков, на столовые часы, стоящие 10 000 франков, такими же глазами должен смотреть он и на изящный киоск, стоящий 10 000 франков. Быть может, он скажет, что все эти вещи — произведения не столько искусства, сколько роскоши; быть может, он скажет, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннейший характер прекрасного — простота» (стр. 85).

Мыслитель будет совершенно прав, если посмотрит с презрением на шаль, на часы и на киоск, но он будет совершенно неправ, когда начнет утверждать, что *истинное искусство чуждается роскоши*. Истинному искусству нет решительно никакого дела до экономических соображений. Истинное искусство есть чужеядное растение, которое постоянно питается соками человеческой роскоши. Являясь всегда и везде неразлучным спутником роскоши, оно никак не может ее чуждаться. И Микель-Анджело и Рафаэль расписывали своими фресками потолки и простенки папского дворца, подобно тому как различные московские художники украшают «пукетами и амурами» стены тех апартаментов, в которых Лазарь Елизарыч Подхалюзин наслаждается радостями семейной жизни с своею супругою, Олимпиадою Самсоновною, урожденною Большовою. [1] Фрески Рафаэля, по мнению такого чистокровного и даровитого эстетика, как Анри Тэн,[2] не имеют почти никакого самостоятельного значения. Они составляют просто дополнение архитектуры. «В самом деле, — рассуждает Тэн, — отчего же фрескам и не быть дополнением архитектуры? Не ошибочно ли рассматривать их отдельно? Чтобы понимать идеи живописца, надо становиться на его точку зрения. А Рафаэль, разумеется, смотрел на всю задачу именно таким образом. «Пожар в Борго» составляет украшение арки, которую ему поручено было чем-нибудь наполнить. «Парнас» и «Освобождение св. Петра» украшают простенки над дверью и над окном, и их место обязывает их принять известную форму. Эти картины не приставлены к стенам здания; они сами составляют часть здания; они облекают здание так, как кожа облекает тело. Если они принадлежат к архитектуре, то как же им не подчиняться архитектурным требованиям?..» «Вот, — объясняет он далее, — арка окна выгибается величественно и просто; линия этой арки благородна (noble!), и бордюра

из лепных украшений сопровождает ее прекрасную округлость, но места по бокам и наверху остаются пустыми; надо их наполнить, а для этого годятся только фигуры, не уступающие архитектуре в полноте и серьезности; лица, предающиеся увлечению страсти, составили бы диссонанс; здесь не может быть места беспорядку естественных групп. Надо, чтобы действующие лица выравнивались сообразно с высотою простенка; наверху арки должны стоять маленькие дети или согнувшиеся фигуры, а по бокам большие, вытянутые во весь рост». *

А ведь мы, право, не умеем ценить достоинств нашей отечественной литературы; ведь у нас даже в эстетической «Эпохе» или в столь же эстетическом «Атенее» [3] были немыслимы словоизвержения о том, что «la ligne est noble» ** и что «les personnages s'étagent selon la hauteur du panneau». *** А у французов это — сплошь и рядом, так что даже самый ревностный реалист начинает конфузиться за автора только тогда, когда ему, по какому-нибудь странному случаю, приводится переводить эти деликатесы на русский язык.

Как бы то ни было, а из слов Тэна все-таки видно очень ясно, что истинное искусство с величайшею готовностью превращало себя в лакея роскоши. Художник подчинялся всем требованиям роскоши так раболепно, что соглашался уродовать в угоду им свои картины, соглашался расставлять группы по ранжиру,— словом, весьма охотно проституировал свою творческую мысль. Может ли мыслитель сказать после этого, что *истинное искусство чуждается роскоши?* Если же мыслитель решится выгнать из храма *истинного искусства* Рафаэля Санцио, то, спрашивается, кто же останется в этом храме после изгнания главного жреца? И спрашивается еще, не превратится ли тогда этот храм *истинного искусства* в мастерскую человеческой мысли, в которой исследователи, писатели и рисовальщики, каждый по-своему, будут стремиться к одной великой цели — к искоренению бедности и невежества?

В уме автора «Эстетических отношений» это превращение совершилось давным-давно; но в 1855 году наше общество было еще совершенно не приготовлено к пониманию таких плодотворных идей; поэтому автору и приходится, до поры до времени, оставлять в неприкосновенности какой-то призрак *истинного искусства*, в существование которого он, человек, осмелившийся заговорить в эстетическом трактате о *10 000 франков*, уже нисколько не верит.

---

* «L'Italie et la vie italienne» («Revue des deux Mondes», 1865, 1 janvier). [«Италия и итальянская жизнь» («Ревю де дё монд», 1865, 1 января). — *Ред.*]

** Линия благородна *(франц.)*. — *Ред.*

*** Действующие лица располагаются друг над другом сообразно с высотою плоскости *(франц.)*. — *Ред.*

V

Выбрасывая архитектуру из храма *истинного искусства*, автор «Эстетических отношений» не считает нужным даже упомянуть мимоходом о том безбрежном море фраз, которое изливают насчет архитектурных памятников разные туристы и дилетанты, считающие себя любителями и ценителями изящного во всех его проявлениях. Автор совершенно прав в своем спокойном презрении к этим фразам; возражать против них серьезно нет никакой возможности, а смеяться над ними очень неудобно в таком труде, который должен был подвергнуться суду ученого ареопага. Но так как литературные враги автора могут прикинуться, будто они принимают его презрительное молчание за доказательство его неведения или его неумения опровергнуть фразерство дилетантов, — то я брошу здесь беглый взгляд на несостоятельность этого фразерства.

Каждому читателю случалось, конечно, не раз слышать и читать возгласы о том, что архитектура такого-то века и такого-то народа воплотила в себе всю жизнь, все миросозерцание, все духовные стремления этого века и этого народа. Французские историки и туристы особенно бойко и самоуверенно умеют читать историю и мысли отживших народов в каменных сводах, колоннах, портиках, капителях, фронтонах и разных других архитектурных украшениях. У этих господ на каждом шагу встречаются выражения: «гранитная поэма», «эпопея из мрамора»; эти выражения прикладываются ими к очень большим зданиям, вроде Колизея, Ватикана или собора св. Петра; если бы они были последовательны, то маленькие строения, с претензиями на элегантность, должны были бы называться на их фигурном языке — мадригалами из кирпича или сонетами из дуба.

Если поверить этим господам на слово, то окажется, что им для основательного изучения прошедшего совсем не нужны письменные документы; они берутся угадать и рассказать вам всю подноготную на основании мраморных поэм и гранитных эпопей. Приведите такого господина в древний греческий храм и предупредите его заранее, что это — точно греческий храм, ваш господин сию минуту начнет вам объяснять, что во всем характере и во всех отдельных подробностях архитектуры отразилась светлая и гармоническая полнота греческого духа. И столь усладительно начнет он вам повествовать о греческом духе, и такую элегическую грусть он на себя напустит по тому случаю, что древние греки все померли, и такую он перед вами развернет картину олимпийских игр или элевзинских таинств, что вы совсем растаете и припишете все его красноречие чудотворному влиянию греческого духа, замурованного в стены, в колонны и в своды древнего храма. Приведите этого господина в Алгамбру и скажите ему, что она была построена в таком-то веке, таким-то калифом, — сию

минуту польются увлекательные речи о пылкости арабской фантазии. А в готический собор лучше уж совсем не водите вашего словоохотливого туриста,— тут уж конца не будет чтению гранитных поэм; в каждом стрельчатом окошке он будет усматривать выражение средневекового идеализма, стремившегося оторваться от земли и улететь в пространство эфира. Словом, турист всегда будет угадывать верно, по той простой причине, что он, как человек довольно начитанный, будет всегда знать заранее, *что именно* в данном случае должно быть угадано. Если мы знаем заранее, что такое-то здание было построено тогда-то, таким-то человеком, для такого-то употребления, то, разумеется, входя в это здание, мы невольно вспоминаем о том, как жил этот человек, что он делал, что он думал. А та́к как большинство людей не умеет анализировать свои собственные впечатления, то этим людям и кажется, что их воспоминания расшевеливаются в них именно самою *формою* здания и что, следовательно, эта форма находится в необходимой внутренней связи с жизнью, с деятельностью и с образом мыслей того человека, о котором приходится вспоминать.

Несостоятельность этого мнения может быть доказана совершенно очевидно и осязательно посредством анализа некоторых других, совершенно аналогических процессов нашей мысли. Показывают вам, например, картину, на которой нарисовано несколько мужчин и несколько женщин; физиономии у них очень молодые, но волосы — белые как снег; вы, конечно, тотчас соображаете, что они напудрены, и мысль ваша немедленно переносится в XVIII столетие. Пудра и XVIII столетие — два представления, неразрывно связанные между собою в нашем уме; мы знаем, что мода эта существовала именно тогда; мы знаем, что она не существовала ни в какое другое время; мы видели множество картин и портретов, на которых люди XVIII века представлены с напудренными головами, и таким образом мы совершенно незаметно и нечувствительно привыкли к той мысли, что пудра действительно характеризует собою XVIII столетие. Но кто же, в самом деле, решится утверждать, что эта странная мода находится в необходимой внутренней связи с жизнью, с деятельностью и с образом мыслей тогдашних людей? В этой моде есть, конечно, одна черта, характеризующая собою тогдашнее общество; но эту черту мы находим во многих других модах; эта черта заключается в искусственности и вычурности этой моды; эта искусственность и вычурность показывают нам, что преобладающим значением пользовалось в тогдашней Европе сословие совершенно праздное, которое от нечего делать принимало с восторгом самые нелепые выдумки парикмахеров и других законодателей моды. Но почему искусственность и вычурность проявились при Людовике XV в посыпании головы белым порошком, а при Людовике XIV — в ношении огромных париков, — этого ни один мыслитель в мире не объяснит нам общими причинами, заключавшимися в духе времени

и народа. Конечно, и пудра и парики имеют свою причину, но причину такую мелкую, частную и случайную, которая может быть интересною только для собирателя исторических анекдотов.

То же самое можно сказать и об архитектурных памятниках. То обстоятельство, что в данное время строилось в данной стране значительное количество бесполезных и великолепных зданий, доказывает, конечно, что в данной стране были в данное время такие люди, которые сосредоточивали в своих руках огромные капиталы или по каким-нибудь другим причинам могли располагать по своему благоусмотрению громадными массами дешевого человеческого труда. А по этой канве политической и социальной безалаберщины пылкая фантазия архитекторов и декораторов, подогреваемая хорошим жалованьем или страхом наказания, конечно, должна была вышивать самые величественные и самые пестрые узоры; но видеть в этих узорах проявление народного миросозерцания, а не индивидуальной фантазии — позволительно только тем туристам, которые серьезно рассуждают о благородстве круглой арки или о возвышенности стрельчатого окна.

VI

Бросив беглый взгляд на скульптуру и на живопись, автор «Эстетических отношений» приходит к тому выводу, что «произведения того и другого искусства по многим и существеннейшим элементам (по красоте очертаний, по абсолютному совершенству исполнения, по выразительности и т. д.) неизмеримо ниже природы и жизни». Доказательства в пользу этого положения автор берет отчасти из личных впечатлений, отчасти из анализа тех необходимых отношений, которые существуют между идеалом художника и живою действительностью. «Мы должны сказать, — говорит автор, — что в Петербурге нет ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улице, чтобы встретить несколько таких лиц. В этом согласится бо̀льшая часть тех, которые привыкли думать самостоятельно» (стр. 87).

Так как автор сказал уже в самом начале своего рассуждения, что «прекрасное есть жизнь», и так как красота статуй заключается не в жизни, то есть не в выражении лица, а в строгой правильности очертаний и в совершенной соразмерности частей, то, разумеется, каждое неизуродованное и умное лицо живого человека оказывается гораздо красивее всевозможных мраморных или медных лиц. Только в этом смысле и могут быть поняты слова автора, потому что иначе трудно было бы себе представить, каким образом в Петербурге, который, как известно, вовсе не славится красотою

своих обитателей, могут встречаться на каждой многолюдной улице по нескольку лиц более прекрасных, чем лица статуй Кановы. Мое предположение подтверждается тем обстоятельством, что автор говорит о «*красоте очертаний*», а не о «*правильности*». Очевидно, что *правильность* не имеет в его глазах почти никакого значения. Об идеале скульптора автор говорит, что он «никак не может быть по красоте выше тех живых людей, которых имел случай видеть художник. Силы творческой фантазии очень ограничены: она может только комбинировать впечатления, полученные из опыта» (стр. 87).

Против этой очевидной истины могут спорить только неисправимые идеалисты, способные до сих пор принимать за чистую монету рассказы о том, что «художники, как боги, входят в Зевсовы чертоги и, читая мысль его, видят в вечных идеалах то, что смертным в долях малых открывает божество». [4] Кто не верит в прогулки художников по чертогам Зевса и кто не признает существования врожденных идей, тот, конечно, должен согласиться, что художник, подобно всем остальным смертным, почерпает из опыта все свое внутреннее содержание и, следовательно, все мотивы своих художественных произведений.

Говоря о живописи, автор обращает внимание на несовершенство ее технических средств. «Краски ее, — говорит он, — в сравнении с цветом тела и лица — грубое, жалкое подражание; вместо нежного тела она рисует что-то зеленоватое или красноватое» (стр. 90). «Руки человеческие грубы, — говорит он далее, — и в состоянии удовлетворительно сделать только то, для чего не требуется слишком удовлетворительной отделки; «топорная работа» — вот настоящее имя всех пластических искусств, как скоро сравним их с природою» (стр. 92). К ландшафтной живописи автор также относится без малейшего благоговения. Он сомневается в том, чтобы живопись могла лучше самой природы сгруппировать пейзаж, и говорит, что «человек с неиспорченным эстетическим чувством наслаждается природою вполне, не находит недостатков в ее красоте» (стр. 94).

Говоря о музыке, автор прежде всего отделяет вокальную музыку от инструментальной. Потом, рассматривая вокальную музыку, или пение, он отделяет естественное пение от искусственного. Естественным он называет то пение, которое возникает у человека само собою, в минуту радости или грусти, из потребности излить накопившееся чувство, а вовсе не из стремления к прекрасному. Это естественное пение автор считает произведением практической жизни, а не произведением искусства. Искусственное пение, по мнению автора, прекрасно в той мере, в какой оно приближается к естественному. А инструментальная музыка, в свою очередь, прекрасна настолько, насколько она приближается к вокальной. «После того, — говорит автор, — мы имеем право сказать, что в музыке искусство есть только слабое воспроизве-

дение явлений жизни, независимых от стремления нашего к искусству» (стр. 101).

В поэзии автор находит тот неизбежный недостаток, что ее образы всегда оказываются бледными и неопределенными, когда мы начинаем их сравнивать с живыми явлениями. «Образ в поэтическом произведении, — говорит автор, — точно так же относится к действительному, живому образу, как слово относится к действительному предмету, им обозначаемому, — это не более как бледный и общий, неопределенный намек на действительность» (стр. 102).

Кто усомнится в верности этой мысли, тому я могу предложить следующее доказательство. Известно, что высший род поэзии — драма; известно, что лучшие драмы в мире написаны Шекспиром; выше шекспировских драм в поэзии нет ничего; стало быть, если образы шекспировских драм окажутся бледными и неопределенными намеками на действительность, то о всех остальных поэтических произведениях нечего будет и говорить. Но всякий знает, что все драмы, в том числе и драмы Шекспира, достигают некоторой определенности, приближающей их к действительности, только тогда, когда они играются на сцене; всякий знает далее, что играть удовлетворительным образом шекспировские роли могут только замечательные актеры; значит, необходима целая новая отрасль искусства для того, чтобы придать поэтическим образам некоторую определенность; значит, необходимы ум, талант и образование для того, чтобы понимать, комментировать *бледные и неопределенные намеки на действительность.* Это понимание и комментирование составляют всю задачу талантливого актера, и удовлетворительным решением этой задачи актер приобретает себе всемирную известность. Стало быть, задача действительно очень трудна и *намеки* действительно *бледны и неопределенны.* Но это еще не все. Всякому известно, что одна и та же роль играется различными актерами совершенно различно и между тем одинаково удовлетворительно. Один понимает характер действующего лица так, другой — иначе, третий — опять посвоему, и если все они одинаково талантливы, то самый внимательный и требовательный зритель останется совершенно доволен; значит, все понимают верно, и, значит, поэтический образ уподобляется неопределенному уравнению, которое, как известно, допускает множество различных решений. После этого, мне кажется, трудно сомневаться в том, что поэзия, по самой сущности своей, может давать только бледные и неопределенные намеки на действительность.

Перебрав таким образом все искусства, автор приходит к тому общему заключению, что прекрасное в живой действительности всегда стоит выше прекрасного в искусстве. Если, следовательно, искусство не может создавать таких чудес красоты, каких не бывает в действительности, то, спрашивается, что же оно должно

делать? Оно должно, по мере своих сил, воспроизводить действительность. — Что именно оно должно воспроизводить? — Все, что есть *интересного* для человека в жизни. — Для чего нужно это воспроизведение? — На этот последний вопрос автор отвечает так: «Потребность, рождающая искусство, в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности» (стр. 151).

Если художник должен знакомить нас с *интересными* сторонами жизни, то, очевидно, он сам должен быть настолько мыслящим и развитым человеком, чтобы уметь отделить интересное от неинтересного. В противном случае он потратит весь свой талант на рисование таких мелочей, в которых нет никакого живого смысла, и все мыслящие люди отнесутся к его произведению с улыбкою сострадания, хотя бы даже мелочи, выбранные художником, были воспроизведены превосходно. «Содержание, — говорит автор, — достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над подобными пустяками? Бесполезное не имеет права на уважение. Человек сам себе цель; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе» (129). Напирая на ту мысль, что искусство воспроизводит и должно воспроизводить не только прекрасное, но вообще интересное, автор с справедливым негодованием отзывается о том ложном розовом освещении, в котором является действительная жизнь у поэтов, подчиняющихся предписаниям старой эстетики и усердно наполняющих свои произведения разными *прекрасными* картинами, то есть описаниями природы и сценами любви. «Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь, — говорит автор, — заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный (чтобы удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы

интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста» (стр. 137).

Весь смысл и вся тенденция «Эстетических отношений» концентрируются в следующих превосходных словах автора: «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, — воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни».

VII

Познакомившись с содержанием «Эстетических отношений», мы посмотрим теперь, какое направление должна была принять критика, построенная на тех теоретических основаниях, которые заключает в себе эта книга. «Эстетические отношения» говорят, что искусство ни в каком случае не может создавать свой собственный мир и что оно всегда принуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности. Это основное положение обязывает критика рассматривать каждое художественное произведение непременно в связи с тою жизнью, среди которой и для которой оно возникло. Налагая на критика эту обязанность, «Эстетические отношения» ограждают его от опасности забрести в пустыню старинного идеализма. Затем «Эстетические отношения» предоставляют критику полнейшую свободу. Роль критика, проникнутого мыслями «Эстетических отношений», состоит совсем не в том, чтобы прикладывать к художественным произведениям различные статьи готового эстетического кодекса. Вместо того чтобы исправлять должность безличного и бесстрастного блюстителя неподвижного закона, критик превращается в живого человека, который вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное миросозерцание, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний. «*Искусство*, — говорит автор, — *воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни*». Но что именно интересно и что не интересно? Этот вопрос не решен в «Эстетических отношениях», и он ни под каким видом не может быть решен раз навсегда; каждый критик должен решать его по-своему и будет

решать его так или иначе, смотря по тому, чего он требует от жизни и каким образом он понимает характер и потребности своего времени. «*Содержание*, — говорит автор, — *достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава*». — Что такое *мыслящий человек*? Что именно *достойно внимания мыслящего человека?* Эти вопросы опять-таки должны решаться каждым отдельным критиком. А между тем от решения этих вопросов зависит, в каждом отдельном случае, приговор критика над художественным произведением. Решивши, что содержание *неинтересно* или, другими словами, *недостойно внимания мыслящего человека*, критик, основываясь на подлинных словах автора «Эстетических отношений», имеет полное право посмотреть на данное произведение искусства *с презрением* или *с сострадательною улыбкою*. Положим теперь, что один критик посмотрит на художественное произведение с презрением, а другой — с восхищением. Столкнувшись, таким образом, в своих суждениях, они затевают между собою спор. Один говорит: содержание неинтересно и недостойно внимания мыслящего человека. Другой говорит: интересно и достойно. Само собою разумеется, что спор между этими двумя критиками с самого начала будет происходить совсем не на эстетической почве. Они будут спорить между собою о том, что такое мыслящий человек, что должен этот человек находить достойным своего внимания, как должен он смотреть на природу и на общественную жизнь, как должен он думать и действовать. В этом споре они принуждены будут развернуть все свое миросозерцание; им придется заглянуть и в естествознание, и в историю, и в социальную науку, и в политику, и в нравственную философию, но об искусстве между ними не будет сказано ни одного слова, потому что смысл всего спора будет заключаться в *содержании*, а не в *форме* художественного произведения. Именно потому, что оба критика будут спорить между собою не о форме, а о содержании, именно потому, что они, таким образом, будут оба признавать, что содержание важнее формы, — именно поэтому они оба окажутся адептами того учения, которое изложено в «Эстетических отношениях». И ни один из обоих критиков не будет иметь права упрекать своего противника в отступничестве от основных истин этого учения; оба они будут стоять одинаково твердо на почве общей доктрины и будут расходиться между собою в тех именно вопросах, которые эта доктрина сознательно и систематически предоставляет в полное распоряжение каждой отдельной личности.

Доктрина «Эстетических отношений» именно тем и замечательна, что, разбивая оковы старых эстетических теорий, она совсем не заменяет их новыми оковами. Эта доктрина говорит прямо и решительно, что право произносить окончательный приговор над художественными произведениями принадлежит не эстетику, который может судить только о форме, а мыслящему человеку,

который судит о содержании, то есть о явлениях жизни. О том, каков должен быть мыслящий человек, «Эстетические отношения», разумеется, не говорят и не могут сказать ни одного слова, потому что этот вопрос совершенно выходит из пределов той задачи, которую они решают. Стало быть, расходясь между собою в вопросе о мыслящем человеке, критики не имеют ни малейшего основания ссылаться на «Эстетические отношения». Это было бы так же остроумно, как если бы кто-нибудь в споре о косвенных налогах стал ссылаться на учебник математической географии. Математическая география — наука очень почтенная, но в решении социальных вопросов она совершенно некомпетентна.

ПОСМОТРИМ!

I

Постоянные читатели моих статей, вероятно, заметили, что при всех столкновениях моих с нашими литературными противниками я обыкновенно нападаю и почти никогда не защищаюсь. Я не люблю вести оборонительную войну, потому что защищаться — значит в большей части случаев повторять то, что уже было сказано прежде, и при этом повторении соскабливать с своих мыслей ту грязь, которая навалена на них тупоумием или недобросовестностью журнальных оппонентов. Это занятие скучное, кропотливое и бесплодное. Надо возиться с запутанною аргументациею противника, надо, как мошенника, ловить его с поличным на каждом софизме, надо сверять его лживые показания с подлинными документами, надо рассматривать в микроскоп такую дрянь, к которой гадко прикоснуться, и наконец, ценою всех этих трудов, располагающих к морской болезни, приходится купить тот тощий результат, что какой-нибудь N или M глуп, как пробка, или врет хуже всякого барона Мюнхгаузена. Покупать такой мизерный результат дорогою ценою топпотворной работы особенно неприятно в том случае, когда льстишь себя надеждою, что этот результат достанется читателю даром, при первом взгляде на труды глупого или недобросовестного писателя. К сожалению, эта надежда часто оказывается слишком розовою. Читая самую поразительную дрянь, публика все-таки не умеет распознать ее специфических достоинств и обыкновенно нуждается в том, чтобы ей объяснили, что данное произведение — действительно не что иное, как жалкая помесь бессильной клеветы и самодовольного слабоумия. Умственная беззащитность нашей публики обнаруживается как нельзя нагляднее, например, в том крупном и ярком факте, что посредственность, подобная г. Каткову, может пользоваться сильным влиянием и репутациею умного человека, съевшего собаку в области государственной мудрости. Другой пример,

гораздо более мелкий, но, быть может, еще более выразительный, состоит в том, что такой невероятно слабоумный субъект, как г. Николай Соловьев, имеет возможность печатать свои сочинения в журналах, которые даже, по всей вероятности, платят ему за эти сокровища некоторое количество денег. Не из милосердия же, в самом деле, держала его покойная «Эпоха» и не из сострадания же унаследовали его от «Эпохи» «Отечественные записки».[1] Значит, есть даже и такие читатели, которые могут удовлетворяться г. Николаем Соловьевым, и к числу этих читателей принадлежат, очевидно, во-первых, редакции «Эпохи» и «Отечественных записок», а во-вторых, те люди, которые по своим умственным способностям стоят еще ниже этих двух редакций. Хотя этому трудно поверить, однако нет сомнения, что такие люди действительно существуют, потому что, если бы они не существовали, тогда обеим названным редакциям не было бы ни повода, ни возможности оставаться редакциями. Так как редакция «Эпохи» перестала быть редакциею, то надо полагать, что она опустилась ниже возможного minimum'а человеческих способностей; а так как редакция «Отечественных записок» еще продолжает быть редакциею, то остается предположить, что она держится еще выше этого minimum'a и еще не коснулась той роковой точки, на которой человек превращается в микроцефала. Стало быть, когда г. Н. Соловьев в «Отечественных записках» разбирает мои статьи или, точнее, по поводу моих статей обнаруживает звонкую пустоту своего черепа и медный состав своего лба, тогда находятся читатели, которые верят г. Н. Соловьеву на слово, во-первых, в том, что он раскритиковал меня в пух, а во-вторых, в том, что он сам высказал или провел кое-какие идеи. Хотя мне, как человеку и гражданину, очень грустно иметь таких ограниченных ближних и соотечественников, однако я все-таки, даже из человеколюбия и из любви к согражданам, не унижу себя до того, чтобы защищаться против г. Н. Соловьева. Не унижу себя потому, что это унижение было бы совершенно бесполезно. Любители г. Н. Соловьева, очевидно, должны быть людьми настолько безнадежными в умственном отношении, что им нельзя ничего растолковать и что их ни в чем нельзя ни убедить, ни разубедить, потому что они говорят для процесса говорения, слушают для процесса слушания и вообще живут для превращения пищи в животное удобрение. Я вовсе не желаю приобретать себе благосклонность или уважение этих ходячих химических лабораторий, потому что их уважение и благосклонность никому ни на что не могут пригодиться. Поэтому-то я не намерен отступать, в отношении к г. Н. Соловьеву, от моей обыкновенной тактики презрительного молчания, несмотря на все плоские выдумки, которые он распространял, распространяет и будет распространять насчет моей литературной деятельности.

Но в последнее время у меня явился другой противник, в отношении к которому молчание неудобно и даже может сделаться опасным. Этот противник обращается к такой публике, которой мнение имеет для меня значительную цену. Он пишет в таком журнале, который, несмотря на множество странных и бестактных выходок, по общему составу своих сотрудников и по общему своему направлению имеет полное право считаться честным и умным журналом. Читатель, конечно, догадался, что журнал этот — «Современник» и что противником моим является г. Антонович. В течение прошлого года я не раз предлагал «Современнику» выяснить тот тип, который называется новым типом и который теперь пробивает себе дорогу как в обществе, так и в литературе. Мое желание возбудить дельную и плодотворную полемику завлекло меня слишком далеко; я позволил себе несколько резких выражений (между прочим, знаменитое *лукошко*),[2] которые действительно возбудили желанную полемику, но вместе с тем дали ей тотчас же самое ложное направление. Читатель, конечно, помнит, какая тут произошла печальная оргия личных перебранок и клеветливых импровизаций. Клеветал г. Посторонний сатирик, но бранились, разумеется, обе стороны, потому что когда человек лжет, тогда собеседник этого человека поневоле должен называть его лгуном или по меньшей мере *сочинителем*. Я не отказываюсь взять на себя некоторую долю ответственности за происходившее безобразие; я сознаюсь, что резкие выражения были неуместны; *лукошко* могло быть выброшено из моей статьи без всякого для нее ущерба; однако, принимая в соображение качества того писателя, который принял псевдоним *Постороннего сатирика*, — качества, обозначившиеся очень ярко в разгаре нашей полемики, я полагаю, что с этим писателем добросовестная и дельная полемика, клонящаяся к выяснению и всестороннему рассмотрению идей, вообще совершенно невозможна, и была бы невозможна даже в том случае, если бы я не позволил себе никакой резкой выходки. Как бы то ни было, я уклонился от полемики и стал желать ее прекращения, как только обозначился ее неблаговидный и совершенно бесплодный характер. Я решился молчать, когда г. Антонович в своей статье «Промахи» разобрал *по-своему* мой «Нерешенный вопрос». Не желая защищаться и поддерживать таким образом личный характер полемики, я, однако, с свойственной мне резкостью разобрал и осмеял те жалкие несообразности, которые были высказаны г. Антоновичем по поводу «Эстетических отношений».[3] Мои насмешки заставили г. Антоновича направить против «Русского слова», и преимущественно против меня, статью «Лжереалисты», помещенную в июльской книжке «Современника». Эта статья налагает на меня обязанность защищаться, и защищаться очень серьезно.

II

В самом начале своей статьи г. Антонович отзывается о «Русском слове» следующим образом: «До сих пор оно только пробавлялось чужими, подслушанными или напрокат взятыми фразами, не пускаясь в объяснение смысла их, и все были уверены, что оно понимает эти фразы и понимает их, как следует»... «Теперь же «Русское слово» вызвали на объяснение, заставили его определенно высказаться, как оно понимает реализм и как прилагает его к различным частным вопросам» (стр. 54). *До сих пор* и *теперь!* До каких это пор? и что значит это *теперь?* Когда именно «Русское слово» пробавлялось чужими фразами, у кого были взяты напрокат эти фразы, с каких пор начинается разоблачение «Русского слова» и кто заставил его определенно высказаться? Если для разрешения этих вопросов мы обратимся к печатным фактам, то тотчас увидим, что вся теория г. Антоновича о двух фазах в существовании «Русского слова» есть не что иное, как плод игривого воображения. Если «Русское слово» брало напрокат реалистические фразы, то, разумеется, оно могло брать их только у «Современника». На самом же деле этого не было. «Русское слово» уже в 1861 году не раз высказывало по поводу различных статей «Современника» свои критические замечания. В майской книжке 1861 года, в статье «Схоластика XIX века», я доказывал неуместность тех приемов, с которыми г. Антонович приступает к разбору лекций г. Лаврова. В сентябрьской книжке того же года, в статье под тем же заглавием, я опровергал некоторые мысли г. Чернышевского о падении Римской империи.[4] Верны или ошибочны были мои идеи — об этом я, как автор, судить не могу, но во всяком случае если даже я ошибался, то я ошибался самостоятельно, то есть размышлял сам, а не брал напрокат чужих фраз. В том же 1861 году некоторые из наших журналов сильно нападали на меня за «Схоластику» и за статью о «Физиологических эскизах» Молешотта. Они тогда же пугали мною «Современник» и говорили ему, что я довожу его идеи до абсурдов, которые, однако, составляют логическое следствие этих самых идей.[5] Следовательно, если я вообще компрометирую реализм моею литературною деятельностью, то во всяком случае я занимаюсь этим компрометированием очень давно и постоянно, с первого моего появления на литературном поприще. Такого периода, когда я повторял чужие фразы, в моей литературной деятельности не было. Все, что я знаю, то, конечно, я не сам открыл, а вычитал в различных книгах, русских и иностранных. Но я полагаю, что точно таким же путем приобретали себе свои знания и Белинский, и Добролюбов, и г. Чернышевский, и все остальные представители нашего реализма. Все они не изобретали науку, а принимали ее в готовом виде от западных учителей и потом старались приспособлять ее к пониманию своих российских учеников. Я всегда поступал и поступаю

до сих пор точно так же; в каком отношении находятся мои личные силы к силам названных мною писателей, об этом я судить не могу, но я говорю только, что в своей деятельности я постоянно работал и работаю мыслью так же самостоятельно, как работали они. Итак, повторения чужих фраз в «Русском слове» никогда не было. Точно так же не было и тех вызываний на объяснения, которые будто бы, по словам г. Антоновича, заставили «Русское слово» определенно высказаться. «Русское слово» высказывалось постоянно по собственному желанию, высказывалось тогда, когда не было никаких полемических столкновений, вызывающих на объяснения. Г. Антонович сам признает этот факт и таким образом, сам того не замечая, собственноручно опрокидывает свое показание, будто бы «Русское слово» сначала драпировалось в чужие фразы, а потом явилось в своей позорной наготе, когда посторонние люди сорвали с него эту драпировку. В числе главных преступлений «Русского слова» против реализма г. Антонович отмечает мою статью о Базарове, напечатанную в 1862 году, и мои статьи: «Мотивы русской драмы» и «Нерешенный вопрос», напечатанные в 1864 году. Все эти статьи напечатаны до нашего столкновения с «Современником»;[6] в самом столкновении инициатива принадлежала нам, а не «Современнику». Стало быть, ясно, что мы совершали наши преступления сознательно, по собственному желанию, помимо всяких посторонних побуждений и вызываний на объяснение. Если бы мы брали напрокат чужие фразы и если бы вследствие этого мы нуждались в снисходительности и долготерпении того магазина, который снабжал нас этими фразами, то мы, конечно, тщательно уклонялись бы от всяких столкновений с «Современником». Видя наше смирение, «Современник», с своей стороны, постоянно молчал бы об нас, и при таком положении дел мы могли бы совершенно безопасно украшать себя чужими фразами до конца нашей жизни. Мы поступали как раз наоборот, и поэтому слова г. Антоновича о повторении чужих фраз и о вызывании на объяснение оказываются совершенно произвольною выдумкою, в которой нет даже отдаленного сходства с действительными фактами. Это — *первое* изобретение, заключающееся в статье г. Антоновича, и притом это одно из самых невинных. На той же странице г. Антонович говорит, что некоторые из противников реализма «забрасывают «Русскому слову» весьма нехитрую удочку, на которую оно, однако, попадается: они иногда прихваливают «Русское слово», говорят, что оно не останавливается на полдороге, а искренно и смело высказывает последние выводы реализма... Подстрекаемые этими похвалами, гг. Писарев и Зайцев, наперерыв друг перед другом, стараются отличиться какой-нибудь оригинальной нелепостью» и т. д. — Вот это *второе* изобретение, не имеющее за себя даже внешнего вида правдоподобия. Если мы с г. Зайцевым такие тщеславные и пустоголовые люди, что похвалы, достающиеся нам от врагов нашей идеи,

не только радуют нас, но даже обнаруживают видоизменяющее влияние на нашу деятельность, то, очевидно, порицания, достающиеся нам от тех же самых врагов, должны действовать на нас так же сильно, но только в противоположном направлении. Если мы, как глупые ребятишки, выслушивая похвалу, охорашиваемся, куражимся и повышаем голос, то, разумеется, выслушивая порицание, мы должны опускать крылья, погружаться в уныние и понижать тон. Теперь я попрошу читателя подумать: что приходится нам чаще встречать себе в печати — похвалу или порицание? — Читатель, сколько-нибудь знакомый с нашею журналистикою, скажет конечно, что порицание составляет общее правило, а похвала — совершенно незаметное исключение. Каждая из наших статей возбуждает против себя негодование во всей нашей прессе; мы постоянно идем навстречу этому негодованию, не обращая на него никакого внимания, а г. Антонович умозаключает, что мы поступаем таким образом из тщеславия и что нас подстрекают похвалы, которых мы почти никогда не получаем. Это последнее замечание особенно верно в отношении к г. Зайцеву; с тех пор как он начал писать, о нем говорят постоянно, и до сих пор о нем не было сказано печатно *ни одного доброго слова;* а между тем г. Антонович, наперекор всем существующим фактам, осмеливается утверждать, что г. Зайцева подстрекают похвалы. Цель г. Антоновича понять не трудно: ему хочется доказать, что мы пишем без убеждения. Но как прикажете назвать те средства, которые употребляет наш противник, и ту логику, которою он старается обморочить своих читателей?

На стр. 55 начинается беглое перечисление наших преступлений. На первом плане стоит, разумеется, Базаров; вина моя заключается в том, что я принял и принимаю до сих пор Базарова не за карикатуру, а за превосходного представителя нашего поколения. Я уже давно приглашал г. Антоновича объяснить, посредством подробного и точного анализа, что именно он находит предосудительным в характере и в убеждениях Базарова; г. Антонович до сих пор ровно ничего не объяснил, и вследствие этого вопрос о том, верен или неверен мой взгляд на Базарова и чей взгляд вернее — мой или г. Антоновича, — остается попрежнему спорным или нерешенным вопросом. Но я теперь начинаю уже думать, что этот вопрос решен в мою пользу, потому что г. Антонович в своей статье «Промахи», написанной им после полугодовых сборов и угроз, не представил против моего взгляда на характер Базарова ни одного состоятельного возражения. Г. Антонович говорит, что враги реализма, защищая роман Тургенева, ссылаются на меня; г. Антонович вспоминает здесь времена давно прошедшие. Враги реализма любили говорить о романе Тургенева три года тому назад; они надеялись тогда, что этот роман принесет им пользу, что он испугает молодых людей резкостью изображения и отбросит их назад к сентиментальному идеализму

и к благонравному чинопочитанию. Враги реализма скоро разочаровались в своих надеждах; когда «Русское слово» объяснило молодым людям, что в резких чертах базаровской физиономии нет ничего страшного, порочного или предосудительного, тогда роман Тургенева потерял для врагов реализма всю свою привлекательность. Тогда началось шумное, но краткое пирование систематической клеветы. Дело кончилось тем, что гг. Клюшников и Стебницкий своею тупостью и недобросовестностью окончательно уронили и втоптали в грязь те античные драгоценности, которые им желательно или приказано было охранять и расхваливать. [7] О романе Тургенева враги реализма вспоминают теперь редко и неохотно, и то обстоятельство, что они до сих пор ссылаются на меня, существует только в воображении г. Антоновича.

«Или вдруг, — говорится далее на той же странице, — г. Зайцев провозгласит, что философов за их философские ошибки нужно подвергать телесным и другим исправительным наказаниям, что рабство негров неизбежно и благотворно». Читатель, незнакомый с статьями г. Зайцева, может подумать, на основании этих слов, что г. Зайцев действительно серьезно доказывал необходимость сечь заблуждающихся философов. На самом же деле оказывается, что слова г. Зайцева о наказаниях брошены в виде восклицания,* выражающего просто глубокое презрение автора к шарлатанству немецких метафизиков. Такая риторическая фигура может казаться г. Антоновичу неуместною и неизящною в стилистическом отношении; но навязывать г. Зайцеву на основании этой фигуры мысль о необходимости телесных наказаний — это все равно, что придираться в книге к шрифту и к опечаткам, вместо того чтобы следить за идеями автора. Что риторические фигуры, подобные той, которую употребил г. Зайцев, действительно могут приходить в голову честному и умному человеку, желающему выразить как можно сильнее свое негодование, это я могу доказать следующею выпискою из книги Лассаля «Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch».** Прусский либерал, депутат Фаухер, сказал в собрании берлинских работников, что барыш капиталиста есть *награда за воздержание* (Entbehrungslohn). «Работникам, — восклицает по этому поводу Лассаль, — бедным работникам, голодающим работникам они имеют дерзость публично бросать в лицо эту бесконечную насмешку, эту язвитель-

---

* Подлинные слова г. Зайцева: «Если найдется упрямец, который хотя и готов согласиться с тем, что мир есть силлогизм, но которому сомнительно, откуда философ почерпнул свои познания о таких вещах, то философ укажет ему на непосредственное усмотрение как на общий источник познания истины и на свой личный гений как на специальный источник. Собственно бы следовало ожидать, что за подобный ответ философа прогонят с пьедестала метлой, посадят в водолечебницу или подвергнут исправительному наказанию; но, к стыду человечества и XIX века, это не только сходит им с рук, но даже заслуживает всяческое поощрение». [8]

** «Господин Бастиа-Шульце фон Делич». [9] — *Ред.*

ную иронию?! Разве не существует более совести и разве же стыд убежал к зверям? — И притупление и оскопление народа уже теперь доведены с успехом до таких размеров, что сами работники, вместо того чтобы разразиться бурею негодования, терпеливо выслушивают это открытое глумление! *Зачем в законе не положено наказаний* за подобные проделки? разве систематическое притупление народного ума не есть преступление?» (стр. 111). А на следующей странице Лассаль говорит Шульце-Деличу следующие любезности: «Но, господин Шульце, всему свое время, все наказывается еще в этом мире, и наступит тот день, когда общественная совесть заклеймит вас, и ваше лицемерие, и ваших клевретов так, как вы того достойны. *Вам выжгут каленым железом на лбу слово* «Entbehrungslohn!» Теперь г. Антонович, очевидно, может и даже должен записать Лассаля в число свирепейших деспотов и тупоумнейших обскурантов, потому что Лассаль, как видите, желает обогатить уголовный закон особою статьей, направленною против заблуждающихся экономистов, и, кроме того, стремится при содействии каленого железа обучать Шульце-Делича элементарным истинам социальной науки. Если г. Зайцев согрешил против заповедей истинного реализма, то Лассаль согрешил еще сильнее. Г. Антонович возразит мне быть может, что экономисты, подобные Шульце-Деличу и Фаухеру, морочат работников *умышленно*. Но на это я отвечу, что, анализируя ошибочную доктрину, мы не имеем ни малейшей возможности установить ту пограничную черту, до которой простираются тупоумие и невежество и с которой начинается сознательная ложь. Шульце-Деличи и Фаухеры веруют в неприкосновенную святость лихоимства так же искренно или так же неискренно, как Шеллинги и Гегели веруют в свои абсолюты. В общем итоге как абсолюты, так и доктрины о святости лихоимства производят притупление общественного сознания. Значит, негодование г. Зайцева в своей исходной точке так же законно, как негодование Лассаля. Что же касается до внешней формы, в которой выразилось это негодование, то мы ею нисколько не дорожим и охотно отдаем ее на съедение тем критикам, которым угодно тратить время на мелкие стилистические замечания по неспособности к более серьезной работе.

Теперь о неграх. Г. Зайцев никогда не думал доказывать, что американским колонистам непременно следовало отправлять корабли к берегам Африки, воровать или покупать там негров, привозить их в Америку и превращать их на тамошних плантациях в рабочую машину. Г. Зайцев говорил только * по поводу

---

* Подлинные слова г. Зайцева: «Несомненно и признано всеми, что невольничество есть самый лучший исход, которого может желать цветной человек, придя в соприкосновение с белою расою, потому что он достается в удел только наиболее развитым и сильным расам; большая же часть их не могут вовсе существовать рядом с кавказским племенем и вскоре совершенно

книги Катрфажа «Единство рода человеческого», что когда белые и негры живут вместе в одной стране, тогда низшей расе, то есть черной, предстоит неизбежно или вымирание, или порабощение. Будет ли порабощение черной расы освящено законом или же оно будет только заключаться в безвыходной и безнадежной экономической зависимости, — это в сущности все равно для тех людей, которые способны понимать смысл общественных явлений, не останавливаясь на их внешней форме и не прельщаясь буквою либеральных узаконений.

Г. Зайцев высказал ту вовсе не эксцентрическую мысль, что закон Дарвина прилагается также и к человеческим расам. Если г. Антонович думает, что к человечеству этот закон не прилагается, то г. Антонович должен объяснить, на чем он основывает свое предположение. Спрашивается, какое свойство или какая сила человеческого организма обусловливает собою это изъятие из общего закона, распространяющегося на весь органический мир? Все известные исторические факты говорят самым красноречивым образом в пользу мнения г. Зайцева. Белая раса везде и всегда играла роль желтого таракана и пасюка: португальцы истребили гуанхов, жителей Канарских островов; испанцы истребили краснокожих обитателей Вест-Индии; англичане истребили или поработили индусов, австралийцев, новозеландцев и североамериканских индийцев; русские истребили алеутов и многое множество разных сибирских инородцев. Всякий желающий может проливать потоки слез над могилами этих истребленных разновидностей, но называть человека *лжереалистом* за то, что он спокойно констатирует существующий факт, — значит превращать науку в ребяческое и приторное прославление либеральных симпатий и сентиментальных иллюзий. Если г. Антонович гонится не за истиною, а за утешительностью, то ему следует сделаться не только идеалистом, а даже супранатуралистом. Супранатурализм [11] гораздо утешительнее реализма — в этом не может быть никакого сомнения. Но если негры — низшая раса, обреченная на гибель самою природою, то, стало быть, рабство — явление неизбежное, законное и благотворное? Ничуть не бывало. Рабство все-таки остается явлением отвратительным и вредным. Дело в том, что рабство расслабляет ум и уродует характер *тех белых людей*, которые владеют рабами и которые живут в рабовладельческом государстве. Так, например, рабовладельцы, по самому своему положению, принуждены быть систематическими обскурантами, потому что распространение знаний в низшем классе народа подкапывает рабство в самом его основании. Далее, в рабовладель-

---

вымирают». — «Сентиментальные враги невольничества умеют только цитировать тексты и петь псалмы, но не могут указать ни одного факта, который бы показывал, что образование и свобода могут превратить в умственном отношении негра в белого».[10]

ческом государстве не может быть равенства граждан перед законом; отправление правосудия должно постоянно извращаться политическими соображениями; далее, каждый рабовладелец окружает себя целым гаремом невольниц и, привыкнув обращаться по-султански со своими безответными одалисками, относится так же грубо к своей жене, искажая таким образом основной характер европейской семейственности. Далее, привыкнув к беспрекословному повиновению со стороны окружающих рабов, рабовладелец вносит во все свои общественные отношения ту необузданность, которую воспитала в нем плантаторская жизнь. Достаточно напомнить читателю, с одной стороны, подвиги глуповцев, плюющих друг другу в лохань,[12] то есть в физиономию, а с другой стороны, полемические приемы американских плантаторов, пускающих в ход гуттаперчевые палки в заседаниях конгресса и сената. Все эти аргументы против рабства остаются совершенно неприкосновенными во всяком случае, каков бы ни был наш взгляд на отношения между белою и цветными расами. Если, как говорит г. Антонович, противники реализма, пользуясь словами г. Зайцева, приходят в восторг и кричат, что реализм освящает рабство, то эти восторженные крики доказывают только тупоумие или недобросовестность этих противников, на крики которых ни один порядочный реалист не будет обращать никакого внимания, тем более что к этому упражнению легких и голосовых хрящей давно пора привыкнуть.

Und ihres Bellens lauter Schall
Beweist nur, dass wir reiten.*

С этими лающими противниками реализма г. Антонович, неизвестно для чего, вступает в разговор, стараясь им доказать, «что истинный реализм ⟨...⟩ требует во всем свободы и устранения всяких наказаний». *Во всем свободы* — это неправда, потому что таким путем мы придем к принципу буржуазных экономистов: laissez faire, laissez passer, — к тому самому принципу, против которого неутомимо боролись все лучшие наши представители русского реализма (Н. Г. Чернышевский). Что же касается до *устранения всяких наказаний*, то эту идею «Русское слово» постоянно выражало с такою твердостью и определенностью, с какою вряд ли когда-нибудь выражал ее «Современник». Читатель может справиться по этому вопросу с статьею г. Зайцева «Естествознание и юстиция», напечатанною в 1863 году, с статьею г. Т. З. об уголовных законах европейских государств, напечатанною в майской книжке 1864 года, и с другою статьею того же Т. З.

---

* И громкий их лай
Только подтверждает, что мы едем верхом *(нем.)*.[13] — *Ред.*

о книге Моро-Кристофа «Le monde des coquins»,* напечатанною в январской книжке 1865 года.[14] Тогда читатель увидит, имеет ли г. Антонович какое-нибудь право монополизировать в пользу «Современника» идею невменяемости.

III

На стр. 56 г. Антонович ставит мне в вину то, что я заявил печатно мое несогласие с Добролюбовым почти на всех пунктах. По своему обыкновению г. Антонович стращает нас врагами реализма: «Указывая на г. Писарева, — говорит он, — эти враги могли бы сказать: так вот каков Добролюбов! Не прошло и пяти лет после его смерти, как в его писаниях самые горячие приверженцы его не могут найти уже ни одного почти пункта, с которым бы они могли согласиться». Эти слова, если бы они действительно были кем-нибудь произнесены, оказались бы чистейшею нелепостью по той простой причине, что я никогда не был ни *самым горячим*, ни даже просто *горячим* приверженцем Добролюбова.

Я давно разошелся с Добролюбовым на многих пунктах. Добролюбов восхищался характером Инсарова в романе г. Тургенева «Накануне». Я, напротив того, утверждал печатно в 1861 г., что Инсаров — нелепая и безжизненная картонная кукла.[15] Добролюбов постоянно относился к г. Писемскому с полнейшим и отчасти даже аффектированным пренебрежением. Я, напротив того, в том же 1861 году, отнесся к г. Писемскому с величайшим уважением и поставил его в моих критических статьях выше гг. Тургенева и Гончарова. По этому случаю г. Антонович, конечно, непременно возликует и укажет мне на «Взбаламученное море». Но гнусность «Взбаламученного моря» нисколько не уничтожает собою достоинств «Тюфяка», «Богатого жениха», «Боярщины», «Тысячи душ», «Брака по страсти», «Комика» и «Горькой судьбины».[16] Если надо безусловно осуждать все произведения писателя за то, что этот писатель на старости лет начинает писать глупости, то придется бранить «Ревизора» и «Мертвые души» за то, что Гоголь под конец своей жизни съехал на «Переписку с друзьями». «Взбаламученное море» составляет только одно из многочисленных подтверждений той известной истины, что наши знаменитости не умеют забастовать во-время и продолжают писать, когда им следовало бы отдыхать на лаврах. К числу таких же, хотя и не столь ярко-позорных явлений, принадлежат и «Призраки» г. Тургенева.[17] — Далее, Добролюбов относился крайне снисходительно и даже любовно к стихотворным шалостям гг. Фета и Полонского; я, напротив того, осмеял эти шалости в том же 1861 году.[18] Из всех этих фактов, которые читатель может найти в статьях: «Стоя-

---

* «Мир мошенников» (*франц.*). — *Ред.*

чая вода», «Писемский, Тургенев и Гончаров» и «Женские типы в повестях и романах Писемского, Тургенева и Гончарова», — из всех этих фактов следует то неотразимое заключение, что ни враги, ни друзья реализма не имеют никакого права ни называть меня *самым горячим приверженцем* Добролюбова, ни радоваться, удивляться, печалиться или негодовать по случаю моего теперешнего отпадения от Добролюбова: никакого отпадения не было и быть не могло, потому что не было никогда никакой приверженности. Я всегда считал и до сих пор считаю Добролюбова за очень умного и за очень честного человека; но с очень многими из его мнений я все-таки совершенно несогласен. Если г. Антонович не понимает, что можно глубоко уважать человека и в то же время расходиться с ним во мнениях, если он думает, что уважать человека и писателя значит jurare in verba magistri (клясться словами учителя) и относиться к нему с наивно-инстинктивным благоговением, то мне остается только пожалеть о том, что роль первого критика в «Современнике» досталась такому человеку, который не в силах возвыситься до понятия об умственной самостоятельности и о свободной оценке чужих мнений.

«Мы уже не говорим, — продолжает г. Антонович, — как это ограниченное самообольщение «Русского слова» (т. е. разногласие с Добролюбовым) вредно действует на тех обиженных натурою читателей, которые верят ему и вследствие этой веры вдохновенным и поучительным статьям Добролюбова предпочитают фразистую, но несмысленную болтовню гг. Писарева и Зайцева». — Это хорошо, что вы этого *не говорите*, потому что если бы вы это сказали, то слова ваши оказались бы или совершенною бессмыслицею, или одною из многих ваших выдумок. Если вы этою фразою хотите выразить ту мысль, что многие читатели, прочитав Добролюбова, после того читают с удовольствием статьи гг. Писарева и Зайцева, то тогда невозможно понять, что именно огорчает в этом факте вас как *горячего приверженца* Добролюбова? Разве вы полагаете, что после смерти Добролюбова во всех русских читателях должно навсегда замереть желание следить за современным движением жизни, науки и литературы? Если вы так думаете, то вам самим не следует писать, а следует только перепечатывать в критическом отделе «Современника» все статьи Добролюбова, с первой до последней; окончив эту перепечатку один раз, следует начать ее во второй раз, потом в третий и т. д. без конца. Если же в вашей фразе, которую вы *не говорите*, заключается тот смысл, что, доверяясь указаниям «Русского слова», простодушные читатели смотрят с пренебрежением на Добролюбова, как на отсталого писателя, и вследствие этого совсем не читают его сочинений, то тогда ваша фраза заключает в себе чистейшую ложь. Г. Зайцев в своей статье «Белинский и Добролюбов» (1864 г., январь) очень горячо и убедительно рекомендует своим читателям чтение статей Добролюбова. Я говорю точно то же самое в моей статье

«Кукольная трагедия» (1864 г., август). Вот мои подлинные слова: «Грибоедов, Крылов в некоторых из его лучших басен, Пушкин в «Онегине», Лермонтов в Печорине, Гоголь в первой части «Мертвых душ», в «Ревизоре» и во многих мелких повестях, Писемский, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Некрасов, Островский и *особенно* Белинский и *Добролюбов*, и в заключение, как факт вчерашнего дня, роман «Что делать?» — это все сырые материалы, которые *каждый из наших образованных соотечественников должен непременно переработать в своем уме*, чтобы знать, чего мы хотим, о чем мы думаем и с каких различных точек зрения мы рассматриваем наше собственное положение» (55). [19] Из этих слов вы видите, что если даже — чего боже сохрани! — у меня есть читатели, принимающие каждое слово на веру без критики, то и эти читатели не будут относиться к Добролюбову с пренебрежением, а, напротив того, основываясь на моих словах, проникнутся тем убеждением, что чтение Добролюбова составляет необходимую и особенно важную часть в общем образовании каждого русского человека. Если же читатели, прочитав Добролюбова, согласятся не с ним, а со мною, то в этом последнем обстоятельстве, весьма прискорбном для г. Антоновича, я, с своей стороны, при всем моем сочувствии к трогательной горести г. Антоновича, не могу видеть ничего предосудительного, потому что если бы я считал добролюбовские мнения более верными, чем мои собственные, тогда я, разумеется, давно отказался бы от своих мнений и примкнул безусловно к Добролюбову. — Меня вообще очень изумляет одно обстоятельство: как это г. Антонович не видит и не понимает, что, жалуясь на тех перебежчиков, которые, покидая Добролюбова, присоединяются к гг. Зайцеву и Писареву, — он, г. Антонович, делает со слезами на глазах и в голосе публичное признание собственного бессилия. Г. Антонович сам — безусловный последователь Добролюбова; бывшие обожатели Добролюбова, по словам самого г. Антоновича, перебежали или перебегают к другим писателям. Кто же виноват в этом, как не преемник и последователь Добролюбова? Зачем же этот преемник и последователь не умеет удержать этих перебежчиков в своей школе? Зачем он не умеет приковать к себе умы и сердца бывших обожателей Добролюбова? И если у него на такой подвиг не хватает сил, то какое же право он имеет хныкать, брюзжать и ворчать на тех людей, которые работают сильнее, искуснее и успешнее его? Одно из двух: или эти перебежчики умны, или они глупы; в первом случае их приговор решает дело: кто привлекает их к себе, тот и прав; во втором же случае я не понимаю, из-за чего хлопочет г. Антонович и какая ему выгода будет от того, что глупые люди будут глупейшим образом поклоняться Добролюбову и его преемнику. Я, с своей стороны, очень охотно готов уступить всех российских идиотов в вечное потомственное владение гг. Каткову и Николаю Соловьеву.

Перечислив таким образом наши преступления (Базаров, те-

лесные наказания философов, неуважение к неграм, разногласие с Добролюбовым), г. Антонович на стр. 57 объявляет, что «поэтому необходимо разграничить и последователей реализма, отделить между ними овец от козлов и резко установить тот факт, что кроме действительных реалистов есть еще мнимые реалисты, или лжереалисты», «которые считают г. Тургенева своим учителем, а Базарова — своим идеалом и органом или оракулом которых служит «Русское слово», т. е. собственно гг. Писарев и Зайцев, занимающиеся извращением и обезображиванием реализма».

Называть себя *овцами* или даже *баранами* вы можете беспрепятственно, сколько вашей душе или вашим душам будет угодно, этого названия мы у вас оспаривать не будем. Но имени *реалистов* мы вам, при нашем полюбовном размежевании, не уступим по той весьма основательной причине, что не вы это имя выдумали, то есть не вы первые применили его к этой партии, которая прежде называлась свистунами, а потом — нигилистами. Потрудитесь припомнить, с какого именно времени это название стало употребляться постоянно? Оно получило право гражданства в конце прошлого года; оно досталось вам по милости того самого «Нерешенного вопроса», против которого вы так долго, так упорно, так горячо и — увы! — так безуспешно воюете. Если вы осмелитесь отрицать верность этого показания, то я приведу вам таких свидетелей, которых вы не можете отвести, потому что они совершенно беспристрастно и одинаково сильно ненавидят нас обоих, то есть как «Русское слово», так и «Современник». Я сошлюсь на филистерскую журналистику, которая в конце прошлого года и в начале нынешнего обсуживала с разных сторон термин *реалисты* как новое явление и старалась решить вопрос о том, следует ли признать за нами это новое название или не следует. Этому занятию предавался г. Николай Соловьев в статье «Теория пользы и выгоды», помещенной в ноябрьской книжке «Эпохи». О том же предмете толковал в «Отечественных записках» нынешнего года г. Incognito, в первой из своих критических статей.[20] Наконец «Библиотека для чтения» во 2-й, февральской книжке нынешнего года, в статье «Последние цветы», прямо объявляет, что г. Писарев подменяет или уже подменил состарившийся нигилизм — новым реализмом.[21] Таким образом, мои авторские права не подлежат в этом случае ни малейшему сомнению. Но этого мало, что я первый применил этот термин;[22] я еще, кроме того, понимаю гораздо лучше вас его неоцененные достоинства и выгоды именно для обозначения нашей литературной партии. Вы, то есть именно вы, г. Антонович, а не «Современник» вообще, даже до сих пор не знаете, почему имя *реалистов* особенно удобно для нас и почему оно так быстро пустило корни, что вы теперь, забыв даже его месторождение, стараетесь его у нас оттягать. Я объясню вам достоинства и выгоды этого термина. Видите ли: сущность нашего направления заключает в себе две главные стороны, которые тесно

связаны между собою, но которые, однако, могут быть рассматриваемы отдельно и обозначаемы различными терминами. Первая сторона состоит из наших взглядов на природу: тут мы принимаем в соображение только действительно существующие, *реальные*, видимые и осязаемые явления или свойства предметов. Вторая сторона состоит из наших взглядов на общественную жизнь: тут мы принимаем в соображение только действительно существующие, *реальные*, видимые и осязаемые потребности человеческого организма. Слово *реалист* выражает превосходно слияние этих двух сторон, и никакое другое слово не выражает этого слияния вполне удовлетворительно, потому что каждое из многих других слов направляется исключительно или на первую, или на вторую сторону. *Реалист*, напротив того, исчерпывает весь смысл нашего направления до самого дна, и в то же время он никого не пугает и не раздражает; il ne casse pas les vitres.* Это слово — тихое, кроткое и глубокое: einfach, nett und dauerhaft (просто, мило и прочно), как говорит Новалис о сочинениях Гете. Вот почему оно вам понравилось, вот почему вы тянете его к себе, и вот почему мы вам его не уступим, тем более что вы решительно не умеете прикладывать его к оценке явлений общественной жизни. Подумайте, г. Антонович, какой же вы *реалист*, когда решаетесь хвалить *политическую экономию* Милля, которая вся построена на так называемом законе Мальтуса и которая все разрешение общественной задачи видит только в *благоразумном* воздержании работников от наслаждений супружеской жизни? Говоря о политической экономии Милля, вы даже не упомянули о его мальтузианстве, и вы, кроме того, нечаянно или умышленно, из желания побраниться с «Отечественными записками», оклеветали г. Чернышевского, сказав о нем, что он во всех существенных основаниях соглашается с Миллем.[23] «Русское слово», на которое вы стараетесь смотреть с высокомерием, далеко не соответствующим вашим личным силам и знаниям, «Русское слово», говорю я, могло бы предохранить вас от этих двух печальных ошибок. В «Русском слове» за 1862 год вы могли найти статью г. Соколова по поводу книги Рошера «Начала народного хозяйства»,[24] а в «Русском слове» за 1863 год — мои статьи: «Очерки из истории труда». Эти статьи объяснили бы вам с ясностью, вразумительною даже для вас: во-первых, что такое мальтузианство, а во-вторых (это вы найдете у меня), как смотрит на Мальтуса г. Чернышевский.[25] — Далее, вы не можете быть реалистом потому, что, говоря о явлениях общественной жизни и о потребностях человеческого организма, вы не умеете расположить эти потребности в той необходимой постепенности, которая вытекает сама собою из их сравнительной важности. Вы, например, не понимаете, что когда в обществе есть

---

* Буквально: он не бьет стекла; не высказывает резко *(франц.)*. — *Ред.*

не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу рано, нелепо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться об удовлетворении других потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечного меньшинства сытых и разжиревших людей. Если бы вы прочитали внимательно и были способны понять комментарии г. Чернышевского к политической экономии Милля, то вы увидели бы, что он сравнивает неразумное общество, имеющее мало хлеба и в то же время заботящееся о музыкальных консерваториях, об операх, балетах, картинах и статуях, с глупым дикарем, который ходит нагишом и босиком и в то же время украшает себя золотыми браслетами и жемчужными ожерельями.[26] Поэтому советую вам совершенно искренно, бросьте название реалиста, которое вам совершенно не к лицу; вы можете называть себя *овцою* или *бараном*, а еще того лучше назовите себя *либералом* и разделите это почетное и комфортабельное название с «Московскими ведомостями», с «Сыном отечества», с «Голосом», с «Отечественными записками», словом, со всею русскою журналистикою, кроме «Домашней беседы»[27] — с одной стороны, и «Русского слова» — с другой.

IV

Г. Антонович, как мы видели выше, утверждает, что мы считаем г. Тургенева своим учителем, а Базарова — своим идеалом. Далее он на пяти страницах (63—67) развивает ту же мысль очень подробно и говорит, что «в виде Базарова они (г. Зайцев и я) получают желанный реалистический талисман и ключ к скорому, почти механическому решению всех вопросов» (63). По соображениям г. Антоновича оказывается, что до самого появления тургеневского романа я «оставался в неведении относительно реализма». — «Скольких реалистов ни читал г. Писарев, ни одного из них не мог понять и узнать, что такое реализм». — Увлекаясь своим желанием выставить мое незнание и непонимание как можно ярче, г. Антонович, сам того не замечая, опрокидывает одну из своих собственных мыслей, высказанных им немного выше. Он говорит на той же странице, что, познакомившись с сочинениями Добролюбова, я его не понял и заключил, что «Добролюбов отстал, что у него нет почти ни одного реалистического пункта. В таком положении оставался г. Писарев в конце 1861 года и в начале 1862 года до той незабвенной минуты, когда в «Русском вестнике» появился роман «Отцы и дети». — А на стр. 56 говорилось, что враги реализма причисляют меня к самым горячим приверженцам Добролюбова. Спрашивается, каким же образом я мог приобрести репутацию *самого горячего приверженца*, если я с 1861 года, то есть с первого года моей литературной деятельности, заключил, что у Добролюбова *нет почти ни одного реалистического пункта?* Предоставляю г. Антоновичу выпутываться

из этого противоречия всеми выдумками и софизмами, какие только имеются в его распоряжении. «Прочитавши один этот роман, — продолжает г. Антонович, — г. Писарев в несколько часов узнал, что такое реализм, и сам сделался реалистом, чего не случалось с ним даже после продолжительного чтения многих статей Добролюбова и других реалистов...» «Таким образом, подобно тому как первым своим превращением г. Писарев обязан был г. Благосветлову, второе его превращение совершилось благодаря г. Тургеневу, который сделался учителем и руководителем г. Писарева, а г. Благосветлов отступил на задний план, в роль простого советника». — Эти рассуждения г. Антоновича выставляют, конечно, мою личность в самом смешном и жалком свете, но рассуждения эти, очевидно, могут подействовать только на тех простодушных читателей, которые привыкли принимать печатные слова на веру без малейшей критики. Читатели менее простодушные потребуют доказательств, увидят, что доказательств никаких не представлено, и сообразят, что если бы слова г. Антоновича сколько-нибудь соответствовали истине, то найти доказательства было бы в высшей степени легко. В самом деле, до появления тургеневского романа я работал в «Русском слове» с лишком год и написал по меньшей мере листов сорок по самым разнообразным предметам: тут есть и две статьи о Меттернихе, и моя кандидатская диссертация об Аполлонии Тианском, и три статьи по естественным наукам, по поводу сочинений немецких реалистов: Молешотта, Карла Фохта и Бюхнера, и, наконец, несколько статей о современной русской литературе. [28] Если я в течение этого первого года не понимал реализма и если потом чтение тургеневского романа произвело во мне *превращение*, то кто же мешал г. Антоновичу показать в моих первых статьях образчики моего непонимания и потом, сравнивая первые мои статьи с позднейшими, представить доказательства совершившегося во мне превращения? Г. Антонович не сделал ни того, ни другого, и потому я полагаю, что он имеет очень невыгодное мнение о понятливости и требовательности тех читателей, в глазах которых он старается сделать меня смешным. В последние три года совершилось над нами и вокруг нас множество таких крупных и важных событий, которые каждого человека, способного мыслить, заставляют вглядываться, как можно пристальнее, и вдумываться, как можно глубже, во все, что составляет совокупность его убеждений, надежд, желаний и планов. Поэтому некоторые частности действительно изменились в моих понятиях; так, например, мой взгляд на отношения искусства к общественной жизни сделался гораздо строже прежнего; некоторые черты моего образа мыслей выступили теперь резче и обозначились яснее; но *превращения* все-таки никакого не произошло, получилось только постепенное, органическое развитие. Но ведь г. Антонович утверждает совсем не то: он говорит, что превращение произошло со мною в те *несколько*

часов, которые я употребил на чтение тургеневского романа. В таком случае, если г. Антоновичу не угодно прослыть за неискусного мистификатора доверчивой публики, то пусть он докажет, что мои статьи, написанные в январе и в феврале 1862 года, отличаются существенным образом от моих статей, написанных в апреле и в мае того же года.[29] Кстати о превращениях: г. Антонович приписывает мне два превращения: первое — произведенное г. Благосветловым, и второе — произведенное романом г. Тургенева. Мы видели уже, что второе превращение выдумано г. Антоновичем. Первое — не выдумано, но понято совершенно неверно. Говоря об этом первом превращении, г. Антонович основывается на письме моей матери, помещенном в мартовской книжке «Современника» за нынешний год.[30] Все показания этого письма совершенно верны, но только надо их понимать, а на это у г. Антоновича не хватает остроумия или добросовестности. В письме моей матери сказано, что в апреле 1861 года я входил в сношения с редакциею «Странника», желая поместить в этот журнал перевод одной песни «Мессиады».[31] Из этого совершенно верного показания г. Антонович заключает совершенно ошибочно, что я в апреле 1861 года смотрел на весь мир глазами «Странника», который, по справедливому замечанию того же г. Антоновича, есть не что иное, как родной братец «Домашней беседы». Только на основании этого ошибочного заключения г. Антонович получает повод говорить обо мне, что «г. Писарев есть «лучший цветок» в саду реализма, насаженный и выращенный г. Благосветловым». — Я действительно многим обязан г. Благосветлову в моем развитии, но я никогда не говорил, что г. Благосветлов *первый* познакомил меня с теми идеями, которые я теперь провожу и защищаю в «Русском слове». Г. Антонович должен был бы сообразить, что редактору журнала некогда заниматься *насаживанием лучших цветков*, некогда возиться с совершенно необразованными и неразвитыми юношами, хотя бы эти юноши были даже очень умны от природы. Редактор обыкновенно берет к себе в сотрудники таких людей, в которых уже зашевелилась работа мысли и в которых эта работа представляет хоть что-нибудь родственное, хоть какую-нибудь точку соприкосновения с главными идеями редактируемого журнала. Именно так случилось и со мною. Первый труд, которым я зарекомендовал себя в глазах г. Благосветлова, был перевод поэмы Гейне «Атта Троль».[32] Г. Благосветлов увидал из этого перевода, что я люблю и понимаю Гейне. Этот симптом был уже достаточно выразителен, чтобы подать повод к нашему ближайшему знакомству. За этим знакомством последовали работы, и если г. Антонович потрудится просмотреть мои статьи, помещенные в февральской, в мартовской и в апрельской книжках «Русского слова» за 1861 год,[33] то увидит, что в моих тогдашних идеях не было ничего похожего на идеи «Странника». — Но почему же я ходил в редакцию «Странника» в апреле? И что же сделал для

меня г. Благосветлов, если я уже до знакомства с ним не сходился в идеях с «Странником»? Ходил я в редакцию «Странника» потому, что не имел понятия о серьезных обязанностях честного литератора. А сделал для меня г. Благосветлов именно то, что своим влиянием заставил меня понять, в чем состоят эти серьезные обязанности. Дело в том, что наши пишущие люди до сих пор не могут понять, что честный писатель отнюдь не должен уподобляться ласковому теленку, сосущему в одно время и с одинаковым успехом двух или даже многих более или менее разношерстных маток. Русский писатель обыкновенно смотрит на литературу как на свое хлебное ремесло и поступает с своими произведениями как сапожник с сапогами, то есть продает их первому встречному покупателю, не обращая никакого внимания на самые характерные особенности этого покупателя. Примеров можно привести сколько угодно, выбирая притом только очень известные и нисколько не опозоренные имена. Было бы очень несправедливо назвать покойного Дружинина бесчестным или тупоумным писателем, а между тем известно, что Дружинин в 1861 году поместил в «Русском вестнике» статью о Карлейлевой истории Фридриха II, потом в 1862 году поместил в «Современнике» перевод «Ричарда III» и, наконец, в 1863 году опять в «Рус⟨ском⟩ вестнике» — продолжение статей о книге Карлейля.[34] Таким образом Дружинин ухитрялся мирить «Современник» с «Рус⟨ским⟩ вестником». — Г. Костомаров * также не может быть назван ни бесчестным, ни тупоумным писателем, а между тем он помещал свои статьи в «Библиотеке для чтения» рядом с романом г. Стебницкого.[36] — Г. Вейнберга я также не имею повода заподозрить ни в тупоумии, ни в бесчестности, а между тем он поместил перевод «Беатриче Ченчи» в «Рус⟨ском⟩ слове», а перевод «Отелло» — в «Библиотеке для чтения», совершенно опозоренной романом «Некуда». Таким образом производилось непостижимое примирение «Рус⟨ского⟩ слова» с «Библиотекою». Такое же примирение устроивал и г. Глеб Успенский, который, печатая обыкновенно свои рассказы в «Рус⟨ском⟩ слове», поместил, однако, один очерк в январской книжке «Библиотеки» за нынешний год.[37] Помяловский, конечно, был достаточно умен и честен, чтобы не сочувствовать философии гг. Страхова и Косицы, а между тем отдал «Зимний вечер в бурсе» во «Время», и отдал его тогда, когда «Современник» еще не был приостановлен.[38] Понимание настоящих отношений литературы к обществу развито до сих пор так слабо в нашей публике, что большинство читателей, прочитав то, что я говорю о г. Вейнберге, наверное возразят мне с простодушным удивлением: «да ведь это переводы, стало быть, все равно, куда их ни поместить».

* Само собою разумеется, что, называя г. Костомарова не бесчестным и не тупоумным писателем, я говорю о профессоре Н. И. Костомарове, а не о г. Всеволоде Костомарове.[35]

Совсем не все равно, отвечу я. Писатель должен рассуждать следующим образом: если я считаю позволительным выпустить мою работу в свет, то, значит, я нахожу, что она исполнена добросовестно и что вследствие этого она может хоть немного усилить успех того журнала, в который я ее отдаю. Если же я своею работою усиливаю успех такого журнала, который проповедует нелепости или гнусности, то я становлюсь до некоторой степени сообщником этих гнусностей или нелепостей. Стало быть, даже и переводы следует помещать с величайшею разборчивостью. Если бы у нас не было в литературе людей безразличных и равнодушных, то бóльшая часть нелепых или гнусных журналов потеряла бы возможность существовать, потому что люди чисто нелепые или чисто гнусные, дающие колорит гнусным или нелепым журналам, составляют у нас, как и везде, очень незначительное меньшинство, которое только при содействии равнодушных и безразличных людей может обделывать свои делишки и выпускать в свет разнообразные книжки, пропитанные ароматом гнусности или нелепости. Безразличие и равнодушие, составляющие до сих пор преобладающие особенности наших литературных деятелей, происходят не от испорченности, не от систематической продажности, а просто от непонимания той истины, что литература — великая общественная сила, которая начинает развращать общество с той самой минуты, как только она перестает двигать его вперед и раскрывать перед ним его острые и хронические болезни. Непонимание это очень понятно: до 1855 года у нас не было и быть не могло ясно обозначенных и неуклонно выдержанных направлений; если бы кто-нибудь потрудился перебрать старые книжки «Отечественных записок», то наверное нашел бы там, рядом с статьями Белинского, множество таких вещей, которые показались бы дикими даже теперешним «Отечественным запискам». Потом, после 1855 года, все русские писатели сделались либералами, а либеральный кодекс известен: отрицай розги и зуботычины, люби Росселя и Кавура, обижайся, когда евреев называют жидами, и затем, заручившись этими добродетельными чувствами, говори, пиши и делай все, что тебе угодно. На почве этого либерального кодекса выросли как теория «Голоса» о том, что честному писателю незачем быть честным человеком, так и теория г. Альбертини о систематической несолидарности сотрудников журнала между собою.[39] Каждый либерал готов без дальнейших расспросов писать в одном журнале с другими либералами, с которыми он не сходится ни на одном пункте, кроме вышеисчисленных статей либерального кодекса. Привыкнув игнорировать своих сотрудников и кочевать по домашним обстоятельствам из одного либерального журнала в другой, либералы не слишком строго смотрят на переходы даже и в такие журналы, которые с либерализмом не имеют ничего общего. Известно, например, как пламенно ненавидят и усердно бранят «Русское слово»

все наши либералы; и всех этих пламенно ненавидящих и усердно бранящих либералов можно завтра же приманить в «Русское слово», посулив им лишних пять рублей полистной платы. Жаль только, что приманивать не стоит. И опять-таки повторяю вам, что это делается не столько вследствие развращенности и продажности, сколько вследствие литературного дилетантизма, вытекающего из нашей общественной неразвитости. Предложите тому же либералу, которого вы переманили за пять рублей, поцеловать у вас руку не за пять, а за пятьсот рублей, и вы увидите, что он не только не поцелует, а даже — чего доброго — обидится. Значит, чувство чести в нем есть, но только нет уменья понять отношения писателя к обществу. Г. Благосветлов своим влиянием навсегда застраховал меня от бесцветного либерализма, приводящего к теориям «Голоса» и г. Альбертини. Когда я ходил в редакцию «Странника», я стоял на той низкой степени понимания, на которой остановились, например, гг. Дружинин и Костомаров. Г. Благосветлов помог мне подняться на высшую ступеньку, и теперь я смотрю на дело писателя как на серьезную общественную обязанность. Таким образом г. Благосветлов сделал для меня очень много. Но мое реалистическое миросозерцание сложилось независимо от г. Благосветлова и до моего знакомства с ним. *Лучший цветок в саду реализма, насажденный и выращенный самим г. Благосветловым*, оказывается таким образом безвредною шуткою, которая ко мне нисколько не относится.

V

Г. Антонович старается доказать, что я будто бы не понял статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве». — «Читая эту статью, — говорит он, — он (г. Писарев) остановился на той миллионной доле статьи, где Добролюбов хвалит Катерину; эта похвала точно гвоздем засела в голову критика, и он остановился на ней собственно потому, что наслушался фраз об отрицании и обличении, и его обличительное рвение обиделось похвалой» (стр. 60). Итак, похвала Катерине составляет *одну миллионную* долю статьи «Луч света в темном царстве». Справляясь с сочинениями Добролюбова, я усматриваю, что хвалебный анализ характера Катерины занимает в третьем томе ровно *тридцать* страниц (488—517); следовательно, по счету г. Антоновича, вся статья должна заключать в себе *тридцать миллионов* страниц; на самом же деле она не так велика: в ней всего *семьдесят семь* страниц. Стало быть, похвала Катерине, даже по одному объему, составляет почти половину статьи (выражаясь точнее — более $^3/_8$ статьи). Но этого мало. Не трудно доказать, что эта часть статьи составляет настоящую ее сущность. В самом деле, первые *двадцать семь* страниц составляют вступление, в котором Добро-

любов объясняется *«относительно оснований своей критики»* и полемизирует с разными приверженцами школьной пиитики. Оканчивая это вступление, Добролюбов сам признается, что его *«можно было изложить на двух-трех страницах»*, но что «тогда бы этим страницам долго не пришлось увидеть света». Вступление вышло длинно, потому что «приходится поневоле перевертываться всячески с фразой, чтобы ввести как-нибудь читателя в сущность излагаемой мысли». Ясное дело, что извороты фраз, необходимые только вследствие стесненного положения нашей печати, не могут составлять существенного содержания статьи. Если Добролюбов сам говорит, что вступление могло уместиться на двух-трех страницах, то мы и должны считать первые *двадцать семь* страниц за две или за три страницы, непомерно раздувшиеся вследствие особых обстоятельств, от автора не зависящих. Наконец Добролюбов говорит: «Но обратимся же к *настоящему предмету* нашему — к автору «Грозы». Ясно кажется, что первые *двадцать семь* страниц к *настоящему предмету* не относятся. Далее, с 468 страницы, Добролюбов начинает рисовать жизнь города Калинова и самодурство Дикого и Кабановой, то есть он описывает ту сцену, на которой Катерине приходится действовать, и знакомит нас с теми людьми, от которых Катерина находится в зависимости. Затем, с 488 страницы, начинается анализ характера Катерины. Спрашиваю я вас теперь, господа читатели, которая из трех частей статьи может быть названа главною: первая ли, заключающая в себе прелиминарии, которые, по сознанию самого автора, могли бы уместиться на двух-трех страницах; вторая ли, заключающая в себе описание фона картины; или же третья, заключающая в себе анализ характера главного действующего лица? Но, может быть, в этом анализе характера хвалебный элемент занимает действительно самое скромное место? Нет, господа, мой увертливый противник не укроется даже и в этой последней лазейке. Чтобы возвеличить Катерину, Добролюбов повергает в прах все сильные характеры, изображавшиеся в нашей современной литературе, и эту груду поверженных фигур превращает в пьедестал для своей любимой героини. К ногам Катерины повергается даже Инсаров — тот самый Инсаров, к которому Добролюбов отнесся с величайшим сочувствием в своей статье «Когда же придет настоящий день?». — «Русская жизнь, — говорит Добролюбов, — дошла, наконец, до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность в людях хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия (которым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени), но и внесения их в жизнь, в деятельность.

Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий, подставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления препятствий нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое, наконец, прорывается в людях сквозь все преграды, поставленные дикими самодурами. Теперь большая задача представлялась в том, как же должен образоваться и проявиться характер, требуемый у нас новым поворотом общественной жизни? Задачу эту пытались разрешать наши писатели, но всегда более или менее неудачно» (стр. 488). Катерина, по мнению Добролюбова, оказывается желанным разрешением этой задачи. «Таким образом, — говорит Добролюбов, — перебирая разнообразные типы, являвшиеся в нашей жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили к убеждению, что они не могут служить представителями того общественного движения, которое чувствуется у нас теперь и о котором мы, по возможности подробно, говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: как же, однако, определятся новые стремления в отдельной личности? какими чертами должен отличаться характер, которым совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни? В действительной жизни пробуждающегося общества мы видели лишь намеки на решение наших вопросов, в литературе — слабое повторение этих намеков; но в «Грозе» составлено из них целое, уже с довольно ясными очертаниями; здесь является перед нами лицо, взятое прямо из жизни, но выясненное в сознании художника и поставленное в такие положения, которые дают ему обнаружиться полнее и решительнее, нежели как бывает в большинстве случаев обыкновенной жизни»... «Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено своего серьезного значения» (стр. 492). Далее начинается уже просто хвалебный гимн Катерине, который и не прерывается до самого конца статьи. Чтобы показать читателю, до какого пафоса доходит Добролюбов и какие непохвальные вещи он превозносит в разгаре своего увлечения, я приведу из его хвалебного гимна два отрывка. «Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. (А неужели Добролюбов видел в русском обществе таких неугомонных разрушителей и неужели он верит в их существование? Я, признаюсь, думал и продолжаю думать до сих пор, что такие беспардонные буяны — не что иное, как баба-яга, выдуманная катковскими и скарятинскими журналами [40] для того, чтобы пугать маленьких детей и таких читателей, которые по своим умственным способностям от маленьких детей очень не далеко уехали.) Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. (Что такое *идеальный* характер? И если *идеальный* характер противопола-

гается разрушителю, то, стало быть, разрушитель окажется *материальным* характером?) Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении; то настроение, при котором, по выражению поэта, «весь мир мечтою благородной пред ним очищен и омыт», это настроение до последней крайности не покидает Катерину. (Не правда ли, как приспособлен такой характер к суровым подвигам общественной деятельности? Как полезно мыть и чистить окружающих самодуров благородною мечтою для того, чтобы потом вступить с ними в борьбу!) Всякий внешний диссонанс она старается согласить с гармонией своей души, всякий недостаток покрывает из полноты своих внутренних сил. (Если выражаться менее поэтическим языком, то надо будет сказать очень просто, что Катерина, как все обиженные богом и воспитанием мечтатели, видит вещи в розовом свете. Но, спрашивается, в чем же состоит задача общественного деятеля: в том ли, чтобы игнорировать недостатки, или же в том, чтобы видеть, понимать и устранять их?) Грубые, суеверные рассказы и бессмысленные бредни странниц превращаются у ней в золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а ясные, добрые» (стр. 496—497). Далее Добролюбов начинает наслаждаться описанием ясных, добрых, золотых и поэтических снов. Дальше выписывать не стоит, потому что основное направление хвалебного гимна достаточно обозначено. Вы видите, что художественное чувство завлекает Добролюбова очень далеко, даже из рук вон как далеко. Он ставит Катерине в заслугу то, что она чистила и мыла благородною мечтою *грубые, суеверные рассказы и бессмысленные бредни странниц*. Порыв художественного чувства мирит Добролюбова со всем, даже с мистицизмом, если только он облекается в красивую форму золотых, поэтических, ясных и добрых снов. Имейте при этом в виду, что Добролюбов на стр. 492 обещает показать нам в Катерине «характер, которым совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни». Не правда ли, какие богатые задатки *решительного разрыва* скрываются в такой личности, которая сама заражена до мозга костей всеми нелепостями понятий, господствующих в обществе самодуров? — Этого мало, что Катерина верит странницам; она еще, кроме того, влюбилась в их рассказы именно потому, что постоянно мыла и чистила их благородною мечтою. И от такой-то безнадежно-зачумленной личности Добролюбов ждет *решительного разрыва!* — Вот второй отрывок из хвалебного гимна, посвященного полоумной мечтательнице и визионерке. «Претендованные в других творениях нашей литературы сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но зависящие в своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного к ним. (Инсаров тоже попадает в фонтанчики.) Катерина, напротив, может быть уподоблена большой, многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство;

характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно, хорошее — она течет спокойно, камни большие встречаются — она через них перескакивает, обрыв — льется каскадом, запружают ее — она бушует и прорывается в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошуметь или рассердиться на препятствия, а просто потому, что это ей необходимо для выполнения ее естественных требований, для дальнейшего течения» (стр. 506). Моя страстная и упорная любовь к Базарову вошла в пословицу и давно сделалась посмешищем всей близорукой нашей журналистики, а между тем я никогда не воспевал его так восторженно, велеречиво и метафорично, как Добролюбов поет Катерину. Так, например, я никогда не рассуждал о том, что предпринял бы Базаров, если бы его *запрудили* или если бы ему пришлось *течь через обрыв*. — А теперь, господа читатели, я вас спрашиваю: что вы думаете о правдивости г. Антоновича, имеющего дерзость утверждать печатно, что похвала Катерине составляет одну *миллионную долю* в статье Добролюбова? Поставив перед вами этот вопрос, я на время презрительно устраняю мелкого литературного фокусника г. Антоновича и до конца этой главы веду разговор с умным и честным, но, по моему крайнему разумению, заблуждающимся писателем Добролюбовым. Предстоит решить вопрос о том, кто из наших любимцев, добролюбовский или мой, Катерина или Базаров, заключают в себе элементы, необходимые для решения общественной задачи, поставленной русскому народу всем течением нашей исторической жизни? Добролюбов говорит, что нам нужен в настоящее время *«русский сильный характер»*. Я полагаю, что это мнение совершенно ошибочно. Сильных характеров у нас всегда было много, и они до сих пор существуют у нас в большом изобилии. Чтобы поддержать эту мысль, которая многим, если не всем, читателям покажется парадоксом, я не буду ссылаться на отдельные исторические примеры; я просто разверну перед вами карту европейской и азиатской России и укажу вам на *всю нашу историю*, как на самое красноречивое выражение нашего колоссального, железного характера. Существенный смысл всей нашей истории заключается в постоянной, хронической, исполинской колонизации, расчистке и разработке земель от Балтийского моря до Тихого океана. Энергия и терпение теперешних американских пионеров совершенно ничтожны в сравнении с терпением и энергиею наших колонизаторов, ничтожны именно потому, что американец идет на борьбу с природой вооруженный всеми пособиями науки и техники, а наш мужик шел и даже идет до сих пор только что не с голыми руками. Чего недостает со стороны знания и технической сноровки, то, очевидно, может и должно быть дополнено только упорством, мозолистым трудом и сносливостью, то есть именно силою и энергиею характера. Чего другого, а железной воли и

ультраослиного терпения у нас во всякое время было довольно. В каждом учебном заведении, в каждом казенном присутственном месте, в каждой рабочей артели, в каждом полку, в каждом остроге — вы найдете десятки, если не сотни железных характеров, которых упорство в принятом решении не победите ни лаской, ни палкой. Всякий согласится, что Молчалин есть тип; но неужели же вы не видите, что Молчалин — железный характер? Молчалин сказал себе: «я хочу составить карьеру» — и пошел по той дороге, которая ведет к степеням известным; пошел и уже не своротит ни вправо, ни влево; умирай его мать в стороне от дороги, зови его любимая женщина в соседнюю рощу, плюй ему весь свет в глаза, чтобы остановить его движение, — он все будет идти и дойдет — одинокий, оплеванный, измученный, — но дойдет. И это, по-вашему, не сила характера? Да если бы каждый из наших прогрессистов был Молчалиным по силе характера, то... то... то лучшего ничего и желать было бы невозможно. — Вы скажете, что у Молчалина мелкая, низкая и даже глупая цель. Да ведь это уж совсем другой вопрос. Цель жизни выбирается не характером, а умом; и выбор, удачный или неудачный, обусловливается тем умственным развитием и теми знаниями, которыми обладает человек в то время, когда ему приходится выбирать. Если бы юноша Молчалин имел понятие о более высоких, разумных и привлекательных целях, если бы образование поставило его на ту точку зрения, с которой становится заметною привлекательность этих других целей, то он бы и выбрал одну из этих других, потому что человек никогда не довольствуется куском черствого хлеба, если имеет возможность получить кусок пирога. А выбрав раз хорошую цель, Молчалин пошел бы к ней так же неуклонно, как идет к степеням известным. Вот мы, стало быть, и договорились. Наша общественная или народная жизнь нуждается совсем не в сильных характерах, которых у нее за глаза довольно, а только и исключительно в одной *сознательности*. Как только наши неутомимые и неустрашимые труженики узнают и поймут совершенно ясно, что — ложь и что — правда, что — вред и что — польза, кто — враг и кто — друг, так они и пойдут твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не останавливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обещаний и спокойно устраняя все рогатки и шлагбаумы. Думать, что русские люди нуждаются не в знании, а в энергии, — значит считать Обломова типическим представителем русского народного характера, а такая грубая ошибка понятна только со стороны поверхностного писателя. И знание составляет ключ к решению общественной задачи не в одной России, а во всем мире. Нет ни одного народа, у которого не замечался бы недостаток характера, и нет также ни одного народа, который был бы достаточно наделен знанием. Каждое важное событие в исторической жизни каждого народа вызывает наружу тысячи проявлений самого чистого

и высокого героизма, и каждое событие оканчивается самою нелепою и печальною развязкою, если у данного народа не оказывается в наличности тех умственных способностей, тех знаний и той опытности, которые могли бы поворотить, куда следует, дальнейшее течение исторической жизни. Посмотрите, например, на первую французскую революцию: энергии, героизма, любви к отечеству и всяких других добродетелей было истрачено столько, что их хватило бы на освобождение всех народов земного шара; а между тем движение завершилось военным деспотизмом и позорнейшею реставрациею именно оттого, что не нашлось в запасе положительных знаний, без которых и самый гениальный организатор всегда потерпит полнейшую неудачу. Итак, нам необходимы исключительно люди знания, т. е. знания должны быть усвоены теми железными характерами, которыми переполнена наша народная жизнь.

Но читатель помнит конечно, что, говоря о Молчалине, я с некоторою укоризною пожелал нашим прогрессистам молчалинской силы характера. Выражая это желание, я, стало быть, признавал тот факт, что нашим прогрессистам действительно недостает характера. Да, я признаю этот факт и считаю его непоправимым относительно тех прогрессистов, которые «дела себе исполинского ищут, благо наследство богатых отцов их избавляет от тяжких трудов».[41] Характер закаляется трудом, и кто никогда не добывал себе собственным трудом насущного пропитания, тот в большей части случаев остается навсегда слабым, вялым и бесхарактерным человеком. Это значит, что вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят и из которых действительно сформировались первые и постоянно формируются новые представители базаровского типа. Представив эти размышления на суд читателя, я замечу наконец, что с основным смыслом моих идей согласился даже и «Современник», заклятый враг г. Тургенева, Базарова и «Русского слова». Тип, решающий общественную задачу, воплощен самым блестящим и самым глубоким мыслителем «Современника», г. Чернышевским, в личности Рахметова.[42] Рахметов признан и всеми остальными сотрудниками «Современника»; а на кого же Рахметов больше похож — на Базарова или на Катерину? Я полагаю, что смешно даже и задавать читателю подобный вопрос. Характер Катерины промелькнул и теперь уже навсегда забыт, а базаровский тип растет постоянно, не по дням, а по часам, и в жизни и в литературе. Стало быть, незачем было и воспевать Катерину как многоводную реку.

VI

На стр. 67 своей статьи Антонович объявляет, что г. Писарев «с свойственным ему уменьем уничтожает искусство и производит разрушение эстетики». — Из этих слов г. Антоновича я вижу, что он самым забавным образом ошибается в понимании того

заглавия, которое я дал моей критической статье, помещенной в майской книжке «Русского слова» за 1865 год. Прочитав заглавие «*Разрушение эстетики*», г. Антонович вообразил себе, что я сам принимаю на себя роль разрушителя и что *разрушением эстетики* я называю именно мою собственную статью. Если понимать по такому остроумному способу заглавия статей, то придется утверждать, что я самому себе приписываю *педагогические софизмы*, что я самого себя обвиняю в *сердитом бессилии*, что г. Соколов самого себя уличает в *экономических иллюзиях* и что г. Антонович самого себя считает творцом *современной эстетической теории*. [43] Когда над статьею написано крупными буквами: «*такой-то предмет*», то люди, привыкшие к общеупотребительному литературному языку, понимают обыкновенно эту надпись так, как будто бы было написано: «*статья о таком-то предмете*». Так, например, когда над статьями написано: «*Маколей*» или «*Милль*», то читатели не ожидают найти в книге этих двух англичан en chair et os; * они ожидают найти только рассуждение о Маколее или Милле. Точно так же, когда над статьею написано: «*Разрушение эстетики*», то читатели ожидают найти в книге статью о том сочинении, которое разрушило эстетику. Это они действительно и находят, потому что во всей моей статье я доказываю очень подробно, что эстетику разрушил г. Чернышевский своею книгою «Эстетические отношения искусства к действительности».

Чтобы навязать мне небывалые претензии на разрушение эстетики, г. Антонович принужден прибегнуть к самому печальному из полемических приемов, именно к искажению даже не мыслей противника, а его слов; он принужден пуститься на такой отчаянный маневр, как фальсификация печатных документов. Г. Антонович следующим образом цитирует мои слова: «Надо совершенно уничтожить эстетику, — провозглашает г. Писарев,— надо отправить ее туда, куда отправлены алхимия и астрология». — Для большей убедительности г. Антонович ставит эти слова в кавычки, так что читатель принужден видеть в этой фразе именно мои собственные, *подлинные* слова. На самом же деле оказывается, что цитата приведена неверно. Вот мои слова: «Автор видел, что эстетика, порожденная умственною неподвижностью нашего общества, в свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться с места, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить в расслабленной литературе сознание ее высоких и серьезных гражданских обязанностей, надо *было* совершенно уничтожить эстетику, надо *было* отправить ее туда, куда отправлены алхимия и астрология» («Р⟨усское⟩ сл⟨ово⟩», 1865, май, стр. 2). [44] Во-первых, г. Антонович оторвал конец фразы от ее начала, а во-вторых, он из этого оторванного конца выкинул слово *было*, повторенное два раза. Через это весь

---

* Во плоти и крови (буквально: во плоти и костях) (*франц.*). — *Ред.*

смысл совершенно изменяется, и читатель, имеющий неосторожность полагаться на г. Антоновича, убеждается в том, что я действительно ставлю себе самому задачу разрушить эстетику, между тем как я, напротив того, говорю, что эту задачу поставил себе и решил десять лет тому назад другой писатель. — Потом, придравшись к словам: *алхимия* и *астрология*, г. Антонович на целой странице читает мне нравоучения, имеющие целью доказать, что объекты этих наук не уничтожились, а перешли в ведение химии и астрономии. «Ах, — восклицает г. Антонович, — как было бы хорошо, если бы вы, г. Писарев, побольше знали и побольше размышляли собственным умом»... Это было бы хорошо преимущественно потому, что тогда «нам бы не было необходимости толковать вам, т. е. вашим несчастным читателям и почитателям, азбучные истины». Вы, г. Антонович, находите, что было бы *ах, как хорошо!* В таком случае я могу порадовать вас тем известием, что ваше желание уже давно осуществилось, что все обстоит благополучно и *ах, как хорошо*, и что вам нет ни малейшей необходимости толковать моим *несчастным читателям* азбучные истины. Я скажу вам даже, что вы с вашими толкованиями разыгрываете очень комическую роль той мухи, которая, «как откупщик на ярмарке, хлопочет», или же той мухи, которая говорит: «мы пахали». — Представьте себе, что отношения алхимии и астрологии к химии и к астрономии были объяснены моим *несчастным читателям* почти год тому назад в моей статье: «*Историческое развитие европейской мысли*»,[45] напечатанной в ноябре и декабре 1864 года. Вот, например, что было сказано об алхимии: «Философского камня они не нашли, жизненного элексира не добыли, но их многовековые исследования положили прочное основание новейшей химии... Если бы не было фантазий о философском камне и о жизненном элексире, то не было бы и тех неутомимых работ, которые познакомили нас с химическими свойствами многих тел и проложили дорогу к более рациональным исследованиям» (1864, ноябрь, стр. 382). Вы видите, г. Антонович, что вы с полным удобством можете приберечь ваши толкования азбучных истин для *счастливых читателей и почитателей* г. Антоновича. — Но теперь вы, конечно, возликуете и закричите, что, стало быть, говоря об уничтожении эстетики, я, ни к селу ни к городу, сравнил ее с алхимиею и астрологиею, которые не уничтожились, а только преобразовались. Ликование ваше будет очень непродолжительно, потому что я тотчас укажу вам на следующее место в «*Разрушении эстетики*»: «При том определении прекрасного, которое дает нам автор, *эстетика*, к нашему величайшему удовольствию, *исчезает в физиологии и гигиене*» (стр. 7).[46] Таким образом оказывается, что мое сравнение отличается самою строгою точностью. Эстетика преобразовывается в часть физиологии и гигиены так точно, как алхимия преобразовалась в химию, а астрология — в астрономию. При этом превращении, разумеется,

многие части эстетики совершенно уничтожаются так точно, как уничтожились без остатка фантастические стремления и магические формулы алхимиков и астрологов. Когда это превращение эстетики сделается уже общеизвестною и общепризнанною истиною, тогда мы будем изучать и анализировать только те приятные ощущения, которые могут сделаться полезными или вредными для нашего здоровья и для нормального развития нашей рабочей силы. Например, солнечный свет производит на меня приятное впечатление; я обращаюсь к физиологии и к гигиене и требую от них ответа на вопрос: в какой связи это приятное ощущение находится с общим процессом моей жизни и в какой мере я могу предаваться этому ощущению, не вредя своему здоровью? Физиология и гигиена отвечают мне, что солнечный свет в высшей степени полезен для органической жизни, но что излишняя яркость солнечного света, при слишком продолжительном действии солнечных лучей на организм, раздражает, утомляет и, наконец, расслабляет зрение и, кроме того, ведет за собою приливы крови к голове. Определить точными измерениями то напряжение света, которое человеческий организм может выносить без дурных последствий, и то время, в продолжение которого он может подвергаться действию солнечных лучей без вреда для здоровья, — это, конечно, задача довольно важная, и эту задачу, разумеется, решает и будет решать физиология, а не эстетика, несмотря на то, что мы здесь имеем дело с приятным ощущением. Положим далее, что два цвета, сероватый и пунцовый, производят на меня приятное впечатление. Поддаваясь моему влечению к этим цветам, я хочу обить свой кабинет сероватыми или пунцовыми обоями; чтобы решить, которому из двух любимых мною цветов я должен отдать предпочтение, я опять обращаюсь к гигиене и узнаю из нее, что пунцовый цвет решительно не годится, потому что слишком сильно действует на зрение. Положим далее, что мне хочется уставить мой кабинет растениями и цветами, которые производят на меня приятное впечатление как своим видом, так и запахом. Гигиена одобряет мое намерение, объясняя мне, что растения очищают воздух, разлагая углекислоту, то есть поглощая углерод и освобождая кислород, необходимый для дыхания животных; в то же время гигиена предупреждает меня однако, что приятный запах очень многих цветов действует так сильно на нервы, что ведет за собою головокружения и головные боли. Положим наконец, что мне приходит в голову фантазия увешать стены моего кабинета картинами, и я нахожусь в нерешимости, чьи бы мне приобрести пейзажи — Калама, Клода Лоррена, Айвазовского или Рюисдаля. Если я за решением этого вопроса вздумаю также обратиться к гигиене, то, разумеется, она не ответит мне ровно ничего. Вопрос о сравнительном достоинстве различных пейзажистов никогда и ни при каких условиях не может войти ни в физиологию, ни в гигиену, и если только вы дадите себе труд вглядеться

и вдуматься в этот вопрос, имеющий, конечно, очень важное значение для эстетики, то вы, разумеется, увидите, что этот вопрос в высокой степени бесплоден. Все, что гигиена может сказать о картинах или о статуях, ограничится тем, что эротические изображения могут расстроить здоровье и что, следовательно, повесить в кабинете пейзажи благоразумнее, чем разукрасить его мифологическими картинами или статуями. Если вы послушаетесь этого последнего совета, то затем как для вас, так и для всего света решительно все равно, кого бы вы ни предпочли, знаменитейшего ли пейзажиста во всей Европе или же такого живописца, который пишет вывески. Таким образом, на вопрос г. Антоновича: «что же делать, по разрушении эстетики, с теми сюжетами, которыми она занимается?» — я отвечаю очень просто: большую часть этих сюжетов надо оставить без всякого внимания. Мы собственно только затем и стараемся доконать эстетику, чтобы сосредоточить внимание и умственные силы общества на самом незначительном числе жгучих и неотразимых вопросов первостепенной важности.

VII

Один из аргументов, заимствованных мною против эстетики у г. Чернышевского, состоит в том, что личные вкусы в деле красоты бесконечно разнообразны, что все они одинаково законны и что их невозможно и не следует приводить к обязательному единству. Г. Антонович находит в этом мнении три нелепости.

Первую нелепость г. Антонович видит в той мысли, будто общая эстетика невозможна на том основании, что у каждого человека свой личный вкус и своя эстетика. Г. Антонович разбивает эту *первую нелепость* следующими аргументами: физиология возможна, хотя у каждого человека свои особенные органы; логика возможна, хотя у каждого человека свои особенные приемы мышления; общеобязательная правда существует, хотя для одного правда или ложь одно, для другого — другое и т. д. Постараюсь опровергнуть аргументацию г. Антоновича. Во-первых, насчет физиологии замечу моему противнику, что она возможна потому, что между отдельными субъектами существует в физиологическом отношении только количественное, а не качественное различие. Один человек поглощает больше кислорода, другой — меньше, но все без исключения дышат кислородом, а не углекислотою и не водородом; у одного человека в крови больше железа, у другого — меньше, но у всех без исключения в крови содержится именно железо, а не медь и не свинец; таким образом и все остальные физиологические различия сводятся на количественные различия; а при количественных различиях, конечно, возможны средние цифры, которые и выражают в глазах физиолога отправления нормального человека. В том случае, где являются качественные

различия, именно при рассмотрении половых особенностей, физиология принуждена раздваиваться; отправления женских органов рассматриваются отдельно от отправлений мужских органов, хотя, конечно, пищеварение, дыхание и кровообращение, представляя у обоих полов только количественные различия, рассматриваются вместе. Если бы все физиологические отправления всех отдельных личностей отличались друг от друга качественным образом, то, разумеется, общая физиология человека была бы невозможна, по той простой причине, что эти отдельные личности вовсе не принадлежали бы тогда не только к одной и той же породе, но даже к одному и тому же органическому царству. Кроме того, физиология имеет превосходный критерий для различения нормальных особенностей от уродств, или *тератологических* особенностей. Такая особенность, которая содействует отправлениям, необходимым для поддержания жизни, — нормальна; такая, которая ослабляет эти отправления, — уродлива. Этого критерия эстетика не имеет во всех тех случаях, которые не могут никогда поступить в ведение физиологии и гигиены. Общеобязательная правда и общая логика существуют только до тех пор, пока мы рассуждаем о видимых или осязаемых, вообще вещественных предметах, явлениях и свойствах, — и существуют только потому, что все люди одарены одними и теми же чувствами и что вследствие этого всегда возможна поверка, посредством которой обнаруживается неверность утверждения или неправильность умозаключения. Вы говорите например, что наш общий знакомый Иванов хромает на левую ногу; я говорю, что — на правую; каждый из нас твердо убежден, что его мнение истинно, но, разумеется, это убеждение может продолжаться только до тех пор, пока мы не увидим Иванова; тогда произойдет поверка, и один из нас увидит свое заблуждение. Почти такая же поверка возможна и относительно рассуждений: представьте себе например, что вы приехали в какой-нибудь город и что вас в этом городе тотчас же обокрали. Вы говорите, что этот город населен сплошь разбойниками и мошенниками. Всякий здравомыслящий человек скажет вам, что нельзя заключать от частного к общему, и представит вам образчик такого рассуждения: мой приятель ранен в ногу; мой приятель — человек: следовательно, все люди ранены в ногу. Вы увидите тотчас, во-первых, что в результате получилась нелепость, а во-вторых, что эта нелепость добыта тем самым способом рассуждения, который привел вас к поголовному обвинению всех жителей города. Но в тех вопросах, где поверка невозможна, там нет ни общеобязательной правды, ни общей логики. Представьте себе например, что католик Дюпанлу, деист Шлейден и материалист Бюхнер беседуют между собою о том, что с ними произойдет, когда они скончаются. Все трое приходят к совершенно различным результатам, и ни один из троих не может убедить своих противников; общая логика теряет свою силу, и общеобязательная правда

перестает существовать, потому что поверка становится невозможною. Общеобязательная правда и общая логика возможны, во-первых, потому, что мы все живем в одном и том же мире; а во-вторых, потому, что мы все одарены одними и теми же чувствами, приводящими нас в соприкосновение с окружающим миром. Когда соблюдены эти два условия — один мир и одни чувства, тогда общеобязательная правда и общая логика становятся не только возможными, но даже и неизбежными. В отношении к общеобязательной правде вся разница между отдельными личностями может состоять только в том, что один дойдет до этой правды собственными силами, другому помогут к ней прийти, а третьего приведут к ней насильно, то есть ему покажут правду, несмотря на его нежелание видеть ее. Но эти два условия — один мир и одни чувства, — достаточные для существования общеобязательной истины и общей логики, далеко не достаточны для основания общей эстетики, то есть для приведения личных вкусов к обязательному единству. Вкус есть сложный продукт темперамента, воспитания, общественного положения, образа жизни, общих исторических и климатических условий и многих других элементов, степень участия которых в общем результате указать и определить не только трудно, но даже невозможно. На основании этих соображений я полагаю, что общая эстетика вовсе не может быть поставлена на одну доску с общею физиологиею, общею логикою и общеобязательною истиною и что возможность последних ровно ничего не доказывает в пользу возможности первой. Общая эстетика не только не может существовать в будущем, но она даже никогда не существовала в прошедшем. То, что выдается или выдавалось за эстетику, относится к общему вкусу, то есть к бесконечному разнообразию личных вкусов, так точно, как относится к этому же разнообразию господствующая мода. Можно сказать наверное, что из десяти человек, надевающих в первый раз новомодный костюм, девять равнодушны к особенностям его цвета и покроя, а десятый находит этот цвет и покрой смешными или неудобными. И между тем все носят, и каждый, нося новое платье, становится частицею того громадного пресса, который насильно втискивает в новую моду отдельные личности, в том числе и его самого. Точно то же самое можно сказать и обо всяком так называемом господствующем вкусе, а следовательно, и обо всякой эстетике, излагающей общие формулы этого вкуса.

Вторую нелепость г. Антонович видит в мысли, что прекрасное не имеет самостоятельного значения, независимого от личных вкусов. Разбивает он эту нелепость тем аргументом, что есть звуки, приятные или неприятные для всякого слуха. Я могу представить против этого аргумента два возражения. *Первое.* Физика и физиология доказывают конечно, что некоторые звуки или сочетания звуков производят непременно в каждом человеческом ухе резкое и раздражающее потрясение, которое всего лучше

можно выразить французским словом tiraillement.* Но физика и физиология поступили бы чересчур смело, если бы решились сказать, что эти tiraillements абсолютно-неприятны для всех людей или, другими словами, что ни один человек в мире не может извлекать себе из этих tiraillements никакого наслаждения. Если бы физика и физиология отваживались на такие скороспелые заключения, то существующие человеческие вкусы очень часто уличали бы их в ошибках. Так, например, физиология, основываясь на многих наблюдениях, могла бы сказать, что горечь антипатична человеческому организму; но если бы физиология вздумала вывести из этих наблюдений общий закон, то закон этот оказался бы несостоятельным, потому что многие люди с большим удовольствием пьют очень горький напиток, именно портер. Зная хорошо устройство и отправление человеческих легких, физиолог, повидимому, имел бы полное право утверждать, что вдыхать дым горящей травы совершенно несвойственно человеку и что такое вдыхание должно составлять для человека настоящую пытку, а между тем очень многие люди подвергают себя этой пытке не только добровольно, но даже с особенною страстью, потому что вдыхаемый дым действует особенным образом на нервную систему. Резкие и нестройные звуки, быстро следующие один за другим, сливаясь и смешиваясь между собою, могут также привести нервную систему в особенное, возбужденное состояние, которое многим людям может казаться приятным. Почти у всех диких народов есть своя музыка, невыносимая для европейского слуха, но доставляющая этим дикарям очень много удовольствия. По всей вероятности, резкие и нестройные звуки приятны дикарям именно потому, что эти звуки ошеломляют, опьяняют их и помогают им таким образом предаваться бешеному веселью и оргиастической пляске. Как бы то ни было, во всяком случае мнение г. Антоновича, что некоторые диссонансы отвратительны для всякого слуха, в высшей степени произвольно и доказывает только крайне слабое знакомство г. Антоновича с хорошими характеристиками диких народов.

Второе возражение еще серьезнее первого. Г. Антонович сам замечает совершенно справедливо, что различие между аккордом и диссонансом имеет физическое и физиологическое основание; физика изучает законы происхождения и распространения звука; физиология изучает устройство нашего слухового аппарата; физика и физиология общими силами решают вопрос о том, какие звуки и какие сочетания звуков должны казаться нам стройными или нестройными. Но если этот вопрос решен физикою и физиологиею, то с какой же стати его должна перерешать эстетика? Если бы эстетика вздумала противоречить физике и физиологии, то кто же бы ей поверил? А если она подтвердит решение физики и физиологии, то кто же нуждается в ее конфирмации? На самом

* Дергание, судороги *(франц.)*. — *Ред.*

же деле эстетика не думает ни опровергать, ни подтверждать решения физики и физиологии; она просто берет эти решения, как готовый фундамент, на котором и старается утвердить свои дальнейшие построения. Таким образом, г. Антонович, желая доказать возможность и необходимость эстетики, приводит в пример такие истины, которые относятся к области физики и физиологии, точно будто бы у нас шла речь о том, чтобы выкинуть из физики учение о звуке, а из физиологии — учение о слухе. Я говорю, что прекрасное не имеет самостоятельного значения, независимого от личных вкусов. Г. Антонович ссылается на различие, существующее между аккордом и диссонансом; но ведь эстетика старается не о том, чтобы установить это различие, которое уже давно установлено положительными науками; эстетика старается установить твердые правила, на основании которых можно было бы производить оценку художественных произведений, в том числе и музыкальных. Эстетика имеет дело не с аккордами и с диссонансами, а с музыкальными произведениями, которые все составлены из аккордов и которые, несмотря на то, в глазах музыкального критика имеют бесконечно различное достоинство. *Ванька-Танька* составлена из аккордов, и соната Бетховена также составлена из аккордов, а между тем музыкальные критики находят, что соната лучше *Ваньки-Таньки*. Чтобы опровергнуть мой тезис об относительном значении прекрасного, г. Антонович должен был доказать например, что этот приговор музыкальных критиков совершенно независим от личных вкусов. Но этого он не доказал и никогда не докажет, потому что этого и доказать невозможно. Очень многие люди наслаждаются *Ванькой-Танькой* и вовсе не наслаждаются сонатами Бетховена; вы скажете им, что у них не развит музыкальный вкус, — многие согласятся с вами, но многие согласятся и с нами, и вопрос останется неразрешенным и неразрешимым, так точно, как, например, вопрос о том, какое вино вкуснее — сладкий мускат-люнель или старый херес. Цель всякого наслаждения состоит в том, чтобы освежить и обновить рабочую силу человека; все наслаждения, которые ведут к этой цели, не вредя ни самому наслаждающемуся субъекту, ни окружающим людям, одинаково законны и совершенно равны между собою. Если же вы мне станете говорить о том, что сонаты Бетховена облагороживают, возвышают, развивают человека, и проч., и проч., то я вам посоветую рассказывать эти сказки кому-нибудь другому, а не мне, потому что я этим сказкам ни в каком случае не поверю: каждый из моих читателей знает, наверное, многих искренних меломанов и глубоких знатоков музыки, которые, несмотря на свою любовь к великому искусству и несмотря на свои глубокие знания, остаются все-таки людьми пустыми, дрянными и совершенно ничтожными.

Третью нелепость г. Антонович сам выдумывает и приписывает мне. «Г. Писарев, вслед за Базаровым, — говорит г. Анто-

нович, — представляет себе, будто бы отношение человека к искусству и к прекрасным предметам природы ограничивается только непосредственными чувственными ощущениями, будто и все остальное нравится нам так же и в такой же форме, как нравятся, например, яблоки. Это третья нелепость» (стр. 71⟨—72⟩). Г. Антонович делает тут две ошибки: во-первых, он, употребляя общее выражение *искусство,* ставит поэзию на одну доску с остальными искусствами, которые должны стоять бесконечно ниже поэзии; во-вторых, он ставит *прекрасные предметы природы,* в том числе и прекрасных людей, — прекрасных не только по наружности, но и по умственным качествам, — рядом с картинами, статуями и музыкальными пьесами. Этих двух ошибок я никогда не делал. Поэтому я никогда и не говорил, что люди или замечательные поэтические произведения нравятся нам *так же и в такой же форме,* как нравятся яблоки. Но между наслаждением живописью, скульптурою и музыкою и наслаждением яблоками я действительно не вижу никакого существенного различия, кроме того только, что наслаждение тремя вышеназванными искусствами требует бóльших издержек и бóльших хлопот. Теперь вы, стало быть, г. Антонович, видите, как разлетелась в прах вся ваша аргументация и до какой высокой степени она была нелепа.

VIII

Окончив свое неудачное исследование *о трех нелепостях,* г. Антонович начинает разбирать те места «Разрушения эстетики», которые направлены собственно против него.[47] Г. Антонович выписывает ту фразу, в которой говорится о его умственной нищете и нравственной мелкости. При слове *нравственной,* которое встречается в моей фразе два раза, г. Антонович делает в скобках два замечания; первое: «*даже за нравственность ухватились*», и второе: «*опять нравственность!*» — Я решительно не понимаю, на каком основании г. Антонович считает разговор *о нравственности* неуместным; г. Антонович менее, чем кто-либо другой, имеет право требовать, чтобы литература не касалась вопроса о нравственных понятиях и убеждениях писателя; в той же самой книжке, где помещена статья г. Антоновича, постоянный сотрудник «Современника», г. Посторонний сатирик, разбирает вопрос о том, «может ли бесчестный человек быть честным публицистом и фельетонистом?» Разве, рассуждая о честности, г. Посторонний сатирик не *ухватывается за нравственность?* А когда г. Посторонний сатирик в июньской книжке «Современника» рассуждал о *морали г. Краевского,*[48] разве эти рассуждения не были разговором о *нравственности?* А когда г. Посторонний сатирик вторгался в частную жизнь г. Благосветлова и на основании слухов и сплетен анализировал отношения г. Благосветлова к графу Кушелеву-

Безбородко,[49] отношения, до которых литературе и публике, конечно, нет никакого дела, разве г. Посторонний сатирик имел тогда в виду не *нравственность* г. Благосветлова, а его умственные способности и литературные дарования? И вдруг теперь г. Антонович обнаруживает нетерпение и выражает неудовольствие по тому случаю, что я завожу речь о его *нравственных* убеждениях, о которых я почерпаю сведения не из каких-нибудь слухов, а из его же собственных печатных статей, подписанных его полным именем. Как бы вы, г. Антонович, ни пожимали плечами и какие бы саркастические замечания вы ни вставляли в мою речь, это все-таки не уничтожит и не ослабит того факта, что в ваших рассуждениях об аскетизме и о *некоторых* отрицателях искусства выражается, как я уже заметил в «Разрушении эстетики» (стр. 27), *«школьнический взгляд на долг и на труд»* и что этот взгляд должен навлечь на вас со стороны всякого мыслящего человека совершенно справедливый упрек в умственной нищете и в *нравственной* мелкости.[50] Этот справедливый упрек вы, г. Антонович, вряд ли успеете отразить теми игривыми эпитетами, которые вы мне подносите на стр. 74. Встречая в вашей статье выражения: «недоносок благосветловский, недоразвившееся дитя г. Тургенева, скудоумный г. Писарев», — ваши читатели найдут конечно, что вы далеко превосходите меня в искусстве браниться и что вы с лихвою заплатили мне за *лукошко глубокомыслия;* но упрек в умственной нищете и нравственной мелкости все-таки останется во всей своей силе, потому что можно быть величайшим виртуозом по части крепких выражений и в то же время иметь самый школьнический взгляд на долг и на труд.

«Разбранивши нас, — продолжает г. Антонович, — г. Писарев стал расхваливать себя и г. Зайцева, причисливши себя к тем *некоторым* разрушителям искусства, о которых мы говорили». — Знаете ли вы, г. Антонович, что ваше пламенное желание унизить меня как можно сильнее доводит вас до самых смешных и нелепых крайностей. Вы говорите, что я самовольно причислил себя к тем *некоторым;* этими словами вы хотите выразить, что вы совсем обо мне и не думали, что вы совсем не меня имели в виду, говоря о *некоторых,* что вам до меня и дела никакого нет; и в то же время вы направляете против «Русского слова» третью большую критическую статью, не говоря уже о множестве мелких статей и мимоходных нападений. Если я действительно сам *причислил себя* к некоторым, если, говоря о *некоторых,* вы имели в виду не меня и не моих сотрудников, то, спрашивается, о ком же вы говорили? Ведь вам даже и назвать, кроме нас, будет некого. Если же вы говорили именно о г. Зайцеве и обо мне, то зачем же вы употребляете теперь бессмысленные выражения, зачем вы говорите, что я *причислил себя,* когда я просто понял ваш намек в том единственном смысле, в котором только и можно было его понять? — Искусство полемизировать составляет, конечно, самую легкую и ничтожную

часть литературной деятельности, а между тем вы даже и в этом искусстве до крайности слабы; за неимением солидных аргументов вы ежеминутно прибегаете к натяжкам, которые для всех очевидны, и к изобретениям, которых несостоятельность тотчас может быть доказана. Читая ваши полемические статьи, я обыкновенно нахожусь в недоумении насчет того, чему мне более изумляться: той ли отважности, с которою вы нанизываете одну ложь на другую, или же той наивности, с которою вы сами запутываете, ловите и выдаете себя. Таким образом, ваша *умственная нищета* на каждом шагу состязается с вашею *нравственною мелкостью,* и читателю вашему остается только решить затруднительный вопрос: которому из этих двух нравственных качеств г. Антоновича следует присудить пальму первенства? — Когда читатель уже достаточно ознакомился с этими достоинствами г. Антоновича, то его, разумеется, вовсе не изумляет то обстоятельство, что г. Антонович умышленно принимает иронические слова противника за серьезное выражение мнений и что вследствие такого ребяческого приема он, например, утверждает, будто бы я назвал себя и своих сотрудников людьми помешанными, а в другом месте даже просто глупыми людьми. [51] Конечно, если смотреть на сотрудников «Русского слова» с фамусовской или молчалинской точки зрения, то они окажутся или помешанными, или глупыми людьми; но фамусовская или молчалинская точка зрения, немыслимая для честного литератора, нисколько не пугает г. Антоновича; он готов стать на какую угодно точку зрения и забраться в какое угодно болото, лишь бы только доставить себе ребяческое удовольствие назвать своих противников идиотами или сумасшедшими. Чтобы потешить себя этою мелкою забавою, г. Антонович совершает подвиги истинного самоотвержения: он утрирует свою собственную непонятливость и, доводя ее до самых неправдоподобных размеров, завоевывает себе таким образом право не понимать моих слов или понимать их навыворот и вследствие этого дивиться печатно моему тупоумию. Так, например, на стр. 75 он прикидывается, будто не понимает, зачем и в каком отношении я сравниваю *некоторых* с Архимедом, с горькими пьяницами и игроками; он очень подробно объясняет мне, что Архимеда сравнивать с пьяницами и игроками нельзя, потому что заниматься математикою похвально, а заниматься вином и картами предосудительно. Непонимание г. Антоновича, разумеется, притворно; какую бы крайнюю тупость я ни предположил в г. Антоновиче, все-таки я никак не могу допустить, что он действительно не понял моей мысли. Не понять ее было невозможно, потому что моя мысль выражена подробно, ясно и выразительно даже для ребенка, если только этот ребенок имеет понятие о том, что такое страсть. Ход моей аргументации («Разр⟨ушение⟩ эст⟨етики⟩», стр. 24), [52] клонившейся к тому, чтобы отразить некоторые упреки в аскетизме, располагается следующим образом. Можно ли назвать

аскетом горького пьяницу или игрока? — Нет, нельзя. — Почему? Потому что они вовсе не борются с своими страстями, а, напротив того, отдаются им совершенно безраздельно. — Значит, людей, которые отдаются своим страстям, нельзя назвать аскетами? — Значит, нельзя. — Подходят ли Архимед и Ньютон под разряд таких людей, которых нельзя назвать аскетами? — Подходят. — Почему? — Потому что они занимаются своим делом по страсти, а не по обязанности. — Можно ли исключить из этого же разряда *некоторых* отрицателей искусства? — Можно. — Почему? — Потому что они отрицают по страсти, а не по обязанности. — В каком же отношении похожи друг на друга пьяница, Архимед и *некоторые?* — Мы в них заметили только тот общий отрицательный признак, что все они — *не аскеты,* точно так, как вы, например, в золотой монете, в черной доске, в красном вине и в буланой лошади можете заметить тот общий отрицательный признак, что все они — не белые предметы. И вдруг противник ваш начинает вам доказывать печатно, что буланую лошадь нельзя влить в стакан, что на красном вине нельзя писать мелом, что черную доску нельзя кормить овсом, что золотую монету нельзя запрягать в дрожки и что на основании всех этих обстоятельств нет ни малейшей возможности включать в одну категорию монету, доску, вино и лошадь. Конечно, такие возражения противника должны показаться вам совершенно бессмысленными и нисколько не относящимися к вашему рассуждению. Возражения г. Антоновича, доказывающего мне, что математика и пьянство — две вещи разные и что Архимед был гораздо умнее меня, совершенно так же уместны и основательны, как приведенные возражения о различных свойствах вина, лошади, доски и монеты. Что г. Антонович *притворяется* непонимающим — это очевидно. Но спрашивается, какая цель, какая выгода, какой расчет притворяться так неискусно и неправдоподобно? В чем г. Антоновичу хочется убедить *счастливых читателей* «Современника»? В том ли, что я не понимаю различия между математикою и пьянством, или же в том, что я приписываю себе гениальный ум Архимеда? Если г. Антонович действительно надеется внушить своим читателям такие мысли, то желательно было бы знать, что должны мы думать об уме г. Антоновича? — А если г. Антонович не питает таких несбыточных надежд, то ради чего же он притворяется? Остается предположить, что г. Антонович притворяется совершенно бескорыстно, по той же самой причине, по которой люди, привыкшие лгать, лгут на каждом шагу, даже тогда, когда ложь не может доставить им ни малейшей выгоды, и даже тогда, когда их тотчас же могут уличить и осмеять. Такая ложь становится уже совершенно невинною, но в печати она все-таки неудобна, потому что печать существует совсем не для того, чтобы давать нам возможность предаваться публично нашим странным, хотя бы даже и безвредным, привычкам. Впрочем, всмотревшись внимательно

в 74 и 75 стр. «Лжереалистов», я, наконец, нашел настоящую разгадку той странной полемической тактики, которой придерживается г. Антонович. В своей полемике г. Антонович стремится только к тому, чтобы наговорить противнику как можно больше таких слов, которые г. Антонович считает колкими. Заботясь исключительно о том, чтобы колкостей набралось как можно больше, г. Антонович не обращает никакого внимания на то, что его колкости взаимно истребляют друг друга. Он становится на одну точку зрения — и называет противника дураком;* потом тотчас переходит на другую, диаметрально противоположную точку — и называет противника мошенником; затем он радуется и полагает, что его противник теперь и дурак и мошенник; на самом же деле оказывается, что вторая колкость уничтожила первую и что противник очищен от всякого обвинения, благодаря излишнему усердию г. Антоновича. Г. Антонович думает, что если написать сто раз +*дурак* и сто раз —*дурак* и сложить все это вместе, то получится *двести дураков;* на самом же деле получается чистый нуль, потому что +*дураки* и —*дураки* взаимно уничтожаются. Предаваясь своему неосторожному усердию, г. Антонович на стр. 74 объявляет, что я называю себя и своих сотрудников глупыми и помешанными, а на стр. 75 г. Антонович уже дает мне советы на тот случай, если мне *еще раз придет искушение похвастаться печатно добродетелями.* Какими же добродетелями? Ведь я хвастался глупостью и помешательством: разве это добродетели? — До этих вопросов г. Антоновичу нет никакого дела, его цель достигнута. На одной странице он сказал: видите, сам признается, что глуп и помешан! А на другой странице он говорит: видите, хвастает своими добродетелями. Оказывается таким образом, что я и глуп, и помешан, и хвастун. На самом деле оказывается, конечно, *нуль*, но г. Антонович, очевидно, не знает того алгебраического правила, по которому +дурак и —дурак взаимно уничтожаются. Теперь понятно, для чего г. Антонович сначала притворяется, а потом тотчас сам же и выдает себя; притворяется он для того, чтобы обругать противника с одной стороны, а выдает себя для того, чтобы тотчас же обругать его и с другой стороны; в результате получается тот комический эффект, что клин выгоняется клином, яд убивается ядом, — и противник, к собственному своему удивлению, остается не обруганным.

IX

На стр. 76 над головой моей собираются мрачные тучи. «Если бы вы были умны, — говорит г. Антонович, — понимали реализм и искусство, если бы ваша преданность реализму была разумна, вы бы не уничтожали искусства, а, напротив, поддер-

* Это у г. Антоновича считается колкостью.

живали бы его, но только обращали бы его в свою пользу, старались бы обратить его на служение тем разумным идеям, которые вы неразумно понимаете; вы бы потребовали, чтобы искусство помогало реализму, чтобы и оно с своей стороны и своими путями стремилось к той же цели, какую преследует реализм». — Бедный г. Антонович! Как мне вас жалко! Если бы вы только постигнуть могли, как мне вас жалко и почему мне вас жалко! Вы ли не старались, вы ли не потели, вы ли не рылись в моих статьях за три, за четыре года, вы ли не городили дурака на дураке и слабоумного на скудоумном, и вдруг — что же? — и вдруг один почерк вашего собственного пера опрокидывает все это гордое, все это величественное здание дураков, слабоумных и скудоумных, и вдруг вы сами, ни с того ни с другого, совершенно добровольно признаетесь печатно в том, что я *умен*, что я *понимаю реализм и искусство* и что моя *преданность реализму разумна*. Г. Антонович! Разве вы — Пенелопа? [53] Разве вы ждете к себе супруга, странствующего по неведомым землям? Разве вас беспокоят своими неуместными предложениями докучливые женихи? Объясните же мне пожалуйста, с какой стати вы теперь вдруг распустили тот холст, который вы ткали так долго, так усердно и так старательно, то прикидываясь идиотом, то сочиняя очевидные небылицы? Посмотрим еще раз, какие требования я должен выполнить, чтобы оказаться умным человеком, понимающим реализм и искусство и питающим разумную преданность к реализму: я должен не уничтожать искусство, а, напротив, поддерживать его, но только обращать его в свою пользу, на служение разумным идеям; я должен требовать, чтобы искусство помогало реализму, чтобы оно с своей стороны и своими путями стремилось к той же цели, какую преследует реализм. Короче и яснее: я должен всеми силами превращать искусство в орудие той идеи, которой я служу. Ну, и прекрасно: я всегда поступал именно таким образом. Следовательно... следовательно, новая Пенелопа распустила свой холст. Действительно, я постоянно старался и стараюсь до сих пор превратить искусство в орудие реализма, но только при этом я задавал и задаю себе такой вопрос, который, повидимому, ни разу не приходил в голову г. Антоновичу. Вопрос этот состоит в том, какие отрасли искусства могут и какие не могут превратиться в орудие реализма. Пока мы будем говорить об искусстве вообще, до тех пор этот существенно важный вопрос будет оставаться неразрешимым. Надо брать каждое искусство отдельно, и тогда нетрудно будет убедиться в том, что ни скульптура, ни живопись, ни музыка, ни сценическое искусство не могут сделаться орудиями реализма.— Почему не могут? — Да потому, что издержки и хлопоты, которых требует существование этих искусств, ни при каких условиях и ни при каком направлении художественной деятельности не окупаются тем количеством пользы, которое может быть принесено этими искусствами. *Во-первых*, все эти искусства требуют

такого специального технического приготовления и таких постоянных упражнений, которые поглощают всю жизнь и все силы человека, желающего быть художником. Чтобы быть хорошим скульптором, хорошим живописцем, хорошим музыкантом или хорошим актером, человек продолжительным трудом должен приобрести себе и поддерживать в себе такую сноровку, которая в области его художественной деятельности решительно необходима, а вне этой области так же решительно ни на что не годится. *Во-вторых*, все эти искусства возможны только при существовании многих вспомогательных отраслей промышленности, которые существуют именно только для этих искусств и которые, нисколько не содействуя возвышению общего экономического благосостояния, совершенно справедливо должны быть отнесены к категории убыточного производства. Скульптору нужен мрамор, который кроме скульптора не нужен никому; ему нужны особенные инструменты, которые также делаются для него одного. Живописцу нужны краски и кисти; музыканту нужны музыкальные инструменты. Приготовлением этих инструментов занимаются целые огромные фабрики, которые могли бы производить разные земледельческие и мануфактурные машины. Актеру нужны декорации, костюмы, парики, румяна, белила. Кроме того, скульптору и живописцу нужны натурщики и манекены; актеру нужны суфлеры и хористы, режиссеры и антрепренеры и, наконец, огромные здания, устроенные и поддерживаемые специально для служения его искусству. Сочинителю музыкальных пьес нужны люди, занимающиеся фабрикациею инструментов, игрою на них, пением и проч. Эти два обстоятельства показывают нам, *как велик расход*, необходимый для того, чтобы все эти искусства могли поддерживать свое существование. *Третье* обстоятельство покажет нам, *как мал доход*, который может доставаться на долю реализма, даже при самом разумном направлении всех этих искусств. Самый существенный недостаток живописи и скульптуры состоит, как известно, в том, что они могут изображать только *один момент;* следить за развитием действия, показывать, каким образом последствия вытекают из причин, — это превышает их силы. Этот недостаток отнимает у скульптуры и у живописи всякую возможность действовать живительным образом на общественное сознание. Представьте себе например, что скульптор, проникнутый гуманными стремлениями современного реализма, хочет показать обществу, какое пагубное искажение и вырождение человеческой породы происходит постоянно в тех мастерских, в тех фабриках, в тех темных, душных и сырых квартирах, в которых истощают свои силы, голодают и зябнут европейские работники. Он представляет на выставку несколько тощих, безобразных фигур, с впалою грудью, с мускулатурою неестественно развитою в одних членах и неестественно слабою в других, с тупым и замученным выражением лица, с искривленным позвоночным столбом и с согнутыми ногами.

Под каждою из этих фигур, вылепленных с натуры, он подписывает название того ремесла, которому данный субъект обязан своим уродством. Сделав это, скульптор сделал решительно все, что только мог сделать как искренний приверженец реализма, понимающий глубоко и верно как задачи века, так и специальные средства скульптуры. Но, как вы думаете, произведут ли выставленные фигуры на публику то глубокое и потрясающее впечатление, которое желал произвести честный и умный художник? Можно сказать наверное, что не произведут. Почему? Потому что публике, смотрящей на эти статуи, предоставляется угадывать слишком многое; публика видит только один результат; и этот результат, этот единственный момент, схваченный художником, останется для публики непонятным до тех пор, пока она не воспроизведет своим воображением весь тот длинный ряд трудовых и голодных годов, весь тот бесконечный ряд неестественных усилий и лишений, который наложил свою печать на телосложение и физиономию изображенных субъектов. Цель скульптора была бы достигнута до некоторой степени только в том случае, если бы при выставленных статуях находился умный, сведущий и красноречивый человек, который во все продолжение выставки, по нескольку раз в день, читал бы публике лекцию, подробно объясняющую происхождение и развитие всех изображенных искажений человеческого типа. Такие лекции, конечно, могли бы произвести сильное и благотворное впечатление. Но не трудно понять, что это впечатление было бы произведено лекциями, а не статуями. Разумеется, статуи, придавая словам лектора большую ясность и наглядность, могли бы *немного* увеличить успех лекций и усилить производимое ими впечатление; но если мы сообразим, что это *немногое* покупается ценою таких трудов, на которые уходит вся жизнь очень умного, очень честного и очень даровитого человека, глубоко вдумавшегося в причины общественных бедствий, то мы, конечно, придем к тому убеждению, что игра не стоит свеч и что для реализма было бы несравненно выгоднее, если бы этот умный, честный и даровитый человек служил ему не в качестве превосходного скульптора, а, например, в скромной должности хорошего преподавателя или добросовестного переводчика полезных иностранных книг. Статуи, о которых я говорил выше, могут произвести потрясающее впечатление на такого человека, который сам изучал быт рабочих классов и посвятил все свои силы улучшению их участи. Поставьте перед такими статуями Луи Блана, Лассаля или Прудона, и, разумеется, они оценят их по достоинству и прочувствуют, глядя на них, до глубины души все величие того дела, которому они себя посвятили. Но в том-то и беда, что статуи и картины поражают и волнуют только тех людей, которые уже не нуждаются в этих сильных ощущениях, потому что они и без этих ощущений твердо знают, понимают и помнят все, что честный и умный гражданин должен

помнить, знать и понимать. Человек, еще не затронутый серьезными мыслями и глубокими чувствами, отойдет от картины или от статуи с тем же бедным и ложным взглядом на жизнь, с которым он и подошел к ним. Инициатором или вербовщиком новых адептов не может сделаться ни при каких условиях ни скульптура, ни живопись. Кто способен понимать статуи и картины, носящие на себе печать глубокой мысли, тому эти картины и статуи не говорят ничего нового; а кому их основная мысль еще неизвестна, тому язык картин и статуй останется непонятным. Музыка точно так же, хотя и по другой причине, не может превратиться в орудие реализма. Существенный недостаток музыки заключается в ее неопределенности; музыка выражает различные психические настроения, различные оттенки чувства, различные переходы от одного настроения к другому, различные переливы одного чувства в другое; но выразить определенный взгляд на природу, на человека и на общество, выразить его так, чтобы его основные мысли оказались понятными и убедительными даже для такого человека, который никогда не слыхал о них прежде, — этого, разумеется, никогда не сделает никакая музыка. Правда, что некоторые мелодии, слившись навсегда с словами песни, сделались самою яркою вывескою тех или других политических идей и тенденций. Так, например, напев «Марсельезы» или «Ça ira»[54] до такой степени живо напоминает каждому образованному человеку исторические сцены из первой французской революции, что невольно можно составить себе совершенно ошибочное мнение, будто бы в самом деле звуки этих мелодий имеют действительное сродство с тогдашними идеями. Но ошибочность этого мнения заметить не трудно: звуки выражают здесь только бравурное и восторженное настроение; а так как это настроение способны испытывать и рыцари легитимизма, и защитники папского престола, и национальные гвардейцы Кавеньяка, истреблявшие в июне 1848 года работников во имя священных прав капитала, то, очевидно, на музыку «Марсельезы» можно положить какие угодно слова, лишь бы только они выражали собою воинственный азарт и готовность положить живот за какое ни на есть, правое или неправое, дело. Музыка может растрогать, взволновать, опечалить или развеселить человека, но убедить или переубедить его она даже и не пробует. Так как реализму нужны исключительно люди, проникнутые известными убеждениями, то само собою разумеется, что музыка не может сделать для реализма ровно ничего.

Наконец сценическое искусство не имеет никакого самостоятельного значения. Оно зависит безусловно от поэзии, которая с величайшим удобством может обойтись без его содействия: не драма, а роман составляет важнейшую отрасль современной поэзии. Итак, из всех искусств только одну поэзию стоит и можно превратить в могущественное орудие реализма. Все те соображения, которые говорили против остальных искусств, говорят

сильно и убедительно в пользу поэзии. *Во-первых*, поэту совсем не нужна специальная техническая подготовка. Его подготовка сливается совершенно с тем общим образованием, в котором нуждается каждый человек, желающий приняться за какой бы то ни было общеполезный умственный труд. Поэту нужно знание отечественного языка, знание отечественной и главных европейских литератур, знание окружающей жизни и широкое умственное развитие. Все эти знания необходимы каждому работнику мысли, так что поэту не приходится тратить ни одной минуты времени и ни одной копейки денег собственно на то, чтобы воспитать в себе поэта. *Во-вторых*, поэт своей деятельностью не поддерживает ни одной отрасли убыточного производства. Поэту необходимы бумага, перья, чернила, типографии, переплетные и книжные лавки. Все это существует не для одних поэтов, а для всех грамотных людей, и все это совершенно необходимо для поддержания и распространения грамотности. Значит, *расход* на поэзию ничтожен. Нетрудно доказать, что, *в-третьих*, *доход* с поэзии может быть очень значителен. Нет того миросозерцания, нет того взгляда на общественные отношения, которого нельзя было бы выразить самым убедительным и увлекательным образом в поэтическом произведении. Итак, стараясь превращать поэзию в орудие реализма, я исполнил все требования г. Антоновича и заслужил вполне те косвенные похвалы, которыми так неожиданно осыпает меня мой любезный противник. К сожалению, мой противник, при всей своей любезности, не желает или не умеет выражаться ясно: он говорит постоянно об искусстве вообще, но всякий раз, как ему приходится приводить пример, чтобы доказать влияние искусства на развитие общества, он берет этот пример из истории поэзии; таким образом нет возможности понять, за что именно он сражается, за все ли отрасли искусства или же за одну поэзию. В первом случае ему следовало бы брать свои примеры из истории живописи, скульптуры и музыки, то есть тех искусств, которые особенно сильно заподозрены в бесполезности. Во втором случае защищать искусство очень не трудно, тем более что на него с этой стороны никто и не нападает. Чтобы развернуть свою храбрость и полемическую бойкость в такой легкой и бесполезной борьбе, г. Антонович, по своему обыкновению, сочиняет, будто я старался уничтожить поэзию, и потом победоносно доказывает мне, что уничтожать ее не годится. «Но на вас, — говорит мне г. Антонович — не действуют никакие соображения здравого смысла, никакие исторические и философские доказательства; вы затвердили фразу Базарова: «мы признаем только пользу, мы отрицаем искусство», — и вследствие этого твердите постоянно, что искусство бесполезно, что его нужно уничтожить, что все художники, начиная от Рафаэля и Шекспира и оканчивая Брюлловым, Гете и Гейне, так же ничтожны и бесплодны для человечества, как повара Дюссо и трактирные маркеры» (стр. 77). Любезность

и добродушие моего противника приводят меня в восхищение. Представьте себе, что, упоминая о поварах Дюссо и о трактирных маркерах, он указывает на мой «Нерешенный вопрос», в котором было действительно употреблено сравнение некоторых художников с маркером Тюрей и с поваром Дюссо; представьте себе далее, что он называет трех поэтов, о которых тоже говорилось в «Нерешенном вопросе»; и представьте себе наконец, что именно об этих трех поэтах я говорил с величайшим уважением. Таким образом, всю тираду моего противника я могу опровергнуть одною короткою выпискою из «Нерешенного вопроса». Согласитесь, что мой противник, доставляющий мне над собою такие легкие победы, должен быть человеком в высшей степени любезным и добродушным. Вот что я говорю о Гейне, Гете и Шекспире: «Мы твердо убеждены в том, что каждому человеку, желающему сделаться полезным работником мысли, необходимо широкое и всестороннее образование, в котором Гейне, Гете, Шекспир должны занять свое место наряду с Либихом, Дарвином и Ляйелем» («Русское слово», 1864, ноябрь, стр. 23). [55] Не правда ли, господа читатели, что Либих, Дарвин и Ляйель очень похожи на поваров Дюссо и на трактирных маркеров? Но вам, конечно, угодно знать теперь, чьи же имена были поставлены рядом с именами Дюссо и Тюри? Извольте: «Вследствие этого могут появиться на свет великие люди самых различных сортов: великий Бетховен, великий Рафаэль, великий Канова, великий шахматный игрок Морфи, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря» (стр. 35). [56] Тут взяты представители музыки, живописи и скульптуры, то есть тех самых искусств, которых неизлечимую бесполезность я подробно доказывал в настоящей статье на предыдущих страницах. О поэзии же, как о пригодном и полезном орудии, я говорил с полным уважением как в прошлом году, так и сегодня. А мой любезный противник, не умея защищать живопись, скульптуру и музыку, заблагорассудил взваливать на меня ложное обвинение в поругании Шекспира, Гете и Гейне. Этим маневром мой противник опять, — не помню уже, в который это раз, — обнаружил, с одной стороны, свою неизменную любовь к истине, а с другой стороны, свое замечательное умение полемизировать.

X

Наконец г. Антоновичу удается найти в моих сочинениях настоящую бессмыслицу, которая, впрочем, год тому назад была уже замечена проницательным критиком «Эпохи», г. Николаем Соловьевым, [57] и которой происхождение я могу теперь объяснить самым удовлетворительным образом как гг. Николаю Соловьеву и Антоновичу, так и всей читающей публике. В сентябрьской книжке «Русского слова» за 1864 год, в статье «Нерешенный

вопрос» на стр. 6 напечатаны следующие строки: «У *реалиста* эта потребность (отдохнуть) возникает очень редко, и поэтому он стоит выше обыкновенных людей, то есть может в течение своей жизни сделать больше работы; а всякий согласится, что мы можем мерять умственные силы людей только количеством сделанной ими полезной работы. *Человек вполне реальный* может обходиться без того, что называется личным счастьем; ему нет надобности освежать свои силы любовью женщины, или хорошею музыкою, или смотрением шекспировской драмы, или просто веселым обедом с добрыми друзьями. У него *может быть разве* только одна слабость: хорошая сигара, без которой он не может вполне успешно размышлять». — Нелепость вопиющая! Сигара получила какое-то общее догматическое значение. Сигара превращена в единственную слабость, возможную или позволительную для всех реалистов. Но потрудитесь обратить внимание на те слова, которые написаны курсивом: в них заключается настоящая причина всей бессмыслицы; если вы вместо *реалиста* поставите *Рахметова*, вместо *человек вполне реальный* — *Рахметов* и вместо *может быть разве* — *есть*, то вся нелепость совершенно уничтожится, и вы увидите, что я просто говорю о личных особенностях Рахметова, а совсем не об общих признаках *реалиста* или какого-то *человека вполне реального*. Почему *Рахметов* превратился так некстати в *реалиста* и в *человека вполне реального* — это, я надеюсь, г. Антонович постигнет без моих пояснений. Чтобы помочь его догадливости, я напомню ему только, что вместо *романа «Что делать?»* нам часто приходилось говорить *эпопея о белой Арапии;* когда надо было произнести имя автора — мы говорили *одно лицо*,[58] когда самому г. Антоновичу надо было сказать *Рахметов*, он на стр. 79 своей статьи говорит *Никитушка Ломов*. Если г. Антонович понимает причину всех этих случайных явлений, то он понимает также причину превращения *Рахметова* в *реалиста* и в *человека вполне реального*. Но г. Антонович спросит меня быть может, почему же я не назвал Рахметова Никитушкой Ломовым или почему я не выкинул из моей статьи всей главы, обезображенной и обессмысленной неожиданным превращением? Потому, отвечу я, что я не читаю третьих корректур или так называемых подписных листов. Такая небрежность с моей стороны, конечно, очень предосудительна, но о причинах такой преступной небрежности г. Антонович может навести справки в редакции «Русского слова», а также и у г. Некрасова, которому было объяснено, почему письмо, помещенное в мартовской книжке «Современника», написано моею матерью, а не мною.[59] Когда г. Антонович наведет эти справки, то, по всей вероятности, сочтет себя удовлетворенным. А чтобы показать моим читателям, что первая часть «Нерешенного вопроса» действительно испытала на себе нечто вроде геологического переворота, объясняющего совершенно удовлетворительно всевозможные превращения и уничтожения смысла, я приведу из той

же статьи еще одну фразу, в которой следы геологического переворота совершенно очевидны. «А, кажется, Тургеневу в этом отношении можно поверить, во-первых, потому, что он знал вполне все душевные стремления московских кружков; а во-вторых, потому, что его можно заподозрить скорее в пристрастии к симпатичному Грановскому, чем в преувеличенной нежности к угловатым реалистам нашего времени, что на его поприще никто бы не мог действовать лучше и плодотворнее» (стр. 30). Как вам это нравится? К чему тут очутились слова: «что на его поприще никто не мог действовать лучше и плодотворнее»? А вот видите ли: после слов — «реалистам нашего времени» — стояла точка. После точки следовала целая отдельная и самостоятельная фраза. Эта фраза погибла в геологическом перевороте, а от нее уцелел только один несчастный кончик: «что на его поприще...», который, чувствуя свою сиротскую беспомощность, нашел удобным прислониться к предыдущему периоду. Выписав то место, где *Рахметов* превратился в *человека вполне реального*, г. Антонович старается изобличить все мое тупоумие, и при этом увлекается так сильно, что, сам того не замечая, направляет поток своих известных *колкостей* не на меня, а на Рахметова и, следовательно, на г. Чернышевского. Как прикажете в самом деле понимать следующие излияния? «Если бы этот аскет-реалист не был до крайности глуп, он бы тянул по рюмочке очищенной, потому что она еще более возбуждает, чем хорошая сигара; так же точно, если бы у этого аскета-реалиста была хоть капля здравого смысла, он бы знал, что шекспировские драмы возбуждают мозговую деятельность гораздо лучше и живее, чем сигара, что беседа с друзьями и любовь к женщине могут быть до такой степени полезны и могут наводить человека на такие полезные и дельные мысли, как ни одна самая лучшая гаванская сигара в мире. Потому аскет-реалист, значит, просто глуп, если он для своего умственного возбуждения сигару предпочитает женской любви, шекспировским драмам, обеду с приятелями и музыке». Но тут г. Антонович, повидимому, спохватился, что он бранится и унижает совсем не меня; стараясь поправиться, он напутал еще больше. «А вы небось воображали, — обращается он ко мне, — что вы нарисовали копию с Никитушки Ломова. Но вот видите теперь сами, что вы поняли в нем только одну случайную сигару и возвели ее в принцип, и тем только даете всякому повод смеяться над Ломовым, сущность которого по обыкновению осталась для вас темною». Эпитет *случайная*, приставленный к слову *сигара*, нисколько не поправляет дела. Случайно или не случайно Рахметов предпочитает сигару рюмочке очищенной, музыке, шекспировским драмам, женской любви и обеду с приятелями, все-таки он за это случайное или неслучайное предпочтение принужден принять на свой счет все любезности г. Антоновича, объясняющего ему очень подробно, что он *до крайности глуп*, что у него нет *ни одной капли здравого смысла* и что он,

значит, просто глуп. Я уверен в том, что г. Антонович вовсе не имел в виду произвести такое поругание Рахметова, любимого создания г. Чернышевского; но г. Антонович так непомерно искусен в полемическом деле и при своем искусстве так безгранично усерден в этом деле, что всевозможные ошеломляющие неожиданности бьют фонтаном из-под его быстрого пера, совершенно независимо от его собственного желания. Если г. Антонович полагает, что сигара приписана Рахметову совершенно случайно, то г. Антонович очень плохо понимает мысли г. Чернышевского. Конечно, вместо любви к сигаре могла быть приписана Рахметову любовь к хорошему чаю или к хорошему кофе, но во всяком случае для полной обрисовки этого характера было необходимо приписать ему пристрастие к какому-нибудь чисто физическому, а не умственному наслаждению. Когда Рахметов совершенно здоров, тогда ум его всегда работает сильно и успешно, и мысли его постоянно направлены к тому делу, которое составляет цель его жизни. Для того, чтобы его умственная работа шла как следует, он не нуждается ни в каких вспомогательных средствах; ему нужно только одно условие: полное физическое здоровье; но для того, чтобы быть постоянно совершенно здоровым, свежим и бодрым, каждому человеку необходимо соблюдать известный régime, то есть вести известный образ жизни, соответствующий всем врожденным и благоприобретенным особенностям его организма. Одною из составных частей этого régime, необходимого Рахметову для сохранения полной свежести и бодрости, оказывается хорошая сигара, и эту особенность своего темперамента Рахметов называет слабостью, единственно только потому, что хорошие сигары дорого стоят и что ему не хочется тратить на свою собственную особу ни одной лишней копейки. Но для обыкновенных людей, не обладающих силами рахметовского ума и характера, простое соблюдение известного régime оказывается недостаточным. Эти люди, находясь в самом нормальном и веселом настроении, все-таки часто или даже постоянно нуждаются в том, чтобы другие человеческие умы помогали им думать, помогали им стремиться к известной цели, помогали им любить известный труд. Когда мы без особенной деловой надобности чувствуем потребность поговорить с друзьями, то мы именно ищем в их сочувствии и в их рассуждениях поддержки на том пути, по которому идем и который мы давно уже признали хорошим и разумным путем. Мы хотим, чтобы друзья укрепили нашу решимость и отогнали от нас тяжелое раздумье и мучительные сомнения. Когда мы берем в руки умную книгу не для того, чтобы справиться о каком-нибудь факте, а просто для того, чтобы насладиться приятным чтением, то мы именно обращаемся к автору этой книги с просьбою помочь нам в процессе нашего мышления, обогатить нас новыми идеями, усилить в нас любовь к истине и к общественной пользе, вооружить нас новыми доводами против заблуждения и эксплуатации, словом,

подкрепить, освежить и улучшить нас влиянием своей умной, честной и развитой личности. В таких подкреплениях Рахметов вовсе не нуждается; когда он здоров, он всегда одинаков, то есть всегда одинаково сильно любит свою идею и всегда одинаково ясно видит те препятствия, которые мешают этой идее осуществиться, те пособия, которыми можно воспользоваться для ее осуществления, и ту дорогу, по которой следует идти к этому осуществлению. Вследствие своей постоянной одинаковости он может отдавать все свое время серьезной работе, не отделяя ни одного часа ни на приятное чтение, ни на оживленную беседу с друзьями. Он не зависит ни от окружающих людей, ни от умных книг; он зависит только от своего собственного организма, и эта неизбежная зависимость обозначена очень рельефно в том факте, что он, при всей своей ненависти ко всякой роскоши, принужден курить дорогие сигары для того, чтобы поддерживать в себе хорошее настроение, необходимое для успешной умственной работы. — *Ну вот, видите теперь сами*, г. Антонович, что вы в Никитушке Ломове не поняли даже и сигары; а что касается до его сущности, то она и подавно осталась для вас темною; это совершенно очевидно, потому что, если бы она для вас была ясна, вы бы немедленно сообразили, что упрекать противника в ее непонимании — в высшей степени недобросовестно, так как противник на эти упреки не может ответить ровно ничего и ни при каких условиях не может представить печатных доказательств своего понимания.[60] Я ведь сказал, что Рахметов занимается общеполезною работою. Чего же вы от меня еще хотите? Если вам угодно, чтобы я охарактеризовал яснее и обстоятельнее эту работу, то ваше ребяческое требование доказывает как нельзя убедительнее, что вы сами грешите тем непониманием, в котором стараетесь заподозрить вашего противника. Я на вашем месте воздержался бы от подобных требований.

XI

В своей статье «Современная эстетическая теория» г. Антонович утверждал, что «эстетическое наслаждение есть нормальная потребность человеческой природы» и что «невозможно придумать никакого основания, которое могло бы дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности». Я возразил на это в «Разрушении эстетики»,[61] что такое основание придумать нетрудно, и указал на тот общеизвестный факт, что у огромного большинства людей очень нормальная и законная потребность утолять свой голод здоровою пищею удовлетворяется до сих пор очень плохо. Делая это указание, я полагал, что каждый сотрудник «Современника», даже и такой недальновидный, как г. Антонович, поймет мой намек без дальнейших пояснений. Оказывается теперь, что я слишком сильно понадеялся на сооб-

разительность моего противника. Выписав мое возражение, г. Антонович спрашивает у меня, в своем ли я уме и помню ли я начало фразы, когда пишу ее конец. Чтобы доказать мне мое умственное банкротство, он пускается в следующие рассуждения: «Мы говорим, что эта потребность нормальна и естественна, и доказали это на основании данных физики и физиологии. (Можно ли взводить такую напраслину на физиологию?) Вы же говорите, что эта потребность неестественна и позорна и ее нужно разрушить (что такое *разрушить потребность?* это бессмыслица! я говорю только, что эта потребность вздорная, — прихоть). Почему? Потому, отвечаете вы, что производится мало хлеба или пищи вследствие занятия многих рук производством предметов искусства. Что же из этого следует? (Я надеялся, что вы это поймете.) Если это действительно правда (а вы в этом, кажется, сомневаетесь?), то из этого по здравому смыслу следует только то, что нужно увеличить производство хлеба, обратив на него часть рук, прежде занимавшихся производством искусства, а никак не следует, что искусство нужно уничтожить, и еще менее следует, что эстетическая потребность неестественна и позорна» (стр. 80). Каким прекрасным *здравым смыслом* обладает г. Антонович и как блистательна его аргументация! Видите ли, по *здравому смыслу* г. Антоновича следует, что нужно обратить на производство хлеба *часть рук, прежде занимавшихся производством искусства.* Прекрасно! А если окажется, что и после этого обращения хлеба производится слишком мало, тогда что нужно сделать по тому же *здравому смыслу?* — Обратить еще часть рук? А если и тогда количество хлеба окажется недостаточным и если оно будет оставаться недостаточным до тех пор, пока вы не обратите на полезное производство все руки, занимавшиеся изготовлением изящных предметов, тогда что делать? — Обратить все руки? Так или нет? Если *так*, то больше нам ничего и не нужно; вы можете доказывать законность эстетических наслаждений и величие искусства, сколько вам будет угодно; мы не намерены ни мешать, ни возражать вам, лишь бы только на производство изящных предметов не отвлекались те руки, которые необходимы для изготовления предметов первой необходимости. Если же вы скажете *нет*, то потрудитесь произнести это *нет* сознательно, отчетливо и твердо; скажите прямо и откровенно: пускай эта сволочь голодает и зябнет; моя потребность наслаждаться искусством нормальна и законна, и я вовсе не хочу допускать, чтобы люди, удовлетворяющие этой законной и нормальной потребности, отвлекались от своей теперешней работы к изготовлению пищи и платья для разных manants и misérables.* — В сущности, все пишущее филистерство во всем образованном мире рассуждает именно таким образом, но только никто не осмеливается высказать свою мысль откровенно и ясно.

---

* Мужики и бедняки *(франц.)*. — *Ред.*

Если вы не можете отделиться от филистеров по своим идеям, то сумейте же по крайней мере превзойти и удивить их вашею храбростью. «Вы могли бы сказать, — говорит г. Антонович, — что голодному человеку искусство и эстетическое наслаждение не пойдет на ум (но сытым до этого обстоятельства, конечно, нет и не должно быть никакого дела?!); это совершенно верно, это мы сами высказывали множество раз (напрасно! ведь ваши читатели сыты?). Но из этого не следовало бы, что искусство и эстетика подлежат уничтожению, а следовало бы только (о, торжество здравого смысла!), что голодных людей нужно кормить (чем?) и всех вообще обеспечить так (чем и как?), чтобы все могли пользоваться удовольствием, даваемым произведениями искусства». Если бы мне кто-нибудь сказал, что такая пошлость напечатана не в «Эпохе» и не в «Русском вестнике», а в «Современнике», то я бы такому неправдоподобному известию не поверил; но теперь я читаю эту пошлейшую из пошлостей собственными глазами и поневоле верю, что она напечатана действительно в «Современнике». Итак, из того факта, что есть на свете голодные люди, следует *только* — это *только* очаровательно, — что голодных людей нужно кормить и всех вообще обеспечить, а потом, устроив наскоро это легкое и ничтожное дело, тотчас вести всех накормленных и обеспеченных людей в театр и на выставку картин и статуй. Объясните мне, вы, посрамление «Современника», что скрывается в ваших неслыханно-глупых словах: плоское ли филистерское лицемерие или же круглое невежество и самое безнадежное тупоумие? Действительно ли вы думаете, что накормить всех голодных и обеспечить всех вообще самая простая и легкая штука, или же вы только пытаетесь отвести глаза вашим читателям? Впрочем, это в сущности все равно. Кто надеется одурачить других таким топорным враньем, тот совершенно так же глуп, как и тот, кто произносит подобные нелепости, принимая их за основательные рассуждения. Теперь, г. Антонович, мне придется толковать вашим *счастливым читателям* азбучные истины социальной науки, несмотря на то, что вам досталась незаслуженная честь быть сотрудником того журнала, который первый произнес в России разумное слово о социальных вопросах. *Количество* производимого хлеба, мяса, полотна, сукна, платья, мебели и всех других предметов первой необходимости составляет, конечно, очень важный элемент народного богатства; но один этот элемент сам по себе, как бы он ни был силен, все-таки не может упрочить благосостояние народа. Производство может быть достаточно сильно, и, несмотря на то, большинство может все-таки терпеть нужду, если производимые продукты будут распределяться в обществе неравномерно. Неравномерное распределение продуктов неизбежно ведет за собою, из года в год, ослабление производства; вследствие этого положение большинства с каждым годом становится хуже, и это прогрессивное ухудшение продолжается до тех пор, пока положение боль-

шинства становится, наконец, невыносимым. Тогда начинаются обширные эмиграции, заразительные болезни и периодические конвульсии общественного организма, вызываемые невыносимыми страданиями большинства. Западная Европа дошла именно до такого положения, и лучшие ее мыслители с начала нынешнего века сосредоточили все свои умственные силы на решении того вопроса: каким образом *голодных людей кормить и всех вообще обеспечить?* Одни говорили, что надо устроить такой общественный порядок, при котором каждый производил бы столько, сколько может, а получал бы столько, сколько ему нужно; другие говорили, что каждый должен получать вознаграждение, соразмерное с количеством и качеством сделанной работы; третьи говорили, что надо составить разумную ассоциацию труда, капитала и таланта; четвертые говорили, что только труд и талант имеют право на вознаграждение; пятые говорили, что в деньгах заключается корень всего общественного зла. Все эти мыслители со всеми своими последователями никак не могли до сих пор согласиться между собою в том, какое *положительное* средство надо пустить в ход для решения общественной задачи. Но, радикально расходясь между собою в *положительной* стороне своих доктрин, все они утверждали совершенно единогласно, что существующий *экономический* порядок никуда не годится и не заключает в себе даже никаких задатков самостоятельного обновления. Единогласное отрицание передовых мыслителей, несогласных между собою во всех остальных пунктах, показывает ясно, что существующее положение действительно из рук вон плохо. А крайнее разногласие *положительных* проектов показывает так же ясно, что решить общественную задачу чрезвычайно трудно. До сих пор никто еще не может утверждать наверно, что *теоретическое* решение задачи действительно найдено. Когда это *теоретическое* решение, наконец, найдется, тогда все-таки еще нельзя будет приступить тотчас к кормлению голодных людей, к обеспечению всех вообще и к размещению всех накормленных и обеспеченных людей по театрам и разным другим увеселительно-художественным заведениям. Когда теоретическое решение будет найдено, то надо будет еще в течение многих лет, может быть даже десятков лет, долбить общественное мнение и тревожить общественную совесть до тех пор, пока образованные классы, держащие в своих руках общественный и умственный капитал нации, не будут перевоспитаны новыми идеями и не посвятят все свои силы на то, чтобы осуществить теоретическое решение в действительной жизни. Это перевоспитание пойдет, конечно, чрезвычайно медленно, потому что образованные и достаточные классы, наслаждаясь сытостью и искусством, не только не питают ни малейшей нежности к решению общественной задачи, но даже, напротив того, видят в каждой из подобных новых идей явное и дерзкое посягательство на их благосостояние, то есть на их сытость и на их законные и нормальные эстетические наслаж-

дения. Но успех новых идей в значительной степени ускорится тем обстоятельством, что в ряды образованного общества постоянно прибывают из низших слоев такие люди, которые, проводя свою молодость без сытости и без нормальных и законных эстетических наслаждений, встречают новые идеи с пылким, деятельным и совершенно сознательным сочувствием. Спрашивается теперь: что же должны делать те люди, которые берутся быть руководителями общественного самосознания? Этот вопрос распадается на три вопроса:

1) Что должны они делать, пока теоретическое решение еще не найдено?

2) Что должны они делать, если теоретическое решение уже найдено?

3) Что должны они будут делать, когда теоретическое решение будет осуществлено?

Ответ на первый вопрос. — Всеми силами искать теоретического решения и всеми силами побуждать других людей к тому же самому исканию, то есть изображать яркими красками страдания голодного большинства, вдумываться в причины этих страданий, постоянно обращать внимание общества на экономические и общественные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмеивать все, что отвлекает умственные силы образованных людей от главной задачи. Если в числе отвлекающих предметов оказывается все искусство вообще или некоторые его отрасли, то, разумеется, и оно подлежит этому систематическому отрицанию, оплевыванию и осмеиванию. Если же умные и честные поэты своими трудами сосредоточивают внимание общества на главной задаче, то, разумеется, таких поэтов надо встречать с распростертыми объятиями, как драгоценных и полезнейших союзников. Но читателям своим подобные поэты не доставят ничего, кроме неотразимо-мучительных ощущений, которые окажутся очень плодотворными, но которые не совсем справедливо называть эстетическими наслаждениями. Неужели мы действительно наслаждаемся, когда чувствуем у себя на лбу капли холодного пота, когда у нас на щеках горит яркий румянец стыда или когда мы с бессильным скрежетом зубов оплакиваем кровавыми слезами нашу собственную дрянность, глупость и бесхарактерность?

Ответ на второй вопрос. — Постоянно разъяснять обществу с разных сторон и во всех подробностях основные начала разумной экономической и общественной доктрины, знакомить его таким образом с найденным теоретическим решением и при этом всеми возможными средствами усиливать приток новых людей из низших классов в образованное общество; другими словами, надо вербовать агентов найденного разумного учения и надо увеличивать массу мыслящего пролетариата. Роль поэзии должна в это время состоять, с одной стороны, в ярком изображении невыносимых неудобств существующего экономического хаоса, а с другой стороны, в таком же ярком рисовании того блестящего

будущего, которое приведет за собою найденная разумная организация. Остальные отрасли искусства, продолжающие развлекать общество пустыми забавами, подлежат попрежнему самому строгому осуждению.

Ответ на третий вопрос в наше время невозможен и не имеет для нас ни малейшего интереса, потому что этот *третий вопрос* получит практическое значение не для нас, а разве только для наших внуков и правнуков, которые, конечно, будут гораздо умнее нас и, следовательно, не пойдут искать себе советов в наших забытых и истлевших статьях, романах и ученых исследованиях.

Теперь вы, вероятно, видите, в чем состоит капитальная глупость г. Антоновича. Он перескакивает через первый и через второй вопросы, которые одни только могут иметь для нас практическое значение, — прямо к третьему вопросу, который будет решаться лет через полтораста после нашей смерти. Он с приятною улыбкою рассуждает о том, что надо будет предпринять *после того*, как голодные люди будут накормлены и все вообще обеспечены. Подобные рассуждения, разумеется, позволительны только десятилетней сердобольной девочке, которая знает, что ее мамаша очень богата, а папаша еще богаче и что если только папаша с мамашей захотят, то сию минуту могут всех вообще голодных и неголодных накормить конфектами, обеспечить изюмом и взять с собою в театр, где дается прелестнейшая волшебная оперетка. Если бы г. Антонович в своем понимании общественных вопросов стоял хоть немного выше десятилетней невинности, то для него была бы ясна, как день, та простейшая истина, что для публициста, имеющего в виду интересы большинства, возможен в настоящее время только один вопрос, поглощающий все остальные: *как* накормить голодных людей? *как* обеспечить всех вообще? — А г. Антонович эти вопросы почислил решенными, всех накормил, всех осчастливил, всех обеспечил и боится только того, что мои грубые, антиэстетические статьи помешают облагодетельствованному человечеству наслаждаться чудесами искусства. Я не буду спрашивать у г. Антоновича, был ли он в своем уме, когда писал свое уморительное рассуждение? Это видно, что он был в *своем* уме; оттого-то именно он и произвел на свет такую неправдоподобную пошлость. Il n'en fait jamais d'autres.*

XII

«Ваш ответ, — говорит мне г. Антонович (на стр. 81), — не имеет определенного смысла, а просто есть фраза, сказанная наобум. Ужели в самом деле оттого мало производится хлеба, что много рук занято производством предметов искусства?»

---

* Он никогда не делает иного *(франц.)*. — *Ред.*

Так как я в своем возражении упомянул только о *рабочих руках*, то г. Антоновичу все дело представляется в том виде, что я желаю всевозможных художников пристроить к сохе. Если мы предположим, что в России тысяч двадцать различных художников, и если мы всех этих художников превратим в хлебопашцев, то, разумеется, приращение в общем итоге добываемого хлеба будет совершенно нечувствительно. Г. Антонович силами собственного своего ума никак не может сообразить, что, кроме *рабочих рук*, на развитие производства имеют еще самое значительное влияние *рабочие мозги*. Присоедините к общей массе производителей в такой обширной стране, как Россия, сорок тысяч рабочих рук, и вы не получите никакого заметного улучшения в материальном и умственном существовании большинства; но пристройте к полезному делу двадцать тысяч мозгов, — и улучшение получится очень значительное. Кто ж вам велит превращать художников и любителей искусства в простых земледельцев? Во-первых, это превращение невозможно, потому что люди, привыкшие к некоторым удобствам жизни и совершенно не знакомые с чисто физическим трудом, ни за что не пойдут в хлебопашцы. Во-вторых, это превращение вовсе не желательно, потому что от своих образованных членов общество должно требовать не механического, а умственного труда. Общество нуждается в машинистах, в химиках, в учителях, в профессорах, в публицистах, в переводчиках. Замечательный профессор, никогда в жизни не прикоснувшийся к сохе, обогащает, однако, свое отечество целыми тысячами четвертей хлеба, потому что своим влиянием возбуждает и поддерживает любовь к честному и полезному труду во многих сотнях своих молодых слушателей. Бесполезные отрасли искусства подрывают не чисто физический труд, обращенный на добывание пищи, а тот умственный труд, который мог бы и должен был бы действовать оплодотворяющим образом на развитие производства. Кроме того, бесполезные отрасли искусства вредны тем, что они делают праздность сносною и приятною для таких людей, для которых голая праздность и грубая роскошь, не облагороженная печатью изящества, превратились бы очень скоро в невыносимое мучение. «Вообразите себе, — говорит г. Антонович на той же странице, — что человек, наслаждающийся произведением искусства, сам для себя производит искусство и сам же для себя производит хлеб и таким образом не заедает чужого хлеба; земледелец в свободное время сделал себе сопелку, балалайку или скрипку и извлекает из них эстетические наслаждения для себя и для своих знакомых. Позорно или нет это наслаждение? следует ли уничтожить это искусство или нет? и, наконец, применяется ли к этому случаю ваше «рассуждение» и не сильно ли оно компрометирует вашу мыслительную способность?» — Охота вам, г. Антонович, говорить такие бесполезности! Мы с вами для кого пишем: для земледельцев, сделавших себе сопелку, или для джентльменов, абонирован-

ных в итальянской опере и выписывающих себе на чужие деньги тысячные рояли? Если вы признаете законность сопелки, сделанной в свободное время самим меломаном, то вы и должны стараться о том, чтобы привести ваших читателей к этой сопелке, которая, конечно, безобиднее тысячных роялей, купленных на чужие деньги. Но так как с эстетической точки зрения сопелка стоит ниже рояля и оперы, то есть ублажает слух меломана менее приятными и разнообразными звуками и аккордами, то вы должны непременно заменить эстетическую точку зрения — экономической, если только желаете действительно поворотить ваших читателей к той сопелке, которой неприкосновенность вы стараетесь отстоять. Кроме того, я вам замечу, что вы совершенно напрасно считаете вашу сопелку вполне неприкосновенною. Вы говорите, что земледелец сделал ее *в свободное время* и извлекает из нее эстетические наслаждения также *в свободное время*. Употребляя свое свободное время на сопелку, земледелец, конечно, не заедает чужого хлеба, но зато он несомненно отнимает у самого себя некоторые материальные удобства и некоторые высшие и особенно плодотворные умственные наслаждения. Предположите, что один земледелец гудит в свою сопелку, а другой в это самое время учится грамоте, а третий, выучившись грамоте, учит ей своих детей, а четвертый, также выучившись грамоте, читает популярный трактат о болезнях лошадей и рогатого скота, а пятый, также выучившись грамоте, читает газеты. Кто из этих земледельцев употребляет свое свободное время более разумным и полезным для себя образом: первый ли, предающийся своей сопелке, или остальные четверо, превращающие понемногу себя и своих детей в мыслящих членов цивилизованного общества? И о чем должен заботиться настоящий друг народа: о том ли, чтобы распространять между земледельцами вкус к сопелкам, или о том, чтобы распространять между ними охоту к чтению книг и газет? Вы мне скажете, что лучше сопелка, чем «Московские ведомости». О, разумеется! Но я говорю вам не о дурных книгах и газетах, а о хороших. Вы мне скажете далее, что лучше сопелка, чем кабак. Я опять-таки скажу вам: разумеется! но я доказываю вам совсем не то, что нет на свете ничего хуже сопелки, а только то, что есть очень много вещей лучше ее и что если она отвлекает человека от этих лучших вещей, то становится очевидным злом. Вы мне скажете наконец, что чтение — не отдых, потому что все-таки требует некоторого напряжения умственных способностей. Для нас с вами, отвечу я, чтение действительно не отдых, потому что мы с вами чувствуем потребность отдохнуть именно от слишком продолжительного чтения или писания. Но для того, кто утомлен паханием или молотьбою, чтение составляет превосходный отдых точно так, как для нас с вами может служить превосходным отдыхом копание грядок или пиление дров. Если вы имеете хоть слабое понятие об идеях Фурье, то вы должны знать, что человека

утомляет не работа сама по себе, а только продолжительность и однообразие работы, и что вследствие этого, переходя во-время от одного занятия к другому, человек может работать беспрерывно, с утра до ночи, не только без утомления, но даже с величайшим удовольствием и увлечением. — Вы спрашиваете у меня: позорно или нет наслаждение сопелкою? — Я скажу вам, что ваш вопрос не имеет определенного смысла. Что такое *позорно?* Зачем употреблять такие звонкие, напыщенные и неясные выражения, в которых высказывается только субъективное мнение говорящего лица, а не объективное свойство рассматриваемого предмета? Если бы вы у меня спросили, полезно ли, разумно ли, выгодно ли это наслаждение, то я вам ответил бы, что можно найти много наслаждений выгоднее, полезнее и разумнее. Если земледелец будет употреблять все свое свободное время на сопелку, то это будет очень печально как для земледельца, так и для общества; если он будет употреблять на сопелку значительную часть своего свободного времени, то и это будет вовсе не хорошо; чем меньшую долю времени он отдаст сопелке и чем бо́льшую долю он посвятит какой-нибудь ручной работе или чтению, тем прочнее будет его материальное благосостояние, тем шире умственное развитие и тем полезнее он будет для общества как работник, как гражданин и как отец семейства. Вы видите таким образом, что против вашей сопелки повторяются в малых размерах все те возражения, которые можно сделать против оперы и роялей.

Вы спрашиваете далее: «следует ли уничтожить его искусство?» То есть как же это *уничтожить?* Вырывать у него сопелку из рук или запрещать ему статьею закона эстетические наслаждения — конечно, не следует. Но знакомить как земледельца, так и образованное общество с такими наслаждениями, которые выше, разумнее и плодотворнее чистого искусства во всех его проявлениях, начиная от сопелки и кончая операми Рихарда Вагнера, — конечно, следует. И если эти высшие, разумные и плодотворные наслаждения совершенно вытеснят все проявления чистого искусства, то, разумеется, этому можно будет только радоваться. «Есть множество эстетических предметов, — говорит далее г. Антонович, — производство которых ничего не стоит; такова, например, вся природа — высшее и прекраснейшее из всех искусств; ею можно любоваться даром и в свободное время, без всякого малейшего ущерба для производства хлеба». Что за наслаждение красотами природы мы никому не платим денег — это великая истина; но что на созерцание этих красот тратится время — это также не может подлежать сомнению; стало быть, говорить, что эти наслаждения достаются нам даром, — значит упускать из виду тот общеизвестный факт, что для рабочего человека время — деньги. Выражение *свободное время* до такой степени эластично, что ему нельзя придать никакого определенного смысла. У неаполитанского лаццарони весь день состоит из *свободного времени*,

а у американского фермера нет ни одной минуты *свободного времени;* первый ничем не умеет наполнить свои бесконечные досуги; второй извлекает себе пользу из каждой минуты; лаццарони, конечно, больше американца наслаждается красотами природы, потому что dolce far niente* есть не что иное, как созерцательная жизнь на лоне прекрасной природы. Спрашивается теперь, к которому из этих двух противоположных полюсов мы должны, по мере наших сил, направлять живые силы нашего народа? Чего должны мы желать: чтобы наш народ фантазировал, как лаццарони, или же чтобы он работал, как американец? Я полагаю, что отвечать не трудно. Чем меньше наши соотечественники будут любоваться природою, тем выгоднее это будет для каждого из них порознь и для всех нас вместе. Как бы ни был мал тот minimum времени, которое будет тратиться на созерцание, оно все-таки будет достаточно велико, потому что если бы оно даже превратилось в чистый нуль, то и тогда ни отдельные личности, ни общество не потеряли бы ровно ничего. Впрочем, г. Антонович может быть спокоен; в нуль оно не превратится никогда, и все наши усилия направлены только к тому, чтобы защитить от его неумеренных притязаний ту часть времени, которая непременно должна посвящаться производительному труду. Напоминайте людям только о том, что для них полезно, и будьте твердо уверены, что они сами не забудут того, что для них приятно. Я обращу внимание г. Антоновича на следующие слова Кольки Люлюшина из превосходного романа г. А. Михайлова «Жизнь Шупова»: «Без воображения нельзя существовать, но отстаивать его, воевать и заступаться за него, возвышать его на счет простого здравого смысла — нелепость: сейте хлеб, а васильки будут; мало ли их будет, много ли — это не важно, без них с голоду не умрем». [62] Все, что г. Антонович говорит против меня по вопросу об искусстве, есть не что иное, как отстаивание васильков против хлеба, который, однако, до сих пор совершенно заглушен васильками. Аргумент о созерцании природы не составляет для меня ничего нового; в начале 1862 года, разбирая роман Тургенева «Отцы и дети», я сам решил вопрос о созерцании природы точно так, как решает его теперь г. Антонович. По поводу слов Базарова: «природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник», я говорил тогда вот что: «Работнику надо отдыхать, и отдых не может ограничиться одним тяжелым сном после утомительного труда... Если бы работник находил удовольствие в том, чтобы в свободные часы лежать на спине и глазеть на стены и потолок своей мастерской, то тем более всякий здравомыслящий человек сказал бы ему: глазей, любезный друг, глазей, сколько душе угодно; здоровью твоему это не повредит, а в рабочее время ты глазеть не будешь, чтобы не наделать промахов» («Р⟨усское⟩ сл⟨ово⟩», 1862, март,

* Приятное ничегонеделание *(итал.)*. — *Ред.*

стр. 25).[63] Теперь я считаю это мнение ошибочным и нахожу ошибку в том, что труд противополагается наслаждению. Разумеется, когда труд *утомителен*, то необходимо наслаждение, *отдельное* от труда. Но утомительность труда поддерживается такими ненормальными условиями жизни, с которыми мы вовсе и не должны мириться. Мы сами должны устроить нашу личную жизнь так, чтобы труд и наслаждение сделались синонимами. И кроме того, мы всеми силами должны стараться о том, чтобы к тому же нормальному типу направлялась также и жизнь трудящегося большинства. Как бы то ни было, хотя три года тому назад я и говорил те глупости, которые теперь проповедует г. Антонович, однако того замечательного открытия, что *природа* есть *искусство*, мне сделать не удалось. Такие открытия способны делать только гг. Варнек, Николай Соловьев и Антонович. «Наконец, — продолжает г. Антонович (стр. 82), — любовь между двумя полами есть тоже эстетическое наслаждение, мешающее производству хлеба; этому наслаждению всякий посвящает лучшие годы своей жизни и тратит на него много времени: свидания, разговоры, нежности, объятия, переписка, разные услуги возлюбленной — все это поглощает время, которое с большею пользою можно было бы употребить на производство пищи. По-вашему, это наслаждение тоже позорно, неестественно и подлежит уничтожению, как мешающее производству пищи». — Вы это на каком основании утверждаете, г. Антонович, что, по моему мнению, любовь между двумя полами подлежит уничтожению? В статьях моих нет ни одного такого слова, которое можно было бы истолковать в этом смысле. Если же вы навязываете мне такую мысль, основываясь на том, что я отношусь не совсем благосклонно к эстетическим наслаждениям, то я вас попрошу объяснить мне: признаете ли вы существование каких-нибудь наслаждений, кроме эстетических? — Если признаете, то я вам объясню с своей стороны, что я причисляю любовь между двумя полами к не-эстетическим наслаждениям, потому что ставлю эту любовь неизмеримо выше тех мелких забав, которые называют эстетическими наслаждениями. Если же не признаете, то спор наш становится бесполезным и смешным, потому что превращается в прение о стилистических тонкостях. Я употребляю слова *искусство* и *эстетика* в обыкновенном, общепринятом смысле; вы же, напротив того, упрятали всю *природу* в *искусство* и хотите теперь наводнить *эстетикой* всю человеческую жизнь. Вы делаете с словами *искусство* и *эстетика* точь-в-точь то же самое, что сделал г. Шавров с словами *классицизм* и *реализм*.[64] Если вас забавляют эти стилистические кунстштюки, то не мое дело мешать вашим невинным забавам. Если же вы серьезно думаете обвинить меня в аскетическом взгляде на любовь, то, во-первых, я напомню вам, что не на мне, а на *вас* лежит еще до сих пор упрек именно в аскетическом взгляде на любовь и что этот упрек направлен против

вас именно *мною*, в первой части «Нерешенного вопроса», за ваши бестолковые рассуждения о сцене между умирающим Базаровым и Одинцовою.[65] Мог ли бы я упрекать вас в аскетизме, если бы я сам был аскетом по убеждениям? Во-вторых, я укажу вам на вторую часть «Нерешенного вопроса», в которой подробно разбираются отношения Базарова к Одинцовой.[66] Попробуйте найти в этой части хоть один проблеск аскетизма. В-третьих, я сошлюсь на голос наших филистеров, которые печатно упрекают меня в диаметрально противоположной крайности. Вот, например, с какой стороны персифлируют * меня «Отечественные записки» в статейке, которую они называют *подражанием г. Писареву*: «Засиживаться в вдовах, и особенно женщинам еще не старым, я решительно не советую. В наше время людьми нужно дорожить; рабочие силы на каждом шагу нужны; даже много таких сил нужно; потому уклоняться от чего бы то ни было, что может восполнить этот недостаток, значит, по-моему, зарывать таланты в землю. Я даже молодым людям не советую пренебрегать вдовами, как в статье о Помяловском не советовал пренебрегать кисейными барышнями» («От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩», 1865, сентябрь, книжка 1, стр. 67).[67] Как это правдоподобно, что аскета станут персифлировать таким образом! — Наконец, в-четвертых, можно ли говорить такую нелепость, что любовь мешает производству хлеба? Без сближения двух полов не было бы детей; а если б не было детей, то людям пришлось бы на старости лет умирать с голоду; а если бы сближение полов производилось не по взаимному согласию, без любви, так, как оно производится в Азии, то зависимое и униженное положение женщины повело бы за собою общий застой умственной жизни, который непременно отразился бы самым невыгодным образом на всей экономической деятельности. Весь мой аскетизм сводится к тому, что я говорил и говорю до сих пор, что ни мужчина, ни женщина не должны видеть в любви главную цель и единственный смысл своего существования. Это говорил до меня Белинский; это повторял г. Чернышевский, и против этого не спорит уже теперь никто, кроме отъявленных пошляков.

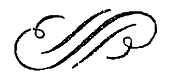
Кстати о пошляках: чтобы покончить с моим остроумным и добросовестным противником, я отвечу еще на два его обвинения. *Первое*. Он говорит, что я ложно обвиняю его в наклонности к теории искусства для искусства. Чтобы доказать ложность моего обвинения, он выписывает из своей статьи «Современная эстетическая теория» целые три страницы разных либерально-добродетельных лоскутков.[68] На все эти выписки я отвечу следующею цитатою, взятою из той же статьи: «Итак, первая задача искусства есть воспроизведение действительности с целью эстетического наслаждения ею, а вторая — уяснение воспроизводимой действительности; с этой второй задачей тесно связана и

* Осмеивают (франц. persiffler). — *Ред.*

третья, по которой искусство может возвышаться до роли критика и судьи воспроизводимых им явлений» (стр. 74). Весь вопрос в том, признает ли г. Антонович самостоятельное существование первой задачи законным и похвальным или нет? Если признает — он сходится вполне с филистерами; если не признает — он сходится с *некоторыми горячими* и *нерассудительными* отрицателями искусства. Но так как, с одной стороны, он сам громко и решительно заявил *некоторым* свое неодобрение; и так как, с другой стороны, филистерство, в лице г. Н. Соловьева и других, уже печатно выразило ему свою признательность, [69] то ему уже не помогут никакие выписки. — *Второе*. Г. Антонович говорит, что я *навязал* ему противоречие с составителем «Внутр⟨еннего⟩ обозр⟨ения⟩» в «Современнике» и что составитель смеется не над искусством, а над какими-то неразумными господами. Это неправда. Г. составитель прямо противополагает *высоким наслаждениям души*, над которыми он смеется, радости нигилиста, мечтающего об устройстве общества женского труда, радости, которым г. составитель вполне сочувствует. [70]

Теперь пора кончить. Я опровергнул, с первого до последнего, все аргументы г. Антоновича и доказал ложность всех фактов, на которых он основывает свои обвинения против *козлов реализма*. Г. Антонович, по всей вероятности, не уймется и в следующих книжках «Современника» пустит в ход новые выдумки и новые нелепости, за которые «Петербургские ведомости», приветствовавшие его по поводу «Лжереалистов», [71] снова провозгласят его победителем над софизмами г. Писарева. Как бы то ни было, раскается ли г. Антонович в своих импровизациях или же окончательно упрочит в «Современнике» господство систематической лжи и филистерской тупости, во всяком случае читатели нашего журнала могут быть спокойны. Я не намерен превращать критический отдел «Р⟨усского⟩ слова» в исследование о печальных пороках г. Антоновича. Ответить ему *один раз* было необходимо, чтобы показать публике размеры его недобросовестности и непонятливости. Но отвечать *всякий раз* было бы недобросовестно в отношении к читателям. Поэтому я обещаю им не говорить печатно с г. Антоновичем ни одного слова в течение целого года. По прошествии же года я снова опровергну все клеветы, которые успеет в это время сочинить против меня мой противник.

ПРИЛОЖЕНИЕ



РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

(Часть журнального текста, не вошедшая в первое издание сочинений Д. И. Писарева)

⟨Окончание главы III:⟩

В чем же состоит цель искусства? Чтобы отвечать на этот вопрос, автор перебирает все различные отрасли искусства, и на этом анализе я считаю не лишним остановиться, * потому что вопрос об искусстве понимается до сих пор совершенно превратно не только нашими филистерами, но даже и теми самолюбивыми посредственностями, которые считают себя учениками автора и преемниками Добролюбова.

⟨Окончание главы V:⟩

В мартовской книжке «Современника» г. Антонович излагает и комментирует по-своему идеи той книги, которую я разбираю в настоящую минуту. Любопытно заметить, что г. Антонович не говорит ни слова о взгляде автора на архитектуру. Приводя из «Эстетических отношений» очень большие выписки, г. Антонович не приводит, однако, того замечательного места, в котором автор ставит архитектуру рядом с ювелирным мастерством и упоминает о 10 000 франков. Это место, проникнутое весьма грубым и непозволительным реализмом, очевидно возмутило изящные чувства г. Антоновича, который в настоящее время старается потихоньку поворотить «Современник» назад, в тихую область сладких звуков и приятных очертаний. Сознавая недостаточность своих собственных сил для произведения такой реакции, г. Антонович желает прикрываться во время своего отступления «Эстетическими отношениями». Он желает доказать, что мысли автора

* На этом оканчивается глава III в первом издании сочинений. См. стр. 423 данного тома. — *Ред.*

«Эстетических отношений» в настоящее время утрируются *«слишком рьяными, но не слишком рациональными последователями»*. Чтобы образумить этих *слишком рьяных* последователей, он хочет затормозить их порывы словами самого автора. Он хочет, чтобы книга «Эстетические отношения» залегла навсегда поперек той дороги, по которой движется русская мысль; он хочет, чтобы эта книга образовала собою ту крайнюю границу, дальше которой не было бы ни проходу, ни проезду. Связать таким образом мысль общества, которое только что начинает пробуждаться, — это, конечно, намерение очень похвальное; но г. Антонович этим намерением не удовлетворяется. Ему хочется непременно, чтобы «Эстетические отношения» сами разрушили то дело, которое они построили. Чтобы исполнить свое желание, г. Антонович берет из этой книги только то, что соответствует изяществу его чувств, и оставляет без внимания все то, что подходит близко к *рьяности* и *нерациональности* таких негодных людей, как, например, автор «Нерешенного вопроса». [1] На основании таких соображений г. Антонович игнорирует сопоставление архитектуры с ювелирным или с модным мастерством, потому что это сопоставление чересчур похоже на ту параллель, которая была проведена в третьей части «Нерешенного вопроса» между великим Моцартом и великим поваром Дюссо, между великим Рафаэлем и великим маркером Тюрею, между скульптурою и слоеными пирожками и так далее. Эти очистительные операции, искажающие смысл всего сочинения, г. Антонович может производить над «Эстетическими отношениями» совершенно безнаказанно, потому что книга — не живой человек. Г. Антонович, как джентльмен ловкий и сообразительный, понимает все выгоды своего положения и эксплуатирует их с величайшею развязностью. [2]

⟨Окончание главы VII; главы VIII и IX:⟩

Все это я говорю в назидание г. Антоновичу, который, понявши «Эстетические отношения» из пятого в десятое, усмотрел в них какую-то энциклопедию науки и жизни, порешившую на вечные времена все вопросы прошедшего, настоящего и будущего. Он старается обуздать «Эстетическими отношениями» *рьяных, но нерациональных последователей*, совершенно не понимая того, что его разногласие с этими *рьяными, но нерациональными последователями* принадлежит к такой сфере понятий, в которой «Эстетические отношения» не имеют права голоса. Причина разногласия заключается именно в том, что *рьяные, но нерациональные последователи* решают вопрос о мыслящем человеке совсем не так, как силится решить его г. Антонович. Причина разногласия таится не в эстетических понятиях, а в основных взглядах на жизнь общества и на задачу современного писателя. Хотя это и очень скучно, однако я принужден сделать из статьи г. Антоновича

«Современная эстетическая теория» несколько больших выписок, для того чтобы показать читателям, как плохо понимает и как неудачно прикладывает он к делу идеи автора, которого он считает своим учителем. «Мы рассмотрели, таким образом, — говорит г. Антонович, — первую задачу искусства — воспроизведение прекрасного, существующего в природе и в жизни. Это воспроизведение делается для наслаждения человека, для того, чтобы ему удобнее было любоваться прекрасным, которое в действительности может быть для него или вовсе недоступно, или не всегда доступно и сподручно. Мы с намерением ударяем на этом значении искусства, потому что в последнее время некоторые, восставая против ложных направлений искусства, в горячности и нерассудительности дошли до того, что стали восставать вообще против искусства и против эстетического наслаждения им. Говорят, будто бы человек не должен предаваться никаким удовольствиям, даже эстетическим; будто бы дельный и рациональный человек никогда не позволит себе наслаждаться каким-нибудь художественным произведением, хотя бы то было произведение высшего искусства поэзии; будто бы такое наслаждение только расслабляет человека и есть напрасная трата времени, которое гораздо лучше было бы употребить на полезные дела и т. д. Такой сухой аскетический взгляд на искусство понятен и возможен только у людей, которые придумывают кодекс человеческих обязанностей не на основании реальных свойств и потребностей человеческой натуры, а на основании произвольных, фантастических воззрений, выработанных мечтательным идеализмом и прилагаемых к человеку. Кто не держится этих воззрений, тому решительно не пристало вооружаться против искусства и эстетического наслаждения, а потому мы и думаем, что приведенные аскетические воззрения на искусство скорее бессознательные и необдуманные выходки, чем сознательные, отчетливые суждения» («Современник», март 1865, стр. 61). О г. Антонович! О гениальный г. Антонович! Вы себе даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете в этой самодовольной тираде против горячности и нерассудительности каких-то *некоторых*. Вы говорите откровенно всем вашим читателям, что вы никогда не способны возвыситься до понимания той нравственной философии, которую два-три года тому назад поддерживал «Современник» и которую в настоящее время должно защищать от вашей жалкой близорукости одно «Русское слово». Ваша умственная слабость и ваша нравственная приземистость выражаются особенно ярко в тех рассуждениях, которые вертятся вокруг слова «*аскетический*». Вы рассуждаете так: уж не аскеты ли эти *некоторые?* А впрочем, нет, вряд ли они аскеты. Ну, так, стало быть, они не могут «*вооружаться против искусства и эстетического наслаждения*», и, стало быть, все их разговоры на эту тему не что иное, как *бессознательные и необдуманные выходки*.

По-вашему, выходит непременно одно из двух: или аскетизм, или бессмысленная болтовня. Никакого третьего решения вы не видите и даже не можете себе представить. Так как я сам принадлежу к числу *некоторых*, то, снисходя к вашей слабости и непонятливости, я объясню вам с достаточною вразумительностью, чем обусловливаются наши понятия об искусстве и какая громадная разница существует между этими понятиями, с одной стороны, и *«сухим аскетическим взглядом»*, с другой стороны.

VIII

Аскетом, если не ошибаюсь, называется такой человек, который, по той или по другой причине, борется с своими страстями и переделывает свою природу по заранее задуманному плану. Из ваших слов, г. Антонович, видно, что вы понимаете слово *аскет* в том же самом смысле. Стало быть, аскетом ни в каком случае нельзя назвать такого человека, который весь поглощен одною преобладающей страстью и который, нисколько не думая о борьбе с самим собою, посвящает удовлетворению этой страсти все свои силы и всю свою жизнь. Конечно, вы не назовете аскетом горького пьяницу, который пропивает все свои деньги и все свое здоровье; конечно, вы не назовете также аскетом отчаянного игрока, который нарушает все свои человеческие обязанности, чтобы доставить себе сильные ощущения азартной игры, и точно так же вы не имеете ни малейшего основания назвать аскетом Архимеда или Ньютона, которые, забывая о всех человеческих наслаждениях, проводили дни и ночи над математическими вычислениями. Архимед и Ньютон и все другие великие ученые исследователи, наверно, никогда не говорили себе, что они *обязаны* посвящать все свои силы науке и человечеству; если бы они приневоливали себя, если бы они действовали по *обязанности*, а не по страсти, то они никогда не сделались бы великими деятелями; потратив большую часть своей энергии на борьбу с инстинктами и страстями собственной природы, они взялись бы за умственную работу слабо и вяло и повели бы эту работу так, как ведут вообще всякую работу люди утомленные. Тайна их величия заключается именно в том, что они работали по той же самой причине, по которой пьяница пьет, а игрок играет. И в Архимеде, и в игроке, и в пьянице одна страсть развилась в ущерб всем остальным страстям и положила свою печать на все поступки, на весь образ мыслей и на всю жизнь данной личности. Нарушение равновесия, которое происходит в Архимедах, ставит их выше уровня обыкновенных людей; а нарушение равновесия, которое происходит в пьяницах и в игроках, ставит их ниже уровня обыкновенных людей; поэтому читателю может показаться очень странным сопоставление Архимеда с игроком и с пьяницею.

Но в этом сопоставлении нет ничего ни странного, ни обидного для Архимеда. Это сопоставление клонится к реабилитации человеческой природы. Оно доказывает, что человек становится полезным и великим тогда, когда он, при благоприятных условиях, усиливает и развивает в себе высшие стремления своей личности, которые, усилившись и развившись сами собою, без ломки и борьбы, одерживают победу и упрочивают за собою перевес над низшими и вредными инстинктами нашей природы. Сопоставление Архимеда с игроком и с пьяницею доказывает, что величайшие подвиги полезного труда так же свойственны человеческой природе, как свойственны ей самые грязные проявления нравственной распущенности. — Если вы, г. Антонович, понимаете теперь, что нет надобности быть аскетом для того, чтобы проводить дни и ночи над математическими вычислениями, то вы, может быть, ухитритесь также понять, что нет надобности быть аскетом для того, чтобы относиться равнодушно к искусству, как к источнику эстетического наслаждения. Те *некоторые*, которых вы упрекаете в горячности и нерассудительности, просто принадлежат к тому разряду явлений, к которому я отнес горьких пьяниц, отчаянных игроков и Архимедов и к которому никак нельзя отнести аскетов. У этих *некоторых*, которые действительно очень горячи и нерассудительны, вся жизнь наполнена стремлением к одной цели, все действия, слова и мысли окрашены одною преобладающей и безотвязной страстью, перед которою бледнеют и исчезают всякие посторонние соображения и всякие побочные интересы. Этим *некоторым* хочется непременно возбудить в людях желание серьезно задуматься над своим настоящим положением. Для чего им этого хочется и какой им от этого будет барыш, — этого я решительно не знаю; что же касается до вас, г. Антонович, то вы, без сомнения, знаете об этом еще меньше моего. Как бы то ни было, однако им этого очень хочется. Они думают, читают, пишут, принимают на себя различные хлопоты и неприятности, и все только для того, чтобы как-нибудь расшевелить умственные способности окружающих людей, направить их внимание на вопросы действительной жизни и указать им на те пути, на которых эта жизнь становится легче и лучше. Какие странные субъекты, какие, можно даже сказать, глупые субъекты! Не правда ли, г. Антонович? Во-первых, кого расшевелить? А во-вторых, им-то что за дело?! Не правда ли, г. Антонович? Предаваясь безраздельно своей глупой страсти, эти глупые *некоторые* ищут и находят в ней одной главные источники своих страданий и своих наслаждений, своих сомнений и своих надежд, своих иллюзий и своих разочарований. Они чувствуют себя счастливыми, когда они видят, что сколько-нибудь подвинулись вперед к своей цели; они злятся и волнуются, когда обстоятельства отбрасывают их назад или заставляют топтаться на одном месте. Они не говорят себе, что они, как добродетельные граждане, *обязаны* чувствовать

себя счастливыми в одном случае и страдать разлитием желчи в другом. Нет, они действительно, без всякой команды, чувствуют себя счастливыми, когда их работа подвигается вперед; и желчь их разливается также действительно и также без всякой команды, когда умственная спячка окружающих людей заявляет свое существование посредством какого-нибудь неожиданно-громкого взрыва храпений. — Вам, г. Антонович, как и всякому другому *рассудительному* и *негорячему* человеку, мои слова покажутся, вероятно, неправдоподобными выдумками, но некоторым из ваших предшественников, хоть бы, например, Добролюбову, эти самые слова показались бы такими известными истинами, о которых не стоит даже и распространяться. Из этого обстоятельства я могу вывести то заключение, что «Современник» за последние два-три года сделал очень значительные успехи в *рассудительности* и что эти драгоценные качества, особенно при вашем содействии, могут развернуться в роскошный цветок умеренности и аккуратности. Впрочем, если мои повествования о *некоторых* покажутся вам чересчур невероятными, то вы можете обратиться за справками и пояснениями к кому-нибудь из оставшихся вокруг вас сотрудников добролюбовского «Современника», хоть бы, например, к г. составителю «Внутреннего обозрения»,[3] и эти ветераны, наверное, объяснят вам, что хотя то явление, которое я описываю, очень неправдоподобно, однако оно действительно встречается в жизни. — Итак, я буду продолжать, не смущаясь вашим весьма естественным недоверием. — Как человек *рассудительный* и *негорячий*, как человек, имеющий сделаться умеренным и аккуратным, как человек, имеющий пойти во всех отношениях по следам того достойного писателя, который говорил о прогрессистах, засиживающих идеи и испрашивающих благословения у Молешотта,[4] — вы, достойнейший г. Антонович, имеете полное и неоспоримое право называть *некоторых* — людьми помешанными или одержимыми. Но, если вы только не желаете ратовать против очевидности, вы непременно должны признать существование двух фактов: во-первых, того, что эти помешанные люди очень последовательны в своем помешательстве, а во-вторых, того, что эти люди совершенно искренни в своем помешательстве, т. е. что они действительно, без всякой искусственной натяжки, любят свою idée fixe * больше всего на свете. Последовательность этих людей достаточно ограждает их от вашего упрека, будто бы их слова не что иное, как *бессознательные и необдуманные выходки*. А искренность этих людей должна убедить вас в том, что название аскетов может быть приложено к этим людям так же справедливо, как, например, к горьким пьяницам, к отчаянным игрокам или к Архимедам. Но вы все-таки не поверите ни мне, ни даже вашим сотрудникам. Вы сами совершенно не способны подвергнуться

---

* Навязчивая идея (*франц.*). — *Ред.*

тому помешательству, о котором я вам рассказываю; вы не способны работать по страсти, — и в этом заключается ваша нравственная мелкость; кроме того, вы не способны понимать эту страсть и в других людях, — и в этом заключается ваша умственная дряхлость. Нельзя же, размышляете вы, целый день все учиться; надо же когда-нибудь и в игрушечки поиграть. И вслед за тем вы начинаете распространяться о том, в какие именно игрушечки должны играть благовоспитанные деточки. И этот школьнический взгляд на долг и на труд вы проводите в том самом журнале, в котором Добролюбов доказывал неутомимо, что для нормального, здорового и развитого человека долг и труд совершенно сливаются с личной выгодою и с личным наслаждением. Ваши рассуждения об аскетическом взгляде и о бессознательных выходках ручаются читающей публике за то, что вы чрезвычайно хорошо поняли идеи ваших учителей и чрезвычайно способны сделаться их преемником. Есть надежда, что вы в скором времени заподозрите в аскетизме того ригориста, которого бурлаки прозвали Никитушкой Ломовым.[5] Развивайтесь дальше, и вы пойдете очень далеко...

IX

На 68 странице *рассудительный* и *негорячий* г. Антонович предается следующим трогательным размышлениям об искусстве: «Из всего этого видно, — говорит он, — что эстетическое наслаждение есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая прекрасными предметами, и невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности». Так вы находите, что невозможно придумать никакого основания? Не горазды же вы придумывать. Послушайте же вы следующее рассуждение и уразумейте из него, что основание придумать даже совсем нетрудно. Утоление голода есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая питательными предметами; и действительно, невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности. Однако, хотя никто не воспрещает и не порицает, эта потребность удовлетворяется у огромного большинства людей чрезвычайно плохо, по той простой причине, что не все могут есть то, что им хочется, и что питательных предметов производится не столько, сколько следовало бы их производить. А производятся питательные предметы в недостаточном количестве потому, что много, слишком много рабочих рук отвлекается на производство тех изящных предметов, которыми удовлетворяются разные эстетические пожелания, которые вы, критик «Современника», преемник Добролюбова и ученик автора «Эсте-

тических отношений», считаете вашею обязанностью принять под свое просвещенное покровительство.

Так как вы сами знаете эту азбучную истину и оставляете ее под спудом именно тогда, когда вы обязаны были ею воспользоваться, то я начинаю догадываться, что ваша голова устроена по общему филистерскому плану, с крепкими и прочными перегородками, [6] которые дают вам полную возможность, подобно господину Incognito, предаваться эстетическим веселостям, забывая о существовании этой истины. «Значит, — продолжаете вы, — искусство, как удовлетворение этой потребности, полезно, если бы оно даже больше ничего и не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим, высшим целям». Значит, Добролюбов, сражавшийся в течение всей своей жизни против искусства для искусства, сражался против полезного явления и, следовательно, принес русскому обществу очень много вреда. Это говорит критик «Современника», и, что всего любопытнее, он говорит это, прикрываясь «Эстетическими отношениями». Знаете ли вы, г. Антонович, какое существенное различие сохранилось до сих пор между вами и г. Николаем Соловьевым? — Только то, милостивый государь, что вы пишете в таком журнале, из которого несравненно сильнее г. Николая Соловьева можете извращать понятия читающей публики; да еще то, что ваша литературная неопрятность дружески пачкает идеи, которые г. Николай Соловьев мог только осыпать издали своею бессмысленною и вследствие этого совершенно невинною бранью. И здесь, г. Антонович, я во второй раз должен отдать вам справедливость, что вы с большим уменьем, с замечательною тонкостью выбираете цитаты из «Эстетических отношений». Являясь панегиристом искусства для искусства, вы весьма тщательно предали забвению то место, в котором автор говорит о «содержании, достойном внимания мыслящего человека». В этом месте, которое я выписал в VI главе этой статьи, [7] автор отрицает наповал искусство для искусства, и вы, находя, конечно, что автор — «ужасный моветон», [8] почтительно игнорируете его *горячее* и *нерассудительное* мнение о том, что искусство чрезвычайно часто бывает пустою забавою. Таким образом, ужасный моветон является у вас в весьма облагороженном виде. «Кроме того, — говорите вы далее, — эстетическое наслаждение полезно и тем, что оно значительно содействует развитию человека, уменьшает его грубость, делает его мягче, впечатлительнее, вообще гуманнее, сдерживает его дикие инстинкты, неестественные порывы, разгоняет мрачные своекорыстные мысли, ослабляет преступные намерения и восстанавливает в человеке тихую гармонию, устраняя диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях и их отношениях; и это очень понятно, потому что искусство удовлетворяет естественной, нормальной потребности, а человек всегда бывает лучше и добрее, когда его натура удовлетворяется

во всех ее нормальных потребностях». О г. Антонович, вы просто превзошли самого себя. Г. Дудышкин и г. Incognito, г. Страхов и г. Косица, г. Аверкиев и г. Николай Соловьев стремятся в ваши объятия. «Хочу целовать, хочу целовать!» — поют они хором и непременно поцелуют вас, тем более что вы, смягченные и разнеженные искусством, т. е. их пением, *сдержите* ваши *неестественные порывы*, *разгоните* ваши *мрачные мысли*, *ослабите* ваши *преступные намерения*, *восстановите* в себе *тихую гармонию*, *устраните диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях*, и, следовательно, не станете отвертываться от филистерских безешек этих людей, в которых, конечно, есть очень много ингредиентов, весьма способных производить диссонансы. По красоте языка и по яркости красок ваша реклама в пользу искусства может найти себе опасного соперника только в объявлении парфюмера Л. Леграна о достоинствах *тонической воды из хинины Легран*. Читайте и сравнивайте. «Составленная из крепительных веществ, — говорит парфюмер Л. Легран, — эта вода уничтожает болезни головной кожи, останавливает падение волос, даже самое сильное, препятствует седине и, с помощью помады тонинного бальзама, возобновляет растение волос на головах, уже давно плешивых». Что касается до меня, то я решительно предпочитаю красноречие парфюмера Леграна, потому что в нем гораздо меньше пустословия и гораздо больше конкретности. Сначала я хотел привести в параллель к вашему панегирику объявление о «превосходной *Revalescière* доктора *Du Barry*», но потом я заметил, что это было бы, с моей стороны, невеликодушно, ибо это объявление совершенно подавило бы вас своими достоинствами. В этом объявлении сказано, что *превосходная Revalescière произвела до 60 000 выздоровлений*. Значит, приведен факт, на котором и построена теория о великих достоинствах *превосходной Revalescière*. А вы, мой *рассудительный и негорячий* мыслитель, — вы какой факт можете привести в подкрепление вашей уморительной импровизации? Не вздумаете ли вы заглянуть в историю? Ах, сделайте одолжение, загляните хоть в историю Нерона, который сам был и музыкантом, и певцом, и актером, и обожателем Гомера. [9] — Вторая великая эпоха процветания для искусства наступила в Италии в XV столетии. Ну, и что же? Вероятно, в тогдашней Италии возвратились чистота нравов, поголовная кротость и всеобщее братолюбие? Да, похоже на то! Все эти и многие другие добродетели воплотились, например, в семействе Борджиа. Это имя, как известно, в своем роде так же выразительно, как имя Нерона. Вот что говорит о всей этой эпохе эстетик Тэн, который обожает искусство, но обожает просто и откровенно, не приписывая ему никаких чудодейственных качеств и не желая состязаться с парфюмером Леграном в сочинении красноречивых реклам. «Стоит только прочитать Челлини, письма Аретино, историков того времени, чтобы увидеть, до какой степени телесна и опасна

была тогдашняя жизнь, каким образом человек сам должен был творить себе суд и расправу, каким образом на него нападали на прогулке и в дороге, каким образом он был принужден постоянно иметь под рукою шпагу и аркебузу и никуда не отлучаться из дому без *giaco* * и кинжала. Знатные особы режут друг друга без затруднений и даже в своих дворцах удерживают грубые нравы простолюдинов. Папа Юлий, рассердившись на Микель-Анджело, однажды отколотил палкой одного прелата, который старался смягчить его гнев». Видите, г. Антонович, как опасно бывает сдерживать *дикие инстинкты* и как плохо досталось бы представителю искусства, если бы он взял на себя ту роль, которую вы ему навязываете. «Всегда, — продолжает Тэн, — когда господствует какое-нибудь искусство, тогда дух современников вмещает в себя его элементы, то есть идеи и чувства, если преобладают поэзия и музыка, или же формы и краски, если царствуют скульптура и живопись. Везде искусство и дух соответствуют друг другу, так что искусство выражает дух и так что дух порождает искусство. Таким образом, в тогдашней Италии совершается возрождение языческих искусств именно потому, что в ней возрождаются языческие нравы. Цезарь Борджиа, взявши какой-то город в Неаполитанском королевстве, оставил себе сорок самых красивых женщин. Приапеи,[10] которые описывает Буркард, камергер папы, чрезвычайно сходны с теми празднествами, которые во времена Катона разыгрывались на римских театрах. Вместе с чувством наготы, вместе с упражнением мускулов, вместе с развитием телесной жизни появляются во второй раз чувство и обожание человеческого образа» («L'Italie et la vie italienne» — «Revue des deux Mondes», janvier 1865, p. 197).** Вот это по крайней мере смело и откровенно. Эстетик не прячется в лицемерную мораль. Он любуется красотою, он радуется процветанию искусства и вовсе не думает скрывать от читателя, что это процветание было вызвано грубостью нравов и, в свою очередь, поддерживало и поощряло эту грубость, возводя ее в перл создания. А у вас, г. Антонович, не хватило храбрости сделаться чистокровным эстетиком, и вы робко и неловко пробуете составить какую-то невозможную амальгаму искусства с утилитарностью и эстетики с примерным благонравием. Точь-в-точь г. Incognito и г. Николай Соловьев! В заключение я вас порадую тем неожиданным для вас известием, что вы с г. составителем «Внутреннего обозрения» взаимно истребляете друг друга. Вы уличаете в *горячности* и *нерассудительности* каких-то *некоторых*, и вдруг оказывается, что один из *некоторых* горячится и безрассудствует рядом с вами, в той самой книжке, в которой вы рекомендуете чистое искусство. Комизм выходит

* Кольчуга *(итал.)*. — *Ред.*

** «Италия и итальянская жизнь» — «Ревю де дё монд», январь 1865, стр. 197. — *Ред.*

поразительный. Ваш сотрудник с лишком на *семи* страницах (164—171) осмеивает *высокие наслаждения души*. «Только люди с неразвитым эстетическим вкусом, — говорит он, например, на стр. 166, — огрубевшие для *высоких наслаждений души*,⟨...⟩ не понимают этих возвышенных потребностей и потому грубо спрашивают: «Куда же деваются деньги», если не видят их употребленными на покупку плугов и молотилок, на постройку хлевов, на перевозку навоза и т. п. Они не знают, что и в тех городах, где нет оперы, ни даже музыкального общества, возможны высшие наслаждения души, которым занятие плугами, молотилками, хлевами и тому подобною грязью может предпочесть только человек с неразвитым вкусом». [11] Ваш сотрудник говорит с ирониею то самое, что вы совершенно серьезно выдаете нашему обществу за «современную эстетическую теорию». Обратите же внимание на вашего сотрудника, наставьте его на путь истины, уличите его в *горячности и нерассудительности* и внушите ему раз навсегда, что *невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать высокие наслаждения души*; объясните ему, что все, упивающиеся концертами и итальянскою оперою, поступают превосходно, потому что они, таким образом, *уменьшают* свою *грубость, делают* себя *мягче, впечатлительнее, вообще гуманнее, сдерживают* свои *дикие инстинкты, неестественные порывы, разгоняют мрачные, своекорыстные мысли, ослабляют преступные намерения и восстанавливают* в себе *тихую гармонию, устраняя* и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом подумайте, куда вы тащите «Современник»?

ПРИМЕЧАНИЯ



РЕАЛИСТЫ

Впервые опубликована без подписи в журнале «Русское слово», кн. 9, 10 и 11 за 1864 г. под названием «Нерешенный вопрос» (в кн. 9 — с подзаголовком «статья первая» — первые девять глав, в кн. 10 — с подзаголовком «статья вторая» — главы X—XXI и в кн. 11 — последние тринадцать глав с подзаголовком «статья третья и последняя» и с особой нумерацией глав). Затем под названием «Реалисты», без разделения на статьи и с общей нумерацией глав, вошла в ч. 2 первого издания сочинений (1866).

Текст статьи в журнале подвергся серьезным цензурным искажениям. Об этом говорит примечание, сопровождающее статью в первом издании сочинений: «Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревым в конце 1864 года, носила заглавие «Реалисты», но почему-то ей дали название «Нерешенный вопрос», под которым она испытала на себе, по словам Писарева, нечто вроде геологического переворота. Наиболее вопиющие изменения восстановлены». *

Основные расхождения между текстом журнала и первого издания, помимо указанных в примечании издателя к первому изданию, сводились к следующему.

В двух случаях в первой главе (стр. 9) вместо выражения: «мы глупы» был дан в журнальном тексте смягченный вариант: «мы мало развиты» (в двух

---

* Это примечание издателя иначе сформулировано в пятом издании т. 4 сочинений Д. И. Писарева в шести томах (1910). Там читаем: «Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревым в конце 1864 года, носила заглавие «Реалисты», но одна из рук, оберегающих отечественную печать, вымарала это жгучее тавро ненавистного для нее направления и заменила его канцелярским вензелем «нерешенного вопроса», желая, вероятно, такой заменой выразить, что по этому делу еще не последовало от кого следует разрешающей резолюции. Любопытно, что, вымарывая скромное заглавие и производя ряд кавалерийских маневрирований на полях авторских мыслей, заботливый пестун уничтожил также посвящение сына матери. Почему так нужно было поступить, неизвестно. Это поистине единственно составляет нерешенный вопрос «Реалистов». Произвольные изменения, насколько было можно, восстановлены самим автором. *Примечание издателя* (Ф. Павленкова) *к изданию 1866 г.*». Однако, как мы видели, текст примечания, напечатанный в первом издании, был иным, менее полным и резким; очевидно, он был смягчен там из опасения цензурных преследований.

других случаях на той же странице слово «глупы» заменено словом «не развиты»). На стр. 11 в предложении: «природа — не храм, а мастерская, — *говорит Базаров*, — и человек в ней работник», вместо слов, набранных здесь курсивом, в журнальном тексте было: «говорит автор романа «Отцы и дети». Еще более существенным было устранение в журнальном тексте упоминания имени Рахметова. Вместо имени Рахметова в тексте журнала фигурировали во второй главе: «человек строго реальный», «человек с реальным направлением», «человек вполне реальный» и т. п. Предложение: «Но в истории бывают такие эпохи, когда враждебные обстоятельства мешают людям стремиться к благополучию и решать задачи, вытекающие из этого стремления» (см. стр. 29), в журнальном тексте было искажено цензурой: «Но в истории бывают такие эпохи, когда стремление к человеческому благополучию и решать задачи, вытекающие из этого стремления, оказывается преждевременно».

Там же в предложении: «Те науки, которые, подобно истории и политической экономии, живут только беспристрастным анализом междучеловеческих отношений, *в эпохи застоя* теряют значительную долю своей занимательности», выделенные курсивом слова в журнальном тексте были заменены словами: «в подобные эпохи». Там же в журнальном тексте отсутствует эпитет *казенные* при упоминании об учебниках истории и политической экономии.

На стр. 30 в отрывке: «А, кажется, Тургеневу в этом отношении можно поверить, во-первых, потому, что он знал вполне все задушевные стремления московских кружков, а во-вторых, потому, что его можно заподозрить скорее в пристрастии к симпатичному Грановскому, чем в преувеличенной нежности к угловатым реалистам нашего времени.

Мне возразят, что на поприще Грановского никто бы не мог действовать лучше и плодотворнее», — выделенное здесь курсивом начало абзаца в журнальном тексте отсутствует, и придаточное предложение нового абзаца оказалось присоединенным к предыдущему абзацу, что обессмыслило весь отрывок (к тому же вместо слов: «на поприще Грановского» в журнальном тексте было: «на его поприще»).

На стр. 124 в предложении: «Таким образом, даже *исторические события* подчиняются до некоторой степени общественному мнению», вместо набранных здесь курсивом слов в журнальном тексте было: «впечатления событий истории».

Таким образом, сличение журнального текста с текстом первого издания, где, по свидетельству Ф. Павленкова, были восстановлены только «наиболее вопиющие изменения», восстановлены «насколько было можно», показывает, что статья при опубликовании в журнале действительно подверглась тяжелым цензурным преследованиям, особенно в первой своей части.

Статья «Реалисты» обратила на себя внимание цензуры и в ходе рассмотрения ч. 2 первого издания сочинений после выхода ее в свет. Цензор Варадинов по этому случаю писал: «Вторая часть сочинений г. Писарева... есть книга положительно вредная, так как в ней разлит тонкий угар атеизма (здесь ссылка на начало статьи «Русский Дон-Кихот». — *Ред.*), проявляющегося, впрочем, в одном месте довольно ощутительно, отвергаются с глумлением все науки, за исключением естественных, извращаются научные понятия,

открыто проповедуется реализм (в статье «Реалисты»), выражается глубокое уважение к «Современнику», осужденному высочайшей властию, но который, по мнению Писарева, «лучший журнал, когда-либо существовавший в России» (см. стр. 132 этого тома. — *Ред.*)... и высказывается задушевное сочувствие к нигилисту Базарову из романа Тургенева «Отцы и дети», Базарову, от которого даже нигилисты отвернулись с ужасом и негодованием» (цит. по статье В. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 147). Негодование цензора вызвало и приведенное выше примечание к статье в первом издании, раскрывавшее ее предшествующую цензурную историю. На основании всего сказанного цензор предлагал конфисковать ч. 2 сочинений Писарева.

В журнальном тексте есть отличия от первого издания и другого происхождения, вызванные полемикой с «Современником». Вместо слов: «фельетонист «Современника» (стр. 38) было сказано более хлестко и зло: «известный герой Егор Козырев, или «душа Тряпичкин», и там же в другом случае вместо: «г. Щедрин» первоначально было: «Егор Козырев, или г. Щедрин». Эти иронические выражения по адресу Щедрина были сняты в первом издании, очевидно, по воле автора, не желавшего в новой обстановке поддерживать старые раздоры.

Остальные расхождения между текстом «Русского слова» и первого издания менее существенны и носят по преимуществу стилистический характер.

Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с исправлением мелких его погрешностей по журнальному тексту. Цитаты из «Отцов и детей» приводятся у Писарева по тексту отдельного издания романа 1862 г.

Статья была написана критиком летом 1864 г. в Петропавловской крепости. Начало статьи было послано петербургским генерал-губернатором князем Суворовым в сенат 20 июля, а окончание — 8 августа (см. М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—П. 1923, стр. 576—577).

Статья «Реалисты» занимает среди других статей Писарева этого времени центральное положение. В ней Писарев подробно охарактеризовал свою общую идейную программу, изложил «теорию реализма» и высказал в связи с этим свои взгляды на литературу и искусство (см. об этом вступительную статью к данн. изд., т. 1, стр. XXXV и сл.).

Эта статья Писарева вызвала многочисленные полемические отклики в критике 1860-х гг. Опубликование «Нерешенного вопроса» обострило полемику «Русского слова» с «Современником», начатую в феврале — марте 1864 г. Уже в первой части своей статьи (в кн. 9 «Русского слова» за 1864 г.) Писарев отрицательно отозвался о статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», опубликованной в «Современнике» в 1862 г. (кн. 3). Он обвинил Антоновича в пристрастном и ошибочном отношении к роману «Отцы и дети» и в непонимании типического характера образа Базарова (об этой статье Антоновича см. прим. к статье «Базаров» в т. 2 данн. изд.). Попутно Писарев допустил резкие выражения в отношении Антоновича. Со стороны Антоновича последовал ряд полемических заметок и статей, направленных против «Нерешенного вопроса» (см. подробнее в примечаниях к статьям «Прогулка по садам российской словесности» и «Посмотрим!»).

В журналах враждебного лагеря «Нерешенный вопрос» Писарева и развитая в нем «теория реализма» подверглись ожесточенным нападкам в ряде статей (статьи Н. Соловьева в «Эпохе», Incognito (Е. Зарина) в «Отечественных записках» и др.). Во всех этих статьях «теория реализма» рассматривалась как самое крайнее выражение материализма и «нигилизма». Этим «критикам» из враждебного лагеря Писарев ответил в полемической статье «Прогулка по садам российской словесности».

Для своей программной статьи Писарев избрал излюбленную им свободную форму изложения. Первую часть статьи он вновь (см. статью «Базаров» в т. 2) посвятил анализу «Отцов и детей», точнее говоря, анализу типа Базарова. Однако этот анализ в данной статье оказывается целиком подчиненным основной задаче характеристики «теории реализма». Поэтому в последней части статьи (гл. XXII—XXXIV) Писарев уже целиком отдается изложению своих мыслей об искусстве и литературе, об общественном назначении науки и о задачах ее популяризации.

Между статьей 1862 г. «Базаров» и «Реалистами» существуют не только существенные различия в общем замысле и затронутом круге вопросов. Изменилась в известном смысле в «Реалистах» и интерпретация романа Тургенева, его центрального образа. Это находится в тесной связи с общей духовной эволюцией Писарева к середине 1860-х гг.

Уже Антонович в своей полемической статье «Промахи» («Современник», 1865, кн. 4) отмечал известную перемену в оценке со стороны Писарева романа «Отцы и дети», в характеристике отношения Тургенева к созданному им образу Базарова. Действительно, в статье «Базаров» критик, давая высокую оценку роману, вместе с тем замечал: «Я этим не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях» (см. данн. изд., т. 2, стр. 7). И далее: «Роман Тургенева... освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям» (там же, стр. 8). Характеризуя отношение автора к своему герою и отмечая, что «Тургеневу пришло в голову выбрать представителем базаровского типа человека неотесанного», Писарев в статье «Базаров», между прочим, говорил: «Справедливость побуждает меня выразить предположение, что автор романа «Отцы и дети» поступил таким образом не без коварного умысла... Дело в том, что Тургенев, очевидно, не благоволит к своему герою» (там же, стр. 14). Эти оговорки относительно субъективного отношения Тургенева к своему герою почти отсутствуют в «Реалистах» (ср., впрочем, в начале гл. XIII указание на то, что изображаемые им явления «Тургенев не всегда рассматривает с надлежащей точки зрения, хотя фактические подробности всегда поразительно верны»). Обвиняя критиков романа в искажении и непонимании образа Базарова, Писарев решительно отводит утверждения о том, что отрицательные черты приданы Базарову самим писателем, и заявляет: «Там (в романе. — *Ред.*) даются голые факты, которые надо только понять» (конец гл. XXI).

Еще более существенны различия в самой характеристике Базарова. Характеристика эта в ранней статье в некоторых отношениях менее деталь-

ная, вместе с тем все же более разносторонняя, чем в «Реалистах», В «Реалистах» Писарев уже не дает в целом характеристики философского мировоззрения тургеневского героя, не затрагивает отношений его к народу и т. д. Зато более детально рассматриваются здесь вопросы об отношении Базарова к представителям «отцов», к Аркадию и особенно об отношении его к женщине. Сосредоточение внимания именно на этих вопросах прямо связано с полемикой вокруг образа Базарова, развернувшейся в журналистике 1862—1864 гг. Статья Писарева направлена в этом случае против реакционных нападок на молодое поколение 1860-х гг., против обвинений в том, что реалисты «сеют рознь между поколениями», «восстанавливают детей против родителей», «проповедуют разврат», «отрицают брак» и т. д. Писарев в ответ на это показывает, что расхождение между «отцами» и «детьми» является следствием исторических обстоятельств, что отношение Базарова к женщине основано на безоговорочном признании ее равноправия. Характерно, что в «Реалистах» Писарев особенно подчеркивает именно трагизм положения Базарова, заключающийся «в его полном уединении среди всех живых людей, которые его окружают» (гл. V), Такое осмысление образа Базарова определялось сложной для демократического движения обстановкой, сложившейся к середине 1860-х гг.

Вместе с тем особенно резко Писарев трактует здесь образ Аркадия, сатирически обнажая в нем типические черты либерального фразера, не способного к подлинному делу,

Характерно, что в «Реалистах» Писарев оставляет в стороне вопрос об отдельных штрихах в образе Базарова, неправильно воспроизводящих особенности «нового типа», представителя демократической молодежи 1860-х гг. (например, реплики Базарова, касающиеся его отношения к будущему мужика, и т. п.). Вместе с тем Писарев дает собственное положительное истолкование тем сценам романа, которые вызвали со стороны Антоновича обвинение в пристрастно недоброжелательном отношении автора романа к демократической молодежи.

Базаров в этой позднейшей интерпретации становится для Писарева типичным представителем нового, реалистического направления, носителем идей «общечеловеческой солидарности» и «экономии умственных сил», Поэтому такое символическое значение получает здесь для критика известный афоризм тургеневского героя: «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник». В отличие от характеристики Базарова в статье 1862 г. здесь особенно подчеркивается значение обращения Базарова к естественнонаучным занятиям, а также находят признание выпады Базарова против «эстетики», его утверждения, что «Рафаэль гроша ломаного не стоит». Характерно, что те черты базаровского ригоризма, которые вызвали в статье 1862 г. критические оговорки, в «Реалистах» рассматриваются уже как закономерное явление. Так, в статье «Базаров» по поводу приведенного афоризма Базарова о природе Писарев замечал, что здесь «отрицание превращается во что-то искусственное и даже перестает быть последовательным» (см. т. 2., стр. 26). Писарев утверждал там право человека на наслаждение красотами природы и отвергал ссылки на то, что «мы живем в такое тяжелое время, в котором еще нечего думать о наслаждении», В «Реалистах», напротив, этот вывод База-

рова получает полное признание, причем Писарев подчеркивает, в соответствии с общей эволюцией своих эстетических взглядов, что постановка вопроса о наслаждении несвоевременна, что все силы мыслящего работника должны быть сосредоточены на «полезном труде», что основной задачей общества является теперь «экономия умственных сил» и — соответственно — максимальное переключение этих сил из области искусства в область естественнонаучных занятий.

Так отразилась в отношении к Базарову общая эволюция взглядов Писарева на задачи общественного развития к середине 1860-х гг. Противоречия в мировоззрении Писарева этого времени определили и недостаточно критическое отношение его к герою тургеневского романа.

Следует отметить, что в статье «Мыслящий пролетариат», опубликованной в «Русском слове» год спустя после «Реалистов», Писарев, сопоставляя образы Базарова и Рахметова и относя их к одному типу, вместе с тем высказывал критические замечания в отношении тургеневского романа. «Базаров, — писал он там, — явился очень ярким представителем нового типа; но у Тургенева, очевидно, не хватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон. Кроме того, Тургенев, по своим летам и по некоторым свойствам своего личного характера, не мог вполне сочувствовать новому типу; в его последний роман вкрались фальшивые ноты». Таким образом эта последняя у Писарева (по времени опубликования) характеристика романа Тургенева и типа Базарова возвращается в известной степени к их общей оценке в статье 1862 г.

Анализ образа Базарова, подчиненный в «Реалистах» общей задаче изложения «теории реализма», несмотря на известные противоречия и черты ограниченности в этой характеристике тургеневского героя, принадлежит к лучшим страницам революционно-демократической критики 1860-х гг. Именно Писарев дал наиболее яркую, верную и волнующую характеристику этого типа, выяснил его историческое значение. С глубоким сочувствием отнесся он к этому образу, подчеркнув его прогрессивную сущность, его моральную силу, его преданность делу демократии. В тургеневском романе Писарев нашел необходимые материалы для характеристики своего направления. Эта высокая оценка Писаревым «Отцов и детей» во многом определила отношение современного ему читателя к роману Тургенева. После статьи Писарева не могли иметь успеха взгляд на тургеневский роман как произведение тенденциозное и истолкование в реакционном духе образа Базарова.

[1] *Мартинизм* — одно из ответвлений масонства. Масонское общество мартинистов было основано в России около 1780 г. Название получило от имени французского мистика Луи Клода Сен-Мартена (1743—1803), автора книги «Заблуждения и истина».

[2] *...мы об этой стороне дела распространяться не будем.* — Нежелание Писарева распространяться по поводу крестьянского вопроса, реформы 1861 г. и прочих действий законодательной власти в области экономической несомненно вызывалось цензурными препятствиями.

[3] См. басню И. А. Крылова «Муха и дорожные».

[4] *Мальчишки* — см. прим. 25 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[5] *«Русский вестник»* — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[6] Речь идет о статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени».

[7] *...лютое животное, подобное тем эгоистам, для которых г. Станицкий рекомендует железные кольца, продетые в ноздри.* — Имеется в виду одно место из романа Н. Станицкого (псевдоним А. Я. Панаевой) «Женская доля», где говорится, что эгоистов могут остановить лишь «железные кольца, продетые в их ноздри: только тогда они бессильны проявить свою зверскую силу над слабыми» («Современник», 1862, кн. 3, стр. 58). В статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» Писарев, цитируя эти строки, бросает редакции «Современника» обвинение в том, что она, публикуя роман Панаевой, отступила от программы Чернышевского, в частности не поняла его учения о «разумном эгоизме».

[8] *«Сын отечества»* — см. прим. 18 к статье «Цветы невинного юмора» (данн. изд., т. 2). — *«Развлечение»* — еженедельный «журнал литературный и юмористический с политипажами», издававшийся Ф. Б. Миллером в Москве с 1859 г. Юмор «Развлечения» не поднимался выше мелочного и безобидного обличения чиновников, купцов и т. д. С середины 1860-х гг. журнал все больше ориентировался на обывательские вкусы.

[9] *Повесть «Женитьба от скуки»*, напечатанная в «Русском слове» за 1863 г. (кн. 7 и 8), принадлежит Г. Е. Благосветлову (псевдоним: Г. Лунин). Герой ее молодой помещик Ничкин — человек, изуродованный воспитанием, способный и восприимчивый, но без определенных стремлений и занятий. Женившись по увлечению на простой девушке, он вскоре начинает тяготиться семейною жизнью, хандрит и опускается. Жена его, добрая и любящая, но неразвитая, не может влиять на него. Наконец наступает явный разлад. В результате — самоубийство Ничкина и сумасшествие его жены Марьи Григорьевны.

[10] *Лукошко российского глубокомыслия* (так в первом издании; в журнале «Русское слово» без определения: «Лукошко глубокомыслия»). Это, брошенное в адрес М. А. Антоновича, хлесткое и оскорбительное полемическое выражение подлило масла в огонь полемики между «Современником» и «Русским словом». Писарев, остановившись позднее в статье «Посмотрим!» на этом эпизоде полемики, признал неуместность избранного им резкого выражения.

[11] *Бездонная бочка Данаид.* — По древнегреческому мифу о Данаидах, дочерях владетеля Ливии Даная, они за умерщвление по уговору отца, которому была предсказана гибель от руки одного из его зятьев, своих женихов были подвергнуты богами наказанию: после своей смерти Данаиды осуждены были постоянно наполнять водой бездонную бочку.

[12] Резкая оценка со стороны Писарева деятельности Т. Н. Грановского и ее значения для общества связана с характерными противоречиями и крайностями его «теории реализма». Эта оценка противостоит, в частности, отношению к Грановскому Н. Г. Чернышевского. Чернышевский в статье «Сочинения Т. Н. Грановского» (1856), говоря о том, что Грановский —

это «человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым», считал, что «он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе». Грановский, по словам Чернышевского, правильно понимал назначение ученого, «был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим обществом», оказывая «влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам» (см. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, М. 1947, стр. 352—353).

[13] *...г. Костомарова застают иногда врасплох... запросы пробуждающейся жизни.* — В начале 1862 г., в связи с закрытием Петербургского университета во время студенческих волнений, в здании Петербургской городской думы студентами были организованы публичные лекции. В них принимал участие ряд прогрессивно настроенных профессоров, в том числе известный историк Н. И. Костомаров. В марте 1862 г. после высылки правительством проф. П. В. Павлова за произнесенную им на литературном вечере речь (см. прим. 1 к статье о брошюре Шедо-Ферроти, т. 2 данн. изд.) студенты в виде протеста приняли решение о прекращении лекций. Профессора заняли при этом колеблющуюся позицию. В результате произошел шумный скандал на лекции Костомарова. Когда по окончании лекции один из студентов объявил присутствующим о принятом решении, Костомаров, вернувшись на кафедру, заявил, что он, вопреки решению, будет продолжать чтение лекций. Заявление Костомарова вызвало со стороны присутствующих бурную реакцию. После этого дальнейшее чтение лекций было запрещено правительством.

[14] Имеются в виду слова В. А. Зайцева в статье «Белинский и Добролюбов» (кн. 1 «Русского слова» за 1864 г.) о Печориных, наряжавшихся «в черкесское платье для пущего трагизма».

[15] Иронические ссылки на только что сделанное *«великое открытие, что естественные науки действительно существуют»*, и т. д. относятся, вероятно, к статье Н. Н. Страхова «Естественные науки и общее образование» (журнал «Эпоха», 1864, кн. 7). В этой статье Страхов писал между прочим: «До сих пор мы доказывали..., что естественные науки совершенно годны для общего образования; прибавим к этому, что их никак нельзя считать лишними» (стр. 27). — *«Розы Феокрита»* — ср. у Пушкина: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?» (стихотворение 1829 г.).

[16] *...вы... не согласились бы взять себе забвение...* — перефразировка слов Лермонтова о Демоне: «Да он и не взял бы забвенья!» («Демон», ч. I, строфа IX).

[17] Писарев иносказательно называет здесь *атмосферическими влияниями* реакцию. «Область труда, недоступная атмосферическим влияниям», — естествознание. Ср. рассуждения Писарева о том, что только в область естествознания «не проникает никакая реакция» в статье «Наша университетская наука» (см. данн. изд., т. 2, стр. 224—225).

[18] Писарев имеет в виду выводы своей статьи «Мотивы русской драмы» (см. данн. изд., т. 2).

[19] *Пифагорейский обет молчания.* — В религиозную общину пифагорейцев, последователей древнегреческого философа-идеалиста Пифагора, основанную в Кротоне (Южная Италия) в VI в. до н. э., принимались только

те, кто прошел предварительно трудные испытания. Одним из таких испытаний было требование полного молчания в течение нескольких лет.

[20] *...фельетонист «Современника» называет Базарова болтуном.* — Имеется в виду одно место из фельетона М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» (в кн. 3 «Современника» за 1864 г.), направленное против критики «Русского слова». Щедрин говорит здесь о «юродствующих и вислоухих», «которые сами совершенно серьезно готовы признать воришку Басардина (карикатурный образ «нигилиста» в романе Писемского «Взбаламученное море». — *Ред.*) за тип современного прогрессиста, как признали таковым, в недавнее время, болтуна Базарова» (см. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, М. 1941, стр. 324).

[21] *Последний роман Писемского* — «Взбаламученное море». — *Иона-Циник* — персонаж из этого романа (см. прим. 17 и 24 к статье «Цветы невинного юмора», данн. изд., т. 2).

[22] Добролюбов говорил об этом по поводу сцены последнего посещения Еленой Инсарова из романа Тургенева «Накануне» в статье «Когда же придет настоящий день?» (см. Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 3, М. 1952, стр. 49, примечание).

[23] *Эшафодаж* (франц. échafaudage) — леса (строительные); в переносном смысле — набор доводов, слов.

[24] Речь идет о «мексиканской экспедиции» 1861—1867 гг. — совместной англо-испано-французской интервенции с целью закрепить позиции европейского капитала и подавить освободительное движение в Мексике.

[25] *Геннеси* — член английской палаты общин, тори. В 1864 г. критиковал политику министерства Пальмерстона в польском вопросе. Тогда же клеветнически обвинял итальянского революционера Дж. Мадзини в организации покушения Греко на Наполеона III. Шум, поднятый вокруг этого, привел к отставке одного из министров — Стансфилда, через которого Мадзини будто бы вел переписку с Греко. — *...Гарибальди сначала подстрелили при Аспромонте, а потом вылечили и простили...* — Во время военной экспедиции в Папскую область в августе 1862 г. Гарибальди был ранен около Аспромонте в схватке между его отрядом и войсками сардинского правительства и арестован. Массовые митинги протеста против ареста Гарибальди, прошедшие в разных странах, принудили сардинское правительство «помиловать» Гарибальди; он был выслан на остров Капрера.

[26] Имеется в виду война Черногории против Турции, начавшаяся в 1862 г. В 1850—1860 гг. Черногория, опираясь на поддержку России, неоднократно вела вооруженную борьбу против завоевательных стремлений турок.

[27] *«Северная пчела»* — газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 г. До 1860 г. выходила под редакцией Булгарина и Греча и являлась крайне реакционным органом, связанным с III отделением. С 1860 г. редактором газеты стал П. С. Усов. При нем газета получила умеренно либеральный оттенок.

[28] *...женщина... будет совершенно застрахована против тех бесплодных восторгов, которыми увлеклась, например, госпожа Свечина.* — Имеются в виду религиозно-мистические увлечения С. Свечиной, фрейлины при дворе Павла и Александра I. Приняв католичество, она подпала под влияние иезуи-

тов. Переехав после изгнания иезуитов из России в Париж, она еще теснее сблизилась с католическими клерикальными кругами. Свечина оставила многотомные записки, наполненные всяческими мистическими бреднями.

29 *Пунические войны* — между Римом и Карфагеном (в 264—146 гг. до н. э. с перерывами), закончившиеся поражением Карфагена. Во время второй пунической войны в 202 г. в битве при Заме войска карфагенян, возглавляемые Аннибалом (Ганнибалом), были наголову разбиты римским полководцем Сципионом. — *Шассе вправо, шассе назад* — танцевальные па.— *«Естественная история» Горизонтова* — учебник по естествознанию для женских гимназий и для домашнего обучения А. Горизонтова (1859 г.).

30 *...Тургенев мог бы быть менее пассивным в то время, когда его имя марали гг. Катковы и Скарятины...* — Печатая роман «Отцы и дети» в своем журнале «Русский вестник», М. Катков стремился использовать его для борьбы с демократическим движением. Реакционный публицист В. Скарятин вскоре после выхода романа в свет также использовал образ Базарова для дискредитации и поношения демократических идей (в статье «О табунных и некоторых других свойствах русского человека», напечатанной в «Современной летописи», которая издавалась при «Русском вестнике» — 1862, № 17). Писарев здесь упрекает Тургенева в том, что он не отмежевался тогда от подобных реакционных истолкований романа. Позднее, в статье «По поводу «Отцов и детей» (1869 г.), Тургенев решительно отводил обвинения в пристрастном отношении его в «Отцах и детях» к демократической молодежи.

31 *Байрон прямо называет Роберта Соути ренегатом...* —Байрон выступил в 1820 г. против представителя реакционного романтизма поэта Соути с сатирической поэмой «Видение суда», в которой называл Соути ренегатом за верноподданнические мотивы, нашедшие выражение в одноименной поэме последнего, за прославление «Священного союза».

32 *...жалуется печатно на работника Семена.* — А. А. Фет в своих очерках «Из деревни», напечатанных в «Русском вестнике» за 1863 г. (см. о них также прим. 1 к статье «Цветы невинного юмора» в т. 2 данн. изд.), между прочим, рассказывает о работнике Семене, которого он уволил за нерадивость и с которого лишь с трудом удалось ему взыскать выданный ранее денежный задаток. Из этой истории Фет пытался вывести заключение, будто бы интересы помещиков слабо охраняются законом.

33 *«Шепот, робкое дыханье, трели соловья»* — начало известного стихотворения А. А. Фета.

34 *Пенсильванские общеполезные учреждения* — одна из систем тюремного одиночного заключения, введенная в конце XVIII в. в Пенсильвании (США) представителями секты квакеров; разновидность пенитенциарной системы (см. прим. 51).

35 О романе в стихах Я. П. Полонского «Свежее предание» см. прим. 1 к статье «Бедная русская мысль» (данн. изд., т. 2). — Драма Полонского «Разлад (Сцены из последнего польского восстания)» впервые была напечатана в журнале «Эпоха», 1864, кн. 4. В ней на фоне шаблонно-романического сюжета давалось тенденциозное освещение польского восстания 1863 г., близкое официально-реакционной точке зрения. На это и обращает внимание Писарев, иронически говоря о том, что Кукольник, автор известной реакционно-

монархической пьесы «Рука всевышнего отечество спасла», может выражать свое удовольствие по поводу появления драмы Полонского.

[36] См. статью «Цветы невинного юмора» (данн. изд., т. 2, стр. 358—361).

[37] Объединение в общем ряду «*пустяков*» фривольно-натуралистического романа «Фанни» французского писателя Э. Фейдо с историческим романом Г. Флобера «Саламбо» и двумя повестями И. С. Тургенева — «Первая любовь» и «Призраки» явилось у Писарева не случайно. В демократической критике 1860-х гг. не раз было высказано отрицательное отношение к этим произведениям. Так, о «Саламбо» Флобера иронически отозвался М. Е. Салтыков-Щедрин (в рецензии на «Князя Серебряного» А. К. Толстого в «Современнике», 1862 г.). О «Первой любви» Тургенева, появившейся в 1860 г., холодно писал Добролюбов в статье «Забитые люди», подчеркивая надуманный характер героини повести — княжны Зинаиды. «Призраки» Тургенева, появившиеся в 1864 г. в журнале «Эпоха», вызвали резкий отзыв в статье М. А. Антоновича «Современные романы» («Современник», 1864, кн. 4). Отрицательное отношение демократической критики к «Призракам» было связано с тем, что в этой повести Тургенев в форме романтической аллегории выразил свой страх перед народным восстанием.

[38] *Шишка алжирского дея.* — Ср. заключительную фразу Поприщина в «Записках сумасшедшего» Гоголя (в изданиях 1835 и 1842 гг): «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка». *Дей* — титул феодальных владетелей Алжира при господстве турок (до 1830 г.).

[39] «*Отечественные записки*»—см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1). — «*Петербургские ведомости*» — см. прим. 28 к статье «Наша университетская наука» (данн. изд., т. 2).

[40] Цитата из гл. 1 тома II «Мертвых душ» Гоголя.

[41] ...*совершили «в пределе земном все земное»*... — Ср. в стихотворении Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1833):

«Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!»

С 1840-х гг. это выражение в литературе часто употреблялось в ироническом смысле.

[42] «*Эпоха*» — журнал так называемого «почвеннического» направления (близкого к славянофилам). Сменил собою закрытый правительством в 1863 г. за статью по польскому вопросу журнал «Время». Издавался в 1864—1865 гг. при активном участии Ф. М. Достоевского, А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова. В критическом отделе журнала сотрудничали Д. В. Аверкиев и Н. И. Соловьев, выступавшие против демократической критики, и в частности — против «теории реализма» Писарева. Писарев в 1864—1865 гг. неоднократно подвергал осмеянию «Эпоху» и ее сотрудников. — «*Библиотека для чтения*» — журнал, издававшийся с 1834 г. Первоначально его редактором был О. И. Сенковский. С 1856 г. журнал редактировался А. В. Дружининым, который выступал в защиту «чистого искусства»; в 1860—1862 гг. журнал редактировал А. Ф. Писемский, а с 1863 г. — П. Д. Боборыкин и Н. Н. Воскобойников. В 1860-х гг. журнал занимал позиции, враждебные демократическому движению. С критическими статьями, направленными против демократической

литературы и в защиту «чистого искусства», выступал в журнале Е. Н. Эдельсон, над которым Писарев неоднократно иронизировал. Журнал прекратил свое существование весной 1865 г.

[43] «*День*» — см. прим. 13 к статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (данн. изд., т. 1).

[44] «*Университетские отцы и дети*» — статья Д. В. Аверкиева, помещенная в журнале «Эпоха» за 1864 г. (№№ 1—3), представляла полемический ответ на статью Писарева «Наша университетская наука».

[45] Первое издание «Критики чистого разума» Канта вышло в 1781 г. Книга не сразу обратила на себя внимание, а ее направление не сразу оказалось понятым. Сам Кант выступил с защитой и объяснением своей книги в «Пролегомена ко всякой будущей метафизике» (1783). В 1786—1787 гг. появились и «Письма о философии Канта» К. Л. Рейнгольда, в которых в популярной форме излагались идеи Канта. Говоря, что *немцы раскусили «Критику чистого разума» через восемь лет после ее выхода в свет*, т. е. в 1789 г., Писарев, очевидно, хочет также указать на то, что направление философии Канта и ее противоречия стали понятными лишь с развитием революционных событий во Франции и реакции на них в Германии.

[46] ...*скандалезные пряности, которыми занимают своих читателей французские негодяи, подобные Дебе и Жуванселю.* — Писарев имеет в виду, вероятно, книжки О. Дебе «Гигиена и физиология брака» и «Книга чудес, или физиология незримого мира» и П. де Жуванселя «Начала мира». Эти книжки вышли в русском переводе в 1863—1864 гг. и тогда же получили самую резкую оценку в библиографическом отделе журнала «Русское слово» как книги шарлатанские, спекулирующие на интересе публики к вопросам естествознания.

[47] Видимо, Писарев имел намерение выступить с отдельной статьей о книге Брема в «Русском слове». Однако это не было им осуществлено. В кн. 5 «Русского слова» за 1865 г. появилась лишь статья В. П. (очевидно, В. П. Попова) «Зоологические очерки по Одюбону и Брему».

[48] «*Время*» — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[49] «*Свисток*» — см. прим. 51 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1). — *Полемические статьи теперешнего «Современника».* — Писарев имеет в виду полемические статьи М. Е. Салтыкова-Щедрина и М. А. Антоновича 1864 г., в частности — их выступления по адресу «Русского слова».

[50] *Купчиха Кабанова* — персонаж из драмы А. Н. Островского «Гроза». — *Виктор Ипатьевич* — Аскоченский — известный мракобес, издатель журнала «Домашняя беседа».

[51] *Пенитенциарная система* — в буржуазных государствах система одиночного заключения, с полной изоляцией заключенного от внешнего мира, сопровождаемая принудительным трудом, наказаниями и чтением библии. Впервые была применена в США в Пенсильвании. Защитники пенитенциарной системы лицемерно рассматривают ее как средство «перевоспитания преступника». Характерно, что с развитием своих взглядов Писарев приходит к пониманию вреда пенитенциарной системы. В статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861 г.) он еще считал ее «первою удачною попыткою заменить наказание — перевоспитанием» (см. данн. изд., т. 1, стр. 222).

ПРОМАХИ НЕЗРЕЛОЙ МЫСЛИ

Впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1864, кн. 12. Затем вошла в ч. 3 первого издания сочинений (1866). Каких-либо существенных расхождений между текстами этих двух публикаций нет. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением отдельных его погрешностей.

Писарев на всем протяжении своей деятельности с большим вниманием относился к творчеству Л. Н. Толстого. Еще в 1859 г. в журнале «Рассвет» он поместил небольшую статью о рассказе «Три смерти», подчеркнув в ней мастерство Толстого как художника-психолога (см. эту статью в т. 1 данн. изд.).

«Промахом» своей собственной мысли называет Писарев брошенное им мимоходом (в статье «Цветы невинного юмора»— см. данн. изд., т. 2., стр. 359) замечание о трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность» как о произведении, не имеющем ближайшего отношения к «интересным вопросам действительной жизни». Однако и там Писарев отмечал, что трилогия Толстого — «вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа».

Выход в свет первой части сочинений Л. Н. Толстого в издании Ф. Стелловского (август 1864 г.) послужил поводом к написанию данной статьи (она была закончена уже в начале ноября 1864 г.). Исправляя допущенную им незадолго до того ошибку, Писарев в «Промахах незрелой мысли» высоко оценил произведения Толстого 1850-х гг. и подчеркнул их важное значение для характеристики жизни русского общества и для понимания некоторых выдвигаемых ею типов. Его поразили, по его собственным словам, «обилие, глубина, сила и свежесть мыслей», заключенных в этих повестях Толстого. Острая характеристика типа Нехлюдовых и Иртеньевых, понимание исторической обусловленности этих характеров, глубокие замечания о значении деятельной мечты как одного из необходимых условий успеха всякой большой и серьезной практической деятельности — замечания, высказанные Писаревым в связи с проповедью социалистических взглядов, обусловили длительное и прочное воздействие этой статьи на передового читателя. В. И. Ленин сочувственно цитировал слова Писарева о значении деятельной мечты в своей работе «Что делать?» (В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 5, стр. 476).

Укажем, что и эта статья Писарева не осталась в стороне от развернувшейся между «Русским словом» и «Современником» полемики. В неподписанной рецензии на издание сочинений Толстого, помещенной в кн. 4 «Современника» за 1865 г. и дававшей резкую оценку вошедших в это издание произведений Толстого, между прочим был сделан полемический выпад и в отношении Писарева, который, как говорится в рецензии, «сейчас же нашел повод измерить Нехлюдова Базаровым (такой уж у этого критика аршин завелся!)» (отд. «Новые книги», стр. 327). В рецензии осмеивалось положение Писарева о том, что «Иртеньевы и Нехлюдовы как по своему возрасту, так и по характеру, занимают середину между Рудиными, с одной стороны, и Базаровыми, с другой». К анализу творчества Толстого Писарев вновь обратился уже в 1868 г., работая в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина (см. статью «Старое барство» в т. 4 данн. изд.).

[1] *...повести и рассказы... Толстого, печатавшиеся тогда в «Современнике».* — В конце 1850-х гг. в «Современнике» были напечатаны: «Юность»

(1857, кн. 1), «Люцерн» (1857, кн. 9), «Альберт» (1858, кн. 8). Писарев читал тогда и другие повести и рассказы Толстого, печатавшиеся в других журналах (ср. его раннюю статью 1859 г. о рассказе «Три смерти», напечатанном в «Библиотеке для чтения», 1859, кн. 1). Рассказ «Утро помещика» был напечатан впервые в журнале «Отечественные записки» (1856, кн. 12).

[2] Писарев имеет в виду годы своего обучения в Петербургском университете, когда он был близок к кружку студентов, стремившихся культивировать интересы чистой академической науки. По свидетельству В. Д. Писаревой, матери критика (в письме ее в редакцию «Современника», опубликованном в кн. 3 этого журнала за 1865 г.), Писарев также еще в это время не был свободен от влияний теории «чистого искусства».

[3] *...и начал он во «Времени» статью о Толстом...* — А. Григорьев напечатал статью о Толстом в журнале «Время» за 1862 г., кн. 1 и 9 («Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Гр. Л. Толстой и его сочинения»).

[4] Имеются в виду «Краткая всеобщая география» К. И. Арсеньева, «Учебная книга всеобщей географии» А. Г. Ободовского и «Курс географии, содержащий описание частей света в физическом, этнографическом и политическом отношениях» А. И. Павловского — популярные в 1860-х гг. учебники.

[5] *Мы... знаем по «Русскому вестнику», что экономисты—люди почтенные, а социалисты — прощелыги и сумасброды.* — Ироническое замечание Писарева имеет в виду то, что «Русский вестник» Каткова, ополчаясь против представителей социалистической мысли, расхваливал и пропагандировал представителей вульгарной буржуазной политической экономии. На его страницах, в частности, выступал один из вульгарных экономистов — бельгийский профессор Г. де Молинари.

[6] *... в рассуждениях сентиментальных, но необразованных журналистов о почве... о необходимости смириться умом перед народною правдою*, т. е. в реакционных рассуждениях «почвеннической» журналистики («Время», «Эпоха»), связывавшей представления о народности с проповедью смирения, отсталости, с идеями о «народе-богоносце» и т. д.

[7] *Учебники Устрялова, Кайданова* — учебники по русской истории для гимназии, реакционные по направлению и догматические по своему изложению.

[8] *Соллогубовский чиновник Надимов* — см. прим. 14 к статье «Цветы невинного юмора» (данн. изд., т. 2).

[9] *«Мухи умрут от речей их»* — несколько измененное выражение из рассказа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наши глуповские дела» (сб. «Сатиры в прозе»).

[10] В том же рассказе «Наши глуповские дела».

[11] *Ситников* — персонаж из романа Тургенева «Отцы и дети».

РОМАН КИСЕЙНОЙ ДЕВУШКИ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1865, кн. 1. Затем вошла в ч. 3 первого издания сочинений (1866).

Между этими двумя прижизненными публикациями имеются довольно существенные различия. Они касаются общего замысла статьи. В журнале

статья появилась под названием «Мыслящий пролетариат» с посвящением писателю Н. А. Благовещенскому, редактору «Русского слова» и ближайшему другу Н. Г. Помяловского, автору первого биографического очерка о нем. Как явствует уже из начальных строк журнального текста, Писарев первоначально намеревался дать полный разбор двух повестей Помяловского и подробно охарактеризовать героя этих повестей — Молотова, а в связи с этим дать общую характеристику и Помяловского как писателя. «Чтобы обрисовать авторскую личность Помяловского, — читаем там, — я разберу подробно две главные его повести — «Мещанское счастье» и «Молотова». Эти две повести связаны между собою личностью героя, Егора Иваныча Молотова». Далее журнальный текст в общем совпадает с текстом первого издания, за исключением двух случаев. В начале последней (IX) главы Писарев в шутливо-непринужденной форме осведомляет читателей об изменении его намерений в ходе изложения: «Читатель, по всей вероятности, уже давно заметил, что статья моя, так сказать, соскочила с рельсов. Я хотел разобрать обе главные повести Помяловского, но увлекся романом кисейной девушки и так заговорился об этом эпизоде, что вторую повесть — «Молотова» — надо будет отложить до другого раза. Вследствие этого произошло довольно странное разногласие между названием статьи и ее содержанием. Статья называется «Мыслящий пролетариат», и это заглавие было бы очень уместно, если бы описывались здесь труды Молотова, который может служить очень хорошим представителем образованной массы, добывающей себе хлеб разнообразною умственною работою. Но случился такой грех, что на первый план выдвинулась Леночка, которая — совсем не «пролетариат» и нисколько не «мыслящий». Попавши в такое затруднительное положение, я утешаю себя тою мыслью, что точно такой же грех случился с самим Помяловским. Он назвал свою первую повесть — «Мещанское счастье», а потом, дописавши ее до конца, вдруг спохватился, что счастья-то именно и нет. «Где же счастье? — спросит читатель: — в заглавии счастье обещано. — Оно, читатели, впереди. Счастье всегда впереди — это закон природы» (стр. 172). Значит, и я могу сказать точно так же, что мыслящий пролетариат впереди; и выйдет у меня также приятный каламбур. И оба мы, Помяловский и я (здесь г. Постороннему сатирику снова представляется удобный случай подразнить *мы* «Русского слова» за излишнюю самонадеянность), увлеклись одним и тем же предметом — личностью кисейной девушки. Есть же, должно быть, в этой личности что-нибудь особенно привлекательное и интересное. Действительно есть, и я нисколько не упрекаю себя за то, что говорил о ней так подробно» («Русское слово», 1865, кн. 1, отд. «Литературное обозрение», стр. 36—37).

В самом конце журнального текста статьи Писарев вновь возвращается к этой теме: «Однако я хотел оправдывать Молотова и вместо того опять начал его преследовать. Ну, делать нечего. Статья решительно соскочила с рельсов, и поэтому надо поскорее ее заканчивать. Оправдание Молотова и рассуждения о «мыслящем пролетариате» откладываю до другого раза. Может быть, через месяц, а может быть, и через полгода, смотря по тому, будут ли у меня другие срочные работы, не терпящие отлагательства. Впрочем, когда бы мне ни пришлось представить читателю продолжение этой безалаберной статьи, это решительно все равно. Говорить о Помяловском всегда кстати»

(там же, стр. 42). Как видно из этих слов, у Писарева еще оставалось намерение продолжить в другой статье разбор повестей Помяловского. Однако обещанная статья впоследствии не появилась. К разбору творчества Помяловского Писарев обратился снова значительно позднее, но уже в особой статье и по другому поводу (разбор «Очерков бурсы» в статье «Погибшие и погибающие», опубликованной в 1866 г.). Что касается проблемы «мыслящего пролетариата», то она была действительно поставлена критиком в статье о романе Чернышевского «Что делать?», напечатанной в «Русском слове», кн. 10 за 1865 г. Эта последняя статья, опубликованная в журнале под названием «Новый тип», затем получила в первом издании сочинений заглавие «Мыслящий пролетариат», тогда как статья о повестях Помяловского в первом издании оказалась переименованной в «Роман кисейной девушки». Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания.

Почему же Писарева так сильно занял тип «кисейной девушки»? Что он нашел в нем «особенно привлекательное и интересное», заставившее его посвятить целую статью разбору отношений Леночки и Молотова и пристально рассмотреть каждое мелкое движение в этой «обыкновенной истории»? Эти мотивы хорошо разъяснены в самой статье. Статья представляет одно из ярких выступлений демократической критики 1860 г. в защиту женщины, ее прав на свободное развитие, против мещанства и сословных предрассудков, извращающих отношения между мужчиною и женщиною. В этом смысле данная статья развивает мысли, высказанные по поводу отношения к женщине в нескольких главах статьи «Реалисты». Леночка потому дорога критику, что он в этой необразованной, наивной и ничем не выделяющейся из массы девушке видит задатки нормального, здорового развития. Задачей «мыслящего пролетариата» по отношению к женщинам этого типа он считает просвещение их, поднятие их до такого уровня, на котором они могли бы стать участницами общего дела или помощницами и верными подругами «мыслящих работников». Демократизм Писарева ярко выступает, когда он обосновывает свое пристальное внимание к мельчайшим фактам в истории Леночки и Молотова тем убеждением, что «эти микроскопические явления, эти будничные мелочи наполняют собою целую жизнь целых миллионов людей». Писарев стремится помочь читателям из демократической молодежи сознательно строить свою жизнь, уберечь их от тех «необдуманных слов», «мелких непоследовательностей», «незаметных оплошностей», из которых «складывается мало-помалу большая часть человеческих страданий и человеческих пошлостей». Даже фигура молодого Молотова, относимого самим критиком к «мыслящему пролетариату», подвергается острой критике за «честную чичиковщину», за недостаток активного отношения к жизни, непримиримости к мещанству.

Высокая оценка Помяловского как писателя, данная в статье, противостояла нападкам на Помяловского в статьях реакционных критиков (Е. Ф. Зарина (Incognito), Н. И. Соловьева), появившихся в 1865 г.

[1] Перевод указанного романа Ф. Шпильгагена, посвященного событиям революции 1848 г. в одном из прирейнских городов Германии, печатался в «Русском слове» за 1864 г. (кн. 9—12). В том эпизоде, на который ссылается Писарев, принимающий участие в революционном движении корректор

Каиус, превозмогая боль в сломанной руке, правит корректуру передовой статьи «In praesidentem» («Против президента»), написанной редактором газеты «Народный вестник» Мюнцером. Статья направлена против одного из представителей властей города президента фон Гогенштейна.

[2] *Лейтенант Жевакин* — персонаж из «Женитьбы» Гоголя. — *Миликтриса Кирбитьевна* — красавица из народной сказки о Бове-королевиче.

[3] *...по выражению г. Щедрина, сальных свеч не едят, стеклом не утираются.* — Щедрин приводит эту поговорку при характеристике «высшего глуповского общества» («Наши глуповские дела» в сб. «Сатиры в прозе»).

[4] *...все алчущие и жаждущие грязи, известной под названием почвы...* — Речь идет о сотрудниках журнала «Эпоха» (см. прим. 42 к статье «Реалисты»). В журнальном тексте статьи на это прямо и указывается. Вместо слов: «скажут они» там было: «скажут убогие сотрудники «Эпохи».

[5] *Первым финансистом в мире* Писарев называет Уильяма Эварта Гладстона, английского буржуазного политического деятеля, лидера партии вигов (либералов), который в 1850—1860-х гг. неоднократно был министром финансов в английском кабинете.

[6] *Один из новейших мудрецов «Эпохи», попавший в эту журнальную богадельню из губернии...* — Речь идет о первом выступлении в журнале «Эпоха» Н. Соловьева, ставшего затем постоянным сотрудником этого журнала, о статье его «Теория безобразия», напечатанной в кн. 7 «Эпохи» за 1864 г. с примечанием от редакции, что статья поступила «из губернии». Статья нападала на демократическую критику, представителей которой Соловьев рассматривает как «отрицателей искусства». О Помяловском Соловьев пишет здесь резко враждебно, утверждая, например, что «талант его не рос, а уменьшался после его первых произведений» и что уже «Очерки бурсы» «отличались беспримерным цинизмом». — *...в ноябрьской книжке... выражает уморительную надежду, что реалисты... откажутся от солидарности с безнравственными повестями Помяловского.* — В статье «Теория пользы и выгоды» («Эпоха», 1864, кн. 11), направленной прежде всего против Писарева и его «Нерешенного вопроса» («Реалистов»), Н. Соловьев, приписывая Помяловскому проповедь розни между детьми и родителями, заявлял: «Реалисты, пожалуй, откажутся от солидарности с подобными повестями и приведут места из «Нерешенного вопроса», где говорится о примирении с родителями, о вечном сожительстве супругов и нежном желании детей; но это уж отступление от прежде высказанного, и отступление слишком неловкое» (стр. 7).

[7] *...как... не употребить выразительное слово loucocheko...* — Писарев игриво вспоминает здесь об одном полемическом эпитете, брошенном им по адресу Антоновича (см. прим. 10 к статье «Реалисты»).

[8] В журнальном тексте источник, откуда взята цитата, указан точнее. Это перевод стихотворения Гейне «Долина скорби» («Jammertal»), принадлежащий П. И. Вейнбергу и помещенный в кн. 11 «Русского слова» за 1864 г.

[9] А. Григорьев в статье «Отживающие в литературе явления» («Эпоха», 1864, кн. 7) назвал иронически роман «Что делать?» «эпопеей о белой Арапии», стремясь подчеркнуть неосуществимость идеалов Чернышевского. Писарев по цензурным условиям в статьях 1864—1865 гг. пользовался этим

иносказательным выражением как для обозначения самого романа Чернышевского, так и для обозначения новых отношений между людьми, о которых говорилось в романе.

[10] В рассказе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наши глуповские дела» (сб. «Сатиры в прозе»).

СЕРДИТОЕ БЕССИЛИЕ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1865, кн. 2. Затем вошла в ч. 3 первого издания сочинений (1866). Существенных отличий между текстами этих двух публикаций нет. Здесь воспроизводится по первому изданию сочинений.

«Марево» В. Клюшникова, появившееся впервые в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник» (1864 г., кн. 1—3 и 5) и вслед за тем вышедшее отдельным изданием, относилось к так называемым «антинигилистическим романам». Появление этих романов было тесно связано с походом реакции против революционно-демократического движения, особенно усилившимся в связи с польским освободительным восстанием 1863 г. Вдохновляемые и превозносимые реакционной журналистикой, авторы «антинигилистических романов» выступили с клеветой на молодое поколение, пытались в искаженном, карикатурном виде изобразить участников демократического движения и вместе с тем представить в качестве «положительного героя» тип благонамеренного «охранителя». В этом отношении особенно показателен как раз роман Клюшникова. Написанное с претензией на романическую занимательность, в бойкой беллетристической манере, «Марево» пыталось показать «тайную разлагающую» деятельность демократических сил. В центре всех этих вымышленных интриг находится в романе фигура коварного польского аристократа графа Бронского. В духе инсинуаций реакционной прессы, например газеты Каткова «Московские ведомости», Клюшников стремился показать, что представители русской демократической молодежи являются слепыми орудиями в руках этого аристократа. В качестве «типичной» представительницы молодого поколения выдвигается при этом фигура романически-экзальтированной девицы — Инны Горобец, целиком подпадающей под влияние Бронского. В грубо карикатурном виде представлен образ молодого «нигилиста» — Коли Горобца. Характерны для антинигилистического романа также потуги Клюшникова показать, что за дела молодого поколения 1860-х гг. несут ответственность и «отцы» — представители прогрессивной мысли 1840-х гг. Отец Инны, оказавший решающее воздействие на ее развитие, представлен как член кружка Станкевича, в прошлом близко стоявший к Белинскому, Бакунину, Герцену. В романе рассыпаны клеветнические выпады против Герцена и русской революционной эмиграции, против украинских демократов и Шевченко. В качестве «положительного героя» в романе выводится фигура Владимира Русанова, либерально-благонамеренного чиновника. Писарев в своей статье показывает, насколько бесцветным, беспринципным является этот «герой» Клюшникова.

Борьба с антинигилистической беллетристикой представляла для демократической критики 1860-х гг. задачу важную и актуальную. Реакцион-

ная журналистика возлагала большие надежды на эту литературу, клеветавшую на демократов и разжигавшую шовинистические страсти, и рассчитывала, что эти романы авантюрно-романическими интригами, скандальными намеками на современных деятелей и инсинуациями по поводу происходящих событий привлекут к себе внимание рядового читателя. До появления статьи Писарева о романе Клюшникова писал М. Е. Салтыков-Щедрин (в очерках «Наша общественная жизнь» в «Современнике», кн. 3 за 1864 г.), разоблачая «идеалы» Русанова. В «Русском слове» на роман Клюшникова впервые отозвался В. А. Зайцев во втором фельетоне «Перлы и адаманты русской журналистики» (1864, кн. 6), показав связь антинигилистических романов с кампанией реакционной прессы против демократических сил.

Эти выступления демократической критики сыграли важную роль в разоблачении антинигилистических романов. Характерно, что даже либеральные «Отечественные записки», первоначально приветствовавшие «Марево», оказались вынужденными затем высказать свое «разочарование» романом и определить его героя как «вешалку, на которой автор развесил просушивать передовые статьи «Московских ведомостей» («Отечественные записки», 1864, кн. 6, стр. 941).

В начале статьи Писарев предупреждает читателей, что он будет оценивать роман «с чисто эстетической точки зрения». Действительно, статья дает уничтожающий разбор романа как литературного произведения. Однако такое ограничение задач вызвано было невозможностью для Писарева — узника Петропавловской крепости — в подцензурной статье прямо и открыто дать политическую оценку романа, показать его истинные источники и заклеймить силы, вызвавшие его к жизни. Но и в этих условиях с помощью отдельных указаний на те места романа, в которых наиболее резко выступает клеветнический и реакционный характер высказываний Клюшникова, Писарев дает знать читателю, каково политическое назначение этого романа. (Эти намеки раскрыты нами далее в примечаниях.)

В следующей статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев вновь вернулся к разбору характерных для «антинигилистической беллетристики» приемов в связи с романом Лескова «Некуда».

[1] *«Русский вестник»* — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» (т. 1 данн. изд.). — *«Эпоха»* — см. прим. 42 к статье «Реалисты».

[2] *«Перлы и адаманты»*. — Писарев использует здесь ироническое наименование литературных фельетонов В. А. Зайцева «Перлы и адаманты русской журналистики», печатавшихся в «Русском слове» за 1863 и 1864 гг. Фельетоны Зайцева были направлены в основном против реакционной журналистики.

[3] *...место из ноябрьской книжки «Эпохи», в котором он... старается уличить нигилистов и реалистов в систематической ненависти к родителям.* — Имеется в виду одно место из статьи Н. Соловьева «Теория пользы и выгоды» («Эпоха», 1864, кн. 11, стр. 7), где говорилось по поводу Помяловского: «Насчет того, как старались запутать у нас и другие семейные отношения, мы можем привести беллетристический факт таланта, действовавшего в том же направлении. В лучшей повести Помяловского «Молотов» рассказано, как

один господин, подавши нищему мальчику пять копеек, заметил, что он половину зарыл в землю, чтобы спрятать от матери. «А у тебя мать злая?» — спрашивает его герой. «Чертовка». — Ну, как было не дать такому развитому мальчику еще пяти копеек». Выводя из этой сцены заключение, что Помяловский-де цинично защищает рознь между детьми и родителями, реакционный публицист обвиняет в этом далее всех «реалистов».

[4] *...мне скоро придется возиться с статьями г. Николая Соловьева...* — Разбор критических статей реакционного публициста Н. И. Соловьева Писарев дал в кн. 3 «Русского слова» за 1865 г. в статье «Прогулка по садам российской словесности».

[5] Е. Эдельсон писал об этом в статье о романе «Марево», помещенной в журнале «Библиотека для чтения», 1864, №№ 4 и 6. Представитель реакционной «эстетической» критики дал здесь хвалебную оценку романа Клюшникова.

[6] Любопытно сопоставить это определение с обычным у Щедрина сатирическим наименованием либералов *каплунами*. (В частности, он определял и Русанова как «тихо курлыкающего каплуна». — См. Полн. собр. соч., т. VI, М. 1941, стр. 460.)

[7] *...Надимов и великодушный становой г. Львова...* — См. прим. 14 к статье «Цветы невинного юмора» и прим. 6 к статье «Мотивы русской драмы» (данн. изд., т. 2).

[8] Ср. в гл. VI тома I «Мертвых душ» Гоголя: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!»

[9] По преданию, римский юноша Марк Курций пожертвовал своей жизнью для спасения отечества. Однажды у римского форума открылась пропасть; жрецы уверяли, что это служит предвестием опасности для Рима. Для того чтобы пропасть закрылась, необходимо было, чтобы Рим пожертвовал пропасти лучшее свое сокровище. Тогда Курций, сев на коня в полном вооружении, бросился в пропасть, после чего она закрылась.

[10] *...«Губернские очерки» Щедрина, положившие основание всему величию гг. Каткова и Леонтьева.* — Значительная часть цикла «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина первоначально печаталась (в 1856—1857 гг.) в журнале «Русский вестник», редактором которого был М. Н. Катков, а активным сотрудником другой реакционный публицист П. М. Леонтьев. Появление «Губернских очерков» Щедрина особенно способствовало первоначальному успеху «Русского вестника» у читателей 1850-х гг. и закреплению за ним в эти годы репутации либерального органа.

[11] *Журнальные свистуны* — см. прим. 23 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[12] Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете».

[13] *...теперь, когда гражданская палата будет совершенно переделана судебною реформою...* — Гражданская палата — судебное учреждение второй инстанции, существовавшее в каждой губернии с 1775 по 1864 г. для разбора гражданских дел. Судебная реформа 1864 г., проведенная в буржуазном духе, упростила рассмотрение гражданских дел, передав их в ведение мировых судей. Гражданская палата как особое учреждение была упразднена.

[14] Политические «идеалы» либерального бюрократа Доминова и сочувствующего ему в этом случае Русанова раскрываются в указанном месте романа в следующем рассказе Русанова о Доминове: «Я помню, недавно мы с ним бродили в городском саду; он остановился у штамба георгин, наблюдая тлю... Кучка этой мелюзги облепит стебель и сосет соки, и два-три муравья суетятся и хлопочут около них. Я, профан в зоологии, думал, что они едят тлю. Доминов обратил мое внимание на их занятия и разъяснил факт. Муравей подбежит к букашке и пощекочет ее щупальцами; она поднимется на передние ножки, выпустив каплю переработанного прозрачного сахарного сока, а муравей проворно овладеет ей. Как бы славно было, говорит Петр Николаевич, кабы и *мы такими же лишними соками питались*».

[15] Ироническое умолчание Писарева касается ряда злостных инсинуаций по адресу демократической молодежи, которые передает здесь Русанов Инне, вроде следующих: «Что вы скажете, например, о семнадцатилетней девушке, которая вскакивает на стол с бокалом в руке и кричит: «Крови! крови!» Или: «Вон и воскресные школы закрыли, потому что там коммунизм проповедовался; и читальни закрыли: там тоже черт знает что творилось» и т. п.

[16] На указанной странице Русанов не только высказывает свое неудовольствие по поводу украинской орфографии, разработанной П. Кулишем и в свое время запрещенной царскими властями, но и заявляет свое резко враждебное отношение вообще к развитию украинского языка и украинской литературы.

[17] На указанной странице Русанов делает резкий выпад против Шевченко. Непосредственно здесь говорится о поэме «Гайдамаки». Русанов изображает как бессмысленное зверство справедливую расправу Яремы Галайды и Максима Зализняка над панами.

[18] Реплика Русанова о том, что у него «от этой литературы уж голова трещит», следует за словами Коли Горобца, в которых последний упоминает о Герцене.

[19] В разгоревшемся к середине 1860-х гг. споре между сторонниками классического и реального образования Катков, издатель «Русского вестника», яростно защищал классическое образование. Он, как и другие реакционеры, нападал на реальное образование, утверждая, что обращение молодежи к естественным наукам способствует распространению и утверждению демократических идей, развитию «отрицательного направления» и т. д. На страницах «Московских ведомостей» также в 1864 г. доказывалась необходимость телесных наказаний детей.

ПРОГУЛКА ПО САДАМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1865, кн. 3. Затем вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868). Варианты текста этих двух публикаций незначительны. В первом издании статья снабжена несколькими характерными примечаниями издателя (Ф. Ф. Павленкова); наиболее важные

из них приводятся нами далее. Статья воспроизводится здесь по тексту первого издания с исправлением отдельных его погрешностей.

Заканчивая полемическую статью «Московские мыслители» (1862), Писарев говорил: «Надеюсь, что нам не придется больше встречаться с «Русским вестником» на поприще журнальной полемики; мы расходимся так сильно в мнениях и наклонностях, что можем прожить целый век, не встречаясь между собою» (данн. изд., т. 1, стр. 319). Действительно, за исключением отдельных беглых замечаний, в статьях Писарева 1862—1864 гг. мы не находим развернутой полемики с журналами реакционного или либерального направления. Впервые по прошествии трех лет в статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев вновь обратился к критическому разбору материалов этой журналистики. Это объясняется сложившейся к середине 1860-х гг. политической обстановкой. В 1864—1865 гг. реакция усилила борьбу с демократическими силами. Журналы реакционного и либерального направления пытались объединить свои усилия в этой борьбе. В ожесточенном преследовании демократических сил особенно отличились журнал «Русский вестник» и газета «Московские ведомости», издававшиеся М. Н. Катковым. В статьях Каткова и его сотрудников проповедовались реакционно-шовинистические взгляды. Даже отдельные представители правительства критиковались Катковым за «недостаток» активности в преследовании демократических сил. В «Русском вестнике» и в другом реакционном журнале, «Библиотека для чтения», печатались «антинигилистические романы», клеветавшие на революционных демократов. С реакционно-идеалистических позиций выступал против критики «Современника» и «Русского слова» и журнал «почвенников» «Эпоха» (статьи А. Григорьева, Н. Страхова, Д. Аверкиева и др.). Клеветническими выпадами в адрес демократической литературы были полны статьи сотрудника «Эпохи» Н. Соловьева. В этих статьях («Теория безобразия» — «Эпоха», 1864, кн. 7; «Теория пользы и выгоды» — 1864, кн. 11; «Бесплодная плодовитость» и «Женщинам» — 1864, кн. 12; «Дети» — 1865, кн. 1; «Разлад» — 1865, кн. 2) Н. Соловьев особенно ополчался против Писарева, рассматривая его критические статьи как крайнее проявление «нигилизма». Как и в 1861 г., к этой реакционной критике примкнул и орган либерального направления «Отечественные записки». Здесь с нападками на демократическую литературу, и в частности на Писарева, выступил Е. Зарин (под псевдонимом Incognito; статьи и фельетоны: «Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме» — «Отечественные записки», 1864, кн. 6; «Предисловие к литературному обозрению» — 1865, кн. 2, и др.).

В этой трудной ситуации, в условиях тяжелых цензурных преследований критика «Современника» и «Русского слова» вступила в борьбу с реакционной и либеральной журналистикой, с «антинигилистическими романами» и иными проявлениями реакционных тенденций в литературе (статьи и фельетоны М. А. Антоновича в «Современнике», посвященные критике «Отечественных записок» и «Эпохи»; «Перлы и адаманты русской журналистики» В. А. Зайцева в «Русском слове» и др.).

Статья Писарева дает также материал для характеристики отношений между «Современником» и «Русским словом» в период полемики между ними

по поводу «теории реализма». Несмотря на резкий ответ Антоновичу и упреки «Современнику» в конце этой статьи, Писарев здесь подчеркивает прежде всего, что и «Современник» и «Русское слово» являются органами одного, демократического, направления и что эти журналы противостоят остальным журналам и газетам реакционного и либерального лагеря. Несмотря на расхождения с критикой Добролюбова по некоторым существенным вопросам, Писарев заявляет здесь, что именно Добролюбов «создал реальную критику». Даже Антоновича, несмотря на крайнюю резкость его характеристики, Писарев определяет здесь как «реалиста», хотя и «близорукого».

Однако острота, которой достигла полемика между «Русским словом» и «Современником» к этому времени, определила то, что, посвятив почти всю статью критике реакционной и либеральной журналистики, Писарев последнюю ее главу все-таки отвел полемике с Антоновичем. Писарев стремился при этом доказать, что, выступая с критикой «теории реализма», Антонович невольно играет на руку журналистике другого лагеря. Он прямо ставит здесь вопрос о непонимании критикой «Современника» истинных тенденций «Русского слова», т. е. его демократических тенденций. Этот мотив об уступках Антоновича «филистерской» либеральной критике был развит Писаревым затем в его последней полемической статье «Посмотрим!».

Продолжив начатую в «Сердитом бессилии» борьбу с «антинигилистической беллетристикой», Писарев в данной статье подверг также осмеянию публиковавшиеся в реакционных журналах исторические драмы (особенно «Мамаево побоище» Д. Аверкиева), исходившие из реакционного понимания народности. Но вместе с тем Писарев несправедливо причислил к таким лжепатриотическим произведениям и печатавшуюся в «Современнике» историческую хронику А. Н. Островского о К. Минине. Это — один из отголосков полемики «Русского слова» с «Современником».

Демократизм критики Писарева ярко выступает и в анализе двух повестей из «Русского вестника» («Где же счастье?» О. Н. (Энгельгардт) и «Немая» В. К—ова (Клюшникова), типичных для реакционно-дворянской литературы. Разбирая пошлые романические мотивы этих повестей, Писарев рассматривает подобные произведения как типичное проявление литературного паразитизма. Он требует от литературы внимания к самым глубинным, животрепещущим интересам народной жизни, погружения «в суровую атмосферу действительной, трудовой жизни».

Несмотря на отдельные содержавшиеся в ней ошибки и полемические преувеличения, статья Писарева явилась одним из наиболее важных и ярких выступлений демократической критики против реакционных направлений в литературе 1860-х гг.

[1] *...я говорю об Аполлоне Григорьеве... воспетом в «Эпохе» гг. Страховым и Достоевским.* — Имеются в виду цитируемые Писаревым ниже «Воспоминания об А. А. Григорьеве» Н. Н. Страхова («Эпоха», 1864, № 9) с «Примечанием» к ним Ф. М. Достоевского. — *«Эпоха»* — см. прим. 42 к статье «Реалисты».

[2] *«Время»* — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[3] Письма А. Григорьева с некоторыми сокращениями вошли в указанные

выше «Воспоминания об А. А. Григорьеве» Н. Н. Страхова. В кн. 2 «Эпохи» за 1865 г. Страхов опубликовал «Новые письма Ап. Григорьева».

[4] *Эстетико-мистическим журналом с примесью планетных жителей и французских уголовных процессов* Писарев иронически называет журнал «Время». Журнал проповедовал на своих страницах реакционно-мистические идеи о «народе-богоносце». Не поддерживая прямо теорию «чистого искусства», критика «Времени» (А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский и др.) вместе с тем выступала против литературно-критических и эстетических взглядов революционных демократов. Так, в кн. 1 за 1861 г. Ф. М. Достоевский полемизировал с Добролюбовым в статье «Г. —бов и вопрос об искусстве». Там же была напечатана статья Н. Н. Страхова «Жители планет» и очерк «Процесс Ласенера. Из уголовных дел Франции». Публикации очерков о французских уголовных процессах имели место в журнале и далее.

[5] *Теоретики* — ироническое прозвище представителей революционно-демократической критики, данное А. Григорьевым и получившее хождение в реакционной и либеральной журналистике 1860-х гг.

[6] *«Северная пчела»* — см. прим. 27 к статье «Реалисты».

[7] Драматическая хроника А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» была напечатана в журнале «Современник» (1862, кн. 1).

[8] *Роман Тургенева* — «Отцы и дети», впервые опубликованный в кн. 2 журнала «Русский вестник» за 1862 г.

[9] Имеется в виду опубликование в «Современнике» (1862, кн. 3) статьи М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», резко отрицательно отнесшейся к роману «Отцы и дети».

[10] *...во времена Синопа и Башкадыклара*, т. е. во время Крымской войны. Морское сражение у Синопа 18 ноября 1853 г., когда русская эскадра под командованием П. С. Нахимова разгромила основные силы турецкого флота, и сражение 19 ноября того же года при Башкадыкларе в Армении, закончившееся разгромом превосходящих турецких сил отрядом генерала В. О. Бебутова, явились важными эпизодами в этой войне.

[11] *...появилось в свет то, что Григорьев... называл «эпопеей о белой Арапии».*— Так А. Григорьев называл роман Чернышевского «Что делать?» В журнальном тексте статьи и далее Писарев по цензурным условиям, говоря о «Что делать?», пользовался этим «игривым» обозначением Григорьева.

[12] *Роман «Марево»* — см. о нем прим. к статье «Сердитое бессилие». — *...г. Боборыкин кончает роман «В путь-дорогу!»...* — Роман П. Д. Боборыкина «В путь-дорогу» (1862—1864), один из наиболее слабых в художественном отношении романов этого писателя, тенденциозно изображал развитие молодежи в 1860-х гг.; в последней части романа содержались нападки на «реализм» и увлечение молодежи материализмом и естествознанием. — *...возник новый журнал «Эпоха»...* — см. прим. 42 к статье «Реалисты». — *...сияет, под господством новой редакции, старая газета «Московские ведомости».* — Редактором «Московских ведомостей» с 1863 г. стал М. Н. Катков (см. об этой газете прим. 28 к статье «Наша университетская наука» (данн. изд., т. 2).

[13] *И это говорится о тех двух годах, когда мы находились в самом невыгодном положении!* — Писарев имеет в виду преследования демократических сил и усиление реакционных настроений в буржуазно-дворянской журналистике

в 1863—1864 гг. в связи с подавлением польского восстания 1863 г. — *...какой же смысл имеет известная фраза: «Славянофилы победили»?* — Так назывался один из разделов «Заметок Летописца» (Н. Н. Страхова) в кн. 6 «Эпохи» за 1864 г. Имея в виду усиление реакционных тенденций, Страхов писал там, что «в последние два года в настроении нашего общества и нашей литературы произошла глубокая перемена», что «польский мятеж разбудил и отрезвил нас». В этом усилении реакционных и националистических настроений в буржуазно-дворянской среде Страхов и видел победу славянофилов, в частности приписывая заслугу в этом отношении газете И. Аксакова «День». Позднее, в кн. 10 «Русского слова» за 1864 г., со специальной статьей под тем же названием, содержавшей резко иронический разбор заметки Страхова, выступил В. А. Зайцев.

[14] Статья историка А. П. Щапова «Великорусские области во времена междуцарствия» была напечатана в кн. 10—11 «Отечественных записок» за 1861 г. (в журнале она называлась: «Великорусские области и смутное время»). В ней Щапов развивал ту мысль, что в смутное время проявилось земское начало, стремление к самостоятельности и самодеятельности отдельных областей, направленное против централизационных тенденций Москвы и против московского боярства. Земский собор 1613 г. он рассматривал как установление добровольной конфедерации областей в целях защиты от общих врагов. — Статья профессора П. В. Павлова «Тысячелетие России» была напечатана в «Месяцеслове на 1862 г.». Выступление Павлова по поводу тысячелетия России вызвало бурную реакцию в 1862 г. (см. прим. 1 к статье о брошюре Шедо-Ферроти, данн. изд., т. 2).

[15] «*Вестник*» — «Русский вестник» (см. о нем прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.).

[16] «*День*» — см. прим. 13 к статьям «Писемский, Тургенев и Гончаров» и «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (т. 1 данн. изд.).

[17] О «Свежем предании» Я. П. Полонского см. прим. 1 к статье «Бедная русская мысль» (данн. изд., т. 2).

[18] *...привели его прямым путем в «Русское слово».* — Историк А. П. Щапов в 1864—1866 гг. поместил в «Русском слове» несколько статей, в которых стремился связать изучение вопросов истории народа с достижениями естествознания того времени, особенно большое внимание уделяя роли географической среды. Сам Щапов указывал на происшедший к этому времени под влиянием направления Писарева и «Русского слова» значительный перелом в его взглядах.

[19] *...знаменитые русские натуралисты: Страхов, Игдев, Аверкиев и Николай Соловьев.* — Иронические слова Писарева имеют в виду следующее. Сотрудники «Времени» и «Эпохи», реакционный публицист и философ-идеалист Н. Н. Страхов, критики «эстетического» направления Н. И. Соловьев и Д. В. Аверкиев, а также И. Г. Долгомостьев (псевдоним: Игдев), выступили со статьями, в которых высказывали свою вражду к материализму, к распространению современных естественнонаучных взглядов в обществе, к реальному образованию и т. д. (напр., статьи: Н. Страхова «Естественные науки и общее образование», 1864, № 7; «Разлад» Н. Соловьева, 1865, кн. 2, и др.).

[20] *Разочарование Григорьева в г. Щапове изображено им... в последней его критической статье, помещенной в июльской книжке «Эпохи».* — В статье «Отживающие в литературе явления» («Эпоха», 1864, кн. 7) А. Григорьев писал, имея в виду А. П. Щапова, о «вакхическом бреде «поморных» историков о расколе». Щапов в своих исследованиях по истории раскола, публиковавшихся в 1860-х гг., впервые пытался выяснить социальную сторону раскола, подчеркивал демократические тенденции в нем.

[21] Цитата из лирической драмы А. Н. Майкова «Три смерти».

[22] *«Москвитянин» 50-х годов* — см. прим. 10 к статье «Русский Дон-Кихот» (данн. изд., т. 1).

[23] *...Писемский, написавши очень хороший рассказ «Батька»...* — Рассказ Писемского «Батька» был первоначально опубликован в журнале «Русское слово», 1862, кн. 1. — *...в своем знаменитом романе, доказывающем очень убедительно необходимость мертвого застоя.* — В антинигилистическом романе «Взбаламученное море» (1863). — *...это превращение действительно произведено им на страницах «Отечественных записок», в которых он описывает... «Русских лгунов».* — Очерки Писемского «Русские лгуны» печатались в «Отечественных записках» за 1865 г. (январь—март). В этих очерках Писемского, где изображаются типы «русских Мюнхгаузенов», нашел свое отражение кризис Писемского как писателя-реалиста в середине 1860-х гг. К тому же наиболее острые эпизоды в этих очерках не были пропущены цензурой при опубликовании очерков в «Отечественных записках». — *«Отечественные записки»* — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[24] *«Развлечение»* — см. прим. 8 к статье «Реалисты».

[25] *Мальчишки* — см. прим. 25 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.

[26] *...в статье... «Сердитое бессилие» я достаточно охарактеризовал одного из таких истребителей.* — Имеется в виду В. П. Клюшников и его антинигилистический роман «Марево».

[27] *Не могу... пройти молчанием одну любопытную заметку, помещенную в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» г. Стебницким...* — В кн. 12 журнала «Библиотека для чтения» (см. об этом журнале прим. 42 к статье «Реалисты») за 1864 г. Н. С. Лесков (Стебницкий) поместил «Объяснение» по поводу своего антинигилистического романа «Некуда», только что опубликованного в 1864 г. в том же журнале. Роман Лескова, направленный против демократического движения 1860-х гг. и содержавший грубо шаржированное изображение и клеветнические намеки на некоторых действительных лиц, вызвал резкие протесты в передовых кругах. В своей заметке по поводу романа, написанной в истерическом тоне, Лесков неудачно пытался отрицать наличие «портретности» в действующих лицах своего романа.

[28] *...в самом конце 1861 года... разнесся слух, что... Чичерин... сделался почему-то лицом неприкосновенным для литературной критики.* — 28 октября 1861 г. Б. Н. Чичерин прочитал в Московском университете вступительную лекцию по государственному праву (тогда же опубликованную в «Московских ведомостях»). В этой лекции он оправдывал самодержавие, выступал против демократического движения, призывал студентов стоять вдали от

политики и т. д. Лекция Чичерина вызвала одобрение в правительственных кругах. Цензуре вскоре было дано указание не пропускать в печати ничего, что задевало бы Чичерина. — ...*«Русский вестник» с горячим негодованием стал опровергать этот слух...* — Катков пытался опровергать этот слух, обвиняя демократические круги в клевете на Чичерина в статье (неподписанной) «Какой бывает вред от монополий?» («Русский вестник», 1861, кн. 11, «Литературное обозрение и заметки», стр. 46).

[29] ...*вы — честнейший человек и провинились только тем, что пустили к себе в дом этого подслушивающего и подсматривающего господина.* — Намек на то, что Лесков в доме у экономиста И. В. Вернадского, где он жил в 1860—1861 гг., и в кружке Е. В. Салиас де Турнемир (Евгении Тур), где он вращался в это время, встречался с некоторыми участниками демократического движения 1860-х гг., которых вывел в резко памфлетных тонах в романе «Некуда» (напр., А. И. Ничипоренко, В. А. Слепцова и др.).

[30] К этому месту статьи в первом издании сочинений дано характерное примечание издателя: «И журналов и писателей таких оказалось в изобилии. Чего другого, а равнодушия самого возмутительного у нас не стать занимать».

[31] ...*г. Аверкиев, — тот самый, который терпеть не может популяризаторов вообще и Карла Фохта в особенности...* — Д. В. Аверкиев в статье «По поводу самопризнаний двух петербуржцев» («Эпоха», 1864, кн. 11) сделал выпад против одного из «Внутренних обозрений» Г. З. Елисеева в «Современнике», где последний, между прочим, говорил о популяризации научных знаний как важной задаче демократической литературы. Обвиняя демократическую публицистику в «извращении понятий», Аверкиев писал: «Эх, господа, где же ваше знание естественных-то хоть наук? А еще из Карла Фохта выписки делаете: он хоть и незавидный натуралист, да и то знает, как органическое развитие происходит» (стр. 12). Там же Аверкиев нападал и на Писарева, припомнив, не называя критика по имени, одно место из «Схоластики XIX века» (см. отрывок, начинающийся словами «Бей направо и налево» в т. 1 данн. изд., стр. 135). Нападки на популяризаторов содержались и в статье Аверкиева «Университетские отцы и дети» («Эпоха», 1864, кн. 1—3), содержавшей полемику со статьей Писарева «Наша университетская наука».

[32] «Признание» Писарева нельзя принимать всерьез. С русскими летописями он был знаком еще в студенческие годы.

[33] ...*автор «Мамаева побоища»... вступал в состязания с г. Н. Костомаровым...* — В академическом «Месяцеслове на 1864 г.» Н. И. Костомаров поместил статью «Куликовская битва», в которой дал искаженную характеристику Димитрия Донского. По поводу этого разгорелась в 1864 г. полемика. С возражениями Костомарову и с выпадами против него выступил в газете «День» Погодин. В полемике приняли участие и другие журналы. Аверкиев опубликовал в кн. 3 журнала «Эпоха» за 1864 г. статью «Г. Костомаров разбивает народные кумиры», где, не присоединяясь к выпадам Погодина, вместе с тем подверг критике попытку Костомарова принизить личность Димитрия Донского. Костомаров раздраженно отвечал Аверкиеву в газете «Голос», 1864 г., № 124. На это последовала ответная заметка Д. Аверкиева «Как отвечают гг. профессора» («Эпоха», 1864, кн. 4). Писарев, как видно

из этого, пристрастно оценивает данный эпизод. Объясняется это тем, что «Русское слово» видело в полемических замечаниях Аверкиева не столько защиту Димитрия Донского, сколько, как об этом писал В. Зайцев («Перлы и адаманты русской журналистики» в кн. 6 журнала за 1864 г.), стремление реакционного журналиста «доказать, что чувства (т. е. верноподданнические чувства. — *Ред.*) г. Костомарова не имеют надлежащей пылкости».

[34] *...редакция «Современника»... которая ведет непримиримую войну с Тургеневым?* — Имеются в виду резкие отзывы, которые в своих статьях постоянно давал о романе «Отцы и дети» Тургенева М. А. Антонович. Еще в статье 1862 г. «Асмодей нашего времени» (см. прим. к статье «Базаров» в т. 2 данн. изд.) расценив роман как карикатуру на молодое поколение, Антонович продолжал в статьях и заметках 1864—1865 гг. («Современные романы», «Русскому слову» и др.) отстаивать эту свою точку зрения.

[35] *Moral restraint* («нравственное самовоздержание») — распространенное у представителей английской буржуазной политической экономии — последователей Мальтуса — утверждение, что трудящиеся должны воздерживаться от деторождения, поскольку якобы причиной ухудшения положения масс является то, что население растет гораздо быстрее, чем средства к существованию.

[36] Цитата из «Мертвых душ» Гоголя (начало гл. 1 тома II).

[37] Имеется в виду статья Каткова (неподписанная) «Наш язык и что такое свистуны?» («Русский вестник», 1861, кн. 3), где Катков выступил с нападками на демократическую литературу за проводимые в ней идеи эмансипации женщины.

[38] *...в последнее время «Московские ведомости»... рассуждали очень много о превосходстве классического образования над реальным...* — В газете «Московские ведомости» в 1865 г. появилось несколько статей, в которых говорилось, со ссылками на разного рода западноевропейские «авторитеты», о необходимости развивать классическое образование. Спор о классическом и реальном образовании имел в эти годы определенный политический смысл. Защитники классического образования в реакционной печати стремились изолировать школу от воздействия демократических идей. Писарев вскоре принял участие в этом споре, выступив со статьей «Педагогические софизмы» («Русское слово», 1865, кн. 5), подвергшей острой критике доводы сторонников классического образования из «Московских ведомостей» и славянофильской газеты «День».

[39] Писарев далее цитирует рецензию на сборник повестей и рассказов беллетриста 1860-х гг. Н. Д. Дмитриева «Недалекое прошлое» из журнала «Библиотека для чтения», 1865, № 2.

[40] Цитируемые здесь рассуждения Аверкиева о «Подлиповцах» Ф. М. Решетникова взяты из его статьи «По поводу самопризнаний двух петербуржцев» («Эпоха», 1864, кн. 11). Пытаясь «обличить» Решетникова в незнании народного быта, реакционный критик выступал против произведений демократической литературы о народе вообще, обвиняя ее в «сентиментальности», в «нытье» и т. д. Характерно для направления этой статейки, что Аверкиев тут же делает грубый выпад против Радищева и его «Путешествия из Петербурга в Москву».

[41] Н. Соловьев отвечал на этот вызов в третьей статье «Вопрос об искусстве», что он-де имел в виду не Писарева, «а одного критика «Подводного камня» (М. Авдеева), который также восставал против открытой измены, изображенной г. Авдеевым» («Отечественные записки», 1865, июнь, кн. 1, стр. 79).

[42] Статья Евгении Тур о «Казаках» Л. Н. Толстого («Кавказская повесть гр. Л. Толстого») появилась в «Отечественных записках», 1863, кн. 6. В указанном критическом этюде Е. Л. Маркова, также посвященном «Казакам», автор, высоко оценивая повесть Толстого как художественное произведение и критикуя его взгляд на народную жизнь и цивилизацию, вместе с тем иронически отнесся к статье Евг. Тур. Марков справедливо обвинял Е. Тур в том, что, ополчаясь против философии Толстого, она оказалась бессильна в оценке материалов его повести, игнорировала художественное значение ее.

[43] Имеется в виду отношение критика «Отечественных записок» С. С. Дудышкина к статье Писарева «Физиологические эскизы Молешотта» (1861). В кн. 8 «Отечественных записок» за 1861 г. Дудышкин (в «Обзоре русской литературы»), произвольно излагая одно место в указанной статье Писарева, осмеивал мысли Молешотта, передаваемые Писаревым, о том, что «движение идей, начавшееся в XVIII веке, совпадает с введением в Европе чая и кофе во всеобщее употребление» (см. статью Писарева «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд., стр. 158—159). Во вводной заметке редакции к переводу «Мнений Бокля о сочинениях Милля» («Отечественные записки», 1865, № 1, стр. 118) опять иронически говорилось по этому поводу: Бокль «чуть-чуть не говорил (но ему, Боклю, подсказывали в одном журнале), что кофе — произвел реформацию, а чай — многие революции, ибо Бокль допускал влияние физических причин на исторический ход событий... И все уверовали насчет участия чаю и кофе в политических и религиозных революциях Западной Европы».

[44] *«Нерешенный вопрос»* — название, данное цензурой статье Писарева «Реалисты» при опубликовании ее в «Русском слове».

[45] *«Я свищу-свищу — и не еду».* — Каламбур Писарева основан на особом значении, придававшемся глаголу *свистеть* в журналах 1860-х гг. (см. прим. 23 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.). Каламбур по поводу Постороннего сатирика (М. А. Антоновича) можно «перевести» так: «Я выступаю в качестве представителя демократической («свистящей») критики, но не имею успеха (в полемике с «Русским словом»)».

[46] *С апрельской книжки я начну ряд статей о Пушкине...* — Имеются в виду статьи «Пушкин и Белинский», первая из которых появилась в кн. 4 «Русского слова» за 1865 г.

[47] Цитируемые здесь сведения о Прудоне приводятся во второй февральской книжке «Отечественных записок» за 1865 г. в отделе «Интересы литературы и науки на Западе» (стр. 265).

[48] «Уголино» Н. А. Полевого и «Джулио Мости» Н. В. Кукольника — ходульно-романтические драмы 1830-х гг.

[49] *Лукошко* — см. прим. 10 к статье «Реалисты».

[50] Здесь и далее Писаревым цитируются отдельные места из полемической заметки М. А. Антоновича (псевдоним: «Посторонний сатирик») «Русскому слову» («Современник», 1865, кн. 1, отдел «Литературные мелочи»). В ней

Антонович ставил перед редакцией «Русского слова» тринадцать вопросов, касавшихся статьи Писарева «Нерешенный вопрос» и отношений «Русского слова» к «Современнику» и наследию Чернышевского и Добролюбова, и требовал, чтобы «Русское слово» вперед «не отлынивало от ответов». С этой целью Антонович обозначает каждый вопрос особым номером и, обращаясь к редакции «Русского слова», говорит: «Если вы уклонитесь от какого-нибудь из них, то я... прямо носом ткну вас на номер, не получивший от вас ответа и объяснения» (стр. 157). Говоря здесь и далее о «призраке», который преследует или обижает Антоновича, Писарев стремится подчеркнуть необоснованность обвинений Постороннего сатирика в отношении «Русского слова».

[51] Вспоминая в своей заметке «Русскому слову» о «прахе поверженного... г. Косицы», Антонович имеет в виду полемику «Современника» с журналом «Эпоха», и в частности с одним из сотрудников последнего Н. Н. Страховым (псевдоним: «Н. Косица»). Эту полемику в течение нескольких месяцев 1864 г. вели М. Е. Салтыков-Щедрин и М. А. Антонович. В частности, в статье «Любовное объяснение с «Эпохой» («Современник», 1864, кн. 10) Антонович, отвечая Страхову, подверг резкой критике идеалистические позиции и философский эклектизм Страхова.

[52] *«Будильник»* — сатирический журнал с карикатурами издавался с 1865 г. известным художником-карикатуристом Н. А. Степановым. «Будильник» принял участие в полемике между «Современником» и «Русским словом»; в 1865 г. журнал поместил несколько фельетонов, эпиграмм и пародий, направленных против Благосветлова и других сотрудников «Русского слова», в частности, и против Писарева.

[53] *...г. Зайцев и г. Благосветлов превратились в два бутерброда...* — Посторонний сатирик (Антонович) в ответ на полемические выпады Писарева в «Нерешенном вопросе» также прибегнул к оскорбительным эпитетам. «Если «Русское слово», — писал он в заметке «Русскому слову» (предварительные объяснения), — назвало критику «Современника» вообще и г. Антоновича в частности *«лукошком глубокомыслия»*, то, стало быть, и я имею полное право назвать критику «Русского слова»... ну, как бы ее назвать? — ну, хоть *бутербродом глубокомыслия...* и, говоря о критикантах «Русского слова», я буду выражаться так: бутерброд с глубокомыслием г. Благосветлова, бутерброд с глубокомыслием г. Зайцева и т. д.» («Современник», 1864, кн. 11—12, «Литературные мелочи», стр. 169).

[54] *...один из бутербродов заключает союз с американскими плантаторами...* — Речь идет о рецензии В. А. Зайцева на «Единство рода человеческого» Катрфажа («Русское слово», 1864, кн. 8). Приняв под влиянием К. Фохта теорию происхождения различных человеческих рас от разных пород обезьян, Зайцев в этой рецензии утверждал неравенство белой расы и цветных племен, в частности — негров. Антонович в своей заметке «Русскому слову» резко осудил вывод Зайцева, утверждая, что «отрицать возможность равноправности негров значит отрицать возможность их свободы, значит утверждать неизбежность их рабства, значит сходиться во мнениях с американскими плантаторами». С аналогичными обвинениями выступили тогда и другие журналы. Зайцев отвечал на это в заметке «Ответ моим обвинителям по поводу моего мнения о цветных племенах» («Русское слово»,

1864, кн. 12). — *...другой — обижает г. Воронова...* — Имеются в виду отношения между писателем М. А. Вороновым и Г. Е. Благосветловым, ставшие достоянием гласности в конце 1864 г. Воронов был сотрудником «Русского слова», но в 1864 г. ушел из него. Благосветлов печатно обвинил Воронова в том, что он не дал «Русскому слову» окончания своей повести «Тяжелые годы», хотя получил за нее вперед гонорар. Антонович («Посторонний сатирик») осмеял Благосветлова в связи с этой жалобой в заметке «Денежное несчастие с г. Благосветловым» («Современник», 1865, кн. 1, «Литературные мелочи») и обвинил его в эксплуатации сотрудников. Благосветлов отвечал на это в кн. 1 «Русского слова» за 1865 г. заметкой «Буря в стакане воды, или копеечное великодушие г. Постороннего сатирика».

[55] *...сердце г. Постороннего сатирика... изнывает за покойного А. Григорьева, обворованного г. Писаревым...* — В указанной заметке «Русскому слову» Антонович выдвигал утверждение, что взгляд Писарева на Катерину в статье «Мотивы русской драмы» совпадает со взглядом на нее А. Григорьева, высказанным в статьях последнего «После «Грозы» Островского» (1860) и «Искусство и нравственность» (1861). Кроме полемики с выводами Добролюбова (но совершенно с разных позиций), между статьями Григорьева и Писарева не было ничего общего. — *...изнывает за «одно лицо», обиженное призраком...* — «Одним лицом», которое «заведовало исключительно и безраздельно» редакцией «Современника» в 1862 г., Антонович в своей заметке по цензурным условиям называет Чернышевского. Антонович напоминал при этом, что его статья об «Отцах и детях» — «Асмодей нашего времени» — была одобрена Чернышевским. Поэтому он заявлял, что оскорбления, брошенные Писаревым в адрес Антоновича как автора указанной статьи, «принадлежат и этому лицу». — *...изнывает за Шопенгауэра, искаженного г. Зайцевым...* — Имеется в виду статья В. А. Зайцева «Последний философ-идеалист» («Русское слово», 1864, кн. 12). В ней Зайцев некритически отнесся к Шопенгауэру и провозгласил его «последним идеалистом», который якобы «расчистил поле для деятельности естественных наук и доказал и словом и примером необходимость заменить метафизические разглагольствования эмпирической философией» (В. А. З а й ц е в, Избранные сочинения, т. I. М. 1934, стр. 268). Антонович, указав в своей заметке «Русскому слову» на существенные ошибки Зайцева в вопросах философии, затем подверг критическому разбору его взгляды в своей статье «Промахи».

[56] *...ответ... был вам дан в октябрьской книжке...* — Имеется в виду опубликованный в «Русском слове» (кн. 10 за 1865 г.) неподписанный «Ответ «Современнику». В нем редакция журнала, отвечая на вопрос Антоновича, заявила, что она солидарна со статьей Писарева. Там же указывалось, что разбор взглядов Антоновича на роман «Отцы и дети» вызывается также и тем, что, помимо «Асмодея нашего времени», Антонович высказал свое отрицательное отношение к этому роману также в позднейшей статье «Современные романы» (1864). Осуждая эти статьи, редакция «Русского слова» вместе с тем писала: «Сознаем всю бесполезность полемики, особенно в такое время, когда она, кроме удовольствия нашему журнальному стаду, не может оказать существенных услуг литературе». И далее: «Русское слово» может расходиться с «Современником» на частных и отдельных вопросах, но оно

настолько уважало общую идею, что не решится пожертвовать этой идеей в пользу какого-нибудь личного самолюбия». Кроме того, редакция «Русского слова» заявляла, что нет, по ее мнению, и предмета для полемики, так как и Писарев не отрицал, что Тургенев не симпатизирует Базарову; однако материалы романа дают возможность вообще поговорить о значении реализма. Писарев, заявляла редакция, хотел в своей статье «показать важное значение базаровского элемента в жизни общественной и семейной, в науке и искусстве». Притом «Русское слово» высказывало уверенность, что этот «базаровский элемент» уважает и «Современник». На это Антонович в кн. 12 «Современника» за 1864 г. решительно указывал, что «элементов, сочиненных Тургеневым», «Современник» не уважает. Именно этот ответ «Русского слова» Антонович и считал «отлыниванием» от объяснений.

[57] К этому полемическому выпаду Писарева в отношении Щедрина в ч. 9 первого издания сочинений было дано следующее примечание, подписанное «Издателем» (Ф. Павленковым): «Новым доказательством такого взгляда на смех нашего вице-литератора и кавалера Щедрина может служить его рассказ «Новый Нарцисс», нашедший себе приют не в «Литературной библиотеке» и не в приложении к «Вести», а в обновленных «Отечественных записках» 1868 г.». Поскольку ч. 9 сочинений появилась в свет уже после смерти Писарева, нельзя судить, было ли это ироническое примечание дано с его согласия.

[58] *...за вами... «Полемические красоты»*, т. е. цикл статей «Полемические красоты» Чернышевского, опубликованный в «Современнике» 1861 г. и направленный против либерально-охранительной и реакционной журналистики.

[59] Подзаголовок «Предварительные объяснения» имела заметка Антоновича «Русскому слову», опубликованная в кн. 11—12 «Современника» за 1864 г.

[60] В кн. 1 «Русского слова» за 1865 г. была помещена статья А. П. Щапова «Историко-этнографическая организация русского народонаселения».

[61] *Кто громит г. Лохвицкого, тому восставать против гласности не приходится.* — Писарев вспоминает здесь характерный эпизод из полемических выступлений «Современника» в 1864 г. В отделе «Внутреннее обозрение» в кн. 10 «Современника» за 1864 г. Г. З. Елисеев выступил с критикой статьи либерального профессора юриста А. В. Лохвицкого «Гласность, суд и газеты», опубликованной в газете «Голос» (1864, 19 апреля). Статья Лохвицкого была направлена против гласности. В дальнейшем между Елисеевым и Лохвицким развернулась полемика, в которой «Современник» отстаивал развитие гласности. В заметке же «Денежное несчастие с г. Благосветловым» («Современник», 1865, кн. 1) Антонович осмеивал Благосветлова за то, что он предал гласности историю с М. А. Вороновым (см. прим. 54).

ПУШКИН И БЕЛИНСКИЙ

Впервые статьи были опубликованы в журнале «Русское слово», 1865, кн. 4 («Евгений Онегин») и кн. 6 («Лирика Пушкина»). Затем вошли в ч. 3 первого издания сочинений (1866). В первом издании в конце второй статьи поставлена дата появления этой статьи в журнале: «1865 г., июнь».

Журнальный текст содержит некоторые отличия от текста первого издания. Они касаются прежде всего способа цитирования поэтических произведений Пушкина. В «Русском слове» Писарев, при первой же цитате из «Евгения Онегина», обращается к читателю со следующим характерным замечанием: «Делая выписки из Пушкина, я, для сбережения места, буду писать стихи в строку, как презренную прозу». Действительно, почти все стихотворные цитаты в журнальном тексте даны в строку. При этом некоторые из этих цитат сопровождаются предложениями, вводящими их (иногда иронического свойства): «говорит Пушкин», «продолжает наш поэт», «отвечает поэт», «говорит бессмертный гений» (при цитате из «Памятника»), «продолжает неутомимый льстец» (при цитировании слов Онегина, обращенных к Татьяне, из гл. IV романа) и т. д. В тексте первого издания такой способ цитирования стихов Пушкина сохранился лишь частично в конце второй статьи. В журнале первая статья имеет следующее окончание: «Это обстоятельство выяснится вполне в следующей статье моей о Пушкине и Белинском, которую я надеюсь представить читателям в непродолжительном времени». Кроме того, по цензурным условиям в журнальном тексте второй статьи роман «Что делать?» именуется «эпопеей о белой Арапии» или просто «эпопеей». Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с исправлением отдельных его опечаток.

Замысел дать полемическую характеристику творчества Пушкина, подкрепив ею изложение «теории реализма», возник у Писарева еще в 1864 г. «Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, — писал он в «Нерешенном вопросе» («Реалисты») в ноябрьской книжке «Русского слова» за 1864 г., — состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию, и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, постараюсь всетаки со временем подвинуть это дело вперед, представляя читателям «Русского слова» ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека». * Там же он впервые уведомлял читателей «Русского слова», что впоследствии представит «ряд статей под заглавием «Пушкин и Белинский». В статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев уже прямо указывал: «С апрельской книжки я начну ряд статей о Пушкине».

Таким образом, эти две статьи представляют только часть большого и полностью не осуществленного Писаревым замысла дать, с позиций его «теории реализма», характеристику литературного наследия. Можно также утверждать, что осталось полностью неосуществленным и намерение его дать «*ряд* статей» о Пушкине, так как в журнальном тексте «Реалистов» Писарев указывал, что он *подробно* разберет *всю деятельность* Пушкина. (В конце второй статьи о Пушкине Писарев, впрочем, говорит уже, что он не имел такого намерения.)

---

* Несколько ранее, в статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби», Писарев включал в круг этого необходимого для мыслящих реалистов чтения также и произведения Пушкина.

Статьи о Пушкине и Белинском, содержавшие резкую и ошибочную, лишенную историзма оценку творчества поэта и исполненные самого сильного полемического духа, вызвали враждебные отклики в журналистике того времени. Критика либерального и реакционного направления использовала их (см., например, статьи Н. Соловьева «Вопрос об искусстве» в журнале «Отечественные записки» за 1865 г.) для того, чтобы обвинить демократическую критику в поношении Пушкина, в непонимании и отрицании искусства и т. д. Но, раздувая в целях борьбы с демократической литературой действительные ошибки Писарева, эта критика замалчивала тот факт, что статьи Писарева прежде всего стремились нанести удар по теории «чистого искусства». Известная недооценка этой стороны полемических статей Писарева имела место и в последующих отзывах о них.

[1] Писарев цитирует статьи о Пушкине по ч. VIII Сочинений В. Г. Белинского в издании Солдатенкова и Щепкина, М. 1860.

[2] Помяловский писал об этом в повести «Молотов».

[3] *...чувства остроумного джентльмена, завидующего счастливому бревну...* — Ср. популярный в 1860-х гг. романс:

Вдруг я вижу, чья-то ножка
Оперлася на бревно.
Я влюблен был в эту ножку, —
Но вам это все равно...
И сказал я чрез окошко:
«Ах! зачем я не бревно!»

[4] *Анталкидов мир* — мирный договор, заключенный уполномоченным Спарты Анталкидом с персидским царем в 387 г. до н. э.; к договору позднее присоединились и другие греческие государства. — *Договор Олега с греками* был заключен в 911 г. после успешного похода Олега в Византию. — *«Священный союз»* был заключен в 1815 г. между правительствами Австрии, России и Пруссии с целью препятствовать развитию движения европейских народов против национального и феодального гнета. — *Венский конгресс* (1814—1815) завершил войны коалиций европейских держав против Наполеона I. Руководящую роль на конгрессе играли Россия, Австрия и Англия. Конгресс завершился созданием так называемого «Священного союза». — *Карлсбадские конференции.* — На конференции германских государств в Карлсбаде, созванной по инициативе реакционного австрийского министра Меттерниха в 1819 г., были приняты постановления о репрессиях против революционного движения в Германском союзе.

[5] Статью девятую в цикле статей о Пушкине.

[6] Здесь корректурный пропуск в цитате из Белинского, имеющий место как в журнальном тексте статьи Писарева, так и в первом издании сочинений; пропущенное взято нами в прямые скобки.

[7] Здесь и далее Писарев цитирует «Материалы для биографии Пушкина», составившие т. I Сочинений А. С. Пушкина в издании П. В. Анненкова (СПб. 1855).

[8] *Калинович* — герой романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ».

[9] *В некоторых журналах не раз высказывалось... мнение, что Гоголь не знал великорусской жизни.* — Такое мнение было характерно для представителей реакционной и либеральной критики 1840—1850-х гг. (напр., для статей Шевырева в «Москвитянине», для статей А. Григорьева в «Москвитянине» и «Времени», Дружинина — в «Библиотеке для чтения»), говоривших об одностороннем и якобы неверном изображении русской жизни у Гоголя. — *...некоторые малороссийские писатели упрекают Гоголя в незнании малорусского быта...* — Особенно отличался этим П. Кулиш, который с позиций буржуазного национализма отрицал какое-либо значение за украинскими повестями Гоголя, утверждая, что Гоголь не знал якобы ни украинского быта, ни украинской истории (напр., в статье «Обзор украинской словесности» в журнале «Основа» за 1861 г.).

[10] В письме к Н. Н. Страхову от 12 декабря 1861 г., опубликованном в журнале «Эпоха», 1864, кн. 9 (стр. 28) в «Воспоминаниях об А. А. Григорьеве» Н. Страхова.

[11] *Свистун* — см. прим. 23 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[12] Здесь Писарев применяет термин, впервые выдвинутый для обозначения революционно-демократической критики Добролюбовым.

[13] Имеется в виду работа Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». «Отечественные записки», ставшие с 1847 г., после ухода из них Белинского, типичным органом либерального направления, начали со второй майской книжки за 1865 г., в связи с выходом второго издания работы Чернышевского, публиковать серию статей Н. Соловьева «Вопрос об искусстве», направленную против материалистической эстетики и демократической литературы.

[14] Писарев имеет в виду полемику, поднятую «Современником» вокруг его «Нерешенного вопроса» («Реалистов»). Он постоянно подчеркивал, что, на словах защищая позиции Чернышевского и Добролюбова, Антонович вместе с тем отходит от этих позиций в сторону либерализма.

[15] Говоря о *смелых и блистательных salto mortale* В. А. Зайцева, Писарев имеет в виду высказывания Зайцева по вопросам литературы и искусства в 1863—1865 гг. Зайцев в них нередко прибегал к очень грубым, узко утилитаристским формулировкам. Так, в рецензии на «Историю французской литературы» Ю. Шмидта («Русское слово», 1864, кн. 3) он заявлял: «Пора понять, что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько положительное число, как бы ни было мало, больше нуля». В его рецензии на перевод драм Эсхила («Русское слово», 1864, кн. 12) доказывалось, что театр вреден. Эти и подобные опрометчивые заявления Зайцева вызывали злые насмешки в журналах того времени. Сходясь с Зайцевым в освещении некоторых вопросов эстетики, Писарев, однако, не разделял полностью его взглядов.

[16] Писарев вспоминает здесь статейку М. Н. Лонгинова «Белинский и его лжеученики», напечатанную в кн. 6 «Русского вестника» за 1861 г. («Современное обозрение и заметки»). См. о ней в статье «Московские мыслители» (данн. изд., т. 1, стр. 318). — О *«Русском вестнике»* см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[17] *...перегородки, которых падение красноречиво оплакивает... г. Incognito.* — Incognito (Е. Ф. Зарин) в статье «Предисловие к литературному обозрению. О качестве и количестве прогресса в новейшем движении нашей литературы» («Отечественные записки», 1865, февраль, кн. 2) сетовал на «недостаточное разграничение различных областей человеческого духа», что отражается, по его мнению, и в том, что в статьях демократической критики рядом с литературными вопросами поднимаются вопросы философии, истории и т. д. Эту статью Писарев подверг критике в «Прогулке по садам российской словесности» (см. гл. X).

[18] *Мальчишки* — см. прим. 25 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[19] См. сцену I из «Утра делового человека» Гоголя (Писарев смешивает здесь двух персонажей этой комедии: Александра Ивановича с Иваном Петровичем).

[20] Ср. у А. Н. Майкова в стихотворении «Анакреон скульптору»:

Художники, как боги,
Входят в Зевсовы чертоги...

У Я. П. Полонского:

Мое сердце — родник,
Моя песня — волна...

См. также строфу 1 главы 8 «Евгения Онегина».

[21] *...успех «Губернских очерков» положил... прочное основание могуществу «Русского вестника».* — См. прим. 10 к статье «Сердитое бессилие».

[22] Речь идет об антинигилистическом романе Писемского «Взбаламученное море» (1863). О *нападениях «Искры»* на Писемского см. прим. 34 к статье «Московские мыслители» (данн. изд., т. 1).

[23] Каламбур Писарева имеет в виду журнал «Русское слово».

[24] Цитата из письма П. Я. Чаадаева Пушкину (март — апрель 1829 г.). В «Материалах» Анненкова приводилось без указания имени корреспондента.

[25] Цитата из стихотворения Я. П. Полонского «На Женевском озере».

[26] *Бедлам* — дом для умалишенных в Лондоне. — *Бисетра* — старинный замок близ Парижа, где помещались престарелые инвалиды, а также умалишенные.

[27] Писарев цитирует стихотворение в том виде, в каком оно печаталось в первых изданиях сочинений Пушкина, т. е. с вызванными цензурой искажениями текста.

[28] *Рыцарь Тогенбург* — герой одноименной баллады Шиллера.

[29] *...неужто... было неслыханною дерзостью назвать добряком того поэта...* — Писарев назвал Шиллера «добряком» в статье «Реалисты» (см. данн. том, стр. 44). Это место из «Реалистов» было осмеяно Е. Ф. Зариным (псевдоним: Incognito) во второй февральской книжке «Отечественных записок» в статье «Предисловие к литературному обозрению» (стр. 701—703). Об этом же критически писал и Н. И. Соловьев в статье «Разлад» («Эпоха», 1865, кн. 2, стр. 9).

[30] *...романа, на который... клеветали солидные люди нашей литературы.* — Речь идет о «Что делать?» Чернышевского. *Солидными людьми* Писарев иронически называет представителей реакционной критики.

[31] В «Мотивах русской драмы», говоря о Краснове, «русском Отелло», из драмы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет», Писарев замечает: «Средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы, а нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами». Там же он говорил о Краснове, что тот «сдуру зарезывает свою жену... на которую и сердиться не стоило» (см. данн. изд., т. 2, стр. 394). Эти замечания Писарева вызвали характерную реакцию у А. Григорьева в статье «Русский театр в Петербурге» («Эпоха», 1864, кн. 3). Говоря о трагическом характере Отелло и Краснова, Григорьев писал: «Ведь уголовщина вовсе не то, что драма, и жизнь голая вовсе не то, что искусство. Старая это истина, но ее приходится повторять в наше время». И далее: «Разумеется, я беру Краснова драмы, Краснова Островского... а не того, какого хотели бы видеть наши отрицатели вопреки смыслу драмы... Ни самодур, ни положительный домохозяин и тем менее телóк не зарезали бы Татьяны Даниловны... Кровавая же развязка тут вовсе не случайность, а роковая необходимость, обусловленная русскою, но исключительною натурой героя, — и потому-то это трагедия, а не простая уголовщина» (стр. 228—229).

[32] *Это место я рекомендую тому жалкому пигмею, который обвинял Помяловского в стремлении восстановлять детей против родителей.* — См. прим. 3 к статье «Сердитое бессилие».

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1865, кн. 5. Затем вошла в ч. 4 первого издания сочинений (1867). Расхождения между текстом статьи в журнале и в первом издании существенны. В «Русском слове» иначе оканчиваются гл. III, гл. V и гл. VII статьи, а также имеются целых две главы (VIII и IX), не вошедшие в первое издание. Все эти исключенные в первом издании части статьи связаны с полемикой между «Русским словом» и «Современником» и направлены против М. А. Антоновича. В последующих переизданиях статьи «Разрушение эстетики» в т. IV шеститомного собрания сочинений (Ф. Ф. Павленкова) она неизменно воспроизводилась в редакции первого издания. Лишь в издании «Избранных сочинений в двух томах» (т. II, М. 1935; редакция текста Н. Ф. Бельчикова) статья была дана по тексту «Русского слова». В примечаниях к «Разрушению эстетики» в этом издании говорится, что «данная статья обратила на себя внимание цензуры и при переиздании ее в 1-м издании и затем во 2-м издании. Возможно, что все указанные сокращения были сделаны по требованию цензуры» (указ. изд., стр. 599). Но это не совсем так. Известно, что первое издание сочинений издавалось без предварительной цензуры, и цензура рассматривала выпуски этого издания уже после их отпечатания. При этом ч. 4 первого издания не вызвала при своем выходе цензурных преследований. Лишь при втором изда-

нии ч. 4 сочинений (1872 г.), наряду с другими статьями, вызвала цензурные преследования и статья «Разрушение эстетики»; но она была напечатана там уже в сокращенном виде. Исключенные же в первом издании части статьи не содержат ничего такого, что давало бы основания опасаться цензурных преследований в большей степени, чем за опубликование остального текста ее. Причины сокращения статьи в первом издании были иными. Эти сокращения были произведены несомненно с ведома автора и потому же, почему не была включена в первое издание полемическая статья «Посмотрим!» (см. примечания к ней). В условиях, когда на демократическую литературу в 1866 г. обрушились новые репрессии, а оба споривших ранее между собою журнала — «Современник» и «Русское слово» — были закрыты, ни издатель Павленков, ни сам Писарев не хотели возрождать прежние разногласия. Поэтому и оказались исключенными из текста «Разрушения эстетики» в первом издании все места, посвященные резкой полемике с Антоновичем и «Современником».

Мы поэтому воспроизводим здесь текст статьи по первому изданию; исключенные в первом издании части журнального текста, представляющие историко-литературный интерес, даются в приложении.

Статья «Разрушение эстетики» написана в связи с выходом в 1865 г. «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевского вторым изданием (вышедшим без указания имени автора, так как Чернышевский был тогда на каторге и его имя цензура не разрешала упоминать).

Статья, особенно в ее журнальной редакции, прямо связана с полемикой между «Современником» и «Русским словом» вокруг «теории реализма» Писарева. Еще в кн. 2 «Современника» за 1865 г. (в отделе «Литературные мелочи») М. А. Антонович (Посторонний сатирик) ставил перед Г. Е. Благосветловым вопрос: согласен ли он с теорией искусства Чернышевского? «Теперь вышла вторым изданием книга «Эстетические отношения искусства к действительности», — писал Антонович, — *ваши* сотрудники непременно должны вполне одобрить эту книгу как выражение положительного реалистического взгляда на искусство, должны восстать на тех, которые не разделяют этого взгляда и опровергают его» (стр. 385).

«Русское слово» откликнулось на второе издание книги Чернышевского прежде всего рецензией В. А. Зайцева в кн. 4 журнала за 1865 г. Одобряя эстетические идеи Чернышевского, Зайцев, занимавший в вопросах эстетики явно ошибочную грубо утилитаристскую позицию, стремился доказать, что они ведут к отрицанию искусства. Он утверждал, что искусство «не более как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме».

Статья Писарева явилась также своего рода ответом на полемический вызов Антоновича. В ней Писарев, защищая и поддерживая эстетические взгляды Чернышевского, дал свое истолкование некоторых основных положений его теории (об особенностях этой трактовки и ошибках, допущенных при этом Писаревым, см. вступительную статью к данному изданию, стр. XLIV—XLVI). Но, печатая в «Русском слове» свою статью, Писарев причислил к тем, кто не разделяет вполне взглядов Чернышевского на искусство, и самого Антоновича, вступив в полемику со статьей последнего «Со-

временная эстетическая теория», опубликованной в кн. 3 «Современника» за 1865 г. и также посвященной изложению эстетических идей Чернышевского. Для понимания этой полемики необходимо дать хотя бы краткую характеристику статьи Антоновича.

Антонович посвятил свою статью популярному изложению и защите эстетических взглядов Чернышевского. Во многом изложение этих взглядов у Антоновича правильное, и статья его сыграла свою роль в борьбе с идеалистической эстетикой и с направлением так называемого «чистого искусства». Антонович направлял свою статью также и против теоретических ошибок в решении основных вопросов эстетики, допускавшихся в «Русском слове» Писаревым и Зайцевым. Он упрекал их в том, что ими утрируется теория Чернышевского, проповедуется «сухой аскетический взгляд на искусство». Он справедливо указывал, что эстетика имеет полное право на существование, как необходимая часть философии, что нельзя забывать о специфике искусства и об общественном назначении всех его отраслей. Но в статье Антоновича имели место и положения расплывчатые, идущие навстречу излюбленным утверждениям либеральной критики, а в одном, и при этом очень существенном, вопросе Антонович допустил серьезную ошибку в истолковании взглядов Чернышевского. «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его», — писал в своей диссертации Чернышевский. * Антонович же, говоря о «первой задаче искусства», признавал таковой «воспроизведение прекрасного, существующего в природе и жизни». ** Это было суженным и неверным истолкованием тезиса Чернышевского о содержании искусства. Говоря об анализе прекрасного у Чернышевского, Антонович находил, что «в нем недостает элементарных физиологических оснований». И он «дополнял» Чернышевского отвлеченными рассуждениями о том, что «элементарное прекрасное прекрасно по своим чисто объективным свойствам, без всякого отношения к нашему психическому состоянию; это прекрасное нравится нам само по себе, а не потому, что соответствует нашим понятиям или даже безотчетным представлениям». ***

Ставя вопрос о пользе искусства для общества, Антонович допускал иногда расплывчатые объяснения в либеральном духе, вроде того места, которое критикуется и осмеивается Писаревым (см. стр. 508 этого тома). См. также следующее его утверждение: «Искусство оказало бы нам великую услугу, если бы оно живо воспроизводило пред нами эти бедствия и будило в нас интерес и сочувствие к ним. Самый жестокий злодей и мучитель содрогнулся бы, если бы пред его воображением нарисовали картину жертв, замученных им, и картину их мучений». **** Подобные высказывания в статье Антоновича и вызвали резкую реакцию со стороны Писарева в «Русском слове» (см. приложение в этом томе). Антонович отвечал на это в статье

---

* Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. II, М. 1949, стр. 92.

** М. А. Антонович. Избранные философские сочинения, Госполитиздат, 1945, стр. 266.

*** Там же, стр. 271—272.

**** Там же, стр. 277.

«Лжереалисты» в кн. 7 «Современника» за тот же год. Ответ на нее был дан Писаревым в статье «Посмотрим!».

Статья «Разрушение эстетики», несмотря на содержавшиеся здесь существенные ошибки в истолковании эстетического учения Чернышевского, вызывала сочувствие демократической молодежи и вражду со стороны реакционной критики страстной защитой основного тезиса Чернышевского о том, что искусство является воспроизведением действительности, своим требованием, чтобы каждое художественное произведение было связано с жизнью и имело общественно-значимое содержание, своей борьбой с теорией «чистого искусства». Характерно, что цензор де Роберти, рассматривая ч. 4 сочинений Писарева во втором издании (1872) и требуя ее запрещения, заявлял, что статья «Разрушение эстетики» «проникнута тем же отрицательным направлением в области искусства», что и диссертация Чернышевского (см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. И. Писарев и охранители — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 157).

[1] *...Лазарь Елизарыч... с своею супругою, Олимпиадою Самсоновною, урожденною Большовою* — из комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся».

[2] Цитируемая ниже статья принадлежит известному французскому эстетику-позитивисту Ипполиту Адольфу Тэну. Писарев неправильно расшифровал инициал его имени Н.—Hippolyte как Henri (Анри).

[3] *«Эпоха»* — см. прим. 42 к статье «Реалисты». — *«Атеней»* — «журнал критики, современной истории и литературы», выходивший в 1858—1859 гг. под редакцией Е. Ф. Корша; придерживался умеренно-либерального направления.

[4] Цитата из стихотворения А. Н. Майкова «Анакреон скульптору».

ПОСМОТРИМ!

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1865, кн. 9. В первом издании сочинений первоначально намечалась к включению в ч. 4, однако не вошла в нее. В предисловии «От издателя» (Ф. Ф. Павленкова) к ч. 4 первого издания (1867) читаем по поводу этого следующее: «В своих публикациях (об издании и составе первого издания сочинений. — *Ред.*) мы постоянно объявляли, что 4-я часть «Сочинений Д. И. Писарева» выйдет после 8-й. Это происходило потому, что мы не считали возможным принять на себя нравственную ответственность за возрождение похороненной полемики «Современника» с «Русским словом». Нам казалось, что после всем известных дней, когда та и другая партия вдруг оказались рассеянными, * кидать в какую-либо из них камнем значило бы работать в пользу тех, кто основывает свою силу на окружающем бессилии. Вот почему мы от всей души желали исключения из нашего издания статьи «Посмотрим!». Но понятно, что для

---

* Имеются в виду репрессии, последовавшие за покушением Каракозова на Александра II в апреле 1866 г., когда были закрыты и «Современник» и «Русское слово». — *Ред.*

такого исключения нам было все-таки необходимо согласие самого Д. И. Писарева, который, к сожалению, в то время находился в крепости. В полной надежде на получение его согласия в будущем мы и откладывали печатание той части (4-й), в которой было предположено автором поместить вышеупомянутую полемическую статью. По выходе 8-й части ожидаемое согласие было, наконец, нами получено». В дальнейшем статья «Посмотрим!» публиковалась в составе т. V шеститомного издания Ф. Ф. Павленкова (в изданиях 1894 и 1897 гг. с цензурными искажениями). Здесь статья воспроизводится по тексту «Русского слова» с исправлением отдельных его погрешностей.

«Посмотрим!» явилась заключительным эпизодом в почти двухлетней полемике между «Современником» и «Русским словом». В ней с наибольшей полнотой и отчетливостью очерчены основные вопросы спора.

Во вступительной статье (см. данн. изд., т. 1, стр. XLIX—LII) охарактеризованы причины, вызвавшие этот спор, и его направление. Здесь мы ограничимся лишь кратким обзором хода этой полемики на различных ее этапах.

Первый этап полемики падает на начало 1864 г. Он ознаменовался появлением фельетона Щедрина, обвиняющего редакцию «Русского слова» в отступлении от революционно-демократической программы, и ответными нападениями на Щедрина со стороны Писарева и Зайцева. Тогда же, в статье «Мотивы русской драмы», Писарев изложил свой взгляд на Катерину из «Грозы» Островского, полемизируя с основными выводами статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве» (см. подробнее в примечаниях к статьям «Цветы невинного юмора» и «Мотивы русской драмы» в т. 2 данн. изд.).

После этого первого столкновения наступило временное затишье, нарушенное в августе 1864 г. статьей Писарева «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» (она была направлена против романов А. Я. Панаевой (Н. Станицкого), печатавшихся в «Современнике»).

С новой и еще большей силой полемика разгорелась осенью и зимой 1864—1865 гг. в связи с опубликованием статьи Писарева «Нерешенный вопрос» («Реалисты»). Нападающим лицом в это время в «Современнике» стал М. А. Антонович, а «Нерешенный вопрос» — основным предметом обвинений, обращенных к «Русскому слову» со стороны «Современника».

В кн. 10 «Современника» за 1864 г., т. е. после опубликования в кн. 9 «Русского слова» первой части «Нерешенного вопроса», последовала заметка Антоновича (подписанная его псевдонимом: Посторонний сатирик): «Вопрос, обращенный к «Русскому слову». Антонович спрашивал редакцию журнала, согласна ли она со статьею «Нерешенный вопрос» и разделяет ли она положительное мнение ее автора об «Отцах и детях» и отрицательное мнение о статье Антоновича 1862 г. «Асмодей нашего времени», содержавшей резкую оценку «Отцов и детей». В неподписанной заметке «Ответ «Современнику» («Русское слово», 1864, кн. 10) было заявлено о солидарности редакции журнала с «Нерешенным вопросом», и печатание статьи Писарева продолжалось. В заметке говорилось, что статья «Нерешенный вопрос» продолжает ту линию в отношении романа Тургенева, которая была принята еще в статье Писарева 1862 г. «Базаров». «Г. Тургенев, — говорилось в «Ответе», — ...старался отнестись к Базарову, как к представителю современного реализма,

беспристрастно. Критике оставалось только разъяснить и дополнить те черты, которые г. Тургенев упустил из виду. В этом разъяснении весь смысл и вся задача «Нерешенного вопроса» (стр. 103). Редакция «Русского слова» при этом заявляла, что она не желает полемизировать с «Современником», потому что сознает *«всю бесполезность полемики*, особенно в такое время, когда она, кроме удовольствия нашему журнальному стаду (речь шла о реакционных журналах. — *Ред.*), не может оказать существенных услуг литературе».

В своем «Вопросе» в кн. 10 «Современника» Антонович писал, что он не начнет полемики до тех пор, пока не получит от редакции «Русского слова» печатного ответа. Получив этот ответ, он в кн. 11—12 «Современника» поместил под тем же псевдонимом заметку «Русскому слову» (предварительные объяснения)». В этой заметке он, подчеркивая, что считает «Нерешенный вопрос» вызовом «Современнику», приводил в подтверждение этого из статьи Писарева резкие полемические оценки статьи «Асмодей нашего времени». Антонович указывал, что попрежнему держится своего отрицательного взгляда на роман Тургенева, и обещал в дальнейшем дать подробный разбор «Нерешенного вопроса» и подвергнуть критике ошибки «Русского слова».

Однако еще на протяжении двух месяцев продолжалась переброска отдельными резкими полемическими заметками между «Русским словом» и «Современником». Помимо обвинений в отношении статей Писарева «Базаров», «Реалисты» и «Мотивы русской драмы», в своих заметках (уже названная заметка в кн. 11—12 «Современника», заметки «Русскому слову» и «Денежное несчастие с г. Благосветловым» в кн. 1 «Современника» за 1865 г.; «Глуповцы в «Русском слове» — кн. 2 за 1865 г.; «Барские лакеи в «Русском слове» и «Г. Зайцеву» в кн. 3 «Современника») Антонович резко критиковал В. А. Зайцева и нападал на редактора «Русского слова» Г. Е. Благосветлова. Зайцев был подвергнут Антоновичем острой критике за свое мнение о цветных племенах и за ошибки, допущенные им в статье «Последний философ-идеалист» (см. об этом прим. 54 и 55 к статье «Прогулка по садам российской словесности»). Благосветлову предъявлялись личные обвинения в беспринципности его как журналиста и в неблаговидных поступках как издателя-редактора журнала. *

Однако, несмотря на то, что полемика сразу пошла по нескольким направлениям, Антонович все же утверждал, что «главный предмет» спора представляет статья «Нерешенный вопрос». Сам Антонович формулировал основной спорный пункт следующим образом: «Есть ли созданный г. Тургеневым Базаров фига и карикатура, над которою нужно издеваться, или же он есть идеал, которому нужно подражать» («Современник», 1865, кн. 1, «Литературные мелочи», стр. 169).

---

* «Русское слово» отвечало на эти выступления Антоновича следующими заметками: в кн. 12 за 1864 г. — неподписанной заметкой «Г. Постороннему сатирику «Современника» и заметкой Зайцева «Ответ моим обвинителям по поводу моего мнения о цветных племенах»; в кн. 1 за 1865 г. заметкой Благосветлова «Буря в стакане воды, или копеечное великодушие г. Постороннего сатирика»; в кн. 2 — двумя ответными заметками Зайцева и одной Благосветлова. И Благосветлов и Зайцев касались при этом только тех обвинений, которые были брошены лично им.

Полемика сразу же приняла очень резкие и грубые формы и нередко переходила в личные обвинения. Писарев парировал нападения Антоновича в последнем разделе статьи «Прогулка по садам российской словесности» («Русское слово», 1865, кн. 3).

Лишь в кн. 2 «Современника» за 1865 г. Антонович (уже выступая под собственным именем) выполнил свое обещание дать подробный разбор ошибок «Русского слова». Там было помещено начало его статьи «Промахи». В первой части статьи была подвергнута основательной критике позиция В. А. Зайцева по вопросам философии. Во второй части статьи, опубликованной в кн. 4 «Современника» за 1865 г., Антонович, наконец, обратился и к разбору взглядов Писарева и его «Нерешенного вопроса» («Реалистов»). Однако и здесь Антонович не дал полного и объективного разбора ни содержания «Реалистов», ни идейной программы Писарева. Большую часть этой статьи заняли обвинения в том, что Писарев не понял цели тургеневского романа и что оценки «Отцов и детей» в статьях «Базаров» и «Реалисты» противоречат одна другой. И в этой статье Антонович пытался прежде всего оправдать свой отрицательный взгляд на «Отцов и детей». Наиболее сильной стороной статьи Антоновича явилась защита взгляда Добролюбова на Катерину и критика статьи Писарева «Мотивы русской драмы». В конце статьи Антонович писал, что он на время прерывает свои «рассуждения о «Нерешенном вопросе». Но продолжения статьи не последовало, а в дальнейшем полемика «Современника» с «Русским словом» приняла иной оборот.

До тех пор инициатива в развязывании полемики исходила по преимуществу от «Современника», а полемические выступления Антоновича касались сравнительно ограниченного круга частных вопросов (об отношении Писарева к роману «Отцы и дети» и Базарову, а также об отношении к статье Добролюбова «Луч света в темном царстве», о взгляде Зайцева на цветные племена и о его философских ошибках в статье «Последний философ-идеалист», о личности Благосветлова как издателя «Русского слова»). Но в кн. 5 «Русского слова» за 1865 г. появилась статья Писарева «Разрушение эстетики», последние главы которой содержали резкую критику статьи Антоновича по поводу книги Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (статья эта была опубликована в кн. 3 «Современника»). Писарев тем самым переносил полемику в область общих вопросов эстетики, связывая их разрешение с разрешением вопросов социальных. Писарев бросал Антоновичу обвинение в уступках идеалистической эстетике и в либеральном подходе к решению социальных вопросов (см. подробнее в прим. к статье «Разрушение эстетики»). Летом 1865 г. оказались в центре полемики и вопросы политической экономии, а именно вопрос об отношении к капитализму и к буржуазной политической экономии, в частности к работам Дж. Ст. Милля. Сотрудник «Русского слова» Н. В. Соколов выступил с резкой критикой буржуазной политической экономии и в особенности Милля в статьях «Экономические иллюзии» («Русское слово», 1865, кн. 4 и 5) и «Милль» (там же, кн. 7). Эти статьи Соколова подверглись осуждению в неподписанной статье (Ю. Г. Жуковского) «Милль, перевранный «Русским словом» («Современник», кн. 8), дававшей расплывчатую, некритическую характеристику политико-экономических взглядов Милля.

Со своей стороны Антонович в кн. 7 «Современника» за 1865 г. выступил со статьей «Лжереалисты (по поводу «Русского слова»)». В этой статье, переполненной очень резкими и оскорбительными заявлениями по адресу Писарева и Зайцева, Антонович пытался доказать, что взгляды Зайцева и Писарева представляют полное искажение «реализма». Под *реализмом* при этом понималось материалистическое и революционно-демократическое мировоззрение, мировоззрение Чернышевского и Добролюбова. В «Лжереалистах» Антонович опять повторил свои старые обвинения в том, что Писарев не заметил тенденциозности «Отцов и детей», принял Базарова за тип «нового человека», не понял основного смысла статей Добролюбова об Островском. Но центральным в статье Антоновича явилось уже не это. Он попытался здесь дать разбор эстетических взглядов Писарева и доказать их ошибочность. В этом критическом разборе несомненно были правильные положения. Антонович справедливо указывал на проявления субъективистского подхода к решению эстетических вопросов. Он закономерно подвергал критике отношение Писарева к изобразительным искусствам и музыке. Но критика Антоновича оказалась все же предвзятой и огульной. Он не понял противоречивого характера эстетических взглядов Писарева и вообще игнорировал их демократическую направленность. Характерно, что Антонович предъявляет Писареву необоснованное обвинение в «отрицании» искусства. Антонович даже не пытается установить различие между отношением Писарева к литературе и к другим видам искусства, что сам Писарев неоднократно подчеркивал. Решение основных вопросов эстетики у самого Антоновича было неопределенным, содержало отступления от основных положений эстетики Чернышевского (см. об этом в прим. к статье «Разрушение эстетики»).

Необъективность основных обвинений, выдвигаемых Антоновичем, и неопределенность его собственных положений в статье «Лжереалисты» и послужили предметом самой острой критики в статье Писарева «Посмотрим!».

Статья «Посмотрим!» явилась как бы своеобразным итогом длительной полемики между «Русским словом» и «Современником». Этой статьей Писарева и закончилась полемика. Ответов на нее в последующих книжках «Современника» за 1865 год уже не появилось. В статье Писарева объединены все основные мотивы этой полемики и показана неосновательность некоторых очень тяжелых обвинений, которые были брошены «Русскому слову» в этой полемике.

Статья Писарева имеет очень существенное значение для понимания и правильного исторического истолкования идейной программы Писарева, его «теории реализма». Наиболее ясно и откровенно, пользуясь отсутствием в это время предварительной цензуры, Писарев говорит здесь о материалистической и демократической основе своих взглядов (см. его рассуждения о двух основных сторонах теории реализма). Большой интерес представляют здесь также высказывания Писарева об основных задачах «руководителей общественного самосознания» в борьбе за преобразование общества, за полное устранение нищеты и эксплуатации трудящихся масс. В этом с особенной силою раскрывается демократизм Писарева. Статья дает необходимый материал и для понимания источников теоретических ошибок Писарева, связанных с его ригористическим отношением к изобразительным искусствам и

музыке. Наконец, статья Писарева заключает важные материалы для биографии Писарева и для характеристики его духовной эволюции в 1860-х гг.

[1] *«Эпоха»* — см. прим. 42 к статье «Реалисты». — *«Отечественные записки»* — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).— Критик Н. И. Соловьев с июля 1864 г. был сотрудником «Эпохи» до прекращения издания этого журнала в марте 1865 г. В 1865 г. он стал сотрудником «Отечественных записок» А. Краевского и С. Дудышкина.

[2] *Лукошко* — см. прим. 10 к статье «Реалисты».

[3] Имеется в виду критика со стороны Писарева некоторых выводов статьи М. А. Антоновича «Современная эстетическая теория», посвященной анализу «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевского (см. подробнее прим. к статье «Разрушение эстетики»).

[4] Разбор лекций П. Л. Лаврова, а также критического отзыва о них М. А. Антоновича — см. у Писарева в «Схоластике XIX века» (данн. изд., т. 1, стр. 125—130). Критические замечания Писарева по поводу статьи Чернышевского «О причинах падения Рима» — см. там же, стр. 149—150.

[5] *В... 1861 году некоторые из наших журналов сильно нападали на меня за «Схоластику» и за статью о «Физиологических эскизах» Молешотта.* — На статьи Писарева «Схоластика XIX века» и «Физиологические эскизы Молешотта» нападали в 1861 г. «Русский вестник» Каткова, «Отечественные записки» Краевского и Дудышкина и журнал «почвенников» «Время». Так, по поводу первой части «Схоластики XIX века» Н. Ко (Косица; псевдоним Н. Н. Страхова) писал в кн. 6 «Времени»: «Статья г. Писарева не больше, не меньше как отрицает философию, то есть вычеркивает из области человеческих интересов величайшие подвиги человеческого ума» («Еще о петербургской литературе. Письмо к редактору «Времени» по поводу двух современных статей» — отдел «Критическое обозрение», стр. 139). О нападении Каткова на «Схоластику XIX века» см. прим. 39 к статье «Московские мыслители» (данн. изд., т. 1). О нападках Дудышкина на «Физиологические эскизы Молешотта» — см. прим. 43 к «Прогулке по садам российской словесности».— *Они тогда же пугали мною «Современник»...* — Это делал Дудышкин в «Отечественных записках» 1861 г., кн. 9 («Современная хроника России»), говоря о статье «Схоластика XIX века».

[6] Писарев здесь не точен. Статьи его «Мотивы русской драмы» и «Нерешенный вопрос» («Реалисты») были напечатаны уже в период полемики с «Современником» и имеют к ней прямое отношение.

[7] Речь идет об «антинигилистических романах» В. П. Клюшникова («Марево») и Н. С. Лескова (М. Стебницкого) («Некуда»).

[8] Цитата из статьи В. А. Зайцева «Последний философ-идеалист» («Русское слово», 1864, кн. 12).

[9] В книге «Господин Бастиа-Шульце фон Делич» Лассаль выступил против вульгарных буржуазных экономистов, Ф. Бастиа и Г. Шульце-Делича. Заимствовав у К. Маркса общие теоретические положения его учения о капитале, Лассаль, однако, развернул здесь оппортунистическую программу рабочего движения, не имеющую по существу ничего общего с марксизмом (см. замечание К. Маркса об этой книге в примечании его к предисловию

к первому изданию первого тома «Капитала»). Для русских демократических журналов середины 1860-х гг. характерно внимание к деятельности Лассаля и организованного в 1863 г. Всеобщего германского рабочего союза. Оно связано вообще с развитием у «Русского слова» и «Современника» интереса к вопросам развития борьбы пролетариата на Западе. Понятно, что в условиях России того времени демократические писатели 1860-х гг. не смогли критически подойти к оценке деятельности Лассаля.

[10] Цитата из рецензии В. А. Зайцева на книгу Ж.-Л. Катрфажа «Единство рода человеческого» («Русское слово», 1864, кн. 8; «Библиографический листок»). См. прим. 54 к статье «Прогулка по садам российской словесности».

[11] *Супранатурализм* — вера в сверхъестественное; Писарев по цензурным условиям нередко употреблял этот термин вместо слова *религия*.

[12] Ср. в рассказе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наши глуповские дела» («Сатиры в прозе») реплику одного из глуповцев: «Да плюй же, плюй ему прямо в лохань!» (так в просторечии назывались лица «хороших» людей!)».

[13] Несколько измененные строки из стихотворения Гете «Лающий» («Kläffer») из цикла «Иносказательное» («Parabolisch»).

[14] *Laissez faire, laissez passer* (буквально: позволяйте делать что кому угодно, позволяйте идти кому куда угодно) — принцип буржуазных экономистов, отстаивавших невмешательство государства в экономические дела и свободу торговли. Н. Г. Чернышевский неоднократно обращался к критике этого принципа (особенно см. его статью «Экономическая деятельность и законодательство» (1859), доказывая, что вопрос о протекционизме, или свободе торговли, должен решаться не отвлеченно, а в связи с решением общего вопроса о благосостоянии народа. — Статья В. А. Зайцева «*Естествознание и юстиция*» была напечатана в кн. 7 «Русского слова» за 1863 г. — *Статья г. Т. З. об уголовных законах европейских государств* — статья Н. В. Шелгунова (псевдоним: Т. З.) «Современное значение уголовного права в Западной Европе» («Русское слово», 1864, кн. 5). — *Другая статья того же Т. З.* — статья Шелгунова «Френологическая оценка человеческих поступков» («Русское слово», 1865, кн. 1). В этих статьях (особенно у Зайцева) развивалась идея невменяемости, ненаказуемости преступлений, поскольку преступления являются следствием ненормальностей в человеческом организме или объясняются влиянием наследственности, социальной среды и т. д. На этих выводах сказалось влияние учения бельгийского либерально-буржуазного ученого А. Кетле.

[15] В статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (см. т. 1 данн. изд., стр. 268—271). О расхождениях между Писаревым и Добролюбовым в оценке Инсарова см. подробнее вступительную статью в т. 1 данн. изд., стр. XXI—XXII.

[16] *Добролюбов постоянно относился к г. Писемскому с полнейшим... пренебрежением.* — Добролюбов в своих статьях и рецензиях редко и мимоходом упоминал о Писемском и при этом обычно в ироническом или неодобрительном смысле. Так, в рецензии на сборник «Весна» (1859 г.) он мимоходом присоединился к замечаниям критика Н. Д. Ахшарумова «относительно художественной фальшивости характера Калиновича» в «Тысяче

душ» Писемского (см. Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 2, М. 1952, стр. 524). В статье «Когда же придет настоящий день?» он прямо объяснял свое молчание относительно «Тысячи душ» тем, что «вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее... Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что внутреннее отношение его к этим фактам не просто и не правдиво» (указ. изд., т. 3, стр. 30). В статье «Благонамеренность и деятельность» он поставил «Тысячу душ» в один ряд с повестями Кохановской и «Первой любовью» Тургенева, к которым относился критически. В статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов не менее резко характеризовал драму Писемского «Горькая судьбина». Иронический отзыв о Писемском, наконец, был дан и в статье Добролюбова «Забитые люди» (сентябрь 1861 г.) (см. указ. изд., т. 3, стр. 471). — *Я... отнесся к г. Писемскому с величайшим уважением и поставил его в моих критических статьях выше гг. Тургенева и Гончарова.* — В статьях конца 1861 г. — «Стоячая вода» и особенно «Писемский, Тургенев и Гончаров» и «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (см. т. 1 данн. изд.) — Писарев высоко оценивал произведения Писемского. См. об этом во вступительной статье к данн. изд., стр. XXIV.— *...гнусность «Взбаламученного моря»...*— «Взбаламученное море» (1863 г.) — антинигилистический роман Писемского, содержавший клевету на молодое поколение 1860-х гг.

[17] О причинах осуждения Писаревым «Призраков» Тургенева см. прим. 37 к статье «Реалисты».

[18] Писарев, вероятно, имеет в виду благожелательную рецензию Н. А. Добролюбова на стихотворения Я. П. Полонского (1859 г.), а также замечание его в рецензии на сочинения А. И. Подолинского о том, что «в основе поэзии Полонского... мы видим гуманное начало, видим близость его к людям и жизни» (Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 3, М. 1952, стр. 571). Что касается Фета, то у Добролюбова, наряду с признанием достоинств его лирических стихотворений, постоянно выступает и критическое отношение к его общественному индифферентизму. Писарев в этом случае сгущает краски. Сам Писарев «осмеял шалости» Фета и Полонского в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (см. данн. изд., т. 1, стр. 193—196). Иронические отзывы о них имеют место и в ряде других статей Писарева 1862—1865 гг. Интересно, что более сдержанный отзыв о Фете и Полонском, отдающий дань их поэтическому мастерству наряду с критикой общего направления их поэзии, имел еще место во второй части статьи «Схоластика XIX века» (см. данн. изд., т. 1, стр. 157).

[19] Писарев цитирует свою статью «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» по кн. 8 журнала «Русское слово» за 1864 г., где она была впервые напечатана. См. ее также в т. IV шеститомного издания (Ф. Павленкова) сочинений Писарева.

[20] Речь идет о статье Е. Ф. Зарина (псевдоним: Incognito) «Предисловие к литературному обозрению. О качестве и количестве прогресса в новейшем движении нашей литературы» («Отечественные записки», 1865, февраль, кн. 2). Критику на нее см. в статье Писарева «Прогулка по садам российской словесности» (данн. том, стр. 290—300).

[21] В указанной неподписанной статье редакция «Библиотеки для чтения» (см. об этом журнале прим. 42 к статье «Реалисты») говорила о якобы характерном для середины 1860-х гг. распадении всех литературных партий и направлений. Этот вывод, в частности, подкреплялся ссылкой на полемику «Русского слова» и «Современника». По поводу Писарева здесь говорилось следующее: «Артельная палата и коммерция!» говорит умирающий нигилизм, которого (так! — *Ред.*) чуткий г. Писарев уже подменивает на реализм» («Библиотека для чтения», 1865, № 4, стр. 110).

[22] Писарев не совсем прав, говоря, что он *первый применил этот термин*. Термин *реализм* в смысле «материализм» использовал в своих философских работах еще Герцен. Употреблял его в этом смысле, а также в отношении к литературе и искусству и Добролюбов. Встречается этот термин в указанных значениях и в критических статьях и рецензиях других авторов конца 1850 — начала 1860-х гг. Писарев лишь придал этому термину более специфическое содержание в соответствии с направлением своей «теории реализма» и попытался сделать его знаменем своего направления, а также наименованием революционно-демократического направления 1860-х гг. в целом.

[23] Имеется в виду статья М. А. Антоновича «Добросовестные мыслители и недобросовестные журналисты» («Современник», 1865, кн. 2, стр. 223—252). Эта статья была вызвана заметкой от редакции «Отечественных записок» (С. С. Дудышкина), которая сопровождала напечатанные в первой январской книжке этого журнала за 1865 г. «Мнения Бокля о сочинениях Милля». «Отечественные записки» писали там, что хвалебное мнение Бокля относительно «Оснований политической экономии» Д. С. Милля окажется неожиданным для представителей демократической журналистики, которые, по словам «Отечественных записок», «записали Бокля в число своих». При этом редакция «Отечественных записок» упоминала о Чернышевском и о его «Замечаниях» к переводу «Оснований политической экономии» Милля. Она указывала на то, что Чернышевский критиковал Милля и «опровергал одно за другим все положения Милля». Антонович в своей статье, обвиняя редакцию «Отечественных записок» в недобросовестности, пытался доказать, что это мнение неверно. В его статье были затушеваны расхождения Чернышевского с Миллем и преувеличены достоинства Милля, который якобы «как критик и истолкователь настоящего экономического положения (т. е. положения дел при капитализме. — *Ред.*) не оставляет желать ничего лучшего» (стр. 244). Антонович в этой статье не упоминал о влиянии Мальтуса на Милля и утверждал, что Чернышевский «признавал верными и даже защищал почти все... положения» Милля. Эти ошибочные положения Антоновича, представлявшие уступку либеральной оценке взглядов Милля, и вызвали резкую критику его статьи в «Русском слове». Что касается «Русского слова», то для него, напротив, было характерно одностороннее отождествление взглядов Милля со взглядами прямых апологетов капитализма — представителей вульгарной буржуазной политической экономии. Особенно резко это проявилось в статье Н. Соколова о Милле («Русское слово», 1865, кн. 7). Отчасти это отразилось и на оценке взглядов Милля у Писарева; ср. утверждение его о том, что политическая экономия Милля «вся построена на так называемом законе Мальтуса». К. Маркс писал, что «такие люди, как

Дж. Ст. Милль и ему подобные, заслуживают, конечно, всяческого порицания за противоречия их старомодных догм с их современными тенденциями, но было бы в высшей степени несправедливо смешивать их в одну кучу с вульгарными экономистами-апологетами» («Капитал», т. I, гл. XXII, прим. 65; Госполитиздат, 1949, стр. 616).

[24] Статья Н. В. Соколова о «Началах народного хозяйства» В. Рошера была напечатана в кн. 5 «Русского слова» за 1862 г. В этой статье была дана резкая критика одного из представителей вульгарной буржуазной политической экономии — немецкого профессора Вильгельма Рошера, а также развивалась критика мальтузианства.

[25] О Мальтусе и о критике его взглядов со стороны Чернышевского см. «Очерки из истории труда» (данн. изд., т. 2, стр. 252—258).

[26] Писарев имеет здесь в виду второй раздел из «Замечаний» Чернышевского к трем первым главам первой книги «Оснований политической экономии» Милля («Выгодное и убыточное для общества производство и потребление», см. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IX, М. 1949, стр. 62—75).

[27] «*Московские ведомости*» — см. прим. 28 к статье «Наша университетская наука» (данн. изд., т. 2). — «*Сын отечества*» — см. прим. 18 к статье «Цветы невинного юмора» (там же). — «*Голос*» — ежедневная «газета политическая и литературная», издававшаяся в Петербурге с 1863 по 1884 г. известным своей беспринципностью А. А. Краевским; будучи в 1860-х гг. органом умеренно-либерального направления, газета пользовалась также субсидией правительства. Газета относилась враждебно к революционно-демократическому движению. — «*Домашняя беседа*» — см. прим. 22 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1).

[28] Имеются в виду следующие статьи Писарева: «Меттерних» («Русское слово», 1861, кн. 11 и 12); «Аполлоний Тианский» (там же, кн. 6—8); «Физиологические эскизы Молешотта» (кн. 7); «Процесс жизни» (кн. 9); «Физиологические картины» (кн. 2 за 1862 г.) и, наконец, статьи о современной русской литературе — «Стоячая вода» (1861, кн. 10), «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861, кн. 11), «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (1861, кн. 12).

[29] *...статьи, написанные в январе и в феврале 1862 года...* — «Московские мыслители» и «Русский Дон-Кихот». — *...статей, написанных в апреле и в мае того же года.* — Речь идет о статьях «Бедная русская мысль» и «Очерки из истории печати во Франции».

[30] Опубликованное в кн. 3 «Современника» за 1865 г. письмо В. Д. Писаревой в редакцию этого журнала касалось отношений Писарева к Г. Е. Благосветлову. Письмо было ответом на полемическую реплику Постороннего сатирика (М. А. Антоновича) по адресу Благосветлова: «Много чести для вас, если вы их (речь шла о Зайцеве и Писареве. — *Ред.*) называете *своими* сотрудниками; гораздо точнее назвать вас ихним прихвостнем, или, лучше, человеком, загребающим жар ихними руками» («Современник», 1865, кн. 2, стр. 373; «Глуповцы в «Русском слове»). В письме сообщались некоторые сведения из истории отношений Писарева с Благосветловым. Там указывалось, что Писарев еще в январе 1861 г. предлагал Евг. Тур свое сотрудни-

чество в издаваемой ею газете «Русская речь» и заявлял ей, что он «поклонник чистого искусства». В апреле 1861 г. он обращался в редакцию православного журнала «Странник» с предложением напечатать там свой перевод. В ноябре же 1861 г. Чернышевский, у которого Писарев был тогда вместе с Благосветловым, уже предлагал Писареву работать для «Современника», на что Писарев, по словам письма, ответил отказом, говоря, что «пока он может быть полезен «Русскому слову», до тех пор он будет посвящать ему все свои силы». Сопоставляя эти отдельные факты, В. Д. Писарева заключала: «В январе сын мой был еще эстетиком, в апреле он еще, по своей неразвитости, был способен входить в сношение с «Странником», а в ноябре уже «Современник» предлагал ему работу... Факт состоит в том, что этим превращением он исключительно обязан г. Благосветлову. Если, говорил он мне часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честного литератора, то я должен сознаться, что это понимание пробуждено и развито во мне г. Благосветловым» («Современник», 1865, кн. 3, стр. 219). История с этим письмом еще остается недостаточно выясненной. Неясно, какова была в его написании роль самого Писарева, находившегося тогда в заключении. Во всяком случае можно предполагать, что содержание письма было известно Писареву до его напечатания и одобрено им. Однако характерно, что в данной статье, написанной пять месяцев спустя, содержатся существенные ограничения и уточнения в оценке роли Благосветлова в развитии Писарева.

[31] «*Странник*» — см. прим. 17 к статье «Московские мыслители» (данн. изд., т. 1). Д. И. Писарев предлагал для помещения в «Страннике» перевод песни XI «Мессиады». Перевод этой поэмы Клопштока был начат Писаревым вместе с его дядей С. И. Писаревым в мае 1860 г.; отданный в «Странник» перевод не был там, однако, напечатан.

[32] Перевод поэмы «Атта Троль» Гейне был помещен в кн. 12 «Русского слова» за 1860 г.

[33] В кн. 2 «Русского слова» за 1861 г. появилась статья Писарева об «Уличных типах» Голицынского (см. «Несоразмерные претензии» в т. 1 данн. изд.); в кн. 3 — статья о народных книжках; в кн. 4 — «Идеализм Платона».

[34] «*Русский вестник*» — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1). Статьи А. В. Дружинина по книге Карлейля — «Фридрих-Вильгельм I» («Русский вестник», 1861, кн. 4) и «Первые годы царствования Фридриха Великого» (кн. 8 за 1863 г.).

[35] Это примечание — одно из многих метких нападений «Русского слова» на Вс. Костомарова, известного своей предательской, провокаторской ролью в процессах М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышевского.

[36] Речь идет об антинигилистическом романе Н. Лескова «Некуда», помещенном под псевдонимом М. Стебницкий в «Библиотеке для чтения» за 1864 г.

[37] Очерк «Зимний вечер».

[38] «*Время*» — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1). — «Зимний вечер в бурсе» был напечатан в кн. 5 «Времени» за 1862 г.

[39] *...теория «Голоса» о том, что честному писателю незачем быть честным человеком...* — Отвечая «С.-Петербургским ведомостям» (см. прим. 48), газета А. Краевского «Голос» писала, что честность для журналиста дело

не существенное, что «читателю положительно нет дела даже и до того, честный или нечестный человек писал известную статью» («Голос», 1865, № 175). Эти утверждения вызвали резкую отповедь также со стороны Антоновича в «Современнике». — *...теория г. Альбертини о систематической несолидарности сотрудников журнала...* — В «Дневнике темного человека» («Русское слово», 1864, кн. 6), осуждая «Голос» Краевского за один неблаговидный фельетон, автор (Д. Д. Минаев), между прочим, обращался со следующим вопросом к сотруднику «Голоса» либеральному публицисту Н. В. Альбертини: «Очень интересно знать, как вы относитесь к деяниям ваших сотоварищей по газете? Как дышите вы в таком обществе» (стр. 142). Аналогичный вопрос ставил перед Альбертини в той же книжке «Русского слова» и В. А. Зайцев в «Перлах и адамантах русской журналистики». Ответом на это явилось письмо Альбертини в редакцию «Русского слова» (кн. 7 журнала). В письме, выражая свое отрицательное отношение к фельетону «Голоса», Альбертини вместе с тем указывал, что он не несет никакой ответственности за то, что печатается в газете. «Чувство ответственности за направление, тон и за здравый смысл статей, печатаемых в этой газете и не принадлежащих мне лично или не касающихся моего отдела, чрезвычайно слабо во мне, слабо до того, что я почти вовсе не интересуюсь тем, что печатается в других отделах» («Русское слово», 1864, кн. 7, стр. 78). Резкий разбор этого письма дал Антонович (Посторонний сатирик) в фельетоне «Раскаяние г. Альбертини, или раскол в ерундистах» («Современник», 1864, кн. 8).

[40] Речь идет об изданиях, выходивших под редакцией реакционеров Каткова и Скарятина, систематически нападавших и клеветавших на демократическое движение. М. Н. Катков издавал журнал «Русский вестник», а также редактировал газету «Московские ведомости»; В. Д. Скарятин вместе с Н. Н. Юматовым издавал и редактировал с 1863 г. газету «Весть» (первоначально — «Русский листок»).

[41] Несколько измененная цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

[42] В тексте «Русского слова» к этому месту статьи дано следующее примечание, подписанное «Ред.»: «Недавно базаровский тип получил новое оправдание и признание от «Современника» в повести г. Слепцова «Трудное время», о которой стоит поговорить в особой статье». Вскоре после того, как повесть Слепцова была напечатана в «Современнике» (1865, кн. 4—5 и 7—8), появилась статья о ней Писарева в «Русском слове» (1865, кн. 12; см. статью «Подрастающая гуманность» в т. 4 данн. изд.).

[43] Писарев приводит названия нескольких статей, опубликованных в «Современнике» и в «Русском слове» за 1865 г.: своих статей — «Сердитое бессилие» — о романе Клюшникова «Марево» («Русское слово», 1865, кн. 2) и «Педагогические софизмы», направленной против реакционных защитников системы классического образования («Русское слово», 1865, кн. 5); статьи Н. В. Соколова «Экономические иллюзии», содержавшей критику буржуазной политической экономии («Русское слово», 1865, кн. 4), и статьи М. А. Антоновича «Современная эстетическая теория» — по поводу второго издания работы Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» («Современник», 1865, кн. 3).

[44] Цитата из статьи «Разрушение эстетики» (см. данн. том, стр. 419).

[45] Статья «Историческое развитие европейской мысли», посвященная истории развития средневековой культуры, была помещена в кн. 11 и 12 «Русского слова» за 1864 г.; см. ее также в т. III шеститомного издания Ф. Ф. Павленкова.

[46] См. данн. том, стр. 423.

[47] Эта часть журнального текста «Разрушения эстетики» была исключена из статьи в первом издании сочинений; см. ее на стр. 502—511 данн. тома.

[48] О *морали Краевского* Посторонний сатирик (М. А. Антонович) писал в кн. 6 «Современника» за 1865 г. в отделе «Литературные мелочи». Он касался здесь ответов газеты «Голос» на намек «С.-Петербургских ведомостей» о том, что «Голос» существует на субсидии, получаемые от правительства. Антонович высмеивал беспринципность Краевского. Полемическая заметка Антоновича по этому же поводу: «Может ли бесчестный человек быть честным публицистом и фельетонистом?» была напечатана в кн. 7 «Современника» за 1865 г.

[49] О Г. Е. Благосветлове и его отношениях к графу Г. А. Кушелеву-Безбородко говорилось в фельетоне М. А. Антоновича (Постороннего сатирика) «Глуповцы в «Русском слове» (Посвящается Гр. Е. Благосветлову)» в отделе «Литературные мелочи» в кн. 2 «Современника» за 1865 г. В очень грубой форме Антонович в этом фельетоне бросал обвинение Благосветлову в полной беспринципности и в том, что он, ради личных корыстных целей, угождал первоначально А. А. Краевскому, а затем Г. А. Кушелеву-Безбородко, как первоначальному издателю «Русского слова».

[50] См. указанное место в конце гл. VIII журнального текста статьи «Разрушение эстетики» (данн. том, стр. 507).

[51] Процитировав из «Разрушения эстетики» Писарева два небольших отрывка (см. на стр. 505 данн. тома отрывок, начиная со слов: «те *некоторые*, которых вы упрекаете в горячности и нерассудительности» и кончая словами: «серьезно задуматься над своим настоящим положением», и отрывок со слов: «Предаваясь безраздельно своей глупой страсти», кончая словами: «своих иллюзий и своих разочарований»), Антонович в статье «Лжереалисты» писал: «Мы охотно верим вам, что вы последовательны, искренни, горячи, страстно преданы страсти к реализму, не отрицаем ни одной из тех добродетелей ваших, которыми вы хвастаетесь; но у вас есть один радикальный теоретический недостаток, который, к сожалению, отнимает всякую цену у всех ваших добродетелей и в котором вы так откровенно сознаетесь; к несчастью, вы «нерассудительны»: «эти некоторые глупы», как вы выражаетесь, и вследствие одного этого разлетаются в прах все их добродетели» («Современник», 1865, кн. 7, «Современное обозрение», стр. 74—75).

[52] См. данн. том, стр. 504 и сл.

[53] *Пенелопа* — жена Одиссея. В «Одиссее» Гомера рассказывается, как она хитростью отгоняла от себя многих женихов во время двадцатилетнего отсутствия своего мужа, уверяя, что выберет одного из них, когда окончит ткать ковер. Между тем она распускала по ночам то, что успевала соткать за день.

[54] *Ça ira* — народная революционная песня времен французской буржуазной революции конца XVIII в.

[55] См. в статье «Реалисты» (данн. том, стр. 105).

[56] См. там же, стр. 115.

[57] Приводимое ниже искаженное цензурой место «Нерешенного вопроса» (см. прим. к статье «Реалисты») Н. И. Соловьев цитировал в статье «Теория пользы и выгоды» («Эпоха», 1864, кн. 11, стр. 11). Соловьев также высмеивал это. «Сигара поэтому выходит выше шекспировской драмы, — писал он, — а кто не курит совсем, тот пусть лучше и не размышляет».

[58] Упоминать имя Чернышевского, как и название романа «Что делать?», в 1864 г. запрещалось предварительной цензурой.

[59] Писарев указывает на то, что он находился в то время в заключении в Петропавловской крепости.

[60] Писарев хочет сказать, что, при существующих цензурных условиях и находясь в заключении, он не может прямее писать о революционном характере деятельности Рахметова.

[61] См. данн. том, стр. 507.

[62] В романе А. К. Шеллера (А. Михайлова) «Жизнь Шупова, его родных и знакомых» (впервые появившемся в «Современнике», 1865, кн. 2—3 и 6—8) студент-демократ Колька Люлюшин бросает эти слова в ответ на упрек своего товарища в отсутствии воображения. «Я враг всяких призраков», «факты все-таки лучше грез», — заявляет он в том же разговоре.

[63] См. статью «Базаров» (данн. изд., т. 2, стр. 26—27).

[64] Имеется в виду статья А. Шаврова «Классическое и реальное образование» в славянофильской газете «День» (№№ 16—17 за 1865 г.). Шавров защищал с реакционно-идеалистических позиций систему классического образования. Писарев посвятил критическому разбору мнений Шаврова значительную часть своей статьи «Педагогические софизмы» («Русское слово», 1865, кн. 5), в которой показывал произвольность и несостоятельность того содержания, которое вкладывал Шавров в слова «реализм» и «классицизм».

[65] См. статью «Реалисты», стр. 17—18.

[66] См. статью «Реалисты», стр. 46—58.

[67] Цитируется пародия «Мыслящий реалист о «Гамлете» Шекспира», опубликованная в первой сентябрьской книжке журнала «Отечественные записки» за 1865 г.

[68] В конце статьи «Лжереалисты» Антонович приводил четыре пространных выписки из своей статьи «Современная эстетическая теория», стремясь, как он писал, «ими пристыдить г. Писарева и показать его читателям и почитателям, что он или не понимает самых простых и ясных вещей, или же пускается на недобросовестные перетолкования» («Современник», 1865, кн. 7, стр. 89). Эти выписки посвящены общим рассуждениям о том, что искусство, не ограничиваясь эстетическим наслаждением, должно находиться в тесной связи с жизнью и удовлетворять ее требованиям.

[69] Н. И. Соловьев высказывал свое удовлетворение некоторыми общими положениями статьи Антоновича «Современная эстетическая теория» в статье «Вопрос об искусстве» («Отечественные записки» за 1865 г., май—август).

[70] О противоречиях между М. А. Антоновичем и составителем «Внутреннего обозрения» в «Современнике» (Г. З. Елисеевым) см. в журнальном тексте статьи Писарева «Разрушение эстетики» (данн. том, стр. 510—511),

а также прим. 11 к этому тексту. К приведенным в этом примечании отрывкам из «Внутреннего обозрения» Г. З. Елисеева добавим еще один, на который здесь ссылается Писарев. «Но, — спрашивает изумленный читатель, — нигилисты люди ли? Имеют ли они какие-нибудь человеческие наслаждения в жизни? — Как же, читатель, — они по-своему тоже наслаждаются; но их наслаждения, если вы принадлежите к числу любителей *высоких наслаждений души*, покажутся вам забавными» («Современник», 1865, кн. 3, стр. 171). И далее Елисеев рассказывает о попытках организации в Петербурге «Общества поощрения женского труда», натолкнувшихся на сопротивление со стороны реакционеров.

[71] *...«Петербургские ведомости», приветствовавшие его по поводу «Лжереалистов»...* — В № 233 от 8 сентября 1865 г. газеты «С.-Петербургские ведомости» (см. о ней прим. 28 к статье «Наша университетская наука» в т. 2 данн. изд.) в заметке «Наши журналы» Храповицкого говорилось о полемике между «Современником» и «Русским словом». Автор заметки, осуждая грубость ведения спора, особенно со стороны Антоновича, указывал, что до появления «Лжереалистов» Антонович спорил с Писаревым «только по вопросам частным, второстепенным, не оправдывавшим... того ожесточения, с которым велась схватка обеими сторонами». «На твердой осязательной почве, — заявлял рецензент, — противники оказались только тогда, когда между ними произошло разногласие по вопросу об искусстве; и здесь мы не колеблясь становимся на сторону г. Антоновича... Серьезный удар г. Писареву нанесен им в первый раз только теперь, именно в статье «Лжереалисты».

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

(Часть журнального текста)

[1] *«Нерешенный вопрос»* — статья Писарева «Реалисты».

[2] Писарев намекает на то, что Чернышевский, находящийся в ссылке, не может возражать против той или иной интерпретации его книги.

[3] *Составитель «Внутреннего обозрения»* (постоянный отдел в «Современнике») — Г. З. Елисеев.

[4] *...пойти... по следам того достойного писателя, который говорил о прогрессистах, засиживающих идеи и испрашивающих благословения у Молешотта...* — Намек на Щедрина. Ср. в его фельетоне «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, кн. 3) следующие места, обращенные, в частности, против сотрудников «Русского слова»: «Нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы... Им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их из своего далека».

[5] *Никитушка Ломов* — Рахметов из «Что делать?» Чернышевского.

[6] *...ваша голова устроена по общему филистерскому плану, с крепкими и прочными перегородками...* — См. об этом в полемике против Incognito (Е. Ф. Зарина) в статье «Прогулка по садам российской словесности» (стр. 279 и 291).

[7] См. эту цитату из Чернышевского на стр. 432 данн. тома.

[8] *«Ужасный моветон»* — несколько измененное выражение из «Ревизора» Гоголя.

[9] Римский император Нерон, любивший выступать в качестве певца и актера и выставлявший себя поклонником Гомера, устроил пожар Рима для того, чтобы «воссоздать» картину горящей Трои.

[10] *Приапеи* — в древней Греции и Риме празднества в честь бога плодородия Приапа, сопровождавшиеся разгулом; здесь в смысле: оргии.

[11] В указанном «Внутреннем обозрении» автор его (Г. З. Елисеев) вслед за упоминанием о том, что в Петербурге свирепствует эпидемия возвратного тифа, по преимуществу среди бедных людей, и что почти по всей Самарской губернии распространился страшный голод, говорит: «А другие? У других есть много забот более важных, чем эпидемия в Петербурге или голод в Самарской губернии. Возьмем, например, хоть Петербург; в нем есть итальянская опера, русская опера, балет, театров сколько! Сколько здесь блестит разных артистических солнц, которым всем надобно поклониться» («Современник», 1865, кн. 3, стр. 164). Там же в заключение иронически говорилось: «А еще называют нигилистов веселыми людьми! Какие это веселые люди! Это какие-то своего рода аскеты, которых воззрения способны убить всякую эстетически развитую натуру. Они, например, утверждают, что стремление к *высоким наслаждениям души* при расстройстве экономических сил в целом обществе, при множестве настоятельных, неотложных потребностей для его благоустройства, остающихся неудовлетворенными, — не свидетельствует нисколько о высокой развитости общества, а показывает, напротив, только крайнюю распущенность в нем нравов» (стр. 171; курсив Елисеева).

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор П. А. Сидоров

Художник А. М. Гайденков

Художественный редактор
А. Ф. Кукуричкина

Технический редактор
Л. П. Крючкина

Корректор Л. А. Уланова

Сдано в набор 9/I 1956 г.
Подписано к печати 24/IV 1956 г.
М-19874. Бумага 60×92 $^{1}/_{16}$ = 35,75 печ. л. =
35,75 усл. печ. л. 37,79 уч.-изд. л.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 777.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.